

Серия образована в 1994 году

А. А. Долинина

«Невольник долга»

(Научная биография академика И.Ю.Крачковского)

Центр

«Петербургское Востоковедение»

Санкт-Петербург 1994

ББК Ш.г(2)7д Крачковский И. Ю.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Код 93-06-10125

Долинина А. А. Невольник долга. — СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. — 464 с.

ISBN 5-85803-016-5

Настоящая книга представляет собой первую попытку биографии академика Игнатия Юлиановича Крачковского (1883—1951) и написана его ученицей, профессором-арабистом А. А. Долининой. И. Ю. Крачковский — это целая эпоха в мировом востоковедении, его труды составляют классику науки двадцатого века. Биография выдающегося востоковеда равно интересна как специалистам, так и широкому читателю, интересующемуся историей отечественного востоковедения.

ББК Ш.г(2)7д Крачковский И. К).

ISBN 5-85803-016-5

© А. А. Долинина, 1994 © Центр «Петербургское Востоковедение», 1994

ОГЛАВЛЕНИЕ

459

Об этой книге и немного о ее авторе.....5

ГЛАВА I. Семейство «польских аристократов».....10

ГЛАВА II. Что есть истина?.....20

ГЛАВА III. «Могу здесь быть только мелким чернорабочим...» ...30

ГЛАВА IV. «Вениамин».....49

ГЛАВА V. Аль-Гариб ар-руси.....70

Здесь, под небом чужим.....70

Бейрутская зима.....76

«Таких задач мне еще жизнь не ставила».....84

Свет и тени Палестинского общества.....89

По городам и весям.....95

Итоги.....106

ГЛАВА VI. Радость после трудности.....112

Время платить долги 112

.Зачем жениться на чужой жене, когда кругом так много девиц? 122

Тревожное лето девятьсот четырнадцатого.....128

«Спектакля» не получилось.....	134
ГЛАВА VII. В терновом венке революций.....	144
По завету отца.....	144
Востоковедов дружный клан.....	150
Мы еще повоюем!.....	160
Финский шпион.....	165
ГЛАВА VIII. Легендарная «Всемирная».....	172
ГЛАВА IX. Шапка Мономаха.....	194
« Академизм мне тягостен...».....	194
Жив курилка!.....	208
Имени барона Розена.....	218
ГЛАВА X. Как взвесить обретенья и утраты?	232
«Нечаянно попал на собственный юбилей...»	232
Аль-Маарри, Ибн аль-Мутазз и Дивасти.....	246
Наследница «ВЛ».....	255
ГЛАВА XI. Забытый часовой.....	261
Кабинет создан!.....	261
«Ни один из востоковедов не насадил такой школы, как Вы...».....	276
Нож в спину.....	295
ГЛАВА XII. Тогда мы познали «меру вещей».....	312
Птицы смерти в зените стоят.....	312
Средь суеты и суетности столицы.....	327
ГЛАВА XIII. Душа полна потерь, хоть, кажется, жива.....	346
Я вернулся в мой город.....	346
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется . . .	364)
ГЛАВА XIV. На вершине славы — или у разбитого корыта? . .	370
Довольно, довольно, довольно!.....	370
«О любителях чужого добра»	376
Плетью обуха не перешибешь	390
ЭПИЛОГ. Испытание временем	401
Архивные материалы и литература.....	431
Указатель имен.....	435
Указатель названий сочинений, газет и журналов.....	444
Указатель наименований научных учреждений и учебных заведений.....	452
Список сокращений.....	457
Summary {англ.}.....	458
Summary {араб.}.....	460

Об этой книге и немного о ее авторе.

В истории арабской поэзии есть такое понятие «аль-мухадрам». Так средневековые арабские филологи называли тех поэтов, которые начали слагать стихи еще до ислама и продолжали это занятие при пророке Мухаммеде и первых халифах, — словом, объединили в своем творчестве две эпохи.

Этот термин с успехом можно применить и ко, многим крупнейшим русским востоковедам первой половины XX века, в том числе — к Игнатию Юлиановичу Крачковскому (1883—1951), который начал прокладывать новые пути в арабистике в дореволюционные годы. К концу 1917-го он был уже магистром арабской словесности,

штатным доцентом Факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, сотрудником Азиатского музея, членом ряда российских научных обществ, автором почти ста научных трудов, среди которых — большая монография о средневековом арабском поэте аль-Вава Дамасском. Венчает дореволюционный период его деятельности состоявшееся в 1921 году избрание в Российскую Академию наук по рекомендации таких почтенных ее членов, как С. Ф. Ольденбург, Н. Я. Марр, В. В. Бартольд и П. К. Коковцов.

Затем последовали более тридцати лет научной и преподавательской деятельности при советской власти: продолжение работы в Санкт-Петербургском — Ленинградском университете и в Азиатском музее — Институте востоковедения АН и более трехсот научных трудов в различных областях арабистики (арабское языкознание, источниковедение, история литературы средневековой и новой, художественной и научной, вспомогательные исторические дисциплины, история арабистики).

И. Ю. Крачковский был главой новой русской арабистической школы, пользовался всеобщим уважением в научных кругах, советское правительство тоже как будто относилось к нему благосклонно, наградив его к концу жизни двумя орденами Ленина и — посмертно — Сталинской премией. Он получил признание и за рубежом — был избран членом Арабской Академии наук в Дамаске,

3

Польского востоковедного общества, Немецкого востоковедного общества, Ассоциации исламских исследований в Бомбее, Иранской Академии наук, Королевского Азиатского общества Великобритании и Ирландии, Польской Академии наук, Фламандской Академии наук, Азиатского института в Нью-Йорке, принимал участие в работе разнообразных международных научных объединений и комиссий. Его знаменитая книга «Над арабскими рукописями. Листки военнопленных о книгах и людях» выдержала в России шесть изданий и была переведена на многие языки.

Крачковский — это целая эпоха в мировом востоковедении, его труды — классика науки XX века. Со дня его смерти прошло более сорока лет, но, как ни странно, биография его до сих пор не написана. Предлагаемая читателю книга представляет собой первую попытку восполнить этот пробел в истории нашего востоковедения.

Мне посчастливилось знать И. Ю. Крачковского лично. В моей домашней библиотеке есть книга самая для меня ценная — первое издание «Над арабскими рукописями» с автографом автора. Характерным ломким почерком на белой обложке написано: «А. А. Искоз-Долининой в награду за измену германистике. Автор. И. Крачковский. 8.V. 1945». Дело в том, что начинала я свою «филологическую карьеру» за год до войны на немецком отделении филфака Ленинградского университета. Во время войны занятия мои прервались, а потом, по целому ряду обстоятельств, когда в 1944 году в Университете был вновь открыт Восточный факультет, я твердо решила перейти туда на арабское или персидское отделение. В обеих группах I курса был уже полный комплект студентов; на кафедре иранской филологии мне отказали, но Игнатий Юлианович,

узнав, что я полгода занималась арабским у одного из лучших его учеников, В. И. Беляева, согласился. «Ну, раз учила арабский и не испугалась, надо принять, кто-нибудь все равно отсеется», — приблизительно так передала мне его слова В. И. Цинциус, тогдашний заместитель декана Восточного факультета. Так я стала арабисткой и училась у Крачковского с первого курса по пятый и полтора года в аспирантуре, до его безвременной кончины. Кое-какие мои воспоминания о тех годах вошли в последние главы книги. Но основана она не на личных воспоминаниях, а прежде всего на документальном материале.

От Игнатия Юлиановича остался огромный архив, удивительно богатый по составу: дневники (еще с гимназических времен!), личные письма (в некоторых случаях — двусторонняя переписка) — от таких же ранних лет до самых последних; оконченные и неоконченные труды (некоторые из них никогда не печатались), курсы лекций, отзывы на чужие работы, характеристики, докладные записки, деловая переписка, официальные документы, мемуары родных и близких, некоторые семейные бумаги... Всего не перечислишь.

4

В. А. Крачковская, намного пережившая мужа, также арабист по специальности, неустанно работала над разбором и классификацией его бумаг. Вместе с учениками Игнатия Юлиановича (в первую очередь В. И. Беляевым, а также И. Н. Ванниковым, Х. И. Кильберг, Г. В. Церетели, А. И. Михайловой, П. А. Грязневичем, А. Б. Халидовым и др.) она приложила огромные усилия для переиздания его трудов и издания некоторых архивных материалов. После ее смерти в январе 1974 года весь архив Крачковского по завещанию поступил в Ленинградское отделение Архива АН (ныне Санкт-Петербургский филиал Архива РАН — СПФ АРАН).

Мне пришлось соприкоснуться с рукописными материалами моего учителя еще при жизни Веры Александровны, когда я принимала участие в подготовке к изданию V и VI томов «Избранных сочинений» И. Ю. Крачковского, а также сборников переводов «Арабская проза» и «Современная арабская проза», куда вошли не публиковавшиеся ранее его переводы из Джебрана Халиля Джеб-рана и Амина Рейхани, ливанских писателей XX века. Кроме того, в дни памяти Игнатия Юлиановича Вера Александровна обычно собирала его учеников, рассказывала о нем, читала свои мемуары, показывала кое-какие документы.

В конце 1970-х—начале 80-х годов сотрудница Архива АН Г. Н. Чеботарева стала периодически привлекать меня к работе над описанием рукописного наследия И. Ю. Крачковского в качестве консультанта. Вот тогда-то я впервые осознала, какое не востребованное богатство лежит передо мной, и оно не давало мне покоя.

В арабистических кругах, особенно перед столетием И. Ю. Крачковского, пошли разговоры о том, что пора написать книгу о его жизни и трудах. Я понимала, что это — долг его последних учеников, и, наверное, в первую очередь мой, ибо меня он, что называется, «подобрал», поверил в меня, да и с архивом его я знакома больше,

чем другие. Тем не менее я все не решалась взяться за эту книгу, казалось — не по моим силам, размаха не хватит, чтобы осветить творчество ученого такого масштаба, хотелось найти подходящего соавтора, мыслящего по-мужски широко и глубоко. Но не получилось...

Заставила меня приняться за эту работу М. В. Баньковская, которая начала тогда писать книгу о своем отце, известном китаисте В. М. Алексееве (1881—1951), коллеге и друге И. Ю. Крачковского. С конца 1983 года каждую свободную минуту, когда был открыт читальный зал Архива АН, я проводила там. Мы работали бок о бок с М. В. Баньковской, с увлечением обменивались своими маленькими «открытиями». Сначала я без всякой системы, с жадностью выписывала из хранилища те материалы, которые интересовали меня больше всего — переводы, работы по арабской литературе, документы по деятельности в горьковском издательстве «Всемирная литература» и т.п., вперемешку с материалами био

5

графическими — ведь я ничего, по сути дела, не знала о его семье! Потом поняла, что так ничего не получится, что надо изучать документы последовательно, в хронологическом порядке; еще через какое-то время появилась потребность начать писать до того, как проработаю все, иначе ведь не начнешь никогда, все время будешь что-то уточнять и дополнять.

Летом 1985 года были написаны три первые главы. Книга и дальше писалась только летом, когда была возможность сосредоточиться: зимой отвлекали университетские дела и необходимость выполнять какие-то прежние обязательства. В это время приходилось ограничиваться обработкой написанного и изучением архивных материалов: к Архиву Академии присоединились и другие санкт-петербургские архивы, а также архив А. М. Горького в ИМЛИ. Я уж не говорю о большом количестве привлеченных мною печатных работ — Крачковского и о Крачковском.

Постепенно мне становилось ясно, что книга получается не совсем такая, как представлялось в начале работы: стержнем ее оказывалась не столько характеристика научной деятельности И. Ю. Крачковского и анализ ее значения для современного развития арабистики, даже не то, какими путями он шел к той или иной теме, сколько личность моего учителя. О Крачковском как ученом написано много статей и прочитано много докладов, да и большая часть его научных трудов доступна современному читателю. А что он представлял собой как человек (это ведь не менее важно!) сейчас уже не знает почти никто. По-настоящему своего учителя не знали и мы, заставшие его в живых, теперь уже старые младшие ученики.

Его жизненный путь отнюдь не был усыпан розами. В письмах, дневниках, документах перед нами предстает человек, который, не будучи бойцом по натуре своей, в самые трудные для нашей культуры времена сумел сохранить достоинство — свое и своей науки, не шел никогда против собственной совести, честно служил своему долгу перед наукой и перед людьми. Он был диссидентом не в современном употреблении этого слова: никогда, ни устно, ни письменно, не участвовал он в антиправительственных политических

выступлениях, но всегда, чего бы это ему ни стоило, сохраняя собственную точку зрения на вещи и высказывал ее, не поддаваясь соблазну более легкого конформистского пути, не боясь поднять свой голос в защиту истины и справедливости.

Получилась книга о том, как настоящий ученый остается Человеком в любых условиях. Смею думать, подобная книга особенно нужна в наши дни, когда в России с такими трудностями восстанавливаются общечеловеческие нравственные ценности, когда люди, в свое время поправшие их — от страха ли, ради ли выгоды, — стремятся доказать, что тогда, в сталинские времена, иначе нельзя было выжить.

6

Нет, неправда. Можно было. Вся жизнь И. Ю. Крачковского (да и не его одного!) служит тому доказательством. Он выстоял — и выстояли его соратники, его старшие ученики, бравшие с него пример и черпавшие от него силу. Я убеждена: благодаря их непреклонности русская, а в особенности петербургская, арабистика смогла сохранить доныне достойный научный уровень и живую

В этой книге нет ни капли вымысла. Все факты, мнения, высказывания (за исключением моих личных воспоминаний) строго документированы; свои же собственные интерпретации описываемых мною событий, поступков или приводимых слов я всегда оговариваю. Мне ничего не надо было приукрашивать или что-то присочинять «для занимательности» — картина, которую создают подлинные документы, по-моему, сама по себе настолько увлекательна и драматична, что не нуждается ни в какой беллетризации.

Хочу надеяться, что я оправдала доверие, оказанное мне учителем почти полвека назад.

В заключение считаю своим приятным долгом от души поблагодарить сотрудников Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, ныне действующих и бывших: В. И. Александрову, В. С. Соболева, Н. С. Прохоренко, М. Ш. Файнштейна, Э. Н. Филиппову, Г. Н. Чеботареву, И. А. Шафран и других, которые в течение всех десяти лет с неизменной доброжелательностью и заинтересованностью помогали мне в работе над материалами этой книги. Я благодарю также М. В. Баньковскую, которая постоянно делилась со мной своими архивными находками и предоставила в мое распоряжение переписку Алексеевых и Крачковских. Благодарю и Б. С. Кагановича, приславшего необходимые мне выписки их дневника Е. Г. Ольденбург.



ГЛАВА I

Семейство « польских аристократов »

В сороковые годы среди студентов Восточного факультета Ленинградского университета, где преподавал И. Ю. Крачковский, распространено было убеждение, что он — потомок какого-то

старинного дворянского рода. Правильные черты лица, непринужденная элегантность, благородная сдержанность манер, простота в обращении при постоянном сохранении собственного достоинства — казалось, все говорило о его «аристократическом» происхождении. «Польский аристократ», — добавляли некоторые со знанием дела.

В действительности же — ничего подобного. Дед Игнатия Юлиановича, Фома Крачковский, происходил из белорусских крестьян и женат был на дочери медника. Благодаря хорошему голосу он получил место псаломщика в православной церкви села Озяты Гродненской губернии, принадлежавшего графу де Полиньяку, который выделил ему небольшое количество пахотной земли и сенокосов.

Фома Крачковский умер в 1847 году, оставив трех дочерей и семилетнего сына Юлиана. Мальчика определили в почетническую школу в Торокянах, а затем в духовное училище в Жировицах. Его дальнейшую судьбу решил такой же, как у отца, красивый голос: на него обратил внимание один из виленских церковных деятелей, специально объезжавший ближние уездные училища, подбирая мальчиков для хора митрополита Литовского и Виленского. Так Ю. Ф. Крачковский попал в Виленское духовное училище, а далее путь его лежал в Виленскую духовную семинарию, где он был назначен регентом семинарского хора.

Несомненно, помимо хорошего голоса он обладал и живым умом и любознательностью: биографы Юлиана Фомича рассказывают, что в семинарии он пристрастился к серьезному чтению, стал самостоятельно изучать новые языки, собирать библиотеку. Семинарию он окончил с блеском и в 1861 году на казенный счет был послан для продолжения образования в Санкт-Петербургскую Духовную академию.

7

В Академии Юлиан Фомич попадает под опеку профессора-славянофила М. О. Кояловича, привечавшего всех студентов из Литвы, становится его любимым учеником. «Вы моя радость и гордость», — пишет ему впоследствии М. О. Коялович в одном из писем [цит. по: Памяти Ю. Ф. Крачковского. 60, 25 июля 1913 г.].

Очевидно, влияние учителя и определило дальнейшие научные склонности Юлиана Фомича: он занялся изучением истории, этнографии и фольклора Западного края, особое внимание уделяя роли русской культуры. Специалистам хорошо известны его труды «Сборник русских народных гимнов и песен» (1869), «Быт западнорусского селянина» (1874), «Старая Вильна» (1889), «Русско-польские отношения» и др.; писал он также работы по истории церкви. Биограф Ю. Ф. Крачковского В. Голуб так оценивает его научную деятельность: «Он обладал громадной начитанностью, глубоким умом, знанием польского, древних и новых языков и кроме того имел прекрасную библиотеку. Он был проникнут глубоким уважением к печатному слову, поэтому в своих научных занятиях и исследованиях он проявлял особую аккуратность, строгость и внимание, почему его печатные произведения отличаются строгой обоснованностью на документальных данных, ясностью изложения,

логичностью выводов и объективным отношением к рассматриваемым вопросам» [14, с. 33].

При этом Юлиан Фомич отнюдь не являл собой тип кабинетного ученого: избранный председателем Виленской комиссии по разбору и изданию древних актов, он многое сделал для пополнения Виленской публичной библиотеки и Музея древностей, организовал местное отделение географического общества, сотрудничал в газете «Виленский вестник» и в других местных печатных органах и более двадцати лет преподавал в педагогических учебных заведениях.

Этот человек был способен и на самые неожиданные поступки: так, будучи всеми уважаемым директором Виленского педагогического института, отцом четверых детей, он мог вдруг сорваться с места и по зову случайно встреченного прежнего сослуживца отправиться со всей семьей в Ташкент, директором Туркестанской учительской семинарии — «работы выше головы, люди нужны, края донельзя интересные» [А, оп. 2, М» 88, л. 132].

Вспоминавшие Ю. Ф. Крачковского всегда подчеркивали, что он был человеком дела, а не слов [А, оп. 2, № 125, л. 10; № 127, л. 2]; сам он писал генерал-губернатору Туркестанского края так: «Я богат и даже очень богат, но не в том смысле, как это понимают другие. Я богат тем, что, слава Богу, ни я, ни семья моя никогда не страдали от болезней и вообще от особых несчастий; богат тем, что я чувствую в себе силы работать, люблю работать и никакая работа меня не страшит; богат еще и тем, что до сих пор не создал никаких особых привычек относительно пищи, питья, и потому меня не страшат никакие так называемые невыгодные

8

условия жизни. Это мое богатство, и я хотел бы передать его моим детям» [цит. по: 14, с. 30].

Служебная карьера Ю. Ф. Крачковского складывалась на редкость удачно: начав ее после окончания Академии в 1865 году скромным наставником в учительской семинарии г. Молодечно, он в 1888 г. уходит в отставку, покидая солидную должность главного инспектора училищ Туркестанского края, в чине действительного статского советника, кавалером орденов Св. Владимира III и IV степени, Св. Анны II степени и Св. Станислава I, II и III степени, владельцем 360 десятин земли. Надо полагать, столь успешному продвижению по службе способствовало то обстоятельство, что русофильская направленность его научно-педагогической деятельности объективно так или иначе оказывалась в русле русификаторской политики царского правительства, хотя какие бы то ни было шовинистические настроения были Юлиану Фомичу чужды: по утверждению В. Голуба, «он уважал справедливые общечеловеческие интересы других элементов, населявших лоно Литовской Руси» [14, С 2111].

Карьеризм, очевидно, также был ему чужд: современники в один голос говорят о его скромности, полном равнодушии к каким бы то ни было внешним почестям, к расположению власть и силу имущих; по завету Юлиана Фомича, его даже хоронили без всякой показной пышности, без венков и речей, что у некоторых вызвало недоумение [60, 29 июля 1903 г., № 174, с. 3; 63, 9 авг. 1905 г., № 205, с. 3].

Сжатую, но весьма яркую характеристику Ю. Ф. Крачковскому дает все тот же В. Голуб: «Отличительными чертами его характера были: отсутствие мелочности и всякого искательства, смелость в отстаивании своих мнений и убеждений, некоторая резкость и прямолинейность в отношении к другим. Он всегда и при всех обстоятельствах держал себя не только самостоятельно, но и с достоинством, но это последнее не было результатом его гордости и самонадеянности, так как по натуре своей он был человек крайне простой и в высшей степени нетребовательный в жизни. Он избегал всего показного, не придавал значения той внешности и той суете житейской...» [14, с. 34].

А вот уже не оценка официального биографа, а страничка из воспоминаний дочери, все на ту же тему: «Папе на "коронацию" дали чин действительного статского советника, чем сам папа был нимало не польщен, но в доме это произвело огромное впечатление. Собрались гости; они приставали к папе по поводу его "генеральства" и все советовали ему записываться в какую-то "дворянскую книгу", так как теперь, благодаря его чину — мы становимся дворянами... "Ну, зачем мне все это, — посмеиваясь говорил папа, — дали "генерала" — и слава Богу, но вы же все прекрасно знаете, что не чины и отличия были всегда целью моей жизни. Важно для сыновей?.. Но если мальчуганы мои вырастут разумны

9

ми, дельными людьми — они сами выслужат себе все что захотят... А дочка? Да она все равно будет числиться по званию мужа — значит ей все это ни к чему. Или вы думаете, что на дворянке скорей кто-нибудь женится? Ну так извините меня — я ее отдам тому, кто будет ценить ее самое, а не ее звание — вот и все. О чем же мне хлопотать?"» [А, оп. 2, М? 88, л. 89].

Скончался Юлиан Фомич 25 июля 1903 года скоропостижно, от паралича сердца. Отклики местной печати — некрологи, описание похорон, статья на десятую годовщину смерти [14; 60, № 173, 27 июля 1903 г.; № 174, 29 июля 1903 г.; № 176, 31 июля 1903 г.; 25 и 26 июля 1913 г.] — все свидетельствует о большом уважении, которым он пользовался у местной общественности.

Ю. Ф. Крачковский был женат на дочери виленского протоиерея Анне Антоновне Пщолко (ум. 31 июля 1901 г.). У них было четверо детей: Николай (1871—1927), Юлия (1874—1942), Алексей (1876—1905) и последний, много моложе братьев и сестры, — Игнатий (1883—1951). В семье жила также бабушка Паулина Игнатьевна, тетка Анны Антоновны с материнской стороны, католичка, вероятно — полька. По не внушающим особого доверия мемуарам некоей М. Н. Билибиной, которая однажды девочкой проводила лето на даче у Крачковских, бабушка эта во время польского восстания 1863 года «из чувства патриотизма торговала в лесу в корчме и помогала повстанцам» [А, оп. 2, М» 72, л. 4]. В воспоминаниях сестры И. Ю. Крачковского, Ю. Ю. Снитко, упоминается, что Паулина Игнатьевна поселилась у своей младшей сестры, матери А. А. Пщолко, «после того как она потеряла решительно все: и мужа, и двух сыновей, и все, что удалось собрать по крошкам за всю трудную жизнь» [А, оп. 2, № 88, л. 15]. Католичество не мешало ей ладить с православными

племяннице и зятем и даже дружить с посещавшим дом православным священником — еще одно свидетельство терпимости, Царившей в семье Крачковских.

Достаток в доме был, но не чрезмерный. Еще не дослужившись до «генеральского» чина, Ю. Ф. Крачковский, не унаследовавший, как и его жена, никакой земельной собственности, смог приобрести имение Смилка на ст. Игналина; в 1895 году имение было продано и куплено другое — Черкасы Ошмянского уезда, недалеко от Крево (Западная Белоруссия). Здесь до 1915 года все члены семьи обычно проводили лето.

Дом Крачковских, по воспоминаниям Юлии Юлиановны, славился радушием и хлебосольством, но без стремления пускать гостям пыль в глаза. Детям дорогих сластей не покупали, воспитывали в них здоровое, крестьянское, «бережное отношение ко всякому хлебу... не потому что над ним тряслись... а потому что всякое неряшество за столом... считалось неуважением к "Божьему дару" и к тем, кто этот хлеб для нас зарабатывал» [там же, л. 139].

10

Дети росли «незаметно и дружно» [там же, л. 26), не причиняя старшим особых забот; зная, что те всегда заняты делом, сами выдумывали себе развлечения, «умели радоваться — будучи неизбалованными — каждому пустяку и все были веселы и довольны» [там же, л. 10], любили природу, книги, к четырем годам все уже умели читать; на книги не накладывалось никаких запретов. Летом детей привлекали к работам в саду и на огороде; старший брат, Николай, питавший склонность к сельскому хозяйству, целые дни пропадал в полях и на лугах, хорошо ездил верхом.

С ранних лет детям прививалось уважение к науке. В. Голуб приводит любопытный завет Юлиана Фомича, обращенный к ним: «Все изменит — и дружба, и любовь, и деньги, и здоровье, — одна наука не покинет человека никогда, всегда даст утешение и поможет легко перейти ему в иной мир» [14, с. 37].

До гимназии детей учили дома «по всем предметам» [А, оп. 2, № 88, л. 140]; обучали также музыке и французскому языку. Да и переезд в Туркестан, по мнению отца, особенно полезен был именно детям — для расширения их кругозора. Многим друзьям и домашним эта поездка не без основания казалась авантюрой: пускаться в такой дальний и трудный путь с четырьмя детьми, младшему из которых всего полтора года! Ю. Ф. Крачковский, по словам дочери, парировал эти возражения так: «Неужели вы думаете, что так весело и полезно детям за печкой всю жизнь просидеть? А что я им могу дать при моих средствах, куда могу их повезти, что показать? А между тем путешествие — великая вещь, приносящая большую пользу: они увидят всю огромную страну, массу прекрасных мест, новых людей, обычаев и нравов, наберутся свежих памятных на всю жизнь впечатлений — вообще получают великолепный урок практической географии... Волков бояться — в лес не ходить» [там же, л. 133].

Все дети Крачковские, по словам мемуаристов да и по портретам, были хороши собой — не очень высокие, правда, но пропорционально сложенные, темноволосые, голубоглазые, с правильными чертами лица [А, оп. 2, № 72, л. 5—6; оп. 7, № 25, л. 22]. Притом все они отличались художественными склонностями: Николай хорошо пел и

играл на баяне, Алексей рисовал, Юлия имела прекрасный голос и писала стихи, Игнатий играл на цитре и фисгармонии, и все, подобно отцу, обладали также хорошим литературным слогом. Между собою, очевидно, дети были очень дружны: помимо воспоминаний Юлии Юлиановны, касающихся их раннего детства, об этом свидетельствует неизменно сердечный тон переписки, пестрящей веселыми домашними прозвищами; даже у отца был свой «псевдоним» — Старец Симеон.

Итак, семейная идиллия. Однако эта идиллическая жизнь была очень строго отрегулирована: все в доме делалось по часам, точно, минута в минуту. Снова обратимся к записям Юлии Юлиановны: «Иного порядка мы себе представить не могли, прислуга и та была

11

приучена к работе по часам и никаких недоразумений на этот счет, например с опаздывающим обедом, чаем, уборкой комнат или топкой печей — никогда не бывало, ничто в этом направлении не менялось годами и жизнь шла определенно и размеренно, как по рельсам... Вставали мы — дети — как по команде в семь; никакие опоздания и просыпания — не допускались; считалось, что если мы ложимся аккуратно и спим хорошо (а мы тогда о бессоннице понятия не имели), то в положенное время можно успеть достаточно выспаться» [А, оп. 2, № 88, л. 13].

Далее Юлия Юлиановна приводит распорядок дня с точно отведенным временем для уроков, прогулок, обеда, чая и т. п.; спать дети отправлялись ровно в 9, какое бы ни было торжество и кто бы ни был в гостях.

В этом порядке была суровость и жесткость. Так, например, гостей собирали точно к семи: «Папа всем раз навсегда сказал: "Не раньше и не позже, так как в семь часов дверь будет закрыта"» [там же, л. 118].

Отец, «человек дела, а не слов», в этом же духе строил и свои отношения с детьми. Рассказывая о привлечении их ко всякого рода домашним работам, Юлия Юлиановна замечает: «Нам казалось вполне естественным и самым делать что-нибудь, и в голову не приходило, что это может быть "скучно", "надоело" или "не хочется". У нас вообще на такие темы никто никогда не разговаривал: с первых сознательных дней мы слышали только слова "надо" или "не надо", "должен" или "не должен"» [там же, л. 93].

Строго регулировались и выдаваемые детям карманные деньги: так, четырнадцатилетний гимназист И. Ю. Крачковский сообщает в письме к сестре, что отец, уезжая из Вильны, дал ему на месяц всего 7 рублей, из которых 2 рубля должны были остаться к его возвращению, «значит, на день 16 коп.» [письмо от 18 сент. 1897 г.; А, оп. 3, № 26, л. 9].

Жесткость проявлялась и в решении более серьезных вопросов, касающихся судьбы детей, особенно дочери. Юлия Юлиановна мечтала серьезно учиться пению, просила разрешения поступить в музыкальное училище, мечтала изучать итальянский язык, но с планами ее никто не считался [А, оп. 2, № 88, л. 142]: родители не отпустили ни в Петербург, ни в Киев, не дали даже возможности учиться в Вильне [А, оп. 2, № 130, лл. 2, 4, 24, 30, 38]. А способности, несомненно, были: много раз Юлия Юлиановна выступала в

любительских концертах и всегда — с большим успехом [там же, лл. 8, 21, 57, 63, 75]. Резкие разногласия возникали и в связи с замужеством: дважды не разрешали ей выйти замуж за того, за кого ей хотелось; всем прочим женихам, которые нравились родителям, она отказывала: «они были все очень достойные люди, и я их жалела, но и только» [там же, л. 39]. Из-за этого не раз происходили серьезные конфликты. В тетрадке со стихами Юлии Юлиановны к одному из них она дает такое примечание: «Очередное сватовство

12

и мой очередной отказ. Драма. Не давали ни петь, ни учиться» [там же, л. 30]. Очевидно, состоявшийся в 1897 году брак Юлии Юлиановны с С. К. Снитко, инженером-путейцем, сыном одного из учителей Ю. Ф. Крачковского в духовной семинарии, был известным компромиссом; у Игнатия Юлиановича в дневниковой записи от 25 июля 1898 года замечено, что у них в семье «все соединяются не с теми» [А, оп. 2, № 4, л. 34].

Странную роль в семье Крачковских играла мать. Она словно бы и не занималась семьей и детьми. В воспоминаниях Юлии Юлиановны — особенно о 80-х годах — много и очень тепло говорится об отце, задававшем тон в семье, и о бабушке, которая вела все хозяйство. О матери упоминается лишь изредка: «Мама стояла всегда очень далеко от хозяйства, не любила и не понимала его» [А, оп. 2, № 88, л. 35]. Или: «Когда мы ехали в Ташкент, мама тяжело заболела и мы вынуждены были оставить ее на полдороге» [там же, л. 140]². Или вот еще очень характерное замечание: «Мы страшно радовались, когда папа или бабуля присоединялись к нашим играм и шалостям» [там же, л. 27]. Папа или бабуля... А что же мама?

Да и в тех случаях, когда мать занималась детьми, это порой оказывалось чреватым опасными последствиями. В. А. Крачковская в заметках о детстве Игнатия Юлиановича, очевидно со слов Ю. Ю. Снитко, описывает два случая. Однажды мать дала ребенку поиграть медный пятак, он засунул его в рот и чуть не задохнулся. В другой раз, уже по дороге из Ташкента, в московской гостинице она заснула, оставив окно открытым, и мальчик чуть не упал с третьего этажа: он уселся на окно, свесив ноги наружу, и смотрел вниз [А, оп. 6, № 198, л. 1].

Характер у матери был неуравновешенный; быть может, она страдала каким-то нервным заболеванием. На мысль об этом наводит эпизод, рассказанный Юлией Юлиановной: в ИгнаLINE, когда брат был еще совсем маленьким, Юля мыла рожок (почему-то единственный в доме), из которого кормила мальчика, и по нечаянности разбила. Последовала дикая сцена: «Мама дала мне такую взбучку, что я почти потеряла сознание» [А, оп. 2, № 88, л. 99]. Характерно также, что в случае шалости детей бабушка уговаривала няню «маму не беспокоить» [там же, л. 129].

После Ташкента между родителями начался разлад, о чем неоднократно упоминает Юлия Юлиановна. Бывало, что мать, захватив ее и младшего сына, неожиданно бросала городскую квартиру и уезжала в ИгнаLINE. «На Игнату, как на ребенка, все это производило, быть может, впечатление только известного разнообразия, но на меня эти постоянные и неожиданные переезды действовали гнетуще, — вспоминает она. — Я тосковала о

создавшемся положении, о котором слишком рано и горько приходилось задумываться» [там же, л. 142]. Бабушка к тому времени очень по

13

старела (ей было уже около восьмидесяти;3, стала суетливой. «Нами никто не интересовался... Дома было смутно [там же, л. 143].

Когда Юлия Юлиановна вышла замуж и уехала, беспокойства и напряженности в доме не убавилось: Николай Юлианович женился, и мать не ладила с молодой невесткой (об этом есть записи в дневнике Игнатия Юлиановича от 5 и 12 июня 1898 г. [А, оп. 2, № 4, лл. 22, 23—24]). Атмосфера накалялась; случались минуты, когда Игнатий Юлианович был «с удовольствием готов бежать из дому» [там же, л. 23].

Еще одно свидетельство домашнего неблагополучия — сохранившиеся в архиве Игнатия Юлиановича стихи Юлии Юлиановны 1889—1896 гг. Печальную щемящую тональность большинства из них можно было бы счесть данью обычному юношескому романтизму, если бы не авторские примечания (вероятно, более поздние) о конкретных поводах написания того или иного стихотворения. И такая характерная деталь: в тетради есть стихи памяти бабушки [А, оп. 2, № 130, л. 45], памяти отца [там же, л. 62, л. 87], но нет стихов, посвященных матери, умершей на два года раньше Юлиана Фомича. Правда, с 1896-го по 1902 год Юлия Юлиановна свои стихи в тетрадь не записывала «в силу крайне подавленного настроения» [там же, л. 51] — косвенное подтверждение того, что замуж шла без радости, — но такое могла бы восстановить потом?

Игнатий Юлианович в дневнике фиксирует скупое: «31 июля. Умерла мать в 9 часов вечера» [А, оп. 2, № 4, л. 94]. И все. Ни эмоций, ни описания обстоятельств кончины. В сохранившихся письмах — только глухие намеки на происшедшее.

Не будем гадать о причинах разлада между родителями, об отношении детей к матери, от чего она умерла. Пусть семейная тайна тайной и останется. Но так или иначе все сохранившиеся записи, письма и воспоминания недвусмысленно говорят о том, что воспитанием Игнатия Юлиановича с раннего детства занималась не столько мать, сколько сестра, которая уже в десятилетнем возрасте, по словам старшего брата, лучше всех умела с ним обращаться [А, оп. 2, № 88, л. 130].

Во время переезда в Ташкент и болезни матери, вспоминает Юлия Юлиановна, «мальчуган, тоже больной, перешел вполне на мое попечение, и хотя я сама была совершенно больна после того, как нас разбили лошади — ходила я за братишкой не помня себя и выходила, хотя был день, когда мы с папой уже ожидали его смерти. Мне было десять лет, ему — год с небольшим, и три месяца он не сходил с моих рук, и папа был совершенно спокоен и за него, и за меня» [там же, л. 140].

На попечении сестры мальчик часто оказывался и по возвращении из Ташкента, особенно во время внезапных отъездов в Игнали-ну. Среди стихов Юлии Юлиановны есть посвященное И. — очевидно, брату — с примечанием: «Ужасно жалела малыша... отказалась уйти из дому...» [А, оп. 2, № 13]UJL.48].

Переписка брата и сестры, начавшаяся сразу после замужества и отъезда Юлии Юлиановны, продолжалась всю жизнь (за исключением тех периодов, что им удавалось жить вместе) и свидетельствует об очень большой их дружбе, полном взаимном доверии и взаимной заботливости; многие письма Юлии Юлиановны начинаются обращением: «Милый детка», «Милый детка Игнушка» и т.п.—даже когда брат уже совсем взрослый. У Юлии Юлиановны не было детей (судя по письмам, она очень много болела), и материнское отношение к младшему брату у нее сохранилось на всю жизнь.

В письмах отражается ее незаурядная натура. Тон писем, правда, не очень веселый (в одновременных комментариях к стихам упоминается о постоянных «страданиях», «бедах», «испытаниях»), но брата она все время старается подбодрить. Помимо сообщений о семейных делах и заботах, к которым она относилась с чисто крачковской добросовестностью, письма содержат размышления о политических событиях, упоминания, а порой и меткие замечания о прочитанных книгах (в том числе — серьезных философских трудах), просьбы достать в Петербурге ту или иную книжную новинку. Первое время после замужества Юлия Юлиановна продолжала заниматься пением, пробовала сочинять романы, а стихи продолжала писать всю жизнь (последнее стихотворение датировано 1941 годом). Кое-какие ее стихи, преимущественно патристического содержания, публиковались в газетах, особенно во время первой мировой войны. В 1929 году, когда муж Юлии Юлиановны вышел на пенсию, они переехали к Игнатию Юлиановичу в Ленинград и жили в его квартире на Васильевском острове до самой ее смерти весной блокадного 1942 года.

Несколько слов следует сказать и о судьбе старших братьев. Николай Юлианович окончил Военно-медицинскую академию, участвовал в качестве военного врача в русско-японской войне, а затем долгие годы был земским врачом в Сморгонском уезде Виленской губернии, позже заведовал больницей в Крево. Жил он с семьей в имении Черкасы, помимо медицины много внимания уделял сельскому хозяйству, увлекался коневодством. Судя по письмам и по воспоминаниям В. А. Крачковской, это был наиболее жизнерадостный человек из всех детей Крачковских: очевидно, родительские нелады коснулись его меньше других, потому что он был к тому времени уже взрослым, да и занимался постоянно множеством практических дел. После долгих скитаний во время первой мировой войны (он был мобилизован, но работал в тылу, а Черкасы попали в зону немецкой оккупации, имение было разграблено и разрушено), Николай Юлианович с женой и двумя сыновьями вернулся в Крево, которое после войны оказалось на территории Польши, продолжал врачебную деятельность и умер в 1927 году от грудной жабы.

Судьба второго брата, Алексея, была печальной. Талантливый художник, он поступил на архитектурный факультет Академии художеств, но вел беспорядочный образ жизни (возможно, это было выражением внутреннего протеста против строго

регламентированного домашнего быта?), много пил и в возрасте 28 лет умер в Петербурге от болезни печени и почек.

Психологи говорят, что основы характера закладываются в первые пять лет жизни человека. Из дальнейшей биографии И. Ю. Крачковского видно, какое влияние оказал семейный уклад и семейные взаимоотношения на формирование его личности: из семьи он вынес страсть к чтению, стремление заниматься наукой и великое уважение к ней, здесь он стал «человеком дела, а не слов». В семье были заложены основы его невероятного трудолюбия и организованности в работе, привычки четко рассчитывать свое время, заполнять его до предела. От отца унаследовал он, очевидно, и чувство собственного достоинства, умение сохранять его во всех обстоятельствах, смелость в защите справедливости и отстаивании своих убеждений, полное отсутствие и высокомерия, и угодничества. Отцу он обязан и стойким патриотизмом, наложившим отпечаток на всю его деятельность.

Но из детства же берут начало и физические немощи, не дававшие ему покоя всю жизнь (начало их — болезнь по дороге в Ташкент), и грустная окраска его мировосприятия, доходящая порой до мизантропии, его конфузливость, неуверенность в себе, постоянное недовольство собой, от которого он так никогда и не избавился.

ГЛАВА II

Что есть истина?

Воспоминания Ю. Ю. Снитко кончаются описанием отъезда в Ташкент (1884 г.) и следующими за этим краткими заметками о жизни в Ташкенте и сразу же по возвращении оттуда, поэтому о самом Игнатии Юлиановиче в этих воспоминаниях говорится мало — дается лишь несколько умилительных портретов Крачковского-младенца, не более того. Кое-какие добавочные сведения о его раннем детстве содержат записи В. А. Крачковской, сделанные со слов той же Юлии Юлиановны и частично — самого Игнатия Юлиановича. Из них мы узнаем, что «востоковедом» он стал, оказывается, в самом «нежном» возрасте: в Ташкенте у него была няня-узбечка («сартянка») и говорить по-узбекски он выучился раньше, чем по-русски.

Когда отец стал главным инспектором училищ Туркестанского края, он нередко захватывал с собой в разъезды трехлетнего Игнату. При остановках в кишлаках женщины часто брали его к себе в гарем, «играли и забавлялись с ним» [А, оп. 6, № 198, л. 2].

По этим записям также можно судить о том, что положение младшего брата в семье приносило мальчику больше огорчений, чем радостей. В городской квартире ему мало приходилось играть в подвижные игры, потому что это мешало старшим братьям, а когда по вечерам вся семья собиралась за большим столом под лампой и каждый занимался своим делом, «Игнаша хотел заниматься тоже, но его старались отвадить» [там же, л. 2] — снова он всем мешал.

Зато в деревне он чувствовал себя свободно. Когда немного подрос, бегал с подпасками, знал повадки домашних животных и птиц, умел подражать их голосам — и животные ему откликались.

В четыре года он самостоятельно выучился читать: брал газету и спрашивал у старших, где какая буква. С раннего детства он много читал. У Крачковских была большая библиотека, собранная отцом; в нее вошла и часть библиотеки родственника матери Игнатия Юлиановича Ю. Пшолко, смотрителя Виленского училища, в котором учился Ю. Ф. Крачковский. Библиотека помещалась над погребом в Черкасах. Она очень ярко описана самим И. Ю. Крач

16

ковским в книге «Над арабскими рукописями»: «На второй этаж... вела наружная лестница; там находилась одна большая жилого вида комната, в которой, однако, ничего кроме книжных шкафов и полок не было; дополнением к ним служили круглый рабочий стол со стульями и узенький диван. Вся мебель была старинная, светло-ясеневое дерево с такой же старинной обивкой... Здесь я дневал и ночевал, устраивая свою несложную постель на диванчике» [28, с. 31].

Большая часть этой библиотеки погибла во время первой мировой войны.

А вот и единственное свидетельство со стороны об И. Ю. Крачковском — десятилетнем мальчике — из упомянутых выше воспоминаний М. Н. Билибиной. Правда, они написаны много позже, когда И. Ю. Крачковский был уже академиком — то есть с определенной тенденцией, — но тем не менее содержат некоторые любопытные штрихи: «Младший мальчик Игната каждый день приходил к нам играть, и нам всегда было жалко, что он никогда не хотел остаться у нас завтракать. Его лицо было и красиво и замечательно, и, как я теперь понимаю, он уже бессознательно хорошо носил костюм, чего мы отнюдь не умели. Я не знаю, о чем я могла говорить тогда, но у меня осталось впечатление, что все, что я слышала от Игнаши, было очень интересно, и я думала: "Игната вроде ученого"» [А, оп. 2, № 72, л. 6].

В 1893 году И. Ю. Крачковский поступил в I Виленскую гимназию. Она помещалась в здании бывшего Виленского университета; через окна некоторых классов была видна башня обсерватории, а на гимназический двор выходила задняя стена костела Св. Яна, откуда нередко во время уроков доносились звуки органа. По воспоминаниям И. Ю. в этой гимназии «подбор преподавателей в некоторое время был очень хороший» [А, оп. 1, № 317, л. 1]. Так, в ней преподавали будущие академики В. Г. Васильевский (византист) и Е. Ф. Карский (филолог-славист); Крачковский называет среди лучших и своего учителя русской словесности Серебрякова, всегда тщательно готовившегося к урокам и поражавшего учеников превосходным знанием предмета, и учителя греческого языка Н. А. Счастливцева, который вдохнул в него «особую любовь к классицизму не столько *verbis*, сколько *suī exemplo*» [А, оп. 2, № 4, л. 117]. Среди выпускников этой гимназии за многие годы числились О. И. Сенковский — профессор Петербургского университета, братья Пташицкие — математик и филолог, братья Кулаковские — славист и историк, знаток канонического права В. Н. Бенешевич и, наконец, известный египтолог Б. А. Тураев.

Национальный состав гимназистов был разнообразен: поляки, литовцы, белорусы, украинцы, евреи, литовские татары. «Несмотря на очень сложные тогда моменты в политике царского правительства, — вспоминал впоследствии И. Ю. Крачковский, — никакой розни между нами не было, а смешанный состав помогал

22

расширению горизонта, иногда знакомству с разнообразными языками, разнообразными культурами» [А, оп. 1, № 317, л. 3].

Кстати, именно в гимназии продолжилось знакомство И. Ю. Крачковского с восточными языками. Его близким товарищем был тогда сосед по парте — будущий композитор М. О. Штейнберг, сын инспектора Еврейского учительского института. «Заметив как-то раз, когда я был у Макса, что я пытаюсь читать по-еврейски, он подарил мне свой учебник и потом неоднократно шутя проверял, умею ли я разбирать Библию» [А, оп. 1, № 317, л. 3]. В богатой гимназической библиотеке Крачковский впервые увидел также и «два внушительных тома арабской грамматики Сильвестра де Саси на французском языке» [там же, л. 2].

В гимназические годы И. Ю. Крачковский, начиная с середины IV класса (с января 1897 г.), вел дневник — правда, нерегулярно. В средних классах (IV—VI) больше всего записей о шалостях школьных товарищей, об экзаменах. Учился он хорошо, преимущественно на пятерки, неизменно кончал учебный год с наградой первой или второй степени. Однако идеальным учеником он в те годы не был: забавно читать признания будущего академика, впоследствии являвшего собой образец научной добросовестности, о том, как он решил экзаменационную задачу по алгебре только после подсказки товарища или на экзамене по французскому языку вытащил невыученный билет и «перевод отвечал только потому, что книга была подписана» [А, оп. 2, № 4, л. 15]. Иногда наступало раскаяние: «Собираюсь в этом году заниматься серьезно, так как заметил к своему крайнему прискорбию, что в течение пяти лет ничего не делал», — пишет он сестре 5 августа 1898 г. [А, оп. 3, № 26, л. 14], но, пожалуй, вполне серьезный подход к гимназическим занятиям начинается лишь в двух последних классах.

По дневнику создается впечатление, что больше, чем учение, в эти годы И. Ю. Крачковского занимала музыка. Для возникновения интереса к ней была соответствующая обстановка и дома, и в гимназии: то, что называется ныне художественной самодеятельностью, поощрялось директором. Несомненно, играла роль и дружба с М. О. Штейнбергом.

Характерно, что и дневник Крачковского начинается именно с краткого описания и оценки новогоднего концерта 2 января

1897 года. Сам он немного умел играть на фисгармонии, но с

1898 года начинается новое музыкальное увлечение — цитра. «Влюбился в ц., — записывает он после елки 4 января 1898 г. [А, оп. 2, № 4, л. 6 об.]; 25 января того же года «после многих треволнений» цитра куплена, он начинает брать уроки у одного из преподавателей Учительского института и уже на следующей елке, 4 января 1899 г., играет дуэт с товарищем по классу и производит «большой эффект». Тут даже появляется одна из столь редких в его дневнике

хвастливых записей: «А ведь году нет как играю, знай наших! В следующем году соло буду жарить!» [там же, л. 8].

18

И далее по всему дневнику разбросаны записи о музыкальных занятиях и впечатлениях.

Встречаются и попытки стихотворства — впрочем, довольно слабые: поэзия так и не стала его стихией.

Но вот среди детских записей про школьные дела и музыкальные успехи время от времени встречаются строки, свидетельствующие о приступах тяжелой, пожалуй уже не детской, тоски: «Опять тоска. Без цели... Ни мне... Ни я...» [11 авг. 1897 г.; там же, л. 6]. И от этих приступов «одно только утешение книги да цитра!» [12 июня 1899 г.; л. 24].

Пика своего мрачные раздумья достигают летом 1899 года. Ему шестнадцать лет, он перешел с отличием в VII класс, как будто бы «результатами года доволен как в учебном, так и в нравственном смысле» [1 июня; л. 21]. Он живет в своих любимых Черкасах, много читает, переводит Гомера и Цезаря... И вдруг — словно взрыв, лихорадочные подробные записи одна за другой — видно, поговорить было не с кем. Раздумья шли о том, что в те времена называлось «проклятыми вопросами», — обычные для мыслящего молодого человека вопросы, концентрирующиеся вокруг основной проблемы — смысла жизни.

Все начинается с раздумий о будущей профессии — раздумий не по-маниловски мечтательных (он ведь воспитан в атмосфере «дела»!), а трезвых, но не меркантильных — скорее, в нравственном аспекте. Впервые появляется мысль о восточном факультете: «25 июля... не могу прийти к заключению, куда после гимназии поступать. Ко всем специальным техническим [наукам] не чувствую ни малейшей склонности. Вероятно придется либо на восточный, либо в филологический» [л. 35 об.].

Но «кому какой толк от того?» Вот у братьев в руках реальное живое дело — медицина, архитектура, они смогут видеть результаты своих трудов — «только я один какой-то балбес между ними». Быть «классиком» — быть учителем, «забивать головы мальчишкам всякой дрянью» [24 июня; л. 26] — к чему это? Или наука ради науки? «Слыхал я, что наука существует для исследования истины, но опять таки "quid est Veritas"? Ох, как нехорошо! Тут немудрено с ума сойти!» [25 июля; л. 37].

Юношеский максимализм шестнадцатилетнего «человека дела» заставляет его сначала отвергнуть втайне любимую, но абсолютно «непрактическую» науку — филологию и приводит в тупик: «Ни одна из наук меня не интересует или занимает на самое непродолжительное время. Думал я еще в этом году заняться классической филологией, да как подумаю о бесцельности такого занятия, так руки опускаются! Люблю я музыку, да не настолько, чтобы из-за нее все позабыть! И так во всем!» [26 июля; л. 38].

Размышления о своей конкретной судьбе, углубляясь, ведут к размышлениям о смысле жизни вообще. Он ищет ответа в книгах. Ему попадается одно из современных, созвучных его настроению

24

сочинений — роман В. Светлова «В неведомую даль» («очень и очень хорошая вещь»), откуда он делает выписки и резюмирует: «Основная мысль, как мне кажется, сводится к тому, что без веры во что-нибудь нельзя существовать» [25 июля; л. 35].

Но во что верить? Юный Крачковский оценивает современный ему мир, всю обстановку, которая его окружает, весьма критически: «Как присмотришься ко всему окружающему строю, сразу поражает какая-то фальшь во всем, решительно во всем. В религии фальшь, в науке фальшь, в общественном устройстве фальшь, в благотворительности фальшь, везде, куда ни попадет глаз, фальшь» [25 июля; л. 36 об.].

«Из чего беснуются люди, колотят друг дружку? Строят головокружительные дороги, а другие ездят по этим дорогам? К чему все эти фокусы электричества? всякие аэростаты, телефоны, телеграфы, высшие математики, теории вероятностей?» [26 июля; л. 38 об.].

Для многих двигателем является «телец златой», однако есть же люди, которые ему не поклоняются? Что ими руководит? Религия и вера? Но ведь «есть совершенно неверующие люди, двигающие науку и искусство и не преданные златому тельцу...» [л. 39]. В чем для них смысл жизни? В «единении с добром»? — ерунда! В борьбе за существование? Но «к чему бороться, если нет никакой цели этой борьбы?.. Бороться для того, чтобы существовать, существовать, чтобы бороться? Да ведь это полнейшая ерунда, братцы вы мои!» [л. 39—40].

Получается какой-то заколдованный круг, и книги, попадавшие ему в руки, не давали никакого ответа, и не было рядом «толкового парня» [л. 40], с которым можно было бы обсудить все эти вопросы. Макс Штейнберг, очевидно, был так увлечен музыкой, что «мировая скорбь» его не одолевала.

За вторую половину 1899 года записей почти нет — вообще, все размышления в дневнике падают на летние периоды. Просто переписано несколько стихотворений самого разного характера: и популярная когда-то песенка пьяницы («Друзья, подагрой изнуренный»), и чьи-то длинные стихи, содержащие похвалу книгам, и поэма о некоем буре и десяти его сыновьях (это было время англо-бурской войны, когда вся мировая прогрессивная общественность сочувствовала бурам), и, наконец, «Лебединая песня» — очевидно, собственное творение в духе А. В. Кольцова с сетованиями об ушедшей молодости, погубленной «отравой книг» [лл. 42—47].

В. А. Крачковская, очевидно со слов мужа, упоминает, что в VII классе он продолжал размышлять о будущей профессии, «подумывал о морском и ветеринарном училищах» [22, с. 4], но «все это затмила любовь к литературе». В дневнике же эти раздумья не нашли отражения.

Летом 1900 года, подводя итог году предшествующему, И. Ю. Крачковский напишет: «Своим "самоедением" в конце лета

и осенью я себе окончательно испортил нервы и немало здоровья» [10 авг. 1900, г.; л. 52 об.]. От полного отчаяния спасло его, очевидно, все-таки «дело», ставшее для него уже органической

потребностью. Несмотря на то что он много проболел, VII класс И. Ю. окончил первым, продолжая и музыкальные занятия. Летом 1900 года записи идут уже более спокойные, и итог летнего времяпрепровождения, подводимый в дневнике 11 августа, удовлетворяет его самого. Со стороны же глядя, приходится удивляться такой сознательной работоспособности семнадцатилетнего юноши: за два с лишним месяца он научился читать по-польски «почти так же бегло, как и по-русски», прочел довольно много книг по польской, литовской и русской истории и по литературе (особенно русской), привел в порядок библиотеку и написал около 930 карточек для каталога, усовершенствовал, хоть и немного, технику игры на цитре и приобрел некоторое знакомство с классической музыкой [л. 61]. Физически он тоже чувствует себя лучше, а в нравственном отношении «несколько поуспокоился и самоедением теперь по возможности не занимаюсь в виду того, что "противу рожна не попрешь"» [л. 60 об.].

О «нравственном успокоении» свидетельствуют и приводимые им несколько ранее в дневнике (27 июня) «мои житейско-философские воззрения:

1. Свет и во тьме светит и тьме его не объять.
2. Возмездие существует не только небесное, но и земное.
3. Совершившийся факт — самый лучший.
4. Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отказывайся.
5. Чем сильнее дождь, тем скорее он проходит.
6. Плохо, когда курица петухом поет. [л. 51 об.—52].

Он в конце концов укрепляется в решении «петь своим голосом» — то есть посвятить себя филологии, причем востоковедение привлекает его явно больше, чем классика, — может быть, потому, что оно не предполагает перспективы «забивать головы мальчишкам всякой дрянью»?

Этим же летом он и конкретизирует свой выбор: арабско-персидско-турецко-татарское отделение [запись от 10 авг. 1900 г.; л. 62] — вероятно, не без влияния детских воспоминаний. Очевидно, наука для него и представляется тем «светом, что и во тьме светит».

В подготовке к востоковедному будущему проходит последний гимназический год. И. Ю. Крачковский много занимается и читает, записывает свои размышления о книгах — в частности, высказывает свое отрицательное отношение к Ф. Ницше за его антигуманизм [17 авг.; л. 64]. Он стремится кончить год как можно лучше, рассчитывая поступить в университет, но при том, как истый сын Ю. Ф. Крачковского, не подлаживается к начальству, не боится

20

идти на конфликт, если считает себя правым: «Переругался на днях с Орловским (классный наставник. —А. Д.), и надо сказать, очень основательно. Чем все это кончится, не знаю. Я даже подал в отставку от должности библиотекаря, которую исполнял с начала года. Грохоту сей скандал наделал в гимназии массу» [л. 68].. Впрочем, никаких последствий этот инцидент, по-видимому, не имел.

Гимназия наконец благополучно окончена. И. Ю. Крачковский — первый, он получает золотую медаль.

Тут сама собой напрашивается расхожая фраза о том, что мыслящий юноша, жаждущий заниматься наукой, был счастлив расстаться с гимназической схоластикой, рутиной, тормозившей живое биение мысли, и т. д. и т. п. Нет, Крачковский подводит итоги своей гимназической жизни по-другому — как человек, уже научившийся серьезно учиться сам: «По моему мнению гимназия — начало ни злое, ни доброе, а скорее безразличное. Поэтому принесет она добро или зло — это будет зависеть от самого человека, и следовательно, все нарекания на нее людьми не что иное, как сечение самих себя. Меня лично гимназия научила несколько писать и думать, но, конечно, это не могло бы произойти, если бы я сам не стремился работать». Конечно, были и тягостные моменты — бессмысленное выстаивание часами в гимназической церкви или ужасная постановка преподавания древних языков, основанная на тупой зубрежке (Н. А. Счастливцев, о котором упоминалось выше, — не правило, а исключение), но в целом — «о гимназии осталось довольно хорошее воспоминание и даже как-то грустновато было расставаться с нею» [запись от 14 авг. 1901 г.; л. 103 об.—1041.

Представление о своем будущем И. Ю. Крачковский фиксирует в дневнике четко и трезво: «После гимназии я твердо и бесповоротно решил идти на восточный факультет, имея в виду ученую деятельность. Если же, чего Боже упаси, придется бросить восточный факультет, с той же целью перейду на филологический по классическому отделению. Если же и это не удастся, то — в монахи или в какую-нибудь восточную миссию или здесь в простом звании» [л. 74]. Заметим, что его, как и отца, абсолютно не беспокоит, какой чин он будет иметь, он вовсе не жаждет добиться высокого положения. В другой дневниковой записи [л. 102] он говорит, например, что, если по окончании университета ему посчастливится остаться при факультете, то он спокойно до конца своих дней готов пребывать приват-доцентом (а если в монахи — то ведь именно в простом звании).

Как же обстояло дело теперь с «проклятыми вопросами» о смысле жизни и науки? Об этом есть пространная запись в дневнике от 26 июня 1901 года [лл. 75—83] — набросок его «нового мировоззрения», которое сводилось к признанию существования абсолютной истины, атомы которой «разлиты и в науке, и в искусстве

21

и даже в непосредственной жизни» [л. 78 об.]. Цель жизни — в стремлении к истине, однако человеку не дано постигнуть ее полностью. Он должен верить в нее, искать ее; в этих поисках он может ошибиться, оказаться на ложном пути, но, если стремления его искренни, он рано или поздно получит награду — увидит эту истину, пусть даже в надзвездном мире. В древности, особенно на Востоке, когда люди «жили природой», они стояли к истине ближе. Отсюда и окончательный выбор — востоковедение, чтобы, постигнув «восточную премудрость», прийти к истине: «Когда я постигну эту премудрость, когда я овладею ей в полном составе, я умру спокойно, сказав: "Я нашел истину". Если я даже и не найду ее, если все мои взгляды окажутся ложными, я и тогда буду спокоен, зная, что мои

стремления рано или поздно ожидает награда, а что мои ошибки — вина не моя, а моей ограниченности» [л. 83]. I

Итак, найдя для себя моральную опору в этом учении об истине и определив свою цель, И. Ю. Крачковский стал готовиться к университетским занятиям. Как известно, в те времена вступительных экзаменов не было, но, найдя свое дело, он собирался сделать его с полной серьезностью и максимальной отдачей.

Поддержку для себя он нашел в воспоминаниях известного ориенталиста В. В. Григорьева, обнаруженных им в отцовской библиотеке в журнале «Русское богатство». Крачковский цитирует в дневнике возмущенную реплику Григорьева, направленную против студентов, развлекающихся балами, спектаклями и кутежами, не имеющих, по его мнению, «ни тени любви к знанию, ни стремления приобрести его». А конец реплики, осуждающей «людей слов», прямо перекликается с настроениями Крачковских — отца и сына: «И чем больше глубокомысленных фраз отпускает такой юноша, тем он для меня гаже!». «Что ж, покажем, что еще есть и порядочные студенты!» — не без гордости заключает эту выписку И. Ю. Крачковский.

В духе семейных традиций он устанавливает себе на лето 1901 года строгий режим: «Встаю я теперь довольно аккуратно в половине девятого, утром до обеда читаю в библиотеке или играю на фисгармонии; после обеда от трех до пяти или от четырех до шести занимаюсь французским языком, в шесть иду гулять, чай кончаю к восьми, от девяти до половины одиннадцатого опять читаю по-французски, потом полчаса играю на цитре и в одиннадцать иду спать» [запись от 15 июня; л. 89].

Распорядок был нарушен печальным событием — смертью матери. Девять дней после того дневник молчит; потом вновь начинаются записи о прочитанных книгах, собственные толкования библейских изречений, размышления о роли язычества в истории мировой культуры. I

12 августа 1901 г. датирована очень важная для будущих биографов запись — своего рода «духовный автопортрет»

28

И. Ю. Крачковского накануне поступления в Университет. Эту запись стоит привести здесь полностью (за исключением тех отрывков, которые повторяют уже сказанное выше):

«Интересно, с каким нравственным или духовным багажом я направляюсь *dans cette lutte pour la vie*? Правда, пока что борьбы собственно нет, но все-таки поучительно взвесить свои силы. Когда-то я писал, что трудно существовать без зацепки, теперь к счастью эта зацепка у меня есть: состоит она в моем мировоззрении, и в будущем мне не предстоит подвергнуться "самоедению", иначе говоря, я обладаю известной долей синтеза, с которой мне не страшно окунуться в море анализа и не опасно, что он превратится в отрицание. Кроме того у меня есть представление о цели моего существования, а моей нравственности будет служить поддержкой желание посмотреть, возможно ли по нынешним временам просуществовать без протекции и идя прямым путем. Что касается ума, то здесь безотносительно похвастаться особенно нечем, хотя по сравнению с прочими смертными можно, конечно, и у меня указать

кое-какие знания и сведения. На что я особенно рассчитываю, это на мою способность работать. Я могу работать долго без перерыва, без всяких развлечений, наслаждаясь единственно работой. И как "l'appetit vient en mangeant", так и я чем больше занимаюсь известным делом, тем больше увлекаюсь им. Таков мой неприкрашенный облик, и если жизнь меня не очень перековеркает, то я таким и останусь... Что же касается моей будущности, то она меня совершенно перестает тревожить. Произошло это оттого, что я сам убедился в возможности существовать в скверных финансовых обстоятельствах с полным душевным спокойствием, которым я надеюсь обладать» [л. 100 об.—102).

Конечно, в этих рассуждениях много книжного, чувствуется отсутствие житейского опыта, но в то же время поражает рационализм молодого Крачковского: нет честолюбивой жажды «перевернуть мир», как можно было бы ожидать у человека в 18 лет, нет переоценки собственных способностей (что тоже было бы простительно), никаких прекраснотушных мечтаний, вместо этого — уверенность в умении работать, которое чаще приходит в зрелом возрасте, упорство, целеустремленность. И в то же время — четкая установка на прямой путь, без покровительства высших, на существование с ограниченными средствами; все это возможно лишь при условии постоянного и неустанного труда, в котором будущий ученый видит основную свою опору.

Этот расчет на собственную работоспособность не подвел его в дальнейшем: И. Ю. Крачковский доказал, что и в гуманитарных науках можно быть «человеком дела». Поэтому и недооценка собственных умственных возможностей не переросла окончательно в комплекс неполноценности, хотя предпосылки для этого время от времени возникали и «самоедением» в разные годы ему не раз еще предстояло заниматься.

23

Время внесло коррективы и в его мировоззрение, но об этом будет сказано после.

Разумеется, портрет Крачковского-гимназиста получился односторонним. Мало того, что в тени остались его отношения с людьми, прежде всего с родными, близкими, друзьями, — портрет субъективен: все-таки, это, по сути дела, автопортрет, ибо основан он почти исключительно на дневниковых записях и собственных его более поздних воспоминаниях. Юноша выглядит на этом портрете чересчур серьезным, несколько суховатым, может кому-то показаться скучным. Даже размышляя о любви и браке, он стремится рассуждать трезво, необычно для восемнадцатилетнего интеллигента начала XX века: «Это по моему мнению очень важный шаг и решаться на него следует крайне осторожно. Жениться можно только имея более или менее обеспеченное положение... место более или менее порядочное» [л. 36].

Но вот: «Желтой Макаке Сейненских лесов ее младший брат Зеленый Павиан Виленских гор шлет свой привет и старается своим светло-синим языком выразить все, что у него вертится на хвосте» [А, оп. 3, № 26, л. 3]. Это тоже Крачковский-гимназист. Одно из первых писем сестре после ее замужества (27 февр. 1897 г.).

Разлука тяжела для обоих, но письма кратки, информативны, и если сестра все же позволяет себе кое-какие нежности, то брат говорит о чувствах только иронически. Так, после проводов молодых он «сидел, как Марий на развалинах Карфагена, как человек, увидевший кошку верхом на петухе» [15 февр. 1897 г.; л. 11. А вот как описывается «торжественное» чтение первого Юлиного письма в присутствии всех домочадцев: «С последним ударом шести я, запасшись одеколоном, скипидаром, то бишь нашатырем, и вооружившись папиными очками, начал чтение вашего письма» [л. 2]. В одном из следующих писем пойдет стилизация под «Слово о полку Игореве» (очевидно, в соответствии со школьной программой по русской словесности) и т. п. Даже в его «серьезном» дневнике нет-нет да и промелькнет ирония автора по отношению к самому себе. Например, рассудительная запись о браке, приведенная выше, кончается таким пассажем: «Ну а вдруг у меня со временем окажется двенадцать дочек? Что тогда делать?» А на последней страничке дневника перед отъездом в Петербург, 22 августа 1901 года он записывает сочиненную им в предвкушении новой жизни «Stu-dentenlied — нехитрое юмористическое стихотворное повествование о «трагической» любви студента и мещаночки-булочницы с комментарием: «Опять что-то стихотворный бес проказничает»

Вот и дополнительный штрих к «серьезному» автопортрету. Это умение поиронизировать над собой впоследствии не раз помогало И. Ю. Крачковскому в трудные моменты жизни.

30

ГЛАВА III

"Могу здесь быть только мелким чернорабочим» "

На Васильевском славном острове
Молодой студент во коллегии жил.
Уж как жил да поживал, а добра не наживал...
Из дневника И. Ю. Крачковского

Итак, 29 августа 1901 года в Санкт-Петербург прибыл юный провинциал — не с целью «завоевать столицу», а мечтая отдать всего себя, без остатка, науке и поиску истины. Вряд ли кто еще из первокурсников с таким восторгом слушал речь попечителя, содержащую похвалу науке, которая «отрывает человека от настоящего мира, несовершенного, и указывает ему на мир идеальный, идейный», и доказывающую, что «университет создан для науки, а не для диплома и что поэтому одними курсами ограничиться нельзя, а нужно обращаться к источникам, работать не покладая рук» [А, оп. 2, № 4, л. 127—128]. «Мысли, высказанные им, были мне всегда очень дороги», — записывает Крачковский в своем дневнике 17 сентября 1901 года [А, оп. 2, № 4, л. 127 об.]. И сразу — как контраст светлым мыслям, как предзнаменование того, что возвышенные, но отвлеченные, книжные представления о «храме науки», о беззаветном служении ей на практике порой могут обернуться фарсом, — встреча на Невском, в один из первых дней по приезде, со студентом-попрошайкой, то ли голодным, то ли пьяным, который выманил у него рубль. Крачковский подозревает, что это обычное мошенничество: «Но неужели же в самом деле человек мог

так низко пасть, чтобы прибегнуть к такой лжи?» [А, оп. 2, № 4, л. 121 об.].

Петербург не произвел на провинциала особо сильного впечатления. «Городок, конечно, чистый, довольно крупный, но все эти соборы, памятники и прочее в снимках собственно выходили лучше», — пишет он сестре в первый же день [А, оп. 3, № 26, л. 22].

Поселился Крачковский в студенческом общежитии — коллегии Александра III, вход в которую был с Филологического переулка, дом 2.

«Номер мой величины поучительной: имеет в длину 9 шагов, в ширину — 51Л. В нем с успехом помещаются две кровати, два пись-

31

менных стола, этажерка для книг, шкаф платяной, два маленьких столика и четыре стула. Кроме того остается достаточный проход. Для ходьбы имеется коридор шагов в сорок» [А, оп. 3, № 26, л. 24]. Соседом по комнате был выпускник той же Виленской гимназии Яхонтов, который, к радости Крачковского, дома бывал мало и работать не мешал.

1 сентября Крачковский получил студенческий билет с «несколько комическим» [л. 122 об.] номером 333 и пошел записываться на лекции: по тогдашним порядкам каждый студент, кроме обязательных занятий, мог сам выбрать себе курсы для регулярного посещения и, вписав их названия в специальный бланк, подать свою заявку в деканат. От первокурсников заявки принимал сам декан. В дневнике кратко зафиксированы первые впечатления: Восточный факультет загнан куда-то на четвертый этаж и имеет, как мне показалось, вполне самостоятельное в университете устройство. Декан Розен... встретил меня довольно сухо» [л. 123].

Впоследствии, в воспоминаниях о своем учителе, И. Ю. Крачковский описывает их встречу более подробно: «Я увидел за длинным столом в клубах табачного дыма одного только невысокого полного старика в форменном сюртуке Министерства Народного Просвещения, совершенно седого, несмотря на свои 52 года, как выяснилось позже» [А, оп. 1, М° 294, л. 36].

Не без юмора передается их первый разговор:

«"Вы зачем поступаете на восточный факультет? В дипломаты захотелось? Белые штаны нравятся?" Совершенно растерявшись от резкого тона неожиданного вопроса, я наивно пролепетал: "Нет, я хочу остаться при университете". Говоривший с любопытством посмотрел на меня и прежним тоном продолжал: "Ну, это мы еще увидим: для этого надо способности иметь. А у вас, верно, по древним языкам в гимназии тройки были!" Обиженный в своих лучших чувствах, я несколько смелее, но все же робко промолвил, что кончил гимназию с золотой медалью. Строгий декан, по-видимому, несколько смягчившись, но все еще не меняя тона, спросил: "А как у вас дело с новыми языками?" Я ответил, что читаю по-французски и по-немецки, но не говорю. — "Болтать и не надо, это нужно для дипломатов, а нам важно пользоваться пособиями. Непременно еще займитесь английским"» [там же, л. 36—37].

Вот с таким напутствием вступил юный Крачковский в новую фазу своей жизни.

Занятия начались 18 сентября; Крачковский включается в работу с первых же дней. До начала учебного года он успел побродить по городу, закупить книг, побывать в Русском музее, в драме, в опере. 20 сентября он пишет сестре: «Завтра отправлюсь на "Жизнь за царя", а там нужно сказать: "баста!" и засесть за разные душеспасительные вещи» [А, оп. 3, № 26, л. 28].

В студенческие годы Крачковский дневника не вел — или потому, что жил в коллегии не один, или просто не было времени. О

32

его занятиях, быте, интересах и настроениях дают кое-какое представление письма к сестре, подписанные обычно «арабизированным» псевдонимом Ашанги (перевернутое Игната), а об учителях и постановке преподавания, о путях формирования его научного мышления — воспоминания, написанные в более поздние годы.

Первые два года занятий И. Ю. Крачковского в Университете прошли, как он вспоминает впоследствии, в долгих колебаниях — какую узкую специальность арабско-персидско-турецко-татарского разряда ему избрать. Тюркология, по-видимому, отпала сразу: у преподававшего на факультете тюрколога П. М. Мелиоранского его больше интересовал необязательный курс введения в общее языкознание, который сводился главным образом к чтению произведений младограмматиков «с соответствующими комментариями из области восточных языков»; самими же тюркскими языками он занимался лишь в «пределах программы» [А, оп. 1, № 316, л. 2].

Арабский язык на первом курсе преподавал приват-доцент А. Э. Шмидт, крупнейший для своего времени русский исламовед; на III курсе в группе Крачковского он вел также обязательные занятия по мусульманскому законоведению — вводные лекции и чтение текстов. А. Э. Шмидт сразу же завоевал расположение студенческой аудитории: «...с первого взгляда он поразил нас своеобразной одухотворенной красотой и особенно незабываемыми лучистыми глазами» [28, с. 93]. Личное обаяние подкреплялось незаурядным популяризаторским талантом [А, оп. 1, № 429, л. 22, 23], незаменимым для преподавателя. Впоследствии Александр Эдуардович стал одним из ближайших друзей И. Ю. Крачковского.

Практические занятия разговорным арабским языком так и не наладились: лектор, крымский татарин, известный каллиграф, не обладал, очевидно, достаточными методическими навыками, чтобы эффективно вести занятия с начинающими [28, с. 93], а когда Крачковский перешел на III курс, этот преподаватель, человек очень пожилой, тяжело заболел и умер, новый же лектор появился лишь в конце IV курса [А, оп. 1, № 316, л. 2].

Больше всего фактических знаний за первые университетские годы И. Ю. Крачковский, по его собственным словам, получил от А. Э. Шмидта, меньше — от профессора-ираниста В. А. Жуковского, «занятия у которого носили слишком мертвенный для студентов характер» [А, оп. 1, № 316, л. 1] — возможно, это было одной из причин, почему Крачковский остановил свой выбор не на иранистике. Впрочем, о главной причине этого речь впереди.

Кафедру истории Востока в то время занимал Н. И. Веселовский, известный как археолог, специализирующийся по истории первобытного общества. Он читал общий обязательный курс «Обзор путешествий в Азию», в котором ничего не менялось годами и десятилетиями. Все его лекции шли достаточно однообразно, материал излагался обстоятельно и медлительно. Эти лекции успехом у

27

студентов не пользовались, и посещали они их по очереди; поскольку Крачковский жил в коллегии, то ему выпадало присутствовать на них чаще других. К этому курсу студенты писали рефераты. Крачковский выбрал для реферирования двухтомное описание путешествия в Сирию и Египет Вольнея. Н. И. Веселовский остался рефератом недоволен: «У вас очень мало Вольнея и очень много Крачковского!» [А, оп. 1, № 305, л. 10 об.].

К этому сводилась вся подготовка по истории в течение первых двух лет. В. В. Бартольд вел занятия только на старших курсах, а попытки И. Ю. на первом же курсе записаться на его необязательные лекции по восточной нумизматике и на «Беседы по вопросам истории Востока» не увенчались успехом. «Таким образом, — резюмирует И. Ю. Крачковский, — о настоящей истории Востока, об его эволюции, научных теориях и течениях, которые намечались с начала XX века, мы слышали очень мало» [А, оп. 1, № 305, л. 10 об.].

Стремление приобщиться к более современным научным теориям и методам в области гуманитарных наук побудило И. Ю. Крачковского с первого же курса усиленно посещать лекции на филологическом факультете, где теоретический уровень преподавания был выше; некоторые курсы он прослушал целиком и даже сдавал по ним экзамены наравне с филологами. В воспоминаниях о своих учителях он уделяет место и занятиям на филологическом факультете: «Сильное впечатление по свободной манере производили на меня лекции по русской истории С. Ф. Платонова, по древнерусской литературе И. А. Шляпкина. Бывал я пассивным слушателем и на занятиях у А. Н. Веселовского, клонившегося уже тогда к закату; это дало мне возможность близко подойти к его ученикам, которым я, главным образом, и обязан пониманием его теорий. Позже я много занимался с Д. К. Петровым, у которого я слушал историко-литературные курсы и специально штудировал... испанские тексты. Одно время сильно действовали на меня элементарно-эффектные лекции Е. Аничкова по современной литературе. Из философов наиболее сильное впечатление оставил Н. О. Лосский, впервые читавший тогда курс "Психология с точки зрения волюнтаризма". Как многие студенты того времени, я увлекался лекциями по так называемой "энциклопедии права" юриста-философа . Петражицкого» [А, оп. 1, № 316, л. 1]. Однако и на Восточном факультете Крачковскому удалось найти человека, который открыл ему настоящую «научную дорогу» [А, оп. 1, № 316, л. 1 об.]. Когда он перешел на II курс, его земляк профессор Б. А. Тураев, крупнейший специалист по истории Древнего Востока, объявил курс по эфиопскому языку. «Это меня очень соблазнило, — вспоминал впоследствии И. Ю. Крачковский. — Во-первых, по связи этого с арабским языком и, во-вторых, потому что я хотел применить

свои силы. 8 часов в неделю лекций было для меня мало» [оп. 1, № 305, л. 11 об.].

28

У Б. А. Тураева он в течение трех лет помимо эфиопского языка слушал курсы по истории Абиссинии и истории абиссинской письменности. Фактически это были индивидуальные занятия: кроме И. Ю. Крачковского на них присутствовал еще всего лишь один студент-историк, который никогда к занятиям не готовился и постоянно отказывался отвечать. На II и III курсах эфиопистика поглощала у И. Ю. почти все время:

«Было мне довольно трудно, потому что Тураев не чувствовал совершенно разницы между собой и своей аудиторией, и поэтому вынимал какое-нибудь пособие или книгу и говорил: "Пожалуйста, посмотрите к следующему разу такую-то книжицу". Мой коллега вставал и спрашивал, на каком языке, а профессор говорил, что на итальянском. Следующий раз повторялась прежняя история, причем эти свои замечания Тураев никогда не забывал и приблизительно через две-три лекции он случайно опять или после, или во время занятий спрашивал, совершенно не задумываясь, что: "Читали вы то, о чем я говорил? В этой работе есть по этому поводу кое-что. Как вы к этому относитесь?"».

Мне неудобно было следовать примеру моего коллеги... И вот таким образом я оказался вовлеченным с первого же моего курса, который я слушал у Тураева, в настоящую лабораторную, научную работу...

Работа на II курсе перешла к типу семинарской работы. Обыкновенно Тураев давал какой-нибудь текст, в большинстве неизданный, и просил, что: "Пожалуйста, посмотрите, в следующий раз мы займемся им"... Впервые эти занятия носили настоящий, чисто университетский характер» [А, оп. 1, М? 305, лл. 12 об.—13].

Таким образом, Б. А. Тураев был первым из университетских преподавателей И. Ю. Крачковского, кто полностью соответствовал его представлениям о настоящем Учителе. «Единственной поддержкой моих научных взглядов и целей является теперь Тураев», — писал он сестре 27 сентября 1903 года, т. е. в начале III курса [А, оп. 3, М? 26, л. 63].

Занятия эфиопским языком заставили Крачковского окончательно отдать предпочтение семитологии перед иранистикой. Появилась даже мысль вообще специализироваться по абиссиноведению, но здесь возникли прежде всего формальные затруднения: в Университете не было специальной кафедры и, следовательно, нужно было в рамках своего разряда сосредоточиться на наиболее близкой специальности — арабистике [А, оп. 1, № 316, л. 1 об.]. Б. А. Тураев эту мысль поддерживал.

Крачковский начинает по мере возможности усиливать работу над арабским языком: будучи студентом еще II курса, он посещает занятия у Н. А. Медникова на III курсе, которые были посвящены, главным образом, чтению текстов арабского средневекового историка ат-Табари.

28

Н. А. Медников — своеобразная фигура в русской арабистике. Близкий ученик крупнейшего тогдашнего арабиста В. Р. Розена, он

был в науке, по оценке И. Ю. Крачковского, «*homo unius libri*» — всю жизнь «незаметно и настойчиво трудился над большим научным предприятием» [А, оп. 1, № 322, л. 1] — капитальным сводом «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов». Он принадлежал к тем ученым, «у которых, к сожалению, книги выше их самих» [А, оп. 1, № 305, л. 16 об]. По воспоминаниям И. Ю. Крачковского, студенты «ничего выдающегося в нем не видели. Это был очень хороший преподаватель классического арабского языка, который действительно артистически переводил и поражал нас своими переводами, но дальше этого его интересы не шли. Поэтому, когда кто-нибудь из студентов обращался к нему после занятия с каким-нибудь вопросом, то этот вопрос вызывал удивление Н. А. и он совершенно откровенно говорил: зачем вам это? Поэтому мы его никогда не спрашивали» [там же, л. 17]. Тем не менее текстовую школу И. Ю. у него прошел отличную.

Когда арабистика стала перевешивать абиссиноведение — сказать трудно. На III курсе Б. А. Тураев еще «единственная поддержка» и над абиссинской тематикой Крачковский работает по-прежнему усердно:

«На днях думаю приняться за свою вторую работу по абиссинской части. Приступать к ней, говоря откровенно, немного жутко, потому что штука очень серьезная. Если удастся ее довести до конца, можно будет погладить себя по головке... Если же придется возвращаться вспять, будет уж так стыдно, что один просто ужас» [письмо к сестре от 26 апр. 1904 г.; А, оп. 3, № 26, л. 81].

Быть может, мечтал он и о том, что тема будущего «медального» сочинения — т. е. сочинения, подаваемого в конце университетского курса на конкурс, победа в котором открывала перед автором перспективы оставления при кафедре, — также будет из области эфиопистики. Так можно понять фразу в его письме к сестре от 8 сентября 1903 года: «Факультет сделал мне крупной величины свинью, не утвердив темы на медаль, представленной было моим профессором» [там же, л. 60].

Через год Крачковский выберет тему из области истории арабов, но об этом речь впереди. Здесь же отметим пока возникновение, а быть может, укрепление ранее уже возникшего интереса к арабской поэзии. Посылая Юлии Юлиановне 12 января 1904 года (т. е. в середине III курса) образцы переводов некоего Олферьева (Московский восточный институт) из древней арабской лирики, Крачковский раздражается целой вдохновенной речью, направленной против расхожих представлений об арабах и доказывающей, что арабская словесность задела его, «убежденного абиссиноведа», за живое:

«И по сию пору на древнего араба смотрят как на "арапа", полагая, что он жил и только думал, как бы кого половчее кинжалом

29

пырнуть... Даже души, мол, у него не было, а одна злобность и кровная месть. Не только так думали у нас, но и за границей, не только простые смертные, но и ученые. Поэтому и из поэзии переводили почти исключительно отрывки характера воинственного, кровавого, а те, которые показывали, что и у араба было сердце, да

такое хрупкое, забывались. Посему мне было очень приятно встретить таковой опыт» [там же, л. 69].

Может быть, именно литературные, склонности И. Ю. Крачковского вольно или невольно способствовали его повороту к арабистике, дававшей в этом отношении гораздо больше простора, чем абиссиноведение. И разумеется, большую роль сыграла личность того, кто, по словам И. Ю. Крачковского, был его «основным учителем по специальности» [А, оп. 1, № 316, л. 2] — Виктора Романовича Розена, «барона», как его все называли за глаза, хоть и был он «из тех баронов, которые никогда не имели ни замков, ни имений, ни состояния, а с университетской скамьи всегда жили своим трудом и своим заработком, иногда очень тяжелым» [А, оп. 1, № 294, л. 73 об.].

Занятия с В. Р. Розеном по арабской поэзии начались только на IV курсе и «шли применительно к общему уровню студентов и не всегда давали то, что мне хотелось» [№ 316, л. 2]. Текстов на этих занятиях успели прочесть очень мало: из-за студенческих волнений Университет был закрыт чуть ли не на полгода. Подойти же к профессору ближе со своими вопросами мешала застенчивость [А, оп. 1, № 294, л. 48]; вспоминалась, вероятно, неловкость первой встречи, когда юный Крачковский заявил декану о своем желании «остаться при университете».

Настоящие серьезные занятия, близость, долгие разговоры — все это было впереди, а пока начинающего востоковеда должны были привлекать обаяние личности, уважение и популярность, которыми В. Р. Розен пользовался в Университете:

«Мне хорошо уже был известен тот ореол, который окружал личность барона в глазах его старших учеников, профессоров нашего факультета; едва ли кого-нибудь так уважали и любили, как его...

Барон при своих определенных правых убеждениях, которые он всегда высказывал с полной прямоотой, был одним из немногих профессоров, которые интересовались молодежью и любили с ней беседовать, находя по целому ряду вопросов общий язык. Среди его учеников, иногда по-своему даровитых, было немало и просто сухих людей и чиновников. Всегдашняя живость барона была их натуре непонятна. Считая себя в житейском отношении выше его, они, точно выросшие дети, смотрели на его действия свысока, как на чудачества старика, и не подозревали, что и в тех областях, где они считали себя опытнее, он был на голову выше их» [там же, л. 39].

30

¹ Совершенно иное впечатление производил на студентов другой корифей русского востоковедения, преподававший в те годы на Восточном факультете, — Василий Владимирович Бартольд. Малопривлекательная внешность и сильное заикание отпугивали при первом знакомстве [см. А, оп. 2, № 4, л. 123—124; оп. 3, № 26, л. 21] и затрудняли ему самому общение с другими; со студентами он разговаривал сурово. Но тем не менее в студенческие годы И. Ю. Крачковский получил от него как от учителя больше, чем от В. Р. Розена.

На III курсе В. В. Бартольд читал обязательные лекции по истории Ирана и Средней Азии. Слушателей у него бывало мало — 10—12 человек: для студентов, в массе своей плохо подготовленных по истории, эти лекции были трудны и неинтересны, малой их популярности способствовала также «очень сухая и сдержанная манера чтения» [А, оп. 1, № 305, л. 14]. Сам Крачковский признается, что этими обязательными курсами В. В. Бартольд его «не затронул» [А, оп. 1, № 316, л. 2]: «...по-настоящему я стал учеником Бартольда только когда перешел к его узким необязательным курсам» [А, оп. 1, № 305, л. 15]. Особенное впечатление произвели на него так называемые «Беседы по вопросам истории Востока»: «На самом деле это была настоящая, очень серьезная, обдуманная методология истории в применении к восточным вопросам» [л. 15]. В. В. Бартольд касался в этом курсе вопросов нахождения материалов, их интерпретации и критики, постановки исторических проблем и т. п. «В этом смысле, — пишет И. Ю. Крачковский, — другого такого курса я никогда не слышал и не думаю, чтобы он даже мог существовать» [л. 15].

Эти занятия захватили его очень сильно: «Если я не вышел историком, то, вероятно, только по недоверию к своим силам и благодаря своеобразной манере В. В. Бартольда в его оценках своих учеников» [А, оп. 1, № 316, л. 2]. Думается, однако, что это не единственная причина. Но о том речь пойдет дальше.

Лейтмотив писем И. Ю. Крачковского в студенческие годы — занятия, занятия, занятия, не только лекции, но и усиленная домашняя работа над книгами — Так, что разболелись глаза [8 сент. 1903 г.; А, оп. 3, X? 26, л. 60], подготовка к экзаменам, от которой он «убийственно устает», даже сил не хватает письма писать 119 мая 1903 г.; там же, л. 54].

О том, каков был Крачковский студентом, есть и свидетельство «со стороны» — его соученика по факультету, будущего академика В. М. Алексеева (китаиста), который был двумя курсами старше. По его словам, И. Ю. Крачковский жил «напряженной научной жизнью с первых же шагов своего студенчества» [8, с. 49]. В. М. Алексеев пишет в 1946 году: «Я вспоминаю, как 45 лет тому назад всеобщее внимание студентов-восточников факультета восточных языков СПб. университета приковал к себе скромный и чрезвычайно благообразный юноша, о котором однокурсники, а за

31 ими и все прочие рассказывали как-о студенте с необыкновенной культурной подготовкой, с необыкновенным умением работать, все понимать, во всем разбираться и быстро идти вперед... Студенческая жизнь Игнатия Юлиановича — сплошное научное, вдохновение...» [8, с. 48—49].

Чуть ли не единственным отвлечением от науки была для Крачковского в студенческие годы музыка; в 1902/03 учебном году он даже занимался на высших музыкальных курсах. Характерно, однако, что теперь свои музыкальные занятия он описывает чаще в юмористическом тоне. Так, сообщая сестре о своем поступлении на курсы, он тут же описывает воображаемую комическую картину: как он «от трудов непосильных» умирает прямо на Дворцовом мосту и за труп его дерутся музыканты и востоковеды, а в «Гражданине» некий консерватор публикует по этому поводу статью «о результатах

современного высшего образования» [А, оп. 3, № 26, л. 39]. В юмористическом тоне изображается и концерт с его участием, где он значится в программе как «известный артист Крейшаевский» [там же, л. 52—53]. «В общем все сие зреть было зело амюзантно», — заканчивает он это описание.

На следующий год от занятий на музыкальных курсах пришлось отказаться — слишком много было дела; для себя он, вероятно, продолжал играть, ибо изредка выступал в студенческих концертах.

Блиzkих друзей у него не было — по крайней мере, в письмах он о них не упоминает. Очевидно, ближе всего он сошелся с Сергеем Жуковским, «Жучонком», сыном проф. Жуковского; связывала их любовь к музыке — Сергей хорошо играл на рояле.

С лета 1903 года на страницах писем к сестре появляется женское имя — Ида Александровна; это, очевидно, сестра жены старшего брата, Ольги Александровны. Ида Александровна с матерью гостит в Черкасах, где проводит лето и И. Ю., они вместе музицируют [А, оп. 3, X? 26, л. 57 и др.]. Потом обе дамы приезжают в Петербург, Крачковский водит их по театрам [там же, л. 93]. Особого тепла в этих сообщениях не чувствуется, наоборот, можно ощутить даже скрытую досаду: гости мешают заниматься.

А с расширением интересов заниматься становится все труднее. «Работы у меня ужасно много, — пишет он сестре 27 сентября 1903 года, — и что хуже всего, работы очень разнообразной, которая абсолютно лишает возможности сосредоточиться на любимой науке. В результате получается довольно печальная дилемма: либо заниматься специально и спустя рукава смотреть на другие, предметы, либо заниматься равномерно и кончить факультет с обрывками знаний. Любовь к своей специальности заставляет меня избрать первое, но какая-то дурацкая добросовестность и неспособность сидеть перед профессором дураком толкает меня на последнее» [там же, л. 62].

32

, Это стремление «объять необъятное» выбивает из сил и вызывает приступы прежней тоски. «Сижу в своей каморке и занимаюсь попеременно арабским языком и изучением Корана или же меланхолией и самоуничтожением» [письмо к Ю. Ю. Снитко от 12 дек. 1902 г.; л. 43].

Жалобы на «черную меланхолию» время от времени повторяются. Помимо переутомления и рецидивов неуверенности в своих силах мучают отношения с братом Алексеем. Он тут же, в Петербурге, в Академии художеств, но богемная среда, рассеянный образ жизни старшего брата младшему абсолютно чужд, они почти не общаются. Если младший когда-нибудь и пытался внушить старшему свой образ мыслей, то безрезультатно, а может быть, никогда и не пытался, понимая бессмысленность подобных нравоучений. Старший же вспоминал о младшем (да и об остальных) только тогда, когда ему нужны были деньги. Между тем Юлия все время спрашивает в письмах об Алексее — почему он не пишет? Здоров ли? И в то же время сердится на его бесцеремонность, а когда приезжает в Петербург, то и видеть его не хочет.

Болезнь и смерть Алексея совпали с трагическими событиями «Кровавого воскресенья». Старший брат, Николай, был на Дальнем

Востоке, сестра не смогла приехать в связи с тревожным положением на железной дороге. Крачковский сам устроил брата в больницу и был при нем, сам и хоронил его. Поводов для печали было достаточно.

Обстановка в Университете, отношения с профессорами тоже не всегда складывались легко и не всегда радовали, особенно человека с таким критическим отношением к себе и в то же время с таким обостренным чувством собственного достоинства, такого максималиста в вопросах справедливости, каким был Крачковский.

В. М. Алексеев пишет в своем «Посвящении» к сборнику в честь сорокалетия научной деятельности И. Ю. Крачковского, что его учителя быстро превратились «в друзей его и почитателей» [8, с. 49]. Но, пожалуй, это своего рода юбилейные преувеличения — все шло далеко не так быстро и легко: сближению и взаимопониманию мешала вечная застенчивость Игнатия Юлиановича, его хроническая неуверенность в себе. Помимо того, в письмах встречаются и глухие, без имен, упоминания о каких-то возникавших время от времени конфликтных ситуациях. Вот первый случай — на экзаменах за II курс: «Я, рассердившись на одного профессора, отказался у него экзаменоваться и меня "испытывала" комиссия. К счастью все кончилось мирно» [А, оп. 3, № 26, л. 54].

Осенью того же, 1903 года Крачковский жалуется сестре на то, что в связи с утверждением тем для выпускных сочинений обнаружилась какая-то «длинная и темная интрига, которой место уж никак, казалось бы, [не] в университете» [л. 60]. Была ли действительно «интрига» или так показалось ему, не знавшему всех обстоятельств дела, но реакцией явилось «горькое разочарование,

33

не в науке, каковая вечна и неизменна, но в людях, прикомандированных к этой науке»; раздражали «постоянные щелчки, которые приходится получать неведомо за что и про что» [А, оп. 3, № 26, л. 62]. Алогичность происходящего выбивает его из колеи: «Все это, конечно, мелочи, но я привык видеть в делах нравственного порядка целесообразность и причинность. Раз меня постигает какая-нибудь неудача, я не могу успокоиться до тех пор, пока не найду ее причины, конечно, внутренней, а не внешней... Под такого рода причинность мне удавалось до сих пор подводить все свои обстоятельства, оттого мое мировоззрение и было прочно, теперь же, когда оно сильно закачалось от невозможности привести в систему свое состояние, я и чувствую себя скверно» [там же, л. 62 — 63].

Чувство собственного достоинства, как в свое время в гимназии, могло заставить Крачковского-студента пойти на открытый конфликт с администрацией, если он был уверен, что с ним и его товарищами поступили несправедливо. Приведем здесь полностью очень показательный эпизод, рассказанный им в письме к сестре:

«В пятницу наш курс получил выговор от начальства за совершенно пустячный и притом совершенно неправильно, благодаря всяким подпольным донесениям, истолкованный поступок. Все сие было слушать, конечно, очень неприятно, в особенности чувствуя, что сие совершенно несправедливо. В результате на целых три ночи сна лишился, а в понедельник пошел

говорить крупные слова к начальству. Беседа была очень долгая — с 6 до 9 час. вечера и сначала носила очень скверный характер, ибо начальство все норовило на меня наскочить, как петух, но сие не удавалось, ибо я говорю редко и мало, но когда начну, тогда слушать меня приходится. В результате сие кончилось довольно мирно, и насколько удачна была сия беседа, можно судить по тому, что начальство перед нами извинилось публично» [11 марта 1904 г.; А, оп. 3, № 26, л. 77—78].

Вполне естественно, что среди товарищей по факультету и по коллегии Крачковский пользовался большим уважением. Его знания, интеллигентность, его бесстрашная честность и независимость во мнениях, в поведении не могли не поражать. Он никогда не поддавался настроению массы, но и не навязывал никому своих взглядов.

«Живя среди нас в общежитии студентов университета, — вспоминает В. М. Алексеев, — где легкомыслие и бесшабашность были едва ли не наиболее частым типом жизни, молодой студент без всяких аффектаций и борьбы с ветряными мельницами держал свой строгий курс на все то лучшее, что он так талантливо описал в своей... книжке "Над арабскими рукописями". Вот человек, который сам себе был лоцманом, в своих лоциях никогда не ошибаясь... И так отличался он от тех прочих, которые, читая и слушая чтение восточных текстов, порцию за порцией, подавали на экзамене про

34

читанное и усвоенное ими по минимальной и твердой программе в чаянии диплома» [8, с. 48—49].

Уверенные в его непоколебимой принципиальности, студенты постоянно посылали Крачковского депутатом от курса на всякого рода собрания, переговоры с начальством и т. п. Это не всегда ему давалось легко, тем более что порой приходилось выступать против общепринятых мнений, а кроме того — отнимало обычно много времени, отвлекая от учебы. В письме к сестре от 26 сентября 1905 г. описано, например, такое происшествие: в коллегии произошла ссора двух студентов из-за «принципиальных разногласий» и один ударил другого по физиономии. Все были возмущены, созвали товарищеский суд, председателем которого избрали Крачковского, и заседали, разбирая инцидент, с 8 ч. вечера до 6 ч. утра! [А, оп. 3, № 26, л. 130]ч

Отказываться от этих обязанностей он считал себя не вправе, это противоречило бы основной цели его жизни — поискам истины: «Махнуть на все это рукой нельзя, потому что я по какой-то традиции являюсь представителем своего курса, а потом и для себя как-никак истина, хоть ее и не признают таковой, все же дорога» [там же].

Но вообще к студенческому движению Крачковский относился скорее отрицательно: далекий от студенческих марксистских кружков, он видел во всякого рода волнениях и сходках лишь помеху настоящему делу: много лишнего шума и отмена занятий; «по цели или принципам благородные, по средствам они (сходки. — А. Д.) оказываются не на высоте своего призвания» [А, оп. 3, № 26, л. 42]. Описывая сходку, происходившую ровно через месяц после событий 9 января 1905 года, он замечает: «Беспорядок и безобразие на ней

творившиеся еще раз показали всю общественную незрелость нашей братии. Началась она большим шумом, а кончилась большим хулиганством: разорвали большой царский портрет, бывший в актовом зале» [там же, л. НО].

При этом абсолютно аполитичным его не назовешь. Правда, через год он запишет в дневнике, что у него «по-видимому политические инстинкты совершенно атрофировались. Добро бы в этом было хоть что-нибудь напускное, а то ведь нет, прямо-таки нечто патологическое: отсутствует же у некоторых чувство музыки!» [А, оп. 2, № 4, л. 201]. Но это все-таки преувеличение: в письмах к сестре Крачковский упоминает и о покушениях на царя, и о недовольстве в армии на Японском фронте — по сообщению старшего брата [А, оп. 3, № 26, л. 55], и критикует полицейский режим в России [там же, лл. 54, 70, ПО], гордо отвергая при этом предложение сестры приехать к ней на время «беспорядков»: «Что здесь теперь легко попасться в какую-нибудь историю, это совершенно верно, то есть нашего брата теперь норовит избить и военщина, и хулиганы. Но это, конечно, является чистой случайностью, от которых нигде не уберешься. Бегать же от них это трусость»

35

[письмо от 9 февр. 1905 г.; А, оп. 3, № 26, л. 111]. Очевидно, тогда Крачковский и обзавелся на всякий случай кастетом, который был у него конфискован во время обыска в коллегии в конце декабря 1905 г. [там же, л. 142] и за ношение которого ему грозил большой штраф или двухнедельный арест; и того, и другого удалось счастливо избежать [А, оп. 2, № 4, лл. 190—194].

С сочувствием пишет Крачковский о всякого рода либеральных движениях [А, оп. 3, № 26, л. 70], возмущается расстрелом мирной демонстрации рабочих 9 января [там же, лл. 101—103]. Но во всем этом он не деятель — сторонний наблюдатель: что бы ни происходило вокруг, наука все равно превыше всего!

К студенческим годам относится первая его печатная работа: «Новый труд по истории мусульманства» — рецензия на книгу профессора Московской Духовной академии С. Глаголева «Ислам» (изд. Троице-Сергиевой лавры, 1904, 204 с): «Очень уж она меня рассердила своим невежеством, соединенным при том с удивительно беззастенчивыми нападками на европейских ориенталистов» [А, оп. 3, № 26, л. 95].

Университетский товарищ И. А. Беляев, ездивший летом на практику в Среднюю Азию, помог напечатать рецензию в «Туркестанских Ведомостях» (1904, №№ 161 и 164); особенно соблазнительным, вспоминал впоследствии Крачковский, ему показалось то, что авторам давали отдельные оттиски [А, оп. 2, № 62, л. 127]. Статья была подписана сокращенно Кр-ский, что давало возможность приписать ее А. Е. Крымскому, профессору Лазаревского института в Москве Г82, 1905, т. 18, с. 298, № 5685]. Она отличалась резким учительным тоном, звучавшим, по более поздней оценке самого автора, очень неприятно. В. В. Бартольд же поставил ему в укор главным образом то, что рецензия была построена на старых пособиях [А, оп. 2, № 62, л. 128]. Относительно реакции другого «главного» учителя, В. Р. Розена, на первый опус своего ученика никаких сведений не имеется.

Так или иначе, это была серьезная заявка Крачковского на право заниматься научной деятельностью. Ни дипломатическая, ни административная служба его по-прежнему не прельщали, хотя, по словам В. М. Алексеева, его «усердно приглашали» ориентироваться на них [8, с. 48]; прежняя идея монашества, судя по всему, тоже всерьез не привлекала. Материальные средства были не таковы, чтобы после окончания вести жизнь «свободного ученого». В одном из писем к сестре он приводит конкретные цифры своих доходов, на которые существовал в 1904/05 учебном году: 114 р. — доля процентов с семейного капитала; 175 р. — остаток его доли отцовского наследства; 140 р. — причитающаяся ему доля гонорара от посмертного издания научных трудов отца плюс пенсия, которая была ему назначена до окончания учения [А, оп. 3, № 26, л. 107].

36

Это давало возможность студенту существовать безбедно, но достаточно скромно. Крачковский никогда не курил — после детского опыта, окончившегося весьма плачевно [А, оп. 6, № 198, л. 5], не кутил, по театрам ходил мало, но покупал книги. От всякой денежной помощи, которую не раз предлагала ему сестра из своих, тоже не очень больших, средств, он всегда решительно отказывался. Тем более не принял бы он никакой помощи после окончания Университета.

Таким образом, для дальнейших серьезных занятий наукой был один путь — «оставление при университете для подготовки к профессорской деятельности», говоря современным языком — аспирантура. Крачковский об этом задумывается заранее; однако по прошествии двух лет учебы полагает, что шансов у него на это мало [А, оп. 3, № 26, л. 60]. Единственная надежда — завоевать золотую медаль за конкурсное сочинение, только это может решить его судьбу.

Третий учебный год проходит в неопределенности — темы медальных сочинений еще не утверждены. Накануне четвертого года мысли о будущем по-прежнему мрачные: собственно, университетский курс он вполне мог бы кончить за четыре года, но сочинение за оставшийся срок он не напишет, значит, надо остаться в Университете еще на год, чтобы «свободно поработать», — но стоит ли? Ведь кончать придется рано или поздно, а «там по всей вероятности и бросить всякие мечты о дальнейшей научной работе» [там же, л. 87 об.].

Наконец в сентябре 1904 года темы объявлены и, сообщает он сестре, «в числе их есть одна для меня подходящая по истории арабов» [там же, л. 91]. Тема эта звучала так: «Царствование халифа ал-Мехдия по арабским источникам (перевод из ат-Табария, серия III, стр. 451—544, сличенный с показаниями других писателей и снабженный примечаниями историко-географического характера)».

Уже по заголовку видно, сколь трудоемким должно было быть подобное сочинение, сколько требовало оно кропотливой работы с источниками и словарями. Однако студент Крачковский считал, что «в скобках указан здесь лишь *minimum* требований», поскольку «медальные темы по самому уставу университетов имеют в виду не только учебные цели и должны служить не только упражнением и проверкой знаний универсантов, но в то же время предоставляют

желающим возможность попробовать свои силы на чисто научном поприще» [предисл. к работе; А, оп. 1, № 214, л. 2].

Исходя из этого, Крачковский представлял себе, что работа его будет состоять из трех частей: помимо перевода (1-я ч.), сличения источников и комментариев (2-я ч.), она должна будет дать «историческую картину» указанного в заголовке периода арабского халифата (3-я ч.). Выполнение столь обширного плана, естественно, требовало много времени, причем времени, свободного от прочих

37

занятий, и Крачковский начинает переговоры с «начальством» (т. е. с деканом В. А. Жуковским, сменившем В. Р. Розена) о продлении срока пребывания в Университете еще на год. Тут начальство «пришло в недоумение и стало соображать, не стоит ли впрямь оставить меня при университете» [А, оп. 3, № 26, л. 91 об.]. От решения этого вопроса зависело, продлевать пребывание в студентах или нет: ведь если его оставят при Университете, сочинение можно кончить и летом. Декан хочет отложить решение до Рождества; Крачковский не согласен: для серьезной работы он ведь должен все рассчитать — и прямо заявляет, что дольше месяца ждать не может, — снова не боится идти на конфликт накануне решающего для его судьбы момента. Кончилось дело разрешением на продление срока.

Крачковский усиленно пишет сочинение (об этом — почти в каждом письме к сестре), даже на рождественские каникулы никуда не едет против обыкновения, пишет, «переходя постепенно все стадии от некоторого самодовольства до полного разочарования, соединенного со злобной меланхолией и обратно» [там же, л. 95]. Даже трагические события января 1905 года не могли надолго выбить его из колеи, работа продолжается, и сочинение подано осенью 1905 года под девизом «Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»). Быть может, этот девиз был отзвуком старого детского воспоминания: на башне обсерватории, что высилась в их гимназическом дворе, была выложена надпись: «Sic itur ad astra» — «Так идут к звездам» [А, оп. 1, № 317, л. 1 об.]. Конверт с именем автора вскрывался только после оценки работы. Окончательно результаты должны были стать известны лишь к университетскому акту 8 февраля 1906 года.

Работа получилась огромная: она заняла два тома общим объемом в 419 больших страниц (37х23 см), написанных убористым почерком по 34 строки на странице. В первом томе после предисловия (с. 1—10) в качестве 1-й части шел перевод предложенного отрывка из хроники ат-Табари (с. 11—93). Перевод, как сказано в предисловии, был выполнен «при помощи всех доступных пособий — т. е. не только обычных словарей Фрейтага, Дози, Лэн и Бело, но также и специальных работ по лексикологии, как например Дози, Шварцлозе, глоссарий к BGA, к хронике Табария и т. д.» [А, оп. 1, № 214, л. 3]. Принцип подхода к переводу был последовательно продуман: «Я старался не слишком искажать русский язык в угоду точности, прибегая к буквальности только в более трудных местах, поступая в прочих довольно свободно. В некоторых случаях для передачи колорита я намеренно позволял себе и в переводе однообразие и тавтологию арабского текста» [л.

3]. Ни к чьей помощи в работе над переводом И. Ю. не прибегал; в этих почти ста страницах арабского текста остались непонятыми всего около десяти мест.

38

Часть 2-я — сопоставление сведений ат-Табари с сообщениями других историков (с. 94—115) и сообщения их о фактах, у ат-Табари не упомянутых (с. 116—230), — по оценке самого автора, являлась «самой слабой и неудачной» [А, оп. 1, № 214, л. 3], хотя выполнена была столь же тщательно.

Том 11 был занят примечаниями и приложениями. Примечания (с. 231—366) составляли наиболее объемистую часть работы; по признанию И. Ю., эта часть была для него самой дорогой и важной [л. 3]. Здесь он не ограничился примечаниями историко-географического характера, как было предусмотрено темой, а стремился дать к переведенному тексту обширный многосторонний комментарий наподобие тех, которыми снабжались обычно издания античных классиков; большое место в этом комментарии занимало объяснение реалий, и особенно — филологические и литературные экскурсы, разраставшиеся порой до десяти и более страниц, что, несомненно, выдавало его истинные склонности, в которых он тогда, быть может, до конца не отдавал себе отчета. Но и эту самую дорогую для себя часть работы Крачковский склонен был оценивать трезво, даже сурово: «Конечно, я хорошо сознаю, что эти примечания не имеют никакого значения, так как представляют собой компиляцию, не всегда даже основанную на первоисточниках, но, во-первых, некоторые из них содержат много переводов и потребовали немало труда... во-вторых, другие представляют свод всей известной мне европейской литературы по данному вопросу, и все они таким образом являются пособием, которое может мне значительно сберечь время при дальнейшей работе» [л. 4].

Далее шли приложения, в том числе список стихотворных размеров, встречающихся в приведенных отрывках (с. 410—411), список источников (с. 412—415) и список пособий (с. 416—418), содержащий более 200 томов и статей; список сокращений (с. 419). Открывались приложения разделом, носящим несколько необычное название: «Глава, которая должна была служить введением» (с. 367—409) и содержащим анализ источников и пособий, использованных в работе. Эта глава, попавшая в приложения, — свидетельство того фиаско, которое потерпели первоначальные широкие планы автора: он в растерянности остановился перед задачей создания «исторической картины». Но предоставим слово ему самому: «Почти с самого начала работы над ней (т. е. над указанной 3-й частью. — А. Д.) мне пришлось убедиться, что я не могу ее исполнить. Невозможность обуславливалась не малым количеством времени (хотя и это соображение играло некоторую роль), не отсутствием каких бы то ни было пособий, а исключительно своими собственными способностями. Я увидел, что во мне нет даже критического чутья, необходимого каждому историку, не говоря уж о творчестве, нужном для построения исторической картины. Действительно, что могло получиться у меня из этой третьей

38

части? В самом благоприятном случае более или менее сносная компиляция, составленная быть может по первоисточникам, но все же компиляция, автор которой не может прийти ни к какому решению, не может выставить ни одного серьезного вывода и которая не имеет, следовательно, ни малейшего значения. При таком печальном заключении самое лучшее было ее вовсе не писать, что мне и оставалось сделать. Единственная готовая глава "Об источниках и пособиях", которая должна была служить введением ко всему исследованию, помещена поэтому в приложениях; прочие остались в черновых набросках... Я убедился, хоть и с тяжким разочарованием, в своей неспособности к творческой работе в избранной научной области и пришел к заключению, что могу здесь быть только мелким чернорабочим, но не более того» [л. 2].

Считая, что он лишь «едва-едва успел выполнить минимум предложенных требований» [л. 2] и что работа его «представляет печальное кладбище неисполненных планов и несбывшихся надежд» [л. 5], Крачковский, подавая ее на конкурс, дал ей другой, более скромный заголовок: «Халиф ал-Мехдий. Материалы для истории правления».

Единственной положительной стороной своего сочинения автор называет в предисловии абсолютную его самостоятельность и опору исключительно на первоисточники: «Стремление к первоисточникам подчас переходило, должен сознаться, в своего рода фанатизм; встречая в каком-нибудь европейском исследовании ссылку на арабского автора, я всегда старался, если только была хоть какая-нибудь возможность, обращаться к подлинному тексту. В некоторых случаях это, правда, оказывалось бесполезным и излишним, но зато в других местах таким путем удавалось исправить опечатки... а иногда даже приходиться к несколько иным выводам» [л. 6].

Вряд ли еще когда-либо студенческая работа имела столь необычное предисловие, намеренно ставящее автора под удар. Это могло на первый взгляд показаться рисовкой, но предположение, которое было бы справедливым по отношению к кому-либо другому, здесь, я полагаю, неуместно. Если Крачковский и понимал, что на студенческом уровне его работа может считаться хорошей, ибо выполнена она абсолютно самостоятельно и предельно добросовестно, и предполагал, что он может даже получить за нее медаль, то, как говорится, «по большому счету», в качестве научного труда, она, с его точки зрения, была несостоятельна, и ему было не только горько от разочарования в собственных возможностях, но и мучительно стыдно перед учителями, которые, как он полагал, ждали от него серьезного, зрелого труда, дающего ему право остаться при Университете, ведь он чуть ли не ультиматум предъявлял, требуя, чтобы факультет скорее решил вопрос о его судьбе, а теперь представляет на их суд — что? Детский лепет — как ему казалось. И честность требовала такого предисловия, к — не в

39

меньшей степени, очевидно — собственное достоинство: надо было показать, что сам он не обольщен результатами своей работы, что оценить ее может как ученый, что хоть с этой точки зрения он все-таки имеет право поставить себя на одну доску со своими учителями.

Вспоминая об этой работе впоследствии, на склоне лет, И. Ю. Крачковский подтвердит, что решить задачу в историческом уклоне он не сумел, и произошло это «отчасти потому, что захватил материал слишком широко и не смог с ним справиться в назначенный срок, но, главным образом, по недостаточной опытности в большой исторической работе» [А, оп. 2, № 62, л. 131]. Вероятно, эта неудача — еще одна причина, повернувшая И. Ю. Крачковского от истории к филологии.

Об итогах конкурса, которые были подведены в январе 1906 года, когда Крачковский уже закончил Университет, и о том, как оценили «медальное» сочинение его учителя, будет сказано в следующей главе.

Итак, оставалось сдать государственные экзамены. Здесь Крачковского снова подстерегала неприятная неожиданность: экзамены были перенесены с мая 1906 года на декабрь 1905-го! «Таким образом в два месяца надо подогнать упущенное за два года», — в отчаянии пишет он сестре [л. 128].

Но главная трудность оказалась даже не в этом. Декабрь 1905 года... Студенческая масса, охваченная революционным подъемом, осудила тех, кто согласился сдавать экзамены в момент всеобщей забастовки; им устраивали обструкции, объявляли бойкот. Какие мотивы руководили остальными выпускниками, которые сдавали экзамены вместе с Крачковским, не будем гадать; что же касается его, то он, считавший студенческие сходки и забастовки и к чему не ведущей тратой времени, просто действовал согласно своим убеждениям. Это не являлось с его стороны актом конформизма, не было вызвано соображениями карьеры или полным равнодушием к судьбам народным — в этом его решении отразилась верность своим принципам и науке — Делу, которому он служил.

Несмотря на все затруднения, экзамены, проходившие с 23 ноября по 23 декабря, были им сданы сплошь на пятерки. Теперь Крачковский снова оказался в растерянности — а что дальше? Никто до сих пор официально не сказал ему, оставляют его при Университете или нет. С 1 января 1906 года — с окончанием учения — он будет лишен основного средства к существованию — пенсии отца. Следовательно, надо срочно искать место.

Однако, пишет он в более поздних воспоминаниях, «отказаться от мысли о научной работе было, несмотря на все колебания, слишком тяжело; по своей неприспособленности к жизни я казался себе годным еще только к библиотечной работе» [А, оп. 1, № 294, л. 50]. -

40

Переборов свою мучительную застенчивость, Крачковский отправляется за советом к В. Р. Розену — что же ему теперь предпринять? Выслушав его робкий вопрос, «с живым недоумением барон воскликнул: "Как так! Мы давно решили вас оставить! Вы разве не хотите?" У меня сразу отлегло от сердца, — рассказывает дальше И. Ю., — и я мог только сказать, что мне никто об этом не говорил. Барон опять удивился и добавил, что это вероятно потому, что все думают, что я это знаю. "А заниматься с вами буду я", — неожиданно прибавил он. Я совершенно растерялся от охватившего меня волнения и мог только пролепетать: "Но ведь вы меня совсем не знаете!"» [л. 50—51]. В. Р. Розен заверил юношу, что много

слышал о нем от Н. А. Медникова и В. А. Жуковского, да и сам уже к нему присмотрелся и волноваться ему нечего. Так завершился диалог учителя и ученика, начатый 1 сентября 1901 года.

Накануне нового, 1906 года Крачковский распрощался с коллегией и переехал на частную квартиру. С 1 января начиналась новая жизнь — жизнь «оставленного при университете для подготовки к профессорской деятельности», иначе — магистранта.



86

ГЛАВА IV

«Вениамин»

Новоиспеченный двадцатидвухлетний магистрант поселился на Васильевском острове — в Академическом переулке, дом 4, кв. 12. Все было рассчитано: квартира «патрона», В. Р. Розена, — в двух шагах, на углу 7-й линии и Университетской набережной, где впоследствии будет жить сам Крачковский; до Университета — десять минут ходьбы, до Академии — двенадцать. Комната была на третьем этаже, с окном во двор «и стиля довольно ординарного в духе петербургских меблирашек» [А, оп. 3, № 26, л. 145]. Хозяйка, старая немка, брала за нее четырнадцать рублей в месяц; обедал Крачковский сначала в коллегии, где платил экономке по десять рублей в месяц, а потом хозяйка квартиры, расчувствовавшись от его игры на цитре, стала давать ему и обеды (за все вместе он платил ей 25 рублей): «Мораль: если ты играешь чувствительно на цитре, то поселяйся у сентиментальной немки, ибо иногда и из цитры можно состряпать обед» [там же, л. 180]. Стипендия магистранту была положена 50 рублей, однако официальное оформление дел заняло два с половиной месяца, и первую стипендию он получил только в марте.

Итак, с нового года начиналась новая жизнь. Менялось все — положение, права и связанности, весь способ существования. Самое время строить планы и давать обеты. И с 1 января 1906 года Крачковский вновь берется за дневник¹. Первая запись — и итоговая, и программная — нравственное кредо, так сказать, отправная точка.

«1 января. Более чем после трехлетнего перерыва начинаю свой дневник... Тогда я кончал гимназию, теперь кончил университет, срок большой, а между тем, перечитав старые строки, я убедился, что ни в чем не приходится менять своих принципов, а наоборот, они стали тверже, да больше появилось веры (не в себя или в людей, а в Бога), потому что было много случаев, наталкивающих на большие размышления. Теперь я нисколько не раскаиваюсь в том, что у меня сложился именно такой, а не иной характер и принципы. А в старину бывало нет, нет да и поворчишь. Теперь я еще

87

больше убедился, что прожить можно без всяких протекций и задних ходов и что всегда будут провожать человека не по одежке, а по уму. Те же самые взгляды остались у меня и на семейный вопрос и

на нравственность. Все это только больше окрепло и стало сознанием. Дай Бог, чтобы и дальше все это не менялось» [А, оп. 2, № 4, л. 130—131].

А далее — конкретная программа действий: минимум и максимум того, что он предполагал выполнить за два года, после чего ему предстояла командировка в Сирию. Минимум включал подготовку к магистерским экзаменам: по арабскому языку — чтение поэтических текстов (аль-Ахталь) и грамматических (Ибн Яыш); по истории литературы — курс В. Ф. Гиргаса с дополнениями по библиографии Социна и своду Брокельмана, по истории арабов — лекции А. Е. Крымского, по истории семитов — лекции Б. А. Тураева. К этому добавлялся французский язык, необходимый в Сирии.

И тут же иронизирует над собой: «Прочитав сей минимум, ' можно прийти в негодование и сказать: "До чего казенное отношение к делу у людей, мнящих себя представителями науки!" Но зато, когда дело коснется максимума, тут у меня аппетиты разгораются и горизонты становятся широкими. Насколько сии планы удастся выполнить — вопрос, конечно, иной» [там же, л. 132—133].

Программа-максимум предусматривала учебные и научные занятия. Учебные состояли из трех разделов:

1. Непосредственная подготовка к экзаменам: «по языку нужно прибавить "Маджани-л-адаб" и Абу Ханифу... По истории ознакомиться по возможности со всей европейской литературой в этой области (специально изучить время Омейядов и первых Аббасидов или одних только последних). По литературе опять-таки просмотреть все европейские исследования, а специально заняться историей поэзии».

2. Филологический фундамент для арабского языка, который, по мнению Крачковского, у него теперь очень слаб. Здесь предполагалось изучение «в элементарном объеме» европейского языка, сравнительной грамматики, знакомство в южноарабскими диалектами и старинными североарабскими надписями.

3. Подготовка к работам в Сирии, для чего предполагалось просмотреть, по возможности, всю европейскую литературу, «чтобы не открывать вторично Америки», ближе познакомиться с изданиями Бейрутского университета Св. Иосифа, почитать современных арабских авторов [л. 133—134].

По научной линии Крачковский планировал обработать выполненный им совместно с Сергеем Жуковским перевод работы А. Кремера «История господствующих в исламе идей», составить свод материалов для истории Первых Аббасидов, заняться исследо

42

ванием хадисов по сборнику Абу Саыда и обследовать две имеющиеся в Петербурге рукописи дивана поэта Абу-ль-Фараджа аль-Вава Дамасского, которого Крачковский полагал взять для диссертации [л. 135].

Масштабы задуманного широки — уже не по-студенчески. При этом поражает продуманность, нацеленность не только на ближайшую задачу — магистерский экзамен, — но и на гораздо более далекие перспективы. А если вспомнить, что запись датирована 1 января 1906 года, то становится ясно: все было

продумано еще на студенческой скамье и это не плод разыгравшейся фантазии, а план реально необходимый, за исполнение которого нужно браться как можно скорее. «Числа с восьмого засяду, верно, и за работу», — пишет он в тот же день сестре [А, оп. 3, № 26, л. 146]: первая неделя должна была уйти на оформление официальных бумаг.

Первое занятие с В. Р. Розеном состоялось 13 января. Далее уроки шли регулярно по два раза в неделю. Все остальное время оставалось в распоряжении магистранта для выполнения прочих пунктов минимума и максимума.

Думаю, что, составляя свой план, Крачковский не учитывал все же некоторых нюансов своего будущего статуса, а именно — необходимости волей-неволей приобщиться к светской жизни, что должно было съедать немалую часть драгоценного времени.

В качестве «оставленного при университете», то есть нового члена факультетского коллектива, он, как положено, наносит визиты профессорам, а также кое-кому из прежних товарищей, и всюду принят радушно, особенно в тех домах, где есть девицы на выданье: он из почтенной семьи, хорош собой, прекрасно воспитан (вдобавок еще и музыкант), небогат, конечно, но зато имеет блестящие перспективы университетской карьеры — чем не жених?! Он, правда, уже сделал предложение Иде Александровне и получил ее согласие, но свадьба отложена на 4—5 лет [А, оп. 2, № 4, л. 169] — очевидно, до предполагаемого окончания диссертации и получения прочного места, — но о ней никто в Петербурге не знает.

Поначалу молодой ученый чувствует себя явно неприспособленным к светским раутам. Вот он попадает к «генералу» — В. А. Жуковскому, как ему кажется, не вовремя: там «масса народу» и разговор поэтому вертится «на общих тоскливых темах» [там же, л. 138]; да и сам он во время визитов постоянно конфузится: «...галстук сейчас, конечно, пополз набок, манжеты сделались отчего-то необычайно длинными, так что мне приходилось из них извлекать руки, словно верблюдов сквозь иглиные уши, глаза стали проворно бегать из угла в угол... а язык преисправно прилип к гортани. Трагедия у меня в таких случаях!» [там же, л. 176].

Не в восторге он и от обязанности развлекать барышень. Даже записывая в дневнике о знакомстве с одной из девиц, которая явно

43

произвела на него впечатление, Крачковский замечает: «Не понравилось мне только, что сразу захотела меня обратить в кавалера для сопровождения ее по разным Эрмитажам. Ну да от этого мы как-нибудь отделаемся!» [л. 201].

Он рад, когда удастся посидеть несколько вечеров дома, без визитов, встреч и возлияний, но постепенно все больше и больше привыкает к светской жизни, чувствует себя все более свободно — и с девицами, расточающими ему комплименты: «знаменитость», «краса факультета» [л. 194], и с дамами, которые ведут с ним задушевные беседы [л. 220] и плачут «чуть не до истерики», слушая его игру на цитре [л. 180], к чему он, надо сказать, относится несколько иронически: «Оно приятно вызывать музыкой такие

эффекты, но чувствуешь себя в довольно дурацком положении!» [л. 180].

Чаще всего он бывает у Жуковских: сын «генерала» Сергей («Жучонок»), с которым они подружились еще в студенческие годы, «феноменально» играет на рояле и они часто вдвоем музицируют; посещает семейство В. В. Бартольда, лектора-сирийца Антона Хашаба, которого постоянно расспрашивает о Сирии, имея в виду будущую поездку.

К концу года он уже полностью в эту жизнь втянулся и при самых благих намерениях не может от нее отстать. «По вечерам по-прежнему почти никогда не бываю дома, — записывает он 17 декабря 1906 года, — эта история настолько превратилась в хроническую, что отстать от нее, не обижая своих многочисленных знакомых, абсолютно невозможно... Каждую неделю мечтаю, что на следующей как-нибудь упорядочусь, но увы! Не превращаются мечты в действительность!» [л. 190 об.].

А что же те обширные программы, которые были торжественно записаны в дневнике в первый день нового года? Оказывается, человек дела может так организовать свое время, что и светские развлечения не помешают.

По понедельникам и четвергам Крачковский занимался с В. Р. Розеном у него на квартире: один день читали стихи аль-Ах-таля, другой — грамматическое сочинение Ибн Яыша. Занятия проходили обычно «очень оживленно и яростно», нередко затягивались допоздна; сам Розен, по словам Крачковского, увлекался ими «до курьезного» [л. 198]. Чтение двигалось гораздо быстрее, чем бывало в аудитории. Согласно отчету за 1906 год, из аль-Ах-таля было прочитано около 300 страниц, а из Ибн Яыша — около 150 страниц in folio [А, оп. 2, № 244, л. 1].

Чем дальше, тем крепче становилась связь между учителем и учеником. Для «барона», как он именуется обычно в дневнике магистранта и как его все заглазно называли в Университете, Крачковский был последним любимым питомцем, к которому отношение всегда особенно трепетное, в которого хочется вложить как

44

можно больше, отдать все, что имеешь; недаром Розен называл его своим Вениамином².

19 ноября Крачковский записывает в дневнике: «С бароном занимаюсь по-прежнему и привязываюсь к нему все больше и больше» [л. 190 об.]; в воспоминаниях о тех временах читаем: «Все отношение барона показывало, что он привык ко мне, и всякие следы сдержанности, которая была понятна при разнице возраста в 34 года, исчезли» [А, оп. 1, № 294, л. 66].

Уроки часто заканчивались беседами, рассказами Розена о востоковедах, русских и европейских; краткий конспект этих разговоров Крачковский прилежно заносил в дневник. Барон ввел молодого Крачковского и в Восточное отделение Русского Археологического общества, заседания которого проходили по четвергам (не каждую неделю) в доме № 44 по Литейному проспекту. Учитель и ученик вместе отправлялись туда на извозчике после

очередных занятий. Впервые Крачковский попал на заседание общества 26 января 1906 года: «Был вчера впервые на заседании Археологического общества. В общем очень симпатично: очень мало натянутости и очень много семейности. Помещение хорошее, вся публика почти наша, а значит наполовину знакома; даже Смирнов вчера сунул лапу. Народу довольно много и почти все восточный факультет, Иностранцев делал доклад о военном искусстве в эпоху сасанидов по арабским источникам... По-видимому, удивительно дошлый малый и замечательно хорошо разбирается в самых что ни на есть путаных вопросах» [А, оп. 2, № 4, л. 147).

Через два года, пытаясь в некрологе В. Р. Розена осмыслить жизненный путь своего учителя, Крачковский отметит, что у него на первом плане всегда были не его собственные научные работы, а ученики и любимое детище его рук — «Записки Восточного отделения Русского Археологического общества», первый русский специальный востоковедный журнал. «Для своих учеников, — писал Крачковский, — он не жалел ни сил, ни времени», находя в них «отраду в тяжелые минуты жизни». Он был для молодых «не только надежным руководителем в науке, он был настоящим отцом по духу, умевшим оказать и нравственную поддержку, успокоить и утешить в тяжкие минуты невзгод или душевных страданий» [31, с. 9—10). Да, эту черту учителя вечно сомневающийся в себе Крачковский мог оценить лучше многих.

С другим «патроном», В. В. Бартольд, такой близости не возникло. Очевидно, и не могло возникнуть: по свидетельству А. Е. Крымского, «у Бартольда совсем не было того свойства, которое присуще было незабвенному барону Розену...: уменья любовно обращаться с учениками, создавать учеников-товарищей, формировать так сказать научную семью» [письмо И. Ю. Крачковскому от 20 мая 1935 г.; А, оп. 3, № 504, л. 95 об.). Действительно, хоть Бартольд и был достаточно высокого мнения о молодом Крачковском, общение с ним действовало угнетающе: «Боже

45

мой! До чего он каждый раз меня подавляет совершенно невольно. Таким ничтожеством начинаешь себе казаться, что невольно закрадывается мысль, не лучше ли скорей бросить всю эту комедию с разыгрыванием из Себя ученого. Все мои планы деятельности после этих разговоров с ним кажутся такими наивными» [А, оп. 2, № 4, л. 138—139).

Как уже говорилось, Крачковский многому от Бартольда научился, прежде всего — работе над источниками; его влиянием, очевидно, навеяны и первые пункты учебного и научного максимума. Но барьер между старшим и младшим разрушен так и не был.

Помимо регулярных занятий с бароном, ни на день не прекращалась самостоятельная работа по намеченному 1 января плану. По страницам дневника и писем к сестре рассыпаны упоминания о ходе выполнения тех или иных пунктов минимума, включая французский язык; летом самостоятельные занятия не прерывались, а, наоборот, становились более интенсивными.

Более или менее полное представление о работе за первый год дает отчет магистранта, представленный на факультет 24 ноября

1906 года. На первом месте в нем значится изучение арабского языка «с лингвистической точки зрения» (ведь, по его собственной оценке, «филологический фундамент» у него был «очень слаб»). Отсутствие исторической грамматики арабского языка заставило Крачковского «ограничиться изучением различных текстов в хронологической последовательности» [А, оп. 2, № 244, л. 1]. Здесь фигурируют включенные в план южноарабские диалекты (по работе Хоммеля) и североарабские надписи (пока тоже на основе европейской научной литературы); в области классического языка намеченные ранее «Маджани-ль-адаб» и Абу Ханифа заменяются огромным количеством поэтических текстов, что больше отвечает предполагаемой теме диссертации да и вообще природной склонности Крачковского. В их числе названы, помимо упомянутого уже аль-Ахталя, полностью проработанные муаллаки с комментариями аль-Заузени и (частично) ат-Тибризи, составленный Т. Нельдеке сборник арабской классической поэзии «*Delectus veterum carmi-num arabicorum*», диваны Абу Михджана, Мана ибн Ауса, Абу-ль-Атахи и частично просмотренные диван Лебида и «Диван шести поэтов» в издании В. Альвардта. К этому добавляются различные комментарии и национальные словари. Для знакомства с современным литературным языком читались журналы «аль-Машрик» и «аль-Хиляль», некоторые работы Дж. Зейдана и «несколько полемически-богословских трактатов современных мусульман» [там же, л. 2]. По сирийскому диалекту была составлена библиография наличных материалов (которой до тех пор в научной литературе не существовало), насчитывающая 62 номера (с 1764 по 1905 гг.); некоторые работы «попутно изучались... более систематически» [там

46

же]. Таким образом выполнялся и пункт третий программы-максимум — подготовка к командировке в Сирию.

. В области истории арабской литературы Крачковский, как и собирався, сосредоточил свои усилия главным образом на поэзии, изучив упомянутые диваны, а кроме того — европейскую литературу по теме, включая статьи в специальных журналах.

По истории арабов Крачковский несколько скорректировал план: вместо специального изучения Омейядского и Аббасидского времени, внимание к которым, как, очевидно, и к Абу Ханифе, было отзвуком только что законченного сочинения о халифе аль-Махди, он обратился к тому периоду, где чувствовал пробел в своих знаниях, — к истории доисламской Аравии, преимущественно Йемена, а также Хирского и Гассанидского княжеств, познакомившись со всеми новейшими специальными исследованиями в этой области.

Такое усердие, направленное на изучение материалов, с диссертацией напрямую не связанных, очевидно, показалось его руководителю излишним, и он решил умерить рвение своего подопечного или, скорее, направить это рвение по несколько иному руслу. 14 сентября 1906 года. Крачковский записывает в дневнике: «Зашла речь об экзамене. "Вот что я вам скажу, — заявил он, — вы говорите себе с Коковцовым и по семитской части делайте все, что вам угодно, здесь я предоставляю вам полный простор. По арабски же ничего мне не смейте готовить к экзамену". Я было

запротестовал, указывая на то, что будет стыдно не мне, а самому барону, у которого оказался такой позорный ученик, но он уперся на своем и никаких "резонтов" слушать не захотел» [А, оп. 2, № 4, л. 208 об.].

Очевидно, Крачковский все же послушался своего учителя: в ете за 1907 год в пункте подготовки к магистерским экзаменам начится только история семитов, древнееврейский язык и сравнительная грамматика семитских языков и лишь глухо упомянуто, о чтение текстов «из разных областей арабской литературы продолжалось, конечно, и в этом году систематически» [А, оп. 2, 244, л. 5].

Испытания на степень магистра арабской словесности, проходившие, как тогда было положено, в заседании факультета, были спешно сданы осенью 1907 года: 25 сентября по арабскому языку арабской словесности и 19 октября — по истории арабов и истоии семитских народов.

Научную программу магистранта откорректировали и некоторые непредвиденные обстоятельства. Собственно, от ее первоначального плана остался лишь один аль-Вава Дамасский, и тот, как мы увидим, какое-то время находился под сомнением.

Первый пункт — перевод работы кремеера сразу же потерпел фиаско: Розен отказался его редактировать: «Говорит чтоэто мо

56

жет потребовать несколько лет работы и что он совершенно не подготовлен для такого труда... Советует дать ему вылежаться и со временем издать самому» [5 янв. 1906 г.; А, оп. 2, № 4, л. 136].

Второй пункт — свод материалов для истории первых Аббасидов, который был, несомненно, навеян темой «медального» сочинения и частично должен был быть на нем основан, вскоре оказался полностью вытесненным другой работой, также основанной на «медальном» сочинении, но работой уже чисто литературного характера. Выплыла она вперед по инициативе руководителя, но заменой этой магистрант, я полагаю, отнюдь не был огорчен.

Профессора факультета — Н. А. Медников, В. Р. Розен, В. В. Бартольд — начали читать сочинение Крачковского о халифе аль-Махди только в январе-феврале 1906 года. Официальный отзыв давал Н. А. Медников; он читал работу первым, на основании его оценки Крачковскому и была присуждена медаль. Розен до этого успел просмотреть лишь часть работы, дочитал же он ее только к концу февраля; Бартольд ознакомился с сочинением после Розена, в первой половине марта.

Не буду рассказывать о том, как волновался Крачковский в ожидании оценки «патронов», что они говорили ему по поводу работы и какой стыд испытывал он, выслушивая от них справедливые замечания (конечно, особенно от Бартольда!)³. В общих чертах отзывы сводились к следующему.

Н. А. Медников в официальной рецензии [39, с. 148—150] отметил большое трудолюбие автора, его необычную для студента начитанность и критическое отношение к прочитанному, достоинства перевода, сделанного «во многих случаях превосходно». Правда, в личной беседе, еще до опубликования отзыва, он заметил, что переводы «могли быть лучше» [А, оп. 2, № 4,

л. 141]. Особенно же понравились Медникову примечания, а также разбор арабских источников и европейских пособий.

Крачковский был не очень доволен отзывом — при всей скромности цену своей работе он все-таки знал: «Указано исключительно на внешние достоинства... Ни звука нет о способности к самостоятельному труду (если, конечно, она вообще имеется у меня, но в противном случае, зачем было оставлять при университете?), ни слова не сказано о пользовании помимо арабских источников еще персидскими и византийскими и о том, что сочинение дает гораздо больше, чем требует тема. Ни слова, наконец, о языке. Одним словом — Медников остается Медниковым» [там же, л. 205].

В. Р. Розен отозвался о сочинении с большой похвалой, заметив, что «от студента большего требовать нельзя» [там же, л. 163]. Крачковскому эта похвала показалась двусмысленной — он-то втайне хотел, чтобы его сочинение, пусть неудачное, оценивали не как студенческий опыт, а как самостоятельную научную работу, без всяких скидок!

48

По словам Розена, Крачковский «из такой громадной и расплывчатой темы» выжал «все, что только могло быть интересным» [там же, л. 149]; особенно понравилось ему исследование источников. «Поругал он меня за слишком большой критицизм, прибавив, впрочем, что это очень хорошо» [там же, л. 163]. Было, наверное, высказано и больше конкретных замечаний (судя по заметкам Розена на полях сочинения), и больше похвал.

Отзыв явно окрылил магистранта, который незадолго до того испытал очередной приступ «черной меланхолии», да такой сильный, что, как он писал сестре 21 января, «несколько раз хотел идти к начальству и заявлять... о своей окончательной неспособности к научной работе» [А, оп. 3, № 26, л. 151—152]. После беседы с бароном тон письма (от 28 февраля 1906 г.) уже совершенно иной, шутливый: «Барон кончил читать мое произведение только вчера и при сем удобном случае ругался нехорошими словами как мебельный извозчик. Теперь будет изучать его Бартольд, и этот будет, верно, уже не только ругаться, но по меньшей мере изобьет» [там же, л. 156—157].

От Бартольда ему действительно поначалу досталось очень сильно за некоторые ляпсусы; вообще, замечаний было высказано немало, но и похвалил он Крачковского достаточно, главным образом — «за количество сделанного. Бартольд даже удивился, как я успел такую массу сделать за один год, принимая во внимание количество переводов, и высказал предположение, что я, верно, массу перечитал по-арабски» [А, оп. 2, № 4, л. 180].

Все же, как вспоминал Крачковский впоследствии, Бартольд своим отзывом «несколько расхолодил» его к занятиям историей: С того времени я стал определенно ограничивать себя историко-литературным подходом, хотя впоследствии мне передавали, что и высказывал сожаление, почему я не занимаюсь историей» [А, п. 2, № 62, л. 132]. Это замечание явно перекликается с приведенной в предыдущей главе фразой из экскурса «Мои учителя» о

действовавшей на Крачковского «своеобразной манере Бартольда в оценке своих учеников». Так почему же он не стал историком, то же здесь было причиной — печальное недоразумение между учителем и учеником? Или действовали какие-то более глубокие факторы?

Вспомним прежде, всего об увлечении Крачковского арабской поэзией еще в студенческие годы (недаром Розен выбрал себе в ученики именно его!). Вспомним и о том, что его «медальное» сочинение оказалось гораздо сильнее в филологическом, чем в историческом плане: это касается и перевода, и комментариев. Очевидно, невольное расширение задачи, поставленной в сочинении, именно в сторону филологии отразило истинные склонности автора, которые он, испытывая мощное влияние Бартольда, тогда быть может, четко не осознавал.

49

Кроме того, следует принять во внимание еще одну особенность научного дарования Крачковского, которую он сам отметит впоследствии, подводя итог своей жизни, — «некую внутреннюю расположенность к многообразию тем, вызванную определенно аналитическим, а не синтетическим складом научного темперамента: он влек все вперед к отдельным мелким, внешне не связанным между собой, а не крупным работам» [А, оп. 2, № 62, л. 11].

Не случайно же самой объемистой и в то же время «самой дорогой и важной» для автора частью его «медального» сочинения оказались примечания — то есть, по сути, серия разнообразных по тематике самостоятельных мелких статей, и не случайно эта часть работы оказалась наиболее интересной: недаром Розен рекомендовал к печати сразу три статьи из этих примечаний — о Муканне, о зиндиках и о поэте Абу-ль-Атахии.

Нет сомнения, что господство аналитического начала над синтетическим противопоставлено в большей степени историку, чем филологу: исторический факт вне контекста, вне определенной исторической концепции в лучшем случае лишь любопытен, но не имеет научного значения; литературное же произведение, рассмотренное отдельно или переведенное, если даже исследователь и не стремится осмыслить его в широком историко-литературном контексте, сохраняет тем не менее свое самодовлеющее эстетическое значение. Характерно, что особенно по вкусу обоим «патронам» пришелся раздел как раз историко-литературного плана — экскурс об Абу-аль-Атахии, проливающий новый свет на истоки и эволюцию творчества этого поэта, дотоле недостаточно оцененного исследователями.

Готовить к печати два других предложенных Розеном раздела (заметим, исторического плана) Крачковский отказывается сразу: в таком виде («простая компиляция», по его мнению [А, оп. 2, № 4, л. 149]) они не годятся, а дальше работать над ними не хочется. Другое дело Абу-ль-Атахия: «Я против этого ничего не имею, так как и сам, пожалуй, ставлю эту работу выше всего по ее идее. Нужно будет только закруглить, прибавить полную биографию по "Китаб аль-Агани" и дополнить общую характеристику» [л. 149].

Видя интерес ученика к этой теме, В. Р. Розен 2 февраля дает ему недавно вышедшую на немецком языке книжку Н. Родо-канакиса «Ал-Ханса и ее элегии» — «почитать и посмотреть, нельзя ли его метод применить к Абу-ль-Атахию. Книжка действительно очень интересная; в ней Родоканакис задался целью исследовать поэтическую технику и психологию Ханса на основании ее элегий» [там же, л. 153]. Книга Родоканакиса справедливо представлялась Крачковскому важным шагом в развитии исследований арабской поэзии в новом духе — не столько в чисто филологическом, сколько в литературоведческом плане. Это новое течение, с одной стороны, «выражается в стремлении проследить возникнове

50

ние и эволюцию отдельных видов поэтического творчества, с другой — в определении индивидуальной поэтической физиономии отдельных поэтов, которые до сих пор во всех историях арабской литературы сливались в какую-то бесцветную и довольно однообразную массу» [27, т. 2, с. 16—17].

Крачковский страшно увлечен. Уже 5 февраля он записывает в дневник свои соображения по поводу книги и возможности применения метода Родоканакиса к исследованию поэзии Абу-ль-Атахию: очевидно, он подойдет только для стихов жанра зухдийят, то есть аскетического направления, родственного элегиям, но ведь вопрос об этом жанре в арабской поэзии вообще не разработан, многое придется пробовать впервые — и конечно, это займет не месяц и не два. «Но вообще мне бы очень хотелось покопаться над ним. Удивительно, почему тянет к этому субъекту» [А, оп. 2, № 4, л. 156]. (Заметим в скобках, что пессимистические строки поэта на фоне его же светской, придворной поэзии должны были находить отклик в душе постоянно рефлектирующего Крачковского-магистранта.)

Он собирается на следующий же день, во время очередных занятий с бароном, поговорить с ним на эту тему. «Состоялась эта беседа тогда или нет, неясно», — пишет В. А. Крачковская [22, с. 13]. Я полагаю, что состоялась и что «патрон» мог испугаться, увидев, какого джина он выпустил из бутылки, потому что 27 февраля, когда у них с Крачковским произошел окончательный разговор о сочинении, он неожиданно посоветовал печатание excursus об Абу-ль-Атахию отложить: по его мнению, обработка его слишком бы отвлекла магистранта от обязательных занятий. Очевидно, к тому времени руководитель еще не сумел полностью оценить феноменальную работоспособность своего подопечного.

Это решение повергает Крачковского в уныние: «Я, по обычаю, не показывая вида, поспешил согласиться. Бедный барон! Он и не подозревал, каких мне внутренних мучений стоило, когда я ставил крест над своим злосчастным сочинением, а может быть этим самым и над всей дальнейшей своей деятельностью» [А, оп. 2, № 4, л. 164].

Но — джинн из бутылки выпущен, Крачковский в действительности уже не может поставить крест на своем любимце и, раздумывая о планах дальнейшей подготовки по поэзии

хочет, оставив пока в стороне труды европейских арабистов, сразу браться за тексты — и, конечно, именно за Абу-ль-Атахию [там

же, л. 178]. И вдруг — новая неожиданность: Розен как председатель Восточного отделения Археологического общества при встрече 23 марта предлагает ему прочесть в апрельском заседании доклад об Абу-ль-Атахии! «Именно в том виде, как он у вас написан» [там же, л. 181], — подчеркивает барон, страшась, очевидно, нового всплеска вдохновения, которое уведет его ученика в сторону от плановых занятий. Но Крачковский все равно вновь принимается за отделку

51

своего опуса, боясь осрамиться перед серьезной публикой, хотя Розен и уверяет его, что «серьезность-то у них очень относительная» [там же, л. 188]. Он не только придает докладу соответствующий внешний вид и добавляет иллюстрации в виде переводов, но и обследует рукопись дивана Абу-ль-Атахии в Азиатском музее.

Доклад перенесен на сентябрь — и подготовка к нему углубляется: теперь Крачковский решает собрать и все фрагменты стихов Абу-ль-Атахии, имеющиеся в различных сочинениях; эта работа завершена в июне. Весь июль, который он проводит в деревне, Крачковский, помимо прочих занятий, трудится над окончательной отделкой доклада.

Ему хочется сломать традиционное представление об арабской поэзии как поэзии «ненастоящей», европейскому вкусу чуждой; во введении он подпускает «некоторые шпильки» по адресу «буржуазных взглядов на арабскую поэзию» [там же, л. 191]. Приходит мысль попросить Юлию Юлиановну дать поэтическую обработку переводов, чтобы с их помощью ярче доказать свой тезис. 12 июля он посылает ей подстрочник шести стихотворений, указывая арабские размеры в тех случаях, когда, по его мнению, их можно имитировать в русском переводе. Юлия Юлиановна с неменьшим увлечением берется за работу. По ее письмам видно, как серьезно она относится к делу, как трудно оно ей поначалу дается (тем более что в первом же предложенном ей размере — хафифе — Крачковский расставил ударения неточно, и она недоумевает, как же это звучит по-арабски) и как тонко она понимает эти стихи.

Переводы Ю. Ю. Снитко, которыми она сама не была удовлетворена (в этом отношении брат и сестра удивительно похожи!), Крачковскому понравились, и он включил их в доклад.

Увлечение работой над Абу-ль-Атахией было настолько сильным, что появилось желание писать диссертацию о нем вместо аль-Вава, тем более что, по мнению Бартольда, Абу-ль-Атахия был «очень подходящей темой для кандидатской диссертации» [там же, л. 180]. Однако Розен категорически отсоветовал: «Здесь вы, в сущности говоря, ничего нового не скажете; конечно, у вас освещение несколько иное, но ведь все-таки Абу-ль-Атахия — фигура известная, а этот (аль-Вава. — А. Д.) совсем забыт» [31 авг.; там же, л. 208 об.].

Крачковский огорчен: «Это второй уже траурный этап в моих научных стремлениях и второе начинание, которому суждено остаться несбывшимся» [там же, л. 208 об.]. «Благодаря такой штуке, я как-то охладел к самому докладу и теперь думаю, лишь бы сбыть его с рук», — пишет он сестре 10 сентября [А, оп. 3, № 26, л. 177]. Она, сама увлеченная этим поэтом, тоже расстроена, обидна и апатия, возникшая у брата по отношению к докладу; Юлия

Юлиановна пытается его утешить: «А не ошибся ли барон в своем мнении?» [А, оп. 3, № 840, л. 194].

52

Действительно, не ошибся ли? Ведь Абу-ль-Атахия более крупная величина в арабской поэзии, чем аль-Вава. Да и жанр зухди-йят мало изучен. Да и Бартольд считал ведь Абу-ль-Атахию очень подходящим объектом для диссертации. Более того, он предсказывал даже, что барон погубит Крачковского «со всей своей *boria voluntas* [А, оп. 2, № 4, л. 164 об.—165].

Если оценивать ситуацию с позиции современных историко-литературных, а тем более типологических исследований, то нужно признать, что эта тема могла быть очень плодотворной, обгоняющей свое время. Очевидно, Бартольд и мыслил ее скорее как историко-литературную, чем как филологическую, хотя работа над рукописями предполагалась бы и здесь. Розен же явно заботился больше о филологическом аспекте работы (как более надежном) и поэтому предпочел аль-Вава, где во всяком случае в науку вводился бы богатый новый материал и польза от работы была бы несомненной.

Честно говоря, теперь огорчение ученика было не столь уж глубоким (вероятно, он предчувствовал отказ?): «Ну что ж, Вава так вава, будем раскапывать его. Теперь-то, признаться, я к нему чувствую, пожалуй, даже больший интерес, чем к работе над Абу-ль-атахией [там же, л. 214 об.]. Правда, по этой теме, судя по ответу за 1906 год, Крачковский сделал немного, ибо начал систематическую работу над ней только в ноябре: приступил к изучению вана аль-Вава по рукописи Азиатского музея и сбору данных о нем в различных арабских антологиях [А, оп. 2, X? 244, л. 3]. сновная работа над диссертацией была еще впереди.

Тем временем подошел день доклада — 28 сентября. Этот день подробно описан в дневнике и в письме к Ю. Ю. Снитко; в дневнике даже чертеж сделан — где кто сидел за столом заседаний. Разумеется, волнений было много: и почти бессонная ночь накануне, головная боль, и излишняя торопливость при чтении, но слушан доклад хорошо [см. подробнее: 22, с. 17—18]. Прений особых не было — и тема, и угол зрения были слишком непривычны. Знаменательно в этом отношении заключение, сделанное после доклада В. Р. Розеном. Приведем его так, как оно записано Крачковским в дневнике: «Прежде всего, позвольте вас поблагодарить за интересное сообщение. Я думаю, что оно даже и не для специалистов было интересно, так как даже среди ориенталистов насчет рабской поэзии существуют самые смутные представления. Пригодится, конечно, пожалуй, что вы своей специальностью выбрали именно такую, не пользующуюся симпатиями область, но вместе с тем позвольте надеяться, что вы и дальше будете продолжать занятия в этой области, так как у вас есть, по-видимому, специальная склонность; вас интересует, конечно, не филологическая сторона, а вы чувствуете здесь самую душу [А, оп. 2, № 4, л. 196 об.].

Удивительно понял Розен, в чем особенность дарования его последнего ученика. Характерно, что, как выяснил потом Крачков

52

ский, его доклад «на неспециалистов произвел большее впечатление, чем на специалистов» — естественно, их-то интересовала не филология, а именно душа. «Специалисты же говорят, что в моем сообщении литературность и некоторое стремление к показным эффектам заставляли отойти на задний план научность» [А, оп. 3, № 26, л. 183].

Несомненно, что этим докладом Крачковский не только заложил фундамент одного из основных направлений своей научной деятельности — исследования классической арабской поэзии, но и начал решать еще одну важную задачу своего творчества — задачу популяризации арабской культуры в России. Возможно, Розен оценил важность и этой его миссии: в конце заседания он обратился к Крачковскому с предложением дать доклад — и со стихами! — для публикации в «Записках Восточного отделения».

Это была последняя неожиданность, которую принес экскурс об Абу-ль-Атахии своему незадачливому автору. Он уже настроился на рукописи аль-Вава, у него уже руки чешутся — но научная добросовестность заставляет вновь взяться за Абу-ль-Атахию: внести в доклад добавления, коррективы, попросить сестру кое-что подправить в переводах. Статья «Поэтическое творчество Абу-ль-Атахии», увидевшая свет в 18-м томе «Записок» (1908), положила, по выражению самого Крачковского, начало целой серии работ «сперва над конкретным изучением отдельных поэтов или их произведений, а затем и над арабскими теориями поэтического творчества» [А, оп. 2, № 62, л. 132—133].

Но арабской поэзией не ограничивался в это время круг научных интересов Крачковского. В 1906 году было положено начало еще одной линии его творчества, которая лишь по объективным причинам не стала в дальнейшем для него основной. Речь идет об изучении христианско-арабской литературы.

Истоки своего обращения к этой тематике сам Крачковский видел и в занятиях Абиссинией, начавшихся под руководством Б. А. Тураева еще в студенческие годы, и в интересе к живому разговорному языку, влияние которого явственно просматривалось в языке ранних памятников христианской литературы, не скованном строгими кораническими нормами [А, оп. 2, № 62, л. 128—129]. В 1906 году появился и внешний повод: предложение взять на себя составление периодической полугодовой библиографии по христианско-арабской литературе для «Византийского временника». Первая инициатива исходила, очевидно, от Б. А. Тураева: 19 января 1906 года Крачковский записывает в дневнике, что Тураев предложил ему (очевидно, пока неофициально) взяться и за арабскую, и за эфиопскую библиографию. «Я сильно побаиваюсь, — записывает Крачковский в этот день, — хотя чувствую с другой стороны, что нужно же когда-нибудь за дело браться. Насчет арабской еще, пожалуй, можно подумать, а эфиопская пусть погодит» [А, оп. 2, № 4, л. 142]. 9 марта предложение заняться арабской библиогра

Крачковский берется за работу с радостью: его, великого книгочея и в то же время любителя порядка во всем, библиография, как и библиотечное дело, привлекает настолько, что попутно, как говорится из любви к искусству, он начинает составлять и список трудов В. Р. Розена.

Библиография для «Византийского временника» разрослась неожиданно для самого составителя: когда он в середине октября отдал ее на просмотр «патрону», она включала около сорока номеров и заняла 110 листов [А, оп. 2, № 4, л. 193 об.]. Результатами в общем он был доволен, хоть, как всегда, не до конца уверен в себе: «Библиография должна выйти ничего себе, так как кое-где удастся подпустить критику. Graf у достанется сугубо. Все-таки первый опыт немного страшноват» [там же, л. 210 об.].

Критицизм, за который его поругивал в свое время Розен, и здесь дал себя знать. Молодой Крачковский, не прощавший ошибок себе, не прощал их и своим зарубежным коллегам; две аннотации для «Временника» — о работах Г. Графа и П. Пеетерса — превратились в рецензии, написанные в том же стиле, что и рецензия на «Ислам» Глаголева. Вот как сам И. Ю. вспоминает об этом: «Рецензия (на работу П. Пеетерса. —А. Д.) была написана в достаточно задорном стиле, так как я уловил в статье ошибочные поправки к работе Марра об одном христианско-арабском тексте. Мне показалось, что задета честь нашей науки, и в связи с этим у меня появился учительный тон, который звучал, вероятно, довольно комично в устах двадцатидвухлетнего новичка на научном поприще. Когда через три года после этого я встретился с Пететерсом в Бейруте, мы оба рассмеялись, и он покался, что считал меня по рецензии старым ученым» [А, оп. 2, № 62, л. 129—130].

Следует сказать, что подобный тон был свойственен лишь первым рецензиям Крачковского: «Я... только в молодости иногда подпадал под влияние полемического задора и связанного с ним стиля, который быстро и на всю жизнь стал мне глубоко антипатичным» [там же, л. 118]. Это хорошо прослеживается во всем его дальнейшем творчестве, в котором рецензии занимают далеко не последнее место.

По христианско-арабской тематике Крачковский сделал в 1906 году еще одну работу, с библиографией для «Временника» не связанную. В рукописном отделе Публичной библиотеки, где он ознакомился с материалами для работы над Абу-ль-Атахией и аль-Вава, хранитель отдела И. А. Бычков обратил его внимание на небольшой — всего пять листов пергамента — отрывок рукописи, датированной IX веком и содержащий апокриф о беседе Сатаны со Смертью⁵. Эта рукопись так заинтересовала молодого магистранта, что он скопировал ее и подготовил к изданию — с переводом, историко-литературным введением и филологическим ана

лизом текста. За лето работа была отделана и в конце августа, вместе с текстом доклада об Абу-ль-Атахии, вручена Розену, который ее весьма одобрил, к удивлению Крачковского — он-то сам ценил ее гораздо меньше, чем своего тогдашнего любимца. Издание апокрифа увидело свет в «Византийском временнике» в 1909 году. Так

началась серия самостоятельных исследований и по этой линии, дорогой для него не менее, чем поэтическая.

По обоим направлениям шла научная работа Крачковского и в 1907 году. Списав и сличив рукописи дивана аль-Вава, имеющиеся в Петербурге (около 1350 стихов), и переведя его большую часть, он отложил подготовку текста к изданию до возвращения из предполагаемой командировки на Восток, где имелись другие рукописи этого поэта, и продолжал подбор материала по антологиям. Одновременно Крачковский стал знакомиться с творчеством других поэтов хамданидского круга, к которому принадлежал аль-Вава, — Абу Фираса и аль-Мутанабби.

Изучение дивана аль-Мутанабби привело к мысли «о родстве его таланта с Абу-ль-Аля» [А, оп. 2, № 244. л. 6], величайшим арабским поэтом-философом пессимистического склада (XI век). Чтобы проверить свое предположение, Крачковский берется за комментарий Абу-ль-Аля к дивану аль-Мутанабби по рукописи Азиатского музея, а затем по Мюнхенской рукописи, специально выписанной для него в Азиатский музей. Работа приобретает самостоятельное значение, на ее основе сделан доклад в Археологическом обществе 27 сентября 1907 года и впоследствии напечатана статья в «Записках».

Опять он отошел далеко от своей основной задачи. Снова сказала «жадность к темам», когда «хочется охватить все шире то, что кажется входящим в твою специальность» [А, оп. 2, № 62, л. 124]. Так и впоследствии темы, над которыми он работал, постоянно переплетались, цеплялись друг за друга, отпочковывались и порой приводили его к совершенно неожиданным поворотам. Но это все еще впереди.

Неудача с Кремером не погасила его стремления к научно-популяризаторской деятельности, поддержанного, как я думаю, успехом доклада об Абу-ль-Атахи. И вот тайком от руководителя Крачковский взялся за перевод с немецкого небольшой книжки известного венгерского ученого И. Гольдциэра «Ислам» и представил барону эту работу уже в законченном виде в январе 1907 года. «На этот раз он отнесся не столь отрицательно и сказал, что посмотрит, каков перевод. В следующий же раз на первых двух страничках в карандашных исправлениях он показал мне, что перевод не блестящий и сжатый тяжелый стиль Гольдциэра мне плохо удастся» [А, оп. 1, № 294, л. 64]6.

По линии христианско-арабской Крачковского в этом году ожидал сюрприз, все в том же Азиатском музее. Хранитель музея, известный египтолог и коптовед О. Э. Лемм, всю жизнь занимавший

55

ся изучением легенды об архангеле Михаиле, выписал для себя из Готского собрания рукопись коптских песнопений, в которой оказалась и уникальная арабская версия этой легенды. Молодому магистранту эта версия показалась крайне интересной, очевидно даже не столько с языковой, сколько с литературной точки зрения, а именно вариациями сюжета, — недаром он слушал на филологическом факультете лекции А. Н. Веселовского!

Не долго думая, Крачковский скопировал арабскую часть рукописи целиком (264 листа), благо она была написана весьма разборчивым почерком. В книге «Над арабскими рукописями» (глава «Введение к легенде») он описывает, как делал эту работу тайком от Розена (опять отвлечение от основной темы!) и как Розен, против ожидания, «не рассердился, а очень весело сказал: "Ну, вот и отлично! Магистерскую диссертацию вы сделаете из Вава, а докторскую из Михаила"» [28, с. 59]. Но материалам этой рукописи было суждено найти отражение только в нескольких статьях Крачковского. С докторской диссертацией не получилось — так повернулся ход событий.

Попутно Крачковский перевел статью К. Брокельмана о христианско-арабской литературе, по просьбе Б. А. Тураева занимался одной коптско-арабской рукописью, а для датского коллеги Краупа сличал присланные им отрывки текста псевдопсалтыри Давида с рукописью этого сочинения, хранящейся в Публичной библиотеке.

Всего за два года им было подготовлено к печати 11 работ общим объемом около 13 печатных листов; 10 из них увидели свет в 1907—1910 годах.

Все это сегодня должно казаться невероятным: ведь в 1907 году Крачковскому исполнилось всего 24 года и был он, по нашим меркам, лишь аспирантом II курса. Правда, магистерский экзамен ему нужно было сдать только по специальности, зарабатывать на хлеб не приходилось, общественной работой он не занимался, учеников еще не имел, начитанность была большая и знание европейских языков хорошее, — и все же, все же... Суть даже не только в количестве сделанного — в научной зрелости, то есть в желании и умении (без всякой маниловщины!) самостоятельно поставить перед собой задачу и самостоятельно же довести решение ее до конца. Биография Крачковского, и в частности этот ее аспирантский период, по-настоящему раскрывает внутренний смысл расхожего изречения о том, что талант — это прежде всего трудолюбие. Не исполнительское, а творческое.

Но сам Крачковский редко бывал доволен собой. Все время ему казалось, что тратит он время попусту, успевает мало; неудачи вызывают рецидивы «самоедения», неверия в свои силы. Вот что он пишет своей невесте в марте 1906 года после первого бартольдского «разноса»: «Главное горе мое в том, что все у меня выходит как-то не по-людски: бесконечное ожидание еще полбеды, но дело

66

в том, что будущность после этого ожидания за последнее время начинает меня еще больше пугать, и может оказаться, что все ожидание пройдет понапрасну, так как в конце его ничего не выйдет... Меня везде и во всем губит самоедение, стремление думать даже там, где этого вовсе не нужно... Эта неуверенность мне портит и в науке, потому что без нее я бы сделал гораздо больше, а как портит самую жизнь, об этом и говорить нечего!» [А, оп. 2, № 4, л. 167]. Он уже предлагает вернуть ей свободу, просит забыть о нем, даже прекратить переписку. Ждать нечего.

Через три дня — снова «проборка» от Бартольда, и снова реакция отчаяния: «Жизнь все идет и идет, может и всерьез не за горами

абшид, а между тем хоть на один шаг стала ли ближе разгадка этого сфинкса? Какое там! Все больше и больше обрастаешь мохом, все сильнее развивается стремление к существованию по инерции, а впереди, как и прежде, вопросительный знак. Временами, по-видимому, и интерес к жизни появляется, на один миг вспыхивает вера в себя, в идеалы, но увы! один только миг. Дальше опять полное разочарование во всем, а особенно в себе; сознание, что все, решительно все, вот что ужасно! — это самообман и самообольщение. Вывод горький, но тем не менее с противной иногда для самого себя цепкостью хватаешься за клочки этого самообмана» [там же, л. 174—175].

Но вот что характерно: это горькое неверие в себя не заставляет его опускать руки, наоборот, работа становится лекарством от всякой тоски, нужно «не вылезать из этого хомута, а убивать все время на дело, не давая себе ни на минутку покоя» [л. 175]. И — удивительно! — в тот же день, 12 марта, вылив на бумагу все, что наболело в душе, он уже совсем по-деловому записывает: «Завтра хочу поговорить с бароном насчет занятий: дело в том, что доисламскую историю я кончил и теперь хочу перейти прямо к поэзии» [л. 178].

Розен быстро подметил эту черту характера, так мешающую жить его ученику, но в то же время развивающую в нем высокую требовательность к себе — залог по-настоящему серьезной работы. 31 января 1906 года Крачковский записывает в дневник свой разговор с руководителем, навеянный, вероятно, разбором его «медального» сочинения: «Зашла речь о научной самоуверенности и мнительности. "Все это зависит от характера, — сказал барон, — иной всякое свое писание считает перлом создания, а другой, как вы, пятьдесят лет будет заниматься и все-таки останется недоволен. Ведь для того, чтобы писать такие работы, как Кремер и Гольдциер, что требуется? Конечно — ученость, большая ученость, потом доля писательского и художественного таланта и особенно

Прощание (нем.).

57

много самоуверенности и даже, попросту говоря, нахальства"» л.150—151].

Но сложившийся характер откорректировать не так просто — РОпко потом еще было этих припадков отчаяния! Да и общение с учитеолем длилось, увы, недолго...

В начале 1908 года на Крачковского обрушилось настоящее горе: 10 января в возрасте 58 лет В. Р. Розен умер от воспаления легких. Крачковский от этого удара долго не мог оправиться: он был так привязан к учителю, столько было взаимного доверия, задушевных бесед, планов на будущее, что с возникшим теперь страшным ощущением пустоты и одиночества трудно было бороться. «Мне казалось, что в науке и в жизни я сразу предоставлен самому себе», — вспоминал Крачковский через много лет в книге «Над арабскими рукописями» [28, с. 18].

Первая реакция была шоковая. Сестре он сообщает о случившемся в двух словах, без всяких эмоций. Зато по реакции Юлии Юлиановны можно почувствовать, что значила эта потеря для ее брата: она уже не утешает, просто шлет в ответ совершенно

отчаянное письмо, словно умер очень близкий, очень родной ей человек. А на письме Крачковского, сообщаящем о смерти В. Р. Розена, приписано карандашом, ее рукой: «Какой несчастный день — день смерти Алеши тоже» [А, оп. 3, № 26, л. 201]. Если бы она могла шать, что по странной прихоти судьбы, ровно через сорок три года этот день — 10 января (23 января по новому стилю) — окажется последним днем жизни и ее любимого младшего брата — утра 24 января 1951 года он уже не увидит...

После кончины барона работалось плохо. Через полгода предстояла поездка на Восток, это еще как-то прибавляло неопределенности, тем более что до знакомства с сирийскими и египетскими рукописями дивана аль-Вава по диссертации делать было нечего. Но все-таки от депрессии спасала именно работа.

Он продолжал трудиться над библиографией для «Византийского временника» — опять подготовил, судя по отчету, около сорока рецензий [А, оп. 2, № 244, л. 12], прочел доклад об арабской версии легенды о Георгии Победоносце в Восточном отделении Археологического общества. Быть может, это была последняя его работа, которую прочел руководитель, — а быть может, и не успел?

Ему не хотелось ни с кем видаться, прекратилась «светская жизнь», визиты; «Моим единственным прибежищем опять становилась университетская библиотека, где я сидел теперь не только по утрам, но и по вечерам... Здесь я забывал все, одурманивая себя, запоем поглощая научную литературу по арабистике... Так, в каком-то мрачном полусне прошло полгода» [28, с. 15—16].

Ог написал некролог о любимом учителе и по старой памяти послал его в «Туркестанские ведомости»; вскоре вышел и составленный им список трудов Розена, который он когда-то хотел

58

«подогнать» к тридцатипятилетию научной деятельности барона. Смерть В. Р. Розена Крачковский переживал не только как свою личную трагедию: для него было ясно, какую невосполнимую утрату понесло все русское востоковедение. Взволнованными, нестандартными словами начинается некролог: «Бывают люди, со смертью которых не только обрывается одно звено в цепи живых, но ослабевает связь между остальными; в могилу с собой они уносят ту гармонию, которую обаянием своей личности вносили в общество. (...) Они — истинная соль земли, и тем тяжелее для остающихся в мире расставаться с ними» [31, с. 1].

Заслуги Розена, по неоспоримому утверждению Крачковского, заключаются не только в многогранной и всегда новаторской научной деятельности, создавшей ему всемирную славу; цель своей жизни «покойный видел в подготовке дружной семьи ученых работников, в создании такой научной среды, которая позволила бы не бояться за будущее востоковедения в России. Этой цели, действительно достойной великого человека, он достиг блестяще» [31, с. 8].

Достиг... Но кто же сохранит достигнутое, кто сможет стать наследником Розена, кто возьмет на свои плечи его нелегкую ношу?

Преемником барона, который хоть в какой-то степени заполнит зияющую пустоту, ему виделся тогда Н. Я. Марр, ученик Розена «по духу, не по специальности» [1, ф. 800, оп. 3, № В 509, л. 22 об.], такой

же. неугомонный организатор, лучше всех, как считал Крачковский, уловивший самую суть «главной жизненной идеи» их общего учителя, назвав его в некрологе «*spiritus movens*» русского востоковедения [75а, № 11, 13 янв. 1908 г.]7.

В письме с Востока Крачковский прямо выскажет ему эту идею, движимый и мыслью о необходимости сохранить русскую востоковедную традицию, которой «вся Европа завидует» [1, ф. 800, оп. 3, № 13509, л. 7 об.], и, наверное, даже просто поисками опоры для себя. 12 июля 1909 года, поздравляя Н. Я. Марра с избранием в Академию наук, он пишет: «Мне особенно приятно, что именно Вы оказались волею судеб здесь преемником бароновского стяга, может быть это Вас убедит, что и в других случаях Вы могли бы быть его достойным заместителем... Сам рок видит в Вас идейного продолжателя барона... Вы его лучше всех поняли и воплощение его главной идеи в жизнь Вы должны продлить» [там же, л. 21—22].

И все же, вероятно, он задумывался о том, что, каким бы ярким темпераментом ни обладал Марр, его научные интересы лежали в другой области, соприкасаясь с арабистикой лишь частично, а чем дальше — тем больше уходили в сторону чистой лингвистики. В арабистике же преемника не было, ибо не было среди старших личности, по масштабу равной Розену. Мне думается, подавленность Крачковского в этот момент усугублялась еще и смутным

59

ощущением падающей на него ответственности — ощущением, в котором он, так не верящий в свои силы, и себе-то боялся признаться, наверное, даже не решался спросить себя: «Достоин ли я? Справлюсь ли? Но если не я, то кто же?» Ведь он — последний любимый ученик барона, его «Вениамин» — «Бен Ямин», «Сын десницы». Молодой, бесконечно трудолюбивый, обладающий почти болезненным чувством долга... Если не он, то кто же?



ГЛАВА V

Аль-Гариб ар-руси

ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ...

Магистрант Крачковский выехал из Петербурга, направляясь в Бейрут, 22 июня 1908 года. Он не был первым русским арабистом, совершавшим подобное путешествие. К XX веку в определенной степени уже сложилась традиция длительных восточных командировок для «оставленных при университете» — достаточно вспомнить знаменитых петербургских профессоров О. И. Сенковского, И. Н. Березина, В. Ф. Гиргаса и старшего современника И. Ю. Крачковского — А. Е. Крымского, выпускника Московского университета. Однако в число обязательных компонентов «приготовления к профессорской деятельности» такая командировка не входила; в частности, В. Р. Розен на Востоке так и не бывал, считая, что для ученого, занятого исключительно классикой, знакомство с современным арабским миром, хоть оно и полезно, является все же своего рода роскошью.

Тем не менее в ходе занятий для И. Ю. Крачковского, «будущего литературоведа с некоторым интересом, по связи с христианско-арабскими памятниками, к диалектологии, вопрос об этом возник совершенно естественно на первых же шагах» [А, оп. 1, № 294, л. 68]. Внимание к христианско-арабской литературе и необходимость изучения рукописей дивана аль-Вава, имеющих в арабских хранилищах, а также дальнейшее расширение подготовки в области классической арабской поэзии ограничивали выбор места командировки Сиро-Палестинским регионом и Египтом. В этих странах проживает основная масса арабов-христиан и почти все монастыри обладают большими или меньшими рукописными коллекциями, а кроме того, имеются крупные университетские центры, в которых сосредоточены лучшие научные силы Арабского Востока и наиболее значительные библиотеки. К тому же путь в эти страны был уже проторен В. Ф. Гиргасом, проводившим в Египте и Сирии почти три года (1861—1864), и А. Е. Крымским, который два года (с осени 1896 г. по осень 1898-го) прожил в Бейруте и горном Ливане, а в Египет не попал из-за эпидемии холеры.

60

Несмотря на то что в каталоге Хедивской библиотеки в Каире значились две рукописи аль-Вава, основным местопребыванием И. Ю. Крачковского заранее был избран не Каир, а Бейрут: там, в одном из наиболее сильных тогдашних арабских учебных заведений — Университете Св. Иосифа — недавно был открыт Восточный факультет, привлекая к себе ряд крупных ученых из стран Европы, и В. Р. Розен, состоявший в переписке с одним из его профессоров, большим знатоком классической арабской литературы Антуном Сальхани, мог составить протекцию своему любимому ученику, не обладавшему, как мы бы сказали сейчас, достаточными «пробивными способностями». К тому же именно Бейрут, как было указано еще в отчете В. Ф. Гиргаса, явился колыбелью новой арабской гуманитарной образованности, родиной многих новых начинаний в литературе, центром, где сталкиваются Восток и Запад.

«Казалось естественным, — вспоминал впоследствии Крачковский, — что Сирия, и в частности Бейрут, явится единственным в своем роде местом, где можно будет изучать современную арабскую литературу в обстановке всех необходимых пособий и хорошей библиотеки, оставаясь притом все время в соответствующей языковой среде» [А, оп. 1, № 294, л. 68]. Каирские же рукописи аль-Вава, как писал он в «Прошении о командировке», можно будет изучить во время рождественских или пасхальных каникул [А, оп. 2, № 244, л. 11].

Нет сомнения, что весь план командировки был продуман И. Ю. Крачковским заранее вместе с руководителями. Было у него желание посоветоваться и с А. Е. Крымским, с которым у него к тому времени уже возникла переписка, но Крымский, вообще скупой на письма, не ответил тогда на его робкое обращение [33, с. 321, примеч. 67].

Смерть В. Р. Розена, очевидно, до того выбила из колеи всех членов кафедры и факультета, что никто не подумал о необходимости вовремя зафиксировать план официально. Этим, видимо, объясняются странные даты на документах: 6 августа 1908 г. на прошении о командировке [А, оп. 2, № 244, л. 10—11], то есть

когда Крачковский уже второй месяц живет в Ливане, и 16 декабря 1908 г. на «Инструкции командируемому в Сирию магистранту И. Ю. Крачковскому», подписанной Н. А. Медниковым и в тот же день одобренной факультетом восточных языков [А, оп. 2, № 243, л. 2].

В «Прошении» перечислялись — с вполне солидным обоснованием — следующие задачи поездки:

1. Знакомство с языком и бытом современных арабов — как подспорье при занятиях литературой классического периода;

2. Непосредственное знакомство с постановкой дела и с профессорским персоналом Восточного факультета Бейрутского университета Св. Иосифа;

61

Ознакомление с современной арабской литературой, которая о сих пор совершенно незаслуженно игнорируется европейской наукой, и личное знакомство с некоторыми ее представителями, имея в виду и дальнейшие с ними сношения;

4. Изучение рукописных памятников поэзии средневекового периода и христианско-арабской литературы и других сколько-нибудь интересных памятников, которые могут встретиться в местных библиотеках.

В инструкции подтверждались указанные задачи и для их выполнения предписывалось «путем общения с туземцами овладеть разговорным арабским языком настолько, чтобы свободно объясняться при всяких обстоятельствах; путем чтения современных литературных произведений составить себе ясное представление о направлениях и ценности современной арабской литературы; путем расспросов, чтения, наблюдений и разъездов усвоить себе особенности местного быта». Помимо этого Крачковскому, согласно инструкции, надлежало «войти в сношения с местными преподавателями классического арабского языка и прослушать в Бейрутском университете Св. Иосифа те курсы, которые он сочтет наиболее полезными для своего усовершенствования в арабской словесности; кроме того, ознакомиться с местными книгохранилищами, и особенно с хранящимися в них арабскими рукописями» [там же].

Итак, программа предстояла разнообразная и насыщенная, в некоторых пунктах неизведанная, особенно по части современной литературы. В полном объеме она могла быть реализована только с большим напряжением сил. В то же время программа предоставляла магистранту большую свободу передвижений и действий. Думаю, профессорам Факультета восточных языков, когда они посылали за границу начинающих ученых, и в голову не приходило, чтобы эта свобода когда-нибудь могла быть использована во зло, столь уважали они — и заслуженно! — своих младших коллег.

Минимальный срок командировки на Восток был определен факультетом в один год; при необходимости она могла быть продлена еще на год. Стипендия командированному выплачивалась 1050 рублей в год, то есть 87 рублей 50 копеек в месяц [З, ф. 14, оп. 3, № 1792, л. 10, 45], что, судя по письмам и дневникам, было достаточно для пропитания, оплаты жилья, бытовых услуг и кое-

каких дорожных расходов — все в скромных масштабах, но без необходимости высчитывать каждую копейку¹.

С первых же дней выезда из России Крачковский начал вести дневник. Он писал также подробные письма сестре и кое-кому из близких людей и коллег по факультету. По этим материалам обстоятельства его жизни на Востоке восстанавливаются достаточно полно.

Морской путь от Одессы до Бейрута занял десять дней. Чем ближе была цель путешествия, тем тревожнее становилось на душе: впереди ожидала необходимость активных практических дейст-

62

ий в новом чужом мире — куда-то идти, встречаться с незнакомыми людьми, где-то устраиваться... Особенно жутко становилось от своей неуверенности в арабском языке. На пароходе появилось несколько арабов; прислушался к их разговору — не понял почти ни звука. Попытался беседовать с ними — его не поняли тоже. Один из компании, «самый вежливый», на все отвечал «на-ам» («да»), почему-то с полувопросительной интонацией; как впоследствии понял И. Ю., это означало, что араб попросту каждый раз его переспрашивал, не понимая высокой литературной речи [А, оп. 2, № 5, л. 7 об.].

Этот языковой барьер хорошо знаком всякому, кто изучает язык по книгам и впервые сталкивается с живыми его носителями; арабисту же он знаком особенно, а в начале века, когда уровень грамотности на Арабском Востоке был гораздо ниже, чем теперь, когда не было радио и телевидения, сглаживающих различие языковых норм, пропасть между арабским литературным и разговорным языками была почти непреодолимой.

В Бейрут прибыли 5 июля 1908 года в 3 часа дня. Первая «победа»: кое-как самостоятельно объяснился с лодочником. И тут же «поражение» — полное отсутствие взаимопонимания с носильщиком — «куръез... исчерпанный благодаря энергии хозяйки отеля» там же, л. 9]. И такие поражения подстерегали на каждом шагу, один из его рассказов передает К. В. Оде-Васильева: «В гостинице мне понадобились чернила, и я обратился к прислуге гостиницы на литературном арабском языке, прося чернила. Однако меня не поняли, и когда я стал объяснять жестами, что мне надо, прислуга сказала: так и скажи: джубли хибр, а не атини би-л-мидад» [А, п. 2, № 85, л. 7].

Университетские профессора приняли Крачковского очень тепло — ведь это был ученик профессора Розена, рекомендованный в письмах. Университет показался ему самым симпатичным местом в Бейруте. «Вообще Бейрут производит неприятное впечатление, — пишет он сестре 8 июля, — тем, что слишком сильна в нем европейская цивилизация: всю ночь неподалеку от меня в кафешантане нажаривают избитые опереточные мотивы, и даже не могут внести никакого местного колорита. Костюм у всех, за исключением простонародья, от европейского отличается только феской.

Наряду с этим улицы имеют самый ужасный вид: без всяких названий, без номеров домов, так что отыскать кого-нибудь при

непривычке сущее наказание. Прибавить к этому жесткую известковую пыль — и картина будет полная» [А, оп. 3, № 26, л. 207].

Пыль, летняя жара, а главное — ощущение того, что здесь он живого языка не освоит, ибо собеседники при малейшем его затруднении стараются перейти на французский, — все это заставляет Крачковского покинуть Бейрут как можно скорее, и уже 10 июля, завершив все консульские и банковские формальности, он отправился в Шувейр, местечко в горном Ливане, где до него

63

побывали и В. Ф. Гиргас, и А. Е. Крымский, и поселился в запущенном монастыре Св. Ильи (Мар Ильяс), откуда совершал пешие прогулки на почту, в близлежащие селения, в горы, к источникам, стараясь брать себе в спутники местных жителей.

Монастырь находился в получасе ходьбы от Шувейра, в весьма живописном месте: «Расположен монастырь на вершине горы и со всех сторон окружен горами, постепенно спускающимися в сторону моря и Бейрута и поднимающимися к востоку, где видна высшая точка — гора Сапнин, с вершиной, покрытой вечным снегом» [А, оп. 3, № 26, л. 211 об.], — пишет он сестре 6 августа.

«Виды здесь вообще замечательные, — пишет он в другом письме, — хотя и блещут не столько зеленью и растительностью, сколько грандиозностью серых скал. Мне почему-то думается, что именно таковы должны быть скалы около Мекки, среди которых Мухаммед задумывал свое учение» [там же, л. 215].

В монастыре Крачковскому пришлось привыкать к суровому режиму — ложиться не позже десяти, вставать в половине шестого и отстаивать с монахами утреннюю службу, потому что неудобно ее пропускать [там же, л. 210 об.]; пришлось привыкать и к необычной пище, состоявшей преимущественно из овощей, зелени, фруктов, риса; реже готовились национальные, мясные блюда. Надо было свыкнуться и с местными представлениями о гигиене: «Изготавливают здесь все страшно грязно, и спасает меня только полное отсутствие брезгливости... Жуешь иной раз фаршированный бадинджан и вдруг вытаскиваешь изо рта грязную тряпку, которой кухарка для крепости его связала. Достаточно посмотреть на монастырскую кухарку, чтобы получить представление о качестве той тряпки, которую она решила пожертвовать для бадинджана!» [л. 211].

Итак, И. Ю. Крачковский, согласно инструкции, «общался с туземцами», дабы овладеть разговорным языком, и «усваивал особенности местного быта». И если трудности последнего он воспринимал легко и с юмором, то с языком дело обстояло хуже, несмотря на то что людей он не сторонился и по возможности вступал в разговоры: «В странствиях да в болтовне со здешней публикой и проходит мое время: систематически пока что не занимаюсь, отложив сие до Бейрута, знакомлюсь со здешней периодической прессой и с современной литературой, а больше всего прислушиваюсь к речи и по временам сам пытаюсь говорить, но увь! столь же успешно, как молодой петух пытается петь басом» [там же, с. 212].

Он записывает и расшифровывает загадки, песни; оставаясь в одиночестве, учится произносить трудные арабские звуки, без конца

повторяя: «хамалту хамла-л-милх» и тому подобные «тренировочные» фразы, накапливает наблюдения над различными диалектами Сирии, находит объяснения тем или иным разговорным формам. Тем не менее дневник за летние месяцы пестрит записями

64

вроде: «Настроение неважное, так как мой язык сугубо не вытанцовывается в монастыре, а сторонние знакомства что-то не удаются» [18 июля; А, оп. 2, № 5, л. 19]; «Никогда не предполагал, что язык у меня будет идти так скверно» [27 июля; там же, л. 20 об.] и т. п. Как всегда при неудачах, меланхолия у него обостряется, начинает казаться, что он вообще никаких успехов не достигнет: «Неотвязный голос шепчет: Пропали даром два месяца, помирись же и с тем, что окажутся вычеркнутыми из жизни два года» [20 авг.; там же, л. 27 об.].

Настроение портится, очевидно, еще и из-за того, что публика, среди которой он живет, внушает мало симпатий: «Монахи моего монастыря — народ не столько антипатичный, сколько безразличный и какой-то серый. Все в значительной мере невежественны, это бы еще полгоря — но гораздо хуже то, что все непробудно ленивы. Все пошли в монастырь по самым прозаическим побуждениям... Исключение по своей занятости и энергии представляет игумен Веньямин, но и у того все основано на карьеризме и мечтах о митрополии... На Россию все они смотрят как на дойную корову, а сами неспособны создать простой школы грамотности» [А, оп. 3, № 26, л. 213].

Вот чем оборачивалось его «последнее прибежище», о котором он подумывал, если с наукой не получится, — грубым фарсом, карикатурой на возвышенные юношеские мечтания! Обидно было и то, что монахи-марониты и иезуиты, с которыми он сталкивался, оказывались всегда цивилизованнее и предприимчивее православных.

Горские крестьяне пришлись ему больше по душе, чем монахи. Обратимся к тому же пространному письму от 6 августа: «Народ здесь в общем приветливый: придешь куда-нибудь — моментально появляется какой-то прохладительный фруктовый напиток (обыкновенно очень вкусный), а через некоторый промежуток за ним следует кофе. Без разговоров о войне никак не обойдется, равно как и о том, сколько у меня братьев и имеется ли жена» [там же].

В монастырь забредали люди из самых разных слоев общества — крестьяне, ремесленники, коммерсанты, представители духовенства самых различных христианских вероисповеданий, странники... Довелось познакомиться даже с профессиональным террористом, состоявшим на службе у маронитского епископа.

Наладились контакты с местной интеллигенцией — учеными, журналистами, учителями и учительницами близлежащих школ, в том числе школ Палестинского общества. Удалось даже попасть на ученический спектакль в католическую школу — «Романус, император Востока» — и подивиться бурной реакции публики, вмешивающейся в ход спектакля. Приятной неожиданностью было знакомство с несколькими литераторами: Михаилом Рустумом, автором описания путешествия в Северную Америку, интересного с литературной точки зрения, поэтом Амином Дагером Хайраллахом

и другими. «Шувейр не на шутку может считаться очагом современной литературы», — записывает И. Ю. в дневнике 8 августа 1908 года [А, оп. 2, № 5, л. 24] и подчеркивает это в отчете, отмечая особо связь творчества всех этих литераторов с арабской эмиграцией в США. Наличие особой «американской арабской литературной арены» уже тогда представляется ему «в высшей степени интересным и оригинальным фактом современной арабской литературы» [А, оп. 2, № 244, л. 13 об.]; отметим, что дальнейшее литературное развитие подтвердило правильность этого наблюдения.

Кроме того, И. Ю. Крачковский старался ежедневно читать арабские газеты и что удавалось добыть из произведений современной литературы — следовательно, в первые же месяцы он приступил к выполнению и пункта 3 своего плана.

К этому следует добавить чтение арабской классики, в частности известнейшего памятника средневековой прозы «Калила и Димна» («неплохо бы впоследствии почитать со студентами!» [А, оп. 2, № 5, л. 23]), завершение очередной библиографии для «Византийского временника», подготовку отрывка из «Легенды об архангеле Михаиле» к публикации в местном научном журнале «аль-Машрик», причем предисловие было написано по-арабски им самим и исправлено одним из ученых монахов [23 авг.; там же, л. 31]. Да еще и поиски рукописей по окрестным монастырским библиотекам. Правда, как пишет Крачковский в своем отчете, там нашлось мало интересного, разве что список комментария на Четвероевангелие, датированный 1321 годом. И снова — жадность на темы: не сделать ли на этом материале пробную лекцию в Университете по возвращении в Петербург? [там же, л. 40].

Спрашивается, при такой интенсивной и разнообразной работе, при таких результатах ее, стоило ли сетовать на «пропавшие даром» два месяца? А может быть, именно разнообразие деятельности, своего рода «разбрасывание» и создало ощущение времени, потраченного по мелочам, словно бы впустую?

БЕЙРУТСКАЯ ЗИМА

2 сентября 1908 года И. Ю. Крачковский вернулся в Бейрут и поселился, по рекомендации профессора Антуна Сальхани, недалеко от Университета в доме швеи, вдовы Абд аль-Джалиль. Свой бейрутский быт он довольно подробно описывает в письмах к сестре — и снова не столько жалуется на неудобства, сколько посмеивается над ними и над собой: «Комната у меня приличная, в два окна: одно — в палисадник, другое — на улицу. Обстановка самая примитивная: стол, кровать (какой-то странный по здешним обычаям трон с пологом) и стулья. Плачу я за это удовольствие с утренним завтраком, со стиркой, с освещением 40 франков. Пропитание приходится брать в одном ресторане... Еда пока что довольно

приличная... Семья хозяйки состоит из нее самой — свирепого вида арабки лет за 50, четырех дочек в возрасте от 30 до 16 лет... и

сына — молодого человека моих лет — владельца маленького магазинчика на рынке. На днях сей тип отстрелил себе два пальца на охоте, и теперь мне волей-неволей приходится помогать доктору при перевязках, ибо девицы вместо помощи орут в пять голосов на весь Бейрут [14 сент.; А, оп. 3, Jsfe 26, л. 217—218].

Или такая бытовая зарисовка: «Моют здесь белье дома, для какой-либо цели приглашается некая арабка — Фатима, пользующаяся своим пребыванием в христианском доме, чтобы не исполнять положенного поста в рамадан. Я ей доказываю, что вот уж на том свете черти припекут. Моет довольно скверно... С банями тоже обстоит дело не лучше... Отдельных ванн не имеется, и поэтому к вечеру грязь страшная. О пятнице, когда мусульмане, пользуясь праздником, усиленно моются, и говорить нечего. Все бы это еще не беда, но горе в том, что нет определенных дней для мужчин и женщин. Так как мусульманкам делать нечего, то они полжизни проводят в бане, устраивая из нее свой клуб, и экспроприируют сие учреждение дней на 5 в неделю. Сплошь да рядом поэтому приходится гулять понапрасну и, узрев повешенное перед входом полотенце (иных признаков присутствия внутри "дам" не имеется), возвращаться не солоно хлебавши» [28 февр. 1909 г.; там же, л. 251—252].

В середине сентября Крачковский заболел — подхватил местную, сильно изнуряющую лихорадку «абу рукаб». Спасало сердечное внимание хозяйки. Она «ухаживала исправно, чего я даже не ожидал... старательно кипятила молоко и напоминала про хинин, которым меня кормил чистокровный арабский доктор Намэ Морай, извлеченный той же хозяйкой» [там же, л. 221 об.].

Осенью с моря приходили туманы, в комнатах становилось сыро, ломило руки и ноги. Зимой страшные грозы² перемежались с теплыми солнечными днями, в палисадниках цвели розы и температура не падала ниже +7, но поскольку в Сирии дома отапливать не принято и дует из всех щелей, то комнатная температура равна была наружной, и Крачковский мерз жестоко: «Настоящее письмо пишу в пальто, в комнате стоит жаровня с углями, а ноги водружены на скамейку и закутаны самодельными коврами, каковые пожертвованы сердобольными швеями, никак не могущими понять, отчего я — Москоби из страны холода — и мерзну больше их» [22 нояб. 1908 г.; там же, л. 232 об.].

Несмотря на болезнь и бытовые трудности, осень и зима прошли в непрерывной усердной работе. Да и не от этих трудностей он страдал. Крымский, в частности, в письмах из Бейрута куда чаще жаловался на бытовые неурядицы [см. напр., 33, с. 32, 33—34, 35—36, 37 и др.]. Крачковский же, как всегда, и здесь больше мучался от «самоедства», от сознания собственного несовершенства, усиливаемых ностальгией: «Вообще что-то и

78

здесь мои занятия не вытанцовываются» [7 окт.; А, оп. 2, № 5, д. 38 об.]; арабский язык «чем больше... изучаешь, тем кажется труднее» [16 янв. 1909 г.; А, оп. 3, № 26, л. 243 об.] — и тому подобное. В припадке меланхолии он пишет отчаянные письма на факультет, в которых все то же копание в самом себе, разочарование в своих силах, мысли о том, что, коль скоро ученого из него не

выходит, честнее было бы совсем оставить Университет, и удерживает его от этого «только сознание своего долга перед факультетом» [1, ф. 800, оп. 3, № В 509, л. 12 об.]. В письме к Н. Я. Марру он выносит себе суровый приговор: «Солидных и больших работ мне не суждено создать... Последним моим ресурсом была поездка на Восток, которая, думалось мне, откроет, может быть, скрытые способности; результат оказался совсем обратным, и теперь единственной зацепкой является у меня желание быть хоть некоторой "полезностью" для других, кому как побочная статья может понадобиться арабистика. О своих же трудах при таких условиях думать тяжело» [там же, л. 13]. Аналогичные письма писались и В. В. Бартольд.у.

Реакция обоих «патронов» была одинаковой. У Бартольда - в более сдержанном тоне: «В моем письме были и некоторые замечания по поводу Вашего настроения, особенно по поводу Ваших опасений, что Вам придется отказаться от деятельности в университете и "обратиться к иной, хотя и однородной". Надеюсь, что теперь уже нет надобности касаться этого вопроса и что самое предположение было высказано Вами в минуту меланхолии и тоски по родине, вполне естественной». Он предлагает Крачковскому, если ему трудно, не просить о продлении командировки и уверяет, что по отношению к нему «среди факультета нет разногласий» [28 янв. 1909 г.; А, оп. 3, № 101, л. 4 об.].

Марр, в соответствии со своим «взрывным» характером, высказывается более эмоционально: «Что Вы, батюшка, вздумали на себя клеветать. Ведь Вас теперь испортить уже нельзя, посему прямо сказать могу Вам: весь факультет ждет от Вас своего обновления, во всяком случае судьба всей Передней Азии как "ориентального".поприща зависит ближайшим образом от Вас, если и с этим не согласитесь, то во всяком случае мусульманское и вообще семитское отделение, насколько оно связано с арабским, ждет опять-таки жизни от Вас. Да Вы не думайте, что Вы слабы или сильны, велики или малы, об этом предоставьте судить другим, Вы только продолжайте работать так, как работали, как начали и продолжали работать, продолжайте и продолжайте, и больше ничего не нужно... Простите за откровенность, Вы талантливы, а талантливые люди не могут не страдать от одиночества, их судьба родиться одиночками и работать в одиночестве, пока мир остается миром» [1, ф. 800, оп. 2, № 50, л. 9 об.—10].

Эти уверения порой успокаивали на время, а порой только подливали масла в огонь «самоедства»: действительно, от него столько

67

ждут, а он ни на что не способен, то есть всех обманывает, что же ему делать?

Разумеется, ощущение одиночества сильно влияло на тогдашнее настроение Крачковского. В Бейруте он не нашел себе друзей. Стиль отношений учеников с профессорами здесь был не тот, что в Петербурге, да и профессора были «слишком заняты своими делами» [1, ф. 800, оп. 3, № 509, л. 7 об.]. Студентам — в основном европейцам и американцам — его интересы были чужды, и кроме

того, он в первую очередь стремился к общению с арабами. Он любил ходить по базарам, где еще сохранился «восточный колорит», часами просиживал в лавке хозяйского сына, старался заводить знакомства. Однако и с ближайшим арабским окружением дружбы не получалось: внешне европеизированная бейрутская аристократия и торговцы находились, по его оценке, «в той стадии, в которой было русское общество во времена фонвизинского "Бригадира"» [А, оп. 2, № 5, л. 13 об.]; разговоры — только о деньгах и торговле [А, оп. 3, № 26, л. 225]. Не тянуло его и к своеобразной среде русских дипломатов. Единственной отдушиной, «чтобы не забыть русский язык», была для него русская школа Палестинского общества, начальница которой, старушка-миссионерка М. А. Черкасова, «русская мама» («мама ал-москобийе»), как ее называло бейрутское простонародье, оказалась очень интересным человеком, «о котором можно написать целую книгу» [А, оп. 2, № 5, л. 12]. Беседы с ней скрашивали одинокое существование.

Скучать, впрочем, было некогда. Занятия в Университете начались в конце сентября. Университетское начальство избавило Крачковского «от всяких формальностей» и разрешило посещать лекции бесплатно [А, оп. 3, № 26, л. 226].

Для Восточного факультета Университета Св. Иосифа, по отзыву Крачковского, было характерно «смешение практических задач с научными, чисто научных — с миссионерскими» [26, с. 12]. Курс наук был рассчитан на три года (по желанию можно было ограничиться и двумя годами); в программе, составленной в 1902 году, значились следующие обязательные предметы: арабский классический язык (включая специальный курс истории арабской литературы), сирийский, еврейский языки, история и география Востока и восточная археология (включая семитскую эпиграфику); предметы по выбору: арабская диалектология, коптский язык, греко-римские древности [подробнее см. 26, с. 15 сл.].

Преподавание шло на французском и арабском языках. Среди профессоров было много известных европейских и арабских ученых.

Крачковский слушал в Университете следующие курсы: 1. Арабский синтаксис и арабская диалектология — проф. Л. Ронзеваль. Его занятия, во время которых он широко пользовался параллелями из других языков, особенно семитских, в том

68

числе египетского и месопотамского диалектов, давали представление о путях формирования арабского диалекта Сирии, более того — указывали на общность лингвистических законов, обуславливающих те или иные языковые явления. По отзыву Крачковского, это был один из самых интересных курсов факультета [26, с. 19].

2. История арабской литературы — проф. Л. Шейхо, редактор научного журнала «аль-Машрик», один из крупнейших арабских филологов начала века, научная деятельность которого была посвящена преимущественно изданию памятников классической арабской литературы. Начатый им в 1902 году курс, основанный на большом количестве источников, охватывал каждый год небольшой хронологически замкнутый период; в 1908/09 учебном году он был

посвящен поэзии за первые 50 лет хиджры. В этом курсе, согласно оценке И. Ю. Крачковского, «поражала не столько, может быть, широта построения, сколько обилие фактического материала» [26, с. 18].

3. Арабская риторика — проф. Ш. Эдде, исследующий главным образом развитие эстетических теорий арабов и являющийся, по мнению Крачковского, «одним из очень интересных специалис- тов» [26, с. 37].

4. Древнееврейский язык — проф. П. Жюон. Его курс, построенный на разборе Книги Бытия и Книги Исхода, с привлечением данных и сравнительной грамматики, и сравнительной поэтики, «представлял основательное введение в чтение библейских текстов» [26, с. 21].

5. История ислама — проф. Г. Ламменс, яркий и разносторонний талант, автор работ по лингвистике, истории, исторической географии, эпиграфике, искусству, а также исторических повестей на арабском языке. В новой области, к которой он обратился в своих лекциях: истории Мухаммеда и раннего ислама, — ему, по прогнозу Крачковского, тоже «удастся сказать новое слово» [26 с. 30].

Среди профессоров Университета, которые в этом году лекций не читали, Крачковский особо выделяет филолога А. Сальхани, большого знатока арабской художественной литературы, специалиста по текстуальной критике, подготовившего во всех отношениях образцовое издание дивана аль-Ахтала, омейядского поэта. Крачковский испытывал к этому «старичку с очень милыми глазами» [А, оп. 2, № 5, л. 9 об.] особенную симпатию как к человеку, связанному с его покойным учителем.

Крачковский вел подробные конспекты лекций, часто по-русски; особенно старательно записывал он лекции Л. Шейхо. На некоторых занятиях, как и в Петербурге, слушателей было совсем немного. К его разочарованию, в этот год не читались вовсе курсы по коптскому, эфиопскому и сирийскому языкам — за отсутствием профессоров или слушателей. Вообще, как пишет Крачковский,

69

«восточный факультет в настоящее время находится, по-видимому, в состоянии некоторого оскудения» [А, оп. 2, № 244, л. 14].

Лекции также вызвали некоторое разочарование: они хоть и читались частью на арабском языке, но по своей методе носили чисто европейский характер. «Думается, что для меня лично они мало дадут нового, — пишет он с разочарованием сестре в октябре 1908 года, — так как с европейской наукой я знаком достаточно; на живое же изучение в университете, как оказывается, обращают так же мало внимания, как и у нас» [А, оп. 3, № 26, л. 225 об.].

Желая ближе познакомиться с подлинно арабской филологической традицией, Крачковский с помощью редактора мусульманской газеты «аль-Иттихад аль-Османи» находит себе наставника — настоящего мусульманского ученого шейха. Абдаллах аль-Хусни аль-Алами, профессор богословия и литературы в правительственной мусульманской высшей школе, автор ряда трактатов по риторике, просодии и др., с первой же встречи

произвел на него огромное впечатление: «Удивительным средневековым запахло. Просто диву даешься, каким образом оно могло сохраниться при нынешних условиях» [9 нояб. 1908 г.; А, оп. 2, №5, л. 41]. С шейхом аль-Алами Крачковский читал диван Абу Нуваса; комментарий шейха представлял для него «громадный интерес» как живая иллюстрация «к некоторым страницам истории арабской литературы» [А, он. 2, № 244, л. 14 об.]. Не менее интересны были беседы с шейхом о современном положении мусульманства, в которые порой выливалось чтение Корана и комментария Мухаммеда Абдо.

Одновременно продолжалось знакомство с новой арабской литературой. По-прежнему в поле зрения Крачковского попадали преимущественно писатели, связанные с американской эмиграцией, среди которых наиболее интересным кажется ему Сулейман аль-Бустани, переводчик «Илиады» на арабский язык: его имя, замечания о тех или иных его произведениях не раз встречаются в дневнике. К той же зиме относится и зарождение интереса к арабскому историческому роману (по прочтении «Мусульманской цивилизации в Багдаде» Джамиля аль-Мудаввара) и находка в области литературы на местном диалекте: «Народный подарок» (или «Путешествие Финьянуса») осевшего в Бразилии Шукри аль-Ху-ри — произведение, которое, по мнению Крачковского, заслуживало бы (ради языка) критического издания [22 февр. 1909 г.; А, оп. 2, X? 5, л. 91]. Так интерес к новоарабской литературе неожиданно смыкался с одним из существенных аспектов интереса к христианско-арабским сюжетам.

В чтении «для собственного удовольствия» не забыта была и арабская классика, на этот раз — «Тысяча и одна ночь», которой он в подлиннике раньше не читал [14 сент.; А, оп. 3, № 26, л. 219].

Но основным своим делом в Бейруте Крачковский считал работу над рукописями. На другое же утро после возвращения из Шу

70

вейра он отправился в университетскую библиотеку и в дальнейшем исправно посещал ее каждый день. Обстановка библиотеки Университета Св. Иосифа так ярко описана самим Крачковским в книге «Над арабскими рукописями» (глава «Книги и люди»), что пересказывать не имеет смысла: той живой жизни, которой она насыщена, я вложить в эти строки никогда не смогу — и отсылаю читателя к первоисточнику.

Поскольку рукописи дивана аль-Вава (то есть основная его задача) ожидали Крачковского в Каире, здесь он занимался изучением имеющихся в библиотеке поэтических антологий, которые могли содержать стихи его героя. Удалось обнаружить несколько новых фрагментов и вариацию (тахмис) на стихи аль-Вава, принадлежащую известному суфийскому поэту Абд аль-Гани ан-Набу-луси. Крачковский принимается и за поэтические тексты, так или иначе с его основной темой связанные. Это, во-первых, халиф-поэт Язид ибн Муавия, которому в некоторых исторических сочинениях приписываются те или иные стихи аль-Вава, а поскольку полный диван Язида не сохранился, работа идет также по линии выборки фрагментов. Другой заинтересовавший его поэт — Ибн аль-

Мутаазз, принадлежащий, как считает Крачковский, к тому же направлению, что и аль-Вава. Восточное издание дивана Ибн аль-Мутаазза, которое он принялся штудировать, по уровню своему его не удовлетворило. Обнаружив в университетской библиотеке рукопись дивана, более старую, чем та, которая легла в основу издания; он принялся за сличение текстов и обнаружил много разночтений. Делал он это без особого энтузиазма («работа удивительно тоскливая» — дневниковая запись от 13 января 1909 г. [А, оп. 2, № 5, л. 82 об.]) — скорее, из добросовестности и сознания необходимости довести начатое до конца. Тем более что на горизонте уже замаячила новая тема, которой впоследствии было также отдано немало сил, — средневековая арабская риторика и поэтика.

За осень—зиму 1908—1909 годов Крачковский систематически, в исторической последовательности, штудирует труды Ибн Кутейбы, Кудама ибн Джафара, аль-Амиди, аль-Аскарри, Ибн Рашика и Ибн аль-Асира — «последнего могикана этого направления, решающего хотя иногда высказать самостоятельно выработанные суждения»; все дальнейшие работы в этой области он считает лишь перепевами ранее достигнутого [отчет за первую половину 1909 г.; А, оп. 2, № 244, л. 17]. Быть может, к этой теме его подвели лекции Эдде, быть может, способствовало подсознательно изучение дивана Ибн аль-Мутаазза, который явился и автором первого арабского трактата о поэтике. Главная же побудительная причина заключалась, несомненно, в его подходе к арабской поэзии, в первую очередь эстетическом, что, как мы видели, он продемонстрировал уже своим докладом об Абу-ль-Атахи. «Ближайшим поводом к такому изучению явилось желание выяснить эстетическую теорию ара

71

бов, поскольку она являлась приложимой к поэзии» [А, оп. 2, № 244, л. 17]. |

Однако арабские теории не объясняли самого для него главного — природу эстетической эмоции непосредственных слушателей, вызываемой старинной арабской поэзией, поэтому единственный путь подхода к решению своей задачи Крачковский видел в сопоставлении этих эстетических теорий с европейскими и анализе их на этой основе, что, как он предвидел, «потребуется многих и многих лет работы» [там же]. Он понимал, что в конечном счете тема эта в очередной раз уводит его в сторону от диссертации, но мысли о ней его не покидали. В дневнике появляется запись: «О поэтике по-прежнему мечтаю платонически, недурно было бы сделать из нее пробную лекцию» [25 янв.; А, оп. 2, № 5, л. 85].

Ограничиться — хоть на время — одним лишь пассивным усвоением знаний Крачковский не мог. Если в повседневной жизни он, по словам одного из его арабских приятелей, «больше покупал, чем продавал» [28, с. 16], то есть больше слушал, чем говорил, то научный его темперамент требовал отдачи, активной деятельности. «Вообще убеждаюсь, — писал он сестре 6 декабря 1908 года, — что точно пьяница без водки, так и я без писания жить не могу, несмотря на все зарюки» [А, оп. 3, № 26, л. 234 об.].

Здесь, на Востоке, зарождались замыслы его первых работ о современной арабской культуре. Еще летом 1908 года, когда

неуспехи в живом арабском языке казались ему катастрофическими, он записывает в дневник: «С горя придумываю темы для книжных работ, на которые придется, верно, перейти (перевод Илиады, университет, сирийская пресса, арабская литература в Америке), в отчетах же придется, верно, подвирать изрядно» [А, оп. 2, № 5, л. 19].

Из этих работ во время пребывания в Бейруте он выполнил только одну, посвященную особо поразившему его переводу «Илиады», — и сразу же пустился в несбыточные мечтания: «Ужасно хочется сгруппировать материал "Гомер в восточных литературах"» [25 янв.; А, оп. 2, № 5, л. 85] — но здесь уж пришлось себя ограничить. По обыкновению написал несколько рецензий — для «аль-Машрика» и «Записок Восточного отделения»; по просьбе Л. Шейхо составил на французском языке для его книги «*La littérature arabe au XIX siècle*» сводку материалов о русских ориенталистах. И в конце января уже не отчаяние, а сдержанная гордость в дневниковой записи: «Одним словом, и здесь приходится все спешить, что же будет в Питере по возвращении?» [25 янв.; там же, л. 86]. Да и жалобы на трудности с языком к весне пропадают — и в письмах, и в дневнике...

72

«ТАКИХ ЗАДАЧ МНЕ ЕЩЕ ЖИЗНЬ НЕ СТАВИЛА»

Весной 1909 года занятия Крачковского были прерваны месячной поездкой в Египет (20 марта—21 апреля). Перенос сроков поездки по сравнению с первоначальными планами был вызван начинавшимся в это время в Каире Международным конгрессом археологов, в котором Крачковский решил принять участие, ибо участникам предоставлялись некоторые льготы [А, оп. 2, № 244, л. 15]. Кроме того, полагаю, был большой соблазн повидаться с соотечественниками, представителями не дипломатической, а ученой среды, в число которых должен был входить и его учитель профессор Б. А. Тураев.

Он и предполагать не мог, какую большую роль сыграет эта поездка в его судьбе.

Конгресс археологов, весьма представительный, проходил очень торжественно с 28 марта по 3 апреля 1909 года. Участникам конгресса была предложена также большая туристская программа: они осмотрели пирамиды в Гизе, страусовый питомник, зоологический сад, Музей египетских древностей, каирскую цитадель и знаменитые мечети, совершили поездки в Александрию, Мемфис и др. Все это было весьма кстати, тем более что многие археологи взяли с собой в «экзотическое путешествие» жен, детей, родственников.

И. Ю. Крачковский все свое время проводил в обществе Б. А. Тураева и его друзей: известного археолога Б. В. Фармаковского, приехавшего с двумя родственницами — женой брата В. А. Фармаковской и ее сестрой Е. А. Мякотиной. После завершения конгресса археологи отправились в Верхний Египет, Крачковский же остался в Каире работать над рукописями; ему было поручено, кроме того, опекать обеих дам, также оставшихся в Каире.

Каирские рукописи аль-Вава разочаровали: это были две идентичные копии одного и того же списка, к тому же менее

полного, чем петербургская рукопись. Зато удалось собрать еще достаточное количество стихов Язида, которые вкупе с бейрутскими могли «дать более или менее полную картину его поэтического творчества» [А, оп. 2, № 244, л. 16]. Частичное (за дефицитом времени) сличение издания Ибн аль-Мутазза с рукописью Хедивской библиотеки обнаружило чрезвычайно низкий уровень издания и подсказало Крачковскому еще одну идею на будущее: критическое издание дивана, которое, как он пишет в отчете, «иншалла, явится по окончании занятий над аль-Вава одной из моих очередных работ» [там же, л. 16 об.].

13 апреля археологи возвращаются. Еще одна египетская неделя: утром — библиотека, рукопись Ибн аль-Мутазза; вечером — веселые прогулки всей компанией, в которой самые молодые — И. Ю. Крачковский и В. А. Фармаковская. Безобидное подтрунивание друг над другом, легкое озорство: во время прощальной ве-

73

черней прогулки в Гизе 19 апреля «порожнюю бутылку от выпитого кианти принесли в жертву Сфинксу, положив ее у шеи под левым ухом» [А, оп. 6, № 203, л. 136]. А 21 апреля Крачковский уже снова в Бейруте и ждет Б. А. Тураева и своих новых друзей, которые должны явиться через несколько дней, чтобы всем вместе ехать в Дамаск.

Описывать египетское путешествие Крачковского можно подробно, можно ограничиться сказанным здесь, но предоставим слово ему самому. Письмо к сестре, написанное в день возвращения в Бейрут, которое я приведу в выдержках, очень интересно в психологическом отношении:

«В конце концов я выбрался из Каира, пробыв в отлучке вместо полутора-двух недель больше месяца... Казалось, что хоть открытки могли дать некоторое представление о моих похождениях, где мне часто приходилось играть страдательную роль, изображая собой гида, которому одинаково доставалось и от ослиных погонщиков, и от капризных туристов. Последнюю неделю занимался довольно усердно, но все же не отказывался и от экскурсий... Подвожу итоги своего месячного выезда и, кажется, ничего кроме хорошего найти не могу. Прежде всего, конечно, очень полезно было мне несколько встряхнуться, а еще более того поглядеть на своих старых приятелей. Теперьшний раз я мог оценить, как хорошо путешествовать в своей компании и как скверно проделывать это в одиночестве. Компания же у нас подобралась очень симпатичная... Мне, несмотря на полную неспособность, обыкновенно приходилось играть организаторскую роль, не только благодаря языку, но и самому характеру Тураева, к этому, конечно, неспособного по самой природе. Фармаковский очень солидный человек, но страшно медлительный, и если его не подталкивать, ничего не выйдет. В общем, из своей неожиданной роли удалось выходить, по-видимому, честью, если не считать стихийных несчастий, вроде полетов с особ, от которых я не мог предохранить туристов при всем старании.

Шедевром и заключением моей деятельности была вторичная поездка в Саккара, когда ослиные погонщики, пользуясь отсутствием конкуренции, желали устроить стачку, содрать с нас чуть не тройную плату. Я же с помощью полиции заставил их

поехать за ту самую, которую предложил сначала, не прибавив ни гроша... Нельзя сказать, чтобы, занимаясь гидством, я не извлек ниего полезного для своей науки. Полезно уж было присмотреться к самому народу, который дал мне много материалов для сравнения и благодаря которому я теперь имею представление об арабах в их двух главнейших разветвлениях... Благодаря, наконец, систематическим экскурсиям я изучил Каир и его окрестности за эти три недели несомненно лучше, чем Бейрут за полгода, так как в одиночестве я оказываюсь довольно-таки неподвижным».

74

Рассказывая далее о работе в библиотеке, осмотре музея, знакомстве с местными и заграничными учеными, «что не вредит для широты научного кругозора», Крачковский приходит к такому выводу: «Одним словом, единственная убыточная сторона сей поездки... — расстройство финансов. Надеюсь, однако, и оно придет в порядок при мирной жизни в Сирии» [А, оп. 3, № 26, л. 259—263].

Куда девался прежний меланхолический тон! Он хвастается совсем как тот маленький гимназист Игнаша, за год научившийся играть на цитре. Очевидно, поездка в Каир стала его звездным часом — не в научном отношении, а, если так можно выразиться, в светском. Он — душа и опора всей компании, он свободно разговаривает с арабами, они его уважают, и дамы им любят. В. А. Фармаковская пишет мужу 23 апреля: «В Бейруте, вероятно, нас встретит Крачковский и может быть поедет с нами в Дамаск, тогда все будет хорошо, так как он чрезвычайно заботлив и все хорошо устраивает, да и хорошо говорит по-арабски» [А, оп. 8, № 41, л. 17 об.].

В поздних мемуарах она вспоминает: «Уже в первую поездку в Египет Крачковский совершенно свободно владел не только классическим, но и разговорным языком; он без малейшего затруднения объяснялся с людьми всевозможных профессий и званий. Когда его осаждали мальчуганы, прося бакшиш, он шутя им говорил в рифму "ма фиш". Не раз профессиональные гиды принимали его за конкурента: один гид, встреченный в Серапеуме, обратился к нему с просьбой не лишать местных гидов заработка и уехать в свою страну...

Он знал топографию обоих крупнейших городов тогдашнего Египта, пригороды и селения у Каира настолько, что мог служить верным проводником, а в некоторых местах, благодаря радушному отношению, был как у себя дома» [А, оп. 6, № 203, л. 29, 31].

Промелькнуло несколько дней экскурсий в Дамаск и Баальбек с компанией Б. В. Фармаковского. Снова бейрутское одиночество и снова приступ тоски — еще худший. И растерянность: «Таких задач мне еще жизнь не ставила» [3 мая; А, оп. 2, № 5, л. 108].

Это было начало любви, первого и единственного в его жизни настоящего серьезного чувства, любви взаимной, но несчастной, ибо Это была любовь к замужней женщине, что для человека религиозного и таких строгих правил, как Крачковский, должно было стать подлинной драмой.

Вера Александровна Фармаковская была младшей из пяти дочерей морского инженера А. М. Федорова, служившего в

Кронштадте, а по материнской линии — внучкой образованного и предприимчивого купца К. П. Печаткина, владельца большой писчебумажной фабрики, в семье которого сестры Федоровы и воспитывались. Она сначала училась дома с гувернанткой, потом поступила сразу в 6-й класс гимназии и благополучно ее окончила. С детства

75

она любила рисовать, интересовалась искусством и рисовала действительно хорошо, но о серьезном художественном образовании для девушки из добропорядочной семьи тогда не могло быть и речи. А у нее несомненно было собственное, подлинно художническое видение мира: «Краски, в которых обыкновенно изображают Египет, — пишет, например, она мужу из Каира, — ничего не имеют общего с действительностью, все страшно преувеличено, гораздо красивее. Тогда как пустыня, накаленная солнцем... всегда имеет розоватый нежный тон, а не ярко-желтый» [А, оп. 8, № 41, л. 13 об.—14].

Она вышла замуж, как ей казалось — по взаимной любви, за В. В. Фармаковского, инженера-технолога, конструктора паровозов. Брак, по-видимому, оказался неудачным или, по крайней мере, обычным, без большой духовной близости супругов. «Я была аксессуаром удобной жизни, — вспоминала Вера Александровна впоследствии. — Теперь, смотря на все издалека, я удивляюсь, как можно было это все терпеть; правда, иной раз я думала, что я должна терпеть и очень многое, что и другие терпят» [А, оп. 3, № 489, л. 301]. Она много болела, потеряла единственного ребенка и, кажется, больше не могла иметь детей.

Это была натура глубоко чувствующая — и в то же время деятельная, решительная, волевая; быть может, даже несколько жесткая — по отзывам тех, кто знал ее в зрелые и поздние годы. Практичность сочеталась в ней с богатством духовных интересов. Она могла стать добрым другом и помощницей мужу. В первый же год брака Владимир Владимирович обучил ее черчению, и Вера Александровна выполняла чертежи по его эскизам. А когда В. В. Фармаковский вместе с мужем одной из ее сестер, специалистом по энергетике, подготовил книгу «Паровые котлы и паровые турбины», то Вера Александровна сделала для нее иллюстрации и взяла на себя все дела с издательством и чтение корректур³.

В. А. Фармаковская, по сохранившимся фотографиям, не отличалась броской красотой; судя по ее собственным воспоминаниям, она не являла собой и образец женской трогательной слабости, изнеженности — скорее, наоборот, ей присуща была некоторая авантюрная жилка и несомненное чувство юмора. Крачковский с интересом стал приглядываться к этому несколько необычному для него типу женщины.

Для нее же встреча с И. Ю. Крачковским оказалась «роковой»: перед поездкой в Каир, пишет она ему впоследствии, у нее даже было предчувствие, будто «что-то надвигается», моментами даже не хотелось ехать [А, оп. 3, № 488, л. 21—23].

Каирские прогулки после закрытия конгресса, долгие разговоры, занятия бок о бок в Хедивской библиотеке (В. А. получила специальное разрешение скопировать мотивы орнаментов с некоторых рукописей) — все это сблизило их, обнаружило «родство

душ», как писал ей Крачковский в одном из первых писем, родство, которое «не могут разрушить никакие расстояния, никакие внешние условия, даже сама смерть» [6 июня 1909 г.; А, оп. 3, № 24, л. 14]. У них во многом сходились вкусы: оба любили книги, классическую музыку и сами музицировали, любили животных, природу, дальние прогулки, оба любили и умели работать.

И если Игнатий Юлианович мучился комплексом неполноценности, не верил в свои силы, постоянно нуждался в поощрении, в поддержке, то Вера Александровна поняла это, сразу и безоговорочно поверила в него, могла поддерживать, настаивать, требовать — и так стала для него необходимой.

Впрочем, стоит ли «поверить алгеброй гармонию», искать рациональных корней иррационального? Все эти логические выкладки возникают потом, со стороны, как аргументы, объясняющие прочность и верность чувства, а как все было тогда? Крачковский не расписывает в дневнике подробно свои переживания ни во время встреч с В. А. Фармаковской, ни после ее отъезда. Раздумывая о свершившемся, он только элегически вопрошает: «Почему мне суждено без всякого со своей стороны желания одной волей судеб портить чужие жизни? Для меня — свиногожего это опять обойдется, но зачем погублено еще одно человеческое существование? В конце концов в принцип возведешь полную нелюдимость!» [А, оп. 2, № 5, л. 108 об.—109].

Первая «испорченная чужая жизнь» — это, разумеется, на неопределенный срок оставленная невеста Ида Александровна: «До сих пор у меня (это через три года!) сочится на душе рана при мысли о том, что где-то в том проклятом Двинске тянется жизнь, надломленная по моей вине» [А, оп. 3, № 24, л. 29]. Он и не подозревал тогда, что его бывшая невеста, даже не сообщив ему ничего, благополучно вышла замуж за офицера, родила сына и вполне счастлива...

Но сколько бы он ни тосковал, работа постоянная, каждодневная прочно вошла в привычку; собственно, она и помогала заглушать тоску: «Каково бы ни было мое настроение и мое разочарование, но все же без работы я никогда не остаюсь, так как это моя единственная опора... без работы совсем погибну от меланхолии, а она меня заставляет забывать про самого себя» [12 марта 1910 г.; там же, л. 83—84]. Не успев расстаться с петербургскими друзьями, он садится за обстоятельную статью о Восточном факультете Университета Св. Иосифа; не успев переписать эту статью набело — берется за рецензию на диван ас-Самауваля, изданный Л. Шейхо.

Он и помыслить не смел, что этот лирический эпизод будет иметь какое-нибудь продолжение, особенно после того, как она сообщила, что мужа ее переводят в Киев: значит, они не смогут встречаться даже изредка, как добрые знакомые. «Опять, брат, начинай сначала свою беспросветную жизнь труда и работы без от-

дыха, без благодарности, без удовольствия и без надежды на успокоение... Действуй, брат, бывает ведь и хуже! Даст Бог, острота

и этого обтерпится, останется одна гнетущая тоска...» [А, оп. 2, № 5, л. 112].

Мне представляется, что Вера Александровна, понимая, как они нужны друг другу, твердо решила добиться своего. Она не скрыла от Игнатия Юлиановича своих чувств, она поддерживала регулярную переписку с ним и с первых же писем заявила о своем праве вмешиваться в его судьбу. «Необходимо писать диссертацию, так как если Вы и миритесь с пребыванием вечным магистрантом, то я с этим мириться не желаю! Вы скажете на это: "Да какое ты имеешь право в мои дела соваться?" И никакое, и всякое» [А, оп. 3, № 488, л. 17 об.]. Она требовала, чтобы он сосредоточился на диссертации, упрекала за недостаток твердости, уверенности в себе, за привычку преувеличивать свои огорчения — эти мотивы проходят по многим ее письмам.

Вернувшись с Востока в Петербург, она несколько раз навестила сестру Игнатия Юлиановича, даже играла ей па рояле, и очень Юлии Юлиановне понравилась; та уже готова с ней подружиться, да жаль, Вера Александровна переезжает с мужем в Киев. Вера Александровна тоже писала Игнатию Юлиановичу теплые слова о его сестре и ее доме: «Я почему-то чувствую себя там очень спокойно... иду я туда всегда с радостью» [там же, л. 58].

Крачковский не оставался в долгу. Он подробно описывал в письмах к ней свои дни, свои путешествия, занятия, работу; много места — больше, чем в дневнике, — уделялось в них размышлениям, переживаниям, порой — самобичеванию. Ему уже необходимы ее поучения и встряски: «Так мне, старому дураку, и надо. Я полагаю, что если бы кто-нибудь имел терпение меня систематически бить, тогда, пожалуй, из меня какой-нибудь толк и вышел, а то так действительно распускаешься... Моя душа чувствовала бы себя очень несчастной, если бы никто не интересовался тем, что в ней происходит» [А, оп. 3, № 24, л. 82].

Вера Александровна платила ему откровенностью за откровенность и много чего рассказала про свою незадачливую судьбу. О будущем в письмах не гадали. На свою личную жизнь Крачковский «давно махнул обеими руками». «Мне начинает казаться, — писал он ей, — что какой сюрприз ни поднесет судьба, меня ничем не удивит» [там же, л. 76].

СВЕТ И ТЕНИ ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Меж тем настало время летних каникул 1909 года. Крачковский проводит их в приморском городе Триполи, а затем в горах, в Амиюне, совершая путешествия в окрестные деревни, к горным монастырям и к кедрам. Масса впечатлений от головокружительных

77

подъемов и спусков, живописных пейзажей, от новых встреч. «Места в общем значительно глуше тех, где я странствовал в прошлом году, но народ столь же симпатичен» [А, оп. 3, № 26, л. 280].

Однако тоска не отступает. Надо ее гнать работой, лучше всего — технической, потому что диссертация на ум не идет. И Крачковский берется за составление указателей к историческому сочинению Абу

Ханифы ад-Динавери, подготовленному к изданию В. Ф. Гиргасом. Текст вышел в 1888 году посмертно, ни указателей, ни предисловия ученый сделать не успел. В Триполи и Амиюне в свободное от встреч и экскурсий время Крачковский за два месяца выполнил эту задачу, написав более двух тысяч карточек. О дальнейшей судьбе этой работы читатель может узнать из книги «Над арабскими рукописями» (см. главу «Тихий Гиргас»). Упомяну об этом и я в следующей главе.

В то лето Крачковский тесно соприкоснулся с деятельностью школ Палестинского общества. Собственно говоря, И. Ю. Крачковский и Палестинское общество — самостоятельная тема, которую, пожалуй, время сейчас затронуть.

В нашей литературе о школах, открытых на Арабском Востоке (Сирия, Ливан, Палестина) Палестинским обществом, принято говорить с некоторым умилением. В этом повинен, пожалуй, в первую очередь сам И. Ю. Крачковский, тепло помянувший их в книге «Над арабскими рукописями» (см. главу «Полтавский семинарист»). В. А. Крачковская в статье «И. Ю. Крачковский на Ливане и в Палестине», а также К. В. Оде-Васильева в своих мемуарах [37] усугубили эти интонации, и так они стали переходить из статьи в статью. Иногда упоминалась некая записка с предложениями о преобразовании школьной деятельности общества, составленная Крачковским во время пребывания на Востоке. Записка эта, очевидно, в делах общества не сохранилась, поэтому никто не приводит ее содержания. Школы же русские обрисовываются как чуть ли не идеальные, во многом превосходящие французские и американские миссионерские школы (хотя при этом неясно, что же надо было преобразовывать). Кажется, единственным диссонансом звучат в этом хоре «Письма из Ливана» А. Е. Крымского, где он рассказывает о русских учительницах в Бейруте, которые ненавидят Ливан и арабов и считают дни до отъезда на родину [33, с. 35, 47, 57, 113], а также о том, что родители учеников против обязательного преподавания русского языка [с. 112] и что дети там только и научаются, что говорить «Жрасти!» [с. 92]. Но, может быть, за 12 лет, что отделяли его поездку от поездки Крачковского, порядки изменились?

И. Ю. Крачковский впервые попал в школу Палестинского общества в Триполи, где его неожиданно приняли за французского консула. Каковы же его впечатления?

78

«Вся эта публика очень симпатична, — пишет он сестре 12 февраля 1909 года, — но совершенно беспочвенна по отношению к Сирии. Страной они не интересуются, мечтают только выслужить свой срок и, собрав деньжонок, вернуться в Россию. Понятно, что тоскуют они по России жестоко и к здешней жизни приспособиться никак не могут. С другой стороны, сказывается и полная неподготовленность: одна из начальниц, например, молоденькая светская барышня, года два тому назад кончившая гимназию. Ну как ей справляться с тремя школами, где под ее началом состоит до 15 учительниц, иногда старше ее? [А, оп. 3, № 26, л. 247].

В письме от 28 июня из того же Триполи: «Имеются даже целых четыре русских учительницы, к сожалению, за единственным исключением, настолько одичавшие, что от них трудно добиться человеческого слова [А, оп. 3, № 24, л. 21]. Очевидно, «единственное исключение — это юная начальница, ибо, узнав, что осенью она собирается вернуться в Россию, Крачковский замечает в своем дневнике: «Кто в результате останется у Палестинского общества — абсолютно не понимаю» [16 июня; А, оп. 2, № 5. л. 121]. Итак, впечатление примерно такое же, как у Крымского.

Летом 1909 года Крачковский день за днем записывает в дневнике о посещении экзаменов в мужских и женских школах Триполи, Амиуне, Думе, Кесре: «Экзамены меня заели... "Просят" присутствовать не столько начальствующие, сколько подчиненные [там же, л. 123]. ,

Дело было не в особом рвении И. Ю. Крачковского — скорее, в сочувствии учителям и ученикам. В письме к В. А. Фармаковской он рассказывает об этом так: «Инспектор школ, тип футлярного педагога, решил с перепугу, что я негласный ревизор, и вероятно в таком роде характеризовал меня подчиненным. По свойственной мне склонности к мистификации... я его в этом не разубеждал. Побывав у детишек на некоторых уроках, я быстро приобрел популярность и теперь на улице от четырех-пятилетних карапузов часто приходится слышать: "здравствуйте!". Старшие тоже чувствуют симпатию, а выпускных девиц я совсем убил тем, что, попав к ним на урок рукоделия... поднял у одной упавшую работу. В результате несколько депутаций с просьбой присутствовать на идущих теперь экзаменах, чтобы несколько охладить пыл инспектора... Кажется, мое присутствие даже в качестве "лица без речей" приносит свою пользу [там же, л. 21].

Если внимательно перечитать соответствующую главу книги «Над арабскими рукописями, можно заметить, что русских учителей и учительниц автор не упоминает, говорит только об арабах и об их приобщении к русской культуре не через начальные школы, а через учительские семинарии (мужскую в Назарете и женскую — в Бейт Джале, где преподавание действительно велось хорошо, как он потом отметит в «Записке»). О программах и постановке преподавания в начальных школах ни в дневнике, ни в письмах упоми

79

нений нет. Но наблюдения, безусловно, копились и нашли свое отражение в «Записке».

История этой «Записки» такова. В Сирии Крачковскому по тем или иным делам приходилось встречаться с двумя русскими консулами, двумя, как он выражался, «сирийскими князьями» — бейрутским консулом кн. Гагариным и дамасским, кн. Шаховским. Первого Крачковский не жаловал, считая, что он «своей дурацкой политикой» губит в Бейруте «русский престиж» 1А, оп. 3, № 26, л. 257 об.]. Шаховской же был ему явно симпатичен: востоковед по образованию, университетский товарищ А. Э. Шмидта, первого учителя Крачковского, в молодости занимавшийся клинописью. «Худенький старичок, по внешности не имеющий ничего княжеского

и держащийся очень просто... Всем живо интересуется, хорошо знает страну, умеет ладить с самыми разнообразными слоями населения, не роняя достоинства России» — так характеризует он Шаховского в письме к сестре от 20 марта 1909 года [там же]. Они познакомились в марте 1909-го — во время визита Шаховского в Бейрут, «повидимому друг другу поправились» [там же], и, когда в ноябре русский посланник попросил дамасского консула составить записку о состоянии школьного дела в Палестинском обществе, консул обратился к Крачковскому как к «известному специалисту» с просьбой высказать свое мнение по этому поводу.

Крачковский согласился — не только из-за симпатии к Шаховскому, но и, как он пишет В. А. Фармаковской, по своей «скверной привычке приносить пользу русскому делу» [5 дек. 1909 г.; А, оп. 3, № 24, л. 50]. «Хотя сомнительно, чтобы вышел какой-нибудь толк из записки: больно уж канцелящина заела петербургских заправил Общества, и вероятно и здесь дело кончится крахом, как и в большинстве русских дел» [А, оп. 3, № 26, л. 303 об.]⁴.

Черновик «Записки» на 20 страницах сохранился в личном архиве И. Ю. Крачковского [оп. 2, № 208, лл. 11—21]. Содержание ее лишний раз подтверждает, что взгляд его на состояние школьного дела в Сирии был отнюдь не идиллическим. Более того, Крачковский констатирует, что «школьная деятельность Палестинского общества переживает в настоящее время острый кризис» [л. 12]: число учащихся, особенно в мужских школах, хронически убывает, ибо родители предпочитают отдавать детей в платные иностранные школы, причем не из-за политических причин, а исключительно из-за общей постановки дела. В то же время учителей не хватает из-за низкого материального вознаграждения, не изменившегося за 25 лет существования школ. Пущен слух о том, что Палестинское общество собирается в ближайшем будущем закрыть все сирийские школы, оставив их только в Палестине. Это решение, утверждает Крачковский, равносильно «духовному самоубийству»: оно подорвет не только «всякий престиж общества», но и престиж того государства, именем которого общество действует.

80

Чтобы избежать полного краха, необходимо переменить постановку учебного дела, исходя из задач, стоящих сегодня перед школами общества в Сирии, а именно — помощи самостоятельному национальному развитию сирийцев. Общество должно считаться с их реальными потребностями и запросами, а не основываться на теоретических построениях, выработанных отвлеченно четверть века назад. В связи с этим необходимо отменить обязательное преподавание русского языка, почти не имеющего практического применения в Сирии. Толку из этого преподавания выходит мало: хотя на русский язык отводится столько же времени, сколько на арабский, иногда даже в ущерб последнему, все равно ученики начальных школ русский усваивают очень плохо.

За счет русского должно быть усилено преподавание, родного языка и введено обязательное преподавание французского или английского, в зависимости от конкретных внешних условий. Иначе, считает Крачковский, мы своими же руками будем толкать молодежь

в школы иезуитских и протестантских миссионеров. Ведь на эти языки большой спрос, знание их может быть применено «прямо на месте».

Все рассуждения о том, что преподавание русского языка необходимо для поддержания «престижа России» и для распространения православия и русской культуры не выдерживают никакой критики. Во-первых, школы с обязательным русским языком, но без учеников, будут гораздо больше вредить нашему престижу, чем школы с учениками, хотя и без обязательного русского языка.

Во-вторых, через начальные школы русскую культуру нельзя насадить даже при идеальных условиях. «Все проблески усвоения русской культуры исходят не от бывших учеников этих школ, а от воспитанников и воспитанниц учительских семинарий», — утверждал Крачковский. Он дает, в частности, высокую оценку Бейт-Джальской женской семинарии, воспитанницы которой «по своей духовной культурности» превосходят питомиц всех прочих сирийских институтов [л. 17].

Имея в виду задачи популяризации русской культуры на Арабском Востоке, Крачковский считает необходимым сохранить в начальных школах русский язык в качестве обязательного предмета только для тех, «кто собирается посвятить себя педагогической деятельности в учреждениях Общества» и продолжить свое образование в учительских семинариях [л. 17].

Крачковский высказывает и несколько неожиданное соображение о том, что обучение в школах следует сделать платным, по образцу европейских и американских миссионерских школ. При этом он учитывает и некоторый подъем жизненного уровня сирийцев благодаря «американским» заработкам, и психологический фактор: «все даровое ценится дешевле» (то есть плата, по его мысли, сделает состав учащихся более стабильным). Освободить от платы следует лишь беднейших учеников, сохранив также бесплатное

81

обучение в семинариях «с обязательством известного числа лет службы в учреждениях Общества» [л. 20]. За счет получаемой платы следует открыть одно или несколько средних учебных заведений «по образцу существующих в Сирии инославных без специальной идеи подготовки педагогического персонала» [л. 20].

«Записка» И. Ю. Крачковского свидетельствовала о хорошем знании местных условий, трезвом подходе к делу, была составлена четко, логично, убедительно; новые рациональные мысли высказаны были смело и независимо. Потратил он на ее составление целую неделю: не хотелось писать «взгляд и нечто», хотя времени было жалко.

Шаховской, очевидно, запиской был доволен, и в марте 1910 года привлек Крачковского к участию в «тайном» совещании с представителем посольства в Палестинском обществе. «Мы уже всем покажем!» — с шутливым хвастовством пишет И. Ю. сестре 21 марта [А, оп. 3, № 26, л. 327]. Затем состоялось заседание специальной комиссии, приехавшей для инспектирования школ общества. Наиболее консервативных ее членов, в том числе секретаря общества Дмитриевского, как записывает Крачковский в дневнике,

«здорово удалось переупрямить, и моя записка прошла почти целиком. Крайне приятно, что удалось пробить хоть первую брешь в Палестинском обществе» [А, оп. 2, № 5, л. 152 об.].

Что же, сведения, сообщенные Крачковским, были открытием для деятелей общества? Разумеется, нет. В отчетах общества уже звучали тревожные ноты: упоминалось о нехватке хорошо подготовленных учителей — из-за низкого жалованья, о недовольстве родителей учеников отсутствием в программе европейских языков. Но, естественно, заметно стремление несколько сгладить недостатки. Так, инспектор сирийских школ Спасский (тот самый, которого Крачковский назвал «футлярным педагогом») объясняет неравномерность распределения учеников по группам (в низшей — намного больше, чем в высшей) тем, что родители победнее стараются поскорей определить детей на работу, а кто побогаче — во французские и американские школы. Плохое посещение занятий летом он объясняет участием детей в полевых работах, зимой — холодом, и вообще в отсеке учеников родители виноваты — не оказывают на детей необходимого влияния. Да и с русским языком, пишет Спасский, дело обстоит не так уж плохо: «Многие из учащихся довольно бегло изъясняются по-русски», но тут же проговаривается: оказывается, материальная база школ настолько слаба, «что в некоторых школах, имеющих до 120—150 учеников, Общество в состоянии держать лишь одного учителя или учительницу [77а, т. 21, вып. 4, с. 550].

В этой ситуации «Записка» И. Ю. Крачковского, человека стороннего, но компетентного, должна была явиться хорошим подспорьем для тех, кто стремился к прогрессивным преобразованиям в школьной системе.

82

Несмотря на пессимистические прогнозы Крачковского, его труды не пропали даром; к решению комиссии, в работе которой он принимал участие, прислушались. Бюрократическая машина, однако, двигалась медленно: комиссия обсуждала «Записку» в марте 1910 года, но лишь летом 1913-го по постановлению совета общества в Назарете было созвано совещание инспекторов и их помощников из всех учебных районов с целью пересмотра программ по всем предметам и выработки новых программ по французскому и английскому языкам, вводимым в курс обучения и в семинариях, и в двухклассных школах.

К концу 1913/14 уч. года новые программы были наконец выработаны, одобрены советом Палестинского общества, отпечатаны и предложены к введению в действие с начала 1914/15 уч. года. Но первая мировая война прекратила деятельность русских школ на Востоке, и таким образом ни «Записка» Крачковского, ни решения назаретского совещания реальной пользы уже не принесли.

В дальнейшем И. Ю. Крачковский, избранный пожизненным членом Палестинского общества, состоявший в его совете и одно время исполнявший обязанности председателя, немало сделал для успеха его работы, но рассказ об этом увел бы нас далеко в сторону. Вернемся к повествованию о втором годе его восточной командировки.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Он вернулся в Бейрут в начале сентября в том же удрученном состоянии, что и летом: «Вконец, кажется, меня заедает меланхолия, и как я этот год тут протяну, решительно не понимаю»; и снова ему кажется, что вся его командировка «пошла прахом» [29 сент. 1909 г.; А, оп. 2, № 5, л. 130]. Он жалуется в письмах на ностальгию, на необходимость перемены обстановки для успешных занятий — то есть как будто рвется в Россию. Он переписывает в дневник лирические стихи, соответствующие настроению, даже сам в бессонную ночь пытается сочинять — но вот что странно: не о России эти стихи, а объяснение в любви... Ливану!5 [А, оп. 2, № 5, л. 133]. Читавшие книгу «Над арабскими рукописями» могут вспомнить, что порой его охватывала мысль навсегда остаться в Сирии, порой он чувствовал, что это для него невозможно, порой писал о себе в дневнике как о вечном скитальце... Словом, душевного покоя не было. Из колеи выбивало и «полное оскудение» Университета Св. Иосифа: Ронзевалля перевели в Рим, Эдде уехал в Александрию, Шейхо (временно) — в Египет и Иерусалим, а Сальхани много хлопочет по церковным делам, что мешает работе. А тут еще, в конце сентября, снова «абу рукаб» — на целую неделю.

Дамокловым мечом висит над головой почти не двигающаяся диссертация: из Петербурга прислали фотокопию мадридской ру

83

кописи, особых вариантов она не дала, и «поэтому волей-неволей надо браться за разработку. Вот тут-то и закорюка!» [9 окт.; там же, л. 131]. Крачковский словно ищет предлогов отодвинуть работу над диссертацией: берется за подготовку пробных лекций, которые должен прочесть перед вступлением в должность. Одна — «Поэзия по определению арабских критиков», другая — «Исторический роман в современной арабской литературе». Конкретные, осязаемые цели, как всегда, заряжают его рабочим настроением, даже установился определенный распорядок: с утра он принимается писать лекцию о поэзии («причем в голове опять точно пудовые камни ворочаешь» [там же, л. 130]), после полудня — диалектология, по вечерам — чтение арабских исторических романов, а где-то в промежутке вклиниваются занятия по стилистике с местным литератором Джирджи Атыя. И — на будущее, уже в размышлениях о преподавании: «Недурно было бы перевести грамматику Социна как пособие для студентов» [там же, л. 134 об.].

Но вот к концу октября он разделяется и с пробными лекциями, теперь о диссертации приходится думать уже не «платонически», как он писал сестре [А, оп. 3, № 26, л. 295], — оттягивать больше нельзя. Но дело не клеится: «Копаюсь со своим приснопамятным ал-Вава, который у меня периодически выплывает на столе с тем, чтобы в минуту отчаяния снова погрузиться в пыль ящиков» [5 нояб.; там же, л. 297] или: «Все это время копаюсь довольно усердно над своей работой, но увы! подвигается она страшно медленно. Не знаю, чем объяснить этот факт: или тема сама по себе сложная, или просто она

мне не под силу. Во всяком случае вижу, что закончить мне ее до отъезда не придется» [20 нояб.; А, оп. 3, № 3, 24, л. 47 об.]. Так что упомянутое выше предложение кн. Шаховского составить записку о школах Палестинского общества, сделанное 21 ноября, он должен был, вероятно, встретить с двойственным чувством: времени-то действительно жалко, но от мыслей о диссертации с чистой совестью можно отвлечься.

А тут предстояла еще одна вполне «законная» возможность отложить или по крайней мере несколько ослабить работу над аль-Вава: последнее полугодие своей командировки Крачковский планировал посвятить экскурсиям — не столько туристским, сколько научным, разумеется: снова отправиться в Египет, чтобы закончить работу над Ибн аль-Мутаззом в Хедивской библиотеке, побывать в библиотеке аль-Азхара, куда он не попал в первый раз из-за студенческих волнений, и в Александрийской библиотеке, затем совершить поездку по Палестине и посетить библиотеки Дамаска и Халеба.

Выезд был намечен на начало декабря, но до того И. Ю. Крачковскому пришлось решить еще один неожиданный вопрос. Он получил письмо от А. Э. Шмидта, в котором тот советовал ему (очевидно, по согласованию с факультетом) продлить командировку и поехать после Востока еще в Западную Европу.

84

Это на первый взгляд заманчивое предложение магистрант встретил в штыки. «Ну уж это дудки!» — решительно записывает он в дневнике [31 окт.; А, оп. 2, № 5, л. 132 об.], а в письме к естре поясняет свое нежелание более иностранно: «Против поездки в Европу когда-нибудь в будущем, летом, я решительно ничего не имею, но теперь, ей-Богу, хорошенького понемногу! Кроме того все западные арабисты, с которыми я мог познакомиться и здесь... меня ничему не научат» [5 нояб.; А, оп. 3, № 26, л. 298]. Действительно, встречи с зарубежными коллегами (Пеетерсом, Готхейлем, Лидзбарским и др.) вызывали у него смешанное чувство разочарования и зависти одновременно: «Насмотрелся я порядком на заграничных коллег и хронически дивлюсь: поговоришь с ними и видишь, что они нисколько не учение и не знающее тебя, а между тем пишут такие хорошие работы, до которых никак не допрыгнешь» [15 окт.; там же, л. 295].

В результате от поездки в Европу сразу после Востока Крачковский отказался наотрез, объяснив это в письме к Шмидту примерно в том же духе, что и сестре; отверг он и второе предложение — возвращаться на Родину через Алжир — Испанию — Францию: он твердо решил вернуться в Россию не позже 20-х чисел июля, таким образом, на эту поездку ему осталось бы не более месяца. «Ясно, что за такой срок при моей медлительности в работе сколько-нибудь серьезно позаняться я не успею» [18 янв. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 70 об.].

Сестра его поддерживает: надо же отдохнуть и во всем разобраться [18 февр. 1910 г.; А, оп. 3, № 840, л. 475], а В. А. Фармаковская недовольна отказом — когда еще выпадет такой случай! Но поскольку для Крачковского здесь дело касается

проблемы этической, он непреклонен: «Не могу же я поступать против своей совести, тратя университетские средства на поездку, от которой по моему глубокому убеждению никакого прока для науки не будет... Не удастся попасть в Европу и в будущем, как пугает Тураев, тоже не беда: раз из меня ученого не вышло, то никакие Европы его не создадут» [19 февр. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 78—79].

Маршруты последнего полугодия командировки И. Ю. Крачковского отражены в его отчете факультету:

5 декабря 1909 г. — выезд из Бейрута.

9—10 декабря — Александрия.

// декабря 1909 г.—10 января 1910 г. — Каир.

10 января—17 января — Александрия.

21 января — возвращение в Бейрут.

21 марта — выезд из Бейрута.

23—24 марта — Яффа.

25 марта—23 апреля — Иерусалим. Во время пребывания в Иерусалиме экскурсии в Иерихон, на Иордан, к Мертвому морю,

85

в Вифанию, Вифлеем, Бейт Джала, в монастырь Св. Саввы, Хеврон.

23 апреля — выезд в Назарет через Рамаллах и Набулус. 25 апреля—4 мая — Назарет (29 апреля — экскурсия на Фавор).

5 мая — Тивериада.

6 мая — Кефр Нахум и Магдала, Генисаретское озеро. 6—9 мая — Хайфа.

9 мая — Акка.

10 мая — выезд в Бейрут. //—19 мая — Бейрут.

20—28 мая — Дамаск (27 мая — выезд в Сейднайский монастырь).

29 мая—4 июня — Халеб.

4 июня — Хама.

5—12 июня — Хомс.

12—20 июня — Триполи.

21 июня — возвращение в Бейрут.

2 июля — отъезд из Бейрута на родину.

16 июля — возвращение в Петербург.

Таким образом, за последние семь месяцев командировки Крачковский провел «на стационаре», в Бейруте, немногим более двух месяцев, если не считать последней декады, посвященной подготовке к отъезду. Эти два месяца он потратил на аль-Вава — новая сверка текста и перевода, систематизация данных о метрике и прочие подготовительные работы. Исследовательская часть и окончательное письменное оформление откладывались на Петербург, хотя Крачковский ясно отдавал себе отчет, что там, при вступлении в должность, времени у него будет очень мало.

Поездки безусловно себя оправдали. Вместо того чтобы сидеть в Бейруте и мучиться из-за того, что диссертация движется слабо, — реальное полезное дело: поиски рукописей и книг, знакомство с работой научных учреждений; кроме того — новые впечатления, новые, часто очень интересные, встречи.

Особенно плодотворной по части рукописей и полезных в научном плане знакомств оказалась поездка в Египет. Все три египетские библиотеки, в которых Крачковскому довелось работать, ярко и лаконично описаны в книге «Над арабскими рукописями», к которой я в очередной раз отсылаю читателя, не имея возможности повторить эти описания здесь. Не удалось ему только попасть в знаменитую библиотеку Ахмеда Теймура-паши: хозяина не было в Каире.

В Хедивской библиотеке Крачковский почти закончил сверку дивана Ибн аль-Мутацца (которым он мечтал заняться после аль-Вава). В библиотеке аль-Азхара нашлось несколько интересных рукописей — том исторического труда ас-Сули (X в.), несколько

86

экземпляров дивана андалусского поэта Ибн Зейдуна (XI в.), к тому времени не изданного, еще одна рукопись дивана аль-Вава (материалы которой он потом обрабатывал в Бейруте, сопоставляя со своим текстом) и, главное, малоизвестные сочинения знаменитого сирийского поэта-философа Абу-ль-Аля аль-Маарри (973—1057) и среди них — изданное им впоследствии «крамольное» «Послание об ангелах. Истории своей работы над этим изданием, богатой многими неожиданностями, Крачковский посвятил в книге «Над арабскими рукописями» специальную главу под интригующим названием: «Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет?».

Библиотека «города биржи и хлопка — Александрии, столь нелюбимой Крачковским, подарила ему тем не менее возможность встретиться еще с двумя интересными рукописями. Первая из них — диван доисламского поэта Саламы ибн Джандаля, которую он счел уникалом, переписал целиком, думая, что совершил крупное научное открытие, и которая доставила ему такое глубокое разочарование, ибо оказалось, что, по удивительному совпадению, издание дивана этого поэта по другой рукописи в это же время готовил и Л. Шейхо, недовольный только что появившимся изданием французского арабиста К. Хюара [28, с. 30]. Издание Шейхо, увы, тоже не удовлетворило Крачковского: «На днях появился в печати поэт, которого я столь неудачно открыл в виде Америки в Александрии. Я предоставил издававшему профессору свои материалы, а теперь, признаться, недоволен: он очень поторопился, и поэтому издание вышло небрежным и неаккуратным, с массой недосмотров. Чувствую, что в моей душе зреет рецензия, "полная яду". Он, по-видимому, думал, что я растаю от тех чисто арабских эпитетов, коими он наградил мою любезность за предоставление моей копии в предисловии [А, оп. 3, № 24, л. 81] 6.

Вторая александрийская рукопись, тогда заинтересовавшая Крачковского меньше, — диван поэта из Хамы Омара аль-Махха-ра (XIII в.), содержащий большое количество стихов на разговорном языке в строфической форме зеджелъ, занесенной на Восток из арабской Испании. Кое-какие выписки из нее он сделал, сомневаясь, однако, в ее ценности: «Копаюсь в библиотеке над аль-Мах-харом и думаю: "А что если он давно уже известен?" [13 янв.; оп. 2, № 5, л. 149]. По иронии судьбы именно эта рукопись оказалась уникальной и до сих пор ждет своего настоящего исследователя 1.

Более длительное и спокойное, чем в первый раз, пребывание в Египте дало И. Ю. Крачковскому возможность познакомиться с рядом выдающихся деятелей современной арабской культуры, христианами и мусульманами. Самой яркой личностью из них являлся, безусловно, Джирджи (Жюржи) Зейдан (1861—1914), ливанец по происхождению, основатель и редактор популярного просветительского журнала «аль-Хильяль», автор нескольких крупных исто

7

87

рических романов. Зейдан, которого Крачковский до сих пор знал только по книгам, «совершенно очаровал» его [А, оп. 2, № 5, л. 140]. Своими впечатлениями Крачковский делится с сестрой: «Несмотря на всю умственную силу, которая чувствуется сразу, замечательно прост и непринужден в общении, живо напомнив мне этим покойного барона. Умилительна и простота обстановки вплоть до неизменных арабских туфель без пяток. Самая наружность тоже производит впечатление: крупная фигура, лицо с характерным высоким лбом и резкой морщиной на переносице. Нашли в Сирии, откуда он родом, общих знакомых, а посему разговорам не было конца» [А, оп. 3, № 26, л. 308 об.—309].

Среди новых египетских знакомых Крачковский также поминает в дневнике и в отчете — к сожалению, без подробных характеристик — переводчика и пропагандиста русской литературы Селима Кубайна, выпускника Назаретской семинарии; Сеййида Хусейна Рида — редактора журнала мусульман-реформаторов «аль-Манар»; Мухаммеда Талата Харба — журналиста, противника женской эмансипации; Вали ад-дина Йекуна — талантливого поэта и публициста, активного деятеля младотурецкого движения; александрийского ученого-филолога Хабиба Заййата, которому приходилось зарабатывать на жизнь торговлей⁸, и др. Попутно он успел ознакомиться с постановкой дела в недавно организованном Египетском университете, высказать кое-какие замечания и имел неоднократные беседы с приглашенным туда итальянским арабистом Наллино, который, как кажется, вызвал у него больше уважения, чем прочие европейцы, встреченные на Востоке. На обратном пути в Бейрут Крачковский на день задержался в Хайфе специально для свидания с палестинским писателем Халилем Бейдасом, бывшим директором учительской семинарии в Назарете, первым арабским переводчиком Пушкина и Гоголя.

Поездка по Палестине и Сирии, хоть и предусматривала также поиски рукописей и знакомство с деятелями культуры, все же в большей степени преследовала ознакомительные цели — ведь, если не считать кратковременного пребывания в Дамаске весной 1909 года, Крачковский Сирии совсем не видел, не говоря уж о Палестине. Кроме того, было очень соблазнительно провести пасхальные дни в Иерусалиме.

В Яффе судьба свела Крачковского с русским писателем Александром Митрофановичем Федоровым (1868—1949), в те времена довольно известным беллетристом и поэтом; после

революции он эмигрировал в Болгарию и ныне основательно забыт. В его обществе Крачковский и совершил путешествие по Палестине.

Поначалу Федоров несколько разочаровал его, хотя в общем вызвал симпатию: «Впечатление на меня Федоров произвел такое же, как и заграничные ученые: в их книгах они оказываются как-то интереснее, чем в натуре. Хорошо, что он простой и скромный без всякой заносчивости и напыщенности. Уверяет, что знает меня

88

по фамилии (и конечно врет из любезности)» [А, оп. 3, № 26, л. 330]. Время проводили они «мило» [А, оп. 2, № 5, л. 157] и порассказали друг другу во время путешествия немало интересного. Общая тема для обсуждения нашлась быстро: «В довольно продолжительном разговоре я сел на своего любимого конька и стал проповедовать о необходимости популяризации Востока в русской беллетристике. По-видимому, его мысли направлялись тоже в эту сторону и, может быть, удастся в этом направлении чего-нибудь добиться, тем более, что Бунин, по его словам, за последнее время отстает от восточных мотивов» [там же].

Следует отдать А. М. Федорову справедливость — в его собственных писаниях путешествие по Востоку нашло отражение: уже в 1911 году он опубликовал в журнале «Нива» путевые заметки «Солнце жизни», вышедшие впоследствии отдельной книгой и включенные им в собрание сочинений. Здесь, кстати, в некоторых главах фигурирует «молодой ученый К.» (или К-й), знаниям которого автор дает весьма лестную характеристику: «За полтора года, проведенные в Египте, Сирии и Палестине, он вполне освоился с арабами и приводит их в восторг не только знанием языка, но и тех условностей, которые составляют характерную особенность арабского обращения. На принятые в общежитии арабские любезности он отвечает находчиво любезностями соответствующего тона» [50, с. 190].

Встреча с Крачковским была для Федорова, несомненно, большой удачей: в «Солнце жизни» то и дело встречаются почерпнутые от нового знакомого сведения, комментарии тех или иных событий, оценки различных арабских и русских деятелей; в частности, именно к Крачковскому восходят его замечания по поводу школ Палестинского общества, совпадающие с мнением, изложенным в «Записке» [50, с. 188]. Этой встречей навеян и рассказ Федорова «Бадера». Герой его, молодой русский ученый по фамилии Саянов, ездит по арабским монастырям в поисках старых рукописей; он великолепно говорит по-арабски, так что все арабы принимают его за своего. Даже кое-какие детали — от Крачковского: внешность (светлая борода, голубые глаза), любимая сестра, оставшаяся в России, монастырь Св. Саввы, куда направляется Саянов, и т. п. Ситуации, в которых оказывается герой, описаны вполне правдоподобно, так что В. А. Фармаковская, прочтя рассказ, поверила в реальность изображенной в нем «роковой любви» Саянова — Крачковского к таинственной восточной красавице и приревновала его. Крачковский, успокаивая ее, дает в письме любопытные пояснения: за исключением романтической интриги рассказ «до мелочей представляет сколок с действительности. Герой является, конечно, сочетанием меня и Федорова (он на самом деле

артистически ездит верхом); героиня — девушка из воспитанниц семинарии, возмнившая себя Жанной д'Арк, действительно существует, но только живет она в другом местечке, около Тивериады, и

»

89

кончила тихим помешательством. Такой ужасный конец постиг, действительно, одного молодого американца-учителя в селе на Ливане: один араб, считавший его соперником, подговорил деревенского дурачка облить его керосином и поджечь, когда тот летом спал на крыше. Все стихотворения, пословицы и прочее переведено мною с арабского. Даже всякие мелочи, отдельные слова и другие наблюдения записывал с моих слов Федоров, и, по-моему, он очень удачно сие распределил» [29 янв. 1912 г.; А, оп. 3, № 24, л. 44 об.—45].

А. М. Федоров написал также ряд сонетов на арабские темы и лелеял идею об издании антологии арабской поэзии: «Я говорил в Москве с Сабашниковым по поводу издания хрестоматии арабских поэтов, и он очень заинтересовался нашей затеей. Не медлите и дайте из десяти поэтов по 25 стихов в своем точном и прекрасном переводе, а уж я обработаю их на совесть. Осенью выпустим роскошное издание» [письмо от 25 февр. 1917 г.; А, оп. 3, № 917, л. 17].

Издание так и не состоялось — то ли из-за революционных событий, то ли по недоверию Крачковского к федоровской «обработке на совесть», то ли еще по какой-либо причине.

Однако мы забежали вперед. Вернемся к путешествию.

И. Ю. Крачковский попал в Иерусалим неделей раньше А. М. Федорова и первый осмотр города и его окрестностей совершил под руководством палестинца П. Жузе, с которым познакомился еще в Бейруте.

В Иерусалиме он поселился в православном подворье; приятной неожиданностью оказалась хорошая организация всех учреждений Палестинского общества в городе и за его пределами: «Палестина, кажется, единственная страна, где приятно себя чувствовать русским» [А, оп. 3, № 26, л. 332].

Для Крачковского эта поездка имела особое значение — ведь он был человеком искренне верующим, притом понятие Бога для него всегда тесно связывалось с эстетическим восприятием мира. Я полагаю, здесь самое место раскрыть читателю его *profession de foi* — в буквальном смысле этого выражения. Вот как он сам объясняет суть своих религиозных убеждений в письме к В. А. Фармаковской: «Я... никогда не выдавал себя человеком религиозным... в смысле подчинения догматам определенной религии из известных мне... Если я от этого названия не отказываюсь, то только потому, что признаю в мире наряду с областью ума наличность и того, что не поддается ему и его рассуждениям — между прочим и внемирной силы, первопричины всего существующего, внутренний смысл всего того, что мы называем случайностью, конечного результата жизни, который и объяснит нам сию мудреную загадку! Называйте эту силу как хотите — судьбой, Богом, перво-принципом и т. д., — все

названия подойдут, потому что ни одно не определяет этого понятия, которое не осознается умом, а чувствуется бессознательно

90

тельно в различном виде всеми людьми. Эта сила выражается в жизни во всем том, что нам непонятно, но от чего отказаться человечество не может, не переставая быть таковым: в поэзии, в красоте природы, в музыке, во многих непонятных и необъяснимых чувствах. Ту же красоту и поэзию я нахожу во многих церковных службах... Это настроение и служит моей молитвой, которая одинаково вызывается и таким фактором, как и маршем Шопена, как и сильным душевным чувством. Я верю, что во всем этом проявляется одна сила в различном виде, сообразно с людским характером; с верой в нее у меня связана идея о загробном существовании, о родстве душ и о многом другом... Я верю даже в существование возмездия на земле...

Иногда, в минуты тяжких разочарований, в минуты болезненного обострения моего и без того болезненного анализа, мне кажется, что я непоследователен и, как субъект, претендующий на науку, должен доводить анализ до конца и отказаться от всего того, что не подчиняется рассудку. Однако я чувствую, что стоит сделать это и — мне нечем будет жить, а поэтому маленький кусочек своеобразной веры у меня всегда остается не тронутым ножом анализа, который и без того сильно коверкает мою жизнь» [15 июля 1909 г.; А, оп. 3, № 25, л. 3 об.—5 об.].

О поездках по святым местам (Иордан, Вифлеем, Гефсимания, Сион, Елеон) Крачковский пишет с упоением: «Мне даже как-то странно произносить все эти имена; раньше ведь с ними не соединялось никакого понятия, а теперь все это так просто и близко!» [А, оп. 3, № 26, л. 332]. Сами же праздничные богослужения крайне разочаровали: «...сутолока и неблагочине страшное» [А, оп. 2, № 5, л. 154 об.]; «...было тошно от безобразной оргии» [там же, л. 158]; «Сегодня был на патриаршем омовении ног; такая же комедия, как и все здесь» [там же, л. 157 об.]. Оценки эти — в полном согласии с характером его религиозного чувства и напоминают изображение церковной службы в «Воскресении» Л. Н. Толстого. Тяжелые «пасхальные» впечатления усугублялись тем, что в Святогробском храме между духовенством различных христианских вероисповеданий «возникали распри, доходившие до рукопашных схваток»; мало того — турецкое правительство, для поддержания порядка, держало в притворе «вооруженную стражу, Которая тут же пила, ела, курила и спала на грязных тюфяках» [А, оп. 6, № 203, л. 92]. «Вообще, — резюмирует Крачковский в письме, — если здесь можно сохранить некоторое религиозное чувство, то как можно дальше от церквей и ближе к природе; в этом отношении мне очень нравится Елеон» [19 апр. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 105].

При всех «туристских издержках» своей жизни в Палестине, на которые он обычно сетует в письмах и дневнике, Крачковский ухитрялся все же систематически посещать иерусалимские и монас-

104

тырские библиотеки (правда, не нашел в них ничего, достойного особого внимания), учебные и научные учреждения, музеи. Он

побывал в немецком и американском археологических институтах, в доминиканской Ecole d'etudes bibliques, Musee archeologique, Mu-see biblique. и т. д. Встречи с литераторами, как и рукописи, оказались также менее интересными, чем в Каире.

Дальнейшие странствия по Палестине обогатили новыми неизведанными впечатлениями, среди которых наиболее яркими были впечатления от трехдневного путешествия в Назарет, верхом, вместе с караваном православных паломников, «по очень разнообразной и красивой местности, с ночевками в ужасных местах, с самыми комическими инцидентами вроде коз, свалившихся на голову сквозь крышу, и т. д.» [А, оп. 3, № 24, л. ПО об.].

Появились и новые знакомства, особенно среди школьных учителей Палестинского общества; кое-кто из них знал его и раньше по рассказам общих бейрутских знакомых. Визитам и посещениям школ не было конца. Крачковский, уже опытный знаток школьного дела, дал учителям несколько полезных советов.

В Назарете, который им «так понравился, что даже и покидать не хотелось» [А, оп. 3, № 24, л. 11 об.], Крачковский и Федоров подружились с двумя учительницами — выпускницами Бейт-Джальской семинарии — Бахие Фарах и Кулсум Оде. Интересна дальнейшая судьба последней: в 1913 году она вышла замуж за русского фельдшера, заведующего амбулаторией в Назарете И. К. Васильева. Перед самой войной 1914 года она с мужем поехала на побывку в Россию и уже не смогла вернуться. В результате вся ее дальнейшая жизнь была связана с новой родиной, с преподаванием арабского языка в Ленинграде и Москве, так что ее путь вновь пересекся с путем И. Ю. Крачковского; следовательно, потом она снова появится на страницах нашего повествования.

Сохранились воспоминания Кулсум Оде о ее первом знакомстве с Крачковским. Они дают представление о том, как он воспринимался арабами уже в конце его восточной командировки, подтверждая комплиментарную оценку Федорова: «Это был молодой человек с приветливым, умным и добрым лицом. Но самое в нем замечательное — это были глаза, которые излучали какой-то особый свет. Он сразу заговорил со мной по-арабски, устраняя этим неловкость, обычную в первые минуты знакомства. Он говорил на сирийском народном диалекте, как природный араб» [А, оп. 2, № 86, л. 1]. И в другом месте: «В нем чувствовался товарищ, к которому можно отнести с полным доверием» [там же, л. 5].

К. В. Оде-Васильева рассказывает далее, как она пригласила Крачковского вместе с другими в дом к отцу, предупредив, что один из гостей — русский, но хорошо говорит по-арабски. «Когда гости ушли, отец сказал мне грозно:

— Как тебе не стыдно выдать араба за русского?

ИК) |<|ЧДЛМ И III (ЯМ

i o:.

— Кого же я выдала?

— Как кого? Этот молодой человек — араб.

Я от души расхохоталась. Однако я видела, что отец мне не верит. На Ливане особенно встречается тип Игнатия Юлиановича, причем он говорил на сирийском диалекте так прекрасно, произнося

все гортанные звуки, что убедить отца мне так и удалось» [там же, л. 6].

Отец поверил, что Крачковский — русский, только после второго его визита и тщательных расспросов и потом «долго удивлялся тому, как этот молодой русский ученый за сравнительно короткий срок (два года) пребывания в стране так чудно овладел языком, в то время как англичане, французы и прочие европейцы живут иногда по сорок лет и все же плохо говорят по-арабски» [там же, л. 6—7].

Затянувшееся путешествие по Палестине заставило Крачковского сильно сократить сроки пребывания в Дамаске. Но теперь уже он обрел почву под ногами и не впадает в панику: «На Дамаск вместо предполагаемого месяца мне остается не больше недели с маленьким хвостиком. Сомневаюсь, что за это время можно будет успеть что-либо сделать, хотя и много помогают мои многочисленные знакомые. Насколько трудно мне было ориентироваться раньше, настолько теперь это легко делать. Я думаю, что если бы пришлось мне попасть куда-нибудь в самое дикое местечко, то и там нашлись бы заочные знакомые: вот что значит прожить два года в арабских странах!» [22 мая 1910 г.; А, оп. 3, № 26, л. 340 об.].

Поскольку это был уже второй приезд в Дамаск, основное время Крачковский посвятил теперь посещению библиотек и поискам рукописей. Ему удалось познакомиться с владельцами нескольких частных библиотек и с букинистами, кое-какие рукописи он даже приобрел.

Неудача постигла его с библиотекой антиохийского патриарха Григория Хаддада, который ловко уклонился от демонстрации своих рукописных сокровищ чужеземцу. Здесь в который раз приходится предложить читателю перечитать соответствующую главу книги «Над арабскими рукописями» — «Рукописи двух патриархов, или Сбывшееся предсказание» — увлекательную историю о том, как утаенные от Крачковского рукописи все же в конце концов попали к нему в руки.

Из дамасских встреч самой интересной была встреча с ученым и журналистом Мухаммедом Курдом Али, будущим президентом Арабской Академии наук в Дамаске; о нем И. Ю. Крачковский отзывался с большой симпатией.

В Халебе поиски рукописей продолжались: там оказалось несколько неплохих частных собраний, владельцы которых, правда, не хотели ничего продавать. Ни Хама, ни Хомс рукописями его не обрадовали, зато Хомс оказался одним из тогдашних центров нового литературного движения. Здесь Крачковский познакомился с

92

редактором местной газеты Константином Янни, другом (как, кстати, и Курд Али) известного в будущем писателя Амина ар-Рейхани, одного из лидеров «сиро-американской школы», которого Крачковский еще весной встретил в редакции газеты своего бейрутского преподавателя стилистики Джирджи Атыя.

В Хомсе Крачковский провел почти неделю, преимущественно в компании учителей и учительниц многочисленных в городе школ Палестинского общества; среди них была известная в ту пору

сирийская писательница Сельва Саламе. Крачковский, живо интересовавшийся проблемой женской эмансипации на Востоке (о чем вспоминает и Кулсум Оде), беседовал с ней с большим интересом.

Последнее путешествие закончилось еще одним приступом «абу рукаб», продержавшим Крачковского на обратном пути 10 дней в Триполи, так что по возвращении в Бейрут у него оставалось меньше двух недель на сборы. 2 июля 1910 года, за три дня до второй годовщины своего вступления на ливанскую землю, Крачковский отбыл из Бейрута на родину.

ИТОГИ

Свой последний отчет о командировке И. Ю. Крачковский заканчивает следующими словами: «Я не могу не выразить глубокой благодарности факультету, давшему мне возможность познакомиться с живым Востоком при столь благоприятных условиях. Если результаты моей поездки и не могут казаться блестящими, то я чувствую, насколько она была мне полезна во многих отношениях. Все приобретенное за нее пойдет на службу родному факультету, и в этом будет уплата ничтожной части того долга, которым я ему обязан» [30 мая 1910 г.; А, оп. 2, № 244, л. 30].

Попробуем теперь со стороны подвести итоги по всем пунктам его командировочного задания.

Начнем с наиболее четко ограниченного и легко обозримого пункта — ознакомления с постановкой преподавания в Университете Св. Иосифа. Об уровне выполнения этой задачи свидетельствует статья, опубликованная в 1910 году в «Журнале Министерства Народного просвещения» [26]. Объем ее — более 2,5 печ. листа, и являет она собой образец добросовестности. Крачковский поднял для нее множество разнообразных материалов: среди них десятки статей, обзоров и заметок в арабских и европейских журналах, официальные и юбилейные университетские издания, труды преподавателей университета, архивные документы, устные сообщения сотрудников. В результате получился подробный очерк организации и учебной работы факультета и не менее подробные характеристики научной деятельности его профессоров. Заканчивается статья выводами о значении факультета для Европы и Востока, сформулированными — как в свое время в «Записке о деятель

итоги

93

ности школ Палестинского общества» — самостоятельно, смело, по-молодому категорично.

Постановка дела на факультете, пишет Крачковский, ничего не может дать для Западной Европы, поскольку в тамошних университетах таких факультетов нет. Единственному в Европе Факультету восточных языков в Петербурге «нечему учиться и по широте постановки, так как бейрутский факультет покрывает лишь одно семитское отделение из пяти имеющихся у нас, и тем более нечему учиться в самой постановке: смешение научных и практических задач, расплывчатая их формулировка, отсутствие объединяющего начала — все это показывает, что бейрутский восточный факультет находится еще в начальной стадии развития,

которую наш факультет уже давно перерос» [26, с. 38—39]. В то же время факультет имеет для Европы значение как «школа, позволяющая изучать с европейскими методами Восток на Востоке» [26, с. 39], для Востока — как школа, которая должна «внушить местным ученым научные методы исследования, принятые в Западной Европе» [26, с. 40].

Здесь Крачковский уже выходит за рамки своей задачи, оценивая роль Восточного факультета в широком контексте — его влияние на культурную жизнь арабских стран, контакты между Востоком и Западом. Таким образом, эта задача смыкается со следующей — задачей ознакомления с современной арабской литературой.

Магистрант начал с наблюдений над арабской газетно-журнальной прессой, что давало ему возможность получить представление об общественных настроениях в Сирии и Египте и о зарождающихся новых литературных явлениях. Этот интерес нашел отражение во вводной части статьи о Восточном факультете, являющей нам, по сути, первый очерк «литературного возрождения» в Сирии и Египте. Крачковский считал тогда решающим фактором этого возрождения европейское влияние, явно отдавая пальму первенства сирийским христианам и недооценивая тогда, на мой взгляд, культурную роль реформаторского движения среди мусульман. Это объясняется и его связью с христианским университетом и Палестинским обществом, и средой, в которой он преимущественно жил, и большинством контактов в литературном мире. Так, например, интересно, что, заметив первые ростки «сиро-американской школы» и проследив пути формирования такого действительно важного и популярного в те годы жанра как исторический роман, он прошел тогда мимо классического памятника новой литературы Египта — «Рассказа Исы ибн Хишама» аль-Мувайлихи (1898—1902; первое отдельное издание 1907) — попытки возродить старинный жанр макамы, вложив в него современное содержание.

Нет, он не чурался мусульманской литературы: есть дневниковые записи о чтении, например, трудов реформиста Мухаммеда Абдо «с большим удовольствием» [12 нояб. 1909 г.; А, оп. 2, № 5,

94 ГЛАВА V. АЛЬ-ГА РИБ АР-РУСИ

л. 134 об.], свидетельства, что он читал Касима Амина, борца за эмансипацию мусульманской женщины и др., но все же определенный перекося невольно создавался. Тем не менее можно утверждать, что и по части ознакомления с современной арабской литературой Крачковский во время пребывания на Востоке сделал все, что мог. Главное — в первых же работах, связанных с этой тематикой, он стремился не только зарегистрировать отдельные, пусть значительные факты (вроде перевода «Илиады»), но осмыслить процессы, для молодой арабской литературы характерные. Более того, он даже сам пытался писать по-арабски в стиле обретавших тогда в арабской литературе популярность стихотворений в прозе; опыты его снискали одобрение друзей-литераторов и были опубликованы в журнале «Ан-Нафаис аль-асрийя» под псевдонимом Русский скиталец (аль-Гариб ар-руси).

Что касается задачи освоения разговорного языка, то она в прошении о командировке и в инструкции формулировалась по-разному: у самого Крачковского более скромно («как пособие и

подспорье при занятиях литературой»), факультет же требовал умения «свободно объясняться при всяких обстоятельствах». Магистрант за два года добился максимума: его стали принимать за природного сирийского араба — не только отец Кулсум Оде, но и чистильщик сапог в каирском пригороде («меня шляпой не надуешь — какой же ты русский!» [28, с. 44]), и профессиональные египетские гиды, которые сочли его за конкурента. Но мало того, лекции Л. Ронзевалля, чтение европейских лингвистических трудов (Фоллерса, Кенига и др.), собственная работа над рецензиями на труды менее видных лингвистов — все это наводило его на теоретические размышления о необходимости нового подхода к языковым проблемам. В первом же письме к Н. Я. Марру И августа 1908 года, приводя свои наблюдения над формами разговорного языка, он делает решительное заключение: «Таких примеров можно набрать массу, и все они показывают, как опасно застывать в схоластических рамках книжной учености, а паче того считать их окончательно установленными» [1, ф. 800, оп. 3, № 509, л. 5 об.—6]. Через полгода в дневниковой записи уже намечаются контуры новой методики: «Вообще я все больше и больше убеждаюсь, что настает время, когда арабскую грамматику можно писать иначе, чем это делалось до сих пор — то есть с привлечением сравнительного и психо-физиологического метода; для истории внутри классического языка еще слишком мало данных. Иное, конечно, дело диалекты» [14 марта 1909 г.; А, оп. 2, № 5, л. 96].

После В. Ф. Гиргаса, чьи наблюдения над наречиями сирийских и египетских арабов [26, с. 74—77] не нашли отражения ни в его печатных работах, ни в преподавании, И. Ю. Крачковский был первым из русских арабистов, кто отнесся к изучению арабского разговорного языка как к серьезной научной проблеме. В письме к сестре от 8 ноября 1908 года он, «под хорошее настроение

итоги

95

ние», хвастается, что в приложении к отчету уже за первые полгода пребывания за границей «будет грамматический очерк современного диалекта, черт возьми!» [А, оп. 3, № 26, л. 231 об.]. В архиве Крачковского сохранился этот краткий предварительный очерк, носящий описательный характер. Он включает фонетику и морфологию сирийского диалекта в систематическом сравнении с соответствующими звуками и формами арабского литературного языка [А, оп. 1, № 158, л. 4—19]. К нему приложен тематический свод «ходовых выражений» сирийского разговорного языка [А, оп. 1, № 163, л. 138—147] и список 27 детских игр, распространенных в Сирии [А, оп. 1, № 158, л. 3]9.

Этот очерк дал начало курсам Введения в арабскую диалектологию и сирийского диалекта, которые читались им с 1915 года в Университете (впоследствии и в Институте живых восточных языков) до самых последних лет работы. И здесь, следовательно, задание было перевыполнено.

Что же касается «усвоения особенностей местного быта», то и по этой части было сделано все, что возможно. Преодолевая свою застенчивость, Крачковский старался общаться с арабами разных социальных уровней и при этом никогда не кичился своей

«европейской цивилизованностью», наоборот, стремился влиться в местную среду, воспринять арабские привычки¹⁰. (Вот и ответ на вопрос, почему он за два года пребывания на Арабском Востоке усвоил язык лучше, чем иные за тридцать.) Он бывал в семьях, на свадьбах, похоронах, школьных торжествах, дружеских вечеринках. Однажды укрывал от кровавой расправы одного своего приятеля из местных учителей, которого соперники (или хранители женской чести?) «на романтической почве» сильно порезали кинжалами [31 авг. 1909 г.; А, оп. 3, № 24, л. 32]. Он много беседовал с арабами о политике, заносил в дневник их различные мнения и взгляды, в годовщину младотурецкой революции усердно посещал митинги. Таким образом, выполнение и этой задачи помогало глубже проникнуть в суть современных культурных процессов в арабском мире.

И еще одна задача — ознакомление с местными хранилищами книг и рукописей — постоянно была в поле его зрения, где бы и в какой компании он ни путешествовал. О его работе в библиотеках, о поисках, находках, разочарованиях здесь говорилось достаточно, а лучше всего рассказано им самим в книге «Над арабскими рукописями».

Остается один пункт, который больше всего мучил его во время пребывания на Востоке: работа над диссертацией, ограничившаяся здесь, по сути дела, только сличением рукописей.

В самом деле, почему она так не давалась ему, почему вместо того, чтобы трудиться над аль-Вава, он написал чуть ли не десяток необязательных рецензий или тратил время на сличение рукописей дивана Ибн аль-Мутазза, более того — на составление указателей

„тол v. ЛЛЬ-ГАРИБ АР-РУСИ

к Абу Ханифе, которые вполне могли подождать до его возвращения в Петербург? Конечно, здесь сыграла роль все та же свойственная ему «жадность к темам»; к тому же, быть может, уже тогда («очень рано», как он сам заметил потом) им была осознана «обязанность нашей науки откликаться на всякие новые явления» [А, оп. 2, № 62, л. 124], что, кстати, объясняет его пристрастие к рецензиям.

В письмах с Востока, среди его бесконечных жалоб на то, что диссертация не движется, встречается такое замечание: «Удивительное дело:» ни одна работа у меня не тянулась так долго (я ведь над ней вожусь с 1906 года, конечно, с перерывами) и ни из одной не выходило так мало толку» [5 нояб. 1909 г.; А, оп. 3, № 26, л. 297]. Может быть, главная причина была как раз в том, что эта работа затянулась слишком надолго. Даже не то чтобы надоела, а просто начата была давно, и конец ее виделся где-то уж очень далеко, в необозримом будущем, и поэтому она оказывала психологическое давление на человека, «жадного» к разнообразию тем; ее неотвратимая обязательность отравляла ему радость от работы над этими темами, тоже интересными и нужными, но, чтобы их отбросить, необходимо было колоссальное волевое усилие, да и можно ли было их отбрасывать, когда многие из них были продиктованы именно настоящим моментом, пребыванием на Востоке. А темы наплывали все новые и новые. Конечно, настойчивая поддержка извне в конце концов помогла ему преодолеть

психологический барьер; без нее, наверное, дело тянулось бы еще дольше.

Но вот что интересно: впоследствии, подводя жизненные итоги, Крачковский назовет книгу об аль-Вава среди четырех наиболее дорогих ему работ [28, с. 106]. Или тяжело дающиеся дети всегда особенно дороги?

Несомненно, для дальнейшей научной работы Крачковского эта командировка имела огромное значение. Трудно перечислить все его статьи и книги, в которых так или иначе нашли отражение почерпнутые на Востоке материалы и впечатления. Именно там была заложена основа таких важных в его творчестве направлений, как исследование арабской поэтики и риторики, история арабской литературы нового и новейшего времени, русско-арабских литературных связей. К находке в Каирской библиотеке восходит издание и исследование «Послания об ангелах» аль-Маарри и, вероятно, интерес к прочим его посланиям; с поисками в Александрийской библиотеке связано издание нескольких стихотворений Омара аль-Маххара по уникальной рукописи; чтение сирийских и египетских журналов, встречи и беседы с литераторами натолкнули на мысль о переводе на русский язык книги Касима Амина «Новая женщина», стихотворений в прозе и эссе Амина Рейхани и Джебрана, юмористического сочинения на разговорном языке «Народный подарок» Шукри аль-Хури.

итоги

III

А какую богатую пищу дала эта командировка для преподавания! Почерпнутые на Востоке знания впоследствии легли в основу всех его курсов и семинарских занятий, связанных с арабской диалектологией, теорией арабской поэтики, христианско-арабской литературой, литературой XIX—XX веков; отблеск тех лет лег и на остальные курсы, читанные им за долгие годы преподавания.

Еще один важный результат восточного путешествия Крачковского — установление связей с местными литераторами и учеными; не всегда они оказывались прочными, но через них порой завязывались связи новые — словом, корни личных его контактов и переписки с деятелями культуры Арабского Востока тоже в конечном счете восходят к этой командировке.

Да и вообще теперь, сквозь призму восточных впечатлений, любая тема воспринималась им уже по-иному. И когда он писал книгу о шейхе Тантави, тоже одну из любимейших своих работ, то вспоминал, наверное, и своего бейрутского наставника, шейха Абдаллаха аль-Алами, его пособие по каллиграфии с витиеватым заголовком и их долгие разговоры о Коране и конституции.

Окидывая взглядом все начатое и завершенное, пережитое и передуманное за эти два года, можно твердо сказать, что возвращался он в Петербург полностью сложившимся ученым-филологом широкого диапазона и оригинального мышления, способным к независимым критическим суждениям и стремящимся к проложению новых путей в науке. С него в русской арабистике начинался

В то же время он по-прежнему оставался верен служению Истине и Долгу; какие бы то ни было конъюнктурные соображения, страх

кому-то не понравиться, чем-то повредить своей карьере — все это по-прежнему было ему абсолютно чуждо.

XX век.



ГЛАВА VI

Радость после трудности

Хвала Аллаху, который устроил после трудности радость, после стесненности — облегчение и выход и не оставил ни одно испытание без подарка, наказание без милости, бедствие или несчастье — без награды и воздаяния.

Лбу Али аль-Мухассин ат-Таиухи. Из книги «Радость после трудности»

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ДОЛГИ

«Вы говорите, что быть рабом долга очень тяжело. Признавая тяжесть, я все же скажу... что для меня чувство долга явилось заручкой в один из самых тяжелых моментов жизни и не только спасло, но и спасает от мысли о самоубийстве. Это чувство развилось у меня не сразу, а постепенно и притом с такой полнотой, что теперь, как мне кажется, охватывает решительно все стороны существования... Я должен жить, чтобы уплатить долг науке, которая дала мне содержание жизни. Как видите, это понятие очень разрослось и теперь оно для меня так же элементарно, как элементарна для других необходимость вернуть взятые на честное слово деньги...

Действительно, я ни в чем не могу упрекнуть своей совести за прошлое, а между тем оно так истомило мою душу, что у нее атрофировался интерес к будущему. Смешно сказать, но я устал жить! Для того, чтобы жить, мне нужно употреблять чуть ли не физическое усилие, так как я живу не потому, что мне хочется жить, а потому, что я должен. Еще смешнее, что изношенность души отразилась как-то и на теле: конечно, у меня нет никаких страданий, а между тем постоянна какая-то физическая усталость. Надоело одним словом таскать старые кости!.. Только и забудешь о своем ветхом футляре при мысли о чужих страданиях: свои горести покажутся тогда какой-то мелочью и опять все существо заполнит жалость, сильнейшая жалость к этому мировому страдальцу — человеку, терзающемуся на земле под разными соусами» [А, оп. 3, № 24, л. 35 об.—37].

98

Я нарочно позволила себе привести такую длинную цитату из письма, потому что она очень хорошо характеризует настроение, с каким И. Ю. Крачковский возвращался с Востока к своей alma mater. Письмо, правда, написано за несколько месяцев до того, но к моменту отъезда вряд ли что изменилось. Конечно, надо сделать поправку на очередной приступ меланхолии, на то, что в письме все ощущения невольно заострены — ведь так хочется, чтобы дорогой человек понял тебя до конца, поправку на то, наконец, что занятие наукой уже давно для него не просто долг, а единственный способ существования. Но все же к тому, заветному нельзя не

прислушаться, ибо оно объясняет многое в дальнейшей жизни Крачковского.

В Петербурге его ожидали сразу две должности: приват-доцента Факультета восточных языков и хранителя вновь образованного при факультете Восточного семинария имени барона В. Р. Розена — «учебно-вспомогательного учреждения для научных работ студентов с библиотекой и музеем», как пояснял это И. Ю. в письме к сестре [А, оп. 3, № 26, л. 271].

История создания семинария такова: впервые мысль о необходимости такого учебно-научного центра при факультете возникла еще в 1899 году, когда тогдашний министр народного просвещения предложил университетским факультетам обсудить возможные меры по расширению практической подготовки студентов. В ответ на это факультет по инициативе С. Ф. Ольденбурга представил в совет Университета записку, в которой говорилось, что, «хотя по самому характеру занятий на Факультете, восточных языков в нем преобладает система практических занятий, тем не менее усиление таковых и расширение в том смысле, чтобы студенты, по достаточном усвоении языков, стало быть на старших семестрах, имели возможность вести самостоятельные работы в области истории и литературы и усваивать при этом научные приемы, представляются крайне желательными» [З, ф. 14, оп. 1, № 10354, л. 1]. Иными словами, факультет считал необходимым усилить не столько практически-языковую, сколько научную линию подготовки, создав Восточный семинарий по образцу подобных учреждений на Западе: «Надо было бы иметь помещение, снабженное библиотекой справочных изданий, где могли бы работать желающие и где в известные часы они могли бы находить содействие и руководство специалистов из университетских преподавателей и советоваться с ними по тем или другим вопросам, разрабатывая темы по указанию преподавателей или по собственному выбору» [там же].

Тогда для осуществления этой идеи не было денежных средств. Однако осенью 1908 года факультет получил крупное пожертвование от вдовы В. Р. Розена: его прекрасную научную библиотеку (3575 названий, что составляло 6340 томов), которую решено было положить в основу учреждаемого семинария, присвоив ему имя барона В. Р. Розена. Вполне естественно, что при обсуждении кан

8

Заказ 612

99

дидатур на пост хранителя семинария выбор пал на И. Ю. Крачковского, пусть в это время и отсутствующего: ведь это был последний, любимый ученик барона, средоточие надежд старших коллег, а кроме того, человек уже известный на факультете своей добросовестностью и аккуратностью.

Крачковский, узнав о предстоящем назначении еще на Востоке, отнесся к нему со смесью гордости («А в Питере меня, эфиопы, уже начинают ждать!») и обреченности («И до отъезда пытались запрягать, а теперь уж по меньшей мере в десять телег засадят»

[письмо к сестре от 6 июня 1909 г.; А, оп. 3, № 26, л. 271—272]). Но ждали его не только как «надежду факультета» или «рабочую лошадку» — весьма благоволившая ему «генеральша», Варвара Александровна Жуковская, жена декана, жаждала принять его под свое покровительство; на только что построенной даче в Тери-оках для Крачковского был отведен «чуть ли не целый этаж» с окнами «и на море, и на лес, и на сад, и на ручей», как не без иронии сообщала ему сестра [А, оп. 3, № 840, л. 331], строились планы его дальнейшего устройства в Петербурге [там же, л. 464] и даже, кажется, подыскивалась невеста. А пока что усиленно привечалась его сестра, муж которой в это время был переведен на службу в Петербург.

Юлия Юлиановна по-прежнему оставалась главной жизненной опорой для младшего брата. По возвращении в Петербург он снял квартиру на Церковной улице (д. 3, кв. 13), рядом с Кронверкским проспектом, взяв в компанию своего университетского товарища И. И. Десницкого, с которым он жил в одной комнате в коллегии и который навещал его в Бейруте в 1909 году. Столовался Крачковский у сестры, жившей в доме напротив.

После поездки на родину и краткого отдыха на даче у «генералов» (как они с сестрой заочно называли Жуковских) он целиком погрузился в дела, не успев еще даже приступить к регулярным занятиям со студентами: «Утром с десяти до часу я заседаю в своем Семинарии, где еще долго не даст мне передышки скучнейшая работа по каталогизации. С часу до трех урываю время для занятия в библиотеке, потом иду домой и опять-таки занимаюсь до шести часов, когда обедаю. Вечером же непременно или ученое заседание, или какой-нибудь ученый визит. Работа, как на зло, все такая спешная, что совсем не оставляет передышки для собственных занятий» [А, оп. 3, № 24, л. 124]; о том, что это была за работа, будет сказано ниже.

Успешно прошли в совете пробные лекции: 15 сентября — по собственному выбору: «Поэзия по определению арабских критиков классической эпохи»; 24 сентября — по указанию факультета: «Язид ибн Муавия, его жизнь и поэтическая деятельность», после чего было постановлено «представить г. ректору о допущении И. Ю. Крачковского к чтению лекций, обязательных для студентов, по представленной им и одобренной Факультетом программе

100

вознаграждением в текущем году по 100 (сто) рублей в месяц с 5 сентября сего года из остатков от личного состава» [3, ф. 14, п. 3, № 15802, л. 22 об.].

Затем 2 ноября последовала вступительная лекция уже перед студентами на совершенно нетрадиционную тему: «Исторический оман в современной арабской литературе», воспринятая с большим интересом, а с середины ноября пошли и регулярные ауди-орные занятия: начальный курс арабского языка, который он ел ежегодно по 1918/19 учебный год, и обзор арабской гео-афической литературы с чтением избранных отрывков (по 916/17 год) — на 5—5 семестрах. Начальный курс был ему пе-едан от А. Э. Шмидта, а обзор географической литературы он редложил сам (и здесь сказала

любовь к разносторонней тема-ке!): «Теперь приходится готовить курс лекций; я имел неосторожность объявить несуществующий в природе курс, и теперь весь материал приходится подбирать заново» [А, оп. 3, № 24, л. 124]. С 1912 года к этим двум курсам прибавились еще два «необязательных» (то, что ныне называется спецкурсами). Первый — Введение в изучение христианско-арабской литературы», который с 1914/15 года перешел в «Обзор христианской литературы разбор древнейших памятников IX—X веков с диалектологическим комментарием» и читался по 1918/19 год. Второй, в известной степени спровоцированный испанистом Д. К. Петровым¹, — чтение поэтических текстов: в 1912/13 году — элегическая поэзия; 1913—1915 годах — поэзия эпохи Хамданидов; в 1915/16 году — произведения испано-арабского поэта Ибн Хамдиса, с 1916/17 года — древнеарабская поэзия. Аудиторная нагрузка была по нынешним нормам невелика: 7 часов в неделю плюс «совещательный час» после лекций. Да объявленные им необязательные курсы были тесно связаны с кругом его научных интересов, обогащая и расширяя этот круг, однако благодаря его абсолютной, перед самим собой безупречной обросовестности подготовка к занятиям, особенно на первых порах, отнимала много времени — об этом неоднократно упоминается в письмах.

О сложившихся к тому времени взглядах Крачковского на университетское образование и на свою роль как преподавателя дает представление текст вводной лекции, которой он открывал начальный курс арабского языка. Собственно говоря, это предисловие не только к первому языковому курсу, но введение вообще в ход занятий Факультета восточных языков, более того — определение задач Университета как «учено-учебного заведения», цель которого не сообщение учащимся известных фактов, а усвоение научных методов, «подготовка людей, мыслящих научно» [А, оп. 1, № 163, л. 40]. Идеал такой высшей школы — высший талант: «Консерватория существует в чаянии Чайковских и Рубинштейнов, хотя бы и давала только оркестровых музыкантов. Выпускать

101

таланты она не должна, но музыкально образованных обязана. То же и университет: *minimum* есть, *maximum* быть не может» [там же]. К Университету должны предъявляться требования только духовного порядка, карьера делается вне и независимо от него.

Нет, не теперь сложилось это убеждение, нить тянется к Юлиану Фомичу Крачковскому, учившему своих детей, что одна лишь наука никогда не обманет, — от него к попечителю петербургских учебных заведений фон Анрепу, речь которого юный Игнатий Крачковский слушал десять лет назад и после того записал в дневник: «...мысли, высказанные им, были мне всегда дороги» [А, оп. 2, № 4, л. 127 об.]. Представляю себе, как он на первой лекции вглядывался в лица первокурсников, гадая, кто из них воспримет эти мысли так, как в свое время воспринимал он.

Обращаясь далее к более конкретным вопросам, он проводил параллель между восточным и историко-филологическим факультетами; разница между ними состоит не в методах, а только в степени знакомства с материалом, к которому эти методы

применяются. Здесь, как и там, интересы студентов делятся между линг вист и кой, литературоведением и историей, поэтому и начальный курс языка, слушателям абсолютно незнакома, рассчитанный на всех, не носит строго лингвистического научного характера — это «чисто пропедевтический, элементарный курс», тот минимум, который «одинаково нужен всем специальностям» [А, оп. 1, № 163, л. 2], или, как это сформулировано в последнем варианте лекций, «элементарный курс в догматическом изложении с небольшими экскурсами в область родственных языков и диалектологии» [там же, л. 44]. Подобная задача курса предполагала «по возможности быстрое изложение грамматики и переход к интерпретации текста» [там же, л. 44 об.].

Конспект вступительной лекции сохранился в пяти следующих друг за другом вариантах 2. Можно проследить, как от варианта к варианту оттачиваются формулировки, уточняются детали, добавляются сведения о мусульманском разряде факультета, ответ на расхожий обывательский вопрос, зачем изучать арабский язык («связать себя с чуждым интеллектом — благороднейшая задача» [л. 41]), даются советы, как строить самостоятельную работу («труднее всего преодолеть инерцию вначале, дальше открываются все новые стороны и прогресс без конца» [л. 42]) и повторяется любимая мысль: «Разочароваться в знании нельзя» [л. 42].

Принцип построения начального курса сохранялся на протяжении всех девяти лет, что Крачковский вел его в Университете; принцип этот был обусловлен всей логикой университетского преподавания, как он его понимал. Могу засвидетельствовать, что подход к начальному курсу остался неизменным и через четверть века, когда (в 1944/45 году) ему пришлось после долгого перерыва вести его в последний раз. И лекция была та же, что в 1915 году, с незначительными добавлениями (под конспектом 1915 г. ука-

102

ны дальнейшие даты, последняя из которых — 2.X.1944 г.), и «скоростной» метод изложения грамматики, несколько ошарашивающий студентов, был тот же.

Но вернемся опять к предреволюционным годам. Чувство долга и справедливости постоянно заставляло его активно реагировать на все, происходящее на факультете: «...пришлось (на факультетском заседании.—А. Д.) довольно много ораторствовать и волноваться по всяким вопросам о программах будущего семестра, о распределении часов и т. д.» [18 дек. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 129]. Как в студенческие годы он благодаря этому часто оказывался во главе различных комиссий или депутатий, так и теперь он был избран председателем бюро младших преподавателей факультета и верой и правдой защищал их интересы. Приходилось заботиться и об учебных пособиях — выписывать необходимые книги, заняться переизданием так называемой «маленькой» хрестоматии В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена — наличных экземпляров явно не хватало, ибо на первом курсе каждый раз аудитория составляла не менее 20—25 человек (к третьему курсу их оставалось человек 8—12).

Своими преподавательскими успехами Крачковский, как водится, доволен не был («тщетно пытаюсь развивать у себя дар слова» [А,

оп. 3, № 24, л. 126]); студенты огорчали его своими слабыми успехами: «Сегодня мои первокурсники ввали не милосердно особенно, чувствую, что они жестоко меня оскандалят перед Медниковым» [18 февр. 1911 г.; там же, л. 85 об.].

Неужели никто из них так и не воспринял «умом и сердцем» его вступительную речь? Он ругал их, страшил "провалом на экзаменах — и в то же время изо всех сил старался выхлопотать для них стипендии (у него на 1 курсе семь стипендиатов — «небыва-

как и в годы учебы, относился с неодобрением. Студенческая демонстрация по поводу смерти Л. Н. Толстого, по его мнению, «превратилась в самый низкопробный уличный скандал» [там же, л. 125]; в другом письме по поводу очередных студенческих выступлений — недовольная реплика: «Одним словом, начинается сказка про белого бычка» [А, оп. 3, № 25, л. 75].

Назначив Крачковского на пост хранителя семинария (за что он получал еще 50 рублей в месяц), руководство факультета не ошиблось: молодой приват-доцент и здесь работал с полной отдачей, тем более что видел реальную пользу для студентов и преподавателей (ведь семинарий помогал воспитывать в студентах ту самую самостоятельность научного мышления, которую он считал необходимой для универсанта). По протоколам факультетских заседаний видно, что Крачковский заботится и о меблировке семинария [З, ф. 14, оп. 3, № 15802, л. 27 об.], и о пополнении его книжного фонда дублетами из фундаментальной библиотеки [там же], и о покупке книг [там же, № 15835, л. 4—7]; А. Е. Крым

лый случай» [там

же, л. 101]). Но к

студенческим беспорядкам,

ский, состоявший с Крачковским в личной переписке, шлет семинарию в дар свои труды [там же, № 15836, л. 47].

Практические повседневные дела семинария отнимали много времени: он перетирал и расставлял книги³, заносил их в инвентарь, каталогизировал — словом, не гнушался никакой «черной» работой. В инвентарных книгах нынешней библиотеки Восточного факультета ЛГУ, куда влился фонд розеновского семинария, многие страницы, исписанные его характерным почерком, — образец аккуратности.

И. Ю. Крачковский сразу же вписался и в ученую среду петербургского востоковедения, деятельно включился в его научную жизнь, в которой он делал первые шаги еще до поездки на Восток.

Это было последнее десятилетие блестящего «розенковского» периода петербургского востоковедения. Да, В. Р. Розена, объединившего вокруг себя «все живые силы русского востоковедения», создавшего «новую школу» [30, с. 143] уже не было, но эстафету от него приняли старшие ученики и соратники, среди которых ведущие роли играли Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и В. В. Бартольд. Они сумели сохранить и поддержать прежнюю деловую, творческую атмосферу на факультете, где кроме них работали тогда и такие крупные ученые, как семитолог П. К. Коковцов, египтолог и эфиопист Б. А. Тураев, иранист В. А. Жуковский, индолог Ф. И. Щербатской, монголист В. Л. Котвич и др.

Факультет был дружной семьей, состоявшей из ярких индивидуальностей, и следующее поколение, влившееся в состав факультета в первые два десятилетия XX века, не менее яркое по своим потенциальным данным, получало великолепную возможность расцвести в университетской среде. К этой плеяде, помимо И. Ю. Крачковского, принадлежали китаист В. М. Алексеев, монголист Б. Я. Владимир-цов, тюрколог А. Н. Самойлович, иранист А. А. Ромаскевич, чуть более молодые японисты С. Г. Елисеев и Н. А. Невский.

Едва вернувшись в Петербург, И. Ю. Крачковский сразу же был захвачен новыми начинаниями — в который раз ловила его в сети склонность к многотемью.

Его пригласили участвовать в составлении энциклопедии Русского книжного товарищества «Деятель»; за пять лет он написал для нее около 200 статей. В. В. Бартольд привлек его к сотрудничеству в своем новом научном журнале «Мир ислама», которому, к сожалению, не суждена была долгая жизнь. Сотрудничая в этом журнале, Крачковский мог реализовать свой интерес к современным проблемам Арабского Востока; линия эта, начатая его вступительной лекцией об историческом романе, опубликованной в 1911 году в «Журнале Министерства народного просвещения», никак не вписывалась в университетские программы. Для «Мира ислама» он дал обзор современной египетской прессы и хорошо знакомого ему журнала «аль-Машрик»; в качестве приложения к «Ми

104

ру ислама» в 1912 году вышел в свет первый его перевод из современной арабской литературы: острое публицистическое сочинение египтянина Касима Амина «Новая женщина» (1901).

Не менее соблазнительным было предложение участвовать в журнале «Христианский Восток», созданном при Академии наук по инициативе Н. Я. Марра в том же 1912 году. Для него Крачковский написал более полутора десятков статей, рецензий и обзоров, отдав дань и старой своей любви — эфиопистике [17, № 39], и бродячим сюжетам [17, № 40, 81], и вопросам культурных связей мусульман и христиан в арабском прошлом [17, №№ 70, 107, 108], и исследованию христианско-арабских рукописей [17, №№ 60, 139, 140], и деятелям современной арабской культуры [17, №№ 71, 82] — так что и христианско-арабская линия давала возможности самых широких выходов к различным темам.

Говоря о тогдашних его работах, связанных с арабской современностью, следует упомянуть и небольшую заметку, напечатанную без подписи в «Вестнике иностранной литературы» (декабрь 1910 г.): «Русские писатели в арабской литературе» со скромным подзаголовком «Библиографическая справка по поводу кончины гр. Л. Н. Толстого». В свое время Крачковский был очень ею огорчен и «всячески от нее отрешивался», так как корректуру ему прочесть не дали, и «благодаря опечаткам из арабских собственных имен получилась какая-то абракадабра» [А, оп. 3, № 24, л. 128]. Однако именно эта статья положила начало еще одной линии исследований Крачковского, которой он придавал большое значение,

— изучению русско-арабских литературных связей; этой проблеме впоследствии будет посвящена не одна статья.

Ощущение долга перед теми, кто трудился в арабистике до него, заставляет Крачковского вновь взяться за неоконченное В. Ф. Гиргасом издание Абу Ханифы ад-Динавери, указатели к которому он составлял на Востоке в трудную минуту. В 1912 году должно было исполниться 25 лет со дня смерти Гиргаса, и в начале 1911 года Крачковский предложил составленные им указатели издательству Брилля в Лейдене, где почти четверть века назад был опубликован текст ад-Динавери.

Но его ожидало подлинное потрясение. Вспомним «Над арабскими рукописями»: «Велико было мое изумление, когда быстрее чем через две недели я получил в ответ не только письмо, но отпечатанные листы указателя с просьбой просмотреть их. Из письма издателя выяснилось, что они были составлены учениками Розена еще в 90-х годах, проредактированы им самим и отпечатаны в 1904 году. Остановка была за Preface — предисловием, которое к Бриллю так и не поступило от Розена, несмотря на напоминания.

Под первым впечатлением мне стало жутко, что я проделал бесполезную работу. Однако две тысячи карточек не пропали даром. Просмотр показал, что указатели Розена были составлены несколько по иной схеме, чем у меня, и давали возможность пере

105

крестной проверки и уточнения; кроме того, в них отсутствовали некоторые из подготовленных мною отделов; их легко было теперь допечатать» [28, с. 148].

Ничего не оставалось делать, как пополнить уже готовый указатель и взяться за написание предисловия. «Комично то, что мне, такому маленькому человечку, жалкой серой Крачке, приходится кончать работу трех больших покойных ныне слонов-арабистов» [А, оп. 3, № 24, л. 203]4. Для этого пришлось выписать из Лейдена рукопись Абу Ханифы, в дополнение к петербургской, чтобы дать в предисловии анализ материалов, положенных в основу издания. Так работа над Абу Ханифой привела Крачковского в учебное отделение Министерства иностранных дел, в собрании которого хранилась рукопись сочинения. И тут же перед ним возникает новая задача, связанная с «отдаванием долгов»: разбор и приведение в порядок рукописей этого собрания, описанием которых некогда занимался его учитель В. Р. Розен: «Я ведь взялся за эту штуку только из уважения к его памяти, но делаю старательно и даже с удовольствием, хотя работа сама по себе очень кропотливая и невидная» [там же].

Этим доведенным до крайних пределов чувством долга и деликатностью Крачковского начинают пользоваться его коллеги: «Прибавилось работы с корректурами энциклопедии, которые по летнему времени приходится читать и за других» [19 июля 1911 г.; там же, л. 231]; «Петров... начинает печатать в Лейдене произведения одного арабо-испанского поэта и просит содействовать при корректурах; я конечно обещал» [27 янв. 1912 г.; А, оп. 3, № 25, л. 40 об.]. Кто-то просит его получить за него жалованье, кто-то — переслать нужную книгу — подобными

сообщениями пестрят его письма тех лет. Сам же он стесняется попросить кого-либо о помощи. Так, подписав к печати корректуру предисловия к Абу Ханифе (на французском языке), он замечает: «Наверное, много опечаток проглядел. А просить кого-нибудь прочитать еще стесняюсь: до того все заняты» [там же, л. 37 об.].

По отдельным репликам в письмах видно, что многими «обязательными» работами он тяготился, хотя бы на каком-то определенном этапе их подготовки.

Но все-таки было одно дело, которым он занимался не столько по призыву долга, сколько по склонности сердечной, — арабская поэзия: «Я теперь за нее хватаюсь, как за якорь спасения особенно потому, что мои старшие коллеги хотят меня затянуть в лингвистику, от которой я всеми силами открещиваюсь. Жалко только, что для своих занятий совсем почти времени не остается, а урвешь денек и чувствуешь, что освежишься» [6 дек. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 128 об.]. Он так освоился с классической арабской поэзией, что мог уже не ломать голову над каждой строкой (что так хорошо знакомо любому арабисту!), а читать ее для отдыха [3 нояб. 1911 г.; А, оп. 3, № 24, л. 424], во время загородной по

106

ездки [12 февр. 1912 г.; А, оп. 3, № 25, л. 73], за чаем [27 февр. 1912 г.; там же, л. 105], перед сном [29 февр. 1912 г.; там же, л. 108]. Этюды о поэзии и писались легко, без натуги [А, оп. 3, № 24, л. 128, 129]5, не то что «обязательные работы»6.

А что же диссертация, казалось бы, счастливое соединение любви и долга? Как ни парадоксально, но здесь по-прежнему дело двигалось крайне медленно, хотя материал был уже весь освоен. Однако пугающая объемность работы, ее словно бы «вечный» груз, невозможность сосредоточиться из-за тянущих в разные стороны обязанностей, которые он словно специально придумывал для себя, чтобы оттянуть занятия диссертацией, понимание необходимости «синтеза» и полная неуверенность в своих способностях к этому — все это воздвигало перед ним, казалось, непреодолимый барьер.

Лето 1911 года он решает провести в Петербурге, отбросив все дела и занявшись только диссертацией. Однако полностью сосредоточиться на ней тоже не пришлось — помешали Абу Ханифа и рукописи учебного отделения. А может быть, в этом была какая-то бессознательная лазейка: «Вообще, должен сознаться, я к ней как-то охладел и, если бы не сознание того, что нужно с ней разделаться, даже пожалуй бы бросил» [18 июня 1911 г.; А, оп. 3, № 24, л. 174].

Наконец настал знаменательный день: 22 июня 1911 года он принял решение, для его манеры работать вполне рациональное: «Писать по отдельным главам в зависимости от того, как подбирается материал, а потом уже буду соединять их в одно целое» [22 июня 1911 г.; там же, л. 181]. И начал с трепетом душевным: «Я так боюсь приступить к этой работе, что даже перекрестился предварительно» [там же].

Пошли занятия в жестком режиме: утром — рукописный отдел или библиотека, после обеда до вечера — диссертация. За это лето ему удалось написать четыре раздела, наиболее конкретных по содержанию: исследование рукописей, на основе которых делается

издание, об источниках для знакомства с произведениями аль-Вава, о подлинности его стихов и о метрике — всего 80 рукописных листков, что составляло около 2,5 печатных листа. Появилась надежда кончить диссертацию за следующую зиму.

Но уже в сентябре дело застопорилось: туго шла биография аль-Вава (материала мало!), а когда она наконец была написана, его снова охватила неуверенность: «Удивительное дело: все мне кажется, что для диссертации надо прочитать еще эту книжку, и тогда уже можно за нее окончательно приниматься. Прочитаешь ее, вспоминаешь, что вот следовало бы еще такую-то и так далее до бесконечности» [там же, л. 449 об.—450]. Так выплывает наружу еще одна причина замедления работы над диссертацией. Присущая Крачковскому беспредельная добросовестность в сочетании с извечной его неуверенностью играла с ним в злую игру. Недаром

107

барон говорил ему о «нахальстве», необходимом для писания больших работ, — этого-то «нахальства» ему и не хватало.

Снова выплыла конкретная задача: он берется за окончательную подготовку арабского текста к изданию, не раз консультируется с университетским лектором арабского языка Антуном Хашабом; бывали случаи, что и тот, природный араб, человек образованный, оказывался бессильным. А потом опять наваливались дела: подготовка к занятиям, семинарий, корректуры Абу Хани-фы, аккуратно присылаемые оперативными лейденскими издателями, «Мир ислама», «Христианский Восток», энциклопедия — и писание теоретической части вновь отложено на лето, несмотря на выговоры, которые он выслушивает от нового декана, Н. Я. Мар-ра, избранного 7 ноября 1911 года взамен В. А. Жуковского, попросившего отставки с этого поста. Марр печется о нуждах факультета: необходимо расширение штатов, следовало бы заменить Н. Я. Медникова в должности секретаря факультета, с которой он не справляется. Крачковский, поначалу выведенный из себя замечаниями и заявивший, что готов уйти, если он ставит факультет в такое неприятное положение [6 марта 1912 г.; А, оп. 3, № 25, л. 120 об.], пытается ограничить свои побочные занятия и словно торгуется сам с собой: «Одной маленькой статейки⁷ все же не хочется бросать. Оправдываю себя тем, что если из нее не выйдет самостоятельной статьи, то она может целиком войти в диссертацию, так как по теме близко касается одного частного затронутого в ней вопроса» [там же, л. 28 об.].

Но так или иначе, за диссертацию он берется вновь только в мае и опять выбирает дело вполне конкретное — переписку текста дивана для печати и комментарии к тексту, на которые уходит весь июнь. Осенью арабский текст с разрешения факультета начинает печататься в Лейдене в типографии Брилля; к сентябрю 1913 года он уже готов [3, ф. 14, оп. 3, № 15802, лл. 84 и 114 об.].

Как шла работа над диссертацией после сдачи арабского текста в печать, точных документальных свидетельств нет. Известно, что вторая половина лета 1912 года ушла на перевод «Новой женщины» [А, оп. 7, № 25, л. 4]; осенью и зимой 1912/13 года читались корректуры аль-Вава. Основные главы диссертации написаны,

очевидно, в 1913 году, ибо к октябрю 1914 года книга уже отпечатана полностью. Можно полагать, что ускорению работы способствовали счастливые перемены в жизни Крачковского, о которых далее и пойдет речь.

ЗАЧЕМ ЖЕНИТЬСЯ НА ЧУЖОЙ ЖЕНЕ, КОГДА КРУГОМ ТАК МНОГО ДЕВИЦ?

Переписка с В. А. Фармаковской, начавшаяся еще во время пребывания И. Ю. Крачковского на Востоке, продолжалась и после его возвращения. И хоть оба находились, по выражению Крач-

99

ЗАЧЕМ ЖЕНИТЬСЯ НА ЧУЖОЙ ЖЕНЕ..

123

ковского, «в состоянии суеты и разгрома» [5 сент. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 117], киевские письма Веры Александровны были для него большой поддержкой. Он раскрывал перед ней самые заветные мысли, переживания, делился своими успехами и неудачами, подробно рассказывал, как устроился, чем занимается, что пишет, чувствуя неподдельный интерес своей корреспондентки. Он оправдывался перед ней, пробиравшей его за то, что он мало занимается диссертацией, которая, с ее точки зрения, являлась первоочередным делом, важнее всех «долгов».

В конце 1910 года переписка прерывается: супруги Фармаковские приезжают на рождественские каникулы в Петербург, к родным Веры Александровны. Эта новая встреча решила все: по окончании каникул В. В. Фармаковский, преподаватель Киевского института инженеров железнодорожного транспорта, возвращается в Киев, а она остается у сестры (той самой Екатерины Александровны, которая путешествовала с ней на Восток) под предлогом консультаций с петербургскими докторами; Крачковский встречается с ней там (у «начальства», как они ее называют) или в доме у Юлии Юлиановны. В марте Вера Александровна пишет мужу, что больше к нему не вернется и возбуждает дело о разводе. Но поскольку ее здоровье действительно нуждается в поправке (помимо прочих болезней врачи обнаружили у нее туберкулезный процесс в легком), в начале июня 1911 года она уезжает лечиться в Железноводск, а осенью по совету врачей перебирается в Крым. На юге почти неотлучно при ней находятся то мать, то сестра, а некоторое время, пока мать ложится на операцию, — Юлия Юлиановна с мужем.

И снова начинается переписка. Не дожидаясь ответов, они пишут друг другу каждый день. Крачковский нумерует свои письма: с 8 июня по 13 августа — 60 писем; со 2 сентября по 10 декабря — 100 писем; с 15 января 1912 года по 14 марта — 60; с 1 апреля по 28 мая — 58. Перерывы в переписке означают его приезды: в конце первых летних каникул, после успешно завершающих четырех глав диссертации, потом на Рождество и на Пасху.

Письма И. Ю. Крачковского в этот период — своеобразный дневник: в них содержится подробный отчет о каждом прожитом дне, обо всем, что он в этот день делал, с кем встречался, над чем работал, о чем думал.

Это удивительная переписка — удивительная по полной, какой-то пронзительной открытости, безоглядному взаимному доверию. Странное чувство испытываешь, перебирая в архиве эти письма: хоть

и знаешь наперед, что все кончится хорошо, все равно почему-то страшно: вдруг с кем-нибудь из них случится какое-нибудь несчастье или вдруг кто-то из двоих — не предаст, нет, это невозможно! — но разочаруется, разлюбит, охладееет... Для второго это означало бы крушение всей жизни. Но ни ему, ни ей даже в голову не приходило, что это может случиться. Все, что происхо

109

дило между ними, обоим было свято: «Перед глазами нашей вести и Бога наш брак уже состоялся», — пишет он ей [5 сент. 1911 г.; А, оп. 3, № 24, л. 295]. Жизни без Веры Александровны он себе уже не представлял: «Понимаешь ли, Ты ведь для меня сама жизнь, до Тебя я любил только одну науку, но любил ее только за то, что находил там забвение своих дум и горестей. Но желания жить, чувства жизни она мне не давала. В Тебе же я это нашел» [18 июня 1911 г.; там же, л. 175 об.].

Но Веру Александровну мучила мысль о том, что она, «калека», как она себя называла в письмах, может оказаться в будущем обузой для своего мужа, «не утехой, а помехой» [30 окт. 1911 г.; А, оп. 3, № 489, л. 459 об.], тем более что доктора пока категорически запрещают ей петербургский климат — а вдруг это навсегда? Впрочем, в этом плане она настроена весьма решительно: «А чтоб тебе из-за меня бросать университет — и думать не могли. Ведь все равно — если я не живуча, то от этого не спасешься. Как крайний выход я единственно бы допустила житье вблизи Петербурга, чтобы ты мог ездить» [2 июля 1911 г.; там же, л. 106]. Крачковский не скрывает, что разрешение этой ситуации для него — действительно трудная проблема: «Убеждаюсь все больше и больше, что насчет Питера и жизни в нем надо очень и очень подумать. С другой стороны, выселяться совершенно на юг тоже не так-то легко; не в силу, конечно, моих личных стремлений и занятий, которые отбросить мне ради Тебя ничего не стоило бы, сколько в силу внешнего положения. Я всегда так много говорил о долге и тому подобном, а тут вдруг окажется, что все это говорилось только до столкновения с действительностью; между тем факультету я обязан решительно всем, теперь я ему нужен, так как заменить меня некем, и бросить его с моей стороны едва ли было бы красиво» [29 июля 1911 г.; А, оп. 3, № 24, л. 249]. Тем не менее в решении своем он не колеблется, здесь ведь в силу вступает то же чувство нравственного долга: «Когда мне приходится ставить на одну доску дорогое дело, а на другую — любимого человека, ты знаешь — для меня выбора нет» [18 окт. 1911 г.; там же, л. 387 об.].

И это не пустые слова. С точки зрения окружающих происходит, очевидно, нечто невероятное: «безотказный» Крачковский вдруг начинает отказывать в просьбах то одному, то другому — не хочет читать корректур «Мира ислама» во время пасхальных каникул, не хочет летом ехать в Москву, чтобы привести в порядок мусульманский отдел вновь открытого музея, о чем его просит Б. А. Тураев; наконец, он отказывается взять на себя секретарство в Восточном отделении Археологического общества, чем вызывает явное недовольство В. В. Бартольда. Но в этом последнем случае у него помимо обычной неуверенности в своих силах разумный расчет:

доктора надеются, что Вере Александровне можно будет после курса лечения жить в Царском Селе. В таком случае, «если

ЗАЧЕМ ЖЕНИТЬСЯ НА ЧУЖОЙ ЖЕНЕ .

с утренними занятиями можно справляться, то вечерние заседания с советом Общества да всякими комиссиями несколько раз в < к лю больно трудно. Кроме того, хорош секретарь Общества и < дактор журнала, который живет в Царском! Лучше уж н< di.ni совсем, чем быть плохим... Я попытаюсь уговорить Бартол. i |

остаться, а в крайнем случае предложу компромисс: быть е.....

гласным помощником для черной работы, чтобы облегчить груз секретарства» [25 окт. 1911 г.; там же, л. 404].

Разумеется, Веру Александровну это очень беспокоит: «Мне Ж лается страшновато, не скрою, когда я слышу, что из-за МММ рвется связь... с большим и почетным делом» [А, оп. 3, № 4Н'1, л. 431]. И теперь уже Игнатий Юлианович выступает в роли у і шителя и мягко выговаривает ей за излишнее самоуничужение.

Вера Александровна без конца его благодарит; в общем ком тексте ее писем естественно, без ложной риторики, звучит фраза «Мой долг — жить для тебя» [31 авг. 1911 г.; там же, л. 252]. И она готовится к выполнению этого долга: начинает учить арабский по грамматике Хашаба, читает книги по арабистике — И. Гольд циора, Р. Николсона, Б. Карра де Во, собирается в будущем взять на себя все почтовые дела Игнатия Юлиановича, переписывать ею работы, а главное — обещает никогда ему не мешать, напоминая при этом, что у нее в отношении него «имеются честолюбивые стремления» [30 окт. 1911 г.; там же, л. 459 об.]. Она не стесняется затрагивать в письмах и финансовый вопрос, для него достаточно щекотливый (у него — всего лишь 150 рублей жалованья, а у нее небольшой капитал, проценты), и убеждает его, что деньги у них должны быть общие (в противоположность тому, как было в первом ее браке).

Нет, она вовсе не ангел: она умеет поставить на место и квартирную хозяйку, пытающуюся взимать с нее плату за нетопящийся камин, и не угодившую ей портниху, и врача, манкирующего посещениями; она может сурово обойтись с прислугой, может прямо, без обиняков, написать сестре, чтобы та не приезжала на Рождество, потому что она ожидает Крачковского. Одним словом, по характеру она очень отличалась от своего будущего мужа⁸, но, думается, именно благодаря своей натуре — твердой, властной, практичной — могла стать для него подлинным ангелом-хранителем, тем более что отношение к основным общечеловеческим ценностям — любви, верности, чести, долгу, труду — у них совпадало.

Бракоразводный процесс тянулся долго, обрастая осложнениями и принося многие огорчения.

От родных они свои планы на будущее не утаивают; их история становится известной и в университетских кругах. Наиболее распространенная реакция — та же, что у В. В. Фармаковского: почему Крачковский захотел жениться именно на чужой жене, когда кругом так много девиц?! «Генеральша», В. А. Жуковская,

устраивает ему разнос, истерику по поводу «чахоточной невесты», «эгоистки», из-за которой он теперь «пропал для науки» [2 сент. 1911 г.; А, оп. 3, № 24, л. 290]. Екатерина Александровна изрекает мрачные предсказания о неизбежных будущих ссорах, уверяет сестру, что Крачковский через два года в кого-нибудь влюбится и бросит ее.

Николай Юлианович Крачковский не без юмора пишет младшему брату: «Признаюсь, не ожидал я от тебя такой прыти: видимо, подробное знакомство с арабской литературой и пребывание на Востоке зажгли огонь в крови и потянули тебя к семейной жизни». Далее на правах старшего, да к тому же врача, предупреждает его, что бракоразводный процесс займет не менее трех лет, а в случае противодействия мужа Веры Александровны может длиться до бесконечности и что болезнь жены сделает невозможной для них жизнь в Петербурге и вообще отравит их семейное счастье. Однако кончает он письмо на оптимистической ноте: «Если ты уверен в своей невесте, если есть у тебя сильное чувство к ней, если она сама сознает свое положение и любит тебя, то, конечно, все не так страшно, любовь делает всегда чудеса, не исключая и здоровья». А в заключение спрашивает, не нужно ли брату денег [4 дек. 1911 г.; А, оп. 3, № 493, л. 1—3].

Единственным человеком, кто принял этот союз сразу и безоговорочно, была Ю. Ю. Снитко; она с первой встречи почувствовала расположение к Вере Александровне. Лучше всех зная своего брата и, подобно ему, ставя духовные соображения выше материальных, она понимала, что ему нужна именно такая жена. Дружба обеих женщин оставалась прочной до самой смерти Юлии Юлиановны.

1912 год принес радостные перемены: 15 февраля В. В. Фармаковский и его адвокат поставили свои подписи под судебным решением о расторжении брака. Дело было направлено для утверждения в Синод, и, вопреки всем мрачным прогнозам, 18 июня 1912 года, через пятнадцать месяцев после начала процесса, был получен официальный документ, подтверждающий развод «с предоставлением Вере Фармаковской права вступить в новый второй брак с лицом беспрепятственным» [А, оп. 3, № 25, л. 267].

Весной врачи разрешили Вере Александровне переехать в Финляндию, и Крачковский с ног сбился, подыскивая ей подходящее жилье. Наконец была найдена комната в одном частном пансионе в Мустамяках; для себя он тоже снял комнату по соседству. В начале июня В. А. переехала в Мустамяки, а 8 июля в Выборге состоялась скромная свадьба, на которой присутствовали только четыре свидетеля, друзья Крачковского. Лето молодые провели в Мустамяках (после свадьбы Крачковский перебрался в пансион к жене), а осенью сняли квартиру в Царском Селе, для чего требо-

ныне — Горьковское.

Валась рекомендация двух лиц с высоким положением; Крачковский получил эту рекомендацию от академика Ольденбурга и сенатора Арсеньева.

Квартира находилась в пятнадцати минутах ходьбы от вокзала, на Магазиной улице, состояла из пяти комнат с верандой и занимала весь второй этаж деревянного дома. Крачковский вставал

в 7 часов утра и никогда не опаздывал на занятия к 9 часам, предпочитая добираться от Царскосельского (ныне Витебского) вокзала до Университета пешком по [Загородному проспекту, Гороховой улице, через Александровский сад и Дворцовый мост.

Дома работалось легко: был удобный кабинет для занятий, тепло, светло и никаких хозяйственных забот, никакой петербургской суеты. Пополнялась его библиотека: литературные гонорары он позволял себе тратить исключительно на книги.

Вера Александровна сдержала обещание не мешать мужу. У нее хватало дела: она учила прислугу готовить любимые блюда Игнатия Юлиановича, переписывала его работы, шила, музицировала, рисовала. Именно в Царском был придуман и нарисован знаменитый впоследствии *ex libris* Крачковского с характерным орнаментом, стилизованной под арабский шрифт надписью и изображением на фоне мечети двух шейхов, читающих огромную книгу.

В свободное время гуляли по парку, принимали гостей — родственников Игнатия Юлиановича и Веры Александровны; из друзей приезжали А. Э. Шмидт с женой, И. И. Десницкий, А. Н. Самойлович.

Особенностью обстановки в Царском Селе — летней резиденции русского царя — было обилие агентов тайной полиции, которые, по выражению В. А. Крачковской, «толкались решительно везде: на вокзале, на улицах, в парках» [А, оп. 7, № 25, л. 22 об.]. В этой связи она вспоминает один забавный эпизод. Де-

кухне появились сразу три внуши-полной форме... с ними четвертая личность: некто в черном пальто. Вся троица полезла христосоваться с Игнашей... Одному из городских Игната шепнул: "А чет-вертый-то кто?" Фигура прислушивалась и потому сама немедленно отрекомендовалась: "Я -4- ваш дежурный агент"» [там же, л. 24 об.].

В Царском Селе Крачковские прожили две зимы; здесь и была завершена наконец многострадальная диссертация. 1913 год принес еще одну удачу: на празднование трехсотлетия дома Романово происходило на Пасху: «В тельных фигуры городских вых приехал Антиохийский пап иарх Григорий аль-Хаддад, который в свое время не допустил Крачковского до своей библиотеки, и привез в дар более сорока рукописей христианско-арабской литературы.

Преодолев много преград, Крачковский получил рвэре.....Nie посещать для ознакомления с ними рукописями оибниок-ку !1им
112

него дворца, когда царской фамилии не было в Петербурге. В книге «Над арабскими рукописями» Крачковский рассказывает о том, под каким строгим наблюдением ему приходилось там работать и сколько мер предосторожности принималось: «Выдавалось не более одной рукописи, и вторично ту, которая уже просматривалась раньше, нельзя было получить. Листы были, конечно, не пронумерованы, что крайне усложняло ссылки; почему-то не разрешалось далее измерять формат рукописи. Никаких пособий в библиотеке не было, и приносить с собой ничего не позволялось. Все сделанные, заметки тщательно просматривались и не всегда сразу

выдавались, как я потом случайно узнал, чтобы иметь срок для проверки экспертом, не кроется ли в моих арабских записях какого-нибудь шифра» [28, с. 35].

Среди подарков аль-Хаддада было много сочинений писателя XVII в. патриарха Макария Антиохийского, дважды побывавшего в России при царе Алексее Михайловиче, и его сына епископа Павла Алеппского; остальные рукописи также представляли немалый интерес. «Мне делалось ясно, — вспоминал он впоследствии, — что с этой коллекцией наша страна получает собрание христианско-арабских памятников, не уступающее по качеству старым и новым фондам Парижа, Ватикана, Бейрута. Передо мною вырисовывался план основательного *Catalogue raisonne* — научного каталога с привлечением параллелей из других собраний, с большими показательными выписками, с приложением полного списка работ Макария и Павла. Все это было, конечно, еще впереди» [28, с. 36].

Несмотря на все «организационные» затруднения, предварительный список патриаршей коллекции был закончен к лету 1914 года. Так в работе над христианско-арабской тематикой для Крачковского открывались перспективы не менее заманчивые, чем в области арабской поэзии.

ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЬВ?НАДЦАТОГО

Закончив список рукописей Григория аль-Хаддада и отдав диссертацию в печать, Крачковский мог с легким сердцем отправиться на, летние каникулы в Европу для работы в тамошних рукописных хранилищах. К этому времени он приобрел уже некоторую известность в арабистике и за пределами России. Он вел деятельную переписку с европейскими востоковедами, арабскими писателями и учеными-филологами, обменивался книгами и оттисками статей. В. А. Крачковская вспоминает, как в Царском почтальон каждый день вываливал на стол целую сумку писем и бандеролей [А, оп. 7, № 25, л. 12 об.]. На некоторые работы Крачковский откликался рецензиями — эта потребность никогда не ослабевала. Его же собственные работы, написанные на русском языке, были до

113

ступны далеко не всем европейским востоковедам. Если обратиться к библиографии рецензий на его статьи, опубликованных к моменту его поездки в Европу, то очерчивается довольно определенный круг авторов, в той или иной мере владеющих русским языком: бельгиец П. Пеетерс (чаще других), немцы Г. Граф, А. Эрхардт, М. Хартманн, Ф. Шмидт, итальянец К. Конти Россини, а также старый знакомый Крачковского ливанец Л. Шейхо, редактор журнала «аль-Машрик». При этом в поле зрения рецензентов — в соответствии с их научными интересами — попадают в ту пору преимущественно статьи христианско-арабской тематики; работы же, особенно интересные новым подходом к исследованию и оценке арабской поэзии («Поэтическое творчество Абу-л-Ата-хии», «Мутанабби и Абу-л-Ала», «Поэт корейшитской плеяды» и др.), оставались, по сути дела, в Европе неизвестными. Особую роль сыграло выпущенное знаменитым Бриллевым издательством предисловие и аппарат к гиргасовскому тексту Абу Ханифы ад-Динавери.

Как ни вздыхал Крачковский три года назад по поводу того, что предисловие пришлось писать по-французски, именно этот труд, полагаю, сделал его известным широкому кругу западных ученых, показав и уровень его подготовки, и тщательную манеру работы с текстом, и его творческие возможности. Недаром на это издание за три года (1912—1915) появилось шесть рецензий на Западе и две на Востоке.

К составленным учениками Розена указателям исторических имен и географических названий Крачковский добавил указатели рифм, поэтических имен, цитируемых авторитетов, коранических цитат — это дополнение с удовлетворением отметили все рецензенты. С похвалой отзывались они и о списке вариантов и разночтений, составленном на материале всех сохранившихся рукописей сочинения ад-Динавери. Особый интерес вызвало у всех «подробное, содержательное», по мнению всех рецензентов, предисловие, вылившееся в солидное исследование, занявшее 56 страниц.

Оно отвечало всем требованиям добротного филологического введения к изданию текста и в то же время не было ограничено лишь обязательными пунктами такого введения. После истории издания и характеристики рукописей, которые легли в его основу, шла биография Абу Ханифы, составленная с максимальным привлечением не слишком богатых источников, далее — аннотированный список известных (реально или по упоминаниям) его научных и литературных трудов (общим числом 18); за этим следовал отдел, посвященный издаваемой «Книге долгих рассказов», с подробным анализом ее содержания.

В качестве вывода автор отмечал, что Абу Ханифа, обратившись к достаточно распространенному и ценимому у арабов историческому жанру, «сохраняет присущую ему оригинальность. Его историческое сочинение — в действительности книга "долгих рас

114

сказов": он никогда не излагает факты по годам и никогда не предлагает двух различных версий одного и того же сообщения — он всегда дает связанное изложение только тех фактов, которые его интересуют. Таким образом он создал произведение подлинно литературное, которое можно читать подряд, от начала до конца... Он обладал несомненным литературным талантом» [56а, с. 55]. Крачковский находит в сочинении Абу Ханифы также моменты драматические и порой — назидательные.

Следовательно, и эту работу, хоть она в свое время и отвлекала его от диссертации, нельзя считать для него побочной, ибо она отвечала его интересу к средневековым памятникам в первую очередь как к произведениям художественным, что и было продемонстрировано им в предисловии. Недаром немецкий арабист М. Штрек писал в рецензии, что предисловие Крачковского «вносит солидный вклад в разработку истории арабской литературы» [83, 1913, № 1, с. 35].

Все рецензии выражали Крачковскому «глубокую благодарность» за «кропотливый труд», за «драгоценный дар» и т. п. Пожалуй, больше всех польстил молодому ученому лейпцигский профессор Х. Зейбольд, поместивший рецензию на Абу Ханифу в солидном

научном журнале. Он утверждал, что «младший из учеников Розена» сделал эту работу на таком уровне, что мог бы с полным правом посвятить ее трем выдающимся предшественникам, а в конце рецензии высказал пожелание, чтобы Крачковский подготовил перевод «Долгих рассказов» на немецкий или французский язык «с соответствующими комментариями наподобие Та-бари, изданного Нельдеке, увенчав этим свои заслуги перед Абу Ханифой» [29, 1913, Bd. 17, S. 539].

Кажется, впервые имя Крачковского было поставлено рядом с именами крупнейших арабистов мирового класса — тремя его великими предшественниками и маститым старшим современником. «Жалкая серая Крачка», как он сам выразился однажды, полный робости и самоуничижения, сделал первый шаг, сближающий его со «слонами» европейской арабистики.

5 июня 1914 года И. Ю. Крачковский в сопровождении жены и ее матери Ольги Константиновны Федоровой отбыл в Германию на пароходе «Принц Эйтель Фридрих»; 8 июня они были в Штеттине, в тот же день скорым поездом отправились в Берлин и 11 июня обосновались в Лейпциге, откуда несколько раз выезжали в соседний университетский городок Халле. 21 июня двинулись дальше, в Голландию; здесь рассчитывали провести лето. Они поселились в приморском курортном местечке Катвейк-ан-Зее, откуда можно было за сорок минут трамваем добраться до Лейдена.

Львиную долю времени Крачковский проводил в библиотеках и рукописных хранилищах, изучая рукописи по двум основным интересующим его направлениям: христианско-арабская литература и классическая поэзия. В университетской библиотеке Лейпцига и

115

в библиотеке Немецкого востоковедного общества в Халле нашлись рукописи сочинений Макария и несколько заинтересовавших его поэтических антологий.

В Лейдене, помимо антологий, содержащих, между прочим, фрагменты стихов его старинных знакомцев — Язида и аль-Вава, основное внимание Крачковского привлекли рукописи Абу Тамма-ма и Абу-ль-Аля — знаменитого его дивана «Обязательность необязательного» и более старый (XVI в.), чем в Каире, список «Послания об ангелах». Копию с Каирской рукописи, «выполненную лучшим переписчиком в Египте» [14 марта 1911 г.; А, оп. 3, № 402, л. 12], еще в 1911 году прислал ему Селим Кубайн; сличение ее с Лейденской рукописью помогло разобрать целый ряд непонятных ранее мест. Думалось, что по возвращении в Россию можно будет взяться за издание этого «крамольного» послания.

Пожалуй, не менее интересным для Крачковского было знакомство с европейскими востоковедами. В Лейпциге его опекал профессор Университета известный исследователь классической арабской поэзии и историко-географической литературы П. Шварц; в Халле хранитель библиотеки Немецкого востоковедного общества П. Кале проникся к Крачковскому таким доверием, что оставлял его одного в рукописном отделе на целый день, и, уходя, Игнатий Юлианович сам запирал библиотеку и клал ключи в условленное место.

В Голландии они познакомились со знаменитым исламоведом Х. Снук-Хюргронье, молодыми преподавателями Лейденского университета Венсинком, Ван Арendonком и др. В том же Катвейке проводил лето еще один знаменитый европейский востоковед — И. Гольдциэр из Австро-Венгрии. Крачковские быстро подружались с ним и его женой. Гольдциэр хорошо знал В. Р. Розена — и по работам, и лично, состоял в переписке с А. Э. Шмидтом, который, кстати, и рекомендовал ему в письме розеновского «Вениамина». Они встречались и ежедневно, вместе гуляли по берегу, ездили по каналам и озерам. В. А. Крачковская так описывает его внешность: «Оба они (Гольдциэр и его жена Клара. —А. Д.) были серебристо-седые, у него густая шевелюра крупными волнами с коком над лбом; крупные и даже некрасивые черты очень умного и приятного лица, довольно полная фигура; на складках жилета всегда лежал пепел сигары, торчащей сбоку изо рта» [А, оп. 6, № 198, л. 201]. Рассказывает она и о феноменальной рассеянности ученого и полной неспособности ориентироваться, так что иногда он не мог найти собственный дом [там же, л. 202]. Крачковский 25 июня записывает в дневник: «У Гольдциэра был, очень милый старик и страшно разговорчив. По обращению напоминает барона» [А, оп. 2, № 6, л. 31 об.]. Правда, в другой записи [10 июля] он непочтительно называет Гольдциэра «старым какаду» [л. 35 об.], очевидно утомившись от его многословия.

9

116

Часто встречались все вместе у Гольдциэров или у Снуков, и самое интересное было слушать, как «оба старика болтали с аппетитом о различных исламо-ученых вещах» [А, оп. 2, № 6, л. 32 об.]. Слушали и сделанные Снуком фонографические записи арабских песен, азана, крика рыночного зазывалы; однажды и сам Гольдциэр на террасе в Катвейке великолепным голосом пропел азан [А, оп. 6, № 198, л. 202]. В доме у Снука в специальной витрине были выставлены различные предметы, вывезенные им из Мекки, куда ему удалось однажды проникнуть под видом паломника; среди них была даже бутылка с водой из священного колодца Земзем с приложенным к ней химическим анализом. Снук много рассказывал об этом путешествии; один из его любопытных рассказов приводит В. А. Крачковская в своих воспоминаниях: «Он рассказывал, каким образом ему удалось измерить запретную площадь у Кабы: от края до края он двигался ползком с палкой, которую клал возле себя, совершая земной поклон, причем замечал место, которого достиг конец палки; потом полз дальше и продвигал палку от замеченной точки вперед. Его принимали за благочестивого богомольца и потому не мешали» [А, оп. 7, № 25, л. 54].

К середине июля Крачковский закончил работу над Лейденскими рукописями; всей семьей собрались в турне по Голландии. 18 июля приехали в Гаагу; тут их застало известие о войне. Пришлось вернуться в Лейден, поселиться в пансионе и искать способов пробраться на родину.

Они попали в трудное положение. В Голландии объявлена мобилизация, нарушено железнодорожное и пароходное движение,

а главное — не было денег на дорогу: банки закрылись и по аккредитивам ничего нельзя получить, продать что-нибудь из вещей — часы, украшения и т. п. — тоже не было никакой возможности. Дали несколько телеграмм в Петербург с просьбой прислать деньги телеграфом, но телеграммы не доходили. Оставшихся денег могло хватить всего на 6—7 дней.

Ольга Константиновна заболела — не на что было вызвать врача. Поскольку за чай в пансионе надо было платить особо, чай заказывали только для матери, а к чаю Вера Александровна припасала ей куски коврижки, которые за завтраком потихоньку таскала с общего блюда и прятала в сумочку. Ольга Константиновна не понимала обстановки, обвиняла дочь в скупости, уверяла, что домой они «как-нибудь проскочат» через Германию.

Когда деньги совсем подошли к концу, на какое-то время выручил Гольдциер: он получил разрешение ехать в Австрию транзитом через Германию, а у него не было германской валюты, но была голландская; у Крачковских же оставалась германская на обратный путь, и теперь они обменялись. Но и этого хватило ненадолго. Русский консул тоже ничем не мог помочь. Избавление пришло неожиданно: родные Веры Александровны догадались пе

117

редать представителю голландской фирмы, имеющей в Гостином дворе свой магазин нарядного белья, определенную сумму в рублях с тем, чтобы в Голландии эквивалентная сумма в гульденах

была выплачена О. К. Федоровой через Снука-Хюргронье.

Итак, можно было ехать. Багаж — в том числе и книги, и

; копии с рукописей — оставили у одного из лейденских друзей, слависта Ван Вейка, и 10 августа выехали из Лейдена в Швецию. Маршрут был таков: Лейден—Флиссинген (поездом)—Лондон (пароходом)—Нью-Касл (поездом)—Берген (пароходом) —

Стокгольм (поездом).

В. А. Крачковская в воспоминаниях [А, оп. 7, № 25, лл. 69— 87] подробно описывает все перипетии пути, в которых драматические эпизоды чередуются с комическими: вокзальная и портовая суэта, посадка на пароходы и поезда, скорее напоминающая ожесточенную осаду, поиски отеля в Нью-Касле — всего на несколько часов, чтобы Ольга Константиновна могла отдохнуть, а их принимали за героев сомнительной адюльтерной истории и никуда не хотели пускать; получение наконец денег по аккредитиву и боязнь разбойного нападения: Игнатий Юлианович шел к отелю с деньгами «под охраной» жены и тещи и т. п. Во время ночевки в Стокгольме, откуда они должны были следовать в Финляндию, под дверь была подсунута немецкая листовка, в которой объявлялось, что на днях у Кронштадта произошел большой бой между русской и германской эскадрами, закончившийся гибелью русского флота; что после боя германцы высадили десант на северном берегу Финского залива и перерезали железнодорожный путь между Гельсин-форсом и Выборгом. Поэтому, де, путь для возвращения в Петербург отрезан, незачем и пытаться [там же, л. 83].

К счастью, Крачковские не придали листовке значения и взяли билет на пароход до финского порта Або. Это был самый опасный участок пути: всем пассажирам было велено спуститься вниз, ни под

каким видом не подниматься на палубу и не подходить к иллюминаторам. Пароход двигался еле-еле — очевидно, капитан боялся наскочить на мину. В то же время была опасность встретиться с немецкими военными кораблями, поэтому сначала шли не на Або, а прямо к северу, оставаясь в зоне шведских вод. После наступления полной темноты курс был резко изменен, скорость значительно прибавлена, и наутро 17 августа благополучно причалили в Раумо — маленькой гавани севернее Або, а 18-го днем были уже в Петербурге.

Боясь возможных по военному времени перебоев с дачными поездами, Крачковские решили отказаться от квартиры в Царском Селе и обосноваться в Петербурге. Они заняли две комнаты в квартире Ольги Константиновны на углу Английского проспекта и Офицерской улицы (ныне — проспект Маклина и улицы Декабристов), откуда Крачковский так же ходил в Университет пешком: от Офицерской, Алексеевской (ныне ул. Писарева), через Храпо

118

вицкий мост на Английскую набережную (ныне наб. Красного Флота), через Николаевский мост (ныне мост Лейтенанта Шмидта) на Университетскую набережную. Жить в доме Федоровых было менее спокойно, чем в Царском: телефон под самой дверью кабинета, шум, хождение и разговоры в коридоре до поздней ночи.

Весною 1915 года Крачковские сняли квартиру на Петроградской стороне — на Гатчинской улице (д. 21, кв. 19) недалеко от Малого проспекта. Здесь они прожили до 1927 года.

«СПЕКТАКЛЯ» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

По возвращении в Петербург В. А. Крачковская вместе с сестрами занялась общественной и благотворительной деятельностью: они покупали бязь, фланель, ситец и шили белье, стеганые жилеты на вате и т. п. для фронтовиков и для раненых, попадавших в лазарет, открытый на средства ее матери и сестер на Кронверкском проспекте в том самом доме № 23, где впоследствии жил Горький. Она также вязала кофточки, шапочки и варежки для детей беженцев, организовывала через Красный Крест посылки русским военнопленным.

Крачковский был в это время целиком поглощен университетской и научной работой. К осени 1914 года относится широко известный арабистам эпизод его биографии, описанный в книге «Над арабскими рукописями», в главе «Впервые оппонентом на диссертации». Мы, привыкшие за последние десятилетия к постоянным компромиссам (порой, увы, весьма сомнительным), воспринимаем в этой истории прежде всего ее анекдотическую сторону: ученый, долго и скрупулезно собиравший материалы для диссертации в Берлине, Лейпциге, Лейдене, проглядел уникальную рукопись своей родной университетской библиотеки — сочинение, содержащее подробную биографию египетского суфия аш-Шара-ни, жившего в эпоху турецкого завоевания, — автора, которым он занимался. А его молодой ученик, будущий оппонент, случайно обнаруживший эту рукопись перед самой защитой, интригует его вопросами о том, сколько было жен у аш-Шарани, какого он был роста, писал ли труды на такие-то и такие-то темы. Забавно?

Для Крачковского же это была в первую очередь глубокая нравственная проблема. На одной чаше весов — его научная совесть, не позволяющая утаить свою находку, которая может поставить под сомнение ценность работы А. Э. Шмидта. На другой — нравственный долг перед первым учителем, человеком щепетильным, ранимым, который, узнав о находке, откажется от защиты, хотя исследование его по уровню своему превосходит многие магистерские диссертации. Шмидту уже за сорок, жизнь его сложилась так, что не дала ему возможности реализовать свои несомнен-

119

ные научные дарования; от этого последнего удара он в будущем мог бы и не оправиться. «Я никогда не был сторонником, — писал впоследствии по этому поводу И. Ю. Крачковский, — принципа *fiat justitia, pereat mundus* (да свершится справедливость, пусть погибнет мир), потому что если мир погибнет, то и справедливость нигде будет проявлять» [28, с. 98—99].

Убедившись, что обнаруженный им источник на принципиальные выводы работы не влияет, он решил в таком плане и строить свой отзыв, сообщив, естественно, автору о найденной им рукописи еще до защиты (вот здесь он и позволил себе немного подразнить своего бывшего учителя неожиданными вопросами). С трудом убедив Шмидта не брать диссертацию назад (а такова была его первая реакция), Крачковский сумел убедить в достоинствах работы и ученый совет.

Быть может, готовясь к выступлению, он в душе спрашивал себя, как поступил бы на его месте их общий учитель, и действовал, как ему представлялось, соответственно. Тень барона как бы присутствовала незримо на защите. С его имени и начинается свой отзыв Крачковский: это Розен должен был дать «авторитетную оценку» труду А. Э. Шмидта, но, увы, «судьба лишила нас этого счастья, и теперь, видя мое выступление, вы легко можете вспомнить стих одного арабского поэта: "Учил я его стрелять каждый день, а когда рука у него окрепла, он выстрелил в меня"». И продолжает шутливой фразой, сразу дающей доброжелательный настрой всему отзыву и одновременно утверждающей явно положительную оценку всей работы: «Для общего успокоения могу добавить, что у арабов не были в ходу ядовитые стрелы, а кроме того, большинство частей в вашей работе вне пределов досягаемости для меня и они неуязвимы» [А, оп. 1, № 429, л. 2].

Главное, что привлекает Крачковского в диссертации Шмидта, — это ее новаторский характер: эту работу следует отнести к тому зарождающемуся в исламоведении направлению, которое ставит своей целью «осветить жизнь ислама путем изучения социально-экономических условий данного периода, вызывающих "модификацию теорий"», а кроме того, она «переносит нас в область позднего ислама, которым до сих пор серьезно не занимались» [там же, л. 3 об.] и «может послужить прекрасным средством для ознакомления с общей эволюцией ислама за все почти его периоды» [там же, л. 5]. И тут же — особенно дорогой обоим комплимент: по легкости и изяществу изложения стиль Шмидта напоминает работы барона Розена.

Диссертация Шмидта состояла из трех частей: историко-литературной (биография Шарани и обзор его сочинений), исламовед-н-й (характеристика его учения на фоне общей эволюции ислама) в текстуальной. Основное замечание оппонента должно было касаться именно первой части, занимающей чуть меньше половины всего объема диссертации. Оно сразу же поставило бы под удар

120

всю работу, на его фоне более бледными выглядели бы похвалы остальным частям. Выход был найден: «Следуя арабской традиции, я начну разбор с конца» [там же, л. 6]9.

Крачковский дал очень высокую оценку как изданию текста, так и его исторической и философской интерпретации; все замечания носили характер частный — не уличение в ошибках, а предложения, раздумья по поводу — то есть пища для подлинно ученого диспута. И только показав истинное значение работы Шмидта, он перешел к первой главе и к досадному промаху диссертанта, подчеркнув, что эта найденная рукопись не только не уничтожает выводов Шмидта, но даже подтверждает правильность многих предположений, высказанных диссертантом, то есть доказывает силу его научной интуиции и логики. Смягчив таким образом удар, Крачковский в заключение своего отзыва обратился к герою дня со следующими словами: «Один историк русского востоковедения несколько лет тому назад писал: "Об исламе как религии на русском языке нет до сих пор сколько-нибудь обширного труда, который в свое время представлял бы шаг вперед в науке". Я думаю, что теперь этот исследователь не повторил бы своих слов так категорично, так как имеется такой именно труд в виде вашей диссертации. Я лично как ваш верный и старый ученик научился благодаря ей многому важному и полезному для себя. Думаю, что такое же впечатление вынесет и всякий другой, кто захочет серьезно познакомиться с вашей книгой» [там же, л. 19].

Другой оппонент — Н. А. Медников — также оценил диссертацию Шмидта очень высоко. Диспут завершился благополучно, и в протоколе заседания факультета от 19 октября 1914 года мы читаем беспристрастную запись: «Защитение диссертации признать удовлетворительным» [З, ф. 14, оп. 3, № 15802, л. 142]. Однако были и недовольные. Профессор Б. А. Тураев, в частности, встретив на другой день Крачковского, высказал ему свое возмущение — как можно было пропустить диссертацию, в которой не использован один из основных источников! — и гуманную точку зрения оппонента никак не хотел принимать.

К концу 1914 года вышла из печати монография И. Ю. Крачковского «Абу-л-Фарадж ал-Вава Дамасский. Материалы для характеристики поэтического творчества», которую он представлял в качестве магистерской диссертации. Она содержала критическое издание текста дивана (около 1700 бейтов) с примечаниями и вариантами, полный перевод на русский язык и капитальное исследование (более 200 страниц). Помимо традиционной характеристики источников и литературы предмета, эта часть включала общую картину поэзии при Хамданидском дворе, где

подвизался аль-Вава, биографию поэта и анализ его дивана с точки зрения содержания, поэтического стиля, композиции, языка, риторических приемов, техники стиха; ставился также вопрос о влиянии предшественников и современников.

121

В русской арабистике это была первая монография, в которой давалось бы столь многогранное исследование творчества одного поэта, ибо сочетало оно в себе три подхода к тексту в их органической связи: традиционный филологический, историко-литературный и литературно-эстетический с выходом к общим вопросам теории литературы.

Этой монографией Крачковский вводил исследование арабской литературы в контекст современных ему общих литературоведческих теорий и методов. Он провозглашал эту задачу в «Положениях к магистерскому диспуту», опубликованных 8 мая 1915 года и дающих полное представление о том, как он сам понимал основную суть своей диссертации: «Изучение арабской поэзии должно основываться на методах, одинаково обязательных для всех историко-литературных работ; эти методы нашли себе наиболее яркое выражение в трудах покойного А. Н. Веселовского и его учеников». Из этого, второго (по порядку) общего тезиса логически вытекал первый: «Очередной задачей научных работ по арабской поэзии является исследование доступных материалов, а не только издание новых источников». Как тут не вспомнить его девятилетней давности идею посвятить магистерское исследование Абу-ль-Атахии: при таком подходе оно дало бы, несомненно, оригинальные и очень ценные результаты. Неужели Бартольд лучше понял его возможности, чем барон? Или тот просто оберегал своего «Вениамина»?

Вслед за двумя «общими положениями» шло 20 «специальных»; в их содержании отразился новый подход Крачковского к монографическому изучению творчества определенного автора: всего два тезиса (№№ 13 и 14) касаются текстологических вопросов, пять — историко-литературных (№№ 9—12 проясняют факты биографии аль-Вава, № 20 — влияние на его поэзию аль-Мутанабби и Абу Таммама), тринадцать же пунктов (№№ 1—8 и 15—19) связаны с проблемами исторической поэтики, в частности — функции различных стихотворных форм, композиционных и риторических приемов и их реализации в поэзии аль-Вава (с этим частично связан и тезис № 11). Эта монография аккумулировала и систематизировала опыт предыдущих работ Крачковского по арабской поэзии и доказывала (в первую очередь ему самому), что он способен не только на «мелочи», но и на обстоятельное цельное исследование теоретического характера. Способен не только к анализу, но и к синтезу.

Защита была намечена на 17 (30) мая 1915 года, оппонентами были назначены Н. А. Медников и А. Э. Шмидт. Впоследствии Крачковский вспоминал, что некоторые коллеги по факультету еще до первой защиты с нетерпением ожидали «спектакля» — как учитель и догнавший его ученик будут оппонентами друг у друга и начнут друг друга топить. Ни в том, ни в другом случае ожида

ния не оправдались: оба участника проявили максимум научной добросовестности, доброжелательности и выдержки.

В. А. Крачковская живо описывает всю обстановку защиты и самого диссертанта, который «стоял слева у кафедры, опять во фраке, взятом напрокат (как и на защите А. Э. Шмидта. — А. Д.), стройный, изящный, держался очень хорошо» [А, оп. 7, № 27, л. 6].

Отзывы официальных оппонентов были блестящими. Н. А. Медников подчеркивал, что диссертация И. Ю. Крачковского превосходит все требования, предъявляемые обычно к магистерским диссертациям: в ней дано не просто издание текста (что почитается достаточным для получения ученой степени), а целый диван, являющий собой плод долгих и кропотливых розысков, а также полный его перевод на русский язык; и то и другое (то есть издание и перевод полного дивана, включающего все сохранившиеся в различных источниках отрывки стихотворений арабского поэта) появляется в русской арабистике впервые. Но кроме того, работа содержит исследование, проведенное на таком уровне, что, если бы даже оно относилось к ранее изданному тексту, все равно было бы само по себе достаточным для присуждения степени [З, ф. 14, оп. 3, № 15837, л. 21].

Отзыв А. Э. Шмидта представляется более, глубоким. Собственно, они с Крачковским были единомышленниками, хотя занимались разными областями арабской словесности: оба были сторонниками нарождающихся в востоковедении новых направлений исследования и, прокладывая новые пути, стремились рассматривать творчество избранного автора не как замкнутую систему, а в неразрывной связи с социальной средой и с развитием теоретической мысли (у аш-Шарани — ислам, у аль-Вава — литературно-эстетические теории). И как Крачковский подчеркивал новаторство своего учителя, так и Шмидт говорил о новаторстве своего ученика, который, по его словам, был первым, кто попытался применить к изучению одного из памятников арабской поэзии методы, выработанные европейской наукой, привлечь арабскую поэзию «в круг тех материалов, на которых должны быть построены общие законы эволюции поэтических форм» [62а, с. 390].

С этой точки зрения Шмидт особо выделил те главы диссертации, в которых Крачковский анализирует связь применяемых а/иб-Вава поэтических приемов, выбор размеров и рифмического рисунка с сюжетами стихов и выводит некие общие закономерности. Оппонент отдал должное и тщательной разработке текстологических разделов работы, являющих собой «образец того, как следует подходить к разрешению подобного рода запутанных проблем» [62а, с. 397]. Он высказал, правда, ряд претензий к переводу; может быть, перевод вообще не был бы обязательным, если бы диссертация предназначалась только для востоковедов, но отсутствие его «лишило бы неориенталистов, исследователей области истории

ческой поэтики, возможности с должной полнотой использовать для своих целей представленные автором именно для них материалы» [62а, с. 392].

Отметил Шмидт и еще один, очень характерный для Крачковского недостаток, который в свое время подвел его при подготовке «медального» сочинения: «Автор уделяет довольно много места некоторым отдельным экскурсам, которые органически с основной темой не связаны, но являются необходимыми в виду неразработанности некоторых вопросов... затрагиваемых в исследовании» [с. 394]. И в то же время, наоборот, порой там, где необходима цитата, подтверждающая мысль автора, он ограничивается глухой ссылкой на источник, то ли стремясь к сжатости изложения, то ли переоценивая начитанность читателей (а может быть, это была попытка избавиться от первого недостатка? — добавим мы).

В целом же оппонент оценил работу как «крупный шаг вперед в области исследования арабской литературы» [с. 400] и поставил ее в один ряд с такими общепризнанными образцовыми работами об арабской поэзии, как издание и исследование дивана Омара ибн Абу Рабиа, выполненные П. Шварцем, и монография Н. Ро-доканакиса об элегиях ал-Хансы, когда-то с увлечением читавшаяся юным магистрантом. Наверное, более высокой оценки своей диссертации Крачковский не мог себе представить.

Затем выступил «с большой и очень содержательной речью» [А, оп. 7, № 27, л. 6] известный филолог-романист В. Ф. Шишма-рев, знаток средневековой французской литературы, ученик и единомышленник А. Н. Веселовского. Его мнение было особенно важно для оценки той части работы, которую Крачковский считал основной: из присутствующих никто лучше В. Ф. Шишмарева разобраться в ней и оценить по достоинству не мог. Речь эта в протоколах факультета не сохранилась, но, судя по воспоминаниям В. А. Крачковской, неофициальный оппонент был вполне солидарен с официальными.

Неожиданно резким диссонансом прозвучало выступление лектора арабского языка А. Ф. Хашаба. В. А. Крачковская вспоминает об этом эпизоде так: «Речь Хашаба звучала отнюдь не дружелюбно, несмотря на то, что за предшествующие годы товарищеские отношения диссертанта с оппонентом не прерывались. А. Ф. Хашаб очень резко и пристрастно критиковал издание дивана аль-Вава, хотя И. Ю. в процессе подготовки в затруднительных случаях часто с ним советовался и А.Ф. тоже не мог разобрать темные места. Недружелюбный тон особенно возмущал тех присутствующих, которые были знакомы с изданным текстом и вполне владели арабским языком. Араб Фома Дибун, который был прикомандирован тогда к Духовной академии (архидиакон из Сирии), просто рвался с места, готовый чуть ли не вступить в рукопашный бой с Хашабом. Кипела от негодования К. В. Оде-Васильева. Бблыпая часть членов факультета сохраняли полное

123

спокойствие, но два маститых профессора относились явно одобрительно к выступлению А. Ф. Хашаба, утвердительно покачивая головами; это были сидевшие справа от стола В. А. Жуковский и В. Д. Смирнов» [А, оп. 7, № 27, л. 6 об.—7].

Отзыв А. Ф. Хашаба, оформленный уже в виде рецензии на книгу для «Записок Восточного отделения», в архиве Крачковского

сохранился [А, оп. 2, № 89, л. 1—72] с пометой 8 апреля 1917 г. «в набор»; по неизвестным причинам напечатана рецензия на нее была. Признавая важное значение работы как «научно-литературного труда» и в то же время оговариваясь, что оценка теоретической части «относится скорее к области истории всеобщей литературы и посему не входит в задачу настоящей рецензии», автор сосредотачивает свое внимание на второй части работы, являющейся «фундаментом исследования», и указывает целый ряд неточностей в огласовке текста и особенно в переводе. Ему не нравится и принцип дословного перевода, примененный И. Ю. Крачковским: «Можно опасаться, что лицам, не имеющим возможности обращаться к подлиннику дивана, весьма трудно будет по предлагаемому им переводу получить правильное понятие об истинном смысле стихов поэта» [там же, л. 20]; лучше было бы, по его мнению, дать перевод не всего дивана, а иллюстраций к исследованию «вроде талантливо исполненного в свое время И. Ю. Крачковским перевода образцов стихотворений поэта Абу-ль-Атахи» [л. 72]. Общий же вывод о работе был вполне положительным: «образцовое исследование», «ценный вклад» и т.п. Несомненно, возмущение доброжелателей Крачковского вызвал именно недружелюбный тон устного выступления Хашаба.

В. А. Крачковская не пишет, был ли тогда Крачковский уверен в своей правоте или, слушая отзыв, приходил в ужас от допущенных им ляпсусов, что больше на него походило, — но впоследствии, уже зрелым ученым, он солидаризировался с Хашабом в оценке текстологической части своей диссертации: «С критическим изданием текста я попросту не справился, а перевод, не говоря уже про неудовлетворительность и ошибочность многих мест, выполнен без соблюдения тех приемов техники, которые мне с начала двадцатых годов и стали казаться элементарно необходимыми» [А, оп. 2, № 62, л. 123].

Выслушав отзывы официальных и неофициальных оппонентов и ответы диссертанта, ученый совет удалился на совещание. Вопреки ожиданиям перерыв подозрительно затягивался. Крачковский разговаривал со знакомыми «внешне спокойно, но в глубине души, как рассказывал потом, был смущен, не зная, чем вызвано долгое отсутствие Совета» [А, оп. 7, № 27, л. 7 об.]. Наконец было объявлено о единогласном присуждении И. Ю. Крачковскому степени магистра арабской словесности.

Причиной же непонятно долгого совещания было то, что декан Н. Я. Марр, в восхищении от диссертации Крачковского и его

124

«обстоятельных и находчивых ответов», предложил совету присудить диссертанту сразу докторскую степень. Однако два члена¹⁰ были против, и тогда Н. Я. Марр предпочел, чтобы совет единогласно присудил Крачковскому степень магистра. Поскольку Крачковский о докторской степени и не помышлял, решением ученого совета он несколько не был уязвлен.

А как отнеслись к его первой солидной монографии в Европе? Книга вышла в свет в начале первой мировой войны, и, как говорил впоследствии сам Игнатий Юлианович, «только в середине двадцатых годов начала туда просачиваться» [А, оп. 2, № 62, л. 123].

Правда, кое-кто из востоковедов все же смог познакомиться с нею и раньше, но камнем преткновения, мешающим оценить работу по заслугам, оставался русский язык. На это жалуются в один голос ее первые европейские рецензенты — англичанин Д. Марголиус и швед К. Цеттерстен. Судя по всему, они смогли воздать должное лишь изданию текста, которое заслужило у них, в противоположность мнению Хашаба, самую высокую оценку; они отмечают и эрудицию, и скрупулезность автора. «Представляется, что это наиболее тщательно выполненное издание кого-либо из арабских поэтов, которым мы располагаем», — пишет Марголиус и, поскольку мнение его о поэтических достоинствах стихов аль-Вава невысоко, добавляет, что это тот случай, когда «соус вкуснее рыбы» [79, с. 822]. Достоинства же теоретических выкладок Крачковского были признаны много позже. По словам известного английского арабиста Х. А. Р. Гибба, монография об аль-Вава «могла бы "произвести революцию" в истории арабской поэзии, если бы с ней своевременно познакомилась Западная Европа» [А, оп. 2, № 62, л. 122] ».

Так или иначе, можно смело сказать, что этой работой было положено начало русского арабистического литературоведения как самостоятельной дисциплины.

Вдохновленный успехом, освобожденный от многолетнего груза, Крачковский уже летом с головой уходит в новую работу. В следующем учебном году ему предстояло читать шесть курсов, из них три — впервые: в курсе поэзии он заменил хорошо знакомые ему тексты хамданидской эпохи произведениями магрибинского поэта Ибн Хамдиса Сицилийского, объявил один лингвистический курс «Введение в арабскую диалектологию» (с разбором сирийских и египетских текстов) и курс общего характера «Введение в изучение арабской культуры», пожалуй, один из самых для него трудных, поскольку требовал он не столько аналитического, сколько синтетического подхода. В работе, ограниченной творчеством одного автора, это удалось, может быть, прибавило храбрости, а как получится с таким неохватным материалом? Впоследствии, подводя итоги своей деятельности, Крачковский сочтет этот курс «определенно неудавшимся»: «Хотя я работал над ним не

125

сколько лет с увлечением, но с самого начала считал, что эта тема не для меня, а для Бартольда» [там же, с. 139].

Научная активность Крачковского не ослабевала ни в преддверии защиты, ни сразу после нее. Наряду с обычными для него рецензиями и статьями — оперативными, как всегда, откликами на новую книгу, новое сообщение, обнаруженную им интересную рукопись или публикациями почерпнутых на Востоке материалов — он решается вплотную приступить к задуманной ранее большой работе — исследованию поэтики Ибн аль-Мутазза и еще до защиты приступает к изучению Эскуриальской рукописи текста, фотокопию которой он получил в конце 1914 года благодаря содействию петербургского коллеги-испаниста Д. К. Петрова и испанского арабиста Х. Рибера.

За лето 1915 года — последнее, проведенное в Черкасах, — был подготовлен черновой вариант издания текста; лето 1916 года,

которое Крачковские прожили в пансионе недалеко от Кексгольма, ушло на перевод памятника, также пока черновой.

Но эта главная тема все-таки не поглотила его целиком, не вытеснила прежнего интереса к новоарабской литературе, и в том же 1916 году он берется за перевод совершенно иного плана: составляет небольшой сборник избранных статей, эссе и стихотворений в прозе своего современника — «сироамериканца» Амина Рейхани, некогда встреченного им в одной из бейрутских редакций. Так получилось, что взялся он за текст абсолютно нетрадиционный, нестандартный, за произведения, самобытные по мысли и по стилю, казалось бы, выработанному писателем самостоятельно, вне арабской школы, и в то же время, как это ни покажется парадоксальным, текст этот был связан с арабской стариной какими-то прочными нитями. Недаром впоследствии Крачковский скажет о нем: «Рейхани кажется, что он одет в смокинг, и вдруг зритель к своему изумлению убеждается, что смокинг сшит из красочного дамасского шелка» [24, с. 16].

Почему Крачковский тогда пришел к Рейхани — по контрасту? Или именно потому, что ощутил эту вольную или невольную его связь с традицией, истоками которой он тогда занимался? Или свою роль сыграла здесь ностальгия по Ливану, его второй родине? Или, что вернее всего, эти импульсы в сочетании? Как бы то ни было, сборник Рейхани (если не считать «Новой женщины» Касима Амина, произведения чисто публицистического) открыл целую серию его переводов из современной арабской литературы, к которой он начал приобщать русских читателей.

Казалось, Крачковский так загружен самой разнообразной работой, что больше уже ни на что не должно хватать ни времени, ни сил. Но вскоре на его плечи легла еще одна служебная обязанность, в общем-то в его судьбе неизбежная. В декабре 1916 года академик С. Ф. Ольденбург, сменивший К. Г. Залемана на посту директора Азиатского музея РАН, пригласил Крачковского на

126

штатную работу (с сохранением должности в Университете). В Азиатском музее после кончины В. Р. Розена не осталось ни одного арабиста, а в тот момент без него нельзя было обойтись: с Кавказского фронта все время поступали спасенные рукописи, в большинстве своем — арабские. Обработка их и должна была стать первой задачей нового сотрудника. Вполне естественно, что выбор пал на И. Ю. Крачковского, уже защитившего к тому времени диссертацию и имевшего опыт работы с рукописями — ведь он, бывало, консультировал самого Залемана. А уж его деловые качества были хорошо известны всем петербургским востоковедам.

Азиатский музей, рукописи — это было мечтой молодого Крачковского, и как бы занят он ни был, за эту работу взялся с энтузиазмом: подумать только, теперь он имел доступ к рукописям в любое время дня и ночи! В этом почти нет преувеличения: «Служебное время не было строго регламентировано... личная работа ученого переплеталась с музейной и не знала никаких ограничений и норм... Многие в музее работали во вторую половину дня и очень часто засиживались до поздней ночи» [28, с. 61].

И. Ю. Крачковскому, не отличавшемуся крепким здоровьем, нелегко было бы вынести такую нагрузку, особенно при его неизменно добросовестном отношении ко всякому делу, если бы не душевная поддержка и заботы жены.

Старший брат оказался прав: любовь сотворила чудо. Все болезни отошли в прошлое, она не думала о том, можно ей жить в Петербурге или нет, лишь бы Игнате было удобно и не слишком тяжело. Она настаивала на том, чтобы летом, несмотря на грозные события, они обязательно выезжали на дачу — куда-нибудь на Карельский перешеек (имение Н. Ю. Крачковского попало в зону оккупации), и следила за тем, чтобы муж не только работал, но и гулял, катался на лодке, побольше двигался (Игнатий Юлианович, в частности, любил играть в городки).

Она старалась обеспечить ему нормальное питание. Когда зимой 1916/17 года стало туго с продуктами, Вера Александровна каждую неделю ездила в Юрки за молоком для него — обменивала на селедку или папиросы. Один раз она заблудилась и чуть не замерзла в поле, другой раз молоко пытались отнять солдаты, но она взмолилась, уверяя, что везет молоко для больного мужа, и ее не тронули.

А впереди ждали еще более суровые дни. Предстояли испытания верности долгу, родине, науке, взаимной любви...



ГЛАВА VII

В терновом венке революций...

ПО ЗАВЕТУ ОТЦА

С января 1917 года Крачковский снова начал вести дневник. Потому ли, что предугадывал грядущий перелом в истории России? Вряд ли, ведь он был плохим политиком. Скорее, свою роль сыграло ощущение того, что начинается для него новая полоса жизни: он приступал к написанию следующего большого труда, который, быть может, должен был стать главным в его жизни (монография о средневековой арабской поэтике), в основу которого он предполагал положить издание, перевод и исследование «Ки-таб аль-бади» («Книга о новом») Абдаллаха ибн аль-Мутацца (861—908).

Если исследование об аль-Вава, по словам Шмидта, вводило арабскую поэзию «в круг тех материалов, на которых должны быть построены общие законы эволюции поэтических форм», то следующим шагом на этом пути как раз и являлось бы изучение арабских эстетических теорий, их практической реализации в арабской поэзии, с одной стороны, и их соотношения с европейскими эстетическими теориями, на которых в основном базировались тогда разработки исторической поэтики, — с другой.

Подготовка к этому капитальному исследованию началась давно, еще на Востоке, когда Крачковский (напомним читателю сказанное в гл. V) зимой 1908/09 года усиленно изучал труды классиков средневековой арабской риторики, желая, как он писал в отчете факультету, «выяснить эстетическую теорию арабов, поскольку она являлась приложимой к поэзии» [А, оп. 2, № 244, л. 17]. На этих материалах была основана его вступительная лекция на им самим

выбранную тему «Поэзия по определению арабских критиков классической эпохи», где он, между прочим, высказывал сожаление, что для него остается недоступным до сих пор не изданный текст «Книги о новом» Ибн аль-Мутацца — первого арабского трактата в области поэтики: «Он должен был бы представить несомненный интерес, так как автор его не только выдающийся поэт, но поэт нового направления, своими произведениями

128

боровшийся против ложноклассического течения» [27, т. 2, с. 56]. Диваном Ибн аль-Мутацца он занимался на Востоке, о чем также говорилось выше. Далее, в рукописи исторического труда ас-Сули, современника Ибн аль-Мутацца, обнаруженной Крачковским в Каире, в библиотеке аль-Азхара, оказалось немало страниц, посвященных жизни и литературным беседам этого замечательного поэта и ученого-филолога из дома Аббасидов, «однодневного халифа». После возвращения в Петербург Крачковский опубликовал большой отрывок из нее [лл. 1—6 об.] в статье «К описанию рукописей Ибн Тайфура и ас-Сули». Работа над диссертацией, в которой он лишь мимоходом коснулся теории арабской поэтики [23, с. 149—150], настойчиво толкала его именно на эту стезю дальнейших исследований.

И вот наконец, как читатель знает из предыдущей главы, фотокопия уникальной рукописи была получена, и во время летних каникул 1915 и 1916 годов текст поэтики подготовлен к изданию и переведен (и то и другое пока в черновом варианте). Можно было приступать к анализу материала. И путь здесь лежал почти полностью по целине: исследований такого рода в европейской арабистике не существовало. Единственная работа, посвященная арабской риторике, была написана более чем полвека назад [58] и страдала серьезным теоретическим недостатком: автор ее, не учитывая национальной специфики художественного мышления арабов, пытался механически приложить к нему терминологию европейской поэтики. Мало внимания уделялось в этой монографии и «Книге о новом» Ибн аль-Мутацца, исследование которой, по мнению И. Ю. Крачковского, следовало ставить во главу угла, ибо это был первый у арабов систематический трактат по поэтике [23, т. 6, с. 97], содержащий первую классификацию фигур поэтического стиля [23, т. 6, с. 131]. Единственная работа, посвященная Ибн аль-Мутаццу [57], к тому времени уже устарела: «Мы теперь располагаем новыми многочисленными источниками, часто первостепенной важности» [23, т. 6, с. 9], — отметил Крачковский, приступая к делу.

Работа задумывалась им широко. Она должна была включать критический текст поэтики, русский перевод и исследование: биографию, характеристику литературной деятельности Ибн аль-Мутацца, обзор его сочинений, историю арабской поэтики до IX века, которая давала бы представление об ее истоках, о предшественниках и современниках Ибн аль-Мутацца (в частности, решала бы вопрос о возможности или невозможности влияний — греческих, иранских, индийских), анализ содержания и поэтической терминологии «Китаб аль-бади» и, наконец, очерк дальнейшего развития теории поэтического слова у арабов на основе учения Ибн аль-Мутацца. В качестве приложения предполагалось дать издание

дидактического сочинения Ибн аль-Мутацца «Китаб аль-адаб» («Книга о хороших нравах») по уникальной рукописи Британского музея

129

и отрывков из его историко-биографического труда «Табакат аш шуара» («Разряды поэтов») по уникальной же рукописи-автографу, хранящемуся в Эскуриале.

Первые январские дневниковые записи полны упоминаний о чтении различных арабских сочинений, так или иначе с предстоящей работой связанных. 11 января он записывает: «Очень тянет к писанию об Ибн аль-Мутакке» [А, оп. 2, М? 6, л. 71], а 12 января уже: «Начал писание, но... из середины — о подлинности «Китаб аль-бади» [л. 72].

Как это непохоже на прежнего Крачковского, шесть-семь лет назад буквально вымучивавшего из себя главы диссертации об аль-Вава и твердившего о своей неспособности к крупным трудам «синтетического» плана, а то и к научной работе вообще. Неизменная поддержка Веры Александровны, успех защиты (чуть доктора не присудили!), высокая оценка его историко-литературного и эстетического подхода к арабской поэзии, осознание необходимости исследования именно поэтики для дальнейшего движения по намеченному пути — все это вселяло уверенность в быстром завершении монографии, основные материалы для которой уже были подготовлены. Уверенность была настолько прочной, что 17 ноября 1916 года он подал следующее прошение декану: «Предполагая приступить в 1917 г. к печатанию своей работы по истории литературных теорий у арабов, прошу из сметы будущего года ассигновать на печатание сумму приблизительно в 500 рублей» [З, ф. 14, оп. 3, № 15844, л. 203].

Судя по более поздним упоминаниям в дневнике [21 марта 1919 г.], на заседании Восточного отделения он читал «кусоч своей диссертации — про Джахиза и Кудама» [А, он. 2, № 6, л. 219 об.].

Работа в общем шла успешно, хоть и не всегда ровно. За три месяца были написаны биография, обзор сочинений, анализ «Книги о новом», история арабской поэтики до и после Ибн аль-Мутацца — всего около восьми с половиной Печатных листов. 18 апреля 1917 года Крачковский записывает в дневнике: «Перечитал все написанное об Ибн аль-Мутакке. Думаю, что хватит. В общем по-видимому прилично» [там же, л. 97]. В июне он получил копию рукописи «Китаб аль-адаб»; за месяц, во время каникул, текст был разобран и переписан («Текст простой, так что словаря не надо» [там же, л. 106]).

Несомненно, для Крачковского наступала пора научной зрелости, возможностей интенсивного труда. Ведь Ибн аль-Мутацком не исчерпывался круг его дел в первую половину 1917 года. Правда, как будто бы несколько отошла в сторону христианско-арабская тематика, но, как трамплин к дальнейшему рывку, летом 1917 года начинается усиленное изучение сирийского языка с использованием грамматики Брокельмана [там же, л. 106] и хорошо известных по содержанию текстов — Евангелия от Марка («...конечно,

129

бреду в нем ощупью» [там же, л. 107]), «Калилы и Димны», «Синдбадовой книги». Он подумывает и о том, чтобы осенью заняться сирийским основательно с кем-нибудь из университетских преподавателей.

В 1917/18 учебном году Крачковский расширил свой «поэтический репертуар», приступив к курсу древнеарабской поэзии; впоследствии этот курс он читал ежегодно, вплоть до последних лет работы в Университете.

Сохранялись и обязанности по семинарию; здесь, правда, удавалось иногда и к лекциям посмотреть материал, и к очередной статье. Работа в семинарии подарила Крачковскому вдобавок и новый научный замысел. Собирая материалы по истории кафедры перед грядущим в 1919 году столетним юбилеем Университета, он обратил внимание на одну весьма колоритную фигуру в этой истории — Мухаммеда Айяда Тантави, ученого египетского шейха, преподававшего на факультете в 1847—1861 гг. и нашедшего свое последнее упокоение на Волковом кладбище. От него осталась большая рукописная коллекция, и теперь Крачковский принялся за составление ее списка, увлекся, пересмотрел и привел в систему все 150 томов. Тогда же впервые у него появилась мысль о необходимости в будущем написать биографию этого незаурядного человека [там же, л. 94]. А в одной из августовских записей [там же, л. 113] уже фиксируется широкий замысел — вообще «взяться... за биографии арабистов»; этот замысел, надо полагать, появился под влиянием юбилейных приготовлений. Так к основным, уже сложившимся направлениям научной деятельности Крачковского добавляется еще одно, которому он также будет придавать большое значение на протяжении всего своего творческого пути, — история науки.

На первый взгляд приверженность такой теме у тридцатичетырехлетнего ученого может показаться странной, ведь к ней приходят обычно не в возмужестве наибольшей научной активности, а позже, когда наступает время оглянуться назад и осмыслить свой жизненный путь, большая часть которого уже пройдена. Но для Крачковского с его обостренным почти до болезненности чувством долга перед факультетом, учителями, предшественниками это было вполне естественным. Да еще присущая ему писательская жилка играла роль, а может быть, и нереализованный вкус к истории, привитый Бартольдом, который, кстати, занялся историей востоковедения приблизительно в том же возрасте. Но основные труды Крачковского в этой области были еще впереди.

Среди работ ежедневных, которыми Крачковский был занят в 1917 году, следует вспомнить еще разбор и краткое описание рукописей с Кавказского фронта — задание по линии Азиатского музея. Через его руки за полгода прошло и было идентифицировано около 1050 арабских манускриптов; их алфавитный каталог опубликован в «Известиях АН» в том же 1917 году [17, № 92]. Труд

ю

130

был затрачен огромный — но не напрасный, он дал Крачковскому не только технические навыки быстрой ориентации в огромном

рукописном материале. Вот как он сам скажет впоследствии о значении этого труда: «Впервые для меня делалась наглядной картина литературной образованности в одной из провинций мусульманского „мира, связанных с арабской культурой; перед моими глазами проходили и учебники, и схоластические ученые произведения, одним словом — весь "круг чтения", которым до XX века в течение нескольких столетий питались целые поколения» [28, с. 63].

А параллельно шла и литературная работа: редакция перевода романа шведского писателя В. фон Хейденстама «Эндимион» (действие которого происходит в Дамаске), выполненного его упомянутым выше учеником А. Шишмановым¹. В конце мая пришла и корректура «Избранных произведений» Амина Рейхани; под влиянием работы над ней и чтения кое-каких современных авторов появляется еще одна идея: «Хорошо было бы как-нибудь взяться за новую литературу», — записывает Крачковский в дневник 1 июня 1917 года [А, оп. 2, № 6, л. 103].

И уже через год перед ним открывается возможность реализовать эту идею — как ни странно, в русле послереволюционного движения за просвещение масс. В начале 1918 года профессорам и преподавателям Университета было предложено организовать летом курсы лекций для всех желающих. Крачковский выбрал себе тему «Возрождение арабской литературы в XIX веке», в расчете лекций на восемь. Это была первая попытка, систематизировав накопленные факты, выстроить историю новоарабской литературы. Сначала было даже «как-то жутко об этом подумать» [18 марта 1918 г.; там же, л. 155 об.], но с апреля он уже берется за систематическую подготовку к курсу. Начинает с немногочисленных тогда арабских историко-литературных трудов и справочников (Шейхо, Зейдан, Таррази и др.), переходит к еще менее многочисленным заметкам европейских ученых, а затем обращается к чтению самих сочинений, вывезенных с Востока и теперь нашедших свое применение. Ничего из вторых рук, все должно быть проработано самим, продумано.

С 24 апреля (7 мая) по 3 июля записи о чтении арабских авторов и составлении конспектов лекций следуют ежедневно. Торопился, все казалось, что не успеет справиться с материалом. Лекции начинаются 16 (29) мая, народу на них ходит мало, в основном свои же ученики, Вера Александровна, «да еще какая-то курсистка» [там же, л. 164 об.], но о снижении уровня подготовки не может быть и речи, Крачковский верен своим привычкам, что бы ни происходило вокруг.

Он уговаривает себя, что эти лекции — случай, который нужно «использовать для подготовки конспекта книжки или будущего университетского курса. Нужно хоть чем-нибудь утешиться!» [там же, л. 164 об.]. За лето 1918 года он успел подготовить и прочесть

131

шесть лекций: введение, основатели новой литературы (2 лекции: Языджи, Тахтави, Шидйак, Марраш), драма, роман, публицистика. Остались недочитанными современная поэзия и изящная проза [3 июля 1918 г.; там же, л. 170], но лекции Крачковский решил «прикончить в виду иссякновения слушателей» [там же].

Действительно, кого, кроме специалистов или снобов, мог в России летом 1918 года заинтересовать подобный предмет?!

К концу курса работа над лекциями уже кажется ему бесперспективной и в научном плане: «Читаю как-то больше для самозабвения, так как сомнительно, что когда-нибудь мне удастся сделать из выписок какую-нибудь работу» [л. 167 об.—168]. К счастью, эти мрачные прогнозы не оправдались. К подготовке курса новоарабской литературы Крачковский вернулся в январе 1921 года. Тогда он проработал материал для лекций по поэзии (Ру-сафи и другие месопотамские поэты; египтяне Шауки и Хафиз Ибрахим); весной и летом — по изящной прозе (Манфалюти, Йекун) 2.

Как показало будущее, все тогдашние материалы легли в основу ряда его работ 1920-х—1930-х годов, а выросшая из вводной лекции статья «Возникновение и развитие новоарабской литературы», опубликованная в 1922 году, можно смело сказать, положила начало изучению истории арабской литературы XIX—XX веков. В этой статье Крачковский впервые определяет основные этапы и регионы ее развития, указывает на специфику отдельных жанров, подчеркивая, в частности, особую роль публицистики. Говоря о факторах формирования новой литературы, Крачковский уже тогда пришел к выводу, который можно было сделать только на основе внимательного изучения текстов: он отрицал исключительность роли европейского влияния, на которое как на основной фактор указывали и впоследствии многие востоковеды [подробнее см.: 15].

Однако, увлекшись победами Крачковского на научном поприще, мы несколько забежали вперед. Вернемся в год 1917-й, ибо наступило время, когда счет должен идти уже не на десятилетия, не на годы — на месяцы, может быть даже на дни...

Дневник Крачковского за первую половину года оставляет впечатление до предела насыщенной духовной жизни автора: среди сообщений о ходе всех его многообразных работ, очень или не очень для него радостных, мелькают упоминания о прочитанных книгах, к востоковедению прямого отношения не имеющих, о посещении вместе с Верой Александровной оперы, концертов (изголодались они по музыке за время жизни в Царском Селе!).

Но ведь это семнадцатый год... Как воспринял Крачковский революционные события? Игнорировать он их, разумеется, не мог: уже с конца февраля в дневнике появляются тревожные записи о том, что происходит в городе. Все представляется ему, как в свое время 1905 год, «большим беспорядком», мешающим нормальной

132

работе: «Революция продолжается все в виде той же стрельбы да езды на автомобилях» [1 марта; А, оп. 2, № 6, л. 87]; «Настроение у меня жестоко подавленное под влиянием всяких сцен человеческой дикости» [4 марта; там же, л. 88] и т. п.

Единственное, что он может этому противопоставить, — свою работу, не прекращаемую ни на день, несмотря ни на что. Своеобразным вызовом выглядят проставляемые им даты на листах рукописи об Ибн аль-Мутаззе, например: «Пис. Крачковский. 1 марта 1917. 8 ч. веч. (дни революции)» [А, оп. 1, № 16, л. 137 об.]. Для него это было актом сопротивления духа человеческого надвигающемуся хаосу.

При этом нельзя сказать, чтобы Крачковский был вовсе аполитичен: во время выборов в районную думу голосовал за кадетов [28 мая 1917 г.; А, оп. 2, № 6, л. 102 об.], на факультете был избран председателем вновь образованного бюро младших преподавателей. В архиве сохранились документы, написанные его рукой: обращение младших преподавателей к Временному правительству с предложением помощи при решении всяческих проблем, связанных с политикой в отношении народов Востока в пределах и за пределами государства [24 марта 1917 г.; 3, ф. 14, оп. 3, № 15802, л. 265], и обращение к факультету восточных языков относительно предоставления приват-доцентам права решающего голоса в заседаниях факультета [сент. 1917 г.; там же, л. 272}.

Если февральский переворот Крачковский встретил настороженно, если события лета 1917 года — дела на фронте, Корнилов-ский мятеж — вызывали мрачные предчувствия («Одно ясно вообще, что России совсем крышка» [28 авг. 1917 г.; А, оп. 2, № 6, л. 114]), то Октябрьскую революцию он не принял решительно. Да и что он знал о ней? Беспорядки, красный террор, бесконечные слухи, и непонятно, где правда, где ложь³. И снова единственное спасение — работа, дававшая ощущение некоей стабильности, выполнения своего долга несмотря ни на что.

ВОСТОКОВЕДОВ ДРУЖНЫЙ КЛАН

Пожалуй, таково же было настроение большинства сотрудников факультета. Во всем чувствовалась шаткость положения: осенью 1917 года занятия начались с октября, студентов мало, в первые послереволюционные дни занятия прекращаются примерно на неделю, идут слухи об эвакуации Университета в Иркутск или в Ташкент. Весной 1918 года ожидается «обострение кризиса жизни в Петрограде», поэтому на заседании 8 декабря декан предлагает отменить рождественские каникулы и, начав второй семестр с января, кончить его в начале марта [3, ф. 14, оп. 3, № 15802, л. 315].

В декабре 1917 года распространяется слух, что скоро выйдет декрет о закрытии высших учебных заведений и переводе всех

133

профессоров в народные учителя [9 дек.; А, оп. 2, № 6, л. 140], а в апреле 1918 года — будто «большевики собираются изничтожить все филологические факультеты, вероятно, — добавляет Крачковский в дневнике, — и нас с ними за компанию» [16 апр.; там же, л. 160 об.]. То возникает забастовка против большевиков, то А. В. Луначарский в годовщину Февральской революции отдает приказ об отмене занятий на несколько дней...

Тем не менее преподаватели Факультета восточных языков старались по возможности проводить систематические занятия; характерно, что Крачковский игнорировал и антибольшевистскую забастовку («Не объявят ли меня еще штрейкбрехером» [4 нояб. 1917 г.; там же, л. 132]). Регулярно проходят заседания факультета, «оставленные при университете» сдают магистерские экзамены, причем в 1918 году утверждается новое положение об испытаниях на ученую степень, которое начало вырабатываться еще до революции. Молодые преподаватели по-прежнему читают пробные и вступительные лекции; в принципиальных спорах проходят немногие

защиты диссертаций; разрабатываются планы чтения летних публичных лекции. В смете за 1918 год еще предусматриваются суммы на летние командировки студентов и преподавателей, на печатание их сочинений и других факультетских изданий.

Востоковеды стараются держаться единым братством, соблюдать прежний уважительный стиль взаимоотношений и пресекать всяческие попытки отхода от них. Вот характерный пример: инцидент с В. А. Жуковским, которого новые власти грубо выставили из квартиры, принадлежавшей МИД, где он возглавлял учебное отделение, восточных языков. Совет факультета, несмотря на просьбы пострадавшего не поднимать дела, высказывает в заседании 24 ноября 1917 года свое недовольство поведением молодого приват-доцента Е. Д. Поливанова, занимавшего пост уполномоченного Народного комиссариата по иностранным делам, и постановляет «выразить глубокое сожаление, что приват-доцент Е. Д. Поливанов, высоко ценимый в факультетской среде как молодой ученый, оказался активным членом в среде лиц, в такой мере неразборчивых в приемах воздействия, что создается очевидная угроза наличным в России общечеловеческим культурным ценностям, что исполнители их воли с убийственным равнодушием и явной жестокостью не щадят и немногих живых культурных сил гибнущей от невежества страны и без мысли о последствиях подвергают тяжелым переживаниям отдельных лиц из совсем уж малочисленной семьи востоковедов, вызывая тем единодушное возмущение целой коллегии, политически разномыслящей, но по самому существу своего культурно-просветительского дела нейтральной» [З, ф. 14, оп. 3, № 15802, л. 314 об.].

В 1918 году факультет лишился двух сотрудников: в первых числах января скоропостижно скончался проф. В. А. Жуковский, а 26 октября — проф. Н. А. Медников. Поехав летом 1917 года в

134

Крым лечиться, он уже не смог выехать обратно, вынужден был подать в отставку, бедствовал, писал душераздирающие письма декану и И. Ю. Крачковскому, прося последнего получить и выслать ему жалованье и пенсию, заплатить за квартиру в Петербурге и т. п. Денежные дела Медникова стоили Крачковскому многих хлопот. Медников это предполагает (хоть и не в тех масштабах), ему совестно, и он трогательно просит Крачковского взять из этих денег «рублей 25 и больше на извозчиков: мне было бы прискорбно узнать, что Вы треплетесь по трамваям или пешком из-за меня» [А, оп. 3, № 608, л. 64 об.]. А поняв из письма, что за декабрь (1917 г.) жалованья, быть может, и не дадут, жаждет из своего далека помочь молодому коллеге: «Если Вы успеете получить мою пенсию, сами же будете без денег, то прошу Вас взять для себя из полученных сколько Вам будет нужно... Пенсии вы получите около 1000, поделив которую хватит нам обоим» [там же, л. 72]. Старый профессор сохранил чувство факультетского братства до последних дней. Характерно, что в этих письмах Медникова слышна тревога не только за себя — за факультет, за товарищей, но и радость, что все они «остались в целости во время смуты и не пострадали серьезно» [письмо Н. Я. Марру от 9 дек. 1917 г.; З, ф. 14, оп. 3, № 15859, л. 53], и гордость,

что ФВЯ — «единственный работающий в наше страшное время при бездеятельности остальных» [там же].

Несомненно, жизненный тонус факультета в значительной степени поддерживался тогдашним деканом Н. Я. Марром, человеком чрезвычайно активным, инициативным, вечно выдвигающим какие-то новые идеи. Пожалуй, декана, более соответствующего этому сложному времени резких поворотов и перемен, трудно было бы найти.

1917/18 учебный год внес в положение Крачковского на факультете некоторые изменения. 8 октября он, вместе, с В. М. Алексеевым, В. Л. Котвичем, И. А. Орбели, А. Н. Самойловичем и др., был утвержден в штатной должности доцента. Осенью того же 1917 года он сдал дела семинария молодому коллеге, старшему ассистенту иранисту А. А. Ромаскевичу. Вместо этого после присланного из Крыма заявления Н. А. Медникова о невозможности для него исполнять обязанности секретаря факультета 1 февраля

1918 года Крачковский был единогласно избран на этот пост. Радости большой он не испытывал, понимая, сколько при его добросовестности это будет отнимать времени и сил.

«Сегодня утром усиленно скакал по всяким факультетским делам, как кот ошпаренный» [3 февр. 1918 г.; А, оп. 2, № 6, л. 149] — заметок подобного содержания у него в дневнике много. Выдержал он эту нагрузку полтора учебных года и 30 сентября

1919 г. от секретарства был освобожден по собственной просьбе. Осенью 1918 года Н. Я. Марр поднял вопрос об учреждении кафедры исламоведения — специально, чтобы предоставить Крач

135

ковскому профессорскую должность [30 окт. 1918 г.; там же, л. 202]. Старания его увенчались успехом, и 2 ноября 1918 года Крачковскому было присвоено звание профессора.

Крачковский не очень любил преподавательскую деятельность. Как многие требовательные к себе люди, он был, особенно поначалу, так же требователен и к студентам, его раздражал «балласт», неизбежный почти в каждой учебной группе, и связанная с ним непроизводительная потеря времени. «Сегодня извелся опять с первым курсом: опять с хрестоматией одно огорчение, а не разбор» [17 янв. 1917 г.; там же, л. 75]; «Вечером лекции, после которых превращаюсь в ни к чему не способную клячу» [9 нояб. 1918 г.; там же, л. 203 об.] — это тоже очень типичные дневниковые записи.

Другое дело — индивидуальные занятия с теми, кто подает надежды, проявляет какие-то собственные научные пристрастия. Первым таким подопечным был болгарин А. И. Шишманов. Окончив ФВЯ в 1914 году без сдачи госэкзаменов, он уехал в Софию, но уже в 1915 году вернулся в Петроград (очевидно, по семейным обстоятельствам — жена у него была петербурженка), служил в какой-то конторе, но, влюбленный в арабскую поэзию, упорно занимался переводом стихов Абу-ль-Аля и постоянно консультировался с Крачковским, устно и письменно, регулярно бывал у него — словом, это были отношения руководителя и руководимого, хоть и не оформленные официально. «Все-таки он

молодчина, свою линию гнет!» — записывает о нем Крачковский 4 января 1918 года [там же, л. 144 об.].

Но осенью этого года Шишманов покидает Петроград навсегда и, в силу объективных обстоятельств, постепенно отходит от арабистики. Крачковский, несомненно жалеющий о нем, отдал ему должное в книге «Над арабскими рукописями»: упомянув Шишманова по случайному поводу, в связи с диссертацией А. Э. Шмидта, он счел нужным дать ему краткую, но выразительную характеристику: «...даровитый, очень своеобразный ученик, болгарин... Он отличался большим и тонким литературным вкусом, знал массу языков и в это время очень увлекался моим любимцем — поэтом-философом Абу-ль-Аля, переводя почти полностью цикл его поэм, посвященных "кольчугам". Многими своими увлечениями он заражал и меня: несколько позднее мы вместе перевели с шведского роман Вернера фон Хейденстама "Эндимион", действие которого происходит в Дамаске» [28, с. 99].

Не знаю, сразу ли Игнатий Юлианович оценил таланты своего первого ученика. В других случаях, как мы увидим, он, особенно вначале, относился к возможностям подопечных с известной долей скептицизма.

Осенью 1917 года у него появляется еще один ученик, оставленный при Университете после окончания курса, — А. Г. Добатовкин. О нем, еще студенте, Крачковский замечает в дневнике:

136

«Для арабской кафедры он едва ли будет особым приобретением, но раз людей нет, надо и за таких держаться» [4 февр. 1917 г.; А, оп. 2, № 6, л. 82 об.]. А в мае того же года он уже пишет о нем с удовлетворением: «Представленное весной 1917 г. сочинение А. Добатовкина превзошло мои ожидания как в смысле выполнения, так и самостоятельной разработки темы... В своем настоящем виде работа производит впечатление полной научной убедительности» [А, оп. 2, № 246, л. 1 об., 3]. Крачковский регулярно читает с ним исторические тексты — даже 25 октября 1917 года они не отменяют занятий! Но в декабре Добатовкин также покинул Петроград, и, как оказалось, навсегда.

Аналогичная — в смысле первоначальной оценки — ситуация складывалась с И. П. Кузьминым, которого еще в 1916 году Н. А. Медников аттестовал Крачковскому как «очень хорошего студента» [А, оп. 3, № 608, л. 307]. Весной 1918 года, будучи на последнем курсе, Кузьмин подал прошение об оставлении при Университете. «Не думаю, чтобы из него вышел порядочный арабист», — записывает в дневник И. Ю. Крачковский 4 мая 1918 года [А, оп. 2, № 6, л. 162 об.—163]. А через два года Кузьмин становится уже одним из любимейших его учеников, доказав и работоспособность свою, и целеустремленность.

Деловым и научным настроением факультетских преподавателей заражались не только оставленные при факультете, но и студенты. В 1918/19 учебном году неожиданно заявляет о себе группа II курса. Для них, по просьбе лидеров группы В. Эбермана и Р. Эрлих, Крачковский организывает семинарий по «1001 ночи» и по арабскому разговорному языку; этот семинарий посещает и

тогдашний первокурсник М. Салье, будущий переводчик знаменитого сказочного свода. Эти занятия, хоть и отнимают у Крачковского много времени, впервые приносят ему некоторое удовлетворение.

Параллельно с регулярными по возможности университетскими занятиями шла и регулярная работа над рукописями, в основном по линии Азиатского музея, где с осени 1918 года Крачковский принял на себя — без особого к тому желания — заведование мусульманским отделом. Все время повторялась та же история: неизменная аккуратность и добросовестность выдвигали его на самые трудоемкие посты. Это мешало осуществлению собственных научных планов, но что тут можно было поделать?!

Завершив описание рукописей с Кавказского фронта, Крачковский принялся за разбор бумаг В. Р. Розена, поступивших в Азиатский музей после смерти В. А. Жуковского. Несомненно, наследие Розена попало в хорошие руки: в том же 1918 году Крачковский уже напечатал опись розеновских бумаг в «Известиях АН», а затем, в течение долгих лет, как только появлялась возможность, старался опубликовать то оставшуюся в рукописи статью своего

137

учителя, то даже черновой набросок, то что-то из автобиографических материалов.

Продолжая работу Розена по созданию каталога рукописей Азиатского музея, Крачковский приводил в порядок и систематизировал каталожные карточки, составленные еще в прошлом веке первым хранителем музея Х. Д. Френом и муллой Х. Фейз-хановым. На нем же лежала обработка арабских рукописей из так называемой «бухарской коллекции», собираемой иранистом В. А. Ивановым. Кроме всего прочего, Крачковский принимает участие в подготовке конкорданса к сунне — мусульманскому преданию, — начатого голландским арабистом А. Венсинком.

С мая 1919 года ко всем этим занятиям добавляется еще и сотрудничество в Восточной коллегии экспертов издательства «Всемирная литература» и связанная с этим издательством переводческая и редакторская деятельность, также отнимавшая много времени и сил, но подробно об этом речь пойдет в следующей главе.

Сохранялась у И. Ю. Крачковского даже в эти трудные годы, если можно так выразиться, живость научной реакции. Например, вот он 14 ноября просматривает между делом только что купленный третий том академического издания Грибоедова и обращает внимание на неправильно прочитанную и интерпретированную арабскую цитату в одном из его писем; через четыре дня уже у него в руках статья Л. З. Мсерианца «К вопросу об интересе Грибоедова к изучению Востока», на которую неоднократно ссылается редактор тома: «Очень интересно, но в арабской цитате попался он впросак. Если хватит времени и охоты, напишу об этом заметку» [А, оп. 2, № 6, л. 134 об.]. И на следующий же день готов черновой набросок этой заметки; 26 ноября он ее подправляет, 10 декабря кончает ее подчистку, 15—16 декабря переписывает и сразу отдает в «Известия АН».

Или прочел статью Бартольда о сабиях в № 1 нового журнала «Мусульманский мир» (доклад в Восточном отделении «зацепил» его еще в январе) — и в тот же день, 1 апреля 1918 года, принимается за статью о переводе Библии при халифе аль-Мамуне на арабский язык, проливающую свет на вопрос об этом термине, и «строчит» ее «почти без всякого перерыва, хотя и не торопясь» [там же, л. 158], 4 апреля «чистит», с 5 по 8 апреля переписывает, затем отдает Н. Я. Марру в «Христианский Восток». Да и разбор бухарской коллекции рукописей дает материал то для одной, то для другой статьи.

И при всем этом гигантском объеме работы, причем работы с нашей точки зрения много дающей человеку для его научной квалификации, снова недовольство собой, потому что основные, заветные темы тонут в этой текучке: «Вообще же, как всегда в свободное время, — из своих работ по обычаю ничего не выходит и не хватает энергии за них взяться. Пропала, кажется, моя наука во цвете лет» [10 июля 1918 г.; там же, л. 171 об.].

138

Конечно, по-настоящему оценить все, что делалось в эти годы Крачковским и его коллегами по Университету и Азиатскому музею, можно лишь представив себе те бытовые условия, в которых они жили. Холодно и голодно, перебои со светом и водой. Пайки по карточкам выдавались мизерные, основной пищей была похлебка из сорного пшена с селедкой. Хлеб (норма — 200 г) привозили нерегулярно: «Жители ждали в очередях у хлебных лавок по многу часов. Наша ближайшая лавка была на Малом проспекте за углом от дома. Чающие выдачи приходили со стульями, скамеечками, а кто-то однажды притащил даже большой диван. Вместо хлеба выдавали иногда мороженный картофель. В апреле (1918 г. — А. Д.) порция хлеба сократилась до 50 г.» [А, оп. 7, № 27, л. 60]. У Крачковского в дневнике нередко можно встретить такие записи: «9 мая. Трехчасовое дежурство за хлебом»; «11 мая. Утром до часу стоял за хлебом и читал Барбье де Мена-ра об Ибрахиме» [А, оп. 2, № 6, л. 100].

Вера Александровна всеми силами старалась пополнить скудный рацион; верным ее помощником в бытовых хлопотах был молодой преподаватель-семитолог М. Н. Соколов, из бывших слушателей Крачковского. Как-то, вспоминает она, Соколов принес ордер на капустный лист, и Вера Александровна отправилась за ним в какое-то хозяйство в Старую Деревню, около буддийского храма. Бабы, пожалев ее, покидали ей в мешок несколько целых кочанов; всеми правдами и неправдами она дотащила домой два с половиной пуда! В другой раз она получила по ордеру полтора пуда капустных кочерыжек; ихпарили и ели на завтрак [А, оп. 7, № 27, л. 55—57]. Вера Александровна меняла вещи на крупу. Странствовала по рынкам, к мешочникам; приходилось ездить и ходить пешком в дальние концы города, днем и в темноте, попадать «в довольно сомнительные квартиры», но она не боялась ничего [там же, л. 58]. И судьба ее хранила.

В июле 1918 года Крачковские, хоть и ненадолго, выехали в Гатчину, сняв комнату у двоюродной тетушки Веры Александровны («Мы проводили в Петрограде три или четыре дня недели, а прочие в

Гатчине» [А, оп. 7, № 27, л. 67]). Здесь энергичная Вера Александровна снова была занята добытием продуктов, заготовкой грибов, сбором смородинного, вишневого и малинового листа — заваривать вместо чая.

Потом зимой 1918/19 года она не раз выезжает в Гатчину за продуктами, ходит с теткой по деревням, выменивает на вещи. Один раз ей неслыханно повезло: удалось подобрать зайца, подстреленного, но не найденного охотниками.

Но и этого не хватало, оба они были сильно истощены. В. А. так вспоминает летние прогулки в Приоратском парке, возле которого они жили в Гатчине: «Мы искали свободную скамейку неподалеку (от входа. —А. Д.). Один из нас растягивался на скамье, а другой, если земля не была сырая, ложился на землю. Сидеть

139

без подпорки мы не могли» [там же, л. 68]. Еще свидетельство тогдашнего состояния И. Ю. — его фотокарточка, сделанная в 1918 году для пропуска: «Ни на одной фотографии за всю жизнь он больше не имел такого жалкого вида: тощий, осунувшийся, пиджак явно слишком широк для исхудавшего тела; на лбу ясно обозначился шрам от клюва петуха, вскочившего сзади на голову маленького Игнаши в Ташкенте» [там же, л. 57].

Осенью 1918 года университетским преподавателям выпадает возможность подзаработать и подкормиться благодаря выездам в Москву для чтения лекций на этнолого-историко-филологическом факультете Переднеазиатского института, образованного на базе Лазаревского института. Это была одна из новых идей Н. Я. Мар-ра, возникавшая, впрочем, отнюдь не под влиянием меркантильных соображений, а с целью создания новых современных очагов преподавания востоковедных дисциплин: выезд петроградских ученых, по мысли Марра, должен был поставить работу института на соответствующую научную базу.

Крачковский имел по этому поводу свое мнение: он боялся, что такие регулярные выезды (они предполагались по два раза в месяц) нарушат нормальное течение занятий в Петроградском университете. 29 сентября 1918 года он записывает в дневник: «Сегодня целый день под впечатлением заседания у Марра — как только он не видит, к чему это грозит для факультета привести! Совесть моя прямо-таки разрывается, но боязнь, что нужны будут деньги, заставляет и здесь держаться выжидательной политики, не отказываясь решительно» [А, оп. 2, № 6, л. 183]. А на завтра он уже открыто выступает против: «Сегодня целый день по преимуществу ругался в связи с Лазаревским институтом — ругался и с Марром, и с Самойловичем, и со Шмидтом» [там же, л. 183 об.]. Но его все-таки уговорили, и 11 октября он вместе со всеми поехал на открытие института. Это была его первая и последняя поездка, показавшая, что, помимо деловых принципов, сами условия этих выездов — не для него. Вот как описывает В. А. Крачковская его обратный путь из Москвы: «При посадке в вагон толкотня и давка были невообразимые. Игнатия Юлиановича все время отталкивали со ступенек... Прозвенел третий звонок, а он все еще не проник в вагон. Тогда он решил в полном отчаянии влезть в вагон через выбитое

окошко, полез и просунулся до пояса, а часовой стал его тянуть за ноги обратно, пассажиры же старались перетянуть за руки в вагон. Поезд тронулся. И. Ю. сделал отчаянное усилие, которое отозвалось страшной болью внутри, но ему удалось перевеситься, и он буквально ввалился через окно» [А, оп. 7, № 27, л. 69].

Уже в марте 1919 года стало ясно, что в таком виде Передне-азиатский институт недееспособен, и было вынесено решение о преобразовании его в Армянский институт. Но до того петроград

140

ские востоковеды ездили туда неоднократно и каждый раз привозили кое-какие продукты.

Холод мучил не менее, чем голод. Первую зиму у Крачковских еще был небольшой запас дров, так что по вечерам можно было слегка протапливать печь в кабинете. «Пока печь топилась, — вспоминает В. А., — мы сидели перед ней на низенькой скамеечке и грелись, прижавшись друг к другу» [там же, л. 57]. Тяжело было носить дрова на шестой этаж, да и пилить Игнатий Юлианович не умел; пилили обычно Вера Александровна с Соколовым, а он колол.

Зимой 1918/19 года Вера Александровна наладила железную печку-«буржуйку с самоварной трубой, выпустила конец трубы в дверцу кафельной печи в кабинете, а «буржуйку» выложила внутри кирпичами, чтобы дольше держала тепло. В. А. выстаивала очереди за ордерами на доски из разбираемых домов, но ей по большей части (особенно, когда с нею не было верного М. Н. Соколова) доставались обломки и щепки. Однажды, когда рушили дом, ее стукнуло доской по голове так, что она потеряла сознание; спасли ее только каракулевая шляпа на вате да узел волос на макушке.

Когда стало потеплее, она начала ездить на трамвае к Политехническому институту за сосновыми ветками для «буржуйки». Иногда вставала в 4 часа утра, пробиралась с рюкзаком в конец Малого проспекта (туда, где теперь сквер позади Дворца культуры им. Ленсовета) и выковыривала из мостовой деревянные торцы — их было легко колоть и горели они прекрасно!

Тем не менее температура и дома, и на работе зимой обычно не поднималась выше 3—5 градусов; в Университете бывало и ниже нуля, так что замерзали чернила. Лучшие рукописи Азиатского музея пришлось эвакуировать в Саратов.

Вера Александровна всеми силами старалась уберечь мужа и от холода: «Помимо обычного белья я сшила для И. Ю. теплые штаны из толстого сукна, подбитые простеганной ватой... штаны надевались под брюки. У меня сохранился беглый набросок, изображающий И. Ю. стоя в профиль в теплой амуниции; на голове шерстяной шлем, поверх теплой куртки наброшен шерстяной вязаный коврик. На руках были надеты черные связанные крючком шерстяные митенки, которые закрывали кисть, пульс и оставляли свободными кончики пальцев; ноги засунуты в меховой мешок» [А, оп. 7, № 27, л. 921].

Часто не бывало воды — лопались трубы; приходилось ходить с ведрами за две улицы — с Гатчинской на Широкую (ныне ул. Ленина). Однажды в поисках воды Крачковский забрел на подворье женского монастыря, где был колодец-журавль, и пока он набирал

воду, со всех сторон на него из окон кричали монахини, чтобы он убирался.

141

Кто знает, смог бы И. Ю. Крачковский с его слабым здоровьем и деликатностью выжить в этих суровых условиях, если бы не самоотверженность, практическая сметка и находчивость Веры Александровны. Но, конечно, немалой поддержкой было и ощущение единства «семьи востоковедов». В. А. Крачковская вспоминает, что старшие товарищи по факультету, видя, как возрастает слабость и худоба Игнатия Юлиановича, именно ему передали дополнительный паек К. А. Иностранцева, который слег в больницу. Летом 1919 года, когда Крачковский тяжело заболел, в дом неожиданно явился И. А. Орбели (с которым Крачковские никогда не были в особенно тесной дружбе) и передал Вере Александровне пакетик пшена [А, оп. 7, № 27, л. 93—94]. Не говоря уж о М. Н. Соколове, который не только помогал Вере Александровне, но, когда это было возможно, и привозил кое-какие продукты из Москвы.

Дружескому сплочению востоковедов в эти трудные дни способствовало и то обстоятельство, что университетская наука тогда не была еще отделена от академической; во всех петроградских востоковедных учреждениях действовали в основном одни и те же люди, как бы единый коллектив в разных ипостасях и с разными руководителями во главе: на ФВЯ — Н. Я. Марр, в Азиатском музее — С. Ф. Ольденбург (он же — председатель созданной в 1919 году Восточной коллегии издательства «Всемирная литература»), в открывшемся 1920 г. ПИЖВЯ — В. Л. Котвич. А с ними были тесно связаны восточные отделы Эрмитажа, Публичной библиотеки, Яфетический институт, РАИМК и др., где востоковедные отрасли были представлены все теми же профессорами Университета или сотрудниками Азиатского музея.

Роль научного центра в послереволюционные годы принадлежала Азиатскому музею, дольше других востоковедных учреждений не подвергавшемуся реорганизации, наладившему уже в 1919—1920 годах на правах академического отдела связи с европейскими учеными (с 1923 г. — даже научные зарубежные командировки) и получение новых книг. Среди страшных событий и разрухи музеев оставался живым организмом, здесь сохранялась свойственная подлинному научному содружеству атмосфера творчества, бережного отношения к каждой личности, дух взаимопомощи и взаимоподдержки. В этой обстановке, вспоминает Крачковский, «работалось легко, несмотря на все тяготы, выпавшие Петрограду в ту эпоху» [28, с. 62].

Не думаю, чтобы все сотрудники музея разделяли провозглашенную решением общего собрания АН готовность «по требованию жизни и государства приняться за посильную научную и теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства» [цит. по: 7, с. 32]; большинство скорее придерживались лютеровского принципа: «Hier stehe ich — ich kann nicht anders» («Стою на этом — иначе не могу») — то

141

есть не могли не работать. Поддерживало и «сознание того, что продолжаешь работу, завещанную великими предшественниками» [28, с. 64]. И даже несмотря на то, что из-за холода приходилось работать дома больше, чем в учреждениях¹, несмотря на лихорадку реорганизации учебных заведений, востоковеды сохраняли себя как единый коллектив.

Доказательством жизнеспособности этого коллектива была так называемая «Малак» («Малая Академия») — литературно-музыкальные вечера, пародирующие заседания «Большой Академии». Одним из инициаторов этих вечеров являлся В. М. Алексеев; постоянными участниками и авторами большинства пародий были также его ученики, молодые китаисты Б. А. Васильев и Ю. К. Щуцкий, ученик Крачковского В. А. Эberman, председателем — Е. Э. Бертельс, иранист. В заседаниях «Малак» литературные номера перемежались с музыкальными или живыми картинами, устраивались скромные чаепития; порой возникали диспуты [см. подробнее: 11, 69, 1985, № 3, с. 139—152]. У каждого были свои шуточные псевдонимы; так, Эberman именовался «Зухлюль» («Короткошерстый» — обычный эпитет гепарда) — очевидно, потому, что носил всегда короткие волосы; Крачковский — «Имам», «Добрый волшебник Игнатиус», «Добрый волшебник-сарацин». Что ж, если ученые в таких невероятных условиях могут не только работать на совесть, но и шутить — значит, не все потеряно!

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!..

Но порой казалось, что силы иссякают. «Стал совсем как дохлая кляча», — записывает Крачковский в дневнике 28 декабря 1918 года [А, оп. 2, № 6, л. 209]. Усталость накопилась такая, что они с Верой Александровной даже как-то раз не использовали даровые билеты в Мариинский театр — случай для Крачковских почти невероятный! [22 февр. 1919 г.; там же, л. 216].

Кажется, уже все на пределе: «О занятиях у меня, конечно, не может быть и помину. Грамота Патриарха⁸, которую я хотел раскусить на праздниках, не движется по тем же соображениям холоду и меланхолии» [10 янв. 1919 г.; там же, л. 209 об.]. И вдруг появляется дело, которое увлекло, захватило, и каждый день гонит к письменному столу.

21 января 1919 г. С. А. Жебелев сообщает Крачковскому о затеваемом им новом предприятии — издании перевода различных вариантов христианских апокрифов и предлагает ему взять на себя арабские версии «Евангелия детства» и «Истории Иосифа Плотника». «Я не скрою, что ухватился с большим удовольствием», — замечает Крачковский в дневнике в этот день [л. 211 об.] и дальше с этой мыслью уже не расстаётся.

Идут ежедневные записи: он раздобывает книги, обдумывает, 29 января начинает читать текст «Евангелия». В феврале перерыв

142

на несколько дней — некролог Н. А. Медникова, потом опять «Евангелие»: 17 февраля начал писать перевод, 3 марта (ко дню рождения!) уже закончил черновой вариант, к 16 марта еще раз проверил, потом пошло сличение с другими изданиями, сочинение предисловия, которое сначала как-то не шло, волнение, понравится

ли оно «Карсавину и компании». О том, как шла работа над «Иосифом Плотником», лучше всего расскажет цитата из дневника:

«8 апреля. Вечером пришел в работоспособное настроение и начал строчить перевод Иосифа Плотника, но, к сожалению, не было электричества.

9 апреля. Встал рано из-за вчерашнего отсутствия света и писал перевод с 7 часов. Дописал до ХП1 главы... вечером дошел до главы XXI.

10 апреля. Утром пришел в панику, пойдя в дровяной сарай — все залито водой... Весь день был в жестоко подавленном настроении и только благодаря "писательному" настроению пришел в норму... с половины восьмого засел строчить, а потом продолжал, придя из Музея. К 9 часам кончил всего "Иосифа Плотника". Это марка для трех дней!» [л. 221].

К сожалению, задуманное издание так и не увидело света — то ли сборник не удалось укомплектовать из-за трудных условий, то ли занимались им личности с точки зрения советской власти одиозные (тот же Карсавин), то ли — если вышла задержка с изданием — он стал жертвой антирелигиозной кампании. Так или иначе, оба перевода И. Ю. Крачковского и предисловия к ним до сих пор лежат в его архиве и ждут своего издателя.

Эта так вдохновившая Крачковского работа стала стимулом и для других его христианско-арабских штудий. Он нашел в себе силы пуститься на поиски рукописей патриарха Григория Антиохийского, которым теперь уж должно было быть место только в научном учреждении. Тем более что на ходатайство Академии о передаче рукописей в Азиатский музей был уже получен положительный ответ. Начал Крачковский хлопоты с Наркомпроса 8 февраля 1919 года, был недоволен тем, что приходится «ползти» еще в какую-то инстанцию, но разве можно сравнить тогдашнюю бюрократическую машину с теперешней?! Уже через неделю он смог перевезти все сорок рукописей из Зимнего дворца в Азиатский музей — просто так, на саночках, бережно укутав их тулупом, и тут же принялся за их инвентаризацию, обмеры, описание и т. п.

К концу мая 1919 года Крачковский подготовил предварительную краткую опись со вступительной статьей. Работать приходилось, по сути, заново: ведь все, что было сделано в 1914 году, во время «допусков» в Зимний дворец, и дополнено в Лейпциге и Халле, осталось в Голландии. Это и заставило Крачковского ограничиться теперь лишь предварительным списком. Как он писал в

143

предисловии к описи в 1924 году, готовя ее к публикации, «дать обстоятельный каталог я уже не был в силах, так как проделать вторично ту же самую работу было слишком тяжело по психологическим условиям, и, кроме того, она при всех усилиях оказа лась бы неполной без материалов, оставленных в Голландии» [27, т. 6, с. 428].

Что же касается грамоты патриарха Иоакима, работа над переводом и изданием которой в январе не двигалась «по соображениям холоду и меланхолии», то теперь он взялся за нее

сразу после описи патриаршей коллекции и закончил все в несколько дней.

Быть может, как нечто вечное, противостоящее хаосу ощущались им «христианские» темы? Или просто — пристрастие, идущее от ранней юности. Так или иначе, мне кажется, именно «христианско-арабская» работа вдохнула в него тогда жизненные силы.

Как бы ни жаловался Крачковский на меланхолию, подавленность, «жуткое настроение» — духовные потребности его не угасали. Читать час-два перед сном была старинная привычка, и он не отказывался от нее — конечно, когда был свет. Теперь к этому добавилось чтение в очередях и во время дежурств в подворотне, нести которые были обязаны по очереди все жильцы.

Круг его чтения в эти годы разнообразен. Прежде всего — множество специальных трудов, связанных с курсами лекций или научными темами, которыми он тогда занимался, порой связанных подспудно⁹, или научные новинки¹⁰. В это время Крачковский покупает много книг, ругая себя за расточительность. Так что выбор материала для чтения иногда определяется появлением в его библиотеке тех или иных новых книг, но все же кое-какие несомненные пристрастия можно проследить.

Его больше тянет к классике, чем к современной литературе. И литературоведческие труды он предпочитает посвященные классике, читает также книги о музыке, биографии композиторов (Мусоргского, Лядова, Чайковского). Вероятно, часто это объясняется желанием отвлечься от того, что происходит вокруг, окунуться в прекрасное или мысли свои направить по соответствующему руслу¹¹.

Среди классиков первое место занимает Толстой. Тут и, наверное, напоминающие прошлое «Детство», «Отрочество», ранние рассказы («для чистки головы» [30 мая 1920 г.; А, оп. 2, № 6, л. 214]), и последние произведения, которые, как и вообще поздний Толстой, производят на него «какое-то впечатление деланности в стиле» [4 янв. 1918 г.; там же, л. 145]. Летом 1920 года читается «Война и мир»; комментариев в дневнике нет — может быть, именно потому, что здесь возникают сложные ассоциации, аналогии, размышления, чего он в дневнике своем обычно избегает.

144

Характерно, что книг по философии он в эти годы почти не читает¹². Политические статьи, современная публицистика также не особенно его привлекали. Правда, в ноябре 1918 года ему попался «Армагеддон» М. Алданова; книга представляется Крачковскому злободневной, занятой и остроумной — «удивляюсь, как большевики ее пропустили» [там же, л. 202 об.].

Когда в 1919 году Крачковскому предстояла встреча с Горьким (о чем речь будет впереди), он, явно заинтересованный этой фигурой, берет за сборник его статей 1905—1911 годов и находит в них «много здравых мыслей» [31 мая; там же, л. 227]. Но особенно нравятся ему горьковские воспоминания о Толстом¹³.

Из современных писателей, помимо Горького, его больше всего интересовал Андрей Белый («тяжело, но не шаблонно» [4 апр. 1919 г.; л. 220 об.]); прочел он «Родное и вселенское» Вяч. Иванова, «Александр I» Д. С. Мережковского, даже «Фауст и город» А. В.

Луначарского («Конечно, тенденциозно и конец сентиментален, но местами хорошо» [25 июня 1919 г.; л. 230]). Так что не отгораживался аполитичный Крачковский от современности полностью даже в досуге своем (впрочем, всегда ли у него можно отделить досуг от работы?); смотрел на то, что происходило вокруг с болью, но без злопыхательства.

Не обошел он вниманием и современную поэзию: на страницах дневника встречаются имена Брюсова, Гумилева, Кузмина, Ахматовой (о последней упоминается чуть пренебрежительно: «В очереди почитал стихи Ахматовой, которые ухитрился издать Петрополис» [27 апр. 1921 г.; л. 281 об.]). Особенное отношение к Блоку. Прежде всего — как к личности: «Блок был одним из тех немногих людей, — писал он впоследствии В. А. Сутугиной, — при первом взгляде на которого я сразу почувствовал необычайное, великое явление» [4 апр. 1945 г.; А, оп. 3, № 27, л. 15]. И конечно — к стихам его: «Сегодня упиваюсь третьим сборником стихов Блока — иттиный талант» [13 окт. 1921 г.; л. 295]. По поводу поэм Блока имеется и следующая любопытная запись: «Перечитал "Соловьиный сад" Блока и "Двенадцать" — первое хорошо, второе кошмарно, но все же талант чувствуется, хотя может и злая пародия на большевиков» [19 марта 1921 г.; л. 276]. Для него, как для многих чутких людей, поэма была загадкой, и так хотелось видеть любимого поэта своим единомышленником...

Перечень книг по специальности — на разных языках, по разным отраслям востоковедения — занял бы много больше места. Прямо ли, косвенно ли связанные с его текущими делами, они упорно свидетельствовали: в работе, пусть даже через силу, никаких поблажек, никаких скидок на холод, голод, болезни, настроение, усталость. «Невольник долга» свободы не хотел.

К началу двадцатых годов бытовая обстановка немного улучшилась: и вообще-то в Петрограде с продовольствием и топливом стало полегче, и Кубуч помогал, и заработки благодаря «Все-

145

мирной литературе» увеличились. Кроме того, весной 1919 года В. А. Крачковская стала пайщицей общества «Знание и труд», имеющего коллективные огороды на острове Голодай, между рекой Смоленкой и взморьем. Два-три раза в неделю она ходила на огород пешком, летом даже босиком, чтобы сберечь единственные полуботинки, а потом, как-то раз напоровшись на стекло, связала себе веревочные туфли. Работала на огороде целый день и по числу отработанных часов получала свою долю урожая [А, оп. 7, № 27, л. 85—86], делала заготовки на зиму: засыпала овощи сухим песком, квасила капусту.

Но заботы Веры Александровны были не только о «делах земных». В августе 1919 года она поступила в Институт истории искусств, прошла коллоквиум и была зачислена на разряд истории мусульманского искусства, руководил которым И. А. Орбели, — и неожиданно оказалась на этом разряде единственной студенткой. «Потому ли, что я была одна, — вспоминала впоследствии Крачковская, — или по иной причине, но за мое пребывание в Институте в качестве студентки по мусульманскому искусству не

было прочтено ни одной лекции. Я слушала лекции у других профессоров по собственному выбору, ходила на лекции В. В. Бартольда на его квартиру и стала заниматься (с осени 1920 года) у И. П. Кузьмина арабским языком» [там же, л. 89].

В Университете у Кузьмина тоже почти не было слушателей, и экзамен по арабскому языку Крачковская держала вместе со студентами Института живых восточных языков. «Хорошо помню, — пишет она, — как я учила спряжение правильных и неправильных арабских глаголов (так называемые парадигмы), сидя на конце зеленого дивана в кабинете, поглядывая на печурку рядом и помешивая ложкой какое-нибудь варево» [там же, л. 89 об.—90]. Закончила она институт в 1923 году, расширив таким образом свои возможности помощи мужу и в то же время приобретя некий самостоятельный статус.

Самое тяжелое время осталось позади. Понемногу налаживается «культурная» и «светская» жизнь. В 1920 году в дневнике Крачковского вновь появляются записи о посещении оперы, концертов классической музыки, приеме гостей. Крачковские дружат домами с Алексеевыми, с Алявдиными (у последних В. А. крестила детей — Веронику и Флавия); наладилась связь с семьей друга детства — композитора М. Штейнберга; в гости приходят молодые арабисты.

Столько разнообразной работы, друзья, ученики; преданность, поддержка и понимание дома — а на душе все равно было тоскливо. Революционные преобразования Крачковского не увлекали, наоборот, он был уверен — не без основания, — что бесконечные реорганизации только мешают работе, и не стеснялся прямо это высказывать, рискуя идти на конфликт, о чем не раз можно прочесть в его дневнике.

146

Среди деловых записей, бесстрастной фиксации событий, среди заметок о книгах, об учениках в дневнике, как когда-то, снова вдруг прорывается голос отчаяния: «Липы цветут, а душа моя плачет, и так грустно мне эти дни, что слезы к горлу подкатывают. Все прежние годы вспоминаются, и лето в Черкасах, и пчелы, и аисты, и клевер, и лес. Раньше мне бывало грустно уезжать из новых мест — всегда чувствовалось, что их больше не увидишь. Каково же теперь, когда чувствуешь, что никогда ничего такого не увидишь? Жизнь превратилась в какую-то трясику и засосала она целиком и никогда не отпустит. Все думается, что был я прав тогда, когда уже много лет назад говорил, что надо кончать. Потом терпеливо ждал, но ничего, кроме колеса, не дождался и не дождусь» [1 июля 1921 г.; там же, л. 288].

Но он хоронит свое отчаяние как можно глубже, заглушает его работой без конца и края. «Мне думается, что только работа и поддерживала И. Ю.», — замечает Вера Александровна в своих воспоминаниях [А, оп. 7, № 27, л. 92]. У нее, правда, говорится о поддержке физических сил, но гораздо важнее было сохранение сил духовных. И здесь мало сказать, что работа поддерживала их, нет, она придавала жизни чуть ли не единственный смысл и способна была дарить подлинную радость, как, например, встреча с рукописью-автографом современника первого крестового похода

сирийского литератора Усамы ибн Мункыза: «Опять, как не раз, задрожали у меня руки, когда в них оказался довольно большой том с нужным шифром. Мне стало как-то страшно его раскрывать: при всем скептицизме думалось — а вдруг я в самом деле увижу внутри строки, писанные еще при жизни Саладина и Ричарда Львиное Сердце их достойным современником, другом и противником!» [28, с. 71—72]. История, связанная с автографом Усамы, живо описана самим И. Ю. Крачковским [гл. «Современник первого крестового похода»; 28, с. 70—75].

И вот что характерно: дневниковая запись об этой находке идет на следующей же странице после той, полной отчаяния, где сожаления о не состоявшемся вовремя самоубийстве. Значит, снова — спасение, дарованное наукой, которая «не покинет человека никогда и всегда даст утешение», как когда-то говаривал ему отец.

И пускай надо мной кружит мой ястреб... — Мы еще повоюем, черт возьми!

Ведь он очень любил «Стихотворения в прозе» Тургенева.

ФИНСКИЙ ШПИОН

А ястреб и вправду кружил над ним. Этот беспокойный период заканчивается для Крачковского неожиданным суровым испытанием — арестом и тюремным заключением.

147

Обыски в квартире Крачковских бывали и раньше — в восемнадцатом, когда под арестом находился С. Ф. Ольденбург, в девятнадцатом году: то ночью пришли три матроса, искали оружие, спрашивали Крачковского, зачем ему столько книг, — и не заметили привезенного М. Н. Соколовым из Москвы мешочка с мукой, стоящего прямо на столе (а могли обвинить в спекуляции и арестовать [А, оп. 7, № 27, л. 69—70]); то «тройка» — рабочий, солдат и девица «возились с обыском около получаса» [5 сент. 1919 г.; А, оп. 2, № 6, л. 237].

На этот раз, в 1922 году, дело обстояло серьезнее. Вечером 19 августа Вера Александровна и Игнатий Юлианович скромно отметили десятилетие свадьбы, легли спать и вдруг в половине второго ночи пришли с обыском «трое агентов» и председатель домкомбеда. Обыск длился четыре часа; забрали письма и фотографии, объявили об аресте и увезли в открытой машине, сначала в ГПУ на Гороховую, а потом в ДПЗ на Шпалерную, 25, и поместили в сырую подвальную камеру-одиночку.

Крачковский попал в распоряжение следователя по особо важным делам Розеншейна, который на допросах стал требовать от него признания в том, что он «чуть ли не глава шпионской организации, действовавшей из Финляндии, и грозил расстрелом» [А, оп. 7, № 26, л. 128]. На одном из допросов была устроена ему очная ставка с совершенно незнакомым человеком, неким Смирновым, который заявил, что знает его, что фамилия его Кручковский и якобы с его поручениями он, Смирнов, неоднократно переходил финскую границу. Крачковский держался стойко, упорно отрицал какую бы то ни было свою вину и во время очной ставки требовал занести в протокол, что Смирнов, заявляющий, будто хорошо знает его, тем не менее фамилию его произносит неверно.

Через некоторое время Крачковского перевели в другую камеру и посадили с ним бывшего морского офицера-белогвардейца по фамилии Майвалдов, проходящего по тому же делу. По его словам, он знал Смирнова и сам ходил с поручениями через финскую границу. Быть может, этот Майвалдов был попросту подсадной уткой, но, так или иначе, маневр не дал желаемых результатов.

Тем временем Розеншейн вызвал к себе Веру Александровну и стал задавать ей странные, с ее точки зрения, вопросы о знакомстве Крачковского с полковником Фену, воспитателем сиамского принца, женатого на сестре университетского товарища Игнатия Юлиановича — упоминавшегося здесь И. И. Десницкого. За этим последовала серия вопросов об общении с финнами — не были ли они знакомы с генералом Маннергеймом (которого они, разумеется, и в глаза не видали), какие у них связи имеются с финскими крестьянами. Вера Александровна ничего не могла понять: общение с финнами, которых в то время очень много было под Петроградом, у нее было только на уровне покупки молочных продук

148

тов, не более. Но, как-то придя на Шпалерную с передачей, она неожиданно встретила во дворе ДПЗ действительно знакомую финку — жену крестьянина Фомы Пенния, к которому в 1917 году она ездила в Юкки за молоком. Эта финка всегда бывала с нею любезна, даже угощала овсяным кофе; теперь же при встрече с Верой Александровной она испуганно шарахнулась в сторону.

В. А. Крачковская впоследствии так объясняла финский вариант «шпионского» сюжета, связывая его именно с этими поездками в Юкки в дом Пенния: «Однажды, когда мы сидели с хозяйкой зимой в теплой, очень чистой кухне, хозяин сидел в чистой горнице рядом и разговаривал с каким-то русским субъектом, скорее среднего роста, блондином лет под 35—40. Тот, как мне показалось, осведомлялся о нас, кто мы. В середине зимы Игната чувствовал себя неважно, похудел и ослабел. М. Н. Соколов советовал нам поехать и пожить за городом во время каникул и рекомендовал поселиться в Юкках. В очередной четверг я договорилась с Пеннием, а в следующий раз заранее завезла к ним и оставила у них корзинку с небольшим количеством круп; на крышке корзинки была нашита тряпочка с моим именем и фамилией. Наш отдых в Юкках не состоялся: когда срок подошел, Фома сказал мне, что лучше пока отложить, потому что в Юкках много солдат, роют окопы» [А, оп. 7, № 26, л. 129—130].

Корзинка оставалась в Юкках, рассказывает далее Вера Александровна, вероятно, Фома Пенний тоже был арестован, и при обыске у него в доме нашли корзинку Крачковских. Человек же, с которым при ней разговаривал хозяин, очевидно, и был тот самый Смирнов, якобы узнавший Крачковского на очной ставке, — приметы его по описанию совпадали.

Порядки в ДПЗ по тем временам были еще достаточно либеральные. С самого начала два раза в неделю разрешались передачи. Вера Александровна носила мужу приготовленную дома еду, белье, теплые вещи; сшила специальные туфли из толстого сукна, чтобы ноги не мерзли в сырой камере. Однажды ее вызвал к себе начальник ДПЗ, старый подпольщик, и спросил, может ли она принести сегодня какую-нибудь пищу полегче и немного вина, так

как Крачковский заболел. Когда же Вера Александровна забеспокоилась, что не успеет обернуться за отведенное для передач время, он отдал распоряжение, чтобы передачу от нее приняли обязательно, даже если она опоздает. Если бы не протест следователя, то начальник даже отправил бы Крачковского в тюремную больницу.

Разрешалась и переписка — прямо по почте. Сохранилось 6 откиыток с цензурным штампом и обратным адресом: <Здесь. Шпалерная, 25, ДПЗ, камера 68, Крачковский. Содержание их однотипно: благодарность за очередную передачу и просьбы прислать ту или иную книгу.

149

Крачковские в своем несчастье не оказались одинокими. Большое участие принял в них С. Ф. Ольденбург, не так давно переживший такое же потрясение; он помогал и советами, и организацией передач, и поддержкой просьбы о свидании. Носить передачи помогали ученики: А. Ю. Якубовский, В. А. Эберман, М. Н. Соколов, иногда П. В. Ернштедт. Веру Александровну навещали Ф. А. Розенберг и И. И. Гинцбург, соученик Крачковского по ФВЯ. 16 сентября местком РАН постановил взять Крачковского на поруки, но получил отказ.

Вера Александровна и в этой трудной ситуации проявила свою деятельную натуру. Она выхлопотала свидание с мужем, которое произошло в кабинете начальника ДПЗ, в его присутствии. А главное — вопреки всяким тюремным правилам добилась разрешения передавать ему в камеру книги не только из его личной библиотеки, но и из Азиатского музея с последующим возвратом!

Разрешение на получение книг было самым главным завоеванием: ведь Крачковский не мог существовать без работы. Еще до получения книг, по памяти, он написал в камере подряд три заметки: некролог одного недавно скончавшегося молодого арабиста (6 августа), «Ибн Зейдун, поэт Андалусии» (7 августа), «Арабская Академия в Дамаске и ее члены» (8 августа); августом же 1922 г. помечены еще две работы: «Памяти Игн. Гольдциэра» и рецензия на издание Е. Гриффини «Corpus juris di Zaid ibn 'Ali». Очевидно, к этому же, «докнижному» периоду заключения относятся и написанные Крачковским в камере стихи, также датированные августом 1922 года и свидетельствующие о том, что у него было достаточно времени для их отделки:

Я пленник собственной отчизны,
Без солнца гибнущий побег.
Его листочки — нет в них жизни,
Будь солнца зной, будь дождь, будь снег.
В моей темнице крепки стены,
Сырая плеснь и скуден свет.
Пилы жужжанье неизменно
Звучит как песнь, хоть слов в ней нет.

Шагов вперед отмерю восемь, На восемь отступлю назад...
Листою алой скоро осень Утешит не мои глаза.

В окна полоску вид на окон Соседних мрачные щиты. И стены там
ушли высоко, До самой неба пустоты.

149

Там, за дверьми моей темницы, Проходят дни за рядом ряд. Здесь время встало, только птицы О вольной жизни говорят.

Д.П.З. Август 1922 [А, оп. 2, Nt 6, л. 305].

Разрешение на книги Вера Александровна получила в середине августа. Крачковский аккуратно, как он привык это делать на свободе, составлял библиографию прочитанных книг на маленьких листочках, иногда даже на обрывках бумаги, делал аннотации и выписки и внизу каждого листочка методически проставлял число, месяц, год, «ДПЗ» (иногда — номер камеры) и подпись.

Таким образом, можно составить представление о разнообразии круга его чтения за решеткой. Здесь одно из последних марксистских сочинений по востоковедению: «Проблемы Востока» Сафарова (Пг., 1922), в котором он даже находит кое-какие интересные для себя мысли и сведения, соседствует с «Пророком» Мережковского, перевод «Эдды» — с «Неподкупными судьями» А. Франса, «История французской литературы» Г. Лансона с «Генрихом фон Офтердингеном» Ф. Новалиса; указаны кое-какие беллетристические сочинения с восточными сюжетами, в том числе комедия Г. Гауптмана «Шлюк и Яу, в которой Крачковский усматривает некоторые параллели к сюжету сказки «Халиф на час». Весь этот разнообразный материал — не просто развлекательное чтение, а книги, прямо или косвенно связанные с прерванной арестом — в самом разгаре! — работой в редакционной коллегии «Всемирной литературы», с которой Крачковский связан уже многими нитями. Недаром ведь из предисловий к переводным произведениям он выписывает соображения о принципах художественного перевода.

Но больше всего, разумеется, книг по специальности — не только научных трудов, но главным образом классических арабских текстов¹⁵. Из текстов сделано много выписок; чаще всего встречаются указания на сюжеты и персонажи, нужные ему для работы над «Посланием о прощении» Абу-ль-Аля, начатой до ареста, и для замыслов кое-каких будущих работ, а также примеры на те или иные категории поэтики как пополнение работы об Ибн аль-Мутаззе.

Безусловно, эта психологическая невозможность и здесь существовать без работы спасла его от страха смерти и помогала выстоять. «Смерти я не боялся, — вспоминал он впоследствии, — это спасло меня от ложных показаний и, в конце концов, дало победу» [А, оп. 2, № 62, л. 117]. И все-таки, такое количество прочитанного и проработанного... Впрочем, в отличие от вольной жизни, здесь досуга хватало. Поневоле задаешь себе вопрос: а что если бы это случилось с ним в 1937 году или в 1949-м? Поистине, пути

150

Господни неисповедимы... Но и тогда, в 1922-м, расстрел грозил ему вполне реально: как указывает В. А. Крачковская в своих воспоминаниях, в 1927 году стало известно, что «поделухи» ее мужа, Смирнов и Майвалдов, были расстреляны [А, оп. 7, № 26, л. 130].

Но вернемся в год 1922-й. События развивались следующим образом. Следствию, очевидно, скоро стало ясно, что к финскому делу Крачковский непричастен. Тогда решили присоединить его к группе ученых, которых должны были выслать за границу, среди

которых были П. Н. Милюков, Н. О. Лосский, Л. П. Карсавин и др.¹⁶ О предстоящей высылке — или за границу, или в провинцию — Крачковскому было объявлено 14 октября 1922 года; на помеченном этим числом листке с выписками из арабской книги по риторике стоит дополнительная пометка: «Dies aсег!» («День суровый!», то есть День Страшного суда).

Крачковский не мог смириться с этим решением — об отъезде из Петрограда он никогда не помышлял: он слишком любил родину, чтобы волей или неволей покинуть ее, и слишком любил свою работу, чтобы согласиться на жизнь где-нибудь в провинции, вдали от библиотек, рукописных хранилищ, Азиатского музея. Он пишет заявление в особую комиссию ВЦИК и в суд, которое начинается так: «Не сознавая за собой никакой вины, требую пересмотра дела. Считаю всякую высылку как в пределах РСФСР, так и за границу, несправедливой» [А, оп. 2, № 31, л. 44], — вот так, не просит, а требует. Аналогичное заявление подала и В. А. Крачковская, утверждая, что ее муж никогда ни в какой политической деятельности не участвовал.

Стали ждать пересмотра дела. Тем временем Крачковского перевели в другое отделение ДПЗ, где и камера была получше, и прогулки разрешались, и главное — свидания в общей комнате за большим столом. Крачковские решили, что если уж ссылка окажется неизбежной, но им будет предоставлена возможность выбора, то лучше ехать за границу — в знакомые места, в Сирию или в Голландию, ведь скоро невиновность Игнатия Юлиановича выяснится и они смогут вернуться (святая наивность!). Но ему было объявлено решение о высылке в Вятскую губернию.

Неутомимая Вера Александровна стала срочно готовиться к отъезду: раздобывала где могла теплое белье, одежду, валенки и т. п., даже исхлопотала рекомендательное письмо в Вятский институт народного образования [А, оп. 2, № 31, л. 54]. Тем временем у М. Н. Соколова возникла идея поехать с ходатайством в Москву и добраться «до самых верхов» ГПУ. 4 января 1923 года он пишет Вере Александровне из Москвы: «Проник в самое пекло, где имел очень длинную аудиенцию, причем особа оказалась из объектов моего изучения. Посему, узнав о моей специальности, была весьма благосклонна» [А, оп. 2, № 31, л. 52]. 6 января Соколов телеграфирует, что на этот день назначен пересмотр дела, а

151

10 января В. А. получает телеграмму, подписанную Соколовым и Ольденбургом: «Постановлено освободить».

12 января Крачковский вернулся домой; забранные при обыске письма и фотографии, а также записи, сделанные в тюрьме, — все ему было отдано назад. Он сразу включился в работу: 16 января уже присутствовал на заседании Восточной коллегии «Всемирной литературы» и получил на рецензию очередные статьи [2, протокол № 407].

Для ряда деятелей культуры (С. Ф. Ольденбурга, А. Н. Тихонова, Е. И. Замятина, И. Ю. Крачковского и др.) эти краткосрочные аресты в начале 20-х годов были, разумеется, большим потрясением, но все-таки не катастрофой, перевернувшей всю жизнь, так что в шуточной «Истории Всемирной литературы» Е. И. Замятин даже позволил себе

изобразить эти события в комическом духе как вторжение неких «чужеземных воинов» в капитолий «великого царства». Вот, в частности, описание ареста Крачковского:

«Затем вошли в дом к другому мужу Совета, именем Игнатус, что значит неведомый или на неведомых языках говорящий, ибо в обширных землях Всемирной литературы правил он арабскими и халдейскими племенами. И увидав у него всюду во множестве арабские письма, так сказали ему:

— Как смеешь ты, нечестивый, молиться иным, нежели нашим кумирицким богам и их статуям?

На что Игнатус отвечал:

— Не молитвы это, но лишь амантные стихи шейха Абу-Темама.

Воины же, в знак презрения вложив пальцы в нос, сказали ему:

— Мы не знаем твоих мерзких арабских писмен. Возьми покрывало и подгололье и иди в темницу: там будешь, доколе не научишь нас мерзким арабским письмам, дабы могли мы увериться, что ныне не лжет твой коварный язык.

И посадили его в темницу» [А, оп. 2, № 109, л. 7].

Итак, все кончилось благополучно: советское востоковедение не лишилось одного из крупнейших своих ученых, хотя было на грани этой потери. Что тут сыграло свою роль — поведение Крачковского, заставившее его поверить? Заступничество С. Ф. Ольденбурга? Вмешательство «объекта изучения» М. Н. Соколова? Или просто Его Величество Случай?



ГЛАВА VIII

Легендарная «Всемирная»

Европа нас водила за нос, Нам было нечего прочесть, Пока судьба не привела нас На Моховую, 36.

Трудящийся Вас. Синекурой (Из Ежегодника «Всемирной литературы)

В истории русской культуры первого послереволюционного десятилетия есть эпизод, оставивший след в биографиях чуть ли не всех тогдашних петроградских ученых-филологов, а также многих писателей — работа в издательстве «Всемирная литература», созданном в 1918 году по инициативе А. М. Горького.

О деятельности этого издательства написано немало, и повторяться не стоит. Здесь будут даны лишь кое-какие общие сведения, необходимые для освещения работы членов Восточной коллегии «Всемирной литературы» и ее значения для отдельных ученых, чья жизнь в течение шести лет существования этого издательства была тесно связана с ним и чья дальнейшая деятельность в той или иной степени определялась задачами, поставленными тогда.

Целью издательства — как провозгласили его организаторы — было ознакомление читателей молодой советской республики с лучшими произведениями художественной литературы Европы, Америки и Востока в новых переводах, выполненных на научной основе.

При издательстве была также открыта студия с двумя отделами — учебным (на Литейном, 24) и просветительским (в Аничковом дворце). Учебный отдел проводил лекции и практические занятия по трем циклам: поэтическое искусство, искусство прозы и критика; в просветительском отделе читались публичные лекции о мировой литературе XIX и XX веков. В работе студии принимали участие известные писатели и ученые, в основном те же, кто работал и в издательстве: А. А. Блок, Ф. Д. Батюшков, А. М. Горький, Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин,

173

. Л. и М. Л. Лозинские, С. Ф. Ольденбург, К. И. Чуковский . К. Шилейко, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум и др,

Программой изданий, отбором материалов, рецензирование переводов ведали две коллегии экспертов — Западная и Восточная. В последней действовал все тот же хорошо известный нам коллектив востоковедов и среди них — И. Ю. Крачковский. Первое упоминание в его дневнике о «Всемирной литературе» относится к 10 января 1919 года: «Во вторник под председательством Ольденбурга раздумывали над предложением Горького организовать серию переводов с восточных языков» [А, оп. 2, № л. 209 об.]. Это начало приведенной нами в предыдущей главе в

записи о том, что «о занятиях не может быть и помину...по сообщениям холоду и меланхолии». Очевидно, Крачковского идея тогда не вдохновила, а через несколько дней он, как уже говорилось, увлекся переводом апокрифов по предложению С.А. Жеблева и то ли забыл о беседе с С. Ф. Ольденбургом, то ли отказался в этом проекте участвовать, если с ним еще раз заводили об этом разговор.

Тем временем была образована Восточная коллегия редакторов экспертов (Западная коллегия уже функционировала) в составе С. Ф. Ольденбурга, В. М. Алексеева, Б. В. Владимирцова Н. Я. Марра, П. К. Коковцова и А. Н. Тихонова, заведующего издательством. Тут же выяснилось, что П. К. Коковцову по состоянию здоровья трудно будет выполнять обязанности эксперта. Ольденбург снова начинает переговоры с Крачковским. Дело происходит уже в апреле, апокрифы почти кончены, на улице и в доме потеплело — и на этот раз предложение кажется Крачковскому более приемлемым: «Ольденбург паки приставал с "Всемирной литературой" Горького. Все это очень соблазнительно, но не знаю как бы урвать время» [25 апр. 1919 г.; там же, л. 223]. 6 мая уже принимает участие в заседании, избран в состав коллег вместо Коковцова и по своему обыкновению сразу же активно включается в работу.

На заседаниях Восточной коллегии, помимо основного состава редакторов, обычно присутствовали и другие востоковеды В. В. Бартольд, И. А. Орбели, В. Д. Смирнов, А. Н. Самойлов молодежь, привлеченная к подготовке переводов, — словом там был все тот же круг. Составили списки старинных памятников современных произведений, рекомендуемых для перевода, были подобраны исполнители — и работа закипела.

Немалую роль в привлечении ученых к сотрудничеству особенно на первых порах, играло и то, что «Всемирная литература давала неплохой приработок. В 1919 году за перевод, не требующий редактуры, и за вводную статью выплачивалось 1500 р. лист [13

июня 1919 г.; 2, протокол № 249]; в 1920 году в связи инфляцией ставки были повышены уже до 3300 рублей за ту же работу. Кроме того, как вспоминает В. А. Крачковская, сотрудни

154

кам выдавали продуктовые пайки (часто — рыбу, а иногда даже мясо), время от времени снабжали одеждой и посудой [А, оп. 7, № 27, л. 98].

Но главную роль, несомненно, играла духовная сторона этого начинания. В. М. Алексеев, секретарь Восточной коллегии, писал в годовом отчете (28 апреля 1919 г.—28 апреля 1920 г.): «Условия истекшего года были столь ужасны, что для большинства ориенталистов-переводчиков их сотрудничество вовсе не являлось добыванием необходимых средств к жизни, а прямо культурною данью культурного человека, живущего не одним лишь насущным моментом» [8, с. 255].

Вряд ли какое-нибудь другое предприятие могло бы в первые послереволюционные годы сыграть для ученых-гуманитариев такую значительную роль, как «Всемирная литература». Дело, без которого жизнь теряла смысл, оказывалось теперь не просто единственным убежищем, оплотом против «революционного хаоса», а трудом, хоть в какой-то степени примиряющим их с новой властью.

Ученые, далекие от политики, получили возможность применить свои знания для целей, близких любому патриотически настроенному гражданину. Предполагалось, что популяризация будет вестись на достаточно высоком научном уровне. Книги должны были выходить в двух сериях — основной, рассчитанной на «среднего интеллигентного читателя с гимназическим образованием», и народной, читателем которой мыслился «полуинтеллигентный пролетарий и крестьянин» [А, оп. 2, № 233, лл. 46—47].

Были четко определены требования к вступительным статьям. Так, например, предисловие общего характера должно было включать биографию автора, описание общественной и литературной среды, в которой он действовал, литературно-критический очерк деятельности, анализ литературных приемов, сведения о литературной судьбе произведения, но при всем этом материал не следовало излагать чересчур наукообразно, предисловие должно было представить перед читателем живой облик автора. Для народной серии обязательно разъяснение внутренней тематической сущности предлагаемых произведений — характеристика исторической и бытовой обстановки, отражение классовых взаимоотношений, литературных достоинств и т. п. Язык предисловий для народной серии «должен быть по возможности прост, популярен, не содержать литературных и иных ссылок, специальной терминологии и вообще иностранных слов» [там же, л. 48].

Правда, были еще демократические времена: боясь связывать авторскую свободу, руководство тут же оговаривало, что оно не собирается «стеснять и ограничивать индивидуальный подход сотрудника к его теме. Цель тезисов — внести некоторую планомерность и единообразие в коллективную работу Издательства, а от

нюдь не в том, чтобы создать мертвый шаблон для изготовления вступительных статей по заданному образцу» [там же, л. 49] .

Заседания редакционных коллегий издательства проходили сначала на Невском, 64, а с августа 1919 года — на Моховой улице, 36, два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Обычно один день отдавался Восточной коллегии, другой — Западной, иногда заседания шли параллельно.

Работа во «Всемирной литературе» не только вовлекала ученых в широкую просветительскую деятельность — она множила и разнообразила их научные и литературные связи. Члены Восточной коллегии нередко посещали заседания Западной, ведь западники имели больше опыта по части популярных изданий. Так, у Крачковского в дневнике читаем: «27 мая 19 г. Всемирная литература, где заседание западного отдела. Посидел не без удовольствия, так как интересно было послушать, как у них идут дела» [А, оп. 2, № 6, л. 227]. «3 июня. На заседании западной коллегии был Горький, которого я впервые видел; разносил жестоко некоторые переводы Бальзака, Ибаньеса и др., главным образом, в смысле русского языка, и, надо сказать, основательно» [там же, л. 228].

Члены Западной коллегии тоже приходили иногда на «восточные» заседания. Крачковский записывает, например, 15 мая 1919 года: «В половине 6-го заседание "Всемирной литературы". Был сегодня еще Чуковский и Гумилев, которые вели себя скромно. Первый, по-видимому, основательнее» [там же, л. 226]. «4 июля 1919 г. У нас в восточном заседании впервые был Горький, вероятно по поводу его критики смирновского Сахиб Гирея. Критика, главным образом, в смысле стиля и выражений... В общем с ним все же можно толковать и слушает он внимательно» [там же, л. 231].

Разумеется, перед восточниками задачи стояли сложнее, и почти каждый шаг переводчиков был шагом по целине. Но западникам контакты с Востоком тоже были полезны: перед ними открывался неведомый ранее мир, рушивший привычный европоцентризм и представления об искусстве [см. 52, с. 54]. В частности, Блок записывает в дневнике 22 октября 1920 года: «Статья В. М. Алексеева о китайской литературе (подчеркнуто Блоком. — А. Д.). Новые горизонты и простор для новых обобщений. Связь и со "Всемирной литературой" и с тем, что есть в акмеизме» [13, т. 7, с. 372]2.

Интересны были западникам и отзывы востоковедов, выступавших у них в качестве экспертов. Так, например, Крачковский обычно рецензировал переводы с ближневосточной тематикой — из Бенуа, Лота, Мишле, Гауффа и др., а также переводы испанских и португальских писателей. Сохранившиеся наброски этих выступлений свидетельствуют об очень внимательном отношении к

делу, профессиональной компетенции и независимости мнений, расходившихся порой с оценками экспертов-западников3.

Бывало, что западники и восточники объединялись для совместной работы. Так, И. Ю. Крачковский принимал участие в издании перевода романа аргентинского писателя Энрике Ларрета

«Подвиг Дон Рамиро», изображающего борьбу морисков против испанского короля Филиппа II. Ему принадлежала вступительная статья «Подвиг Дон Рамиро и арабская старина» и некоторые примечания; основное же предисловие, большая часть примечаний и редактura были выполнены Г. Л. Лозинским. Надо сказать, что это не было случайным эпизодом в их взаимоотношениях: Крачковский с сентября 1919 года брал у Лозинского уроки португальского языка и, в свою очередь, оказывал ему, активному переводчику с испанского и португальского, помощь в толковании часто встречающихся в текстах арабских имен и терминов. После отъезда Г. Л. Лозинского за границу в 1921 году между ними долго шла дружеская переписка и обмен книжными новинками. Крачковский помянул его в книге «Над арабскими рукописями», но, по известным причинам, анонимно [28, с. 111].

Так в недрах «Всемирной литературы» складывалось новое содружество с определенным кругом общих интересов и стилем взаимоотношений, была даже своя шуточная «мифология». В те трудные месяцы они были способны шутить — и как остроумно!

Сохранились и ждут своего издателя и комментатора пародийные «Ежегодники»; в 1970 году в Мюнхене вышла в собрании сочинений Е. И. Замятина написанная им в 1921—1922 гг. «Краткая история Всемирной литературы от основания до сего дня». В составлении «Ежегодников» участвовали и западники, и восточники, в частности китаисты во главе с В. М. Алексеевым. Публиковались в «Ежегоднике», например, такие «цензурные требования»:

«I. В словах, в которых хотя бы некоторая часть является неприемлемой, заменять эту часть многоточием: например "ры-царь" набирать ры...; "у-бог-ий" — у...ий; сюда же относятся слова "святки" и "культура", которые следует писать "...ки" и "...ура".

II. Слова: душа, интеллект, ум, умный, дворец, дворецкий, двор, дворняжка, цепи, ошейник снабжать подстрочными примечаниями, что они употребляются в дискуссионном порядке.

III. Окончательно и навсегда изгнать букву "ять", которая еще гнездится в некоторых словах. Так: Зам-ят-ин отныне должен подписываться Зам-е-ин; слово "приятель" будет писаться "приеель", слово "сиять" совсем придется выбросить из употребления, так как, если его набирать как "сие", оно покажется чересчур устарелым современному уху» [А, оп. 2, № 109, л. 17].

Расхождения между экспертами Западной и Восточной коллегий касались прежде всего принципов перевода.

156

Опыта художественного перевода у востоковедов не было, по сути, совсем, и поэтому работа Восточной коллегии начиналась с обсуждения новых положений, которыми они будут руководствоваться в дальнейшем. Члены Западной коллегии уже успели выпустить брошюру «Принципы художественного перевода», содержащую статьи Н. С. Гумилева (переводы стихотворные) и К. И. Чуковского (переводы прозаические), но востоковедами их принципы были отвергнуты. В этом не было ничего удивительного: подход художника столкнулся с подходом филолога, чтящего прежде всего вербальную точность. Тем более что востоковедам, обычно имеющим дело с трудно расшифровываемыми текстами, свойственно особо

скрупулезное отношение к их толкованию. Переводы, включавшиеся в научные труды, делались обычно так, что сквозь ткань русского текста как бы просвечивал восточный. Они предназначались в первую очередь для читателя-специалиста, показывая, как автор интерпретирует то или иное, часто спорное место в памятнике.

Влияние такого подхода, убежденность, что для каждого слова подлинника переводчик должен подобрать именно одно эквивалентное слово, в той или иной степени сказались в восточных переводах «Всемирной литературы», которые противники несколько презрительно окрестили «профессорскими»⁴. Впоследствии, оценивая их труд, известный советский теоретик перевода А. В. Федоров скажет, что эти переводы отличались «прежде всего чрезвычайной добросовестностью в передаче смыслового содержания подлинника и вниманием к его формальным особенностям», однако «не были местами свободны от налета дословности, а форма оригинала воспроизводилась кое-где чрезмерно прямолинейно, без должного учета условий и требований русского языка» [49, с. 86].

И все-таки полного единства в подходе к переводу не было и у востоковедов. Ученые, имевшие вкус главным образом к художественной литературе каш, например, В. М. Алексеев и И. Ю. Крачковский, ощущали противоречие между научными и эстетическими задачами перевода. Не об этом ли противоречии свидетельствует специально опущенная мною фраза И. Ю. Крачковского в рассказе о его споре с Горьким, критиковавшим перевод В. Д. Смирнова «в смысле стиля и выражений»: «Пришлось мне отчасти отстаивать то, что я сам не одобряю» [А, оп. 2, № 6, л. 231 об.].

Для Крачковского фраза странная — не в его обычаях отстаивать то, с чем он внутренне не согласен. Вероятно, она имеет отношение к представленному им «Всемирной литературе» на этом же заседании 4 июля 1919 года переводу «Повести о Варлааме и Иоасафе» из архива В. Р. Розена. Дело в том, что здесь он оказался перед дилеммой: долгом для себя почитал выпустить перевод своего учителя в том виде, как он был подготовлен им для печати то же время понимал некоторое несоответствие этого

178

157

прот. № 416], а 31 июля того же года уже представляет готовую работу: перевод заново просмотрен, дополнен недостающими главами снабжен вступительной статьей и библиографией. В приложена, добавляет Крачковский, «желательно было бы поместить некролог покойного переводчика, который много потрудился над этой работой» [2, прот. № 433]. Предложение Крачковского было одобрено, однако издать «Калилу и Димну» «Всемирная литература» уже не успела, равно как и «Чудеса Индии» и «Книгу альфахи». Тем не менее переводческая деятельность ленинградской школы под руководством И. Ю. Крачковского в дальнейшем имела свое продолжение, но об этом в следующих главах.

Посвящая столько времени и сил организации переводческой работы и редактуре, Крачковский в эти годы много переводил и сам. Нет, не по обязанности — он, несомненно, давал волю самым сокровенным своим научным и художественным пристрастиям.

2 июля 1919 года, кончив «чистку» предисловия к «Варлааму», он тут же записывает: «Начинаю слегка подумывать об "эмигрантах"» [А, оп. 2, № 6, л. 232 об.]. «Эмигранты» — это писатели — выходцы из ливанских семей, эмигрировавших в конце прошлого века в США или в Бразилию; их сообществу он впоследствии даст название «сиро-американская школа», предугадывая начение этих писателей для всего развития арабской литературы в XX веке. И. Ю. не останавливает ругательная статья в пресе о его переводах из Амина Рейхани — тоже сиро-американца; правильности своего выбора он уверен, да кроме того, мне кажется, никто из новых арабских писателей так не отвечал его душевному складу, как сиро-американские романтики, правда, не столько Рейхани, сколько другой лидер этой группы Джебран Ха-лил! Джебран. Об этом пристрастии говорят его собственные «пробы» арабского сочинительства, о которых было упомянуто в главе о путешествии на Восток, — лирические стихотворения в прозе типично сиро-американского стиля.

Вероятно, перевод Джебрана очень манил Крачковского: стоило 2 июля о нем «слегка подумать», как, едва успев просмотреть очередной «транспорт» от Салье, он тут же 30 июля берется за джафановские стихотворения в прозе и работает над их переводом весь август. И тут происходит удивительное слияние поэта и переводчика, они настолько созвучны друг другу, настолько близки й духу, что «профессорский» перевод с установкой на буквальность передачи вдруг начинает звучать подлинной поэзией, дышется легко и свободно, так что у современных редакторов, далеко ушедших от строгости «Всемирной литературы», на этот перевод не поднимается рука. Больше такого внутреннего родства не возникло ни с кем, даже с Рейхани, которому Крачковский очень симпатизировал и с которым (несколько позднее) состоял в переписке.

158

Работал Крачковский над своими «эмигрантами» с большим подъемом, но, естественно, урывками, так что рукопись была представлена в Восточную коллегию лишь почти через два года. Это был сборник объемом около 15 листов, распадавшийся на три части: статьи, речи и верлибры Амина Рейхани, стихотворения в розе и отрывки из трех повестей Джебрана; юмористическая повесть «Народный подарок» бразильца Шукри Хури; публицистика и литературная критика Сулеймана аль-Бустани, Луиса Шейхо, Амина аль-Греййиба и Насиба Арыды. Сборник был высоко оценен С. Ф. Ольденбургом и другими членами коллегии, но так и не увидел света.

В протоколе Восточной коллегии от 8 мая 1923 года сказано кратко: «Из цензуры получен том "Арабские эмигранты в Америке". Цензура предлагает не печатать весь том, а взять лишь десять рассказов» [2, протокол № 422]. В архиве же И. Ю. Крачковского сохранился «Политический отзыв» некоего Волкова (без инициалов)

на эту рукопись, датированный 30 апреля (без года) и снабженный специальной номерной карточкой — то есть, очевидно, это и есть то самое цензурное запрещение. В «политическом» отзыве сиро-американским писателям инкриминировалось, что все их произведения «полны призыва к личному самосовершенствованию, протеста против партийности и общественной жизни, мистикой, своеобразной религиозностью, индивидуализмом, наивным национализмом и т. п.», а включенные в сборник арабские критические статьи «никакой ясности для характеристики писателей эмигрантов не вносят»; предисловие же Крачковского «весьма поверхностно касается общественных мотивов произведений» [А, оп. 2, № 74, л. 1], при этом в самой рукописи рецензентом подчеркнуты наиболее «одиозные» места. Сказано и о возможности журнальной публикации «максимум десяти» из этих произведений «с соответствующим предисловием» [там же].

Так И. Ю. Крачковский впервые столкнулся с советской политической цензурой, предписывающей обязательное соответствие всей печатной продукции «диалектико-материалистическому творческому методу», а если арабские романтики начала XX века смеют ему не соответствовать, то тем хуже для них и печатать их нечего. Том «Арабские эмигранты в Америке» остался в архиве Крачковского; впоследствии некоторые из входивших в него переводов Джебрана и Рейхани были опубликованы его учениками.

К этому же периоду «Всемирной литературы» относится начало еще одного переводческого замысла Крачковского, реализация которого будет иметь долгую и трудную историю. С марта 1920 года, в разгар работы над «эмигрантами», над редактурой чужих переводов, в дневнике вдруг появляются записи о чтении различных трудов по Корану: Д. Мюллера («Не убедил он меня в строфичности Корана и думаю, что это только фантазия» [25 марта 1920 г.; А, оп. 2, № 6, л. 246]), Макдональда, Хиршфельда,

159

Нельдеке и др., и возникает постоянное ощущение, что это не случайно, словно какая-то навязчивая идея: «К Корану по-прежнему тянет...» [21 апр.; там же, л. 250], «немного опять шевелил Коран, который совсем застыл» [5 мая; там же, л. 251 об.] и т. п.

Наконец 29 мая «тайна» тяги к этому памятнику раскрывается: «Соблазняет меня мысль о переводе Корана — и как-то жутко на ней остановиться» [там же, л. 285]. И через неделю опять: «Как-то страшно все же думать о переводе Корана» [6 июня; там же, л. 286]. Тут же находится объяснение: «Очень уж это в материальном отношении невыгодно». Но, полагаю, не только в этом дело: Крачковский чувствовал и понимал, что эта работа пока ему не по плечу — он еще не вчитался как следует в текст, не ощущает его таким же «своим», как поэзию, и если браться теперь за него, нужно до конца подчинить себя именно этой работе, она не пойдет между делом, подобно Рейхани...

С 1921/22 учебного года Крачковский приступает в Университете к новому курсу: «Чтение Корана с научным комментарием», который он и вел потом до конца своих университетских дней. Так появляется

повод — более того, обязанность! — приступить-таки к переводу Корана. 16 апреля 1922 года, подводя итог сделанному за зиму, он записывает между прочим: «Писал тоже по мере лекций перевод Корана — закончил первый период» [там же, л. 300]. О том, как это начинание развивалось дальше и какие препоны встречало на пути, речь пойдет в следующих главах.

С преподавательской деятельностью Крачковского связана была еще одна дорогая его сердцу переводческая работа — древняя поэзия. В 1920 году Крачковский был приглашен читать лекции в Институте истории искусств. Особенность тамошней аудитории состояла в том, что она не была знакома с арабским языком, поэтому для курса арабской поэзии переводы были необходимы: вот и реальный толчок к осуществлению еще одного потаенного замысла.

Нет нужды говорить о том, что при переводе поэзии вопрос о передаче формы (в первую очередь размера и рифмы) играет особую роль. На одном из заседаний коллегии, посвященном разбору перевода «Шахнаме», Крачковский, как уже говорилось, предлагал альтернативное решение: или прозаический перевод — или ритмический (размером подлинника). Теперь, исходя из своих возможностей, он выбрал для себя первый путь. Начал с муалла-ки доисламского поэта Антары (2 июня 1921 г.) — и тут же увлекся: в июне записи о работе над поэтами почти каждодневные, и вот тогда-то проект перевода Корана начинает отходить на задний план: «Кажется, очередным переводом для "Литературы" сделаю все-таки поэзию, а не Коран» [12 июня; там же, л. 286 об.]. Хотя он отдает себе отчет, что «и это в материальном отношении, увы! невыгодно» [8 июня; там же, л. 286].

160

За июль—сентябрь 1921 года была сделана большая подборка переводов из древней поэзии: несколько десятков стихотворений (некоторые — по сотне и более бейтов) восемнадцати поэтов. Это подстрочные прозаические переводы, хорошо продуманные, однако порой тяжелые по языку и в отдельных фразах даже малопонятные, но тем не менее сохраняющие в чем-то специфику и прелесть непосредственности древней поэзии бедуинов. Для учебных целей этот перевод, несомненно, был весьма полезен: «Проделал опыт с лекциями о поэзии для не знающих языка и нахожу его вполне возможным» [30 мая 1921 г.; там же, л. 285]б. Однако «Всемирной литературе», в плане изданий которой «Древняя арабская поэзия» стояла, он этот свой труд почему-то не предложил — или считал его незаконченным, или художественно несовершенным. Из всей обширной подборки увидело свет только одно большое стихотворение аш-Шанфары, которое Крачковский озаглавил «Песнь пустыни» [62, № 4, с. 58 — 64]. В предисловии к этой публикации он, без всякого самообольщения, так оценивает значение своего перевода: «Филологический перевод не претендует на самостоятельное художественное значение, прежде всего потому, что он исполнен прозой и ни в какой мере не передает форму оригинала... Переводчик желал только представить читателю не всем доступный оригинал в возможной близости, чтобы дать почувствовать аромат арабской оболочки сквозь русскую передачу»

[там же, с. 59]. На мой взгляд, эта оценка вполне справедлива: хоть стихи в передаче Крачковского перестали быть стихами, «аромат арабской оболочки» в них ощущается сильнее, чем в иных благозвучных стихотворных переводах, выполненных ремесленниками. Вспоминая, наверное, переводческие опыты Юлии Юлиановны, или, может быть, вдохновляясь Ибн Хамдисом Эбермана, Крачковский в конце предисловия высказывает надежду, «что его работа послужит опорой для поэта, который пожелает воплотить "Песнь пустыни" в русских стихах». Возможно, эта публикация представляла своего рода «пробный шар»: ведь и Ю. Ю. Снитко, и В. А. Эберман переводили лирику, стихи малых форм, притом более поздние. А можно ли найти адекватную русскую форму для чисто бедуинской поэмы? Увы, при его жизни таких попыток сделано не было.

«Всемирной литературе» советское востоковедение обязано и созданием первого востоковедного литературного журнала «Восток» — уникального издания, выходившего в 1922—1925 годах, подобного которому у нас с тех пор не появлялось. «Восток» имел подзаголовок: «Журнал литературы, науки и искусства»; в нем печатались новые переводы с восточных языков (иногда — отрывки тех произведений, которые должны были вскоре появиться отдельным изданием с грифом «Всемирной литературы»), статьи на литературные и историко-культурные темы, востоковедная библио

161

графия, сообщения о деятельности востоковедных учреждений у нас и за рубежом, некрологи, мелкие хроникальные заметки.

С. Ф. Ольденбург во вступительной статье первого номера журнала писал о его задачах так: «Мы хотим поставить Восток ближе к широким кругам русских сознательных людей, ибо мы знаем, что старый Восток, великий творец в области духа, дал нам вечные образцы, которые никогда не потеряют своего значения для человека и никогда не будут так повторены. И вместе с тем мы знаем, что новый Восток полон тоже великих возможностей, заветы старого не умерли в нем, но он должен претворить их в новые образы, дать новые достижения.

Мы уверены, что России и Западу нужно знать и древний, и новый Восток, без этого знания наша жизнь будет беднее и одностороннее. Чтобы свершилось, наконец, давно желанное глубокое и настоящее единение Востока и Запада, необходимо полное взаимное понимание, к нему мы стремимся и хотим по мере сил ему помочь» [62, № 1, с. 6].

Инициатором создания журнала был А. Н. Тихонов, в редколлегию помимо него вошли В. М. Алексеев, Б. Я. Владимирцов, И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург. Последний осуществлял общее руководство журналом и взял на себя отдел хроники, библиографией ведал В. М. Алексеев, отделом беллетристики — И. Ю. Крачковский. Журнал выходил не регулярно, а по мере накопления материала, который отбирался и обсуждался так же тщательно, как для отдельных изданий. С 1922 по 1925 годы вышло пять книжек журнала объемом по 150—200 страниц каждая; на этом «Восток», к сожалению, прекратил существование.

Арабисты подготовили свой план для «Востока», состоявший из двух частей: переводы и статьи. План, сохранившийся в архиве Крачковского [А, оп. 2, № 233, л. 33], написан, как кажется, рукой Эбермана, да возможно и составлен им, особенно по части переводов, где фигурируют в основном средневековые поэты, среди которых на первом месте Ибн Хамдис (переводы его стихов, выполненные Эберманом, напечатаны в кн. 3 «Востока», 1923). Планировалось также поместить в журнале макаму аль-Харири, суру или две Корана, отрывки из «Книги песен» аль-Исфахани, «1001 ночи», народного романа об Антаре и др.

Список статей тоже составлен с размахом. В нем отразились интересы и учителя, и ученика, а реализованы в «Востоке» были из этого списка всего две темы: «Ближний Восток в русской поэзии» (В. А. Эберман. Арабы и персы в русской поэзии [62, № 3, с. 108—125]) и «Историко-литературные монографии об отдельных эпохах» — не в полном объеме, разумеется, а в форме двух статей И. Ю. Крачковского.

«Восток» в биографии Крачковского — немаловажный этап. Здесь он мог, прежде всего, продолжить работу по двум своим основным линиям: классическая арабская поэзия и новарабская

162

литература; христианско-арабская линия, как это будет ясно, нашла отражение в журнале «Христианский Восток».

Именно в «Востоке» Крачковский опубликовал тогда важные обобщающие работы по обеим упомянутым линиям: «Возникновение и развитие новарабской литературы» [62, № 1, с. 67—73], о которой уже говорилось выше, и «Арабскую поэзию» [62, № 4, с. 97—112], кстати также выросшую на лекционной основе. Это был первый в русской арабистике очерк развития арабской поэзии от доисламских времен вплоть до XX века, разворачивающий перед читателем удивительно динамичную панораму движения арабской поэзии от этапа к этапу в сложном сплетении традиций и нового. И в этом очерке Крачковский остался верен выработанному им эстетическому подходу к арабскому поэтическому наследию.

С этими же двумя направлениями были связаны и немногочисленные его переводы, опубликованные на страницах «Востока», и некоторые мелкие статьи. Популяризаторский дар Крачковского, открывшийся в первом же его юношеском докладе об Абу-ль-Ата-хии, нашел здесь прекрасное применение: его статьи, при всей их строгой научной корректности и новаторстве в концептуальном плане, были доступны для понимания даже неподготовленному читателю.

Не менее важна была роль Крачковского в выполнении тех задач «Востока», которые специально не декларировались во вступительной статье С. Ф. Ольденбурга: журнал был призван консолидировать востоковедные силы Петрограда, способствуя сохранению традиций классической русской исторической и филологической науки, поддерживать ощущение постоянной связи с другими научными центрами в нашей стране и за рубежом. И вот здесь Крачковский, неутомимый книголюб и любитель библиографии, оказался в своей стихии. Он был чуть ли не самым активным

сотрудником достаточно обширных хроникально-библиографических отделов журнала. Характерно, что к моменту формирования № 1 он, очевидно, обладал наиболее богатой информацией по этой части: в отделе «Востоковедение» ему принадлежат 10 заметок из 14, а в «Библиографии» — 11 из 22.

При всей замкнутости своей натуры, Крачковский в науке был несомненно экстравертом: его всегда интересовало то, что пишут другие, у него буквально руки чесались написать рецензию на новую книгу или статью; с многими учеными он вел переписку, с готовностью откликался на все просьбы и охотно делился с коллегами разнообразными сведениями, почерпнутыми из книг, журналов и частных сообщений. Естественно, его всегда интересовали и чужие отклики на его собственные работы, ему, который так долго страдал комплексом научной неполноценности, было важно, как его поймут и воспримут. Не отсюда ли свойственная ему «популяризаторская» ясность стиля?

163

Интерес и уважение к деятельности коллег и предшественников стимулировал развитие еще одного направления его трудов, о котором говорилось выше, — история востоковедения. Здесь «Восток» также открывал широкие возможности. Часто, увы, приходилось обращаться к этой тематике по печальным поводам: в эти трудные годы и русское, и европейское востоковедение недосчитывалось многих. Некрологи, написанные Крачковским, никогда не превращались в стандартное славословие — они всегда содержали серьезный, хоть и сжатый, анализ научной деятельности усопшего, попытку оценить его место в истории науки. Так постепенно накапливался материал для капитальных трудов и в этой области.

В следующей главе я ненадолго вернусь еще к «Востоку» в жизни Крачковского, выскажу еще одно соображение, почему этот журнал мог иметь для него особую важность.

Заканчивая рассказ о деятельности востоковедов во «Всемирной литературе», хочу обратить внимание на одно обстоятельство. Не надо представлять ее себе неким идиллическим царством, где все только и делали, что помогали друг другу и расточали взаимные комплименты. Как это свойственно подлинным ученым, они отделяли «общую доброжелательность от научного критицизма» — эти слова, сказанные В. М. Алексеевым о С. Ф. Ольденбурге [8, с. 20] можно отнести ко всем членам Восточной коллегии.

На заседаниях ее кипели страсти. Оценка того или иного перевода нередко вызывала ожесточенные споры, искали среди членов коллегии «третейского судью». Как бы то ни было, мы не встретим в протоколах ни одной заведомо комплиментарной оценки или равнодушной отписки. Критика высказывалась обоснованная, нелицеприятная, порой жесткая. Так, И. Ю. Крачковский, при всей его «чуткости и деликатности», отмеченных в свое время В. М. Алексеевым [69, 1986, № 6, с. 53], мог дать такую убийственную характеристику переводу одного из памятников турецкого эпоса:

«Стиль перевода в общем бледен, не выдержан и неравномерен: наряду с более удавшимися частями встречаются тяжелые отрывки...

К такому субъективному, быть может, впечатлению читателя присоединяется ряд объективных недостатков, которые могут быть сведены в следующие четыре категории:

1. Тяжелые, неудачные и неправильные конструкции и обороты;
2. Слова и сочетания, резко нарушающие стиль поэтически-эпического повествования;
3. Провинциализмы, малоупотребительные и несуществующие слова и выражения;
4. Неблагозвучные сочетания...

Предисловие по самому подходу не соответствует идее издательства — многословное исследование материала, больше похоже

164

на доклад в научном обществе... Характер изложения, как в переводе, — бледен и растянут» [протокольная запись устного выступления 19 сент. 1919 г.; 2, прот. № 262].

Особенно бурно обсуждался состав каждого номера журнала «Восток». И неудивительно: востоковеды впервые получили реальную возможность и популяризации знаний о Востоке, и самовыражения (это ведь было не то, что строгие академические «Записки Восточного отделения»!). Многих буквально захлестывало желание поделиться накопленным не только с ближайшими сотрудниками, заразить своей одержимостью тех, для кого Восток оставался неизведанным миром. И тут возникали яростные споры о количестве материала, представляющего каждую из восточных культур, и о соответствии этого материала требованиям и возможностям журнала.

Самым эмоциональным, самым безудержным спорщиком был В. М. Алексеев. Его темпераментность и упрямство в постоянном стремлении отстоять свой материал, конечно, доставляли коллегам по «Всемирной» немалые трудности. Недаром К. И. Чуковский называет его в дневнике «тупоголовым китайцем», с досадой говорит о его «бестактных бездарных выпадах» и т. д. [71, 1990, № 8, с. 162]. Уверена, доживи Чуковский до возможности самому опубликовать свои дневники, он, оглядываясь назад, опустил бы эти несправедливые и грубые оценки, продиктованные сиюминутным раздражением. Но об этом теперь поздно сожалеть.

Споры с Алексеевым изрядно мучили Крачковского. В дружеском письме к Г. Л. Лозинскому (который в это время уже в Париже), он сетует: «Большая беда с В. М. Алексеевым, который благодаря своему резко индивидуалистическому укладу не может войти в коллегиальную работу и не желает считаться с общежурнальными условиями»¹.

Это письмо и дневниковую запись⁸ Крачковского (надо полагать, приблизительно одновременную) иллюстрирует любопытное свидетельство со стороны — того же К. И. Чуковского, — как Крачковский «с великолепной четкостью, деликатностью, вескостью» критиковал на коллегии материалы В. М. Алексеева: «Я восхищался Крачковским, он был так неумолимо ясен, точен — и, главное, смел... Тихонов потом сказал мне, что Крачковский накануне своего выступления не спал всю ночь. Но произносил он

свою критику обычным ровным, усыпительно-бесстрастным тоном — как всегда, не повышая, не понижая голоса, и если не смотреть на него, можно было бы сказать, что он равнодушно читает какую-то книгу, которая ему неинтересна и даже — непонятна. Алексеев устроил величайшую бурю: заявил о своем уходе и проч. — но через 3 часа его укротили и он пошел на уступки» [там же].

Чуковский, пожалуй, недопонимает ситуацию: не в смелости даже тут дело, тут друг критикует друга с принятой в их общест

165

ве «жесткой, неумолимой, порой максималистской требовательностью» [69, 1986, № 6, с. 153], зная, как больно ему делает, отсюда и бессонная ночь накануне, и наименее ранящий «усыпительно-бесстрастный тон». М. В. Баньковская, повествуя о деловых взаимоотношениях тогдашних востоковедов, пишет с некоторым пафосом: «Задетые самолюбия жалости не вызывали, амбициозность почиталась невежеством. Постыдной боязни испортить отношения они не знали, так как вообще не считали возможным переносить в науку подобные обывательские мерки» [там же]. Так-то оно так — но ведь возникали же бури «вплоть до заявлений об уходе», и, по словам Крачковского, «на нервы все это действовало, конечно, жестоким образом» [А, оп. 2, № 6, л. 299 об.].

Однако обиды проходили, сменяясь ощущением своей неправоты, и в конечном счете эти взрывы на общую дружескую и творческую атмосферу не влияли. Характерно, что Алексеев и Крачковский сохранили дружбу до конца своих дней. И через много лет в юбилейной статье, вспоминая о совместной работе в Восточной коллегии, Алексеев скажет о своем друге: «Наилучшие экспертизы (для отдачи в перевод) литератур на 26 языках мира во "Всемирной литературе"... а также наилучшая востоковедная, переводческая и научная продукция в этом "издательстве" принадлежали, конечно, только ему» [8, с. 50].

Далеко не все планы «Всемирной литературы» были осуществлены и не все подготовленные к изданию материалы увидели свет. Тому целый клубок причин: недостаток денежных средств, бумаги, тяжелое положение на книжном рынке (зависящее частично от плохой организации), сложные отношения с Госиздатом, в состав которого «Всемирная литература» входила как самостоятельная единица, работающая, однако, под его контролем и финансируемая им. Кончилось тем, что в декабре 1924 года она прекратила свое существование навсегда 9.

Для сотрудников обеих коллегий и для технического персонала это было настоящей драмой. В архиве Крачковского сохранилась записка секретаря издательства В. А. Кюнер-Сутугиной, написанная к концу декабря 1924 года, когда во «Всемирной литературе» была получена бумага от директора Госиздата И. И. Ионова с предписанием сдать все дела заведующему иностранным отделом Ленгиза А. Н. Горлину и передать дом на Моховой, 36, в ведение Госиздата: «Дорогой Игнатий Юлианович... Нaйтi всем так тяжело — что б. помещение "Всемирки" залито буквально слезами — ревут все, и мы — женщины, и Авсейчик, и прочие служащие мужского рода. Старого Назарыча-кассира уже сократили и еще некоторых...

Игнатий Юлианович, приходите и не будьте ультрапессимистом — и так тяжело» [А, оп. 2, № 233, л. 59. Ср. дневниковую запись Чуковского: 65, 1990, № 10, с. 165].

О ней, «Всемирке», долго и тепло вспоминали многие, кто был к ней причастен.

166

«Спасибо за сведения о Всемирной] Л[итературе], — писал Крачковскому Г. Л. Лозинский из Парижа. — Я очень ее люблю, и если могу, находясь здесь, быть ей полезным какими-нибудь справками... то я буду рад это делать» [4 июня 1922 г.; А, оп. 3,

И. Ю. Крачковский говорит в книге «Над арабскими рукописями» о том, как во «Всемирной литературе» он «с одинаковой любовью... редактировал перевод связанной с Андалусией философской новеллы Ибн Туфейля... и принимал участие в серьезной работе над переводом испанского романа из эпохи морисков Энрике Ларрета» [28, с. 111].

М. В. Алексеев в 1943 году, читая еще в машинописи первые главы книги Крачковского «Над арабскими рукописями», вспоминает о журнале «Восток», где так хорошо было бы «поместиться» этим миниатюрам [А, оп. 3, № 62, л. 132]. Кстати, оба они неоднократно, хоть и безуспешно, пытались предпринимать шаги по восстановлению этого журнала [69, 1986, № 6, с. 152]. «Подумать только, сколько мы могли с Вами написать в номерах с 6-го по N-й за эти 18 лет? Вот так "ионизация" подействовала на нашу с Вами борзопись!» — писал В. М. Алексеев Крачковскому из эвакуации 9 апреля 1943 года [А, оп. 3, М? 62, л. 133]. Вообще, в их переписке тех лет «Восток» фигурирует неоднократно.

Не раз поминается «Всемирная литература» и ее сотрудники и в послевоенной переписке И. Ю. Крачковского с В. А. Кюнер-Сутугиной [А, оп. 3, №№ 27, 513], а сама Сутугина в далекой сен-гилейской ссылке шутливо называет свой огородный участок «колхозом имени "Всемирной литературы"» [письмо от 8 июня 1945 г.; А, оп. 3, № 513, л. 26].

О том, как дело, начатое этим издательством, все-таки продолжалось, будет рассказано в следующих главах.

№ 556, л. 2].



ГЛАВА IX

Шапка Мономаха

4АКАДЕМИЗМ МНЕ ТЯГОСТЕН...»

Получилось так, что к началу 20-х годов Крачковский оказался единственным преемником классической школы петербургской арабистики: Н. А. Медников умер в 1918 году, А. Э. Шмидт в 1920-м переехал в Ташкент и стал работать в Туркестанском университете; даже лектор арабского языка А. Хашаб в 1919 году покинул Петроград. Выбор помощников был ограничен: выпускники предреволюционных лет рассеяны революцией и гражданской войной, следующее поколение только начинало оперяться.

Привлечение учеников к работе во «Всемирной литературе» позволяло вернее оценить их способности и человеческие качества. Безусловно, отобраны были лучшие, но не со всеми у Крачковского сложились одинаковые отношения. Так, М. А. Салье упоминается в дневнике только в чисто деловом плане. Р. Л. Эрлих вызывает не то раздражение, не то недоумение: она «какая-то недотепистая» [4 окт. 1920 г.; А, оп. 2, № 6, л. 269 об.]; поданная ею работа исполнена «так же бестолково и неряшливо, как она сама» [14 апр. 1920 г.; там же, л. 249]. Да и скоро она отошла в сторону, предпочтя греческую древность арабской и обращаясь к арабским сюжетам лишь эпизодически.

Душа у него явно лежала к Кузьмину и Эберману. Первый с 1920 года уже преподавал в Университете и в Институте живых восточных языков. Он питал особое пристрастие к философским темам, начал даже чтение нового курса по истории арабской философии, с увлечением работал над переводами для «Всемирной литературы» и то и дело забегал к И. Ю. «потолковать о разных материях» [25 марта 1920 г.; там же, л. 245 об.]. Крачковский был доволен его научными и преподавательскими успехами и только сетовал, что «из Кузьмина не выйдет арабиста-литератора» [4 окт. 1920 г.; там же, л. 269 об.]. Но в 1922 году, не дожив и до тридцати лет, Кузьмин умер от заражения крови.

Литератором, и даже более того — поэтом был юный Эберман, окончивший Университет в 1921 году и проявивший свои таланты

167

в переводе «1001 ночи». Он писал стихи — и всерьез, и в шутку, даже деловые записки порой стилизовал под арабский саджл.

Эберман был первым, кто чутко (и с блеском!) пробовал воспроизвести в переводе арабской классической поэзии типичную для нее моноримическую структуру и имитировать метрические размеры подлинника (см. его переводы из Ибн Хамдиса [62, № 3, с. 27—30]). В том же номере «Востока», где были напечатаны его опыты поэтического перевода, он дебютировал и статьей «Арабы и персы в русской поэзии», посвященной отражению восточных мотивов в творчестве некоторых русских поэтов, — то есть работой, лежащей явно в русле интересов его учителя. Уже с сентября 1919 года — с III курса — Крачковский начал «приучать его к делу» в Азиатском музее [А, оп. 2, № 6, л. 236 об.]. По окончании Университета в 1921 году Эберман был оставлен при кафедре для подготовки к магистерскому экзамену; одновременно он начал работать в Азиатском музее и в ГАИМК.

Хотя Эберман был явно любимейшим учеником Крачковского, высказывается о нем учитель в дневнике не без обычного своего скепсиса: «Эберман милый мальчик, но никогда не сосредоточится» [4 окт. 1920 г.; там же, л. 269 об.]; «Мальчик, по-видимому, не без таланта. Что-то из него выйдет?» [27 нояб. 1920 г.; л. 271 об.].

К середине 20-х годов семья петроградских арабистов постепенно пополняется новыми выпускниками Университета. Среди них — два талантливых лингвиста: Н. В. Юшманов и Я. С. Ви-ленчик, историк литературы В. И. Беляев, обладавший особым вкусом к изучению рукописей, историк халифата А. Ю. Якубовский, ученик В. В.

Бартольда, нумизмат А. А. Быков, этнографы И. Н. Винников и Г. Г. Гульбин. К ним можно причислить и В. А. Крачковскую, делавшую первые шаги на поприще арабской эпиграфики и палеографии.

В это же время к молодым выпускникам присоединяются и двое «палестинцев» — Д. В. Семенов, окончивший Факультет восточных языков еще в 1912 году и до 1918 г. преподававший в Назаретской учительской семинарии, и К. В. Оде-Васильева (Кулсум Оде), одна из тех двух арабских учительниц, с которыми И. Ю. встречался в Назарете; она приехала в Россию накануне первой мировой войны с мужем, фельдшером русской больницы Палестинского общества.

К арабистам примыкала и группа семитологов (занимавшихся в Университете по программе еврейско-арабско-сирийского разряда), в большей степени ученики П. К. Коковцова, который в силу особенностей своего характера к организационной работе был абсолютно неприспособлен. В эту группу, помимо старших его учеников — упоминавшихся выше М. Н. Соколова и А. П. Алявдина, к середине 20-х годов вошли Н. В. Пигулевская, выпускница Бестужевских курсов, и универсанты А. П. Рифтин и И. Г. Бендер,

168

несколькими годами позже — А. Я. Борисов; семитологом-лингвистом был и названный уже И. Н. Винников.

Итак, люди появлялись, их было даже не так мало, но почти ни у кого из них не было научного опыта. Ощущалась настоятельная необходимость объединить их в более или менее сплоченный научный коллектив, и Крачковскому, старшему среди арабистов, никуда было не уйти от этой задачи, особенно трудной в то неустойчивое время. Опыт «Всемирной литературы» показал, что он может быть лидером, однако теперь, не говоря уже о том, что задача сама по себе была более сложной, организаторская деятельность его принимала — против его собственной воли — более широкие масштабы.

Еще в начале июля 1921 года, то есть в самый расцвет «Всемирной» и до ареста, в жизни Крачковского произошло важное и совершенно неожиданное для него событие: ему было предложено баллотироваться в действительные члены Академии на место умершего в августе 1920 года Б. А. Тураева. Желая получить согласие И. Ю., к нему на квартиру (он был нездоров) явился сам Непременный секретарь С. Ф. Ольденбург. Крачковский, услышав это предложение, по его собственному выражению, «совсем обалдел» [6 июля 1921 г.; А, оп. 2, № 6, л. 288 об.] и начал отказываться, искренне уверяя Ольденбурга в своей непригодности для столь высокого звания. Кстати, Вера Александровна, с которой С. Ф. Ольденбург имел предварительный разговор, предсказывала именно такую реакцию мужа.

Однако Непременный секретарь сумел-таки переубедить Крачковского. Он объяснил, что ему нужна будет помощь, а в Отделении исторических наук и филологии как раз вводится новая должность академика-секретаря, для которой Игнатий Юлианович — самая подходящая кандидатура.

Неужели история повторяется — в который раз такие качества Крачковского, как надежность, аккуратность, добросовестность и порядочность, заставляют старших товарищей и коллег остановить

на нем выбор в ответственный момент? Или сочли его «раком на безрыбье»?

Конечно, нет. Старшим коллегам было совершенно ясно, что Крачковский во всех отношениях вполне оправдал возлагавшиеся на него факультетом надежды, о которых тринадцать лет назад писал ему Н. Я. Марр. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть «Записку об ученых трудах профессора Петроградского университета Игнатия Юлиановича Крачковского», составленную В. В. Бартольд, Н. Я. Марром и С. Ф. Ольденбургом [Па].

Каждый из этих так непохожих друг на друга ученых оценивал вклад Крачковского в науку с точки зрения своего круга проблем и каждый высвечивал новую грань его, как выразился Бартольд, «первоклассного дарования».

169

В. В. Бартольда интересовали в первую очередь историко-литературные концепции нового кандидата в академики. Он отмечал, что Крачковский, продолжая традиции своих учителей, в первую очередь В. Р. Розена, и опираясь, с одной стороны, на новейшее направление в исследовании арабской поэзии, созданное венской школой, с другой — на методологию А. Н. Веселовского, открыл своими работами «новую эру в русской науке» [На, с. 21], подходя к поэтическим произведениям с историко-культурной точки зрения, а при исследовании христианско-арабских памятников — выдвигая на первое место вопрос о взаимовлиянии литератур христианского Востока и «об отношении между христианскими и мусульманскими культурными течениями» [с. 20]. Очень высоко оценивая очерк арабской литературы, написанный для сборника «Всемирной литературы», В. В. Бартольд подчеркивал независимость взглядов Крачковского «от традиционных схем и формул» [там же].

Н. Я. Марр останавливался прежде всего на трудах Крачковского по христианско-арабской литературе, считая, что они «ставят его и количественно и качественно в первые ряды работающих в этой области арабистики» [с. 21]. Отметив его роль в изучении и публикации новых памятников с безупречной научной акрибией, Марр затем, на первый взгляд несколько неожиданно, сближает эту линию трудов Крачковского с его исследованиями в области новоарабской литературы, в частности современной литературы арабских христиан сиро-американской школы. «Интерес к христианскому Востоку, — пишет Марр, — он углубил так, как ни один из работников по христианско-арабской литературе, но углубление это шло в ту сторону, которая уходит обыкновенно из кругозора специалистов европейских, именно в сторону новой арабской культурной жизни, понять которую без учета христианско-арабских писателей нет возможности» [с. 22]. Указывает он и на хорошо известную способность Крачковского «быть неисчерпаемо обязательным в предоставлении своих знаний тем, которые в том нуждаются» [с. 22].

С. Ф. Ольденбург дает общую характеристику всех основных направлений исследовательской работы Крачковского, выделяя особо его интерес к поэтике и риторике (соответствующие главы магистерской диссертации и не опубликованное тогда еще

исследование об Ибн аль-Мутаззе); в этой области, по его оценке, Крачковский не имеет предшественников в русской арабистике. Ольденбург отмечает также заслугу Крачковского в изучении рукописей отечественных коллекций и его живой отклик на чужие работы, умение «найти ценное и в плохих трудах» [с. 23]; его рецензии нередко являют собой маленькие специальные исследования.

Окончательное заключение было дано блестящее: «Подводя итог краткому обзору работ И. Ю. Крачковского, особенно в об

170

ласти арабской поэзии и истории средневековой литературы вообще, мы вправе отметить, что он занял здесь определенное видное место, внося много нового и самостоятельного в сравнительно мало еще исследованную область, и является достойным преемником своего незабвенного учителя В. Р. Розена» [с. 27].

Этот отзыв, в котором прослежены основные линии научных интересов Крачковского (несколько в стороне оказалась разве что история арабистики) и манера его работы, а также по достоинству оценены его достижения в востоковедении, я полагаю, в особых комментариях не нуждается. Следует привести только еще одно возможное соображение. Выдвигая в академики востоковеда сравнительно молодого, пусть ярко проявившего себя, но ведь всего шесть лет как защитившего магистерскую диссертацию и только что получившего профессорское звание, его старшие товарищи могли думать и о необходимости пополнить Академию людьми подлинно интеллигентными, учеными старого закала, не смешивающими науку с политикой.

Да, конечно, Академия сразу откликнулась на предложение советской власти о сотрудничестве (можно ли предавать науку ради политических амбиций?)², да, Ольденбург встречался с Лениным и как будто верил ему, — но не было ли у них, руководителей Академии, тайного, может быть не до конца осознанного еще страха перед возможной, в ходе перемен, профанацией академической науки? Совсем недалекое будущее покажет справедливость их опасений, если эти опасения были.

Далее ситуация с выборами Крачковского развивалась так: 21 сентября на заседании Отделения исторических наук и филологии он прошел единогласно; 9 ноября на общем собрании Академии подавляющим числом голосов (лишь два против) тридцативосьмилетний Крачковский был избран в действительные члены Российской Академии наук.

Кажется, столь лестный отзыв, да и вообще сам факт выбора в академики должны были смягчить привычное недовольство собой. Но в то же время это заставляло Крачковского особенно ощутить всю тяжесть почетного груза, возложенного на его плечи. Это смешанное чувство гордости и бесконечной ответственности звучит в его речи, произнесенной на первом заседании после избрания. Набросок ее сохранился в архиве Игнатия Юлиановича, приведу его здесь полностью:

«Свою благодарность за великую, величайшую для ученого честь я не могу выразить словами и меня извинят.

Моя первая мысль, которой я и не скрыл перед Сергеем Федоровичем, когда он дал мне первое сообщение, была та, что эта честь оказывается мне — так сказать — в кредит не за то, что я сделал, а за то, что я может быть сделаю. И это чувство неоплатного долга меня не страшит теперь: если до этого у меня могли быть колебания и в личной жизни, и в науке, сомнения в правиль

171

ности избранного пути, то теперь этих сомнений больше нет. Высокая честь является настолько сильной моральной поддержкой, что теперь у меня единственная мысль, единственное моление к высшей силе, чтобы всей работой, всей жизнью оказаться достойным имени своих главных учителей, тени которых витают здесь — В. Р. Розена и Б. А. Тураева, достойным имени находящегося здесь В. В. Бартольда, непосредственным учеником которого я с гордостью себя считал и буду считать до конца дней» [А, оп. 2, № 140, л. 1].

Действительно, «самоедских» пассажей в дневнике мы больше не увидим, но и тщеславного самолюбования не появится. Скептические отзывы о собственных трудах встречаются по-прежнему.

<14 мая (1922 г.). Кончил рецензию на Бартольда, которая вышла какой-то неприятной местами понтону и тягучей в смысле подробностей. Когда перепишу, буду просить всех перечитать, начиная с Ольденбурга и младших» [А, оп. 2, № 6, л. 304].

«5 июня... Много разговоров все о моей рецензии на Бартольда; не знаю, что с ней придется делать» [л. 304 об.]З.

«7 августа (1929 г.). Эти дни пытался строчить "статью" для Арабской Академии, вышло что-то нудное» [там же, л. 332].

Да и «важности» академической как будто не появилось. Скорее даже — несколько юмористическое отношение к академическому ритуалу: «Был сегодня на первом заседании Отделения в Академии наук. От прежней торжественности, конечно, одни остатки, но в общем — забавно» [16 нояб. 1921 г.; там же, л. 297]. И некоторое раздражение от необходимости соблюдать традиционный этикет: «К моему ужасу узнал у Ольденбурга, что избранному подобает делать визиты академикам всех отделений. Сегодня ради праздника приступил. По счастью никого почти дома не застал и забрасывал только карточки» [13 нояб. 1921 г.; там же, л. 296 об.].

Друзья-востоковеды приняли весть об избрании Игнатия Юлиановича с большим энтузиазмом. В его архиве сохранились шуточные стихи китаистов, посвященные этому событию, — В. М. Алексеева, Ю. К. Щуцкого, даже целая поэма «Синдбад» Б. А. Васильева. 17 декабря 1921 года он записывает в дневнике: «Все это время проходит как-то бестолково со всякими празднествами и чествованиями, которые все считают нужным устраивать по поводу моего избрания. Великое торжество было в Азиатском музее 1 декабря в присутствии большинства ориенталистов, званы были к Алексееву, Эберману и Кузьмину на всякие обеды и вечера. В общем все это стало даже нудно» [там же, л. 297].

В первый момент, когда читаешь эти строки, становится как-то обидно за коллег Крачковского, искренне радовавшихся его успеху. А потом понимаешь, что это все то же обостренное чувство долга,

все та же почти маниакальная страсть к настоящей работе, когда раздражает любая мелочь, мешающая ей. Как не вспомнить

172

чеховского Тригорина, то есть, по сути, «амого Чехова: «День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя...» [51, т. 11, с. 166].

Поэтому и избрание в Академию радости не принесло, оно только усиливало внутреннее беспокойство, которое внушало ему ощущение неотвратимости своего лидерства: «Академизм мне тягостен не столько работой, сколько сознанием того, что он к чему-то обязывает и надо что-то делать» [6 янв. 1922 г.; А, оп. 2, № 6, л. 298].

При таком постоянном внутреннем напряжении не до праздников ему было. И когда веселье начинало перехлестывать через отводимые ему внутренним убеждением границы, Крачковский решительно отвергал его. Так, «раут» во «Всемирной литературе» 9 января 1922 года он попросту игнорирует [там же, л. 298 об.]. А там, вероятно, читались остроумные отрывки из «Ежегодника» и первая часть замятинской «Истории Всемирной литературы». Даже знаменитые литературно-музыкальные вечера востоковедов — «Малак»⁴ — не вызывали у него энтузиазма, и активного участия он в них не принимал, только присутствовал в качестве зрителя.

Значило ли это, что Крачковский вообще был лишен чувства юмора? Вряд ли. У него ведь и в дневнике немало шуточных записей (причем — ироничных по отношению к самому себе), да и многие юмористические материалы и «Малак», и «Всемирной литературы», шуточные стихи и записки Эбермана и китаистов он бережно хранил (хоть это, наверное, впоследствии стало небезопасным) и с такой теплотой и грустью вспоминал «легенду», сочиненную Б. А. Васильевым в начале 20-х годов [см.: 28, с. 65]. Пожалуй, здесь нужно говорить не столько об отсутствии чувства юмора, сколько о своеобразном совершенно искреннем духовном аскетизме «невольника долга».

Еще тяжелее стало весной, когда Крачковский был избран академиком-секретарем Отделения исторических наук и филологии, преобразованного впоследствии в Отделение гуманитарных наук. В. А. Крачковская вспоминает об этом так: «26 апреля 1922 г. И. Ю. был избран единогласно Академиком-секретарем Отделения исторических наук и филологии. У него появились новые обязанности. Он приходил не менее двух раз в неделю на определенные часы в кабинет Президента, принимал доклады заведующего канцелярией, посетителей, подписывал текущие бумаги. Его стол стоял у левого большого окна на набережную, ближайшего к вестибюлю. Очень часто он заменял то одного, то другого члена Президиума, а то и нескольких, даже всех отсутствующих из Ленинграда по делам. В канцелярии служащие спрашивали друг друга: "Кто сегодня подписывает? Соль или ИКра?"⁵» [А, оп. 7, № 26, л. НО].

172

Действительно, архивные папки того времени полны официальных бланков с обращениями С. Ф. Ольденбурга к И. Ю. Крачковскому — заменить его то в должности Непременного секретаря, то директора Азиатского музея (даже в момент переезда в новое здание) или временно принять на себя обязанности директора Музея антропологии и этнографии, даже вице-президента Академии. Документы свидетельствуют и об участии Крачковского в работе бесконечных комиссий: Издательской комиссии, Комиссии по организации Международного съезда историков искусства, Комиссии по срочному пересмотру всех академических изданий, хранящихся в кладовой книгохранилища, Юбилейной комиссии для выработки программы торжества по случаю пятидесятилетия Ленинградского общества археологов, Особой комиссии для рассмотрения вопроса о подготовке научных работников по гуманитарным дисциплинам, Комиссии по передаче в Эрмитаж некоторых принадлежащих Академии материалов из Восточного Туркестана, Предварительной комиссии по подготовке и проведению юбилейных торжеств в РАН (подкомиссии для обсуждения вопросов украшения Большого и Малого конференц-залов и вестибюля), Комиссии по реорганизации типографии АН... Это всего лишь несколько выбранных наудачу названий комиссий, действовавших в 1924—1925 годах. Надо ли говорить, что для Крачковского, согласно его обычаю, все это не пустые названия, не синекуры?

Конечно, тогда не он один оказывался таким «многостаночником», еще больше постов приходилось занимать его старшим коллегам — С. Ф. Ольденбургу, Н. Я. Марру, даже В. В. Бартольду, но уж очень много он по своей привычке вкладывал во все поручения времени и сил, да вдобавок очень был к этому не приспособлен душевно, чуждо все это ему было.

В дневнике чуть ли не на каждой странице появляются короткие заметки типа: «Завертелся уже (после приезда из командировки в Симферополь. — А. Д.) в здешней сутолоке» [21 июня 1924 г.; А, оп. 2, № 6, л. 310 об.]; «...со всей возней по Академии у меня опять работа пошла бестолково, а сверх того нервы до безобразия развинтились» [24 авг. 1924 г.; там же, л. 311 об.]; «Мало времени все эти дни с бесконечными отъездами Ольденбурга в Москву» [22 янв. 1926 г.; там же, л. 318 об.]; «Со всякой академической суетой два месяца прошли почти без всякой путной работы» [12 июня 1928 г.; там же, л. 325]. Сетует он на «хлопотливые и неприятные» [А, оп. 3, № 37, л. 56] академические дела и в откровенных письмах к симферопольскому востоковеду Виктору Иосифовичу Филоненко, старому другу по студенческому общежитию — коллегии Александра III.

Чем дальше, тем тягостнее становились для Крачковского эти обязанности, особенно потому, что положение Академии заметно изменилось — и не в лучшую сторону.

173

По отношению к ученым советское правительство вело политику кнута и пряника: Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУЧ) старалась подкормить, облегчить бытовые условия, предоставляла квартиры, санатории и т. п., а Наркомпрос тем временем систематически вытравлял «чистую науку» из высших учебных

заведений, занижал требования к контингенту учащихся. Дважды за короткий срок (в 1923 и 1927 гг.) пересматривался устав Академии, которая при этом все больше оказывалась в зависимости от коммунистических верхов. Так, по уставу 1927 года Академия обязана была ежегодно отчитываться перед СНК; из ее задач исчез пункт о «попечении о распространении просвещения вообще и о направлении оного ко благу общему» [48, с. 92], зато **бблыную** определенность обрел следующий пункт — о связи науки с практикой: «...приспособлять научные теории и результаты научных опытов и наблюдений к практическому применению в промышленности и культурно-экономическом строительстве в СССР» [48, с. 120]. Право выдвижения кандидатур в Академию наук теперь получали «ученые учреждения, общественные организации, отдельные ученые и их группы» [48, с. 122]; предусматривалась и возможность утери членом АН своего звания, «если он не выполняет обязанностей, налагаемых на него этим званием, или если его деятельность направлена явным образом во вред Союзу ССР» [48, с. 123]. А всяческие реорганизации отдельных звеньев Академии работе помогали не более, чем перемены мест музыкантов в знаменитой крыловской басне, а порой и явно вредили.

Рубеж 1928 — 1929 годов в истории Академии наук считается поворотным и долгое время оценивался со знаком плюс. Так, например, во «Введении» к книге «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР» говорится: «1929 год был переломным в истории АН, "исключительной эпохой", как назвал его акад. В. Л. Комаров в отчетном докладе: АН получила новый устав, пополнила свой состав, в АН были избраны академики-марксисты, была проведена проверка аппарата и деятельности АН, что дало возможность освободиться от некоторой доли того наследия царского строя, которое связывало АН в развитии ее творческой деятельности» [7, с. 44]. В действительности же рубеж 1928—1929 годов явился новым важным этапом наступления властей на отечественную науку.

С весны 1928 года Академия стала готовиться к выборам. 31 марта управляющий делами СНК Н. П. Горбунов встретился с С. Ф. Ольденбургом и открыто заявил ему: «Москва желает видеть избранными Бухарина, Покровского, Рязанова, Кржижановского, Баха, Деборина и других коммунистов» [цит. по: 74, 1991, № 4, с. 97].

Узнал ли Крачковский сразу об этом требовании властей — трудно сказать. Но так или иначе, устав 1927 г. не сулил ничего хорошего, не говоря уже о том, что на Крачковского как на акаде

174

мика-секретаря отделения ложились определенные организационные обязанности, которые в складывающейся вокруг выборов обстановке были ему особенно неприятны. «С выборами у нас предстоит канитель еще на полгода, — писал он В. И. Филоненко 10 мая, — и неприятностей будет немало. Вероятно, это начало того же развала, до которого докатились университеты и прочие учреждения» [А, оп. 3, № 37, л. 111].

В это время газета «Известия» обратилась ко многим ученым с предложением высказаться о новом уставе, предстоящих выборах и

о ближайших задачах Академии. Их ответы печатались в течение мая почти в каждом номере газеты.

Тон «дискуссии» задал А. Я. Вышинский, выступивший одним из первых. Он провозгласил ведущую роль диалектического материализма в разработке любых научных проблем и призвал ставить во главу угла при оценке деятельности ученых «общественно-философский облик» каждого из них. Основная мысль статьи сводилась к следующему: работа АН должна быть увязана «с грандиозными задачами социалистического строительства»; на ее членов ложится ответственность «перед пролетарским государством».

В этом ключе высказывались и большинство ученых, чьи отклики печатались на страницах «Известий», в номере за 18 мая над ними даже «шапка» была: «Новые выборы должны приблизить Академию Наук к запросам социалистического строительства». Лишь немногие, как, например, Н. И. Вавилов, проявляли в своих выступлениях больше озабоченности повышением научного уровня исследований.

Ответил «Известиям» и И. Ю. Крачковский. Но его ответ напечатан не был, ибо он явно не гармонировал с победными маршами.

«В истории науки, — писал он, — бывают периоды, когда занятия отдельными областями ее вызывают непонимание не только со стороны широких масс, но даже и людей, несколько причастных к науке». Далее он объяснял, что эпохи одностороннего увлечения техникой и прикладными науками в истории повторяются периодически, и положение гуманитарных наук, «изучающих человека в тех проявлениях, которые отличают его от животных, становится в такую эпоху безнадежным: занятие ими, поскольку они не дают непосредственных результатов, нужных государству в известном направлении, считается в лучшем случае пустой забавой праздного ума, в худшем — делом вредным и предосудительным». Задача Академии, по его мнению, в первую очередь состоит, как раз в том, чтобы поддержать непопулярные теоретические области знания, «которые так же необходимы в едином величественном здании науки, как и другие, но встречают непонимание и вражду».

Его слова, написанные более шестидесяти лет назад, тогда оказались гласом вопиющего в пустыне, а теперь звучат как пророче

175

ские: «Наука вечна; смена увлечений известными областями и направлениями не должна отзываться губительно на других областях, отмирание, которых через некоторый промежуток времени скажется катастрофически на всем организме. Я назвал случайно несколько таких областей; список их можно было бы сильно увеличить. Занятие техническими или специально-экономическими науками в определенном направлении встречает поддержку правительства и является патентом на благонадежность, ими занят ряд учреждений или организаций и помимо Академии Наук. Между тем есть области, которые при малой культурности страны нигде не находят себе опоры; дело Академии Наук сохранить и развить их, так как для общей экономики государства они не менее важны, чем и другие, если страна не хочет оказаться на задворках общечеловеческой культуры и питаться в будущем подачками своих

западных соседей» [датировано 19 мая 1928 г.; А, оп. 2, № 153, лл. 2—4].

Между тем подготовка к академическим выборам шла полным ходом. В письмах Крачковского к Филоненко можно найти относящиеся к этому времени упоминания об «академической возне», мешающей работать [11 июня 1928 г.; А, оп. 3, № 37, л. 113] и о грядущем заседании восточной выборной комиссии с участием представителей союзных республик, на котором ему придется председательствовать, ибо «Ольденбург почувствовал, что дело серьезное, и, как это с ним иногда бывает в сложных случаях», переложил эту миссию на своего помощника [13 окт. 1928 г.; там же, л. 118 об.].

Выборы были намечены на декабрь 1928 года. К сожалению, письма Крачковского к Филоненко, написанные между 29 ноября 1928 г. и 12 мая 1929 г., не сохранились, а по имеющимся ответам Филоненко неясно, писал ли ему что-нибудь в это время Крачковский о выборах в Академию.

История же разворачивалась следующим образом. Были созданы — на уровне Политбюро ЦК и Ленинградского обкома — специальные комиссии, направляющие и координирующие подготовку к выборам, чтобы обеспечить проталкивание в Академию партийно-правительственных кандидатов [74, 1990, № 4, с. 97]. Борьба между наукой и политикой шла жестокая, при этом далеко не все академики понимали опасность положения. И. Ю. Крачковский в этой ситуации занял непримиримую позицию, не желая поступаться своими убеждениями. Жена С. Ф. Ольденбурга, Е. Г. Ольденбург, записывает в дневнике 7 октября 1928 года: «Сергей пришел от Крачковского с 1-го заседания их восточной комиссии по выборам. Был Марр, Крачк., Бузескул, Бартольд и Сергей... Все трое: Крачковский, Бузескул и Бартольд, как один человек, твердят, что правительство не посмеет, что не надо сдавать, что надо себя показать» [Архив РАН, ф. 208, оп. 2, № 61, л. 359].

176

В начале декабря до сведения академиков Отделения гуманитарных наук через С. Ф. Ольденбурга был доведен «правительственный ультиматум»: если на выборах не пройдет хоть один из поддерживаемых Москвой двенадцати кандидатов-коммунистов, выдвинутых, согласно уставу 1927 года, различными учреждениями и вузамиб, то из Академии немедленно будут уволены четыре члена отделения. Назывались имена: Соболевский, Никольский, Лавров и Жебелев; в другом варианте: Соболевский, Истрин, Лавров и Ляпунов. И академики, боясь подставить под удар своих товарищей, подчинились. После нескольких неофициальных совещаний они решили «отказаться от независимого избрания кандидатов, и в виде некоторого намека на то, что выборы прошли под давлением правительственной власти, готовой употребить насилие над отдельными академиками в случае неудачных выборов правительственных кандидатов, единогласно согласиться, без обсуждения научных достоинств кандидатов, положить избирательные шары решительно всем избираемым, включая двенадцать правительственных кандидатов»¹.

Добиться единого решения было нелегко. Даже накануне выборов в Отделении гуманитарных наук С. Ф. Ольденбург не был еще полностью уверен, что все обойдется. Об этом свидетельствует запись в дневнике Е. Г. Ольденбург от 11 декабря: «Настроение все еще тревожное, неопределенное. Можно думать, что академики будут голосовать против, и тогда все кончено. Бартольд и Крачковский против, потому что они открыто и честно говорят, что это против их убеждения» [Архив РАН, ф. 208, оп. 2, № 57, л. 68].

И все-таки в последний момент, очевидно во время совещания академиков у него на квартире вечером 11 декабря, С. Ф. Ольденбургу удалось переубедить несогласных. (В дневнике Е. Г. Ольденбург читаем: «Очень радует С[ергея] Федоровича] И. Ю. Крачковский своей выдержкой и стойкостью: раз он голосовал и в Комиссии, и в Отделении, так он будет вести себя и далее, себе не изменит, хотя в душе он, может быть, против, но раз обещал что-либо, то так и будет поступать, на него можно надеяться» [запись от 22 янв. 1929 г.; Архив РАН, ф. 208, оп. 2, № 50].) Все, казалось, пошло по намеченному верхами сценарию: 12 декабря Отделение гуманитарных наук поддержало указанных ему кандидатов, но неожиданно на общем собрании 12 января 1929 года трое из них — Деборин, Лукин и Фриче — не набрали необходимых двух третей голосов, вероятно — за счет ни о чем не предупрежденного физико-математического отделения. Это говорит не столько о том, что «физики» оказались смелее «гуманитариев», сколько о том, что угроза увольнения висела не над ними. Президиум (очевидно, не желая обострять ситуацию) постановил снова предложить непрошедшие кандидатуры Общему собранию, созванному уже в новом составе, не повторяя всей процедуры выборов в отделении⁸. Девять человек (в том числе трое из новоиз-

177

бранных гуманитариев — Владимирцов, Петрушевский, Сакулин) были против нарушения установленного порядка выборов. Особенно резко критиковал это предложение акад. И. П. Павлов: раз забаллотировали, значит, они того и заслуживают, не в первый раз такое случается.

Скандал все-таки разразился. Центральная печать регулярно публиковала материалы, связанные с инцидентом на выборах; различные учреждения, имеющие отношение к науке, клеймили «реакционных академиков», которые, кладя партийным кандидатам черные шары, «совершали сознательный политический акт», стремясь «в ущерб науке провалить кандидатуры указанных ученых только потому, что они марксисты, коммунисты, революционеры в науке, непримиримые враги всякого мракобесия в науке, идеализма, поповщины, консерватизма. АН перед лицом всего Советского Союза демонстрирует, что еще глубоко гнездятся в ней реакционные тенденции дореволюционного периода, когда она, верная указке царского правительства и побуждаемая собственной кастовой ограниченностью, не допускала в свою среду революционеров мысли». Такими жутковатыми демагогическими фразами пестрела резолюция собрания РАН ИОН (Российской ассоциации научно-

исследовательских институтов общественных наук), напечатанная в «Известиях» 3 февраля 1929 г. (с. 3).

В конце января в нескольких центральных и местных партийных газетах была напечатана статья Ю. Ларина «Академики и политика». Автор в весьма развязном тоне утверждал: те, кто был выбран в состав Академии до революции, — это ее реакционное ядро, которое, «как оказывается, проявило себя перед революцией идейными защитниками царизма и идейными реакционерами», некоторые из них «были прямо замешаны в контрреволюционных заговорах и выступлениях». Мало того, это реакционное ядро «создается не крупными учеными с мировым именем... а реакционной посредственностью, без которой Академия вполне может обойтись». Советская власть виновата, что в свое время не отнеслась внимательно к составу академиков [67, № 20, с. 2].

5 февраля в «Известиях» появилась статья А. В. Луначарского «"Неувязка" в Академии Наук», полная грубых попреков (мол, сколько советское правительство заботится об Академии и ученых!) и угроз: «Академия должна была твердо понимать, что советская общественность, что революция ставят ей определенные условия... Что же думала Академия — что у коммунистической партии, что у советской власти и нашей общественности не хватит духа отвергнуть Академию и ее вещественные богатства передать иначе организованному научному миру?.. Ну, если академики думали так, то они шутили с огнем и, боюсь, очень сильно обожгутся».

Академики растерялись. Они не привыкли к разнузданным политическим обвинениям и грубым окрикам, но в то же время пони

178

мали, что угрозы новой власти — не шутка. Можем ли мы судить их за то, что они тогда пошли у нее на поводу? Или просто махнули рукой на политику — не мешайте работать!

Так или иначе, 6 февраля Совнарком удовлетворил ходатайство президиума о повторном голосовании в Общем собрании — и все трое «революционеров мысли» теперь были избраны.

Но для того чтобы уж окончательно поставить Академию на колени, нужно было, чтобы каждый ученый лично признал ошибки и выразил свое согласие с правительственной политикой. Поэтому «Известия» обратились ко многим видным ученым с предложением высказаться по поводу статьи Ю. Ларина, которая, кроме грубых политических обвинений и угроз, содержала новый проект регулирования состава Академии: отменить пожизненность выборов и пересматривать состав Академии каждые 10 лет; привлекать к выборам в Академию всех ученых страны; привлечь пролетарскую общественность к контролю над работами Академии.

В феврале—марте 1929 года «Известия» систематически публиковали ответы на свой запрос. Надо отдать справедливость ученым — далеко не все безоговорочно согласились с идеей Ларина, хотя кое-кто угодливо предлагал пересматривать состав Академии даже не каждые 10, а каждые 5 лет (как, например, только что избранный в АН математик И. М. Виноградов). Некоторые признавали «отрыв Академии от масс», но тем не менее большинство выражали

сомнение по поводу реальной возможности — и необходимости — привлечения к выборам «всех ученых страны». Вопрос

О «контроле пролетарской общественности» все как один проигнорировали. Ряд весьма уважаемых ученых (Истрин, Фаворский, Глазенап, Крылов и др.) не согласились и с первым тезисом Ларина — об отмене пожизненности выборов.

Отклик И. Ю. Крачковского на эту статью, датированный

1 февраля 1929, опять-таки напечатан не был, но в архиве текст его сохранился. Ответ конкретен, лаконичен, полон достоинства и, мне кажется, даже сдерживаемой брезгливости по отношению к автору статьи. Привожу его полностью.

«В связи со статьей т. Ларина в ответ на обращенный ко мне запрос считаю нужным ответить следующее:

1. Научная деятельность академиков проходит на глазах всего ученого мира как у нас в Союзе, так и за границей. Материалом для суждения о ней могут служить годовые обзоры, печатаемые ежегодно в Отчете Академии, доступном всем. Едва ли при таких условиях возможно создание каких-либо форм "проверки", которое соответствовало бы достоинству науки и ученых. За время моего восьмилетнего пребывания в Академии не знаю ни одного случая, когда бы академик прекратил свою научную работу⁴ и та-, ким образом основной довод т. Ларина отпад

2. Избрание академиков считаю желательным при участии всех специалистов, заявивших о себе трудами в соответствующей обла

179

сти. Участие организаций (безразлично — научных или профессиональных) мало целесообразно, так как часто их решение основывается на соображениях случайного порядка» [А, оп. 2, № 153, л. 6].

Общее собрание Академии, на котором происходило переголосование, состоялось 13 февраля 1929 года. На ближайшем же после этого заседании ОГН, 20 февраля, Крачковский заявил о своем желании покинуть пост академика-секретаря. В протоколе заседания его заявление отражено следующим образом:

«Академик-секретарь доложил о желательности назначения кандидата на должность Академика-Секретаря ОГН, так как увеличение состава академиков почти вдвое делает необходимым избрание нового Академика-Секретаря ОГН до истечения срока его полномочий.

Положено принять к сведению и наметить кандидатов в следующем заседании Отделения» [1, ф. 1, оп. 1—1929, № 253, л. 9 об.].

Это был, несомненно, слегка лишь завуалированный протест против того унижительного положения, в котором оказалась Академия, и нежелание участвовать, хотя бы пассивно, в дальнейших беззакониях⁹. Полагаю, что коллеги поняли его достаточно хорошо¹⁰. Впрочем, на следующем заседании, 6 марта, некоторые из них просили Крачковского вновь баллотироваться на должность, от чего он отказался наотрез.

Следующим этапом «реорганизации» Академии явилось реальное осуществление угроз, рассыпанных в коммунистических статьях

периода скандальных выборов, — так называемая «чистка» ее состава. «Чистка» началась в июне и сначала касалась только аппаратных работников. Во главе комиссии по «чистке» стоял член коллегии РКИ Ю. П. Фигантер; под видом представителей РКИ в нее входили два сотрудника ГПУ [подробнее см. 74, с. 98—99].

16 сентября Крачковский пишет Филоненко: «В Академии, конечно, мамоево побоище и посему настроение соответствующее» [А, оп. 3, № 37, л. 132 об.].

Мероприятия по искоренению «академического духа» чем дальше, тем становились жестче: «В Академии у нас второй приступ чистки, на этот раз в очень неприятной форме с массовыми обысками, арестами и т. д. Не обойдется вероятно и без показательного судебного процесса» [письмо от 26 окт. 1929 г.; там же, л. 135 об.].

Это начиналось так называемое «дело академиков», обвиненных в монархическом заговоре. По нему были арестованы С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачев, Е. В. Тарле, М. И. Любавский, высланы в разные города на сроки от трех до пяти лет и, несмотря на протесты президента Академии Карпинского, исключены из состава действительных членов. Ольденбург, обвиненный в «круп

180

ных упущениях», по телеграмме председателя Совнаркома Рыкова был снят с поста Непременного секретаря.

Одновременно с «чисткой» велась подготовка к принятию нового устава Академии, проект которого был разработан вице-президентом А. Е. Ферсманом. Очевидно, некие установки были получены им «сверху», и новая организация Академии, предлагаемая в этом проекте, преследовала цели, с одной стороны, разобщения старого ядра академиков (не всех же разгонять и судить!), с другой — создания больших возможностей для обращения академических учреждений к решению чисто практических задач и для более удобного контроля за ними.

Вот как реагировал Крачковский на предложенный проект: «Записка в части, касающейся самой Академии, исходит из необходимости перенести центр работы из Отделений в специальные группы "в виду неоднородности и взаимной незаинтересованности в работе членов Отделений" (с. 2). Трудно сказать при этом доводе, насколько можно отстаивать положение предшествующей страницы, что "Академия представляет науку в целом, соединяя в одном коллективе специалистов по разным областям" 11.

Я не знаю, насколько нормальное развитие специализации в научных областях в данный момент требует дробления Отделений на более мелкие группы¹². Для меня лично роль Отделений представляется далеко не отжившей и политика Президиума, уже и теперь искусственно парализовавшая их деятельность, неправильной. Во всяком случае, эта политика лишила академиков за последнее время очень важного орудия не только научного, но и личного общения, равно как единственной иногда возможности информации обо всем, происходящем в Академии» [А, оп. 2, № 143, л. 53]. В этой записке он высказывает еще ряд конкретных возражений по поводу усложнения структуры Академии, недостаточной частоты

предусматриваемых рабочих заседаний и т. п., а также предостерегает президиум от излишней поспешности в принятии окончательных решений: «Месячный срок для выработки новой структуры мне кажется нереальным: действующий устав вырабатывался более двух лет и то оказался при проведении на практике требующим целого ряда коррективов; тем более опасно производить спешную реорганизацию теперь, когда нужна сугубая осторожность при значительно усложнившихся условиях» [там же, л. 54].

Устав был принят Общим собранием Академии 4 апреля 1930 года. «Месячный срок» растянулся до пяти месяцев — но и этого было мало, через пять лет потребовался новый устав, который еще прочнее привязывал академическую науку к сиюминутным практическим потребностям «строительства нового бесклассового общества» [48, с. 142].

Академия все больше превращалась в место службы, а не служения как естественного состояния ученого.

181

ЖИВ КУРИЛКА!

Можно ли представить, чтобы Университет после революции остался в своем старом качестве, не затронутый переменами? Нет, конечно.

О попытках перестройки высшей школы после Октябрьской революции, с которыми было связано «немало исканий, опытов и экспериментов, удачных и неудачных» [34, с. 84], написано достаточно, и здесь нет нужды углубляться в перипетии этой истории.

Преобразования в Университете начались еще раньше академических и шли в аналогичном направлении: с одной стороны, поворот к практическому образованию, к изучению современности, изменение социального контингента учащихся (создание кадров новой интеллигенции, преданной задачам советского государства), с другой — насыщение преподавания марксистской идеологией, что неизбежно влекло за собой размывание границ между отдельными отраслями науки, особенно гуманитарными. Эти тенденции нашли свое отражение и в идее реорганизации Петроградского университета.

Уже в январе 1919 года среди преподавателей распространилось известие о намерении советского правительства слить три гуманитарных факультета (историко-филологический, восточных языков и юридический) в один Факультет общественных наук [дневниковая запись от 15 янв. 1919 г.; А, оп. 2, № 6, л. 210 об.]. В апреле Н. Я. Марр и декан историко-филологического факультета С. А. Жебелев подали в правительство записку, в которой предлагали организовать на основе руководимых ими факультетов историко-культурное отделение ФОН, состоящее в свою очередь из трех отделов: этнолого-лингвистического, историко-филологического и философско-психологического. Эта акция, по их утверждению, должна была влить «свежую струю новых материалов, новых мыслей и научных подходов в существующую историко-филологическую

науку» и поднять уровень «методологии и исследовательских технических приемов молодого востоковедения» [цит. по: 19, с. 17].

17 августа 1919 года было опубликовано постановление Наркомпроса об организации ФОН I Петроградского университета на базе историко-филологического, юридического и факультета восточных языков Петроградского университета, Историко-филологического института, Археологического института и гуманитарных факультетов Бестужевских курсов. ФОН состоял из шести отделений: политико-юридическое, социально-экономическое, философское, историческое, филологическое, этнолого-лингвистическое — и 98 кафедр.

Мало того, что факультет получился чересчур громоздким — востоковедение перестало быть единым комплексом наук, оно ра's-

182

средоточилось по четырем отделениям: этнолого-лингвистическому, филологическому, историческому и философскому.

Сразу пошли разговоры о новых переменах. «В общем, впечатление такое, что Наркомпрос еще не знает толком, как с нами и быть»-, — писал Крачковский в дневнике 7 июля 1920 года [А, оп. 2, № 6, л. 215].

Крачковский, судя по дневниковым записям, был резко настроен против всяческих лихорадящих Университет реорганизаций; претили ему и многословные, часто пустые заседания, которыми все это сопровождалось, излишняя, как он замечал, нервозность декана — Н. Я. Марра, с которым он был постоянно связан как секретарь факультета: «До чего мне вся эта бестолковость нервическая осточертела!» [3 мая 1919 г.; там же, л. 224 об.]. В марте 1921 года последовала еще одна реорганизация, в результате которой востоковедные дисциплины стали сосредотачиваться преимущественно на этнолого-лингвистическом отделении ФОН.

Первым деканом нового факультета был избран Н. Я. Марр, ярый сторонник преобразований. Человек темпераментный, взалхлеб увлекающийся новыми идеями¹³, он, несомненно, принял революцию не из каких-либо конъюнктурных соображений, а импульсивно, всей душой, и яфетическую теорию свою искренне считал последним словом революционного языкознания.

Вот свидетельство, как говорится, «свежего» зрителя. В. И. Филоненко, давно оторвавшийся от факультета, наблюдает Н. Я. Марра, которого не видел много лет, на керченской конференции археологов в сентябре 1926 года.

«Главный доклад Н. Я. был — это "Скифский язык". Слушать и понимать Н. Я. без привычки очепь трудно. На своем "яфетическом коне" он, как вихрь, носится с востока на запад, с запада на восток, разбрасывая вокруг себя "третий элемент", "материальную культуру", "проблемы". Все как-то сторонятся, жмутся, боясь быть раздавленными» [А, оп. 3, № 922, л. 177 об.].

Но вот что особенно поражает Филоненко, отнюдь не поклонника новой власти и уж ярого противника советской фразеологии: «Как-то странно было слышать из его уст об "империализме в наших научных учреждениях" и о том, "что всех старых ученых надо разогнать" и чем скорее, тем лучше, и, наконец, шедевр всего — его тост на

банкете "за здоровье первого турколога В. В. Бартольда и коммунистическую партию"» [там же, л. 177]. Не являются ли эта экзальтированность и некоторая путаница в мыслях ранними симптомами той страшной болезни, что настигла Марра в конце жизни м?

Университетские профессора-востоковеды вряд ли разделяли восторги своего декана. Они были озабочены необходимостью сохранить десятилетиями складывавшиеся традиции преподавания в Санкт-Петербургском университете, которые в свое время вывели русское востоковедение на одно из первых мест в мире. Дело

183

осложнялось не одним лишь включением востоковедения в громоздкий ФОН и первоначальным распылением его по разным отделам факультета, но и введением в учебный план целого ряда новых предметов, среди которых, помимо логики и психологии, солидное место отводилось тому, что мы зовем ныне «социально-экономическими дисциплинами» (история мировоззрений, история материализма, основы естествознания, учение о происхождении и развитии общественных формаций, история социализма, государственное право и социалистическое строительство РСФСР), и специальным педагогическим дисциплинам, рассчитанным на будущих школьных учителей (биологические основы воспитания, гигиена, психология юношеского возраста, история педагогики и дидактики, теория трудовой школы).

Понимая опасность затухания научной системы преподавания, востоковеды подают в администрацию Университета записку о секции восточных языков в этнолого-лингвистическом отделении ФОН. Сохранился недатированный черновик ее, написанный рукой И. Ю. Крачковского. В этой записке подчеркиваются отличия восточной секции от других, «обусловленные самим характером подлежащего ее ведению материала и тем задачам, которые могут быть на нее возложены» [А, оп. 2, № 243, л. 5]. Ибо эта секция не может ограничиться подготовкой школьных преподавателей, что является основной задачей других секций этнолого-лингвистического отделения, она «должна доставлять работников с университетской базой для других областей востоковедения, имеющих практическое приложение в России. Настоятельная потребность ощущается не только в лицах, которые придут в живое общение с Востоком, но и в хранителях восточных отделов различных музеев, консерваторах восточных рукописей, историках, исследователях искусства, социально-экономического строя отдельных стран Востока ит. д.» [там же]. И каких бы специалистов ни выпускали все прочие отделения, востоковеды без знания языка работать не могут; таким образом, все обучение должно сосредотачиваться на этнолого-лингвистическом отделении.

Изложив соображения о практическом и общекультурном значении восточных языков, авторы записки подчеркивали трудность их изучения, необходимость особенно интенсивной домашней работы студентов и обосновывали необходимость (учитывая большое количество общих и педагогических дисциплин, включенных в программу) увеличить срок обучения востоковедов на два триместра,

добавив к этому обязательную практику в языковой среде не менее чем два триместра.

Быть может, именно об этой записке идет речь в следующей дневниковой записи: «15 ноября 1921 г. Вчера было заседание Совета, на коем читалась составленная нами "декларация". Произошел достаточно глупый скандал: после речи профессора Безикови

184

ча, пытавшегося свести вопрос на политику, причем Энгель вопиял о контрреволюционных выступлениях, последний обозвал нашу записку "юмористическим документом". Марр его чуть не прибил. Сделали перерыв, после чего провели все галопом» [А, оп. 2, № 6, л. 296 об—297].

Можно предположить, что были еще аналогичные записки и бурные обсуждения. Но так или иначе, традиционный профиль университетского востоковедного образования (не трогая, конечно, новых дисциплин) удалось отстоять. Крачковский не без гордости пишет об этом Филоненко 24 марта 1923 года: «От ФВЯ сохранилась сущность, но не название после очень многочисленных реформ. Сначала при образовании ФОН он вошел преимущественно в состав филологического отделения, отчасти этнолого-лингвистического и еще менее исторического и философского. При новой реформе удалось сосредоточить всех в этнолого-лингвистическом отделении, где мы обретаемся и теперь в составе единой предметной комиссии "восточной", которую за отъездом Н. Я. Марра в командировку возглавляю я... Как ни скверно, но все же мне кажется, что "жив курилка" и живы старые коллегиянты» [А, оп. 3, № 37, л. 50].

На арабском цикле после смерти И. П. Кузьмина Крачковский оставался чуть ли не единственным преподавателем, только начальный курс обеспечивал М. Н. Соколов. В 1924 году преподавателем факультета был принят В. А. Эберман.

Конечно, не все шло абсолютно гладко — над факультетом то нависала опасность перехода на Дальтон-план или «лабораторный метод» занятий [5, ф. 7240, оп. 14, № 171, л. 16, 25], то очередной раз провозглашалась необходимость «отказаться от традиций историко-филологических факультетов, не имевших конкретных практических задач, и стать на путь использования языкознания и литературы в непосредственном синтезе с общественными науками в смысле выработка практического работника по языку и литературе» [там же, л. 28], то делались попытки сократить число оплачиваемых лекций до максимум шести в неделю [А, оп. 3, № 37, л. 65, 97].

В результате очередных преобразований осенью 1925 года был расформирован громоздкий ФОН: экономическое отделение отошло к Политехническому институту, правовое реорганизовано в юридический факультет, а остальные отделения образовали Факультет языкознания и истории материальной культуры — Ямфак с литературно-лингвистическим отделением, в состав которого входил и восточный цикл.

Крачковскому и на этом факультете удалось сохранить проверенные временем принципы классического преподавания. В

отчете факультета за 1926/27 учебный год перечислены арабистические курсы, которые тогда читались:

185

И. Ю. Крачковский: введение в историю арабского языка, введение в арабскую диалектологию, грамматика разговорного языка, арабская поэзия, Коран.

В. А. Эберман: начальный курс арабского языка, арабские исторические и географические тексты, арабская художественная проза.

Сохранить традицию в Университете было особенно важно, потому что своего рода «полигон» для испытания новых методов преподавания с сугубо практическим уклоном в Петрограде уже появился — новое специальное учебное заведение, Петроградский институт живых восточных языков (ПИЖВЯ), образованный одновременно с аналогичным московским институтом по постановлению СНК РСФСР от 7 сентября 1920 года.

Непосредственными организаторами института в Петрограде и первыми его преподавателями были все те же профессора и преподаватели бывшего ФВЯ, сотрудники Азиатского музея и прочих академических институтов. Инициативную «тройку» составили Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и В. Л. Котвич. Кроме них в состав института вошли А. Н. Самойлович, В. М. Алексеев, Б. Я. Владимирцов, А. А. Фрейман, Е. Э. Бертельс, Ф. И. Щербатской, Д. Е. Поливанов, И. П. Кузьмин и др. Все ли они искренне верили в необходимость поиска новых путей или кто-то из них боялся допустить профанацию востоковедного преподавания, если в случае их отказа за дело возьмутся неучи, а может быть, просто предпочел конформистскую позицию, — трудно сказать.

С осени 1920 года институт, приравненный к военно-техническим вузам, начал функционировать в здании бывш. Военно-юридической академии (наб. Мойки, 96), весной 1921 г. переехал на Петроградскую сторону (Церковная ул., 17/1), а с 1925 года обосновался в Максимилиановском пер., 7 (здание бывшего Госконтроля).

Срок обучения в институте был определен в три года, включая годичную стажировку в стране изучаемого языка. Первым ректором института был избран В. Л. Котвич.

И. Ю. Крачковский, с самого начала как будто согласившийся работать в институте, по каким-то причинам почти сразу же решил отказаться; об этом свидетельствует запись в дневнике от 24 октября 1920 года: «Все эти дни, строго говоря, ничего не мог делать, до того меня изводят эти вновь появившиеся институты... Думаю от практического отказаться, если только это будет возможно... Занес Котвичу "прошение об отставке". Что-то из всего этого выйдет» [А, оп. 2, № 6, л. 268 об.]. И далее, 26 октября: «Моим отказом по институту все потрясены, но по-видимому внешних мер воздействия принимать не особенно собираются» [там же].

Причины этого нигде не раскрываются. Быть может, он не хотел вваливать на свои плечи еще одну ношу (он ведь преподава

ние не очень любил)? Или ему претили политизированность преподавания и сугубо практический характер института с ограниченным сроком подготовки специалистов, и он считал всю затею несерьезной? И почему он все-таки через год пошел туда работать?

Снова вопросы без ответа. Впрочем, косвенный ответ на последний из них, кажется, в дневнике можно найти. Вот две записи. «22 декабря (1920 г.). Сегодня полдня провел на коллоквиуме у Кузьмина в Институте Котвича. В общем значительно лучше, чем я предполагал, и некоторые девицы вполне приличны» [там же, л. 273 об.].

«4 июня (1921 г.). Был сегодня на коллоквиуме у Кузьмина в Институте. По исламу сверх ожидания отвечали гораздо приличнее, чем я ожидал, по языку средне» [там же, л. 285 об.].

По-видимому, не хотелось оставлять еще неопытного ученика один на один с трудностями, совесть требовала подставить плечо. Раз вся идея не лопнула, как мыльный пузырь, и какие-то результаты видны, то его долг прийти туда, где без него — хуже¹.

В 1923 году, после смерти И. П. Кузьмина, в институте начинает работать Д. В. Семенов, в 1924 году — К. В. Оде-Васильева, носитель языка, при этом оба — с известным стажем практического преподавания. Маленький, но вполне работоспособный коллектив. И — для Крачковского — работа в институте давала больше возможностей реализовать свой интерес к арабской современности, чем в Университете.

Крачковский читает здесь курсы по истории новой арабской литературы, тексты современной художественной литературы и прессы, арабские диалекты — сирийский, египетский, магрибинские. Он возглавляет арабский разряд (переименованный впоследствии в кафедру), участвует в методических совещаниях, руководит студенческим кружком. Под его редакцией, с его предисловиями выходят учебные пособия — благо институт имеет хорошую полиграфическую базу, не чета Университету. Среди этих пособий есть работы экстра-класса, которые используются в преподавании до сих пор: «Грамматика арабского литературного языка» Н. В. Юшманова, «Образцы новоарабской литературы» К. В. Оде-Васильевой, о которых еще пойдет речь, «Хрестоматия разговорного арабского языка» Д. В. Семенова. Кстати, как особо важную и ценную черту учебного плана института Крачковский отмечает существенную роль преподавания живого разговорного языка, «которое было не так давно совсем в загоне» [5, ф. 7222, оп. 14, № 43, л. 15].

Но и здесь не было стабильности. При нечетком определении профиля выпускника (с каждым пересмотром учебных планов оно формулировалось по-другому) и слишком большом количестве организаций, занимающихся вопросами подготовки востоковедных кадров, структура института и требования к учащимся все время менялись, одно «Положение» отменяло другое, к тому же нависа

ла постоянная угроза объединения московского и ленинградского институтов, чего не хотели ни москвичи, ни ленинградцы¹⁶, а-

неуклонно насаждаемая сверху многопредметность, против которой сотрудники боролись как могли, мешала глубокому освоению языков [подробнее см.: 19].

Сложно было и с трудоустройством. Нередко выпускники не могли найти работу по специальности и через некоторое время теряли квалификацию. Нечего и говорить, что все это отрицательно отражалось на качестве работы и порой сводило на нет полезные эксперименты.

Здесь тоже приходилось бороться и против сокращения часов, и против необоснованных требований¹⁷.

И все-таки, несмотря ни на что, преподавание в институте шло непрерывно до самой его ликвидации (вернее, слияния с московским институтом) в 1938 году. В Университете же с 1927 г. арабистика находится под угрозой, поскольку с осени этого года она представлена только сверхштатными (!) преподавателями — профессором (И. Ю. Крачковским) и доцентом (В. А. Эbermanом), что явствует из докладной записки И. Ю. Крачковского в Восточную предметную комиссию с требованием вновь утвердить в штате В. А. Эbermanа, переведенного на внештатное положение. До 1917 года, пишет он, кафедра обеспечивалась четырьмя преподавателями, а в 1919 году сверх того была открыта кафедра исламове-дения со своим штатом. Наличие на кафедре лишь одного профессора и одного доцента «возможно только на переходное время для сохранения некоторой научной преемственности, но конечно не для развития преподавания в той полноте, которая требуется современным состоянием науки и достоинством русского востоковедения. Об этом мною неоднократно заявлялось» [А, оп. 11, № 8|3, л. 6]. Мало того, теперь кафедра осталась «вообще без всякого определенного штата», похоже на то, что кафедра низводится «в ранг второразрядной сравнительно с другими» [там же, л. 9].

Очевидно, в ответ на требования Крачковского в 1928 году кафедра была укреплена двумя новыми членами. Это были Н. В. Юшманов, блестящий лингвист-теоретик, и лектор К. В. Оде-Васильева, благодаря которой усиливалась практическая сторона преподавания. С учетом их возможностей были выработаны — по поручению Восточной предметной комиссии — новые учебные планы (это поручение относительно планов касалось, разумеется, и других разрядов).

И вдруг... Но лучше предоставим слово еще одному документу — в нем не только изложение событий, но и возмущение его автора, скрытое за корректными деловыми фразами. Это — черновик, написанный рукой Крачковского, датированный 1 октября 1929 года и озаглавленный «Отзыв Совета арабской кафедры об учебных планах»:

187

«Менее года тому назад, в ноябре 1928 г. арабским разрядом, согласно поручению Предметной комиссии, наряду с другими разрядами были выработаны новые учебные планы, которые по утверждению комиссией были представлены в надлежащие дальнейшие инстанции. Однако при получении из центра новых

учебных планов весной оказалось, что предложения разряда и Комиссии не только не приняты во внимание, но самый разряд уничтожен и преподавание арабистики ограничено одной кафедрой, лишенной самостоятельного значения и являющейся только вспомогательной для преподавания в минимальном размере на разрядах-дахили уклонах иранского, турецкого и исторического отделений. При таких условиях вновь учрежденному Совету кафедры, собственно говоря, и не приходится иметь своего суждения об учебном плане: ему может быть предоставлено только суммировать те пожелания, которые выражены другими уклонами, не рассуждая об этом по существу, и удовлетворять тем заявкам, которые делаются этими разрядами. Однако такое положение едва ли соответствует и существу научного дела, которое, можно думать, сохраняет свое значение в Университете, едва ли соответствует и достоинству арабской кафедры с ее более чем вековой историей и заслугами.

Помимо того и в самих новых планах заложен ряд противоречий. Кроме вспомогательных курсов на упомянутых разрядах, по арабской кафедре сохраняется несколько часов "для специалистов", причем неясно, откуда таковые специалисты вербуются. Едва ли под этим наименованием имеются в виду исключительно те студенты поступления последних годов, которые кончают курс по арабскому разряду; говорить же серьезно о том, что можно быть специалистом по арабистике, состоя в другом разряде и занимаясь арабистикой в качестве только дополнительного предмета, конечно не приходится. Такое предположение может возникнуть лишь при отсутствии ясного представления об объеме этой дисциплины в современном востоковедении.

Непонятным в новых учебных планах является сохранение лекторских занятий, переданных ныне младшим ассистентам, в размере 12—15 ч., т. е. в таком количестве, которое никогда не предписывалось не только при существовании самостоятельной кафедры арабистики, но даже и разряда. Если таковых нет, ясно, что лекторская работа не может иметь в виду практического обучения арабскому языку тюркологов или историков; очевидно, она предусматривает усиление занятий по диалектологии и научному наблюдению живого говора. Сюжет несомненно важный, но тоже требующий самостоятельного существования арабского разряда.

Не приходится повторять того, что существование разряда необходимо не только по элементарно научным, но и по государственным соображениям. В настоящее время в Союзе нет и пока не предвидится другого центра, где может быть сосредоточено преподавание

188

арабистических дисциплин в объеме, требуемом современным состоянием науки и историей ее в нашей стране. Между тем, такой центр, хотя бы единственный, конечно необходим для обширной страны, каковой является наш Союз; при отсутствии его пройдет очень немного лет, и в практическом преподавании арабского языка в наличных высших учебных заведениях и во всех областях, связанных с арабистикой, почувствуется пробел, заполнять

который будет неоткуда. Число студентов, работающих в этом разряде, всегда было и будет невелико, но нельзя искусственно закрывать дорогу тем, кто хочет здесь работать, и ампутировать тот орган, без которого ряд дисциплин грозит в очень близком будущем получить злокачественное худосочие.

Ввиду этого Совет арабской кафедры, рассмотрев новые учебные планы, признал их с точки зрения арабистики неудовлетворительными и постановил:

1. Указать на необходимость специального арабистического уклона или разряда в объеме планов выработанных осенью 1928 г., с предоставлением права раоотять на нем желающим студентам.

2. Признать необходимым сохранение преподавания арабистических дисциплин в полноте, соответствующей достоинству университетской науки.

3. Ввиду ущерба, нанесенного историко-литературной части этого преподавания увольнением доцента В. А. Эбермана, повторно указать на необходимость его восстановления.

4. Признать желательным присутствие представителя арабской кафедры на тех заседаниях смежных разрядов и отделений, где обсуждаются вопросы преподавания арабистических курсов, как для информации, так и для учета возможностей, предоставляемых кафедрой» [А, оп. 2, № 243, л. 47—49].

Записка, свидетельствующая о беспрецедентной расправе с университетской арабистикой — а это, напомним, совпало по времени с академической «чисткой» — и о том, что арабская кафедра сдаваться не намерена, не возымела непосредственного действия. Но кафедра во главе с Крачковским на этом не успокоилась. В его бумагах, связанных со следующей модификацией факультета — ЛИЛИ,8, содержится еще несколько аналогичных документов, датированных 1931—1932 гг. и связанных с обсуждением на кафедре тех или иных правительственных циркуляров. В этих документах настойчиво проводится все та же мысль о необходимости восстановления арабистики как самостоятельной университетской отрасли с более четким определением задачи подготовки арабистов, какую, кроме Ленинградского университета, ни один вуз Союза осуществлять не в состоянии:

- «1. Преподавательский уклон (подготовка смены для ряда ВУЗ'ов). 189

2. Переводческий уклон (подготовка переводчиков художественной литературы).

3. Библиотечно-рукописный (подготовка работников для описания и сохранения многочисленных ценных рукописных собраний нашей страны).

4. Диалектологически-организационный (для работы среди арабов Средней Азии)» [А, оп. 2, № 257, л. 7—8].

Надо полагать, что и президиум, возглавлявший восточный цикл Ямфака (председатель — А. А. Фрейман) и затем ЛИЛИ, выступал в защиту арабистики, но в университетском архиве документы за эти годы не сохранились. Тем временем к 1931 г. на кафедре остался (на предпоследнем курсе) всего один {!} студент-арабист.

И. Ю. Крачковский с горечью пишет в академическом отчете за 1932 год: «В ЛГИЛИ закончил деятельность в феврале в виду прекращения самостоятельного преподавания по кафедре арабского языка (впервые за стотринадцатилетнее существование ее в Санкт-Петербурге—Ленинграде)» [А, оп. 2, № 143, л. 37]

Отчаявшись — в какой-то тяжкий момент — в возможности восстановить университетскую арабистику, Крачковский обращается к С. Ф. Ольденбургу с предложением возбудить вопрос о передаче рукописей университетской библиотеки в Азиатский музей, ибо «при настоящем положении преподавания арабистики эти рукописи не представляют интереса ни для преподавателей, ни для учащихся, и разработка собственными силами, как было раньше, давно прекратилась, и самое хранение их в указанной библиотеке является каким-то анахронизмом» [А, оп. 2, № 172, л. 119]. Возможно, это было попыткой лишний раз обратить внимание научной общественности на абсурдное положение арабистических дисциплин в ЛИЛИ.

Наконец в 1933 году преподавание арабского языка было восстановлено в рамках одного из самостоятельных циклов вновь организованной кафедры семитских языков и литератур, заведование которой поручили А. П. Рифтину.

С чем же связано было это необъяснимое на первый взгляд гонение на арабистику? Ответ на этот вопрос мы найдем у И. Ю. Крачковского в «Очерках по истории русской арабистики». Собственно говоря, это было недоразумение, в котором повинна в первую очередь некомпетентность тех, кто распоряжался тогда судьбами востоковедного образования: «Переход ряда языков в эту эпоху на новый латинизированный алфавит вызвал несколько подозрительное отношение не только к арабскому письму, но и к арабской культуре и к арабскому языку вообще: внимание и интерес к ним стали смешиваться с поддержкой арабского письма и ислама» [30, с. 206]. Известно, что подготовка к реформе письменности шла не первый год; в частности, решение о принятии нового

190

латинизированного тюркского алфавита было принято еще в 1926 году, на Первом всесоюзном тюркологическом съезде [см.: 45, с. 72]. Но кто знал, что это движение примет и такие уродливые формы?

Увольнение же Эбермана — равно как и перевод его двумя годами раньше во внештатные сотрудники — был, очевидно, первым сигналом о его неблагонадежности: если официальная мотивировка увольнения гласила: «по сокращению штатов», то на заседании факультета уже фигурировала формулировка: «по общественным мотивам», хотя фактов никаких не приводилось. «Все мои шаги остаются безрезультатными», — с горечью писал Крачковский своему другу Филоненко [12 июля 1929 г.; А, оп. 3, № 37, л. 126].

Забегая вперед, скажем, что преподавание арабистических дисциплин, обеспечиваемое И. Ю. Крачковским и Н. В. Юшмановым (в 1934 г. к ним присоединился В. И. Беляев, в 1938-м — Оде-Васильева), на кафедре семитских языков сохранило добрые старые традиции вплоть до послевоенных лет, что может засвидетельствовать автор этих строк.

ИМЕНИ БАРОНА РОЗЕНА

А теперь нам надо вернуться немного назад, к началу бурных двадцатых годов, когда востоковеды увлеченно работали во «Всемирной литературе», когда только пачинал свою жизнь Институт живых восточных языков, а Университет уже стали сотрясать перемены, у Академии же, как известно, все передраги были еще впереди.

Основной востоковедный очаг в тогдашней Академии — Азиатский музей — был достаточно устойчивой, но достаточно консервативной структурой, чтобы непосредственно содействовать новой правительственной политике по отношению к странам Востока. А политика эта требовала не только перестройки образования для подготовки практических работников, но и создания предпосылок для поворота востоковедения на нужные рельсы и внедрения в него марксистской идеологии.

В 1921 году началась кампания по созданию принципиально новой востоковедной организации, которая должна была объединить и ученых, и практических работников, стать своего рода «лабораторией нового революционного востоковедения» [45, с. 137], которая могла бы руководить изучением Востока «в государственном масштабе.» [там же, с. 136]. Появилась некая инициативная группа во главе с М. П. Павловичем, членом коллегии Наркомата по делам национальностей.

Петербургские востоковеды, представители старой школы, встретили эту идею настороженно¹⁹. Вот как описывает И. Ю. Крачковский в дневнике свою реакцию: «24 апреля

191

(1921 г.). Сильно мне сегодня испортило настроение заседание. Коллегии востоковедов, и может быть оно вообще будет чревато последствиями. Речь шла о том, как нам встречать Московские предложения насчет создания "центра" востоковедов, институтов и пр. Я излагал свои соображения о невозможности нам сделать это в виде чиновников комиссариата. Поливанов обозвал сие организацией саботажа. Ольденбург предложил ему взять свои слова обратно. Чувствую, что будет много возни» [А, оп. 2, № 6, л. 281]. К счастью, его выступление прошло без последствий.

Кампания завершилась декретом ВЦИК от 13 декабря 1921 года «Об организации Всесоюзной Научной ассоциации востоковедения (ВНАВ)», цели которой определялись так: объединение «всех начинаний в области востоковедения и использование научных сил для всестороннего изучения Востока» [45, с. 138].

Ассоциация, просуществовавшая до 1930 года, проводила дискуссии по вопросам национально-освободительного движения на Востоке, организовывала археологические и этнологические экспедиции, издавала журнал «Новый Восток», книги и брошюры. Разумеется, трудно было ждать серьезных научных достижений от организации, во главе которой стоял человек, не имеющий никакого востоковедного образования, профессиональный революционер, к тому же позволявший себе пренебрежительно высказываться о значении изучения древних восточных языков и цивилизаций, а также недооценивавший роль дореволюционных востоковедных школ²⁰.

Несомненно, именно ВНАВ имел в виду И. Ю. Крачковский, когда в своем цитированном выше ответе «Известиям» о задачах Академии наук писал в мае 1928 года следующее: «У нас принято хвалиться успехами востоковедения, причем часто это выражается в форме старого лозунга о закидывании шапками, но здесь далеко не все обстоит благополучно... Научное востоковедение очень часто смешивается с журнальной литературой по Востоку, а для специальных работ часто приходится искать приюта за границей» [А, оп. 2, № 153, л. 3].

Действительно, работы членов ассоциации носили преимущественно публицистический характер, причем многие ее сотрудники, не владевшие восточными языками и не знавшие толком истории Востока, нередко пользовались непроверенным материалом из вторых рук²¹, на основе которого пытались делать «исторические» построения, страдавшие вульгарным социологизмом и изобиловавшие неточностями и недоразумениями. Так, И. Ю. Крачковский, рецензируя книгу В. А. Кряжина «Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке», выпущенную ВНАВ в 1923 году, отмечает односторонний выбор источников (в частности, игнорирование автором русской научной литературы и восточной прессы), множество фактических ошибок, засорение языка книги газетными штампами и приходит к следующему неутешительному выводу: «В

192

результате, немногие новые данные, которые вводит книга В. А. Кряжина впервые в русскую литературу, теряются среди обильных погрешностей и недоразумений. Даже человек, несколько знакомый с предметом, не всегда разбирается в них без труда, а простому читателю и, в частности, учащемуся она сообщит немало ошибочных сведений» [62, № 3, с. 178].

Надо отдать ей справедливость, ассоциация стремилась привлечь к своей работе востоковедов старой школы. О необходимости использовать достижения дореволюционной науки высказывался все-таки порой и сам Павлович; член президиума Гурко-Кряжин писал, что советское востоковедение может развиваться только «путем синтеза тех элементов, которые были сильны у старого востоковедения с теми новыми началами, которые были стихийно привнесены революцией и оформлены Лениным» [цит. по: 45, с. 143].

Редакция «Нового Востока» старалась получить статьи от ученых-востоковедов. Уже в первых номерах были опубликованы работы Бартольда, Марра, Самойловича, Гордлевского; печатались вполне благожелательные рецензии на труды того же Бартольда, Владимирцова, Ольденбурга, Бертеля, на некоторые книги с предисловием Крачковского, на сборник с его участием²².

Правда, подлинного сплочения двух направлений в востоковедении все же не получилось. В члены ассоциации из ученых старой школы вошли лишь И. Я. Марр²³, А. Н. Самойлович и В. А. Гордлевский. Остальные, очевидно, сохранили настороженное к ней отношение. В частности, Крачковский замечает в письме к Филоненко от 3 августа 1925 года: «При мне открывалось в Киеве

отделение Ассоциации, и наивные учредители даже меня приглашали прийти, но я уклонился» [А, оп. 3, № 37, л. 7.6 об.]24.

Но у петроградских — ленинградских востоковедов была и своя научная организация — Коллегия востоковедов, созданная несколько раньше ВНАВ. Первоначально она возникла на Факультете общественных наук: распыление университетского востоковедения по разным циклам делало необходимым создание некоего объединяющего органа.

Устав коллегии был утвержден 26 июня 1920 года, целью своей она ставила «обсуждение возникающих вопросов как университетского, так и внеуниверситетского преподавания востоковедения» [19, с. 11]. После бурного обсуждения московского предложения о создании востоковедного центра (24 апреля 1921 г.), о чем, как уже говорилось, имеется дневниковая запись И. Ю. Крачковского, В. В. Бартольд выступил 27 апреля в заседании ОИФ АН с предложением организовать при Азиатском музее координирующий востоковедный орган — Коллегию востоковедов, от которой «органы правительственной власти могли бы получать ответы на вопросы, связанные с востоковедением» [7, с. 37]. То есть коллегия была создана в известной степени в противовес будущей ВНАВ с

193

целью сохранить научное направление в востоковедении, не отворачиваясь при этом от нужд государства. Характерно, что в комиссию по организации этого объединения Крачковский вошел вместе с В. Л. Котвичем, С. Ф. Ольденбургом, И. А. Орбели и В. В. Бартольдом, которого избрали председателем. В мае было принято «положение» (устав) коллегии, подготовленное Бартольдом; в нем указывалось, что коллегия «обсуждает и дает заключения по всем вопросам, касающимся изучения Востока и преподавания востоковедения, как возбуждаемым государством и общественными учреждениями, так и возникающим в самой Коллегии» [1, ф. 68, оп. 1, № 432, л. 186].

Позже, в «Очерках по истории русской арабистики», Крачковский скажет о Коллегии востоковедов как о преемнице Восточного отделения Археологического общества, деятельность которого после революции постепенно замирает [30, с. 207]; уже сама по себе эта оценка — достаточное свидетельство об основном характере деятельности коллегии. За 9 лет ее существования вышло пять объемистых томов «Записок» разнообразной, но всегда строго научной тематики. Что касается деятельности в коллегии Крачковского лично, то он прочел в ее заседаниях 16 докладов, отражавших его текущую научную работу в разных отраслях арабистики и отнюдь не насыщенных сверхактуальными политическими проблемами, и опубликовал в «Записках» 18 статей и рецензий.

Существовал в 20-е годы все же некий очаг научной деятельности и при Университете. Через два месяца после цитированного выше заявления комиссии по реформе преподавания о неуместности научной работы в вузах при Факультете общественных наук был образован специальный научно-исследовательский институт —

Институт литератур и языков Запада и Востока им. А. Н. Веселовского (ИЛЯЗВ), просуществовавший под эгидой Университета до марта 1928 года, когда он перешел в ведение Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук; в 1930 году Он был преобразован в Институт речевой культуры.

В работе Института им. А. Н. Веселовского принимали участие почти все факультетские востоковеды; председателем восточной секции института был избран И. Ю. Крачковский. В его отчетах по институту упоминаются описание арабских рукописей университетской коллекции, доклады, прочитанные в заседаниях института, руководство работой аспирантов и молодых научных сотрудников — Виленчика, Эбермана и Юшманова, занятия с ними по «изящной литературе арабов и по современному арабскому языку в Сирии» [А, оп. 2, № 143, л. 20], по «теории арабской поэтики» [там же, л. 22].

По идее в Институте им. Веселовского как раз и должно было осуществляться — в научном плане — то самое «западно-восточное взаимное обогащение», о котором мечтали Н. Я. Марр и

194

С. А. Жебелев при создании ФОН. Однако, насколько могу судить, планомерной работы в этом направлении не велось.

Да и оборвалась деятельность востоковедов в этом институте скоро и внезапно: 15 декабря 1927 года все они получили от директора института Н. С. Державина уведомление о том, что с этого дня они переводятся «из штатных действительных членов во внештатные с прекращением выплаты содержания» [А, оп. 2, № 254, л. 4] и одновременно еще одну повестку: директор как ни в чем не бывало приглашал их на собрание совета института 28 декабря, на котором он собирался доложить о произведенной в институте реформе, и просил их подготовить «свои предложения об участии в работах ИЛЯЗВ» [4, ф. 288, оп. 2, № 101, л. 10]. Удивительно ли, что в ответ на столь бесцеремонное обращение ученые ответили полным разрывом всяких отношений с институтом, в более или менее резкой форме — в зависимости от темперамента 25.

Со всеми «новшествами» что-то надломилось в коллективе петербургских востоковедов. Об этом с грустью пишет Крачковскому А. Н. Самойлович: «Вспоминая добрые старые времена, когда отношения между коллегами по специальности (если не друзьями) были более близкими и ясными, чем теперь (где собака зарыта — не знаю!), пишу наконец и Вам, дорогой Игнатий Юлианович» [письмо из Баку от 23 нояб. 1923 г.; А, оп. 3, № 811, л. 25]. Полагаю, что водоразделом здесь послужило отношение к действиям новой власти: безоговорочное их принятие и сотрудничество — с одной стороны, и оппозиция, молчаливая или открытая, — с другой.

Крачковский, несомненно, переживал этот разлад не менее тяжело. Но перед ним стояла и конкретная организационная задача: создание сплоченного дееспособного содружества арабистов. Теперь было уже совершенно ясно — всем и ему самому тоже, — что именно он оказался наследником В. Р. Розена не только в ученых трудах, но и в деле формирования необходимой научной среды, без которой невозможно воспитание молодого поколения, да вообще невозможно

никакое движение вперед. Много позже, тоже в достаточно критический для арабистики момент, он очень четко сформулирует в одном из докладов то, что, несомненно, было ему вполне ясно уже давно: научная работа «всегда требует некоего резонанса, обычной научной атмосферы, а прежде всего возможности обсуждения ведущихся работ, обмена мнений, особенно соответствующей критики» [А, оп. 2, № 175, л. 174].

Чем дальше, тем острее должна была ощущаться необходимость объединения арабистов — в первую очередь именно арабистов, а не востоковедов вообще (как было при Розене с его Восточным отделением Археологического общества и дружным факультетом). Разумеется, здесь играл свою роль и рост общего числа специалистов в послереволюционные годы, и намечавшаяся в нау

195

ке тенденция к более узкой специализации и дифференциации, но главное — бедственное положение, в котором все больше и больше оказывалась арабистика.

К концу 20-х годов университетская кафедра почти закрыта, от Института имени Веселовского востоковеды отторгнуты, а ЛИЖВЯ по своему характеру не был приспособлен для научно-организационных целей. При Коллегии востоковедов существовали отраслевые институты и кабинеты: Институт яфетидологических изысканий, Институт буддийской культуры, Кавказский историко-археографический институт, Туркологический кабинет, но арабистической научной ячейки среди них не было.

Безусловно, Крачковский давно уже вынашивал проект создания группы или кружка арабистов; внешним толчком к осуществлению этого проекта могло послужить одно частное, но немаловажное обстоятельство: в августе 1927 года Крачковские переехали в академическую квартиру в первом этаже дома на углу 7-й линии Васильевского острова и Николаевской (впоследствии Лейтенанта Шмидта) набережной. По символическому совпадению это была та самая квартира, где в свое время жил В. Р. Розен и куда молодой магистрант Крачковский двадцать лет тому назад ходил читать аль-Ахталя и Ибн Яыша²⁶.

Первая дверь из прихожей налево вела в просторный кабинет, где по стенам располагалась основная часть библиотеки И. Ю. В середине комнаты стоял письменный стол и кресло, а сбоку, возле полка — еще один стол с венскими стульями вокруг, за которым можно было проводить занятия и заседания. Наличие такой возможности и было последним решающим условием: ведь для того чтобы создать объединение всех арабистов Ленинграда, разбросанных по разным учреждениям, необходимо было собираться в нерабочее время, по вечерам.

18 декабря 1927 года И. Ю. Крачковский подает в Коллегию востоковедов следующее заявление:

«Обращаюсь в Коллегию с просьбой о разрешении образовать при ней кружок арабистов имени барона В. Р. Розена. Если Коллегия сочтет это возможным, занятия кружка будут проходить под моим руководством в моей квартире и никаких затрат ни со стороны АН в целом, ни Коллегии востоковедов не потребуют, кроме

предоставления в исключительных случаях для заседания одного из академических помещений.

Проект положения о кружке при сем прилагается 27.

Член Коллегии И. Крачковский.

Черновик этого заявления сохранился в личном архиве Крачковского. Сверху имеется карандашная помета, сделанная его рукой: «После беседы с В. В. Бартольдом решено отложить».

196

Остается только гадать, какие доводы привел Бартольд против предложения Крачковского, казалось бы, такого естественного, а главное — легко исполнимого. Так или иначе, Крачковский не сдался и решил осуществить свою затею неофициальным путем.

Около 20 января 1928 года все ленинградские востоковеды, имеющие какое-либо отношение к арабистике, получили по почте машинописные повестки следующего содержания:

«Академик И. Ю. Крачковский доводит до Вашего сведения, что в понедельник 23 января с. г. в 8 часов вечера в его квартире (В. О., 7 линия, д. № 2, кв. 1, вход с набережной) состоится частное собрание ленинградских арабистов для обмена мнений по текущим вопросам арабистики и просит Вас, в случае возможности, пожаловать на это собрание» [А, оп. 2, № 172, л. 6].

На это приглашение, неофициальный характер которого особо подчеркивался нестандартной манерой выражения (разве что «текущие вопросы» несколько выпадали из стиля), откликнулось 16 человек; считая обоих Крачковских, на первом собрании присутствовали 18 востоковедов. Вот список членов кружка, как он зафиксирован в первом протоколе: И. Ю. Крачковский, В. И. Беляев, Е. Э. Бертельс, А. Я. Борисов, А. А. Быков, Я. С. Виленчик, И. Н. Винников, И. И. Гинцбург, М. М. Гире, В. А. Крачковская, К. В. Оде-Васильева, М. А. Салье, Д. В. Семенов, М. Н. Соколов, Р. Р. Фасмер, В. А. Эберман, Н. В. Юшманов, А. Ю. Якубовский [А, оп. 2, № 174, л. 4].

С невеселой речью обратился И. Ю. Крачковский к присутствующим. Подчеркнув, что дата собрания выбрана не случайно — 20-я годовщина со дня смерти В. Р. Розена, — он заговорил о причинах, побудивших его собрать коллег, чтобы обменяться мнениями о желательности организации кружка арабистов. До сих пор, говорил он, традиция русской арабистической школы, от Сенковского и Болдырева, развивалась непрерывно; с времен Гир-гаса она приобщилась к европейским научным течениям и достигла своего апогея при бароне В. Р. Розене.

Ученики Розена поддерживали его традицию, даже после 1917 года наблюдался некоторый подъем по трем линиям — исламоведению, филологии, лингвистике. В настоящий же момент арабистика в России переживает критический период, возможен даже более или менее длительный перерыв в традиции университетского преподавания, а наличные силы распылены по различным учреждениям.

Угроза судьбе классической арабской филологии, за которую мы несем ответственность, делает необходимым объединение всех арабистов на тот случай, если придется поддерживать существование арабистики частными усилиями. Другая цель такого

объединения — обмен мнениями и соображениями по поводу текущей научной работы каждого из арабистов и сообщения о новой литературе по специальности. Задачи кружка и Коллегии востоковедов пол

197

ностью не совпадают: там предполагается прочтение совершенно оформленных уже, чисто научных докладов перед представителями различных специальностей. Наличие объединения более однородного дает возможность совместного рассмотрения и обмена мнениями по поводу возникающих вопросов в специальной области [там же, л. 148 и А, оп. 2, № 175, л. 14].

Игнатий Юлианович подчеркивал, что кружок мыслится ему не как ученое общество, не как учебное заведение, что деятельность его должна будет протекать неформально. Первое время это объединение должно носить характер частного кружка. Если же он «своей деятельностью оправдывает существование, возможен вопрос о его официальном оформлении» [А, оп. 2, № 174, л. 148].

Все присутствовавшие поддержали идею. Кружку присвоили имя барона Розена, председателем его избрали И. Ю. Крачковского, секретарем — В. И. Беляева, чьим аккуратнейшим почерком и написаны все протоколы собраний; установили периодичность заседаний: раз в две недели.

Крачковский не был уверен, что его новому детищу суждена долгая жизнь. В тот же день, 23 января, он делает в дневнике осторожную запись: «Устраивал сегодня первое собрание арабистического кружка в годовщину смерти барона. Интересно знать, выйдет ли что-нибудь из этого или нет» [А, оп. 2, № 6, л. 324 об.].

Вышло! Разумеется, по ходу дела в составе кружка произошли некоторые изменения: так, Я. С. Виленик по болезни (он был полностью лишен слуха) посещать заседания не мог; М. Н. Соколов присутствовал только на первом заседании (очевидно, его научные интересы были далеки от интересов большинства), зато с октября 1928 года в кружок входит Г. В. Церетели, с осени проходивший в Ленинграде научную подготовку под руководством И. Ю. Крачковского; на некоторые собрания приходили и посторонние. Самыми аккуратными членами были председатель и секретарь; почти на всех заседаниях присутствовали Винников, Гире, Гинцбург, Крачковская, Оде-Васильева, Салье, Семенов, Фасмер, Церетели, Эберман, Юшманов. Якубовский перестал посещать кружок с середины 1929 года; Бертельс, Борисов и Быков бывали на заседаниях от случая к случаю, но все же иногда выступали с докладами. Таким образом, костяк кружка составили 13 человек; на заседаниях присутствовали обычно человек 12—13.

Первое, что поражает современного читателя при знакомстве с протоколами кружка, — регулярность заседаний этого неофициального содружества. С членов кружка никто формально ничего не требовал, отвечали они только сами перед собой. Все держалось, как говорится, на чистом энтузиазме. И вот в течение двух в половине'лет они неизменно собирались каждые две недели (сдвиг мог быть не более чем на 2—3 дня). Летом были каникулы в два с половиной—три месяца. Итоговые заседания оба раза про-

водились 23 января, день в день. В конце каждого очередного собрания намечалась дата следующего и фиксировалась в протоколе. Нечего и говорить, что подобная регулярность — заслуга самого Крачковского. А какая это была прекрасная школа для молодых научных работников!

Всего за два с половиной года существования кружка было проведено 50 заседаний, все они проходили на квартире Крачковских. Заседания начинались обычно с «текущих дел» — то есть разного рода мелких сообщений и обмена информацией. В частности, И. Ю. Крачковский постоянно сообщал о письмах, полученных им от иностранных ученых. Так, Гибб рассказывал ему о встрече с Амином Рейхани и интересовался, как идет подготовка к изданию текста Ибн аль-Мутазза; Кампфмейер писал о том, что собирается опубликовать перечень работ Крачковского по новой литературе и какие-то из них перевести на немецкий язык; редакция «Хандбук дер Литтературвиссеншафт» обращалась к нему с предложением написать очерк арабской литературы; Гарсиа Го-мес — с просьбой дать рецензию на свою книгу о западных версиях романа об Александре Македонском. Перес информировал о смерти алжирского арабиста Бен Шенеба — Крачковский, сообщая в заседании об этом, пользуется случаем дать слушателям краткую характеристику покойного.

Немало было заслушано сообщений и об отечественных арабистических новостях: о приобретении Крачковским рукописи перевода Корана Д. Н. Богуславского, о сооружении стараниями В. И. Филоненко памятника на могиле Медникова в Крыму, о поисках в Полтаве сведений относительно Михаила Нуайме, о посещении могилы шейха Тантави на Волковом кладбище, об арабистике в Ташкентском университете (по письму Шмидта). Было обнародовано и сенсационное сообщение: письмо А. Н. Бурыкиной и М. М. Измайловой, обнаруживших арабов в Средней Азии. Зачитывалось предисловие С. Ф. Ольденбурга к переводу «1001 ночи» и письмо Ю. Н. Тынянова, просившего установить арабский оригинал одного изречения, приводимого Пушкиным в «Путешествии в Арзрум»; демонстрировались сабейские таблички, присланные Крачковскому для дешифровки, и коллекция поддельных южноарабских надписей... Перечислять можно без конца — в некоторых заседаниях заслушивалось более десятка подобных сообщений.

Разумеется, львиная доля этих сообщений принадлежала самому Крачковскому, но в протоколах мелькают имена и других членов кружка: так, В. И. Беляев напоминает о выдвинутом в свое время Гольдциэром проекте издания хрестоматии богословско-юридических арабских текстов, план которой сохранился в письме А. Э. Шмидта В. Р. Розену; Эберман информирует о получении фотографии рукописи с рассказом о Ваддахе аль-Иемен, о котором он пишет диссертацию; В. А. Крачковская сообщает о найденном в Каирском музее древнем арабском надгробии. Эберман вы

двигает такой проект коллективной научной взаимопомощи: пусть, каждый член кружка сообщит, какие имена собственные, термины и т. п. его интересуют, чтобы те, кому они попадутся при чтении арабских авторов, фиксировали бы их для товарищей. И сам тут же предлагает целый список интересующих его арабских имен и реалий.

Еще одно любопытное начинание, предложенное И. Ю. Крачковским: составление портретной галереи европейских востоковедов. Были сочинены и размножены обращения на немецком и французском языках с просьбой о присылке портретов и отправлены заказными письмами многим известным востоковедам. Всего было отправлено 135 писем и получено 95 портретов.

Вторым пунктом заседания стоял обычно научный доклад или реферат; всего их за два с половиной года зачитано 56, примерно пятая часть (11 докладов) приходится на долю И. Ю. Крачковского. Остальные члены кружка, кроме Быкова, Якубовского и Церетели, также выступали с научными сообщениями; наибольшей активностью отличались Крачковская, Эберман и Юшманов. Дважды зачитывались работы московской арабистки Кашталевой. Доклады касались самых разнообразных тем; часто это были рецензии на те или иные новые издания. Некоторые из докладов нашли свое завершение в статьях, вошедших в 5-й том «Записок Коллегии востоковедов», посвященный научной деятельности И. Ю. Крачковского; по ним можно судить и о тематике, и об уровне докладов на кружке²⁸. Каждый доклад — это видно по протоколам — вызывал оживленную, явно не формальную дискуссию.

Редкое заседание обходилось без обзора или кратких аннотаций новых изданий по арабистике (иногда этот пункт заседания откладывался из-за позднего времени). В этом пункте повестки дня центральным действующим лицом был опять-таки сам Игнатий Юлианович. В поле его зрения попадали статьи из советских, европейских и арабских журналов, книги, изданные у нас и за рубежом, в том числе в арабских странах; он не обходил вниманием и произведения советских писателей, в которых упоминались какие-либо имена или факты, связанные с арабистикой, как «Скандалист» В. Каверина или «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова. Всего членами кружка за два с половиной года был дан обзор более чем 450 книг и статей.

На двух годичных собраниях — 23 января 1929 и 1930 гг. — подводились итоги деятельности кружка, которые явно радовали Крачковского, и обсуждалось состояние арабистической работы по Союзу, которое продолжало вызывать тревогу.

Не удовлетворяясь возможностями «вольного содружества», как он определял положение кружка, Крачковский все это время продолжает борьбу за создание «объединяющего центра» арабистики, который не только бы руководил научной деятельностью,

199

но имел бы определенный официальный статус и материальную базу. 8 февраля 1929 года он обращается с запиской в ОГН АН, предлагая создать в качестве академического института Кабинет

арабской филологии им. В. Р. Розена, пока хоть из трех штатных единиц, и при нем — научный кружок. Под кабинет предлагается отвести две комнаты в его квартире²⁹. К записке прикладывался примерный план работы и смета расходов кабинета.

17 февраля 1929 года этот проект был полностью принят группой по востоковедению ОГН АН, после чего отделение возбудило соответствующее ходатайство перед президиумом АН [А, оп. 2, № 172, л. 12). Однако осуществление проекта задерживалось в связи с предстоящей реформой АН и предполагаемой организацией Института востоковедения. Таким образом, кружок продолжал свое неофициальное существование.

1 марта 1930 года Крачковский подает новую докладную записку в группу востоковедения ОГН, подчеркивая, что из-за бесконечных промедлений в официальных инстанциях пункты плана, намеченного для до сих пор не открытого кабинета, начинают осуществляться за рубежом, как уже произошло с классификацией библиографических материалов по истории новоарабской литературы, которая предпринята в Германии, где это начинание, «вероятно, и будет осуществлено с большим успехом и быстротой, чем у нас, но уже без нашего руководящего участия. При дальнейшем промедлении такая же судьба постигнет и другие лежащие перед нами задачи вплоть до описания и опубликования хранящихся у нас материалов» [А, оп. 2, № 175, л. 411.

Тем временем дело осложнилось еще и тем, что в начале 1930 года вышло распоряжение о повышении квартирной платы в зданиях АН. Квартира Крачковских, по оценке Веры Александровны, имела жилую площадь около 160 кв. метров [А, оп. 7, № 28, л. 63 об.]. Безусловно, повышение должно было бить по карману, к тому же положение университетской кафедры в этот момент казалось безнадежным и похоже было, что скоро местом работы Крачковского останется только Академия: ведь нужно будет сохранить хоть какие-то скудные места для учеников!

Выход: или перепланировка квартиры со значительным сокращением ее площади — или решение Академии снять с него оплату тех двух комнат, которые фактически должны были отойти под Кабинет арабской филологии.

10 апреля 1930 года Крачковский подает еще одну записку, на этот раз прямо в президиум АН. Приведу ее полностью.

«В Президиум АН СССР

Последняя академическая сессия решила принципиально вопрос об организации в составе будущего ИВАН, как рабочих ячеек, Кабинетов по отдельным дисциплинам. Не предвещая вопроса о том, будет ли Арабский кабинет представлять самостоятельное

200

целое или входить в состав более крупного отделения, как секция, мне кажется необходимым уже теперь поставить вопрос о помещении для него. Дело в том, что работа фактически уже идет и суммы, отпущенные на индивидуальные работы академиков, несмотря на их незначительность, позволили начать некоторые изыскания, которые планомерно будут осуществляться предполагаемым кабинетом³⁰.

Азиатский музей в связи с размером своих помещений не в состоянии будет выделить отдельной комнаты для Кабинета; между тем, это необходимо как для сосредоточения работы, так и для собраний небольшого кружка ленинградских арабистов, который может составить прочную базу для Кабинета, олицетворяя собой, если можно так выразиться, арабистическое общественное мнение. Кроме того, желательно располагать таким помещением, в котором без особых технических затруднений были бы возможны вечерние занятия, чему тоже не удовлетворяет Азиатский музей.

Эти обстоятельства позволяют мне обратиться в Президиум с предложением отвести под Кабинет две комнаты в занимаемой мной квартире, в которых и до сих пор по существу шли указанные мною занятия. Такое решение позволит мне теперь же передать в пользование Кабинета свою специальную библиотеку, которая по некоторым областям арабистики представляет — смею думать — единственное в Ленинграде и Союзе собрание. Я предполагаю пожизненно сохранить ее в своем распоряжении, и помещение Кабинета в другом здании лишит меня возможности совершить эту передачу при жизни. Такое решение вопроса не потребует особых расходов на перепланировку³¹ квартиры, так как комнаты имеют отдельный ход непосредственно из передней и легко могут быть отграничены от остальных жилых помещений. Не потребуется временно и специального оборудования инвентарем, так как работа может идти, впредь до значительного расширения, при той обстановке, которая находится в комнатах теперь, книги же помещены в специально оборудованных шкафах и на полках.

О решении Президиума мне было бы желательно узнать в возможно непродолжительном времени, так как хозяйственная часть АН требует у меня срочно сведений о предполагаемой перепланировке квартиры» [А, оп. 2, № 175, л. 48].

Есть и еще одна, недатированная, бумага в президиум, где прямо ставится вопрос о возможности — по известным уже обстоятельствам — снижения для него квартплаты, иначе оказывается под ударом вся его ценнейшая библиотека: «...придется подумать о ликвидации ее по частям или в целом, а это для всякого ученого представляет очень болезненный вопрос, иногда вопрос жизни и смерти» [А, оп. 2, № 175, л. 51].

В архиве не сохранилось официальных ответов президиума на эти предложения. Быть может, ответов и не было: предложения

201

ведь были по сути вполне логичными, но, полагаю, помещение государственного учреждения, каким должен был быть Арабский кабинет ИВАН, на частной квартире — для советской бюрократической машины это решение было невозможным, тем более что работу кабинета при этом трудно было бы контролировать с идеологической точки зрения. А время для такого контроля уже настало...

События обернулись так, что и Кружку им. барона Розена пришлось прекратить свое существование. И. Ю. Крачковский в отчете по Академии за 1930 год называет в качестве причины этого «сокращение квартиры и необходимость ликвидировать часть

библиотеки» [А, оп. 2, № 143, л. 31 об.]. Думаю, что дело не только и даже не столько в этом: ведь оба кабинета, основные книги и стол для занятий остались на старом месте, этих двух комнат перепланировка не коснулась, и вряд ли Крачковский прекратил занятия кружка, своего любимого детища, чисто «из принципа». Просто всякого рода частные научные кружки оказывались теперь уже делом небезопасным — вспомним хотя бы судьбу студенческого кружка, в котором тогда принимал участие молодой Д. С. Лихачев.

Уже в конце 1928 года были арестованы востоковеды-сирологи Н. В. Пигулевская и А. П. Алявдин, входившие в возглавляемое философом А. А. Мейером религиозно-философское общество «Воскресение», названное так — согласно обвинению — якобы потому, что оно ставило своей целью воскресение старого режима [65, 1989, № 4, с. 121].

15 декабря 1929 года Крачковский пишет Филоненко (после сообщений в предыдущих письмах о «чистке» в Академии): «Очередь дошла до научных кружков, и теперь они находятся под ударом; неизвестно, в каком еще виде удастся сохранить Коллегию Востоковедов» [А, оп. 3, № 37, л. 138].

Но занятия своего кружка арабисты мужественно довели до конца учебного года. 16 июня 1930 года состоялось последнее его заседание с докладом В. А. Эбермана «О некоторых ближневосточных миниатюрах в ленинградских книгохранилищах», а через несколько дней после этого Эберман был арестован и отправлен на Беломорканал. Возможно, в этом сыграла роль его нескрываемая религиозность (по словам жены В. И. Беляева, Л. Н. Беляевой, у него даже в институте над столом висела икона).

Надо полагать, И. Ю. Крачковский, чувствовавший ответственность за своих младших коллег, не решился подвергать риску членов кружка, продолжая неофициальные собрания у себя на квартире.

В главе XI мы вернемся к рассказу о борьбе И. Ю. Крачковского за создание Арабского кабинета в начале 30-х годов. Пока же, завершая историю частного кружка ленинградских арабистов,

202

нужно сказать, что значение его неопределимо: в период «арабистиче-ского безвременья» он организовал разрозненные кадры, послужил сохранению «ученой атмосферы», живой научной жизни; члены его проходили образцовую научную школу, в которой получали все — исследовательские, критические и библиографические навыки, опыт научного содружества и дисциплины труда. Дело барона Розена попало в хорошие руки.



ГЛАВА X

Как взвесить обретенья и утраты':

«НЕЧАЯННО ПОПАЛ НА СОБСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ»

Даже по скудным выдержкам из протокола кружка арабистов видно, какие широкие связи сложились у Крачковского к концу 20-х годов. Он приобрел авторитет первого арабиста Советского Союза:

ему писали из разных городов, обращались с вопросами, просили совета, сообщали о новых достижениях и открытиях. И не было случая, чтобы он не ответил на какое-либо письмо.

В протоколах кружка немало и иностранных имен, с зарубежными учеными тоже идет интенсивный обмен научной информацией¹.

В 1923 году он был избран в члены Арабской Академии в Дамаске — то есть его авторитет был признан и на Востоке.

Он даже жалуется В. И. Филоненко: «В последнее время совсем одолели иностранцы, которые все обращаются с разными просьбами — то сличить какой-нибудь текст, то сообщить сведения о неописанной рукописи и т. д. Видно, что у них работа идет, а нам не поспеть. Арабисты же мои совсем сошли на нет и поручить некому» [А, оп. 3, М? 37, л. 68 об.—69]. Это написано еще 18 февраля 1925 года, то есть до организации кружка.

«Нам не поспеть...» Эта мысль мучает постоянно, ибо для Крачковского одной из очень важных ценностей всегда был престиж русской науки. Пятнадцать лет назад он, отказываясь завершить практику на Востоке поездкой на Запад, гордо писал, что ученику Розена нечему учиться в Европе, а теперь? Мало того, что организационные препоны мешают наладить работу с наличным материалом, оказалось, что возможности получения нового материала почти закрыты: его не выпускают за границу! Иначе говоря, лишают возможности наладить нормальный книгообмен с зарубежными странами.

Дело обстояло так. Осенью 1925 года Крачковский поднял вопрос о годичной командировке в арабские страны — Египет, Сирию, Палестину. В архиве Академии наук сохранилась состав

203

ленная Крачковским официальная записка² — обоснование необходимости этой поездки, — свидетельствующая о большой обеспокоенности его проблемой пополнения книжных фондов Азиатского музея новейшей литературой:

«По мере того, как восстанавливаются сношения с Востоком, перед Азиатским музеем все грознее встает вопрос о пополнении пробелов в его собраниях, накопившихся за последние 10 лет. И до войны это пополнение часто отставало от роста восточной печати, теперь же громадные лакуны требуют спешной выработки плана их пополнения; через несколько лет будет уже поздно и многого нельзя будет восстановить. Первый шаг в этом направлении сделан экспедицией в Персию; не менее важен и еще более сложен вопрос об арабских странах...

Лицу, отправляющемуся в экспедицию, предстоит трудное задание. Ему прежде всего надо непосредственно ознакомиться со всем, что напечатано на Арабском Востоке за истекшие со времени перерыва сношений годы; из всей массы этого печатного материала, учитывая состав и цели Азиатского музея, надо выделить то, приобретение чего является существенно необходимым; надо обратить особое внимание на новоарабскую литературу, которая во всех европейских книгохранилищах до сих пор была представлена случайно, и заложить прочное основание для изучения жизни нового Востока, идущего вперед быстрыми шагами; наконец, путем сношений с государственными учреждениями, издательствами и

книжными фирмами подготовить почву для получения необходимой литературы» [А, ф. 2, оп. 1—1925, № 11, л. 27).

Эта идея не встретила никаких возражений ни в Академии, ни в Университете, ни в Восточном институте. Также без всяких препятствий пошло дело и у Веры Александровны (она в то время работала в Эрмитаже, где тоже были заинтересованы в налаживании связей с Востоком). В удостоверении, выданном Крачковскому Академией наук 5 мая 1926 года, значилось, что едет он в арабские страны для «производства научных исследований в упомянутых странах в области изучения языка, литературы и археологии их, а также для приобретения интересующих Академию изданий, рукописей и этнографических и археологических коллекций и предметов и для восстановления более тесных связей с соответствующими иностранными научными учреждениями» [А, оп. 2, № 223, л. 4]. Наркомпрос против командировки тоже не возражал. Дело затянулось с заграничными паспортами — и кончилось отказом, несмотря на все хлопоты С. Ф. Ольденбурга.

На следующий год та же история повторилась с поездкой в Швецию, куда Крачковский был приглашен прочесть две лекции в Упсальском университете: уже и лекции были готовы и переведены на немецкий язык, рассчитаны маршруты, даже сообщение о его поездке появилось в «Вечерней Красной газете» — и снова отказ на Дворцовой площади.

204

А другие академики ездили — и в Европу, и на Восток, завязывали связи, налаживали книгообмен — Бартольд, Щербатской, Ольденбург, Самойлович, Алексеев... Почему отказывали Крачковскому? К государственным тайнам он как будто причастен не был. Может быть, мешало то, что он хотел ехать с женой? А вдруг останется там насовсем? Но ведь буквально только что (еще и пяти лет не прошло!) его собирались выслать за границу, а он усиленно протестовал против этого.

Ольденбург даже записку президенту Академии подавал — отказывался от должности Непременного секретаря в знак протеста против запрещения выезда за рубеж академику Крачковскому, «за которого я полностью ручался перед правительством» [А, оп. 2, № 224, л. 8]. Но от отставки его, очевидно, отговорили, а запрет остался — на всю жизнь... Впрочем, Крачковский больше и не пытался выехать.

Итак, та область арабистики, в которой Крачковский считался — на мировом уровне — общепризнанным лидером, то есть история новоарабской литературы, отныне если не закрыта была перед ним, то все время он должен был ощущать неполноту своей осведомленности в ней, определенную неуверенность: а вдруг какой-то существенный материал упущен?

Закрытой оказалась другая тема, быть может, самая любимая — христианско-арабская литература. Действительно, можно ли было ею заниматься в самый разгул антирелигиозной пропаганды?! Кому из коммунистических идеологов было дело до того, что эта литература — первоклассный материал для арабской диалектологии или для сравнительного литературоведения? Религиозная литература — и все тут.

«Христианский Восток», журнал с одиозным названием, в котором Крачковский опубликовал столько интересных статей, прекратил свое существование в 1924 году. Том VII (за 1921 — 1924 гг.), собранный и отпечатанный, в свет уже не вышел. Сохранились лишь оттиски отдельных статей в нескольких десятках экземпляров, в том числе — описание рукописей из собрания патриарха Антиохийского Григория Хаддада, стоившее Крачковскому, как мы помним, столько трудов.

В набросках осталась работа о путешествии Макария Антиохийского в Россию, для которой Крачковский собирал материал еще до войны. В архиве остались переводы апокрифов, быть может спасшие его в тяжелом 1919 году, и краткий, ныне уже устаревший, очерк христианско-арабской литературы. Так и не сделан был каталог христианско-арабских рукописей в собрании нашей страны, только краткий перечень их удалось напечатать в бейрутском журнале «аль-Машрик» в 1925 году.

Эта отрасль арабистики потом успешно развивалась немецким ученым Георгом Графом — тем самым, которого Крачковский так сурово критиковал в одной из своих первых рецензий.

205

Помочь здесь не мог никто, «и даже попытки исключительно боевой и энергичной натуры Н. Я. Марра сохранить эту линию оказались бесплодны. Здесь мы вышли из строя ко вреду для всей нашей науки, нашей страны» [А, оп. 2, № 62, л. 122].

Тот же «антирелигиозный пресс» задел, естественно, и работу в области мусульманской литературы: перевод Корана, начатый еще в 1921 году, был закончен летом 1928-го и тоже лег в стол мертвым грузом, не получив окончательной отделки. Опубликованный 35 лет спустя, этот перевод и в таком виде явился крупным событием в исламоведении, хотя обширный комментарий к нему так и остался нераскрытым, «свернутым». А если бы — тогда? И в тщательной авторской обработке, с развернутым комментарием?

Папка с выписками по Корану, да и приведенные выше дневниковые записи свидетельствуют о том, сколь продуманно Крачковский подошел к этой работе, как внимательно изучил он переводы своих европейских предшественников и критику их, как стремился избежать характерных для них ошибок. Особенно привлекла его критика переводов, данная А. Фишером [59]. Крачковский выписывает его замечания аккуратнейшим образом, причем по-русски, как своего рода памятку, в которой содержатся требования исходить, во-первых, из самого текста Корана, не скользя себя догматическими схемами поздних комментаторов, однако учитывая их филологические толкования, а также все тонкости арабской грамматики, фразеологии и поэтики; во-вторых — обращать внимание на варианты текста и иметь в виду «проблематичный характер многих мест» и, в-третьих, не стремиться обязательно найти в Коране иудейские и христианские элементы, помня, что Мухаммед вырос в арабской языческой среде и должен был испытывать влияние ее обычаев, а также мотивов, форм и языка поэзии [А, оп. 1, № 203, л. 95].

Итоговую оценку всем европейским переводам до середины 20-х годов дает Т. В. Яйнболл (она тоже выписана Крачковским и тоже по-

русски): «Ни один из переводов не сохраняет систематически традиционного, признаваемого у мусульман правоверным толкования текста, равно как, наоборот, никто из переводчиков не стремится защитить исключительно верный с историко-критической точки зрения смысл выражений Корана» [там же, л. 102].

Крачковский, несомненно, избрал для себя второй из указанных Яйнболлом путь. Иными словами, он и к Корану подошел как к литературному памятнику, созданному в определенную эпоху в определенной социальной среде, отразившему политическую и идеологическую обстановку своего времени и вобравшему в себя весь предшествующий эстетический опыт арабской культуры.

Если обратиться к менее одиозной тематике — арабской поэзии и поэтике, — то и здесь дело останавливалось из-за слабых возможностей академической типографии по части воспроизведения арабского шрифта. Так, готовая еще перед революцией докторская

206

диссертация об Ибн аль-Мутаззе не могла быть напечатана (а значит, по старым добрым правилам и защищена), поскольку существенную ее часть составляло критическое издание текста «Китаб аль-бади». И таким сумрачным видится Крачковскому будущее его научных трудов, уже готовых и еще не написанных.

«О работах моих лучше и не спрашивайте, — пишет он Филоненко 12 ноября 1923 года, — не растравляйте моих ран. То, что написано, лежит безнадежно или потому, что печатать негде, или потому, что цензура не пропускает. Ей я обязан тем, что оказался зарезанным мой том в 20 листов о новоарабской литературе за период 1895—1915 гг., не пропущен перевод "Калилы и Димны" покойного Кузьмина под моей редакцией и т. д. В невыпущенном томе ЗВО пять моих статей сверстаны и подписаны к печати около трех лет, но увидят ли они свет — Бог весть. При таких условиях совсем нет энергии теперь работать над чем-либо крупным и поневоле ограничиваешься время от времени мелочами» [А, оп. 3, № 37, л. 57].

Попробуем проследить, однако, какие «мелочи» успел написать и опубликовать Крачковский за двадцатые годы, — и это помимо той большой преподавательской и организационной работы, о которой шла речь в предыдущей главе. Ведь совсем ничего не писать он не мог, постоянно выкраивал кусочки времени и писал — пусть в стол, иначе жизнь потеряла бы смысл.

Итак, сначала несколько цифр. По «Библиографии» Винникова [17] в период между 1920 и 1929 гг. Крачковским было написано 164 работы (из увидевших свет) и прочитано 80 докладов (из них около половины легли в основу печатных работ). Посмотрим, что же стоит за этими цифрами.

Часть работ этого времени уже упоминалась в одной из предыдущих глав — то, что связано со «Всемирной литературой» и «Востоком»: редактura переводов и собственные небольшие переводы, предисловия к ним, много мелких журнальных заметок, рецензий и небольших статей. Рецензий немало (всего более 30) было опубликовано и в других научных журналах — на издания самой разнообразной тематики; Крачковский по-прежнему неравнодушный и зоркий читатель. Сюда же примыкают отрывки из

писем арабским писателям, опубликованные адресатами, и «Записки о научных трудах» тех или иных ученых, русских и зарубежных, составленные по академической обязанности, и академические отчеты о командировках. Написано и несколько предисловий к учебникам — не просто презентативных, а перерастающих в самостоятельные научные статьи, оттеняющие значение представляемой работы глубоким анализом всего, что было сделано ранее в этой области. В этом списке и пять статей христианско-арабской тематики в последних двух томах «Христианского Востока».

Очень много — 1 не меньше, чем рецензий, — статей, посвященных отдельным памятникам, рукописям или какой-нибудь частной

207

проблеме, обычно небольших, на 2—5 страничек в «Докладах Академии наук» — те самые «мелочи», о которых он писал Филоненко. Значительный удельный вес их в это время понятен: велика загруженность организационными делами, и уйти от них хочется, и надолго — не получается, а рукописи, когда до них все-таки дорвешься, то и дело подсказывают какое-то интересное наблюдение, даже маленькое открытие (идентификация автора или сочинения) — тему для очередного небольшого доклада, который и напечатать-то потом легко — в «Докладах АН».

Среди статей этого плана есть и более крупные, с большими отрывками арабского текста, чаще всего посвященные уникам ленинградских собраний, в том числе «Неизвестное сочинение-автограф сирийского эмира Усамы» (1921—1925 гг.) и «Йусуф ал-Магриби и его словарь» (1925—1926 гг.), давшие толчок ряду работ русских и арабских исследователей следующего поколения.

Конечно, в таком обилии мелких публикаций за это десятилетие виновата и присущая ему «жадность к темам», о которой уже приходилось говорить в одной из предыдущих глав. И все же, все же... Впоследствии, окидывая взором свой творческий путь, он напишет: «Возможно, что если бы в 1917—1918 году мне удалось напечатать работу о поэтике Ибн ал-Мутазза в том виде, как она тогда была написана с мечтами о докторской диссертации, моя научная работа могла бы постепенно дисциплинироваться в сторону большей сосредоточенности» [А, оп. 2, № 62, л. 124].

Но, увы, так не получилось, а поскольку тема не давала покоя, Крачковский все возвращался к своему любимцу и, как бы выжидая момент, когда труд о нем можно отделать окончательно и напечатать в полном объеме, занялся другими его произведениями: издал в «Le Monde Oriental» принадлежащий Ибн аль-Мутаззу свод назидательных афоризмов («Китаб аль-адаб»), по рукописи Британского музея с привлечением других доступных ему материалов, и написал большую статью еще об одном своеобразном сочинении: «Категории сравнений о заре радости» («Фусул ат-тамасил фи табашир ас-сурур») — антологии, посвященной вину и искусству застолья. Венчает же подборку материала «вокруг» поэтики Ибн аль-Мутазза подробно аннотированный «Список сочинений» его, опубликованный по-французски в 1927 году.

Параллельно с обзором и характеристикой других трудов Ибн аль-Мутазза Крачковский продолжает углублять и расширять начатое им

в исследовании 1917 года рассмотрение его поэтики в контексте прочих работ на эту тему, созданных арабскими учеными в IX веке, стараясь ответить на вопрос об оригинальности арабской системы поэтики и о возможных связях ее с греческой и индийской системами. В этой серии следует назвать небольшую статью «Фрагмент индийской риторики в арабской передаче» (1927) и «"Риторику" Кудамы ибн Джафара» (написано летом 1929 г.). Критическое издание «Риторики», которая, как впослед-

208

ствии стало известно, в действительности Кудаме не принадлежит [см. 27, т. 6, с. 100], Крачковский готовил, на основе Эскуриаль-ской рукописи, вместе с Эbermanом³. В этом же ряду стоит и его неудавшаяся лекция в Упсале «Арабская поэтика в IX веке», напечатанная на немецком языке в «*Oriente Moderno*» пригласившим Крачковского К. Цеттерстеном.

Общий вывод И. Ю. Крачковского об оригинальности арабской поэтической системы [27, т. 2, с. 361—362] разделяется, хотя и с известными уточнениями, и современными учеными⁴.

Большое значение придавал сам Крачковский напечатанной в «Востоке» в 1924 году уже упомянутой большой статье «Арабская поэзия». На первый взгляд она кажется просто популярным обзором, да и выросла-то она из публичной лекции, прочитанной в Институте истории искусств⁵, где Крачковский в начале 20-х годов состоял профессором. Тем не менее эту лекцию в академическом отчете он упоминает особо как «первую в Европе попытку дать характеристику арабского поэтического творчества за все время его существования до наших дней на основании анализа стиля» [А, оп. 2, № 143, л. 3]. Иными словами, «Арабская поэзия» была связана по сути своей с его исследованиями в области арабской поэтики и продолжала начатое диссертацией об аль-Вава вовлечение арабской поэзии, по выражению А. Э. Шмидта, «в круг тех материалов, на которых должны быть построены общие законы эволюции поэтических форм», только теперь это делалось на более широкой основе и приводило к более общим и значительным выводам. Для него самого эта лекция была примечательна еще и тем, что выработанный им в процессе исследования диванов аль-Вава, Абу-ль-Атахи и других поэтов историко-литературный и эстетический подход к поэтическим памятникам привел его от анализа к синтезу, а это, я полагаю, было для Крачковского особенно важно и дорого. Поэтому с таким волнением он и просил в письме к Г. Л. Лозинскому (14 марта 1924 г.), посылая ему № 4 «Востока», высказать свое мнение именно об этой статье.

Отклики на «Арабскую поэзию» (в том числе и отзыв Лозинского) были весьма благожелательные, однако, мне представляется, что самой природы новаторства этой работы Крачковского ни один рецензент до конца не уловил. Ближе всех подошел к верной оценке ее Т. Менцель, который, рассматривая в своей статье об И. Ю. Крачковском последовательно монографию об аль-Вава и «Арабскую поэзию», особо остановился на том, как автор трактует вопросы метрики и поэтического стиля, исследуя различные этапы развития поэзии. Сюда бы добавить литературоведческое исследование

Корана — какими бы красками заиграла картина литературы арабской древности и раннего ислама!

Среди работ, посвященных классической арабской литературе, особое место занимает статья — дань компаративистской тематике — о памфлете Абу-ль-Аля аль-Маарри «Послание о проществе

209

нии, напечатанная на немецком языке в журнале «Islamica» в 1925 году и имевшая в Европе достаточно широкий резонанс (полагаю, она и была опубликована не по-русски, чтобы М. Асин Паласиос, с которым он полемизировал, смог ее прочесть). В этой статье Крачковский убедительно доказал, что «Послание» Абу-ль-Аля, содержащее несомненные параллели к «Божественной комедии» Данте, «представляет не столько литературную обработку легенды о вознесении Мухаммеда (как утверждал Асин Паласиос. — А. Д.), сколько остроумнейшую пародию на традиционные мусульманские описания загробной жизни» [27, т. 2, с. 300].

По новоарабской тематике, несмотря на то что приток новых материалов был почти закрыт, тоже далеко еще не все возможности были исчерпаны. За это время Крачковским написано несколько монографических статей, впервые знакомящих читателя с такими неординарными фигурами, как переводчик гомеровской «Илиады» Сулейман аль-Бустани или переводчик басен Крылова Ризкаллах Хассун и др. Важное место занимают и работы обобщающего характера. Об одной из них — незаслуженно забытой статье в первом номере «Востока» — уже говорилось здесь достаточно подробно. Два варианта (немецкий и русский) статьи о литературе арабских эмигрантов в Америке, напечатанные в 1927 и 1928 годах, корнями своими восходят к предисловию для загубленного цензурой сборника переводов, подготовленного в рамках «Всемирной литературы». Чувствуется: Крачковскому не давали покоя любимые его сироамериканцы: в 1924 году он читает о них доклад в Клубе ученых, о них же должна была быть вторая из несостоявшихся упсальских лекций (ее и опубликовал Цеттерстен в 1927 г. по-немецки).

Как общепризнанный лучший знаток новоарабской литературы Крачковский прославился после «Образцов новоарабской литературы» К. В. Оде-Васильевой под его редакцией и с его предисловием. Здесь тоже был свой более старый — десятилетней давности! — исток: публичные лекции, прочитанные летом 1918 года. Тогда они остались ненапечатанными, потому что в процессе подготовки к ним обнаружились несомненные пробелы, и Крачковский, думая о будущей поездке на Восток, без которой все «работы в этой области обречены на фрагментарность и случайность» [А, оп. 2, № 62, л. 135], решил повременить с публикацией.

В 1928 году, когда назрела необходимость составления хрестоматии по новой литературе для ЛИЖВЯ, притом имелась реальная возможность ее издать, оказалось, что его библиотека (включая немногочисленные новые поступления от арабских корреспондентов, с кем сохранились или завязались послевоенные связи, как, например, с семьей Теймуров), несмотря на все лакуны, в общем дает достаточно материала для такой книги. Тогда и был на

основе старых лекций — разумеется, с некоторыми добавлениями — составлен гораздо более сжатый общий очерк.

210

Появление «Образцов» означало утверждение нового подхода к современной арабской литературе как к научной дисциплине. Хрестоматия отличалась очень продуманным подбором отрывков и законченных произведений, представляющих все прозаические жанры арабской литературы за последние полвека (разумеется, в пределах возможностей составителя и редактора), а предисловие, при всей популярности изложения, являло собой научное исследование, в котором каждый автор вводился в целостную и многообразную систему литературного развития арабского мира.

«Образцы» встретили широкий приветственный отклик в арабистической среде. Это была подлинно «книга года»: за очень короткий срок появилось более десятка рецензий на нее — у нас, в Европе, в арабских странах. Все были единодушны в оценке хрестоматии как первоклассного учебного пособия по современному арабскому языку и литературе, пособия уникального, «отвечающего давно назревшей потребности» [72, 1928, кн. 7, с. 197], «заполняющего огромную лауну в арабистической учебной литературе» [81. 1929, т. 21, с. 529]. Г. Кампфмейер [88, 1929, т. 11, с. 163] высказал пожелание, чтобы его коллеги во всех немецких университетах отныне использовали бы «Образцы» в преподавании.

Более того, книга, по оценкам специалистов, имела и серьезное научное значение: она впервые давала систематическое представление о современной арабской литературе, «о мощном культурном развитии арабов Египта, Сирии и Америки» [70, 1929, № 26—27, с. 414]. Кампфмейер, называя «Образцы» «лучшим непосредственным введением в новую арабскую литературу», утверждал, что это издание, наряду с «Очерками» Х. А. Р. Гибба, является вообще «поворотным пунктом» в ее изучении [88, с. 163].

Все рецензенты отмечали и «чрезвычайно интересное» (Цеттерстен) предисловие, «которым снабдил эти великолепные "Образцы" наш ученый друг, чье перо словно источает мед» [90, 1928, т. 6, с. 382]. Г. Кампфмейер счел предисловие Крачковского настолько важным, что в том же, 1928 году опубликовал его немецкий перевод, выполненный Г. фон Менде [80, т. 31, ч. 2, с. 180—199], а упомянутую выше статью в <Die Welt des Islams> озаглавил: «Игнатий Крачковский — ведущий исследователь новой арабской литературы» и снабдил ее портретом ученого. Рецензент же в «Журнале Арабской Академии в Дамаске» выражал сожаление по поводу того, что введение к «Образцам» написано на русском языке — хорошо было бы сопроводить его арабским переводом, ибо «в этом была бы великая польза для тех, кто на Востоке занимается арабской литературой» [86, 1928, т. 8, с. 445].

Банальная истина «лучшее враг хорошего» в который раз оказалась справедливой. Десять лет назад Крачковский постеснялся напечатать свои, как ему казалось, «фрагментарные и случайные» лекции, а теперь увидел, что напечатание тогдашнего очерка «даже в первоначальной редакции в то время представило бы не

210

малую новизну для западной европейской науки» [А, оп. 2, № 62, л. 135] — ведь даже в 1928 году, даже «в значительно более сжатом виде», он оказался «неким событием для Европы» [там же].

Менее известная статья Крачковского, появившаяся в 1930 году в «Журнале Арабской Академии в Дамаске», — «Изучение новоарабской литературы, его современные методы и цели» [86, т. 10., с. 17—28]. Основной пафос этой статьи заключается в том, что подход к изучению новой литературы по своему научному уровню не должен отличаться от подхода к литературе классической. Автор разворачивает целую программу собирания самых разнообразных источников, имеющих отношение к арабским писателям XIX—XX веков, их систематизации, научного описания, составления словаря писателей по типу «Словаря русских писателей» С. А. Венгерова или капитального свода К. Брокельмана. Указывает он и на необходимость научно-критических изданий произведений писателей нового времени, ибо «критическое издание является основанием для изучения всех вопросов, связанных с текстом автора» [с. 26]. Исследования же в области новой литературы должны, по его мнению, опираться на методы, которыми пользуются исследователи новых литератур Европы: прежде всего, изучение творчества писателя в тесной связи «со средой, из которой писатель вышел, изучение всего, что имеет отношение к обществу, в котором писатель живет, всех жизненных явлений, влиянию которых он подвергается, эпохи, в которую он действует» [с. 22]. Такой метод должен сочетаться «с методом изучения художественного образа», то есть с исследованием «формы сочетания, художественных приемов автора и его приемов воплощения своих мыслей и представлений» [там же].

Эта программа носила скорее идеальный, чем реальный характер, что понимал и сам Крачковский. Он признавал, что база для исследования новой литературы пока ничтожна, а сами исследования находятся, по суп» дела, в зачаточном состоянии и не привлекают должного внимания арабистов ни в арабских странах, ни за их пределами. Самому же автору этой программы осуществить ее в полной мере было невозможно: отсутствие регулярной связи с арабскими странами не давало ему возможности систематически следить за развитием новой, живой литературы. Но заявить эту программу было необходимо.

И наконец, последней линии, истории арабистики, к которой его неуклонно влекло «моральное веление долга перед предшественниками в науке» [А, оп. 2, М° 62, л. 137], он тоже отдал значительную дань в это десятилетие.

На первом месте стояли непосредственные учителя. Он писал о Тураеве, скончавшемся в 1920 году, издал кое-что из его трудов и, конечно, некоторые работы и документы В. Р. Розена [17, №№ 183, 184, 254, 261 и др.] — это благородное дело сопровождало его на протяжении всего творческого пути. Самым объеми-

211

стым в этом ряду было завершение труда Розена, посвященного христианско-арабскому историку Яхье Антиохийскому (XI в.), которым Розен занимался еще в 80-х годах. Он подготовил тогда

издание хроники по двум известным к тому времени рукописям и черновой перевод по одной из них. Теперь нужно было привлечь все вновь открытые за последнее время рукописи, появившиеся за эти годы печатные материалы и на этой основе заново подготовить текст к изданию и пересмотреть весь перевод, то есть фактически дать новый. Эту работу Крачковский делал вместе с византинистом А. А. Васильевым (1867—1953), причем, судя по переписке соавторов, львиная доля труда выпала Крачковскому. Три выпуска издания заняли около 500 страниц [17, №№ 176, 280].

Среди некрологов, юбилейных статей, материалов об отдельных любопытных фактах истории арабистики особенно выделяется статья, посвященная сорокалетию со дня смерти В. Ф. Гиргаса, к которому Крачковский испытывал особые чувства как к учителю, другу и соратнику Розена — это, кстати, в свое время побудило его взяться за указатели к Абу Ханифе. В этой статье Крачковский очень четко обрисовывает научные заслуги «тихого» Гиргаса, который был ему близок и как предшественник по части изучения сирийского разговорного языка, вообще — интереса к современному Востоку.

Работа о Гиргасе — образец уважительного умения нестандарт-го подойти к научной деятельности человека, чье имя, благодаря «Хрестоматии» и «Словарю», которыми до сих пор пользуются студенты, чаще всего только с этими пособиями и ассоциируется.

Собственно, к жанру истории науки в известной степени могут быть отнесены и его предисловия к учебным пособиям (к "Грамматике" Н. В. Юшманова, хрестоматиям Д. В. Семенова и к. В. Оде-Васильевой, более позднее — к словарю Х. К. Барано-за), содержащие краткие критические обзоры того, что было сделано предшественниками в той или иной области арабистики, — очень характерная для Крачковского, старинного любителя и знатока библиографии, «обязательность необязательного».

Венчает это десятилетие творчества Крачковского одно из лучших его сочинений по истории арабистики, одна из четырех любимейших им собственных работ — книга «Шейх Тантави, профессор Санкт-Петербургского университета», вышедшая под грифом «Труды комиссии по истории знаний». У этой книги длинная биография, начало которой связано, как уже было упомянуто, с подготовкой к юбилейной дате — столетию Санкт-Петербургского университета и с описанием рукописей из коллекции Тантави. Постепенно, по пометам, поправкам, припискам, сделанным в них

Помимо «Шейха Тантави» это работы об аль-Вава, Ибн аль-Мутаззе и Абу-ль-Аля [см. 28, с. 106].

212

рукой шейха, складывалась буквально мозаичная картина жизни арабского ученого, волею судьбы оказавшегося вдали от родины... Впрочем, лучше всего эту почти детективную историю поисков и находок, в духе Ираклия Андроникова, изложил сам Крачковский в книге «Над арабскими рукописями» (глава «От Каира до Волкова кладбища»). Мне хочется привести здесь только одну старую деловую запись в дневнике, сделанную 5 апреля 1917 года, то есть в те дни, когда он так увлеченно писал своего Ибн аль-Мутазза: «С утра до двух копался в библиотеке, сначала с Ибн аль-Мутаз-зом, а потом с рукописями Тантави, среди которых просмотрел его

сочинения. Может быть пригодится для биографии, которую в конце концов все же придется, верно, писать» [А, оп. 2, № 6, л. 94]. Читая это, можно подумать, что речь идет о порученной ему кем-то извне нелегкой обязанности, в данный момент как будто и нежелательной. А ведь это голос долга, заранее и неотвратимо подсказывающий ему, чем он займется рано или поздно.

Книга о Тантави переросла рамки чисто биографического труда: она содержит, кроме основной части, арабский текст «Автобиографии» шейха и обзор материалов для его биографии в рукописном хранилище университетской библиотеки, как бы открывая дверь в лабораторию автора и подсказывая пути дальнейшего исследования, но этой подсказкой, увы, до сих пор никто по-настоящему не воспользовался. И «Описание России» Тантави так до сих пор и не издано, хотя уже после смерти Крачковского некоторые арабисты брались за изучение этой рукописи.

Книга о шейхе Тантави удивительная. Она — про все: про то, как шло возрождение арабской литературы в XIX веке, и про судьбу человека, вырванного из привычной среды, сблизившегося с русской культурой и никогда уже не вернувшегося домой; она — про петербургский востоковедный круг и про взаимообогащение Востока и Запада, и она же — свидетельство кропотливой и увлеченной работы автора, по крупицам собравшего эту сложную картину, нигде не подчеркивая своей роли, но не скрывая своей любви к славному скромному шейху, духовных потомков которого, встреченных некогда на Востоке, он вспоминал с неизменной симпатией.

Мне кажется, эта книга не оценена по заслугам. Конечно, на нее было несколько рецензий, причем арабы, разумеется, ее всячески приветствовали. На Западе среди небольших заметок о ней выделяется одна, более обстоятельная, принадлежащая шведскому арабисту Г. Нюбергу [81, 1933, "Т.. 24, с. 149—151]. Правда, и он касается не всех аспектов монографии. Его особенно заинтересовала роль Тантави в возрождении арабской литературы (несмотря на его отъезд из Египта!), показанная Крачковским, и на это он делает упор. Нюберг пленился и художественной стороной книги, он несколько раз подчеркивает, что она «читается с чрезвычайно живым интересом» [с. 149], что биография шейха изложена ав

213

тором «в манере столь же привлекательной, сколь поучительной» [там же].

Соотечественники не удостоили труд Крачковского ни одной рецензии. Более того, сам И. Ю. дважды глухо упоминает о неблагоприятном ее приеме в нашей востоковедной среде [28, с. 106; А, оп. 2, № 62, л. 116]. Но поскольку ни печатных (которых, судя по всему, и не было), ни архивных свидетельств этому я пока не нашла, остается только надеяться, что когда-нибудь раскроется и эта маленькая тайна — кто же в те времена оказался гонителем почтенного египетского шейха и его автора.

Таким образом, несмотря на все помехи, Крачковским меньше чем за десять лет сделано столько, что хватило бы на целый коллектив арабистов. Да, собственно, он и заменял целый коллектив, ведь его соратники делали в науке первые шаги, их работы насчитывались

единицами, да и старшие товарищи, как, например, Крымский, публиковали в те годы немного.

Думаю, при всем привычном недовольстве собой Крачковский, постоянно заботившийся о престиже русской науки, понимал и это обстоятельство, чем и объясняется, по-видимому, такое на первый взгляд странное для человека, славившегося своей скромностью, предложение, сделанное им на одном из заседаний кружка: составить библиографию его трудов.

Это задание должно было иметь огромное воспитательное значение как подведение итогов сделанному — по крайней мере, в Ленинграде — по всем основным линиям арабистики за последние четверть века (учитывая, что списки трудов Розена и Медникова были опубликованы), как стимул дальнейшей разработки этих основных линий, как способ ознакомления с различными изданиями, где могли публиковаться востоковедные труды и как практика библиографической работы. И как пример уважения к научному труду, своему и чужому, которое всегда было ему свойственно.

Рассказ о научной работе Крачковского я не случайно приостановила на годе 1929-м: это — юбилейная дата, 25 лет научной деятельности, которую его ученики и коллеги не преминули отметить.

Торжество приурочили к очередному докладу Крачковского в Коллегии востоковедов, зная, что, если объявить ему об этом заранее, он попросту не явится. Поэтому поздравления были для него неожиданностью: <31 октября. Читал сегодня в Коллегии Востоковедов доклад о риторике Кудама и нечаянно попал на собственный юбилей. Бартольд приветствовал и сообщил о посвящении мне т. V "Записок", содержание коего мне поднесли. Поднесли ряд телеграмм и писем» [А, оп. 2, № 6, л. 327]. О том же в письме Филоненко: «Хорошо, что дело обошлось без торжественности и речей, а то я бы совсем погиб. Поднесли очень хороший бювар с перечнем участников предполагаемого тома, что тоже было для меня неожиданностью, но уже приятной» [3 нояб. 1929 г.; А, оп. 3, № 37, л. 134].

. 245

Это был последний том «Записок Коллегии востоковедов». Он вышел в 1930 году с портретом юбиляра и посвящением ему; участвовали в нем и старшие коллеги (Бартольд, Ольденбург, Розенберг, Шмидт, Марр), и сверстники (Бертельс, Владимирцов, Гордлевский, Гинцбург, Филоненко, Фрейман и др.), и ученики — преимущественно кружковцы; часть статей прислана была из других городов. На фотографии той — словно в радостный юбилейный день снята! — он веселый, с лучистыми глазами... Как ни трудно, а сумел же он их сплотить и научить чему-то! Вот и луч радости в черные дни академической «чистки»...

Пришли к юбилею и письменные приветствия — от востоковедов и иевостоковедов. В частности, В. Ф. Шишмарев поздравляет его и как ученого, чьи работы «благодаря постановке вопроса или теме* интересны и западникам, и многозначительно добавляет: «Приветствую Вас также и как Человека, которого всегда ценил с моральной стороны. В наши трудные времена эти мысли как-то особенно приходят на ум по поводу таких итогов, как Ваше 25-ле-

тие» [А, оп. 2, № 34, л. 33]. Маленькая деталь: на все письменные поздравления Крачковский ответил письменно же: на каждом письме или телеграмме карандашом помета его рукой с датой, указывающей, когда им послана благодарность за поздравление.

Особенно полно и глубоко оценил тогда значение всей его деятельности для отечественной арабистики первый его учитель, ближайший из старших товарищей А. Э. Шмидт. Я и закончу этот раздел большим отрывком из его письма, еще раз подтверждающего, что дело Розена нашло достойного преемника:

«Вы, при всей Вашей скромности, конечно сами знаете цену себе и тому, что Вы сделали для арабистики вообще, а тем паче для русской арабистики. Мне кажется, и я думаю, что не ошибаюсь, что Вы в этом последнем отношении сделали больше, чем кто-либо другой. Я не хочу умалять заслуг Ваших предшественников, Гиргаса, Розена и Медникова: Вы сами подробно вдумывались в их работу и дали ей оценку, которой я нисколько не оспариваю, но все же окончательно и по-настоящему наша русская арабистика выплыла из родного порта в широкое море мировой науки только благодаря Вашим трудам. Это оценили, как Вы сами знаете, и за рубежом. Вот почему я в сегодняшний торжественный день только и могу сказать: как счастливы мы, что Вам за эти 25 лет, несмотря на многие отягчавшие работу условия, все же удалось работать, удалось двинуть вперед многие отрасли Вашей родной специальности. Вам удалось сделать то, чего не удалось по-койному Виктору Романовичу, которому пришлось брать на свое попечение не только русскую арабистику, но и русскую ориенталистику в целом. Вы обросли кружком молодых научных сил, которые, надо надеяться, смогут все вместе продолжать Ваше дело...

Мои личные к Вам чувства Вам, конечно, хорошо известны, а потому Вы и поймете, почему и как меня радует то, что именно

2156

Вас, дорогой мой, мы имеем право чествовать в этот день, и как искренно я желаю, чтобы силы, здоровье и всякие другие привходящие обстоятельства позволили Вам продолжать Вашу научную работу, результатами которой мы гордимся и имеем право гордиться перед лицом всего ученого мира» [А, оп. 2, № 34, л. 7—8].

А ведь Шмидт — старший ученик Розена, был близок к нему. Ревности же или зависти к успехам младшего — никакой.

АЛЬ-МААРРИ, ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ И ДИВАСТИ

Дневниковые записи, которые с середины 20-х годов становились все более скудными, в ноябре 1930 года прекращаются совсем. Можно было бы подумать, что это — из осторожности, но, будь Крачковский действительно осторожен, вряд ли сохранял бы он всю жизнь свой дневник 1917—1919 годов, бумаги репрессированных учеников и коллег, да просто письма друзей, содержавшие порой такие высказывания, что любого из них хватило бы для обвинения по 58-й статье. Чего стоят, например, слова В. И. Филоненко в письме от 1 ноября 1921 года: «Характерный признак нашего времени — это и есть ложь, колоссальнейшая ложь! Ею только, как это и ни странно, все и держится» [А, оп. 3, № 922, л. 45]. Думаю, ближе к истине то объяснение, которое дает он сам в одной из последних записей:

«Перерывы у меня в дневнике систематически колоссальные, но по вине не моей, а моего настроения, кое систематически гнусно» [25 июля 1930 г.; А, оп. 2, № 6, л. 328].

Это написано вскоре после ареста Эбермана, роспуска кружка, в момент полной неясности относительно судеб арабистики и в Академии, и в Университете. Впрочем, и после прояснения, когда стало видно, что не все еще потеряно, поводов для скверного настроения хватало.

Правда, в научном отношении предвоенное десятилетие не было для Крачковского беднее результатами, чем двадцатые годы, скорее даже — наоборот. Конечно, он по-прежнему мог жаловаться на мелкотемье, но оно стало неизбежным и объяснялось не только объективными причинами, как можно было бы предположить. В самом деле, мог ли он отказаться от устойчивой привычки откликаться рецензией на каждую заинтересовавшую его востоковедную публикацию, по поводу которой ему было что сказать. И следовало ли ему упрекать себя за также вошедшие в традицию короткие публикации, знакомящие арабистов с жемчужинами ленинградских рукописных собраний [17, №№ 274, 309, 327 и т. д.], или за небольшие статьи, посвященные, казалось бы, частным фактам классической или новой арабской литературы, которые так явственно связывались с глобальными проблемами взаимодействия арабской и персидской [17, № 271] или арабо-христи-анской и арабо-мусульманской культур (хоть какие-то нюансы та-

216

кой любимой прежде темы!) [17, №№ 283, 301, 302, 335, 338], традиций и новаторства в современной арабской литературе и критике [17, №№ 278, 372], русско-арабских литературных отношений [17, №№ 279, 369]. Или статьи, продолжавшие линию компаративистских штудий [№№ 304, 354, 361], начатую еще некоторыми ранними христианско-арабскими статьями и диссертацией об аль-Вава. Нельзя было отказаться и от статей для Энциклопедии ислама — участие в ней, помимо всего прочего, представлялось престижным для русской науки. А — увы! — некрологи, не парадно-стандартные элегии, но, как прежде, продуманные оценки с точки зрения истории науки. Тридцатые годы — время ухода учителей и старших товарищей — В. В. Бартольда, С. Ф. Ольденбурга, Ф. А. Розенберга, Н. Я. Марра, и старшего поколения европейских востоковедов — Т. Нельдеке, Г. Гофмана, И. Гвиди. Все эти статьи ложились отдельными кирпичиками в тщательно возводимое здание истории востоковедения, а к ним присоединялись разыскания из более отдаленного прошлого [17, №М? 337, 378].

Среди этого достаточно разнообразного репертуара работ следует отметить две, носящие обобщающий характер. Это, во-первых, большая статья, заказанная для дополнительного тома Энциклопедии ислама, — «Новоарабская литература» (1934; расширенный русский вариант — 1935). Не меняя концепции, лежащей в основе нашумевшего в 1928 году предисловия к «Образцам», здесь Крачковский охватывал материал гораздо шире, однако, как и положено в энциклопедической статье общего плана,

не давал индивидуальных характеристик. Зато статья была максимально насыщена конкретной информацией обо всех жанрах новой литературы Египта, Сирии, Ливана и Ирака. Так автором единственного в своем роде очерка новоарабской литературы снова оказался ученый, которому, не в пример многим его европейским коллегам, дорога в арабские страны была закрыта.

Вторая итоговая статья — очевидно, также заказная, была написана к двадцатилетию Октябрьской революции и содержала обзор советской арабистики за 20 лет. В несколько отличном варианте эта статья четырьмя годами позже была опубликована еще раз в «Трудах второй сессии Ассоциации арабистов»; о ней речь пойдет в следующей главе.

Крачковский по-прежнему считал для себя обязательным откликаться на «всякие новые явления» и запросы самой разнообразной тематики, «на которые надо было отвечать, иногда впервые подойти к ним» [А, оп. 2, № 62, л. 142]. Правда, пожалуй, не только долг его заставлял — жива была все та же прежняя жадность к темам. Он сам признался в этом на своем следующем, тридцатилетнем, юбилее: «Уж если мне попало что-нибудь, то я совсем перестаю спать и оно меня мучает и я должен докопаться» [ответная речь на юбилейном торжестве 16 июня 1935 г. в записи М. И. Виленчик; А, оп. 2, № 38, л. 13].

217

И он всегда с честью выходил из самых трудных положений, как, например, было с определением подлинности и дешифровкой бронзовых табличек из Йемена с текстом на сабейском (южноарабском) языке [17, № 277], которым он чуть-чуть занимался когда-то давно, готовясь к магистерскому экзамену. Задача была нелегка. «Они надолго испортили мне жизнь, — вспоминал он на том же тридцатилетнем юбилее, — так как сначала я на них глядел, как баран на новые ворота, но теперь и заграница согласилась с моим толкованием» [А, оп. 2, № 38, л. 13 об.].

Гордость (не за себя — за отечественную науку) никогда не позволяла ему сказать: «Нет, не знаю» — и переложить задачу на кого-нибудь из заграничных специалистов, а честь ученого заставляла подойти к решению вопроса с максимальной добросовестностью, используя все материалы и пособия, и только решая задачу самостоятельно, он мог обратиться за консультацией к какому-либо знатоку.

Из начатых тогда же трудоемких дел — «чужих», но от которых нельзя отказаться, — следует упомянуть редактуру арабско-русского словаря, составленного московским арабистом Х. К. Барановым. Но об этой работе, растянувшейся по вине издательства на долгие годы и сопряженной с большими трудностями, лучше рассказать потом.

Он корил себя за постоянное «разбрасывание». «Я арабист-дилетант, — заявил он все на том же тридцатилетнем юбилее, — я пошел вширь, а не вглубь... Я не советую моим ученикам так делать, как я, то есть разбрасываться и подходить несколько спешно к некоторым вопросам. Я не знаю, в чем именно могу считать себя специалистом, но теперь я себя сдерживаю и направляю» [А, оп. 2, № 38, л. 13 об., 15 об.—16].

Но ничего поделаться он с собой не мог — «по мягкости характера» [там же, л. 10]. Он, как и прежде, с готовностью наводил справки для здешних и зарубежных коллег, читал чужие корректуры — иногда с большим для себя интересом. Но пока речь шла все же об ориенталистических работах. К сожалению, слишком часто приходилось отдавать много времени на запросы отнюдь не арабистические, но связанные тем не менее с арабскими материалами. «Пестрота их иногда меня подавляла, — вспоминал он впоследствии, — здесь фигурировала и математика, и химия, и медицина, и ботаника, и фармакогнозия, и пчеловодство, и скотоводство, и вообще все области человеческого знания. Ответы на все это требовали напряженного внимания и усилий; почти никогда они не находили отражения в списке моих собственных работ. Иногда такое участие не поминалось у нас впоследствии и в тех работах, которые были основаны на сообщенных материалах, а часто мои коллеги не считали нужным даже сообщить о получении моих справок» [А, оп. 2, № 62, л. 142].

218

Вся эта деятельность в основном протекала в том же русле, что и в предшествующее десятилетие. И если двадцатые годы завершились изданием одной из тех немногих работ, которые сам Крачковский считал любимейшими, «достойными памяти в науке» [28, с. 106]⁷ — я имею в виду книгу о шейхе Тантави, — то на тридцатые годы приходится публикация еще двух работ из этой серии «любимейших».

Первая из них — критическое издание текста, перевод и исследование «Послания об ангелах» Абу-ль-Аля аль-Маарри [17, № 281]. Двадцать два года прошло с тех пор, как в библиотеке аль-Азхара он с замирающим сердцем торопливо вчитывался в малограмотные строки позднего переписчика. Далее — мы помним, — после получения копии с азхарской рукописи при содействии Селима Кубайна было сличение этого текста с более старой Лейденской рукописью, а потом, при возвращении на родину, во время войны — неизбежность оставления всех материалов у одного из голландских друзей.

Материалы Крачковского вернулись в Россию только через девять лет, а за эти годы в Каире появилось издание «Послания» — по той самой азхарской рукописи; возможно, появление его и было спровоцировано находкой Крачковского. К этому времени выяснилось, что еще одна рукопись «Ангелов» есть в собрании известного египетского ученого Ахмеда Теймура, с которым у Крачковского завязалась оживленная переписка — обсуждение «разных вариантов, конъектур, намеков» [28, с. 26]. Он торопился: стало известно, что «Послание об ангелах» собирается издать кто-то из европейских ученых.

К осени 1926 года работа над текстом — по трем рукописям и хайдарабадскому изданию египетского автора XV века ас-Суйти, включившего полностью текст Абу-ль-Аля в одно из своих сочинений, — была завершена. Особенно плодотворным оказалось в этом отношении лето, проведенное на Кавказском побережье, после того как сорвалась поездка на Восток. Комментарий и исследование

двигались медленнее: «Работаешь урывками, а потому плохо идет» [дневник, 8 нояб. 1926 г.; А, оп. 2, № 6, л. 320 об.].

Весной 1927 года возникло новое осложнение, заставившее на время отложить окончание работы, — пришло известие о том, что один индийский профессор-арабист подготовил большой труд, посвященный Абу-ль-Аля, и в приложении к нему будет помещено новое издание «Послания об ангелах». Очевидно, нашлась еще одна рукопись? И снова ожидание и неуверенность.

Тем не менее 26 января 1928 года на заседании Коллегии востоковедов, посвященном 20-й годовщине со дня смерти В. Р. Розена, еще до получения индийского издания, Крачковский читает доклад о «Послании» — без особой уверенности, что работа над ним будет скоро завершена: «Читал сегодня в Коллегии востоковедов в памятное бароновское заседание о "Послании об ангелах" Абу-ль-

219

Аля. Надумаю ли я когда-нибудь его напечатать?» [там же, л. 324 об.].

Книга дошла до него только зимой 1929/30 года. В ней действительно содержался текст Абу-ль-Аля, но... без указания источника! Сличение текстов показало, что индийский исследователь использовал, очевидно, только версию ас-Суйути по хайдарабадскому изданию — таким образом, его труд сколько-нибудь существенных изменений в работу не вносил, и в ней наконец можно было поставить точку. 19 июня 1930 года Крачковский прочел в своем кружке доклад «Место "Послания об ангелах" в литературном творчестве Абу-ль-Аля», а 1 октября состоялось более ответственное представление законченного труда — в заседании Отделения общественных наук АН. Выступление здесь было построено несколько по-другому и озаглавлено «Одна из параллелей к "Божественной комедии" Данте в арабской литературе». На этом заседании и было постановлено монографию Крачковского (разумеется, с полным арабским текстом) напечатать, и приблизительно через полтора года она увидела свет.

Впоследствии сам Крачковский оценивал уровень подготовки этого памятника достаточно высоко: «Издание текста и перевод "Послания об ангелах" мною отделаны очень старательно и детально; я не думаю, что в них можно внести много поправок» [А, оп. 2, № 62, л. 123]. Что же касается его ближайших коллег — быть может, ожидавших под влиянием его докладов какой-нибудь хлесткой сенсации в тексте, — то они, очевидно, не поняли изящно-ученой иронии арабского автора и были разочарованы.

«Рад, что Вам понравилось "Рисалат ал-Малаика", — писал Крачковский В. И. Филоненко 27 августа 1932 года, — прочие мои коллеги (за исключением, конечно, заграничных) находят его малопонятным и удивляются, как я мог на него потратить двадцать лет. Крымский тот все спрашивал, неужели я не мог выпустить его десять лет назад. Я на это мог ему только сказать, что тогда у меня было в десять раз больше непонятных мест. Одним словом, история нас рассудит» [А, оп. 3, № 37, л. 173].

Правда, на «Послание» весьма благосклонно откликнулся журнал «Антирелигиозник» (1932, X? 15—16, с. 58—59), приветствовавший

Абу-ль-Аля как «убежденного атеиста» (с. 59), а Крачковского — как человека, впервые открывшего этот памятник еще в 1910 году и давшего теперь его «подлинно научное издание» (с. 58).

Асин Паласиос, с которым Крачковский полемизировал в свое время по поводу «Послания о прощении» того же Абу-ль-Аля, в краткой библиографической заметке о книге, напечатанной в № 1 испанского востоковедного журнала «аль-Андалус», с удовлетворением подтвердил, соглашаясь с Крачковским, сходство и этого произведения Абу-ль-Аля с «Божественной комедией» Данте.

220

Но особенно дорога была для Крачковского благодарность ливанца Амина Рейхани, публициста, поэта, ученого из сироамериканцев, лукаво стилизовавшего свое письмо под «Послания» самого Абу-ль-Аля: «Мне точно видится аль-Маарри Абу-ль-Аля; он узнал про его истлевшее произведение, которое Вы оживили, и вот говорит он скромно: "Не думали мы, клянемся Аллахом, что оно превзойдет наш возраст!.. Мы не воображали, что его коснется горячее дыхание с севера, хотя бы и через тысячу лет, и вдохнет в него земную жизнь, так что оно заговорит вторично, людской речью на языке арабов, с перлами русского языка в промежутках. Да оживит тебя Аллах, мой почтенный русский брат! "Послание об ангелах" падает на колени перед тобой и целует землю..."» [28, с. 41].

«Это было для меня лучшей наградой, — комментировал письмо Крачковский, — я увидел, что в жизни, как и в науке, нашлось достойное место для сочинения, над которым работал двадцать лет и с которым сжился, как с родным» [там же, с. 26].

Но — ирония судьбы! — все-таки и он не до конца уловил замысел автора: видя, во время подготовки текста и перевода «Послания», какие-то непонятные ему соотношения и намеки, он «не проследил их до конца и не додумался до того, что это лишь предисловие к большому грамматическому трактату Абу-ль-Аля, как выяснилось через много лет во время его юбилея, когда впервые нашлась новая полная рукопись» [А, оп. 2, № 62, л. 123], которая потом, в 1944 году, была издана в Дамаске.

Прошло еще сорок лет — и одна из последних студенток Крачковского подготовила первую полную русскую монографию об Абу-ль-Аля, где «Посланию об ангелах» была посвящена отдельная большая глава [53].

В 1935 году увидела свет другая давно начатая работа — часть не состоявшейся докторской диссертации, фрагмент «широко и серьезно обдуманного плана» [А, оп. 2, № 62, л. 123], который не удалось осуществить полностью по вполне понятным обстоятельствам. Отдельные — к сожалению, преимущественно побочные — разделы исследования, как уже говорилось, были опубликованы в виде статей, для главного же — большого и сложного, с многими огласованными поэтическими вставками текста «Китаб аль-бади», который должен был составить «надежную базу для всей истории арабской поэтики» [там же], — наша арабистика не располагала достаточными печатными средствами. Естественно, издавать перевод и исследование без текста не имело смысла, и эти части работы, лежавшие мертвым грузом, постепенно устаревали.

Когда же представилась возможность опубликовать текст поэтики с помощью Гиббовского фонда⁸, обладавшего великолепной полиграфической базой, Крачковский решил ограничиться «необходимыми критическими материалами и главами, относящимися непосредственно к "Китаб аль-бади"» [27, т. 6, с. 102].
Что же ка

221

сается русского перевода и более полного исследования, нуждавшегося в пересмотре с учетом нового материала, то, как было сказано в предисловии, он еще надеялся опубликовать их «с течением времени».

Увы, надежды не сбылись. Эти части работы увидели свет уже после смерти автора, в 6-м томе его «Избранных сочинений». Без дополнений, в том виде, как они сохранились в архиве Крачковского. К сожалению, ни составитель тома (автор этих строк), ни редактор — старший ученик Крачковского В. И. Беляев, ныне покойный, — не догадались при подготовке издания сверить перевод с окончательным текстом памятника и отметить в примечаниях все (правда, немногие) расхождения, ибо некоторые места перевода явно отражают первоначальное, впоследствии Крачковским отвергнутое прочтение соответствующих мест в тексте. Но мы обнаружили это, когда том уже вышел из печати.

Издание, появившееся в широко известной в Европе серии (причем вся исследовательская часть, комментариев и аппарат были, естественно, на английском языке), не прошло бесследно, вызвав две обстоятельные рецензии — Ф. Кренкоу и М. Гвиди и заметку Таха Хусейна; в советской же ориенталистике эта одна из важнейших работ Крачковского получила отклик совершенно неожиданный, имеющий мало отношения к подлинной ее научной оценке... но об этом позже.

Неудивительно, что во второй половине 30-х годов в творчестве И. Ю. Крачковского зазвучала тема Испании — это был своего рода «социальный заказ» или, вернее, горячий отклик на то, что тогда волновало всех. Но «заказ» этот мог быть выполнен именно потому, что он явно отвечал интересам и склонностям самого Крачковского — достаточно вспомнить, как пристально он следил всегда за работами испанских арабистов, какой интерес вызвала у него арабо-андалусская теория происхождения провансальской лирики [см., напр., 17, №№ 116, 120, 230, 264, 306, 309, 327 и особенно № 268].

Из трех его «испанских» работ этих лет две носили скорее популярный характер («Арабская культура в Испании»; «Арабская поэзия в Испании»), но при этом, как в свое время «Арабской поэзии», им был свойственен профессионализм высокого класса.

Необходимо сказать и об одном новом направлении научной деятельности Крачковского, в известной степени компенсирующем погибшую для него христианско-арабскую тематику и невозможность по-настоящему заняться новой литературой, — изучение арабских источников для истории народов СССР и Восточной Европы. Собственно, тему эту новой не назовешь: наоборот, она была традиционной для русской арабистики начиная с Х. Френа, да и сам Крачковский в предыдущих работах нередко

затрагивал ее, прямо или косвенно. Теперь же она обрела новые контуры большой коллективной работы: на весенней сессии 1930 года АН исто

222

рическая группа ОГН подняла вопрос о желательности подготовки свода арабских известий относительно Восточной Европы, Средней Азии и Кавказа, с привлечением ученых из других союзных республик. Руководить этой работой, как предполагалось, должен был академик В. В. Бартольд, взявший на себя составление особой записки, которую собирался представить в отделение осенью того же года. Но 19 августа Бартольда не стало, никаких набросков соответствующего содержания в его бумагах не обнаружили, и составить записку было поручено И. Ю. Крачковскому.

27 ноября 1930 года Крачковский выступил в ООН АН с программным докладом «О подготовке свода арабских источников для истории Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии»; доклад встречен был весьма одобрительно.

Начал Крачковский с обзора всего сделанного по этой теме в XIX—XX вв. в арабистике отечественной и европейской (он верен себе — не пытается изобрести велосипед или позаимствовать из чужого богатства) и того, что делается ныне в республиках и за рубежом. Переходя непосредственно к программе работ, он предлагает ограничить географические рамки привлекаемого материала Восточной Европой (включая северных и западных соседей), ибо «относительно Средней Азии и Кавказа работа частью намечена, частью производится» [27, т. 1, с. 154]. Жанры же используемых произведений могут быть самые разнообразные, и наряду с арабскими источниками следует привлекать источники персидские.

Желая, чтобы все шло организованным порядком, Крачковский предлагает сначала план подготовительных работ, по которому видно, как широко задумывалось дело: «1) составить критико-библиографическую сводку всей научной литературы (русской и иностранной), где привлечены арабские источники, которые имеют отношение к Восточной Европе, 2) составить именную картотеку тех арабских писателей, сведения которых полностью или частично подвергались анализу или переводу в предшествующей литературе; по окончании этой работы, отчасти в ходе ее, можно будет 3) установить фиксированный список тех авторов, которые должны войти в издание, по возможности с точным определением материала в каждом отдельном случае, и 4) выработать детальные принципы перевода и техники издания» [там же, с. 156].

Предлагавшийся Крачковским свод в полном объеме осуществлен не был — слишком грандиозным показался план. Но над отдельными наиболее важными памятниками работа велась, и сам Крачковский отдал ей дань, опубликовав, в частности, целую серию статей об арабской письменности на Северном Кавказе (главным образом о документах, связанных с деятельностью Шамиля).

Совершенно ясно, что рано или поздно он должен был к этой теме обратиться, тем более что вкус к источникам у него был всегда. Да и не он ли некогда ввел в университетское преподавание чтение средневековой арабской географической литературы как

самостоятельный курс? Источники по истории народов нашей страны — это вечная тема, она актуальна всегда, при любом режиме власти, «сверху» ее закрывать не будут, а материалов для нее хватит и в Союзе. Не знаю, принимал ли тогда во внимание Крачковский и эти соображения, но факт тот, что в важности темы самой по себе он никогда не сомневался, да и люди, которые вместе с ним могли заняться ею, уже стали появляться среди его учеников.

Как говорится, на ловца и зверь бежит — этой пословицей озаглавил сам Крачковский один из разделов книги «Над арабскими рукописями», в которой речь идет о неожиданных открытиях, выпавших на его долю. Может быть, самое яркое среди них как раз и было связано с источниковедением, причем пришлось оно как раз на первую половину тридцатых годов, как бы подтверждая наглядно важность выдвинутой темы.

В 1932—1933 годах в Таджикистане, в замке на горе Муг, на южном берегу Зеравшана, где до арабского завоевания располагалось цветущее Согдийское государство, было найдено множество документов на местном, согдийском языке, целый архив. Язык их — один из древних иранских языков — давал возможность предполагать, что документы эти не моложе начала VIII века, когда, с приходом арабов, все делопроизводство было переведено на язык завоевателей.

Экспедицию в Таджикистан за вновь найденными документами — первыми памятниками согдийской письменности, происходящими с территории самой Согдианы, — возглавил коллега Крачковского по Университету и Академии профессор-иранист А. А. Фрейман, которому принадлежит честь первой описи и дешифровки этих документов, открывших «новый этап в развитии согдологии» [7, с. 322].

Еще до возвращения Фреймана в Ленинград от него пришло сообщение о находке среди мугских материалов и одного арабского документа, написанного на коже (что само по себе являлось редкостью). По слухам, он содержал имя известного согдийского правителя — Тархун. Сначала Крачковский отнесся к этому слуху скептически (наверное, листок Корана на пергаменте и, разумеется, без всякого Тархуна!). Однако, как только после преодоления различных ведомственных рогаток в январе 1934 года мугский архив привезли в Ленинград, он, несмотря на болезнь, тут же отправился в Рукописный отдел Б АН, куда были помещены документы и где над их дешифровкой работал Фрейман, и... действительность превзошла все ожидания: на сморщенном, изъеденном червями кусочке кожи было письмо на арабском языке, которое, с помощью Веры Александровны, ставшей к тому времени весьма опытным палеографом, удалось дешифровать! Более того, имена собственные, встречающиеся в письме, позволили датировать его сотым годом хиджры (718—719 г. н. э.), а содержание письма,

имя его автора и время написания дали надежный ключ для понимания остальных согдийских — документов.

Эмоциональная сторона события нашла яркое отражение в книге «Над арабскими рукописями»; текст, перевод и исследование содержатся в статье «Древнейший арабский документ из Средней Азии», написанной в соавторстве с В. А. Крачковской [27, т. 1, с. 182—212]. Эта работа, которую высоко оценили ученые и на Востоке, и на Западе, и у нас [17, № 312], — образец не только виртуозного прочтения плохо сохранившегося текста, но и безупречной его исторической интерпретации. Здесь прочно соединились знания и навыки бартольдовской школы с интуицией ученого. Обычная для начала письма формула подсказала, где должно находиться имя адресанта, интуиция — правильное чтение его — Дивасти (а написано оно было несколько необычно: Дива-сти, с переносом на другую строку). Имя было найдено в классическом арабском историческом своде ат-Табари (и снова интуиция подсказала, что там оно могло быть написано по-другому: Дивашни, ибо ошибка в диакритических точках для арабских рукописей не редкость). Определение же остальных имен все поставило на свои места, и читателю приоткрылась печальная картина последних дней правления Дивасти, владельца замка на горе Муг, пытавшегося сопротивляться арабам.

А читая в книге «Над арабскими рукописями» о письме из Согдианы, с трудом представляешь себе, как всегда внешне сдержанный Крачковский, уже немолодой (ему ведь пятьдесят!), словно мальчишка, забыв о болезни, мчится по лестнице на восьмой этаж, чтобы посмотреть указатель к Табари, а потом вихрем врывается в рукописное отделение и без сил опускается на стул с возгласом «Дивасти нашелся!».

Но ведь такое выпадает, наверное, только раз в жизни. Да и то не каждому...

НАСЛЕДНИЦА «ВЛ»

После печального конца «Всемирной литературы» и «Востока» затишье в деле перевода с восточных языков наступило ненадолго. Уже в начале января 1927 года заведующий издательством «Academia» А. Кроленко в связи с подготовкой к изданию серии «Сокровища мировой литературы» пригласил И. Ю. Крачковского на заседание редакционной коллегии весьма любезным письмом, в котором говорилось о давнем желании издательства привлечь его к работе и спрашивалось его мнение относительно возможности издания полного русского перевода «1001 ночи».

Судя по всему, Крачковский на приглашение откликнулся и к проекту издания «1001 ночи» отнесся с энтузиазмом, ибо уже в 1929 году вышел первый том, содержащий начальные 38 ночей в

224

переводе М. А. Салье. Трудно сказать с полной определенностью, почему от перевода «1001 ночи» отошел В. А. Эберман, который ведь в свое время начал эту работу для «Всемирной литературы». Это тем более обидно, что, как мне представляется, его перевод⁹ в художественном отношении стоит выше перевода Салье, особенно по части стихов и рифмованной прозы. Причиной могла быть большая загруженность Эбермана в это время: он работал в

Университете, в Азиатском музее и ГАИМК, а научные его занятия все больше и больше сосредотачивались в области арабской поэзии. Что же касается Салье, то он в конце 20-х годов был аспирантом ИЛЯЗВ им. А. Н. Веселовского и занимался как раз «различными вопросами», связанными с историей «1001 ночи» «в их многоразличных разветвлениях» [отзыв И. Ю. Крачковского от 7 мая 1928 г.; А, оп. 1, № 414, л. 1], — а может быть, он как раз и стал заниматься историей «1001 ночи» потому, что ему был поручен перевод. Кстати, судя по протоколам «Всемирной литературы» и дневниковым записям Крачковского, относящимся к тому времени, Салье как переводчик был весьма активен и работал быстро, в то время как Эберман, наоборот, всегда несколько затягивал работу.

На подготовку и издание полного перевода «1001 ночи» ушло двенадцать лет. Все восемь томов, последний из которых вышел в 1939 году, были проредактированы И. Ю. Крачковским, при этом перевод сверялся с текстом самым тщательным образом. Судя по письму к В. И. Филоненко от 29.VIII. 1939 г., Крачковский имел на это серьезные основания [А, оп. 3, № 37, л. 196 об.]. Как он вспоминал впоследствии, редакция «1001 ночи» отнимала у него в течение всех двенадцати лет не менее 50% всего рабочего времени [А, оп. 2, № 62, л. 143].

Перевод, по словам И. Ю. Крачковского, был «задуман на серьезной научной основе и стоит на границе с историко-литературным исследованием» [отзыв о научных работах М. А. Салье от 14 окт. 1935 г.; А, оп. 1, № 414, л. 4]. Он был выполнен в том же ключе, что и прежние работы Салье для «Всемирной литературы», то есть с максимальным приближением строя русского текста к строю арабского, порой даже с излишними буквализмами. Здесь была определенная система, но Крачковский, который, в общем, обычно сам ее придерживался, интуитивно ощущал все же ее несовершенство — по крайней мере, по отношению к этому памятнику. «Перевод меня удовлетворяет не вполне, — признавался он Филоненко в письме от 5.1.1930 г., — он точен и добросовестен, но для выработки настоящего художественного стиля нужно было бы работать годами» [А, оп. 3, № 37, л. 141].

Тем не менее книга расходилась хорошо, чему способствовало прекрасное — в стиле персидских миниатюр — художественное оформление талантливого Н. А. Ушина, которое Крачковский в том же письме оценивает очень высоко. Да и все издание в целом, подводя итоги в конце жизни, он назвал (наряду с арабско-рус

225

ским словарем), «одним из крупнейших памятников нашей арабистической эпохи в нашей стране» [А, оп. 2, № 62, л. 143].

В начале 1931 года в издательство <Academia> пришел работать А. Н. Тихонов, который, составляя трехлетний план изданий, сразу же начал восстанавливать прежние «восточные» связи, обратившись к бывшим коллегам по «Всемирной» — С. Ф. Ольден-бургу, В. М. Алексееву, Б. Я. Владимирцову, И. Ю. Крачковскому, причем последнего он просил «взять на себя всю организацию "восточного" отдела издательства» [письмо Тихонова от 10 февр. 1931 г.; А, оп. 2, № 236, л. 3 об.].

Как в свое время «Всемирная литература», «Academia» планировала издавать «лучшие образцы литературы всех времен и народов» [там же, л. 4], но теперь критерии для выбора произведений определены более точно и соответственно духу времени: во внимание должны приниматься прежде всего «степень общественно-политической пригодности произведений для наших дней», причем «первое место в программе должно быть отведено образцам коллективного народного творчества (эпос), особенно из области наших нац. меньшинств и палеоазиатов... Литературам китайской и турецкой тоже должно быть, по соображениям политическим, отведено господствующее положение» [там же].

Крачковский согласился, но, похоже, пытался игнорировать строгие политические требования, полагая, вероятно, что «1001 ночь», «образец коллективного народного творчества», за все заплатит с лихвой. Если посмотреть составленный им план арабской части, то помимо очередных томов «1001 ночи» мы найдем там ряд памятников, стоявших некогда в плане «Всемирной литературы», уже подготовленных, но не выпущенных, — «Ожерелье голубки» Ибн Хазма, «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (удивительно «пригодные» с общественно-политической точки зрения!), «Калила и Димна», «Чудеса Индии» и др. Из крупных памятников добавляются «Макамы», а также — кое-что из новой литературы: роман Зейдана, некоторые вещи из «эмигрантского» тома (Ш. Хури, Дж. Х. Джебран), «Дни» Таха Хусейна, «Путешествие в Россию» Тантави. Особой надежды на осуществление всего запланированного не было, однако «Дни» Крачковский тут же начал переводить «для души (без особых шансов напечатать)», как он сообщал В. И. Филоненко [письмо от 8 авг. 1931 г.; А, оп. 3, № 37, л. 155 об.].

Тем временем весной 1932 года издательство было переведено в Москву и реорганизовано; во главе редсовета стал Л. Б. Каменев, а в состав совета от московских востоковедов был введен В. А. Гордлевский [А, оп. 2, № 236, л. 12—13]. Обязанности между ним и Крачковским были поделены следующим образом: Крачковский отвечает за все, что переводится в Ленинграде и за все арабские памятники, независимо от того, где они переводятся; Гордлевский же ведал московскими переводами, исключая араби

226

стические [там же, л. 51 об.]. Секретарем при Крачковском вызвался быть М. А. Салье; в помощь Гордлевскому Крачковский рекомендует московского арабиста Л. С. Некору [там же, л. 43].

Гордлевский поднял на редсовете вопрос о возобновлении издания «Востока» — если не в виде журнала с обычными для него разделами, то хотя бы в виде периодических сборников [там же, л. 13 об.]. Руководство издательства заинтересовалось этим предложением, однако мыслило себе его осуществление не в том плане, как издавался «Восток» 20-х годов, а как «собрание доступных среднему читателю материалов по художественной, мемуарной и бытовой литературе Востока, отнюдь не исследовательского типа» [письмо Л. Б. Каменева И. Ю. Крачковскому от 8 сент. 1932 г.;

А, оп. 2, № 236, л. 44]. Крачковскому предложили стать ответственным редактором сборников, от чего он отказался, отговариваясь занятостью: «Задача организации его представляется мне очень сложной, значительно более сложной, чем весь отдел восточных литератур. Справиться с нею, по моему мнению, может только лицо, которое (конечно при наличии соответствующих данных) уделит ей в течение приблизительно года большую часть своего времени, чего я выполнить не могу. Если это удастся осуществить В. А. Гордлевскому, буду очень рад и готов оказать всяческое содействие, но сам могу здесь быть только рядовым редактором, исключительно в пределах своей непосредственной специальности — арабской литературы.

Полагаю, что Издательство не вполне учитывает все трудности этого дела» [там же, л. 52]. Так писал он секретарю редакционного отдела издательства З. Г. Антокольской (черновик без даты).

Вопреки плану руководства ему очень хотелось восстановить «Восток» в прежнем или хотя подобном прежнему виде: «При общем объеме сборника в 20—25 п. л. план его представляется мне в следующем виде: I. Переводы художественных произведений листов 10—12. II. Статьи по вопросам литературы Востока листов 5—6. III. Рецензии на литературные произведения на восточных языках и европейские работы о восточных литературах листа 3—4 и IV. Хроника литературной жизни Востока листа 2—3» [там же, л. 53]. При этом Крачковский считает, что в сборниках этих следовало бы основное внимание уделять литературе XIX—XX вв. — очевидно, печатать этих «сомнительных» авторов отдельными книгами было в ту пору сложнее, чем классические памятники. Он предлагает почти прежний состав редакционной коллегии: Ольденбург, Алексеев, Струве, Орбели, Гордлевский, может быть Марр; секретарь — Конрад или Бертельс [письмо Е. И. Вавилову от 30 авг. 1932 г.; там же, л. 43].

Но получилось не так. На редакционном совещании в Москве 15 августа 1933 года редколлегия сборников «Восток» была утверждена в следующем составе: А. Н. Тихонов, И. Ю. Крачковский, В. А. Гордлевский, С. Ф. Ольденбург, Н. И. Конрад и два пар

227

тийных деятеля — А. А. Болотников и П. И. Воробьев (ректор ЛВИ). Запланировано было первый сборник посвятить Ирану (очевидно, в связи с намеченным на 1935 год конгрессом по иранскому искусству и археологии), а второй — Дальнему Востоку. Новая литература отвергалась начисто — профиль «Востока» должен был соответствовать профилю издательства¹⁰.

Однако ни один сборник «Востока» так и не увидел света. Более того, материал для них собирался «довольно туго», как жалуется Тихонов в одном из писем Крачковскому [19 мая 1933 г.; А, оп. 2, № 236, л. 139]. Возможно даже, что ни один из них так и не был собран — по крайней мере, в бумагах Крачковского не сохранилось никаких следов. Не было ли нежелание сотрудничать в «Востоке» молчаливой реакцией на навязывание сверху партийных членов редколлегии?

Характерно, что с восточным отделом издательства была произведена аналогичная операция. Приведу целиком письмо Л. Б. Каменева от 17 октября 1933 года, обращенное к И. Ю. Крачковскому

и В. А. Гордлевскому и содержащее беззастенчивые нападки, которые любому знающему И. Ю. Крачковского должны были показаться абсурдными, за уши притянутыми для совершенно определенной цели — впрочем, автор и не трудится ее завуалировать:

Уважаемые товарищи!

За последний год в работе нашей Восточной серии обнаружился ряд организационных неполадок, объясняемых как тем, что Вы — наши редакторы — не имели возможности встретиться друг с другом, а отчасти и тем, что Ваши интересы лежат преимущественно в избранной Вами специальной области востоковедения. Ввиду этого, в целях объединения редакционной работы по серии, а также ввиду того, чтобы привлечь к нашим востоковедным работам новые кадры востоковедов-марксистов и коммунистов, Издательство решило ввести в состав редколлегии Восточной серии тт. Болотникова А. А. и Воробьева П. И., с тем, чтобы в заголовке серии в дальнейшем указывалось "Под общей редакцией Болотникова, Воробьева, Гордлевского и акад. Крачковского"» [А, оп. 2, № 236, л. 162].

На письме есть помета рукой Крачковского: «Отв. 24.X.33». Знать бы, что он ответил...

Из редколлегии он вышел: на грифе «Калилы и Димны» (1934) значатся всего три фамилии, а не четыре. Но связей с издательством не порвал: надо было завершить «1001 ночь». Однако, судя по письмам А. Н. Тихонова, отношения с аппаратом «Academia» создались напряженные. Надо отдать справедливость Тихонову — он все время хотел что-то наладить, утрясти, но безрезультатно. Одно из писем его Крачковскому завершается горькой фразой: «От себя лично могу только выразить искреннее со

228

жаление, что наше с Вами сотрудничество в последние годы все как-то не налаживается, что меня очень огорчает» [там же, л. 197 об.].

Да, время было уже не то, что всего десять лет назад, и не вернуть было той непринужденной творческой атмосферы, что во «Всемирной»...

И все-таки итог сотрудничества с издательством мог радовать: восемь великолепных томов «1001 ночи», «Ожерелье голубки» (хоть и не столь безупречно оформленное) и, наконец, «Калила и Димна» — долг безвременно ушедшему ученику...



ГЛАВА XI

Забывтый часовой КАБИНЕТ СОЗДАН!

Попытки восстановления кружка арабистов напоминали сказку про белого бычка: его организация зависела от организации Арабского кабинета; организация Арабского кабинета — от организации Института востоковедения, организация же института затягивалась по непонятным причинам... Или все-таки понятным,

если вспомнить, что происходило в Академии в «год великого перелома»?

Итак, кончалось третье десятилетие XX века. Академические учреждения стояли на пороге реорганизации с целью приближения их деятельности к социалистическому строительству Союза, как отмечал Непременный секретарь Академии В. Л. Комаров в отчете за 1929 год. «Эпоха бурного и напряженного социалистического строительства в СССР не может довольствоваться прежними темпами и методами работы», — писал он [40, 1929 г., ч. 1, с. V]. Увы, дело неминуемо шло по тому опасному пути, против которого предостерегал Крачковский.

Была образована комиссия для того, чтобы выработать предложения по реорганизации ряда академических учреждений, в том числе восточного сектора. Кроме того, этим же занималась комиссия локального бюро секции научных работников Союза работников просвещения, свои рекомендации высказывало Общество марксистов-востоковедов при Ленинградском отделении Комкадемии. Муссировалась идея слияния Азиатского музея, Коллегии востоковедов, Туркологического кабинета, Института буддийской культуры и Кавказского Историко-археографического института в единый институт. Но вопрос — на какой основе?

В Архиве ЛО ИВАН сохранились любопытные документы, относящиеся к этому «периоду становления». В одной «Декларации» провозглашалось, что «так называемое востоковедение» — отсталая область науки, и возродить ее можно только с помощью Комкадемии, участие которой будет «способствовать созданию под

229

линной науки о Востоке и отмиранию в результате этого самого термина "востоковедение"» [1, ф. 152, оп. 1а, № 140, л. 8]. В другом проекте задачи будущего института уточнялись таким образом: «...всестороннее изучение и углубленная разработка (на основе марксистско-ленинской методологии) социальных проблем колониальных, полуколониальных и в особенности Советского Востока» [№ 140, л. 18]. При этом предполагалось деление института на два сектора: историко-экономический и литературоведческий с отделением языковых проблем. Еще в одном предложенном «Положении» Институт именовался «Институтом по изучению колониальных и полуколониальных стран и национальностей Советского Востока»; на машинописном листе «Положения» рукой какого-то шутника-востоковеда приписана аббревиатура: «ИПОКОПОКОС-НАСОВОСТ» [л. 20].

Думаю, понятно, что в такой ситуации востоковедная секция организационной комиссии под председательством В. В. Бартольда сочла наиболее разумным пока воздержаться от создания единого института¹, образовав специальную востоковедную группу для согласования деятельности упомянутых учреждений и сохранив Коллегию востоковедов для научного объединения и разработки тех или иных широких вопросов.

Перед востоковедной группой осенью 1929 года Крачковский вновь возбуждает вопрос об учреждении Кабинета арабской филологии и просит «указаний о том, в каком направлении вести ему

теперь намеченные и начатые уже работы» [1, ф. 1, оп. 1 — 1929, № 253, л. 48 об.].

Однако через год, очевидно, когда академические страсти поутихли и новый устав 1930 года был уже утвержден, обстановка для объединения возникла более благоприятная, и тогда уже сама востоковедная группа выступила с инициативой реорганизации. В апреле 1930 года ею было принято предложение С. Ф. Ольденбурга об образовании в составе Академии наук единого Института востоковедения, основными «рабочими ячейками» которого должны явиться «кабинеты, построенные по культурно-историческому принципу» [7, с. 48] и в течение 1930 года было разработано детальное положение об ИВАН.

Вот тогда только и настала пора для создания Арабского кабинета.

20 апреля 1930 года Крачковский, как уже говорилось, обращается в президиум АН с новой запиской об организации Арабского кабинета и опять предлагает использовать его квартиру. Помня о шаткости положения арабистики, почти изгнанной из Университета, он еще за год до того подает в востоковедную секцию комиссии по реорганизации АН «Материалы для составления пятилетнего плана работ по Кабинету арабской филологии», из которых должно быть видно, сколь актуальными задачами (при всей их строгой научности) этот кабинет должен заниматься.

230

Крачковский включает в «Материалы» шесть пунктов:

1. Подготовка словаря народного арабского языка, на которую при благоприятных условиях потребуется шесть лет (этой работой был занят Я. С. Виленчик).

2. Описание арабских рукописных собраний в Союзе. Сроки выполнения зависят от штатных и финансовых возможностей; если речь пойдет об описании рукописей всех хранилищ Союза, то на это уйдет несколько пятилетий.

3. Составление библиографии новоарабской литературы и собирание материалов для общего очерка ее истории; при коллективной работе на это понадобится около пяти лет. «В Западной Европе разработку этой темы ожидают от русских арабистов, и на них лежит известный долг» [А, оп. 2, № 175, л. 36].

4. Подготовка истории арабистики и, возможно, словаря русских и зарубежных востоковедов.

5. Подготовка словаря арабского литературного языка, в особенности современного (напомню, что предложение о редакции словаря Х. К. Баранова Крачковский получил только в конце 1930 года, так что в это время он мог и не знать, что такой словарь уже готовится).

6. Подготовка свода арабских сведений о Древней Руси и сопредельных странах.

Бумага эта тогда же была передана и в группу востоковедения, вопрос был решен положительно не только ею, но и на уровне ОГН, а дело непонятным образом затягивалось. 16 сентября Крачковский подает (на этот раз С. Ф. Ольденбургу) новую докладную записку о кабинете, озаглавленную «Предположения о плане работ по

арабистическому кабинету ИВ», где более подробно излагает и мотивирует пункты вышеприведенного плана, добавляя к нему «составление картотеки союзных арабистов с соответствующими сведениями о них»: ввиду отсутствия в нашей стране аналогичных будущему Арабскому кабинету учреждений, «желательно в кабинете сосредоточить сведения о всей арабистической работе, производимой в Союзе» [1, ф. 152, оп. 1а, № 182, л. 1]. И снова — идея кружка: «Для объединения лиц, научно работающих в области арабистики, желательно устройство при Кабинете регулярных научных собраний в целях ознакомления, между прочим, с новейшей научной литературой, которая не всем одинаково доступна» [там же, л. 2].

К ноябрю образовано большинство кабинетов — но среди них опять нет арабского! Неужели и в академической среде действует то же «антиарабское» предубеждение? Или это «веление свыше»?

27 ноября 1930 года, докладывая на заседании Отделения общественных наук об утверждении президиумом заведующих кабинетами ИВАН, С. Ф. Ольденбург предложил «дополнить это по

231

становление предложением ускорить организацию Арабского Кабинета, утвердив на должность Зав. Кабинетом ак. И. Ю. Крачковского» [1, оп. 2, № 175, л. 55].

Крачковский воспринял это решение как сигнал к дальнейшим действиям. Получив выписку из протокола упомянутого заседания, он на другой же день отправляет очередное заявление директору ИВАН С. Ф. Ольденбургу с просьбой представить на утверждение президиума кандидатуры двух научных сотрудников: В. И. Беляева и Я. С. Виленчика, которые в настоящий момент оба работают не по специальности, «что при ничтожном количестве квалифицированных арабистов совершенно нецелесообразно» [А, оп. 2, № 175, л. 56]. Особенно необходим кабинету, по его мнению, В. И. Беляев, который «после ухода В. А. Эбермана... является единственным из наличных в СССР арабистов, хорошо знакомых с рукописным фондом Азиатского Музея» [там же]2. Заявление кончается все тем же рефреном об организации кружка арабистов, но в более решительном тоне3.

Но вышло не так, как он хотел. Арабский кабинет, кроме заведующего, получил лишь одно место сотрудника 2-й категории, и место это было отдано Виленчику. Беляев же был отвергнут — вероятно, не устраивало его дворянское происхождение; он попал на работу в институт только в 1936 году. Зато вместо него кабинету был придан аспирант А. Ф. Искандеров, который должен был заниматься историей национально-освободительного движения в Египте.

Не осуществилась и идея возобновления кружка арабистов — очевидно, Крачковскому дали понять, что всякого рода научные собрания официального органа, каким теперь должен был стать кружок, в неофициальной обстановке нежелательны. Однако ни в каких документах это отражения не нашло.

Вообще, как это ни парадоксально, с организацией Института востоковедения на первых порах наступает какое-то странное затишье в научной жизни востоковедов, по крайней мере —

арабистов. Ведь любопытно следующее: Крачковский, который никогда не пропускал возможности поделиться с коллегами результатами своей работы и сведениями о новинках востоковедной литературы, по данным И. Н. Винникова [17, с. 140—141] за 1931 и 1932 годы не прочел ни одного доклада, а в 1933 году выступал только на сессиях АН СССР, в Союзе писателей и всего лишь один раз в Арабском кабинете!

И. Ю. Крачковский, как и многие его сотоварищи по Азиатскому музею, тяжело пережил реорганизацию академического востоковедения и появление новых лиц, часто недостаточно квалифицированных. В книге «Над арабскими рукописями» мы прочтем ностальгические строки — своеобразный реквием по Азиатскому музею: «Мы, конечно, хорошо сознавали, что для Академии неизбежен переход от кустарных иногда форм индивидуальной работы

232

маленьких учреждений к большим комплексным институтам с крупным коллективом сотрудников. Но все же нам было грустно, что работа над рукописями и фондами, которая была основным нервом и наполняла всю жизнь Азиатского музея, отходила как-то на задний план и значение ее уже не всем было понятно»- [28, с. 65].

Когда писалась книга, нельзя было сказать определеннее, что перестройка, проводилась она на другой основе, не была бы так мучительна — ведь можно было бы и не разрушать научные традиции. О том, что творится, он мог написать только одному человеку — В. И. Филоненко, старому, надежному университетскому товарищу: «Вообще с востоковедением в Академии предстоят еще большие пертурбации, и неизвестно, удастся ли придать этому маломальски толковый вид. Главную роль во всем этом играют новоявленные аспиранты и некоторые из местных востоковедов, обиженных на Академию главным образом за то, что им не удалось попасть в нее» [24 апр. 1930 г.; А, оп. 3, № 37, л. 144].

А дальше, когда Филоненко сообщает, что его «сватают» в новый Институт востоковедения и он волнуется, что подготовка у него не та, да и вдруг он чужое место займет [16 июня 1930 г.; А, оп. 3, № 922, л. 359], Крачковский высказывается еще откровеннее: «Думаю, что новые сотрудники будут подбираться по признаку партийности, а не научных заслуг... Бояться же того, что Вы сядете на чье-то место, не приходится: нынче обычно на Ваше место садятся, а не Вы на чужое» [А, оп. 3, № 37, л. 146 об.].

Но делать нечего, надо работать (единственное спасение!), надо как-то организовывать дела в новом кабинете, нельзя поддаваться настроению... И он не поддается. За два года (1929—1930) борьбы за Арабский кабинет он успел закончить своего Тантави и значительную часть «Ангелов», написать большие статьи об испанской арабистике и о «Риторике» Кудамы ибн Джафара, статью по-арабски о методах изучения литературы, все это не считая рецензий и небольших заметок. Он прочел за это время 48 докладов. И ко всему еще следует прибавить труднейшую редакторскую работу над переводом «1001 ночи».

Он и вместе с ним такие же труженики из старшего поколения востоковедов своим отношением к научной работе пытались сколько могли сохранить в новом институте атмосферу прежнего Азиатского музея, и прежде всего — не допустить снижения научного уровня востоковедения. В этом смысле очень показательны, например, такие мелочи, как пометки Крачковского на полях проекта устава Института востоковедения 1936 года.

«ИВАН является высшим востоковедным учреждением...» Крачковский добавляет: «научно-исследовательским». В уставе говорится, что институт ведет работу по изучению истории, экономики, философии, литературы стран советского и зарубежного

Вое
233

тока, — Крачковский добавляет: «в их прошлом и настоящем» [А, оп. 2, № 172, л. 89].

Сроки прохождения работ, начиная с одного-трех месяцев для журнальных статей до одного года и более для крупных работ, очевидно, кажутся ему завышенными (по прежним меркам), и он всюду на полях ставит восклицательные знаки. Особенно, очевидно, корбит его пункт о том, что авторам работ, «трактующих общие проблемы, затрагивающих ряд смежных отраслей и вносящих новые моменты в науку... могут быть даны особые грамоты и объявлена благодарность от имени директора Института, ООН и Президента АН» [там же, л. 99] — тут и подчеркнутые слова, и восклицательный знак на полях.

Явное недоумение, судя по пометам, вызывает у него в пункте о кадрах запрещение работы по совместительству в научно-исследовательских учреждениях вне Академии [там же, л. 100] и особенно следующее к нему примечание: «В число сотрудников могут быть в исключительных случаях приглашены лица, не владеющие восточными языками, но обладающие высокой научной квалификацией и большим стажем работы в пределах данной восточной страны и имеющие крупные научные труды в этой области, при условии овладения в установленный по соглашению с ними срок данным восточным языком». К другим пунктам были сделаны аналогичные пометы.

В состав комиссии для выработки положения о Рукописном отделе института Крачковский, как назначенный приказом председатель, требует ввести только компетентных специалистов, без всяких «представителей общественных организаций», которых руководство хочет ему навязать, так что ученому секретарю приходится оправдываться перед ним [там же, л. 66].

Приведу две маленькие заметки, написанные в 1933 году для институтской стенгазеты. Они очень хорошо характеризуют и обстановку в тогдашнем ИВАН, и твердость позиции автора, использующего все возможные средства, чтобы высказать наболевшее, пусть даже без особой надежды на воспитательное воздействие своих высказываний. Он как будто руководствуется тем же девизом, что его любимый сироамериканец Амин Рейхани: «Скажи слово свое и иди».

«Мои пожелания работникам Академии наук к новому академическому году

У нас принято отрицательно относиться к слову "академический": его ставят в кавычки, с иронией говорят об "академическом" подходе, "академических" темах и т. д. В этом мне трудно согласиться не только с молодыми кадрами, но даже и с многими старыми академиками. Опыт последних лет меня еще более убедил, что невнимание к академической работе жестоко наказывается самой жизнью и рано или поздно пробелы и упущения приходится

234

восстанавливать, конечно, с большей затратой энергии, чем при планомерном движении. Этим ощущением академичности по моему убеждению должна быть насыщена вся деятельность Академии наук в широком масштабе не одного сегодняшнего дня, но многих лет и десятилетий, в аспекте не только местной, но и мировой науки. Академический подход нужен не в одной научной работе, но в общественной деятельности и во всей жизни академического работника. Если об этом вспомнят не одни аспиранты и научные сотрудники, но и академики, это будет только полезно для общего дела» [6 сент. 1933 г.; А, оп. 2, № 172, л. 33].

«К 15-летию Комсомола мне хотелось бы пожелать, чтобы научные работники-востоковеды, входящие в его состав, уделяли в дальнейшем больше внимания научной работе. До сих пор они были в первых рядах по линии общественной и организационной, в научной чаще являлись критиками, чем творцами, в лучшем случае рядовыми работниками. Им необходимо не только овладеть техникой этого труда, не только усвоить все добытое за предшествующие эпохи развития, но и создать новые ценности, только тогда их деятельность станет достойной звания научного работника, приобретет гармоничный характер, а общественно-организационная работа, проникнутая практически воспринятыми принципами науки, поднимется на большую высоту» [8 окт. 1933 г.; там же, л. 35].

Меж тем кабинет постепенно пополнялся сотрудниками: в 1934 году в штат его вошел Д. В. Семенов, в 1935-м — А. П. Ковалевский, историк, выпускник Харьковского университета, учившийся в свое время в Лазаревском институте восточных языков; в 1936 году в Рукописный отдел был принят В. И. Беляев, и в том же году в кабинете появился практикант — студент ЛИФЛИ Т. А. Шумовский, в 1938-м — аспирант А. М. Барабанов, окончивший ЛИЖВЯ.

Таким образом, выполнение программы, намеченной И. Ю. Крачковским еще до образования кабинета, в той или иной степени обеспечивалось. Над словарем народного языка вел работу Я. С. Виленчик. Правда, она затягивалась: оказалась более трудоемкой, чем представлялось вначале, к тому же ее тормозили частые болезни исполнителя. В 1939 году Виленчик скончался; словарь так и остался незавершенным.

Описанием арабских рукописных собраний и исследованием отдельных рукописей в той или иной степени занимались все сотрудники кабинета, и в первую очередь — сам Крачковский. Появление в рукописном отделе В. И. Беляева, действовавшего в

тесном контакте с кабинетом, сразу придавало этой работе основательность и планомерность.

Тема «Новоарабская литература» разрабатывалась прежде всего самим Крачковским. В частности, краткий очерк ее, как уже говорилось, он написал для «Энциклопедии ислама», а потом опу-

268

ликовал его в расширенном виде в «Записках ИВАН»; вспомним и перевод «Дней» Таха Хусейна. Над исследованием и переводом отдельных произведений новой литературы работали также Оме нов, Ковалевский, в известной степени — историк Искандеров (публицистика).

Историей арабистики занимался опять-таки сам Крачковский, для которого, как мы помним по предыдущим главам, тема эта имела особое значение; она воплощалась не только в статьи и монографии, но обязательно присутствовала во вводных разделах университетских курсов и в обзорных частях предисловий к различным учебным пособиям и книгам. И если создание фундаментальной истории арабистики было еще впереди, то подготовка словаря русских арабистов была начата теперь, в рамках кабинета. Задуман он был «по тому же образцу, как известный словарь русских писателей С. А. Венгерова, но со значительным расширением биографической части» [30, с. 229]. В этой работе у Крачковского в середине 30-х годов появился помощник — Г. Г. Гульбин, окончивший еще до революции ФВЯ по арабско-персидско-турецко-та-тарскому разряду, официально ставший сотрудником ИВАН (по договору) лишь в 1939 году. К концу 1940 года словарь, содержащий 321 биографию, был готов к печати, и переговоры относительно его издания велись с Всесоюзной Книжной палатой. В свет словарь так и не вышел по ряду причин, о которых читатель узнает позже.

Словарь современного арабского языка составлялся, как известно, вне ИВАН, но Крачковский был его редактором, так что и этот пункт можно было считать в активе кабинета. Там готовилась еще одна работа по современному языку: Д. В. Семенов писал «Синтаксис современного арабского языка».

И наконец, последний пункт — арабские источники по истории нашей страны — нашел своих исполнителей в лице А. П. Ковалевского, исследовавшего тексты ал-Масуди, ал-Гарнати, Абу Дулафа и подготовившего к печати «Путешествие Ибн Фадлана на Волгу», В. И. Беляева — основного участника большого тома «Материалов по истории туркмен и Туркмении» (статьи и переводы) и А. М. Барабанова, который занимался материалами по истории Кавказа и подготовил диссертацию «"История Шамиля" Мухаммеда Тахира ал-Карахи» (критическое издание и перевод).

Разумеется, руководителем и редактором всех этих работ был И. Ю. Крачковский. За ним в 30-е годы по институту числилось девять тем: две по историческому сектору — «Составление критической библиографии работ об арабских источниках для истории Восточной Европы» (совместно с Археографической комиссией) и редакция перевода «Введения в историю» Ибн Халдуна (совместно с комиссией по истории знания)⁴ и шесть (точнее, семь) по сектору

литературоведения: 1) работа по новоарабской литературе и подготовка критической библиографии; 2) работы по прикладному

236

111,114 1 шлнию: а) редактирование арабско-русского словаря (сов-мг<то с издательством «Советская энциклопедия»); б) редактирование словаря народного арабского языка Сирии и Палестины; 3) редактирование библиографии материалов по арабскому языку и фольклору Сирии и Палестины (совместно с Палестинским обществом); 4) подготовка к печати первой арабской поэтики Ибн аль-Мутацца; 5) редактирование списка арабских рукописей в Ленинграде по точным и естественным наукам; 6) редактирование перевода «1001 нОчи» и «Ожерелья голубки» Ибн Хазма (совместно с издательством «Academia»).

Можно заметить, что по тем временам, в противоположность нынешним правилам, в план включались и работы, которые шли не по линии института, а выполнялись по договорам с теми или иными издательствами или по заказу каких-либо других организаций. Полагаю, это было вполне разумно, ибо работы — у Крачковского, например, — проводились очень нужные (редактура словаря или переводов классических памятников и т. п.) и в то же время трудоемкие, так что учет их в плане позволял реально рассчитывать объемы и сроки.

Помимо задач, выдвигавшихся в свое время Крачковским, в планах кабинета в обязательном порядке присутствовала тема, считавшаяся тогда самой актуальной: история арабского национально-освободительного движения в XIX—XX веках. По этой теме работал А. Ф. Искандеров, защитивший в 1936 году кандидатскую диссертацию «Национальное движение в Египте конца XIX и начала XX века и партия "Хизб ал-Ватан"». Очевидно, для укрепления этой линии исследований в штат кабинета в 1937 году был введен А. М. Шами, профессор-историк из ЛВИ.

Крачковскому удалось возобновить и регулярные научные собрания по типу прежнего кружка; теперь это называлось «Ассоциация арабистов при ИВАН». Как и кружок, она объединяла не только академических сотрудников, а всех ленинградцев, кто работал в области арабистики; в ней принимали участие по возможности и арабисты из других городов, преимущественно москвичи.

Председателем ассоциации, естественно, был избран И. Ю. Крачковский, его заместителем — А. М. Шами, секретарем — А. Ф. Искандеров. В состав ее в первый год входило 20 членов, впоследствии их число возросло до 25.

Ассоциация начала свою работу в январе 1934 года — то есть опять в памятные Розеновские дни. Как и прежде, регулярно по вечерам устраивались заседания с докладами и библиографическими сообщениями, был организован вечер переводов из новоарабской литературы⁵. Только теперь это стало вполне официальным, «узаконенным» объединением, и заседания его проходили не на квартире Крачковских, а в помещении ИВАН, и «Положение об Ассоциации» было утверждено дирекцией института.

236

Согласно «Положению», задачей ассоциации являлась «научно-исследовательская работа в области изучения истории, экономики, языков, литератур и других отраслей культуры арабских и связанных с ними стран, а также арабов СССР, равно как и научно-популяризаторская деятельность по указанным вопросам» [А, оп. 2, № 176, л. 1].

В области научно-организационной предусматривался «систематический учет лиц, ведущих в СССР работу по изучению арабских стран, а также лиц, могущих быть привлеченными к этой работе», а также «систематический учет тем и вопросов, над которыми работают данные лица» (в этих пунктах так и чувствуется рука Крачковского!), и «мобилизация внимания арабистов на разработку актуальных тем» (а это уж явно дань времени!). В «Положении» перечисляются многочисленные задачи по организации научных заседаний, совещаний, конференций, по научно-популяризаторской (организация кружков, литературно-художественных вечеров, выставок и т. п.) и издательской деятельности — сотрудничество в научных и научно-популярных изданиях, рецензирование научных новинок, библиографическая деятельность, содействие в издании лучших научно-исследовательских работ, переводов с арабского [там же, лл. И—12]. Для успешного выполнения этих задач предполагалось установление связей с различными научными обществами, организациями (в том числе ВОКС) и отдельными учеными как в Союзе, так и за рубежом. Словом, задачи те же, что были в кружке, но ушел камерный его характер, все стало более солидно и масштабно. Сохранилась добровольность участия в ассоциации, это подчеркивается в первом же пункте «Положения», но организационные рамки более строгие, чем это было в кружке: «Члены Ассоциации принимаются по их заявлению Правлением и утверждаются Общим Собранием» [там же, л. 13]. В таком случае все члены ассоциации несут определенные обязанности, а именно: «Дать в течение года не менее одной исследовательской работы по Арабскому Востоку, печатной или доложенной устно, и активно участвовать в работе Ассоциации» [там же, л. 14], в противном же случае может быть поставлен вопрос об исключении [там же]. Для того времени — вполне логичная мера, чтобы оградить ассоциацию от примазывающихся к «актуальной» отрасли науки.

Но поскольку организация официальная, то в «Положение» как дань времени включен обязательный пункт (не Крачковским, разумеется, выдвинутый): «Ставя своей целью повышение марксистско-ленинского уровня научных работ, Ассоциация поддерживает постоянный контакт с соответствующими научными учреждениями, разрабатывающими общие проблемы марксистско-ленинской теории» [там же, л. 13]. И на собраниях принимались столь же неизбежные обязательства к XVII съезду ВКП(б), к двадцатилетию Октябрьской революции и т. п.

237

В ассоциации задумывались и некоторые коллективные работы; например, в 1934 году был намечен перевод хроники Абу Ханифы ад-Динавери — той самой, рукопись которой была открыта Розе-ном,

издание осуществлено Гиргасом, указатели и введение — Крачковским. Переводческий коллектив был образован из 8 человек (все — ленинградцы) под руководством И. Ю. Крачковского. Работа завершена не была — я полагаю, коллектив оказался чересчур велик, возможности исполнителей неравноценны, все они были достаточно загружены текущей плановой работой, а сроки исполнения очень ограничены: к XVII съезду ВКП(б), т. е. к апрелю 1934 года.

В январе 1936-го была задумана еще одна коллективная работа — по новой истории Египта. О судьбе этого мероприятия сведений я не нашла; возможно, выполнению его помешал арест в 1937 году троих участников из восьми.

Пожалуй, наиболее успешной была коллективная работа, связанная с изучением истории, языка и фольклора среднеазиатских арабов, в которой принимали участие И. Н. Випников, К. В. Оде-Васильева, Г. В. Церетели и С. Л. Волинб.

Итак, несмотря на то что не все намеченное сбывалось, научная среда была создана, заседания с докладами, обменом мнениями и информацией собирались не реже раза в месяц, обсуждения проходили, как и когда-то в кружке, живо и всерьез. Все это вместе взятое гарантировало определенный научный уровень разработки тем (даже тех, «выигрышных», где сверху поощрялось бы скольжение по поверхности), обеспечивало серьезный рост молодежи. Показательно, что в 1935 году троим сотрудникам Арабского кабинета — Я. С. Виленчику, Д. В. Семенову, А. П. Ковалевскому — была без защиты присуждена кандидатская степень; в 1937 году ее удостоился и В. И. Беляев.

Рабочую обстановку в Арабском кабинете характеризует, например, такой факт: на собрании сотрудников ИВАН обсуждается вопрос о производственной дисциплине. Оказывается, что многие сотрудники прогуливают, на работе читают романы, в кабинетах шум, разговоры — словом, работать невозможно. На это ученый секретарь Х. Муратов возражает, что «это вопрос технический, вполне разрешимый, так как вот, например, в Арабском кабинете существует рабочая атмосфера. Академик В. М. Алексеев на это заявил: "Там на это есть особые причины"» [из письма А. П. Ковалевского И. Ю. Крачковскому от 4 февр. 1937 г.; А, оп. 3, № 447, л. 74 об.].

Дирекция института в своем приказе ссылается на «хороший опыт Арабского кабинета в отношении научных заседаний» и предлагает по примеру его «устроить заседания кабинетов не реже двух раз в месяц с постановкой на них научных докладов, обсуждением планов работ сотрудников и проверки их выполнения, заслушивание и обсуждение самих работ» [из письма Д. В. Се

238

менова И. Ю. Крачковскому от 6 февр. 1938 г.; А, оп. 3, № 824, л. 43].

Для расширения и укрепления научных связей ассоциация провела две всесоюзные сессии арабистов. Сессии носили не парадный, а деловой и научный характер; «Труды» их были изданы, хоть и с опозданием.

I сессия проходила с 14 по 17 июня 1935 года. Как писал Крачковский в предисловии к ее «Трудам», она «ставила своей целью, с одной стороны, ознакомление более широких кругов арабистов с полуторагодовой работой ассоциации... и с другой — подведение некоторых итогов по отдельным отраслям арабистики, выяснением стоящих перед нею задач и сообщение о частных ведущихся работах и сделанных открытиях» [46, с. 5].

По нынешним меркам, на сессии было мало докладов — всего восемь, зато, судя по программе и публикациям, объем докладов не был ограничен: в томе «Трудов» текст каждого из них занимает не менее 0,75 листа, а некоторые — 1,5—2 листа. Характер тематики — преимущественно исторический и источниковедческий ⁷; если вспомнить планы кабинета и распределение пунктов его между исполнителями, это вполне естественно.

И. Ю. Крачковский выступил на сессии с докладом общего характера: «История арабской литературы и ее задачи в СССР», понимая литературу широко, т. е. включая в нее все области письменности. Такая широкая постановка вопроса, особенно при почти полном отсутствии аналогичных докладов по другим дисциплинам, придавала его выступлению характер, программный для всей ассоциации: «История литературы приобретала значение, выходящее за пределы одной специальности; понимаемая как история письменности вообще, она могла послужить полезной параллелью для ряда связанных с письменными источниками дисциплин» [46, с. 13]. Кроме того, поскольку в 1934/35 учебном году в ЛИФЛИ был возобновлен курс истории арабской литературы и даже с расширенной программой, ему хотелось — и для самого себя, и для соратников — подвести некоторые итоги изучения арабской литературы в мировом масштабе.

Доклад был построен, исходя из задач автора, естественно и логично, но для советского «установочного» доклада самым неподходящим образом. Вместо того чтобы рапортовать о великих достижениях советской науки в изучении истории арабской литературы, Крачковский две трети доклада посвятил обзору того, что было сделано в этой области в течение XX века в Европе, Америке и в арабских странах, отмечая несомненные успехи зарубежной арабистики и констатируя «с большой грустью наше отставание от этого движения, нагнать которое с каждым моментом становится труднее» [с. 13].

Однако смотрит он в будущее с оптимизмом: да, нам нужно «более упорно работать, чтобы сохранить достойное положение и

239

перейти на арену международных предприятий в области арабистики» [с. 21], сознавая важность этого дела для общей культуры. Наша арабистика имеет перед собой особые задачи, «которые никем не могут быть выполнены так хорошо, как нами» [с. 21], но медлить нельзя, ибо тогда они будут выполнены другими. Эти задачи, по его мнению, следующие:

1. Описание арабских рукописей из хранилищ Советского Союза;

2. Научное монографическое исследование источников для истории Восточной Европы, имеющее конечной целью составление полного свода;

3. Изучение арабской письменности народов СССР. На этой задаче Крачковский останавливается особо, выделяя три ее аспекта:

а) монографическое исследование творчества крупнейших деятелей арабо-мусульманской культуры — выходцев из различных областей нашей страны, где был в ходу арабский язык (аль-Фа-раби, аль-Бируни и др.);

б) изучение «обычной ходовой» литературы этих областей, позволяющее понять ее специфику: «Несомненно, что на всем протяжении территории, подвергшейся влиянию ислама, общий тип нивелирующей культуры был одинаков, но также несомненно, что каждая страна вносила свои специфические особенности» [с. 22]. Здесь особенно важно привлечь к работе местных ученых;

в) изучение не только традиционной арабской письменности в этих областях, но и оригинальных произведений, «органически связанных с краем, которые интересны и как литература, и как документальный исторический источник» [с. 22]. Настоящий историко-литературный анализ этого материала важен не только для истории культуры данных областей, но и для истории арабской литературы, ибо в результате его «мы получим новую главу общей истории арабской литературы, главу оригинальную и насыщенную содержанием, не только никем не написанную, но никем даже не задуманную» [с. 23].

Отсюда докладчик делал вывод, во-первых, о том, что нельзя работать в отрыве от мировой науки. «Советский арабист должен иметь свое лицо и должен уметь с достоинством высказать свое мнение по всем вопросам, волнующим науку в данный момент» [с. 23], не говоря уже о более трудных задачах, которые стоят перед ним.

Другой вывод — необходимость уделить особое внимание подготовке кадров: «Специальности, нужные нам в Союзе, настолько разнообразны и настолько сложны, настолько мало разработаны, что подготовить к ним в течение хотя бы пятилетнего курса высшего учебного заведения невозможно. По окончании его необходима особая специализация с учетом всех потребностей нашей арабистики в области литературы, с установлением комплекса всех

240

смежных областей, нужных для овладения специальностью» [с. 23 —24].

Кончался доклад на оптимистической ноте: перед нашей арабистикой стоят «задачи великие, но достойные, и в такой же мере они достойны нашей великой страны» [с. 24]. Конкретный и в то же время самокритичный характер этого «установочного» доклада оказал влияние и на резолюцию сессии, включившую довольно большое количество конкретных пунктов, направленных на повышение роли востоковедения в культурной жизни СССР.

Доклад открывал новые перспективы развития арабистики в нашей стране; сам Крачковский продемонстрировал свою готовность

к выполнению намеченных задач публикацией упомянутой выше серии статей, связанных с деятельностью Шамиля на Кавказе.

Коллеги Крачковского, пользуясь случаем «съезда гостей», решили отметить на I сессии тридцатилетний юбилей научной деятельности Игнатия Юлиановича. Вот как рассказывает об этом К. В. Оде-Васильева в своих воспоминаниях:

«Совет Ассоциации, членом которого я была, решил, что чествование юбиляра надо устроить на третий день сессии. На заседании Совета мы предложили И. Ю. устроить на третий день товарищеский чай. Но он, ничего не подозревая, отстаивал последний день сессии. Мы выдвинули такой аргумент, что в последний день народ будет торопиться домой, а потому вечер может сорваться. Спор поднялся и вокруг раннего часа, который мы назначили — 6 часов. Наконец все уладили. И вот 16 июня, закрывая утреннее заседание, И. Ю. попросил членов сессии явиться на "товарищеский чай вовремя и без опоздания". Все присутствующие при этих словах едва сдержали улыбку. И. Ю., как и всегда, явился точно в 6 часов. Когда вошел, ему передали приглашение на его чествование. От неожиданности он даже растерялся немного, но убежать было поздно ему» [А, оп. 2, № 85, л. 16].

Оде-Васильева весьма колоритно рассказывает и о том, как они боялись, что арабские журналы с приветственными статьями придут слишком рано, до юбилея, как установили контроль над его корреспонденцией и вовремя их задержали⁸.

Коллеги и ученики подарили Крачковскому бронзовую фигуру бедуина на арабском коне. «Эта скульптура стояла всегда у него в кабинете на столе, и он очень любил ее», — вспоминала Оде-Васильева [А, оп. 2, № 86, л. 12]. В. И. Беляев подготовил к этой дате библиографию печатных работ Крачковского (вышла в 1936 г.), старательно собрал все, даже самые маленькие цитаты из его трудов, включенные в чужие работы: он стремился действовать так же скрупулезно, как это было свойственно его учителю.

Итак, первая сессия окончилась даже идиллической мелодией. Но не за горами была вторая сессия, посвященная 20-летию советской власти. Она, естественно, была проведена более грандиозно,

241

с участием арабистов из разных городов Союза. Продолжалась она пять дней (19—23 октября 1937 г.), и заслушано на ней было 17 докладов, 5 из которых было посвящено еще одной памятной дате 1937 года — 900-летию со дня смерти Авиценны. Не знаю, кому из арабистов пришло в голову объединить эти даты, но идея была чрезвычайно остроумна: никто не мог оспаривать правомочность включения в программу докладов, посвященных великому среднеазиатскому ученому, — это являлось как бы символом дружбы народов СССР, но в то же время открывало возможность для постановки других докладов, которые под рубрику «дружбы народов» подходили, в частности докладов, связанных с изучением среднеазиатских арабов и арабских источников по истории народов нашей страны, а тут уж рядом и изучение отечественных рукописных собраний, другие источниковедческие темы и т. п.

Профилирующим снова оказывался итоговый доклад Крачковского «Арабистика в СССР за 20 лет». И снова он был нестандартным, ибо не состоял из сплошных славословий, а серьезно, порой даже критически (однако вполне сдержанно и лояльно) оценивал те изменения, что произошли в арабистике за 20 лет: «Искания продолжались долго... Естественно, в них замечался подъем и упадок, ошибки и увлечения, отражавшие и слишком оптимистическое представление о возможностях науки на современной стадии разработки и переоценку своих собственных сил» [30, с. 205]. В докладе недвусмысленно говорилось об ослаблении преподавания и научной работы в области арабистики в 20-е годы, затухании в это время старых столичных центров и недолговечности новых, обращение вновь созданных востоковедных организаций преимущественно к вопросам новой истории и экономики Востока. Констатировалось возрождение московского и ленинградского центров в 30-е годы, отдавалось должное центрам республиканским, подробно характеризовались достижения во всех областях арабистики. Особо отмечались успехи в переводческом деле, в создании учебных пособий, исследовании и издании рукописных памятников, и в первую очередь — связанных с историей народов нашей страны. Указывалось, однако, на медлительность советских востоковедных изданий, периодических и непериодических: их сроки выполнения «значительно отстают от тех требований, которые может предъявлять, в частности, и наша арабистика» [30, с. 209].

Этот доклад еще до сессии читался в заседаниях ассоциации, а затем был повторен еще дважды: на филологическом факультете ЛГУ и в ООН АН. Напечатан он был тоже дважды: в «Известиях АН» (1937) с некоторыми сокращениями и изменениями., внесенными редакцией⁹, и в «Трудах сессии» — полностью (1941); невозможно только было восстановить имена репрессированных арабистов, упоминавшиеся в устном докладе, — все они появятся потом в «Очерках по истории русской арабистики», куда этот доклад войдет после незначительной авторской редактуры.

242

А заканчивался доклад теми же. требованиями к современным арабистическим кадрам, которые прозвучали на I сессии: «Для успехов в дальнейшем необходимо иметь соответствующее количество серьезно подготовленных работников иногда но новым, выдвигаемым жизнью нашей страны специальностям. Еще более необходимо находиться на высоте современных научных требований во всех отраслях арабистики, стать образованным арабистом и быть готовым ко всем возникающим вопросам. Только тот арабист может работать плодотворно на пользу своей родины, который владеет всем опытом мировой науки и умеет относиться к нему сознательно и добросовестно» [47, с. 30].

Несмотря на то что желательность периодического созыва всесоюзных арабистических сессий «по-видимому была признана всеми» [30, с. 208], больше они не собирались, хотя до войны оставалось еще более трех лет. Возможно, причиной в значительной степени явилось то, что, как свидетельствует И. К). Крачковский,

«деятельность Ассоциации арабистов с 1938 г. стала, к сожалению, замирать, в известной мере в связи с усложнением структуры Института востоковедения Академии Наук СССР, при котором она состояла» [30, с. 246—247]. Каждый сотрудник института теперь должен был регулярно посещать научные заседания кабинета, сектора и общеинститутские; обязательное же участие «в этих трех ступенях обыкновенно одних и тех же лиц затрудняло систематический созыв Ассоциации, и заседания ее постепенно заменились расширенными заседаниями Арабского кабинета» [30, с. 247]. Главной же причиной, я полагаю, были аресты многих ее членов. Как бы то ни было, Крачковский в «Очерках» ретроспективно оценивает саму идею ассоциации как «жизненную» [с. 247].

Арабистическая ассоциация была не единственной научной ассоциацией при ИВАН, объединяющей востоковедов одного профиля, однако, как отмечают А. Базиянц, Н. Кузнецова и Л. Кулагина, «наиболее деятельной» [10, с. 74]. И вряд ли кто будет сомневаться в том, что основная заслуга здесь принадлежит И. Ю. Крачковскому, почитавшему создание широкого научного коллектива одним из главных условий движения вперед.

«НИ ОДИН ИЗ ВОСТОКОВЕДОВ НЕ НАСАДИЛ ТАКОЙ ШКОЛЫ, КАК ВЫ...»

Это слова из письма Н. В. Пигулевской И. Ю. Крачковскому от 15 августа 1939 года [А, оп. 3, № 726, л. 23 об.]. Да и сам Крачковский в застольной речи на своем тридцатилетнем юбилее (во время «товарищеского чая» на I сессии арабистов) 16 июня 1935 г. трижды повторил, что он счастлив в своих учениках [А, оп. 2, № 38, лл. 9, 12, 23]. Но не пройдет и пятнадцати лет с этого дня, как он напишет с горечью: «У меня не нашлось прямых

243

учеников-продолжателей, которые хоть в какой-нибудь области могли меня разгрузить» [А, оп. 2, № 62, л. 146 об.—147].

Действительно, над его учениками словно тяготел злой рок. Из тех, кто кончил ФВЯ до революции, в предыдущих главах были названы А. И. Шишманов, А. Г. Добатовкин, Д. В. Семенов и Г. Г. Гульбин. Шишманов, пытавшийся в 1918 году вернуться на родину в Болгарию, оказался на положении гражданского пленного в Полоцке, затем был арестован, выслан на Север, лишен возможности работать, попал в Болгарию лишь в середине 30-х годов и от арабистики отошел. А. Г. Добатовкин, оставленный в 1917 году при Университете, поехав на каникулы домой в Екатеринодар, по сведениям его университетского товарища Е. А. Беляева, «бессмысленно и бесцельно погиб. Он был мобилизован в деникинскую добровольческую армию, служил писарем в каком-то штабе, вынужден был отступать и умер от сыпняка на Кавказе» [8 мая 1946 г.; А, оп. 3, № 119, л. 33]. О Д. В. Семенове, судьба которого оказалась более счастливой, речь пойдет дальше.

Г. Г. Гульбин (1892—1941?) стал жертвой репрессий 30-х годов. Он окончил ФВЯ в 1916 году и с 1925-го работал в Музее антропологии и этнографии под руководством известного этнографа-индолога А. М. Мерварта. Последний, чьи широкие международные связи и длительное пребывание за границей казались властям

подозрительными, во время «дела академиков» был арестован по обвинению в шпионаже, а с ним — группа его сотрудников, в том числе и Гульбин. Освобожденный в 1935 году, Гульбин оказался не у дел, и Крачковский, заметивший в свое время склонность его к библиографии, приспособил его к работе над словарем арабистов, всячески подчеркивая роль своего ученика в ней. «К тридцатым годам, — писал Крачковский в редакторском предисловии к словарю, — во все разраставшейся гряде листов со всякими цитатами и выписками, только суммарно распределенными по фамилиям, я начинал чувствовать себя по временам, как чародей, который вызвал духов и не может уже с ними справиться; я с грустью сознавал, что материал доступен только мне, а после меня ключ к нему будет утерян. По счастью работой заинтересовался один из моих давних учеников по ФВЯ Г. Г. Гульбин, много работавший в области библиографии» [А, оп. 1, № 281, л. 2].

Средства на выполнение этой работы были почерпнуты из сумм, выделявшихся президиумом АН «на индивидуальные работы академиков»; ИВАН частично взял на себя оплату перепечатки рукописи набело; полагаю, что немало своих личных денег потратил и сам Крачковский. В результате Гульбин не только привел в порядок и проверил его материалы, «но систематически просмотрел большое количество различных изданий и составил краткие биографии лиц, о которых имелись данные» [там же, л. 4]. И на титульном листе рукописи словаря, хранящейся в Ар

244

хиве АН, рукой Крачковского обозначено имя автора: Г. Г. Гульбин; себе он отводил только роль редактора, не требуя от издательства за это никакой оплаты, но, как видно из письма в «Книжную палату», настоятельно заботясь о гонораре для составителя, 0.

Но, как уже говорилось, словарю не суждено было увидеть свет. В декабре 1940 года с печатанием произошла задержка — очевидно, не было бумаги¹¹. Вскоре началась война, а 24 сентября 1941 года Гульбин был повторно арестован (снова по статье 58-й) и в октябре 1941-го направлен с остальными подследственными из Ленинграда в Новосибирск через Ладожское озеро — все другие пути были уже закрыты. К месту назначения этап не прибыл.

Итак, одиозным стало имя автора словаря, одиозными — реально или потенциально — и многие имена, упомянутые в нем. Удивительно ли, что словарь так и не был издан? Теперь же он, естественно, требует больших дополнений.

Мы мало знаем о Г. Г. Гульбине. По немногим его письмам к И. Ю. Крачковскому можно сделать заключение, что это был человек трудолюбивый, с критическим складом ума, обо всем имевший собственное суждение¹².

Первое послереволюционное поколение тоже оказалось недолговечным.

И. П. Кузьмин, подававший такие большие надежды, умер в возрасте 29 лет от заражения крови.

В. А. Эberman, в 1930 году арестованный и отправленный на Беломорканал, летом 1933 г. постановлением коллегии ГПУ был освобожден досрочно и без ограничений «за четкую подлинно

ударную работу» [А, оп. 11, № 86, л. 2]. О причине его досрочного освобождения рассказывает известный историк и краевед Н. П. Анциферов, оказавшийся жертвой волны репрессий после «дела академиков» и отбывавший наказание одновременно с Эберманом. Анциферову, руководившему на Беломорканале одним из участков геолого-разведочных работ, было поручено срочно организовать курсы коллекторов. В состав их он включил и Эбермана, а тому посчастливилось найти пласты песка, очень подходящего для замешивания бетона. «Мне было предложено, — пишет Н. П. Анциферов, — назвать пять имен заключенных из числа моих курсантов... на предмет освобождения... Я со спокойной совестью включил в этот список В. Эбермана, так как его открытие на Водоразделе давало мне это право» [65, 1989, № 4, с. 155].

Едва Эберман вернулся в Ленинград, как И. Ю. Крачковский сразу же начинает прилагать усилия к его устройству. В его архиве сохранился черновик подробной и весьма лестной характеристики В. А. Эбермана, датированный 3 августа 1933 г.¹³, которая завершается словами: «В настоящее время, когда В. А. Эберман получил возможность вернуться к научной работе, представляется

245

совершенно необходимым использовать его в области указанных специальностей ,4. Его участие будет большим приобретением для того учреждения, которое привлечет его к своей работе» [А, оп. 1, № 431, л. 51. Такая неопределенность адресата характеристики наводит на мысль о том, что аналогичные письма были направлены одновременно в несколько научных и учебных учреждений.

Откликнулся Университет — Эберман был принят в штат вновь организованной кафедры семитологии. Кроме того, Крачковский, сотрудничавший в это время с издательством «Academia», старается изыскать для него возможность печататься. Он рекомендует статью своего ученика о персидском искусстве для предполагаемого журнала «Восток», который, как известно, восстановить не удалось.

Другая статья Эбермана — предисловие к миниатюрному иллюстрированному изданию Фирдоуси в серии, издававшейся к Конгрессу иранского искусства, — сначала была принята. Потом возникла идея добавить к ней «ввиду особого характера издания» небольшое предисловие С. Ф. Ольденбурга [А, оп. 2, № 236, л. 159], а через месяц в издательстве решили, что предисловие «должно давать прежде всего общую социологическую и литературную характеристику Фирдоуси, краткую и сконцентрированную... Ввиду этого мы поручили эту работу востоковеду партийцу т. А. А. Болотникову. Он же организует необходимый комментарий». Эберману же было предложено лишь «взять на себя подбор иллюстративного материала» (письмо от издательства от 13 окт. 1933 г., подписанное Л. Б. Каменевым и Я. Е. Эльсбергом [там же, л. 161]). Единственное, что удалось Эберману напечатать после возвращения, — небольшая статья «О восточных музейных ценностях Ленинграда» на английском языке в «Soviet Culture Review» (1933, № 6, р. 32—40) 15.

В декабре 1933 года Эберман был вновь арестован, три года провел в лагере на Колыме, а потом отбывал ссылку в Орле, преподавал там немецкий язык в средней школе. Вероятно,

Крачковский надеялся, что вот он скоро вернется, продолжит свои работы по арабской поэзии, завершит уже почти готовую диссертацию о Ваддахе. Все его материалы Крачковский бережно хранил у себя.

Но надеждам не суждено было сбыться: летом 1937 г. Эберман утонул во время купания. Незадолго до смерти он послал заявление на имя ученого секретаря ИВАН Х. Муратова с просьбой привлечь его к работе по специальности. Письмо сохранилось в архиве ИВАН. На нем отрицательная резолюция — равнодушная отписка ученого секретаря [1, ф. 152, оп. 3, № 692, л. 3].

Сокурсница Эбермана Рогнеда Леонидовна Эрлих проходила курс еврейско-арабско-сирийского разряда, то есть занималась по несколько иному плану. Еще в студенческие годы она стала проявлять предпочтительный интерес к классической филологии, ус

246

пешно занималась у проф. И. И. Толстого и по окончании Университета была принята научным сотрудником второго разряда в Научно-исследовательский институт им. А. Н. Веселовского (при Университете) не по арабской, а по античной литературе. Кружок на дому у Крачковского не посещала, хотя некоторое внимание продолжала уделять и арабистике, о чем свидетельствует ее статья в 5-м томе «ЗКВ <Иблис-музыкант. Основной же темой ее научной работы в институте был вопрос о почитании Бога Всевышнего в греческих колониях на северном побережье Черного моря. Диссертацию она так и не успела закончить: умерла от туберкулеза в 1930 году, 29 лет от роду¹⁶.

Я. С. Виленчик, ученый, по-настоящему одержимый арабской лингвистикой, был очень больным человеком. Лишившийся слуха еще мальчиком в результате контузии во время первой мировой войны, он тем не менее занимался фонетикой народного языка с небывалым энтузиазмом и упорством. Он много знал, много умел, был очень трудолюбив, но после окончания Университета (1924 г.) не мог получить места по специальности, несмотря на горячие рекомендации И. Ю. Крачковского. «За свою многолетнюю преподавательскую деятельность я редко встречал человека, до такой степени проникнутого научным энтузиазмом и живущего только интересами книги и науки, — писал он о Виленчике, предлагая его на должность библиотекаря в ГПБ [2 апр. 1926 г.; А, оп. 1, № 347, л. 1]. В личном архиве Крачковского, в архивах АН, Института востоковедения сохранилось много документов, по которым видно, какое внимание он уделял и лично Виленчику, и его работе, то добиваясь ассигнований на его словарь, то доказывая ценность такого словаря и обширные знания самого Виленчика, к которому за помощью обращаются уже европейские ученые.

В 1926 году Крачковскому удастся добиться его приема в аспирантуру Института им. А. Н. Веселовского, но, как он считает, настоящее место Виленчика в Академии. Его словарь постоянно фигурирует в проектах плана будущего Арабского кабинета, а как только в Академии открывается институт аспирантуры, первым кандидатом, с точки зрения Крачковского, здесь должен быть именно Виленчик: «Я считаю, что Академия Наук морально обязана

поддержать даровитого труженика» [отзыв от 1 окт. 1929 г.; А, оп. 1, № 347, л. 9].

Когда же наконец Арабский кабинет создан и Виленчик назначен па должность секретаря, Крачковский неоднократно ходатайствует о переводе его в научные сотрудники первого разряда, отмечая, помимо чисто научных достоинств, «его большие организаторские дарования и технические навыки, которые делают его незаменимым работником Кабинета... Он всегда проявляет громад

247

ную находчивость и быстрое умение ориентироваться в самых разнообразных областях арабистики» [там же, л. 16 об.].

А потом, в 1937 году, выясняется, что у Я. С. Виленчика туберкулез почек, приходится подолгу лечиться в Крыму. И снова — помощь от И. Ю. Крачковского: он обращается в президиум АН с просьбой продлить Виленчику отпуск: ленинградский климат ему не годится, а работать над словарем он сможет и в Крыму [там же, л. 18]. Каждый месяц, с июля по октябрь, он посылает Виленчику по 1000 рублей, чтобы можно было продлить санаторную путевку [А, оп. 3, № 229, лл. 98, 107, 109, 114].

Виленчик лихорадочно старается работать, когда он в силах подняться; его письма полны не только благодарностей Крачковскому, но и размышлений на научные темы (об арабском двуязычии, о задачах и путях изучения разговорного языка и т. п.); он высказывает свои соображения о некоторых арабских сочинениях, вспоминает о своих товарищах и учителях. Но болезнь берет свое: летом 1937 года Виленчика не стало. Ему было неполных 37 лет.

И. Ю. Крачковский посмертно издал его последнюю большую статью «О работе по словарю народно-арабских диалектов Переднего Востока» с некрологом в качестве предисловия [77, т. 2, 1941, с. 228—254].

В том же 1939 году окончилась жизнь еще одной арабистки, которую Крачковский мог считать своей ученицей, хотя формально она была ею недолго, — Ксении Савельевны Кашталевой. Историк по образованию (она окончила Московские высшие женские курсы), Кашталева училась у профессоров Б. А. Тураева, Д. Н. Егорова, Д. М. Петрушевского, а затем в 1924 году окончила арабский разряд МИВ, была оставлена при кафедре арабской истории, после того училась в аспирантуре Института народов Востока.

Она стала заниматься Кораном, рассматривая его как исторический памятник и, по поздней оценке И. Ю. Крачковского, «применила оригинальный терминологический подход к его изучению и на ряде этюдов показала значение нового подхода для внутренней истории- памятника и фиксации хронологического порядка его частей» [30, с. 241].

В 1926 году началась переписка Кашталевой с Крачковским, который с большим вниманием отнесся к ее работе, одобрил необычный подход к теме — он ведь всегда поддерживал новаторство, всякую свежую мысль. А у нее новых мыслей было предостаточно.

К сожалению, сохранились письма только К. С. Кашталевой, ответов Крачковского нет, но даже по одной стороне этой переписки видно, сколь насыщенной и плодотворной она была и как

внимательно относился Крачковский к работам Кашталевой. «Я была не только тронута, — пишет она, например, — но и несколько-

248

П. Г. Ковалевского, передает А. Я. Вышинскому письмо с «весьма лестным отзывом» об А. П. Ковалевском «и как о научном работнике и как о человеке» [А, оп. 3, № 449, л. 1]. Однако к тому времени особое совещание уже вынесло постановление о высылке Ковалевского без суда на пять лет в трудовой лагерь.

Отец начинает ходатайствовать о пересмотре дела и просит Крачковского снова обратиться к Вышинскому или, если он считает это неудобным, к прокурору Цареву, ведающему пересмотром, или, в крайнем случае, «ограничиться присылкой в Харьков на мое имя аттестации деятельности моего сына как научного работника при ИВ» [18 июня 1940 г.; А, оп. 3, № 449, л. 2 об.].

О том, как Крачковский отреагировал на эту просьбу, видно из V второго письма П. Г. Ковалевского (2 июля 1940 г.): «Приношу Вам глубокую благодарность за то сердечное участие, которое Вы принимаете в несчастье, постигшем моего сына. В наше время до чрезвычайности трудно найти такого отзывчивого, чисто по-евангельски настроенного человека по отношению к своему ближнему, как Вы. Я просил Вас написать одно официальное письмо, а Вы написали их два и под личной ответственностью... Я этим умилен до слез! И у меня появилась вера в то, что справедливость восторжествует и для всех станет ясно, что мой сын не только не преступник, а высокой души человек» [А, оп. 3, № 449, л. 4]17. Думаю, комментарии здесь не нужны.

Мало того. Крачковский сделал еще одно почти невероятное дело: добился издания «Ибн Фадлана» — без имени автора, разумеется, лишь с указанием «Под редакцией акад. И. Ю. Крачковского».

«Подивился я изданию "Ибн Фадлана", — писал ему по этому поводу В. И. Филоненко. — Что за загадочная картинка? Где же автор, переводчик? Читатель должен вертеть книгу и смотреть, не скрыт ли он где-либо между строк... Кажется, первая книга у нас так изданная. Что ж, если это выход из положения, то, пожалуй, даже это и остроумно» [21 авг. 1939 г.; А, оп. 3, № 923, л. 195 об.—196]. А вот и ответ Крачковского, разъясняющий кое-какие подробности, связанные с изданием: «Для меня было важно, единственно, показать, что работа редактирована мною, но не м/я, а что фамилия автора исчезла — это уже не в моих силах. Умное издательство предлагало все личные обороты заменить на безличные или поставить «мы», но я чувствовал, что тогда грани моей работы в глазах непосвященных могут стереться и сказал: *sint ut sunt, aut non sint* (лат.: Пусть будут так, как есть, или пусть не будут вовсе. —А. Д.) [29 авг. 1939 г.; А, оп. 3, № 37. л. 196].

А. П. Ковалевский вернулся в Ленинград только после войны, и на втором издании «Ибн Фадлана» (1956) уже было поставлено его имя, а на титульном листе — посвящение: «Незабвенной памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского».

248

Ковалевский не был единственным арабистом, пострадавшим в те годы. Еще до него в 1937 году были арестованы А. Ф. Искандеров и К. В. Оде-Васильева, в феврале 1938-го — А. М. Шами и его жена С.

И. Рогинская, ученица Крачковского по ЛВИ, по окончании работавшая там преподавателем¹⁸. Арестовали и студента-практиканта Т. А. Шумовского, начавшего под руководством Крачковского работу над рукописью по арабской морской географии; на этого самого своего младшего ученика он, несомненно, возлагал больше надежды.

В 1939 году был призван на финскую войну В. И. Беляев. Ряды ленинградской арабистики катастрофически редели. Правда, в 1939 г. Оде-Васильеву выпустили, в 1940-м В. И. Беляев вернулся в Ленинград тяжело раненный, но, забегаю вперед, скажу, что грядущие военные годы обернулись многими новыми утратами.

Во время блокады или сразу после нее погибли все три сотрудницы, принятые в конце 30-х годов на освободившиеся в кабинете места: С. М. Богданова-Березовская, О. А. Крауш и Е. А. Разумовская. Кроме них во время войны погибли еще двое учеников Крачковского, работавшие с ним в тридцатые годы.

Старший из них — Д. В. Семенов, принадлежавший к плеяде арабистов-универсалов, занимавшийся и литературным, и разговорным языком, и современной литературой, и рукописями; быть может, не самый яркий из учеников Крачковского по своему дарованию, но человек надежный, прекрасный преподаватель, правая рука Крачковского в ЛВИ. В свое время Крачковскому и за него приходилось вступаться: в ЛВИ, в конце 20-х—начале 30-х годов, без всякого согласования с заведующим кафедрой, Семенову стали упорно сокращать преподавательские часы — создавалось впечатление, что его «выживают из Института» [письмо к В. И. Филоненко от 12 июля 1929 г.; А, он. 3, № 37, л. 126], ибо на деньги, причитающиеся за оставшиеся у него часы, «человеку все равно существовать нельзя» [там же). В знак протеста Крачковский подает ректору ЛВИ письменное заявление в достаточно резком тоне¹⁹. В ответ следуют «клятвенные заверения» начальства, что нагрузку Семенову восстановят, но это остается обещаниями, и борьба, как свидетельствуют документы, продолжается.

Потом удастся устроить Семенова по совместительству в ИВАН, поправляются его дела и в ЛВИ, так что в 1938 году, при очередных крупных «передвижках» в руководстве института и кафедр, его назначают и. о. заведующего кафедрой арабского языка вместо И. Ю. Крачковского.

Семенов скончался в блокадном Ленинграде летом 1943 года в возрасте 52 лет. Очень теплый отзыв о нем сохранился в письме А. Н. Болдырева, работавшего с Д. В. Семеновым в Институте востоковедения в дни блокады: «До моего поступления в Институт востоковедения я почти не знал Даниила Владимировича. Но даже

249

за сравнительно короткий срок нашей совместной работы я глубоко понял его необычайную доброту, незлобивость, всю его хорошую, ясную чистоту. Ни разу за все время не было у нас никакой ссоры, пикакого серьезного разногласия. Его отношение ко мне было полно лучшею добросердечностью, вниманием, постоянной готовностью помочь и пойти навстречу» [А, оп. 3, № 148, л. 2].

Второй — Александр Михайлович Барабанов, человек совершенно иного круга, чем остальные тогдашние ученики Крачковского. Его биография — типичная биография «выдвиженца», как это тогда называлось. Сын крестьянина-бедняка из Ярославской губернии, окончил сельскую школу, батрачил, потом уехал в Ленинград, работал на заводе, был выдвинут на административную и партийную работу, в 1932 году послан на учебу в ЛВИ и там тоже продолжал партийно-пропагандистскую деятельность. Очевидно, это был человек очень способный: в матрикуле — почти сплошные пятерки (притом по арабскому языку — с подписями Крачковского), а в отзыве о его дипломной работе («Деятельность египетского национального банка "Миср"») отмечается «обладание навыками научно-исследовательского подхода к изучаемому материалу» [5, ф. 7222, оп. 30, № 232, л. 13] и вполне литературное изложение.

В 1938 году Барабанов был принят в аспирантуру ИВАН, а с 1 февраля 1941-го стал сотрудником Арабского кабинета. Он успел написать под руководством И. Ю. Крачковского диссертацию «История Шамиля Мухаммеда Тахира ал-Карахи» (критическое издание, исследование и перевод). Эта работа явилась важным этапом в изучении арабских источников по истории Кавказа. По более позднему отзыву И. Ю. Крачковского, «благодаря планомерному изучению северокавказских рукописей, ему удалось разгадать затруднявший ученых специфический прием местной палеографии — выработку оригинальной системы вспомогательных значков» [30, с. 244]. В 1941 году Барабанов ушел на войну добровольцем и погиб на фронте; ему было тогда 35 лет. После войны Крачковский издал подготовленный им текст «Хроники Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в иерид Шамиля» (М.; Л., 1946)²⁰ и его статью, анализирующую открытую им систему северокавказских палеографических значков [77, т. 3, 1945].

Неожиданную характеристику Барабанова я нашла в письме И. Ю. Крачковского к В. А. Кюнер-Сутугиной: «Барабанов один из моих учеников, попавших ко мне в порядке принудительного ассортимента, который доставил мне немало неприятностей и тяжелых минут, но в конце концов убедившийся в моей правоте, особенно когда в начале войны оказался на фронте, где и погиб в конце 1941 г. Многое я ему простил за "покаяние", когда он приезжал в Ленинград в сентябре того же года» [15 июля 1945 г.; А, оп. 3, № 27, л. 16 об.].

250

Можно назвать еще одну ученицу Крачковского из ЛВИ — вернее сказать, несостоявшуюся ученицу, которая сгинула неизвестно куда и о которой никто никогда не упоминает, — Маршиду Абдуловну Бикжанову. Татарка Касимовского уезда, окончившая русскую гимназию, она перешла в 1920 году в ЛИЖВЯ из Киевского института внешних сношений и одновременно поступила на этнолого-лингвистическое отделение ФОН Университета. В 1923 году, когда институт был ею закончен, а до окончания Университета оставался год, И. Ю. Крачковский поднял вопрос об оставлении Бикжановой при институте для подготовки курса исла-моаедения, в котором институт, по его мнению, крайне нуждается.

В ходатайстве, обращенном к правлению ЛИЖВЯ, Крачковский писал о Бикжановой так: «Самое ее происхождение из мусульманской среды и природное знание татарского языка дает ей большие преимущества в смысле практического знакомства с миром русских и турецких мусульман, которое было еще расширено командировкой в Среднюю Азию в 1921 г. Знание арабской литературы и разговорного языка при дальнейшем его углублении даст ей возможность ближе подойти к основным источникам ислама и непосредственно ознакомиться с средиземноморской частью мусульманского мира. Теоретическая ее подготовленность гарантируется прохождением университетского курса, который она оканчивает в предстоящем году по арабскому же разряду. В будущем, помимо исламоведения, она могла бы оказаться полезной Институту и ведением некоторых отделов по арабскому языку.

Ее способности, объем знаний и горячая преданность избранной области достаточно известны мне по 3-х летним занятиям. Ей предстоит дальнейшее углубление этих занятий особенно в области изучения европейской литературы об исламе и усовершенствования в арабском языке — основном орудии первоисточников»- [5, ф. 7222, оп. 26, № 12, л. 2 об.—3].

Я специально привела здесь такую длинную цитату из официального документа, чтобы читатель увидел, сколь серьезно относился Крачковский к этой кандидатуре — в его требовательности сомневаться ведь не приходится. Постановлением правления института Бикжанова была оставлена на арабском разряде в качестве научного сотрудника, но, как Писал Крачковский через полтора года в докладной записке начальству, «к сожалению, отсутствие какой бы то ни было финансовой поддержки со стороны Института, несмотря на мои неоднократные напоминания, не позволяло ей уделять достаточное внимание намеченному плану, а мне не давало морального права настаивать на более усиленных занятиях в этом направлении» [А, оп. 2, № 237, л. 14]. То есть ей пришлось где-то не по специальности работать, чтобы прокормиться, а потом, очевидно, ввиду неэффективности занятий, на которые не хватало времени, совсем уйти из института. Куда она делась потом — Бог весть. А курс по исламу вести было некому.

251

Кто же из учеников и соратников Крачковского пережил военные годы? Прежде всего назовем Н. В. Юшманова, талантливейшего лингвиста, работы которого Крачковский всегда оценивал очень высоко, считая его основателем арабской лингвистики в нашей стране [30, с. 215). Но глубокой духовной близости между ними никогда не было. Да и скончался Юшманов тоже рано — в апреле 1946 года, то есть Крачковский пережил и его.

Не возникло у Крачковского и тесной внутренней связи с М. А. Салье, несмотря на долгие годы совместной работы над переводами арабской литературы и сходство научных интересов, по крайней мере в одной области. Судя по частной переписке, у Крачковского были определенные основания для недовольства деятельностью этого своего ученика.

К. В. Оде-Васильева в известной мере также может считаться ученицей Крачковского — именно он ввел ее в курс преподавания арабского языка по нашей системе, терпеливо и деликатно руководил ею. Она вспоминает: «Он был очень требователен к своим помощникам, хотел, чтобы они хорошо знали предмет, который они преподавали, но в то же время он боялся затрагивать их самолюбие... Он раз подошел ко мне и сказал: "Я вас прошу провести совместно со мной занятия с аспирантом, так как мне иногда трудно понимать народные поговорки или отдельные слова". Однако я с первой минуты поняла, что он хотел помочь мне, а не чтобы я ему помогла» [А, оп. 2, № 86, л. 6—7]. Так же было и с лекциями по новой арабской литературе, которые натолкнули Оде-Васильеву на мысль о составлении знаменитой хрестоматии [37, с. 130].

И. Ю. Крачковский очень ценил Оде-Васильеву как преподавателя. По его отзыву, в котором он утверждал, что все преподавание арабского языка в Восточном институте держится на ней и что ее хрестоматия по новоарабской литературе «стимулировала занятия этой областью в Европе, Америке и даже в самих арабских странах, вызвав ряд отдельных работ и аналогичных опытов» [А, оп. 1, № 404, л. 5], ей были присвоены степень кандидата наук и звание доцента. Позже, в послевоенные годы, в представлении Оде-Васильевой к профессорскому званию, он подчеркивал, что это единственный в СССР преподаватель из числа носителей арабского языка, имеющий научную подготовку и хорошо знакомый с европейскими методами преподавания [там же, лл. 9—10]. В обоих отзывах перечисляются и немногочисленные ее труды, посвященные различным проблемам новоарабской литературы.

К. В. Оде-Васильева постоянно вспоминала о том, как тепло встретили ее Крачковские после приезда с Востока и что именно Крачковский после смерти мужа помог ей поступить на работу в институт. В ее мемуарах есть и совершенно «рождественские» истории о том, как Крачковский помогал ей, вдове с тремя малень-



Фото 1. Ю. Ф. и А. А. Крачковские, родители И. Ю. Крачковского



Фото 2. Ю. Ю. Снитко,
сестра И. Ю. Крачковского



Фото 3. Н. Ю. Крачковский,
брат И. Ю. Крачковско!



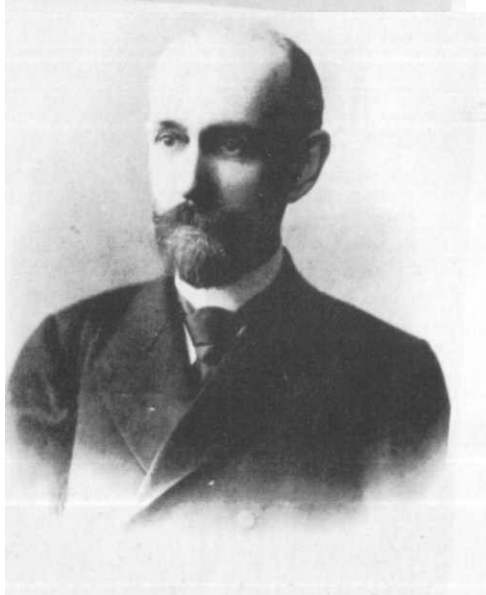
Фото 4. И. Ю. Крачковский в узбекском костюме (1889 г.)



Фото 5. И. Ю. Крачковский — студент (1905 г.)



Фото 6. В. Р. Розен





ф^о™ 7. В. В. Бартольд
 Фото 8. П. К. Коковцов
 Фото 9. А. Э. Шмидт
 Фото 10. Н. А. Медников



Фото 11. И. Ю. Крачковский, И. И. Десницкий и сын квартирной хозяйки (Бейрут, 1909 г.)

A black and white portrait of a woman with dark, styled hair. She is wearing a dark-colored dress with a prominent, light-colored lace collar. She is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is dark and out of focus.

[illegible]

Во имя Бога, Единого по существу, троичного во
 Проявлении, отъ упокоеніи отца нашего, светлаго Императора Николая
 Павловича и Благовернаго Императрицы Александры Федоровны.
 И тако всей семьи его III чина, и происшедшего переселеніе его
 семьи въ № 24 дома № 104 въ Пискаревскомъ квартале, въ Мем.
 оградѣ каз. Ассамблеи.
 Сего Господь нашъ Исусъ Христосъ пожелалъ уклониться своимъ
 на Младенцѣмъ горю про то и про всѣ старанія его и завершеніе Дѣла его, о
 светле сохранивши описавши, записавши ихъ и оставили въ рукохранили
 сашина. Младенца ихъ да сохраниши каз! Аминь!
 Глава I.
 Случившееся въ Дѣлѣ имъ Дѣлѣ, что Спасеніе, Господь нашъ, самъ
 Спасеніе нашъ Исусъ Христосъ одѣлъ, о уклонившихся своимъ, справивъ

256

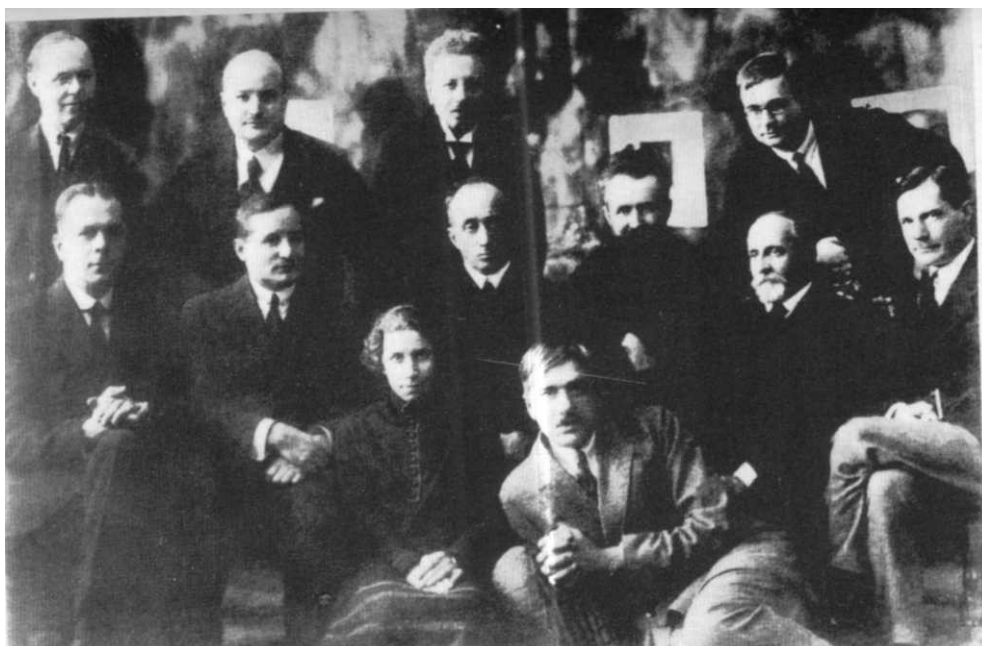
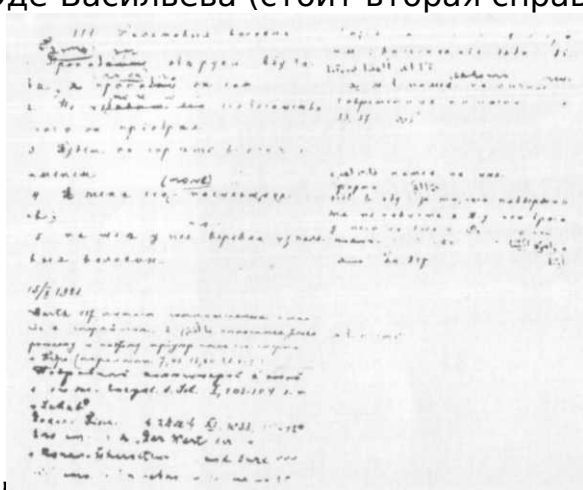


Фото 18. И. Ю. Крачковский, Д. В. Семенов (сидит первый слева), К. В. Оде-Васильева (стоит вторая справа) в группе студентов ЛВИ **(1928**



г.)
Фото 17. Лист из рукописи перевода Корана (сура 111)



Фото 18. И. Ю. Крачковский, Д. В. Семенов (сидит первый слева), К. В. Оде-Васильева (стоит вторая справа) в группе студентов ЛВИ (1928 г.)



Фото 19. В. А. Эberman



Фото 20. И. Ю. Крачковский (1935 г.
(май, 1941 г.))

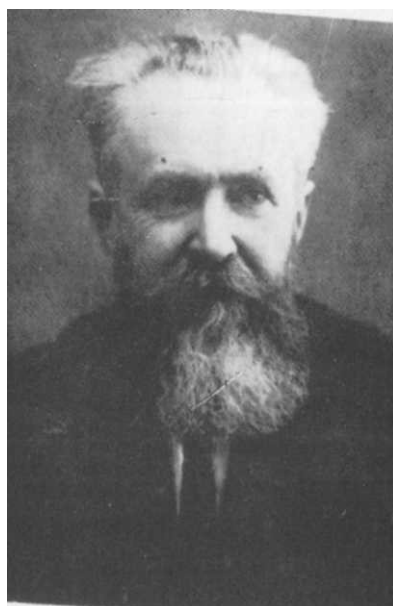


Фото 21. И. Ю. Крачковский

Фото 22. Лист из рукописи "Арабская географическая литература" (январь 1942 г.)

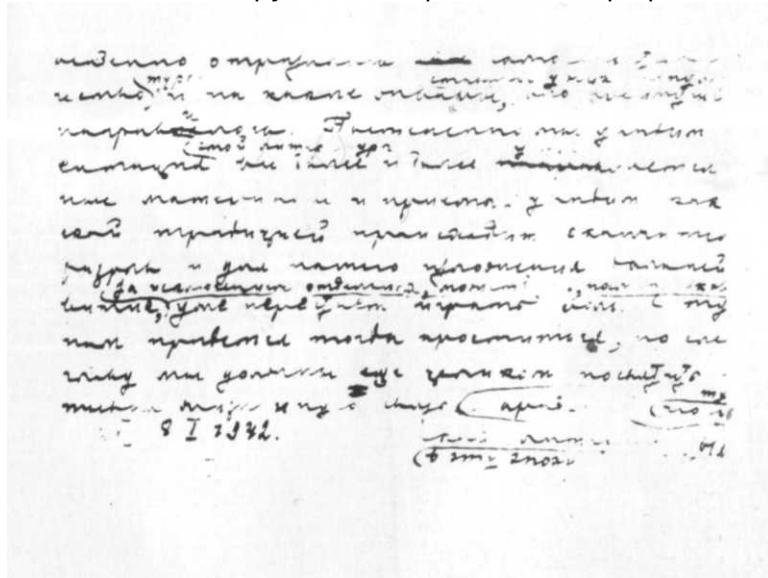


ФОТО Крачковский " в своем Домашнем кабинете (1948 . i
ФОТИ Ю- Крачковский (конец 1940-х гг.)



. И. Ю. и В. А. Крачковские на даче в Комарове (1949 г.)

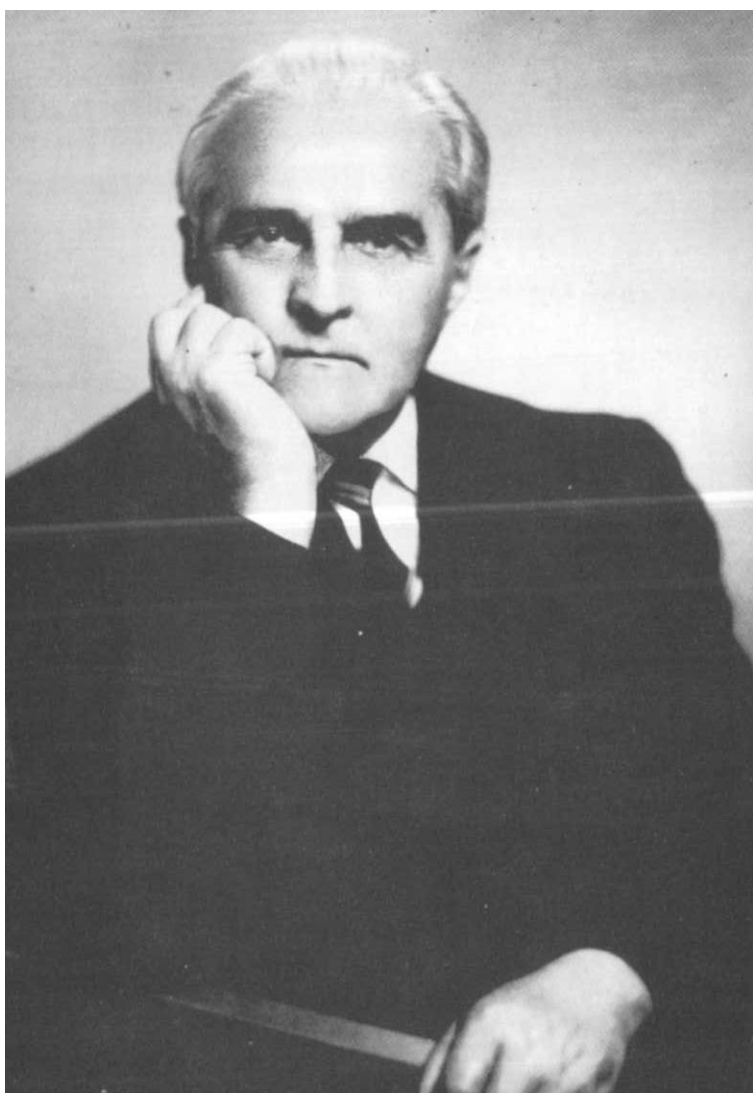


Фото 26 В.И.Беляев

кими девочками: то он приходит к больной Клавдии Викторовне по делу, видит — в доме хаос, начат ремонт, а денег не хватает, и тут же приносит недостающую сумму; то перед самым Рождеством раздаётся звонок в дверь, дети открывают, он ставит на стол корзину с игрушками и лакомствами и сразу уходит, она выбегает из кухни за ним: «Рано вам превращаться в Деда Мороза», а он

отвечает: «Простите, я не мог зайти, тороплюсь на занятия» [А, оп. 2, № 85, л. 14—15]. А то добивается для нее повышения зарплаты, ибо ей нечем платить за квартиру, грозя в противном случае отказаться от работы в институте [5, ф. 7222, 7, М? 1, л. 4].

Какая-то тень пролегла между ними, или, вернее, какая-то обида со стороны Оде-Васильевой возникла после ее освобождения из-под ареста в 1939 году. В архиве Крачковского сохранилось ее письмо от 4.1.1940 г. с упреками к нему (единственное, кажется, в его архиве письмо с упреками!) — разве она в чем-то провинилась перед ним, что он не хочет взять ее на работу ни в Арабский кабинет (куда, по словам директора института, принимают только по представлению самого Крачковского), ни в Университет? «Если Вы, — пишет она, — считаете меня неспособной к научной работе, то я как будто не обманула Вашего доверия в преподавании» [А, оп. 3, № 684, л. 90].

Крачковский на это письмо ответил, и, очевидно, довольно подробно. У него была привычка: перед тем, как отвечать корреспонденту, выписать на конверте полученного письма основные пункты, которых нужно будет коснуться в ответе. Так что о чем он писал ей — видно, но вот что писал... Черновика не сохранилось.

Когда-то, много лет назад, я слышала в Москве расхожее мнение о том, что Крачковский якобы побоялся взять ее на работу как репрессированную. Абсурдность этого слуха совершенно ясна: страха у Крачковского быть не могло — вспомним хотя бы, что он только что писал Вышинскому в защиту Ковалевского, — скорее, в здесь было другое: начальство боялось принимать ее на работу (или имело соответствующие распоряжения) и все валилось с больной головы на здоровую (мы бы рады, да Крачковский-де против!). Думаю, впрочем, что Крачковский вряд ли хотел видеть Оде-Васильеву сотрудником академического института — ее интересы и стиль научного мышления не вписывались в круг занятий Арабского кабинета; думаю также, что он в свое время деликатно, но твердо говорил ей об этом²¹. На преподавательскую работу в Университет ему все же удалось ее устроить.

Но в начале войны она с семьей уехала из Ленинграда, а из эвакуации попала уже в Москву — была приглашена в МИВ и ВДШ.

Недоразумение между ними, надо полагать, разрешилось в конце концов. 30 января 1945 года в письме из Москвы она рассказывает Крачковскому о докладе, который прочла о нем, — очевидно, в честь сорокалетия его научной деятельности: «Сообще

261

ние... очень нехитрое и научностью не блещет. Но я достигла того, что хотела, а именно, поднять край занавеси о Вас как о человеке отзывчивом, добром, которому не чужды все благородные порывы человеческой души. Вы меня простите за откровенность, но ведь знакомые с Вами не очень близко считают, что Вы, просто сухой ученый, который может оказать помощь, дать совет и больше ничего. После моего выступления я услышала от некоторых незнакомых мне присутствующих, что хотя они Вас знают давно, но после моего выступления Вы предстали перед ними в ином свете» [А, оп. 3, № 684, л. 1031.

Самым близким учеником по духу был в это время для Крачковского В. И. Беляев (окончивший в 1925 году) — тот же вкус к работе с рукописями, к библиографии, те же добросовестность и трудолюбие, та же неуверенность в собственных силах, что у молодого Крачковского, — и то же упрямство в защите истины. Борьбу за этого ученика пришлось начать очень рано, когда Беляев, будучи еще студентом II курса ФОН, не успел до отъезда Крачковского с лекциями в Симферополь сдать зачеты по арабскому языку и литературе и был отчислен, несмотря на вполне законные объяснения и даже на вмешательство С. Ф. Ольденбурга; очевидно, на суровость решений Петропрофобра повлияло дворянское происхождение студента, которое значилось во всех анкетах. Обращение Крачковского в Петропрофобр (без даты, но, очевидно, июнь 1924 г.) написано в достаточно решительном тоне: «Он является одним из лучших моих учеников, и выход его из состава малочисленной группы будущих востоковедов... невольно ставит меня перед вопросом о целесообразности продолжения моей педагогической работы» [А, оп. 1, № 336, л. 4].

Беляева удалось отстоять и даже по окончании взять практикантом в Азиатский музей, где он прекрасно показал себя в работе над рукописями, но вскоре Крачковскому снова пришлось вмешиваться в его судьбу — на этот раз избавлять от мобилизации в армию. Кончился практикантский срок — и первоклассному знатоку рукописного дела, собственно, правой руке Крачковского в этой области, не нашлось места по специальности: оказалось, что местком Института востоковедения был против него, как видно из письма Крачковского к Н. Я. Марру [А, ф. 800, оп. 3, № В.509, л. 29], несмотря на высказанное руководителем высокое мнение о его работе и возможностях: «В настоящее время он является одним из наиболее подготовленных арабистов молодого поколения во всех областях арабской филологии. В области же описания и исследования рукописей я не знаю никого, кто мог бы с ним сравниться» [А, оп. 1, № 336, л. 19]. И в Публичную библиотеку Беляева тоже не взяли, хотя Крачковский, рекомендуя его туда, дает о нем 23 октября 1930 года такой лестный отзыв: «Я могу смело

262

сказать, что из моих учеников его поколения нет никого, кто бы в такой мере обладал библиографическими познаниями в избранной области и приобрел такой опыт в описании рукописей» [там же, л. 21]. Обращается он по поводу устройства Беляева и в секцию научных работников Союза работников просвещения СССР — и снова безрезультатно, причем в отзыве его звучит забота и боль не только за судьбу любимого ученика, но и любимого дела, которое тормозится из-за каких-то нелепых соображений: «Приходится сожалеть, что в настоящее время при отсутствии регулярной работы по своей специальности он не имеет возможности уделять ей все свое время, применяя на практике полученную подготовку, которая характеризует его как хорошо зарекомендовавшего себя, вполне сложившегося научного работника» [л. 19—19 об.].

Четыре года Беляев работает в библиотеке Инженерно-строительного института, стараясь по мере возможности не отрываться от изучения арабских рукописей; за это время вышли две

его работы, начатые еще в годы практикантства: «Анонимная рукопись из коллекции В. А. Иванова» и «Арабские рукописи Бухарской коллекции». В 1933 году он попадает наконец в Институт книги, документа, письма, где в круг его занятий, кроме рукописей, входят папирусы, а в 1936 году туда, где было его настоящее место, — в Рукописный отдел ИВАН. Несколько раньше, в 1934-м, его приглашают на кафедру к А. П. Рифтпну (взамен арестованного Эбермана), и здесь он помогает Крачковскому обеспечивать традиционную филологическую линию преподавания.

Потом снова перелом в судьбе — осень 1939 года, мобилизация на финскую войну, тяжелое ранение, для Крачковского — страх потерять «едва ли не последнего своего хорошего ученика», как он аттестует Беляева в письме И. И. Умнякову.[А, оп. 3, № 36, л. 38 об.]. И наконец возвращение к работе с осени 1940 года.

Роль И. Ю. Крачковского в судьбе В. И. Беляева не сводилась лишь к многократно? сальной поддержке (устройство на работу, присуждение кандидатской степени по трудам, без защиты и т. п.). Не меньшее значение имело и моральное руководство Крачковского — для него, человека болезненно застенчивого, вечно сомневающегося в своих силах и возможностях, — хотя Крачковский считал его «очень даровитым» [письмо к Ю. Н. Марру от 26 марта 1932 г.; А, оп. 3, № 29, л. 10], — человека глубоко порядочного, но бойцовскими качествами от природы не наделенного, такая опора была необходима: «Снова порадовал Ваш бодрый дух и снова я нашел некоторую меру вещей, как часто бывало после бесед с Вами» [23 окт. 1939 г.; А, оп. 3, № 116, л. 10 об.]. Он это чувствовал всегда, и в письмах его с Финского фронта звучит постоянный мотив благодарности за все, сделанное Крачковским для него, и своей «недостойности» этой доброты: «Чувствую себя, как мальчишка, которому нечем расплатиться в трамвае, куда он залез, не думая о последствиях. Нечем и мне Вам отплатить, кроме

263

любви и..преданности до последней минуты» [30 нояб. 1939 г.; А, оп. 3, № 116, л. 131.

Приведу отрывок из письма, написанного В. И. Беляевым под новый, 1940 год, очевидно, уже из госпиталя, — письма, предельного в своей откровенности и обнаженности чувств, не предназначавшегося для чужих глаз. Но пусть простит меня покойный Виктор Иванович, ибо письмо это свидетельствует о нравственной высоте, о красоте души и адресата, и автора. Оно стало уже страницей истории нашей арабистики — и страницей прекрасной:

<Дорогой Игнатий Юлианович!

Нет никаких сил и слов, чтобы выразить Вам мои чувства, мою благодарность за все, что Вы для меня сделали и делаете, за все Ваше отношение ко мне, которым Вы меня одели и обогрели. За все время, что я Вас знаю, Вам я обязан своим образованием, всей своей сознательной умственной жизнью. Вы меня всегда поддерживали и материально в трудные, минуты. Вашу руку я чувствовал все эти шестнадцать лет, и если я что-нибудь из себя сейчас представляю, — этим я обязан целиком Вам и Вашей заботе. Теперь Вы спасаете мне

жизнь. Что мне сказать Вам? Какие слова передадут то, что внутри, что обуревают меня, когда я об этом думаю? Я знаю, что Вы не любите проявлений благодарности, слишком сильного проявления чувств. Но молчать я не могу, хоть раз в жизни я все же должен Вам сказать о том, что я думаю, ведь все же и я человек, а не дерево, и всякой сдержанности бывает конец. Все эти годы я жил около Вас и учился у Вас и выдержке, и твердости, и Вашей нравственной устойчивости, — правда, что из этого выходило — вопрос другой, зависящий от ученика, а не от учителя. Вы были для меня высоким нравственным образцом, и мысль о Вас в тяжелые минуты часто помогала мне жить и заставляла воспрянуть в минуты духовного упадка. Вашу отзывчивость во всех жизненных случаях я прежде всего испытывал на себе и видел ее в отношении к другим» [А, оп. 3, № 116, л. 15].

В этом восторге перед учителем для такого человека, как Беляев, таилась опасность полного подчинения и усугубления комплекса неполноценности. Вот из того же письма: «Друзья — дар небес и тоже часто дар незаслуженный, — я говорю опять только о себе, у меня это чувство незаслуженности живет очень остро, и потому проявление дружеских чувств я всегда переживаю несколько болезненно и недоуменно: ко мне ли все это относится? И особенно это чувство было сильно, когда я видел отношение к себе Ваше и Веры Александровны, — во все время моего с Вами знакомства и общения. Это чувство усугубляло мою природную застенчивость и мешало мне просто подойти к Вам и мешало мне и в моей работе, когда я стеснялся к Вам обратиться за помощью и беспомощно барахтался, пытаюсь сам решить некоторые научные вопросы, кото

264

рые были мне не по силам. В некоторых случаях это было хорошо, так как приучало к самостоятельности, но в большей части, в силу моей неврастенической нервной неустойчивости, создавало узлы, травмы и девиации от верного пути и неверие в свои силы, заставляло много метаться от одного к другому, за что я не раз слышал Ваши упреки, а сам себя бранил еще больше. Поэтому-то мне и кажется, что Вы тратите много стараний и спасаете сейчас все-таки неполноценный, недостойный объект, и об этом смолчать здесь я не могу» [там же, л. 15 об.—16].

Читая это, начинаешь понимать, почему В. И. Беляев впоследствии всегда так остро, с таким возмущением реагировал на чье-либо несогласие с теми или иными мнениями и положениями И. Ю. Крачковского — это было посягательством на вечный незыблемый идеал.

Сложилось так, что именно В. И. Беляеву суждено было стать преемником И. Ю. Крачковского в ленинградской арабистике, и если он не был столь крупным ученым и столь же влиятельным организатором науки, как и его учитель, — высокий моральный уровень ленинградской арабистики ему удалось сохранить.

Из людей, преданных И. Ю. Крачковскому при жизни и сохранивших эту преданность после его смерти, следует назвать еще Х. И. Кильберг, много сил отдавшую, вместе с В. А. Крачковской и В. И. Беляевым, изданию его трудов. Хися Израилевна Кильберг не была непосредственной ученицей И. Ю. Крачковского, она кончала

МИВ, стажировалась в Йемене, а потом, уже принятая в Москве в аспирантуру, попала на стажировку в Ленинград, к Крачковскому, и так была потрясена его отношением к ученикам и вообще всей ленинградской научной атмосферой, что твердо решила не порывать связь с Институтом востоковедения. Она присылает Крачковскому свои работы на отзыв и, как только изыскивает возможность (а это нелегко, она человек семейный), приезжает в Ленинград — поконсультироваться с ним. Они договариваются в письмах предварительно, причем Крачковский всегда четко указывает ей, сколько дней и часов в шестидневку может на нее потратить, и даже когда очень загружен, обещает найти время если не для регулярных занятий, то хоть «для нескольких бесед», ибо ценит ее «серьезное отношение к делу и интерес» [12 янв. 1935 г.; А, оп. 3, № 22, л. 6 об.].

Она лелеет мечту попасть в аспирантуру в ИВАН — и конечно, к Крачковскому, чтобы «пройти настоящую школу» [3 янв. 1934 г.; А, оп. 3, № 434, л. 22]. В мае 1935 года у Крачковского состоится разговор на эту тему с А. М. Шапи, который выступает как бы в качестве посредника. После того Крачковский, который не в восторге от ее плана, пишет Кильберг письмо, деликатно, но откровенно поясняя свою позицию. Во-первых, он считает, что в Москве должен быть создан «свой самостоятельный центр араби

265

стики» и он не сторонник «перекачивания» москвичей в Ленинград — разве что если уж там ничего сделать невозможно. Во-вторых, он сомневается в целесообразности аспирантуры по существу заочной: «...спорадические приезды все же не могут создать регулярной работы и иногда действуют утомительно на обе стороны» [А, оп. 3, № 22, л. 13]. И вот как он отказывается от руководства — ведь Кильберг занимается новой историей Египта, то есть тема — вне его компетенции: «Третий пункт для меня особенно сложен. Вы хорошо знаете, что я не специалист в той области, где Вы работаете, и никогда ею не занимался. Таким образом мое "руководство" несколько сомнительно и ставит меня в фальшивое положение, которое иногда ощущается тягостно. Конечно, помогать в меру своих возможностей, как Вы, надеюсь, знаете, я никогда не отказываюсь при искреннем стремлении к этой помощи. Поскольку я давно с Вами занимаюсь, я не считаю себя вправе бросить это дело и готов помочь и формально в том направлении, о котором Вы спрашиваете, когда это понадобится» [там же, л. 13—13 об.].

Тем временем у Хиси Израилевны закончена и монография о восстании Ораби паши и получена за нее кандидатская степень, вслед за этим приходит разрешение на докторантуру в ИВАН, то есть мечта как будто сбывается, и она принимает активное участие в подготовке II сессии арабистов, но уже в сентябре 1938 года ясно, что по семейным обстоятельствам, да и по состоянию здоровья в ИВАН она вернуться не сможет. Тогда она поступает на работу в Историческую библиотеку. «Тяжело самой отказываться, — пишет она Крачковскому 28 сентября 1938 года, — от тех больших возможностей, которыми так богат Арабский кабинет Института, да еще потому, что прежде всего Вам я обязана очень многим» [А, оп. 3, № 434, л. 39].

Крачковский отвечает с полным доверием и пониманием ситуации: «Надеюсь, что от арабистики Вы совсем не отойдете, и, конечно, если буду чем-нибудь полезен, готов в меру своих возможностей помочь» [4 окт. 1938 г.; А, оп. 3, № 22, л. 26]. Так — никаких взаимных обид, амбиций, укоров. Переписка продолжается, и как только кто-то из них может быть полезен другому, с удовольствием делает все возможное.

И все-таки настоящим учеником, непосредственным наследником дела к концу 30-х годов оставался один В. И. Беляев. В ближайшем будущем новой смены не предвиделось: ведь была такая лакуна в преподавании арабистики, а самый способный из первого нового набора, Шумовский, далеко, и Бог весть, вернется ли... Да и в следующем наборе — жертва той же машины: Дмитрий Бер-тельс, сын коллеги-ираниста²².

К ученикам-семитологам судьба тоже была немилосердна: М. Н. Соколов был арестован одновременно с Эbermanом в конце декабря 1933 года и не вернулся²³; А. Я. Борисов и И. Г. Бендер

266

умерли во время войны (Бендеру был 41 год, Борисову — 39),

А. П. Рифтин — в 1945 году, в возрасте 45 лет. Из семитологов пережили И. Ю. Крачковского лишь И. Н. Винников, который также потом принимал участие в издании его трудов, и К. Б. Старкова.

В 1945 году, после выхода в свет книги «Над арабскими рукописями», И. Ю. Крачковский писал своей давней приятельнице

В. А. Кюнер-Сутугиной, задавшей ему вопрос об учениках: «А вообще мои ученики — это моя трагедия в самом разнообразном смысле, и все еще, несмотря на старость, трудно мне об этом говорить. Вероятно, каждому суждено искупать какие-то неведомые ему грехи. Горе в том, что это искупление всегда бьет по самому чувствительному и дорогому месту, может быть, чтобы наказать за привязанность к "миру сему". Кое-что Вы могли почувствовать из моей книжки, но это десятая часть, и то прикровенная. Когда-нибудь может решусь и это припомнить, но "кому повем печали моя"..."» [А, оп. 3, № 27, л. 16 об.].

Он не успел это сделать, да тогда и нельзя было «всех поименно назвать», хотя в «Очерках по истории русской арабистики» названы все-таки многие. Я попробовала, как смогла, отдать дань памяти тем, кого он растил и любил и о ком не смог рассказать подробно.

НОЖ В СПИНУ

В главе X уже упоминалось о том, сколь широки были связи И. Ю. Крачковского в научном мире — и в нашей стране, и за рубежом — и какую обширную переписку он вел с самыми разными людьми. В архивной описи зафиксировано более тысячи его корреспондентов, а количество писем от некоторых из них исчисляется десятками, если не сотнями. Эти письма интересны не только отражением круга вопросов, занимавших ученого и тех, кто обращался к нему, но и в личном плане: они рисуют портрет Крачковского, каким он представлялся в глазах окружающих.

Я уже чуть-чуть приоткрыла перед читателем некоторые страницы писем учеников, и можно заметить, что основная тональность этих писем — благодарность за внимание, помощь,

моральную поддержку. Но бесконечные благодарности шли и от тех, кто непосредственно учеником не был, однако всегда мог рассчитывать на его отклик и содействие.

Приоткроем еще несколько страниц — письма советских востоковедов конца 20-х—начала 40-х гг., то есть ограничимся письмами тех, кто знал его лично.

Н. В. Пигуленская: «...хоть я и не Ваша ученица, но Вы и мне уделяете радость задумывать и выполнять свои работы в общении с Вами... Внутренне я всегда чувствую, что могу прийти к Вам и

267

найти поддержку, помощь, совет» [2 нояб. 1927 г.; А, оп. 3, № 726, л. 1]:

«Вы не знаете, как я дорожу Вашим мнением, как не мыслю себе выступать с какой бы то ни было работой без Вашей апробации» [12 апр. 1939 г.; там же, л. 15).

Н. К- Дмитриев: «Позвольте выразить Вам глубочайшую благодарность за то высоко культурное отношение к моим работам и просьбам (порою, быть может, мелочным), которым Вы почтили меня за время нашего кратковременного знакомства» [25 янв. 1925 г.; А, оп. 3, № 329].

Х. К. Баранов: «...если бы не Ваша помощь, трудно было бы ожидать печатания словаря; за все Ваши труды и хлопоты приношу Вам глубокую благодарность» [16 янв. 1939 г.; А, оп. 3, № 97, л. 21.

Б. Н. Заходер: «Ваше теплое письмо было мне как-то особенно дорого на этот раз» [7 апр. 1941 г.; А, оп. 3, № 314, л. 32].

«У меня нет слов, дорогой Игнатий Юлианович, выразить Вам свою благодарность за Ваше ко мне отношение и внимание. Великое для меня счастье, что я могу пользоваться и тем и другим» [14 марта 1945 г.; там же, л. 61].

Л. С. Некора: «Хотелось бы несколько освежиться в Вашей научной атмосфере: уж очень серо мы живем в Москве, особенно теперь, после разгрома зарубежного востоковедения» [25 авг. 1930 г.; А, оп. 3, № 664, л. 4 об.].

П. К. Жузе (Бандали Джаузи): «Разрешите, добрейший Игнатий Юлианович, поблагодарить Вас за Ваш ценный подарок и просить Вас больше таких подарков не делать. С Вас довольно тех хлопот, которые я Вам причиняю, а с меня довольно и той скидки, которую дает или может дать Академия по Вашему ходатайству» [1 дек. 1930 г.; А, оп. 3, № 360, л. 109].

Т. Кезма: «Ваши строки всякий раз, когда получаю их, доставляют мне столько приятного и отрадного, будто они утренний ветерок с гор прохладного Ливана иль аромат цветов из садов родного Дамаска! Строки письма Ваши хоть и деловые, но сквозь них чувствуешь каждый раз и почти физически ощущаешь ту любовь и расположение, которое Вы... впитали в себя по отношению к моей родине, моему родному языку и соотечественникам арабам» [27 февр. 1927 г.; А, оп. 3, № 430, л. 11 об.].

Л. И. Климович: «Особенно интересно мне будет услышать Ваш отзыв о моей статье "Происхождение мусульманского поста месяца рамадана"» [19 янв. 1933 г.; А, оп. 3, № 439, л. 4].

«Очень рад, что новую работу мою Вы нашли интересной. Мне очень давно хочется поговорить с Вами подробно о направлении моих новых работ... Не теряю надежды побывать вскоре у Вас» [22 июня 1936 г.; там же, лл. 22, 25].

Е. А. Беляев: «Я чрезвычайно польщен и ободрен Вашим вниманием к моей несовершенной работе начинающего исламоведа и

268

на правах Вашего бывшего ученика прошу не оставить меня без помощи и в дальнейшем. Я отлично представляю себе, насколько Вы загружены исследовательской работой, но в то же время помню, с какой готовностью и любезностью Вы давали мне научные указания» [25 марта 1931 г.; А, оп. 3, № 119, л. 3 об.—4].

А вот Л. И. Климович с Е. А. Беляевым, составившие инициативную группу для подготовки работы по истории культуры мусульманского Востока, присылают ему план этой работы: «Мы не мыслим осуществления этих планов без Вашего руководящего участия, на которое мы смеем надеяться, хорошо зная Вашу отзывчивость ко всему тому, что относится к области научного востоковедения» [23 июля 1933 г.; А, оп. 3, № 119, л. 14 об.].

Можно было бы много написать и о взаимоотношениях Крачковского с А. Е. Крымским, отраженных в переписке. Но, как это ни интересно, мне нельзя так далеко уходить в сторону от основной линии изложения. Здесь же я остановлюсь лишь на одном эпизоде: осенью 1936 года Крачковский предлагает Крымскому заключить договор с Институтом востоковедения на издание «Очерков новоарабской литературы», над которыми он работал в это время. Крымский, естественно, согласен: «Кроме чувства отрады я от Вашего предложения ничего больше испытать не могу... Нужно ли мне высказать мою благодарность Вам? Думаю, письмо не выразит ее» [16 окт. 1936 г.; А, оп. 3, № 504, л. 131].

Дело пошло, договор заключен, Крымский работает «с огромным удовольствием и увлечением, и на душе приятное настроение не прекращается. Работа идет производительно, однако не производственно, не так, как требовал бы стахановский метод» [11 апр. 1937 г.; там же, л. 152]. Крачковский, зная его затруднительное материальное положение, выхлопывает ему аванс. Д Крымского мучит одна мысль: «Собственно, Вы принесли крупную жертву, отдавши эту работу мне: Вы ее бесконечно лучше исполнили б» [то же письмо; л. 153].

Полагаю, что насчет «жертвы» Крымский не прав: не следует думать, что это научное бескорыстие Крачковского сродни благотворительности и было вызвано жалостью к бедственному положению коллеги, — не меньшую (если не большую) роль играли интересы науки: зная творческую манеру Крымского, его писательский темперамент, Крачковский прекрасно понимал, что если он сам когда-нибудь возьмется за такую книгу, то напишет ее совсем по-другому; лучше ли, хуже — дело вкуса, но это были бы две разные книги, и для арабистики это — благо, ибо они дополнили бы друг друга. Нет, комплекса «собаки на сене» у Крачковского никогда не было, истинная наука жадности такого рода не знает. Это

бескорыстие и стимулировало помощь, которую он так щедро оказывал своим ученикам и коллегам, дома и за рубежом; оно же и вызывало восхищение и любовь. Вот как это выразил тот же Крымский: «Вы принадлежите к тем людям, которых я не просто

269

уважаю, не просто симпатию чувствую, а люблю. За что люблю? За Вашу прекрасную душу, за Ваше чудное сердце! Словом за то, за что и все Вас любят!» [19 авг. 1929 г.; там же, л. 70 об.].

Итак, все коллеги и ученики любили его, но высшим инстанциям он явно был неудобен как человек, не желающий считаться с нормами поведения «истинно советского ученого», сохранивший внутреннюю свободу. Он, как и до революции, чувствовал себя членом мирового научного братства и позволял себе то, на что многие уже не решались. Он переписывался с учеными всего мира, в том числе и с эмигрантами из России, и, даже когда в начале 30-х годов академические каналы заграничной переписки были перекрыты, получал письма на домашний адрес. Он печатался в зарубежных научных журналах, не слишком заботясь о том, что рядом с его статьей может оказаться опус какого-либо иностранного автора, слывающего у нас реакционером. Он не побоялся напечатать «Поэтику» Ибн аль-Мутазза, требующую особо квалифицированного набора, в Лондоне, он активно сотрудничал в «Энциклопедии ислама», участвовал в международном предприятии — составлении конкорданса к мусульманскому преданию. Ему посвящали свои труды иностранные ученые — и он не протестовал, не «отмежевывался» от них. Он открыто указывал на недостатки нашей науки и критиковал труды востоковедов-марксистов или постоянно «спускаемые сверху» документы, выступал против всякой конъюнктуры, в защиту научной истины, боролся за справедливость, вступался за своих учеников и коллег, порой с риском для самого себя. Да вообще, как он смел открыто не признавать себя марксистом и иметь обо всем собственное суждение?! И сохранять собственное достоинство, не гнаться?! И понимать при этом, что становится одиозной фигурой — и не бояться?! И к тому же пользоваться всеобщей любовью, так что ему к юбилею и сборник с портретом выпускают, и библиографию трудов! Конечно, работает он продуктивно, и сочинения его славятся повсюду, и в кабинете трудовая дисциплина «на уровне», но...

Академические выборы 1928/29 года и последовавшая за ними «чистка» явились сигналом к наступлению на науку. До тех пор неприятности у Крачковского были связаны в основном с Университетом и ЛВИ — то, как уже говорилось, сокращение специальных занятий до почти полной ликвидации арабского отделения, то гонения на учеников, то совершенно беспардонное поведение дирекции Института им. А. Н. Веселовского. Настала очередь академической травли.

Первая ласточка — «великая буча» [А, оп. 3, № 37, л. 166] в связи с публикациями статей советских ученых, в том числе и Крачковского, в международном эмигрантском издании «Seminari-um Kondakovianum»²⁴. Имя, Крачковского в этой связи в печати не фигурировало, но, вероятно, на соответствующем академиче

ском заседании всячески склонялось — как и четыре года спустя, когда он поместил очень интересную автобиографию ливанского писателя Михаила Нуайме со своим комментарием в журнале «Die Welt des Islams», где в том же номере оказалась статья некоего Гаяз Исханова о русских мусульманах, показавшаяся академическому начальству одиозной. Сообщая об этом в письме В. И. Филоненко [А, оп. 3, № 37, л. 166 об.], Крачковский добавляет: «Теперь несколько затихло, но не знаю, окончательно ли. Не без некоторых опасений жду появления "Festschrift" в честь G. Jacob'a» [27 апр. 1932 г.; там же, л. 168] — здесь он тоже мог оказаться в компрометирующем соседстве.

Но пока речь шла о частных случаях. После «чистки» началось массированное наступление на «реакционное академическое востоковедение». Так, в журнале «Проблемы марксизма» (1931, № 8 — 9) появляется статья трех авторов-марксистов: А. Новичева, М. Кокина и Д. Смирнова — под хлестким названием «Против реакционного востоковедения» с анализом «основного содержания печатной продукции Коллегии Востоковедов».

Начинается с демагогических рассуждений о том, «в какой политической обстановке протекала работа Коллегии, о революционной борьбе многомиллионных масс колоний и полуколоний против гнета империализма, о происшедших за это время в ряде восточных стран революциях, о возникновении социалистических республик в бывших царских колониях, ныне строящих социализм, минуя капиталистический путь развития, о требованиях, которые предъявляли и предъявляют к востоковедению пролетариат СССР и массы эксплуатируемых в колониях и полуколониях — всем, кому дороги интересы пролетариата и трудящихся масс Востока, отмеченные моменты ясны» [75, с. 210]. В наше время этот трафаретный трескучий пассаж может показаться даже пародийным, словно позаимствованным из какого-нибудь «Торжественного комплекта» Остапа Бендера. Но увы, здесь было не до смеха.

Перечислив наудачу несколько заголовков статей из «Записок Коллегии востоковедов», посвященных частным научным проблемам, напрямую не отвечающим революционным задачам момента («Неизвестное сочинение-автограф сирийского эмира Усамы» Крачковского, «Медицинская школа в Джундншапуре» Эбермана, «Оксфордский фрагмент древнегрузинской версии Иеремии» Генко и др.), авторы патетически восклицают: «Таковыми работами отвечало академическое востоковедение на грандиозные события, происходившие как в СССР, так и за его пределами, на революции и отдельные восстания в ряде колониальных и полуколониальных стран, на борьбу за новую жизнь... в восточных советских республиках» [75, с. 211]. А дальше идут открытые политические обвинения: «Заняв резко отрицательную позицию к Октябрьской революции, став на правый фланг реакции востоковеды Академии скрывались от революции за спинами средневековых поэтов, за

грудами развалин древних городов, уходили далеко в дебри вое точной экзотики и, устремив свой взор в глубь веков, не хотели

поднять глаз на свет, ибо это был уже не божий свет, а больше вистский» [там же).

Оказывается, ни один том «Записок» не содержит статей на актуальные темы, за исключением яфетидологических («на общем фоне сиротливо выглядят редкие статьи акад. Марра и его учеников» [с. 218]). А больше всего достается пятому тому, который был посвящен И. Ю. Крачковскому (содержание его я приводила в гл. X): «Разве не прямым вызовом всей советской общественности является выпуск в этом году сборника с подобным содержанием?» [с. 211].

Эти, по определению авторов статьи, «верные часовые на позициях старого реакционного востоковедения», идеалисты по своему мировоззрению, особенно ярко выявляют «свою реакционную сущность» в трактовке разрабатываемых ими тем. Что за дело востоковедам-марксистам до исторического и историко-литературного значения разбираемого Крачковским сочинения, до его научной ценности, так выпукло показанной автором, — их интересует одна лишь сакраментальная фраза: «Эпоха столкновения Запада с Востоком вызвала ее (эту рукопись. — А. Д.) к жизни; начало мирного общения обеспечило ей жизнь уже не на Востоке, а на Западе» [64, т. 1, 1925, с. 215]. По их мнению, это свидетельствует о вопиющей политической близорукости автора: «Таким образом, порабощение восточных стран и превращение их в колонии, "умиротворение" их штыком и свинцом на языке академика Крачковского называется "мирным общением"» [75, с. 212].

А какую политическую ошибку совершает К. В. Оде-Васильева, когда она, рассказывая об участии египетских женщин в революции 1919 года [64, т. 5, 1930, с. 293—306], выдает буржуазное движение за общенациональное!

Далее следует абзац, кощунственный по своей циничности: «Наиболее удобным поводом для выявления своих настроений востоковеды Коллегии считают некрологи. Здесь, у гроба умершего соратника, можно всплакнуть, вспомнить былые времена и выразить свои затаенные чувства по отношению к окружающей действительности» [75, с. 215]. Эти слова выглядят тем более мерзко, что относятся они непосредственно к такой проникновенной, полной любви и боли статье Крачковского, как «Памяти И. П. Кузьмина». Оппоненты его пророчат, что у востоковедов старой школы не будет последователей: «...молодежь, воспитавшаяся в советских вузах, к ним не пойдет» [75, с. 217]. Крачковский заканчивает некролог такими словами: «Нам — учителям Кузьмина — утешения не надо. Как севастопольские солдаты, которым месяц зачитывался за год, мы давно выслужили свои сроки и имеем право на отдых, но мы забытые часовые и не уйти нам со своего поста, а если не подойдет смена, мы на нем и кончим жизнь. Так судила

271

судьба, и в этом может быть скрытая от нас мудрость» [64, т. 2, 1926, с. 180]. Ответом на это служит очередной патетически-демагогический пассаж: «Да, академик Крачковский, вам не подойдет смена, не подойдет. И не "скрытая мудрость" решила — вы апеллируете к боженьке, не поможет! — а классовая борьба

пролетариата с вековыми угнетателями за то, чтобы кучка империалистов не угнетала многомиллионное большинство человечества» [75, с. 217].

Заключение статьи звучит угрожающе: «Тринадцать лет академического востоковедения — тринадцать лет служения реакции. Это надо сказать со всей резкостью» [75, с. 218]. Иначе говоря, властям предлагается «компромат» на востоковедов старой школы, и в первую очередь — на академика И. Ю. Крачковского; счастье, что власти почему-то не захотели им воспользоваться.

Эхом упомянутых в гл. IX статей Ларина и Луначарского явилась также статья С. С. Майзеля «13 лет академической арабистики», появившаяся в журнале «Советская этнография» (орган АН и Наркомпроса; № 3—4 за 1931 г.) почти одновременно со статьей в «Проблемах марксизма». Здесь были те же трескучие «революционные» фразы об «ожесточенной борьбе между трудом и капиталом» [76, с. 251], о том, что «революционный Восток требует революционных востоковедов» [76, с. 254], те же упреки в неактуальности, приверженности старине, архаичности методов и т. д. и т. п. И тот же тон политического доноса: «Эмиграцию в старину в сочетании с упорным пренебрежением к марксистской методологии следует квалифицировать как глубоко политический акт, как отвлечение горячо поддерживаемых и оберегаемых пролетарской диктатурой научных сил от служения делу пролетариата и — тем самым — делу всего человечества. Отсюда ясно, что акторы и редакторы "Записок" продолжают вплоть до сегодняшнего дня работать на старого заказчика, политическое и экономическое господство которого было навсегда уничтожено в 1917 году» [76, с. 254].

Пусть простят мне читатели столь обширные цитаты из столь неприглядных опусов. Читать их противно — но ведь без них не понять, в какой обстановке приходилось работать нашим учителям. Честь и хвала им, что вышли они из нее несломленными.

Что еще поражает — это безответственное отношение институтского руководства к подобного рода инсинуациям, оскорбляющим достоинство ученого: словно их и не было. Так, в письме И. Ю. Крачковского В. М. Алексееву от 13 сентября 1932 года читаем: «В Музее поймал меня по поручению С. Ф. [Ольденбурга] Казакевич на предмет содействия в устройстве выставки достижений советского востоковедения за 15 лет. Я изложил, что в связи с арабистикой мне принимать какое-либо участие трудно после выставки, устроенной когда-то в большом Конференц-зале, и статей с итогами "академической арабистики", помещенных в органе Академии Наук. Разговор был неприятный, собеседник усиленно желал,

272

чтобы я переговорил с С. Ф., но я от сего уклонился» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 5 об.—6].

Более того, Крачковскому предлагают дать заключение о возможности зачисления в аспирантуру ИВАН (по истории арабских стран)... того же С. С. Майзеля. В ответ на это издевательское — иначе не назовешь! — «отношение от 20 окт. за № 65», Крачковский

дать заключение отказывается, отговариваясь тем, что он не историк, и тут же добавляет решительно и откровенно: «Вместе с тем на случай возможного причисления т. Майзеля к Арабскому кабинету ИВ сообщаю, что никакая совместная работа и занятия с т. Майзелем для меня невозможны по соображениям, которые были мной изложены 1 октября секретарю Института т. Шитову и директору академику Ольденбургу и которые достаточно известны т. Майзелю» [А, оп. 2, № 158, л. 221.

Или такой пассаж: только что объявлено печатно, что Крачковский — реакционный ученый, а его вдруг приглашает Институт Красной профессуры прочесть цикл лекций по истории арабов. Но ведь этот институт — детище новоиспеченного академика-марксиста Н. И. Бухарина, то есть человека из той же компании, что Ларин и Луначарский и их последователи в востоковедной среде. Могло показаться, что это — провокация, но скорее — беспринципность и недомыслие, когда правая рука не знает, что делает левая.

«Проработке» в той или иной степени подверглись и другие «реакционеры» из бывшей Коллегии востоковедов. Крачковскому — с моральной точки зрения — еще было легче это перенести, потому что никто из его непосредственных учеников и ленинградских коллег-арабистов против него не выступил, а каково было, например, В. М. Алексееву, когда среди подписавших статью с грубыми выпадами против него («За или против латинизации?» [75, 1932, № 3]), оказался один из его ближайших учеников Б. Васильев, не говоря уже о А. Драгунове, А. Полякове, А. Шпринцине и других, которые в свое время тоже учились у него, а потом работали вместе с ним²⁵. Замечу кстати, что приглашение в Институт Красной профессуры получили, помимо Крачковского, и другие «реакционеры» — Алексеев, Бертельс, Щербат-ской. Ну что тут скажешь?

В такой нерадостной обстановке кончал свои дни великий русский востоковед В. В. Бартольд, глава и инициатор создания Коллегии востоковедов. 30 августа 1930 года Крачковский писал о нем Филоненко: «Жилось ему неважно со всякой травлей и шпильками, которые щедро отпускались в последнее время по его адресу как здесь, так и в благодарном ему Туркестане» [А, оп. 3, № 37, л. 147 об.]. А после смерти... «У нас все занимаются дискуссиями по поводу Бартольда с его поношением», — с горечью пишет Крачковский Филоненко [31 дек. 1931 г.; А, оп. 3, № 37, л. 164 об.], не без иронии замечая в другом письме, что

273

А. Ю. Якубовский, один из последних учеников Бартольда, после его смерти «стал марксистом» [9 апр. 1931 г.; там же, л. 153].

Прошло памятное заседание, материалы которого так и не были напечатаны, «несмотря на двукратный скандал», который Крачковский, по его словам, делал в Академии [20 нояб. 1931 г.; там же, л. 161 об.], а через некоторое время статья Крачковского для юбилейного бартольдовского сборника, врученная лично Непременному секретарю, оказалась утраченной [л. 168].

Что же касается библиографии трудов В. В. Бартольда, составленной другим его учеником И. И. Умняковым, преподавателем Туркестанского (Ташкентского) университета, то она, к концу 1935

года им завершенная и сданная в Институт востоковедения, увидела свет с сорокалетним опозданием, когда имя составителя пришлось уже поместить в черную рамку. Переписка И. Ю. Крачковского с И. И. Умняковым по поводу этого труда могла бы стать основой для детективной драмы, где есть и таинственная пропажа рукописи, и внезапная ее находка, и требование автора вернуть рукопись, и непонятное, затягивание ответа, и неоднократные скандалы, устраиваемые Крачковским руководством института по поводу задержки, и отрицательные отзывы рецензентов, текст которых старательно утаивался от автора и от Крачковского, взявшего на себя редактуру библиографии, и разоблачение им на ученом совете института «шулерского» отзыва, все-таки попавшего в его руки [5 янв. 1940 г.; А, оп. 3, № 36, л. 38], и, наконец, начало набора книги, и перерыв, вызванный войной и блокадой, и новая борьба за ее издание... В 1946 году Умняков писал Крачковскому, что если его работа все же «когда-нибудь в муках появится на свет, этим я буду обязан исключительно Вам, «Вашей энергии и настойчивости» [22 июля 1946 г.; А, оп. 3, № 906, л. 194]. Оба не дожили до счастливого финала...

Залег в издательстве ИВАН без движения и сборник памяти В. Р. Розена, подготовленный Крачковским в связи с тридцатилетием со дня смерти учителя, а также вновь предложенный к изданию розеновский перевод «Варлаама и Иоасафа». Отказалась «Academia» от «Абиссинских хроник», переведенных еще одним из его учителей, Б. А. Тураевым (Крачковский полагал, что в связи с итало-абиссинской войной они могут вызвать интерес), но их все же удалось издать в «Трудах ИВАН». Отдавать долг памяти «немарксистам» становилось все труднее.

Об учениках и связанных с ними бедах, о борьбе за них и за публикацию их работ мне уже приходилось говорить. Но этого мало: вместо подлинных учеников ему порой навязывались мнимые (как это видно и из примера с Майзелем), причем нередко это были люди для науки бесполезные, зато с безупречной анкетой. «Молодежь выдвигают и у нас, — писал Крачковский Умнякову 3 января 1939 г., — но делается это все достаточно кустарно... Кое-кто даже "подает надежды", но беда в том, что они быстро по

274

случают высокие посты и тогда им уже некогда заниматься наукой» [А, оп. 3, № 36, л. 25]. Ну а некоторые даже и надежд не подавали.

Так, например, в архиве ЛВИ [5, ф. 7222, оп. 17, л. 49] сохранились протоколы арабской кафедры, связанные с аспиранткой лингвистического отделения «выдвиженкой» К. М. Кац. 4 декабря 1935 года учебная часть института предлагает кафедре использовать ее на ассистентской работе по арабскому языку, на что кафедра с недоумением отвечает, что еще весной заявила о недостаточной языковой подготовке аспирантки. Тогда администрация рекомендует перевести ее на историческое отделение, и кафедра утверждает этот перевод протоколом от 11.12.1935, рекомендуя выдвиженке заниматься не историей халифата, как она хочет, а новой историей (по недостаточности

языковой подготовки). Но 16 марта 1936 года ректор института предлагает вновь перевести ее на лингвистическое отделение — и так далее...

Одного из аспирантов Арабского кабинета ИВАН Крачковский в частном письме характеризует так: «Субъект он добродушный и безобидный, но настоящая наука все-таки к нему не пристает» [письмо к Ю. Н. Марру от 24 июля 1935 г.; А, оп. 3, № 29, л. 16 об.].

Но даже и этого было мало: с настоящими верными учениками его пытались поспорить. Я. С. Виленчик пишет Крачковскому 18 апреля 1936 года: «В декабре, когда производилась концентрированная атака с целью оторвать меня от Вас (говорить об этом еще не настало время), я предполагал, что будут предприняты также шаги к тому, чтобы Вас оттолкнуть от меня». Далее он рассказывает, как их с В. И. Беляевым облыжно обвинили в том, что будто бы они требуют от института денег за составление библиографии трудов И. Ю., и как обвинивший их в этом перед директором (кстати, тот самый «добродушный и безобидный субъект»), когда дело разъяснилось, просил считать все недоразумением и никому об этом не говорить, однако Игнатию Юлиановичу обо всем было доложено, и неизвестно, в каком освещении. «Хотя сейчас все эти "недоразумения" потеряли свою остроту и вытащить их сейчас на свет нет смысла, — продолжает Виленчик, — я все же решился написать Вам о ходе событий, ибо опыт учит, что при случае не откажутся снова прибегнуть к подобным вещам» [А, оп. 3, № 229, л. 56].

О кампании против Крачковского пишет и Оде-Васильева: «Поверьте, Игнатий Юлианович, что меня не раз хотели привлечь к интригам против Вас, не раз мне предлагали поступить в арабский кабинет, начиная Волгиным, кончая Самойловичем. Я категорически отказывалась и всегда старалась делать все возможное, чтобы оградить Вас от неприятностей, когда это было в моих силах» [4 янв. 1940 г.; А, оп. 3, № 684, л. 91 об.] 26.

275

Были попытки дискредитации его научных оценок — так, например, два сотрудника ИВАН, представленные им к кандидатской степени без защиты, в квалификационной комиссии были признаны недостойными, причем комиссия не сочла нужным даже пригласить Крачковского на заседание (как это обычно делалось) с тем, чтобы он мог устно подкрепить свое, представление и дать необходимые дополнительные разъяснения своей позиции. Он расценил это как оскорбление и отреагировал в своей обычной манере — лаконично, четко и с достоинством. Кратко изложив в докладной записке суть дела, он писал далее: «У меня нет даже уверенности, был ли прочитан мой отзыв полностью (равно как и поданный мною отзыв акад. П. К. Коковцова). В этом я вынужден видеть повторяющееся уже не первый раз стремление к своеобразной дисквалификации моей компетенции в области моей специальности и могу к сожалению реагировать только одним — отказом впредь от представления каких бы то ни было отзывов в квалификационную Комиссию Академии Наук СССР, для которой мои отзывы недостаточно авторитетны» [А, оп. 1, № 416, л. 7] 27.

Травля велась даже через стенную газету, о чем свидетельствует сохранившийся в архиве черновик официального письма Крачковского директору института: «Ввиду упоминания стенной газетой ряда работ, не выполненных по Институту, считаю нужным довести до Вашего сведения следующее. Из указанных тем три разрабатывались мною: редактura перевода истории Абу Ханифы, редактura текстов по йеменскому диалекту, редактura списка арабских рукописей по точным наукам. Последняя тема должна быть снята, так как Институт не сумел своевременно обеспечить ее указанным работником. Первые продолжают мною выполняться. Если работа идет не так быстро, как было бы самому мне желательно, то это объясняется тем, что в то же время мною были исполнены десятки срочных и внеплановых новых работ по поручению в большинстве случаев Института. Это хорошо известно и администрации, и газете. Так как эта сторона моей деятельности считается, как видно, не заслуживающей внимания, то я вынужден заявить следующее:

1. Впредь я отказываюсь от выполнения каких бы то ни было внеплановых или экстренных работ по Институту.

2. Указанные выше работы будут впредь выполняться мной в той последовательности и теми темпами, которые я сочту нужным в связи со всем комплексом моей деятельности, но без внесения в План Института.

3. В случае повторения подобного стиля заметок, уже не в первый раз говорящих о непонимании и неуважении моей проходящей на глазах у всех деятельности, я откажусь от какой бы то ни было связанной с Институтom работы» [3 сент. 1935 г.; А, оп. 2, № 172, л. 42].

306

Пункт 3-й записки свидетельствует о том, что это не случайная бестактность редакции стенгазеты, а продуманная кампания, которая тем не менее не могла заставить Крачковского смириться с унижениями.

Полон достоинства и его протест, направленный 6 августа 1936 года академику-марксисту А. М. Деборину, ответственному редактору тома «Известий АН», в котором была напечатана статья (некролог) И. Ю. Крачковского о Ф. А. Розенберге. Произошел беспрецедентный для цивилизованного научного издания случай: без согласования с автором был изменен текст одной из глав статьи, причем «изменения коснулись не только изложения, придав ему совершенно несвойственный для меня стиль и на мой взгляд неуклюжесть, но и сообщенных фактов, удалив два упоминания, приведенных мною на основе архивных документов АН с буквальной точностью. Так как эти документы многим известны, всем доступны и могут быть легко проверены, то внесенные изменения вынуждают читателя заподозрить меня в искажении исторической действительности» [А, оп. 2, № 172, л. 122 об.].

«Я полагаю, — заключает свое письмо Крачковский, — что изменения должны быть, если не согласованы, то доведены предварительно до сведения автора с пометкой в печати, в случае его несогласия, что работа опубликована с редакционными изменениями. Ничто в данном случае не было сделано, и это

обстоятельство заставляет меня выразить протест против нарушения элементарных авторских прав и приписывания автору не принадлежащего ему изложения» [там же] 28.

А здесь что? Один из ходов «антиакадемической» кампании или элементарная бестактность партийного редактора, которому не понравился то ли печальный тон концовки, то ли упоминание о затянувшихся хлопотах о пенсии, а скорее всего — горькая ирония в адрес Академии. Приводя постановление президиума АН: «Отчислен от должности старшего ученого хранителя в виду перехода на пенсию», Крачковский комментирует его так: «Лаконичной выпиской из протокола простилась Академия с одним из своих старейших служащих, которого еще в 1925 г. почтила избранием в члены-корреспонденты».

Новая массированная атака на востоковедов началась в 1937—1938 годах. Я уже упоминала об арестах в арабистической среде; еще больше они затронули специалистов по Дальнему Востоку, которые чуть ли не все подряд (Н. А. Невский, Е. Д. Поливанов, Б. А. Васильев, Ю. К. Щуцкий, А. Г. Шпринцин и многие, многие другие) оказались «японскими и китайскими шпионами». Был арестован и погиб в заключении тогдашний директор Института востоковедения А. Н. Самойлович.

Против тех, кто остался на свободе, поднималась кампания в печати. Так, например, в «Правде» от 31 мая 1938 года была опубликована статья Х. Муратова и М. Бурова «Лжеученый в зва

307

ним академика», направленная против В. М. Алексеева; она появилась сразу же после ареста его ближайших учеников. Статья эта обсуждалась на заседании китайской кафедры ЛВИ, на которой, уникто не пожелал (или не посмел?) вступить за учителя [5, ф. 7222, оп. 19, № 38]. В Институте востоковедения АН на обсуждении статьи основной «обличительный» доклад делал ученик В. М. Алексеева Н. И. Конрад. Как рассказывают, после заседания он явился к учителю на квартиру, хотел объясниться, но жена Алексеева закрыла перед ним дверь. Ему было навсегда отказано от дома.

Не избежал гонений и Крачковский. В 1937 году в № 7 журнала «Под знаменем марксизма» появилась рецензия Л. И. Климовича на «Труды первой сессии ассоциации арабистов». Она была написана в том же беспардонно-разухабистом тоне, что и статьи начала 30-х годов, критикующие Коллегию востоковедов, и так же отдавала политическим доносом. Повод был прекрасный — ведь Крачковский позволил себе в докладе на сессии критиковать советскую арабистику, указать на ее отставание в некоторых областях.

Приемы, которыми пользовался автор, стары и хорошо известны: цитаты, вырванные из контекста и превратно истолкованные, многочисленные передержки, натяжки, голословные лживые утверждения. Так, по мнению Климовича, доклады на сессии пестрели методологическими ошибками, а сам Крачковский в программном докладе «не сумел сохранить достоинство советского ученого и достойно выступить от лица советской науки. Этот установочный доклад нельзя иначе назвать как документом

раболепия перед буржуазной наукой... Академик Крачковский не проводит грани между буржуазным, даже фашистским востоковедением¹ и советским востоковедением. По мнению академика Крачковского нет классовой борьбы в науке» [73, с. 181].

В качестве доказательства приводится урезанная цитата из доклада И. Ю. на I сессии арабистов: «Грани стерты... работа ширится и кипит». В действительности же эта фраза завершает обзор достижений арабских ученых в изучении своей отечественной культуры и в полном виде звучит так: «Грани стерты, Запад и Восток слились в науке, нет арабов и европейцев; над историей литературы и там и здесь работают арабисты, работа ширится и кипит» [46, с. 20].

У Крачковского-де вызывает тревогу состояние советской арабистики. Да, соглашается Климович, советское востоковедение имеет еще много недостатков, «оно не отвечает тем требованиям, которые к нему предъявляют партия и правительство, поставившие советскую науку и советских ученых в такие благоприятные условия, которые недостижимы для буржуазных стран» [73, с. 183]. Но увы, Крачковский закоснел в своей раболепии перед Западом: «Для академика Крачковского как будто не существуют капитали-

278

стические страны, где властвует кровавый фашизм с его расовым изуверством, страны, где тысячи людей, получив специальное образование, вынуждены пополнять кадры безработных или исполнять черную полукаторжную работу» [там же].

Кто же, по мнению Климовича, повинен в недостатках советской арабистики? Да, оказывается... сам Крачковский и виноват! Виноват тем, что в своей научной деятельности ориентируется в первую очередь на буржуазный Запад. Вот он сотрудничает в «Энциклопедии ислама», авторы которой будто бы позволяют себе «антисоветские выпады»; он с похвалой отзывается об итальянском журнале <Oriente moderno» — а речь идет всего лишь о фразе из того же доклада на I сессии арабистов: «Изредка в нем появляются материалы и по новой арабской литературе, но он дает возможность следить и за фоном, на котором эта литература растет» [46, с. 19—20]. Крачковский-де опубликовал арабские тексты Ибн аль-Мутацца не у нас, а за границей, да и вообще печатает свои работы по-русски лишь после того, как они опубликованы в органах буржуазного востоковедения (речь опять-таки о пресловутой «Энциклопедии ислама», где была напечатана статья Крачковского «Новоарабская литература», через год опубликованная в расширенном виде в «Записках ИВ»).

В качестве «представителя советской общественности» Климович грозно требует у Крачковского ответа, как он относится к тому, что немецкий (читай — фашистский!) арабист Г. Видмер (на самом деле он швейцарец), посвятил ему свою книгу?! Почему он не протестует?! Мало того, что Крачковский преклоняется перед буржуазной наукой, — он в докладе на сессии ни разу не упомянул работ классиков марксизма!

А «под занавес» идут мелкие придирки к подготовленному учениками списку работ Крачковского — «образцу ученого подхалимства».

Да, все это писал тот самый Л. И. Климович, который совсем недавно и не один раз в письмах обращался к И. Ю. Крачковскому за советом, интересовался его мнением о своих работах и неизменно подписывал свои письма словами «Глубоко уважающий Вас Климович». Тот самый, который всего четыре года назад писал ему (вместе с Е. А. Беляевым) о своем плане большого труда по истории мусульманской культуры: «Без Вашего руководства ни мы, ни тов. Болотников не представляем возможным успешное выполнение этой работы» [А, оп. 3, № 439, л. 12]. Тот самый, который всего за год до этой статьи признавался: «Мне очень давно хочется поговорить с Вами подробно о направлении моих новых работ» — и заканчивал письмо так: «Не теряю надежды побывать вскоре у Вас» [22 июня 1936 г.; там же, лл. 22 об., 25].

Была ли эта статья инспирирована кем-то сверху или просто захотелось выдвинуться, поднявшись на волне общего обличительного ажиотажа, — кто теперь ответит на этот вопрос? Так или

279

иначе, нравственный облик этого человека навеки запечатлен в его печатном слове.

Как же отреагировал на эту статью И. Ю. Крачковский? По свидетельству Т. А. Шумовского [55, с. 54], 11 сентября 1937 года на заседании Ассоциации арабистов Крачковский огласил текст своего письма в президиум АН по поводу этой клеветы 29. Письмо его вместе с «Замечаниями к статье Л. Климовича», датированными 25 сентября 1937 г., было отослано в президиум, очевидно, в конце сентября. Текст «Замечаний» сохранился в архиве Крачковского. Они выдержаны в тоне весьма решительном и свидетельствуют о полной убежденности Крачковского в собственной правоте. Да, обвинения ему предъявлены тяжкие, но «в статье Климовича они выглядят чужим штампом и, как всякий штамп, требуют проверки правильности своего приложения на конкретном материале» [А, оп. 1, № 377, л. 36]. И далее Крачковский, пункт за пунктом, разбирает статью Климовича, легко опровергая «заведомо лживые» (как он прямо говорит) утверждения своего оппонента — разоблачает голословность обвинений, искажение цитат и т. п.

Страха перед Климовичем или, вернее, перед возможными последствиями этой полемики у него нет, каяться он не думает. Крачковский заявляет, что участие свое в «Энциклопедии ислама» по-прежнему не считает ошибкой, ибо русские арабисты всегда писали для нее и отсутствие их статей в новом издании могло бы дать повод «к неправильному толкованию состояния науки у нас» [там же, л. 38]. Обращенный ему упрек в отсутствии ссылок на классиков марксизма он также считает несостоятельным: ведь у них нет никаких высказываний по поводу арабской литературы и эпиграфики. «Привлекать же высказывания из других сопредельных областей или по общим вопросам с декларативной целью, как иногда делает Л. Климович для затушевания бедности своих работ

конкретным содержанием, я не видел необходимости» [там же, л. 42].

Не выдерживает критики и многозначительный намек Климовича на то, что у нас можно было бы изыскать возможность напечатать большой и сложный арабский текст (Ибн аль-Мутацца), более того, это утверждение, по мнению Крачковского, попросту вредно: «Голословная фраза Л. Климовича представляет неудачную попытку затушевать настоящее положение вещей: такие факты, как история с арабско-русским словарем проф. Баранова, важным и нужным пособием, который, будучи проредактирован еще в 1932 году, до сих пор не может увидеть света, говорят о другом» [там же, л. 41]. Что же касается библиографии его работ — да, действительно, в ней можно найти и недостатки, и пропуски, сам он, вероятно, сделал бы ее не совсем так, но работе учеников своих он отдает должное: «При всем том я могу утверждать, что и в настоящем виде он (список. — А. Д.) является очень полезным библиографическим пособием; всякий, занимающийся историей на

280

шей науки, оценит легко, сколько кропотливого труда и больших разысканий в него вложено» [л. 44].

В заключение Крачковский прямо заявляет, что считает статью Л. Климовича «вредной и сознательно вводящей в заблуждение читателя путем недобросовестных приемов» [л. 46].

Последний абзац «Замечаний» хочется привести полностью: в нем весь Крачковский с его приверженностью к истине и презрением ко лжи, с его бесстрашием и гордым достоинством: «Статья Л. Климовича не убедила меня в том, что упомянутые им мои работы и их список являются документом раболепия перед буржуазной наукой и ученого подхалимства. Я по-прежнему убежден, что мои работы стараются представить в верном свете состояние науки на Западе, в арабских странах и у нас с тем, чтобы, обнаруживая наши недостатки, не замалчивать их, а преодолеть и поднять нашу научную работу на высшую ступень. Достоинство нашей науки всегда стоит у меня перед глазами во всей моей деятельности, и я думаю, что в некоторых случаях мне удавалось его поддержать на должной высоте как у нас, так и за рубежом» [л. 46].

Как же отреагировало академическое начальство на письмо и «Замечания» Крачковского? А никак. 7 октября секретариат письменно уведомил его, что письмо и «Замечания» получены и «будут доведены до сведения всех членов Президиума» [А, оп. 2, № 151, л. 21]. И все. А дирекция института повела себя совсем странно и оскорбительно. Процитирую еще один документ — докладную записку И. Ю. Крачковского директору ИВАН от 18.11.1938 г.:

«Нередко случается, что мероприятия Института, имеющие непосредственное отношение ко мне, до моего сведения не доводятся, хотя бы в виде простой выписки из протокола или копии постановления. Вернувшись из санатория, я только случайно увидел, что в плане. Исторического сектора в ряде отделений Среднего Востока я значусь руководителем. Между тем я неоднократно заявлял, что, не считая себя историком, не могу быть руководителем крупных исторических работ; упоминание же меня в роли

руководителя той группы, где между прочим систематически фигурирует Л. Климович, носит характер издевательства. Не желая реагировать на это очередное издевательство Института так, как оно заслуживало бы, я ограничусь только повторением, что руководителем приписываемых мне отделов я быть не могу и категорически настаиваю, чтобы ни в каких официальных документах моя фамилия в этой роли не фигурировала» [А, оп. 2, № 172, л. 127].

Непредубежденному взгляду правота Крачковского во всей этой истории должна быть ясна; подлинным победителем из нее вышел он, а не его противники. Но скольких сил это ему стоило!

Через одиннадцать лет, подводя жизненные итоги, он напишет в своем эссе «Испытание временем»: «Я очень страдал, когда меня вовлекали в борьбу и ставили перед необходимостью ответа не

281

добросовестные люди, которым для своих целей надо было меня дискредитировать, а то и совсем убрать с дороги. Выступая против них, доведенный до последней крайности, я всегда чувствовал себя, как честный игрок, вынужденный сесть за карточный стол с заведомым шулером, который, конечно, его обыграет [А, оп. 2, № 62, л. 117].

И вот что интересно: в этом же эссе он будет по-прежнему, что никогда не был борцом по натуре, что перед такого рода критикой всегда чувствовал себя беспомощным и что «последнее слово часто оставалось за этими мастерами шулерского жонглирования» [там же, л. 118]. Ему казалось, что эти люди «подтасовкой и софизмами» могли ввести в заблуждение порядочных, но недостаточно осведомленных людей, и это было для него особенно мучительно.

Но — и это тоже его собственные слова — его ни! когда не покидали и не обманывали его самосознание и голос совести [там же, л. 117]; они требовали — и он, не борец по натуре, вступал в борьбу за истину и справедливость. Именно они и приносили ему всегда моральную победу, даже когда внешне могло показаться, что он терпит поражение. И (это говорю уже по собственному, более позднему опыту) люди, мнением которых он был озабочен, старшие и младшие, всегда верили ему, а не «мастерам шулерского жонглирования», сколь бы искусными они ни были.



ГЛАВА XII

Тогда мы познали «меру вещей» ПТИЦЫ СМЕРТИ В ЗЕНИТЕ СТОЯТ...

22 июня 1941 года. Жестокий рубеж в жизни нашего народа, день, чреватый страшными трагедиями, перечеркнувший многие судьбы. Ленинградские востоковеды разделили трудную участь многих и многих: фронт, блокада, эвакуация в тяжелейших условиях, аресты наиболее «подозрительных» или попросту неосторожных. За годы войны Институт востоковедения потерял почти треть своего состава. Но в то же время — пусть читатель не сочтет это кощунством, такова диалектика жизни — это был момент сплочения в

едином патриотическом порыве «марксистов» и «немарксистов», проверка сил — кто на что способен, и работа над своими научными темами вопреки всему; труд спасающий, дающий возможность противостоять разрушительной стихии — как двадцать лет назад...

О войне и блокаде написано немало, о жизни и деятельности в это время ленинградских ученых, в том числе востоковедов, — тоже. И не желая повторять предшественников, я буду в этой главе касаться общей обстановки лишь постольку, поскольку это будет нужно в ходе повествования об И. Ю. Крачковском¹.

В Институте все шло как у всех: сотрудники ездили на оборонные работы (Кингисепп—Луга—Озеро Ильмень), организовали группу военно-специальной подготовки под командованием В. И. Беляева, ветерана финской войны, — обучались защите от химического оружия, тушению зажигательных бомб, санитарной службе. В конце августа был создан отряд самообороны (более пятидесяти человек), бойцы которого занимались строевой подготовкой, изучением материальной части стрелкового оружия, метанию гранат. Молодые сотрудники уходили добровольцами на фронт; среди них был и «трудный» аспирант Крачковского А. Барабанов.

Своим порядком шла обычная работа — плановые темы, заседания с научными докладами, защиты кандидатских и докторских диссертаций. Война прибавила и новые задания: составление — по

282

заказу Главного политического управления армии — справок о сопредельных странах Востока, словарей-разговорников, антифашистских брошюр.

С 1 сентября, как и в мирные дни, возобновились занятия в Университете, но студенты время от времени целыми группами или даже целыми курсами отправлялись на оборонные работы в окрестности Ленинграда; через какой-то срок возвращались, и их сменяли другие группы. Некоторые помимо обычных занятий посещали ускоренные курсы медсестер или военных переводчиков и по окончании отправлялись кто на работу в госпиталь, кто на фронт. Очень многие уходили добровольцами.

Еще летом 1941 года президиум АН вынес решение об эвакуации ряда академических учреждений, в том числе Института востоковедения. Началась упаковка книг и эвакуация рукописей с пятого этажа Библиотеки АН, где размещался Институт востоковедения, в цокольный этаж: рукописи (а их было более 70 тысяч) из хранилища подвозились на тележках к лестнице, где цепочкой стояли сотрудники, передававшие рукописи из рук в руки, до самого низа; оттуда их относили в один из магазинов цокольного этажа. Там же, в цокольном этаже, пережили блокаду и ящики с книгами, подготовленными к эвакуации, которая задержалась по непонятным причинам, а в сентябре уже было поздно — кольцо блокады замкнулось.

Кое-кто из работников института, главным образом больные и женщины с детьми, смог уехать еще летом. В ноябре большая группа сотрудников, преимущественно заслуженные ученые почтенного возраста, была вывезена из блокадного Ленинграда на самолетах; в

их числе были академики-востоковеды В. М. Алексеев, А. П. Баранников, В. В. Струве, проф. А. А. Фрейман и некоторые другие.

И. Ю. Крачковского среди них не было. Он от эвакуации отказался. Вот как рассказывает об этом В. А. Крачковская: «3 октября 1941 г. И. Ю. Крачковского вызвали в Смольный. Я не помню фамилии того лица, с которым наедине говорил И. Ю.; ему было предложено назвать один из ближайших трех дней, когда он желает вылететь из Ленинграда вместе с женой... И. Ю. ответил, что он не собирается эвакуироваться. "Но ведь, оставаясь, вы же рискуете!" — сказал ему собеседник. И. Ю. на это ответил: "Здесь остаются мои сотрудники и ученики, они тоже рискуют. Если я уеду, какими глазами я на них впоследствии смотреть буду?" — "Ну, тогда оставайтесь!"» [А, оп. 7, № 35, л. 6].

Помимо долга перед учениками и коллегами он ощущал и долг свой перед наукой. Он должен был завершить широко задуманную историю арабской географической литературы, начатую незадолго до войны 2. Слишком много дел отвлекало его тогда от работы над ней, он успел дойти только до XII века. Откладывать этот, по его собственным словам, один из главных трудов всей его науч

283

ной жизни [докладная записка вице-президенту АН В. П. Волгину; 74, 1975, № 4, с. 34] Крачковскому представлялось невозможным: ведь ему уже пятьдесят восемь (то есть он как раз достиг того возраста, когда умер В. Р. Розен), надо успеть довести дело до конца — согласно задуманному плану, до XX века. А без ленинградских библиотек и рукописных хранилищ в этой работе не обойтись, что было совершенно ясно.

И еще одно соображение, чисто личное: предложение об эвакуации касалось только его и Веры Александровны, но ведь на его попечении были и старшая сестра с мужем, жившие с ними одной семьей с 1929 года, а перед самой войной к ним переселилась после смерти мужа и старшая сестра Веры Александровны Екатерина Александровна («начальство»), та самая, которая мрачно пророчила в свое время, что Игнатий Юлианович года через два бросит жену на произвол судьбы. О том, чтобы уехать, покинув в Ленинграде троих стариков, не могло быть и речи.

И он остался.

Как всегда бывало в трудных ситуациях, на него одна за другой ложились ответственные обязанности. Уже в августе 1941 года, с отъездом президента ВГО акад. Л. С. Берга и ученого секретаря С. В. Калесника, а затем и большинства членов совета ВГО, И. Ю. Крачковский как вице-президент возглавил всю организационно-научную работу общества, значение которой с самого начала войны возросло особенно. Как писал Крачковский в докладной записке В. П. Волгину, «закрытие или эвакуация из Ленинграда библиотек гидрографической, гидрологической, главной морской в Адмиралтействе заставило представителей флота обращаться исключительно к нам, усилило приток всяких запросов, справок и специальных заданий» [74, с. 32; об этом см. также 38, с. 87—88; 20, 157—158].

Осенью 1941 года Крачковский вошел в состав комиссии президиума АН СССР по делам ленинградских научных учреждений, а с середины декабря, с болезнью и смертью председателя комиссии академика С. А. Жебелева, возглавил ее. Комиссия эта служила «единым связующим звеном между всеми академическими учреждениями» [74, с. 33—34] и старалась «сохранить в целости богатые фонды академических учреждений и спасти наличные кадры работников» [18, с. 73].

Комиссия заседала регулярно не менее трех раз в неделю и была в курсе всех неотложных академических задач — как по организации научной работы и ее материального обеспечения, так и нужд отдельных сотрудников. Крачковскому в качестве председателя приходилось, например, решать вопросы доставки дров на квартиру академика П. К. Коковцова [А, оп. 3, № 455, лл. 29, 32, 33] или устройства в интернат девочки, оставшейся без родителей [А, оп. 7, № 35, л. 17], помогать семьям умерших востоковедов³.

284

К нему обращались за помощью и посторонние — так, в его архиве сохранилось письмо эстрадной актрисы и поэтессы И. А. Гриневской (8.1.1942), в котором она благодарит Крачковского за участие — обращение «собрания академиков» (то есть, очевидно, комиссии президиума) к Союзу писателей с просьбой помочь ей [А, оп. 3, № 300, л. 12]⁴.

6 февраля 1942 года, с отъездом ученого секретаря ИВАН Д. И. Тихонова, возглавлявшего институт после эвакуации В. В. Струве, И. Ю. Крачковский был утвержден директором института. «Чаша сия меня не минула, — писал он в этот день В. М. Алексееву, — и так как нынче все это очень трудно, то не знаю, надолго ли хватит еще нервов и просто элементарных физических сил» [1, ф. 820, оп. 3, № 466, л. 27 об.].

Всю зиму институт продолжал работу — не так интенсивно, как летом и в начале осени, но жизнь в нем не затухала, научные заседания устраивались достаточно регулярно. 24 ноября была даже проведена защита докторской диссертации тюркологом П. П. Ивановым «Архив хивинских ханов XIX века», на которой председательствовал и выступал одним из оппонентов И. Ю. Крачковский. По рассказу Д. И. Тихонова, во время заседания началась воздушная тревога, которая длилась 2 часа 40 минут, но заседание не прерывалось и спуститься в бомбоубежище никто не пожелал [38, с. 54—55].

С наступлением холодов и ухудшением работы транспорта некоторые сотрудники переселились в институт — так значительно сэкономились силы, а кроме того, котельная библиотеки все же обогревала часть здания и здесь можно было вскипятить чайник [там же, с. 51].

На заседаниях, как всегда, докладывались результаты текущей научной работы, причем сотрудники института занимались своими начатыми до войны темами, которые казались абсолютно неактуальными для текущего момента: «Материальная культура Малой Азии времен Сельджукидов» (В. А. Крачковская), «Арабский историк X века ас-Сули» (В. И. Беляев), «Месопотамия на рубеже V и

VI веков» (Н. В. Пигулевская), «Отголоски тематики Низами в феодальной английской литературе» (Е. Э. Бертельс) и т. д. и т. п. И. Ю. Крачковский за осень—зиму 1941/42 года, не считая выступления на диссертации, прочел девять докладов, большую часть которых составляли очередные главы из его «Географов».

Особенно запомнилось всем юбилейное заседание, посвященное пятистолетию Алишера Навои, состоявшееся в Институте востоковедения 29 декабря 1941 года в 10 часов утра в комнате, как вспоминает Тихонов, наименее опасной при артиллерийских обстрелах — было ясно, что опять никто из тридцати шести присутствующих не покинет заседания, если Начнется обстрел или воздушный налет. И. Ю. Крачковский открывал заседание и произносил

285

вступительное слово; с докладами выступали Е. Э. Бертельс, А. Н. Кононов, Б. Т. Руденко⁵.

Когда я разбирала документы тех лет в архиве И. Ю. Крачковского, меня особенно поразил отпечатанный на машинке «Пригласительный билет» на это заседание — вдвое сложенный листок с повесткой дня внутри и нехитрым узором из машинописных значков снаружи — символ праздничности события.

Мне кажется, что люди, не пережившие блокаду, никогда не поймут до конца физическое и духовное состояние тех, кто, слегка перефразируя известные стихи О. Берггольц, «жил в Ленинграде в декабре сорок первого года». Любые описания кажутся или ходульно-героическими, вызывая недоверие, или слащаво-душещипательными, или намеренно ужесточенными. Пожалуй, только «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, содержащая подлинные документы, да «Записки блокадного человека» Л. Я. Гинзбург могут дать настоящее представление о тех днях.

Если говорить о ленинградских ученых-гуманитариях, то тут как бы на новом витке повторилось то же, что было во «Всемирной литературе» и в Азиатском музее в 1918—1922 годах: любимое дело давало силы сохранить себя или умереть человеком. Позже, весной 1942 года, известный ученый-медик В. Г. Гаршин скажет о том, что его спасло: «У меня была только воля к работе. И эта воля заставила работать. Я видел то же и у других» [цит. по: 18, с. 94].

Только не надо думать, что здесь было самолюбование, сознание какого-то собственного геройства, нечто показное, — нет, просто привычная для ученого форма существования, сохранявшаяся в значительной степени как бы по инерции, тем более что экстремальные условия возникли не вдруг, а нагнетались постепенно — становились привычными воздушные тревоги и обстрелы, уменьшались хлебные и продуктовые нормы, прекращалось отопление, переставал ходить транспорт, нарушалась почтовая связь... Это были просто суровые, пусть порой даже страшные будни, но — именно будни. Очень характерно в этом отношении признание В. А. Крачковской: «Лекции и занятия в ИВАН продолжались. По правде сказать, очень жутко было слушать чей-либо доклад, зная, что в одном из кабинетов института доживает лежа последние часы один из сотрудников» [А, оп. 7, № 35, л. 17].

Жившие не в Ленинграде или покинувшие его в начале войны, хоть и читали в газетах о блокаде, все равно не представляли себе этой жизни. Так, 20 февраля 1942 года монголист Н. Н. Поппе пишет И. Ю. Крачковскому из Элисты, где он с лета находится в командировке, с просьбой вызвать его в Ленинградб. И. И. Умников, живущий в Ташкенте, недоумевают: «Что заставило Вас покинуть Ленинград и расстаться с Вашей библиотекой, в Ташкенте мне объяснить не могли» [13 сент. 1942 г.; А, оп. 3, № 906, л. 182]: Даже у В. М. Алексеева, уехавшего с семьей из Ленингра

286

да в достаточно уже суровое время, можно прочесть в письме от 26 декабря 1941 г. наивную фразу: «Надеюсь, что Вы живете в условиях, не похожих на ноябрьские» [43, с. 350]. И Крачковский отвечает ему на это 6 февраля 1942-го с грустным спокойствием: «Вы, конечно, правы, что мы живем в условиях, не похожих на ноябрьские, и многие за этот период оставили нашу жизнь» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 27] и перечисляет далее все потери, постигшие востоковедов за минувшие три месяца.

В конце января 1942 года, когда перестали действовать водопровод и отопление, пришлось прекратить работу в здании БАН. Вся жизнь института сосредоточилась в одной комнате в первом этаже главного здания Академии; там размещались и дирекция, и канцелярия, и бухгалтерия и даже, как свидетельствует В. А. Крачковская, жили сотрудники: «Институт Востоковедения... ютился в то время в одной комнате главного здания Академии наук в первом этаже, из-под лестницы влево, окном во двор. Тут была круглая печь, тепло, сосредотачивалась вся жизнь (порой гостила и смерть) Института: принимал И. Ю. Крачковский, действовали канцелярия и касса... стояли несколько кроватей» [А, оп. 7, № 35, л. 11].

Регулярные заседания возобновились только весной, когда стало больше тепла и света. Но все же ухитрялись собираться и зимой: два своих последних в Ленинграде доклада о географах Крачковский прочел 24 января (даже и в этих условиях отметив годовщину смерти Розена!) и 22 февраля.

Похожую картину являли собой в это время и университетские факультеты. Вот как описывает В. А. Крачковская занятия зимой 1941/42 года: «До 10 февраля лекции у нас продолжались регулярно по расписанию, но в совсем непривычной обстановке. Все преподаватели являлись (кто был еще в состоянии) в назначенный час в единственную аудиторию, где в нескольких местах стояли отдельные столики и по нескольку стульев. Появлялись и студенты, вокруг одного профессора жиденькими кучками. Все преподаватели начинали занятия вполголоса, чтобы не мешать соседям» [А, оп. 7, № 35, л. 21].

С середины февраля Университет начал готовиться к отъезду в Саратов. Вере Александровне дважды предлагали эвакуироваться с Университетом (об Игнатии Юлиановиче речь не шла, поскольку он занимал в Академии такие ответственные посты), но она, естественно, отказалась бросить мужа. Так на какое-то время Вера Александровна оказалась безработной, на иждивенческой карточке, но уже с 1 марта была зачислена в штат Института истории

материальной культуры и, несмотря на все бытовые трудности, которые в семье больше всего ложились на нее, все же ухитрялась вести научную работу.

1 апреля 1942 года начал действовать Объединенный ученый совет институтов отделений истории, языка и литературы (Инсти

287

тутов востоковедения, литературы, истории материальной культуры, языка и мышления, Ленинградского отделения Института истории) под председательством И. Ю. Крачковского. Как он писал на другой день в частном письме В. М. Алексееву, организовали совет «главным образом потому, что в Советах отдельных Институтов осталось слишком мало утвержденных Президиумом членов, и никакого кворума для защиты диссертаций не оказывается. При едином Совете из этого затруднения можно будет выйти» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 29]. Поначалу (в том же письме) Крачковский как будто несколько скептически оценивает роль этого нового органа («Разговоров было много, иногда маниловского характера, но несомненный интерес есть»), но уже через несколько месяцев, в упомянутой докладной записке Волгину, он скажет об этом совете как о «жизненном мероприятии»: совет «помог оживить научную работу, позволил провести защиту целого ряда диссертаций, возобновить чтение научных докладов не только на специальные, но и широкие принципиальные темы» [74, с. 34].

Первое заседание совета, на котором присутствовало немногим более двадцати человек (не только члены советов институтов, но и рядовые сотрудники), явилось для измученных блокадной зимой людей мощным моральным стимулом. Об этом свидетельствует рассказ одного из участников его, директора Архива АН Г. А. Князева: «Сотрудники, кто еще стоял на ногах и мог передвигаться, пришли все. Заседание должно было состояться в одной из комнат, выходящих окнами на двор большого академического дома, чтобы не подвергаться случайностям могущего начаться артобстрела. Была попытка протопить печь, но трубы так отсырели, что дым повалил обратно и заполнил все помещения. От топки пришлось отказаться и избрать другую, хотя и маленькую комнату, но где было меньше дыма, и которую скоро отогрели своим дыханием присутствующие.

Все были в пальто, шапках. Некоторые на ногах имели какие-то обвязки вместо сапог или валенок. На распухшие от цинги ноги не надевалась обувь. Лица были землистые. Но горели глаза. Еще бы! Какое событие! С каким вниманием и волнением все слушали спокойную и хорошо сказанную речь академика И. Ю. Крачковского, председателя собрания» [цит. по: 18, с. 96—97].

И. Ю. Крачковский в своей вступительной речи подвел итог деятельности ученых академических учреждений за месяцы блокады, а потом каждый говорил о нуждах и задачах своего учреждения: БАН, Архива, издательства; речь шла и об организации охраны научных ценностей, обсуждении докладов и монографий, чтении публичных лекций, даже о подготовке научной сессии в честь 25-й годовщины Октябрьской революции.

Сам Крачковский выдвинул идею: в связи с" отъездом из Ленинграда высших учебных заведений организовать «специальные занятия и семинары для оставшихся в некотором количестве сту

288

дентов старших курсов, аспирантов и вообще лиц, этим делом интересующихся» [письмо И. И. Умнякову от 8 апр. 1942 г.; А, оп. 3, № 36, л. 56 об.]. Но главное, как сказал он, заключая первое заседание Объединенного совета, — это научная работа, по части которой в некоторых областях ленинградские ученые находятся в наиболее выгодном положении. Парадокс? Вовсе нет: «Уехавшие из Ленинграда работники оказались оторванными от научной базы — книг, рукописей, научных коллекций. Мы же здесь располагаем научной базой для работы в разнообразных научных областях и многое можем сделать» — этими словами Крачковский закрыл заседание [18, с. 98].

Так — в который уж раз! — он, считавший, что не годится для командования и руководства людьми, оказывался в трудную минуту во главе научного коллектива, создавал ту самую «научную среду», без которой невозможно никакое движение вперед.

И сам он своим поведением, своим отношением к работе, к людям подавал остальным высокий пример, доказывая, что в любых условиях человек может, не роняя себя и помогая другим, честно выполнять свой долг.

Свидетельствуют же о том, насколько действенным был этот пример, лучше всего даже не официальные отчеты⁷, не печатные материалы, авторы которых очень любят цитировать несколько высокопарную фразу акад. В. 4Л. Алексеева о том, как И. Ю. Крачковский «без всяких самопослаблений... вел свои занятия в Институте востоковедения и в университете под бомбами захватчиков» [77, т. 4, с. 9—10], а частные письма тех, кто работал рядом с ним в блокадные дни.

От иранистки О. И. Смирновой из Ташкента (28.XI.1944): «Вспоминаю о том, как Вы и Вера Александровна, несмотря ни на какие трудности пути, приходили в определенное время в Институт. Одно Ваше присутствие, спокойный облик и ровный голос как-то удивительно успокаивающе действовали на меня... и на всех остальных измученных голодом и холодом людей» [А, оп. 2, № 49, л. 34].

От тюрколога А. С. Тверитиновой из Ташкента (20.IV.1943): «Особенно дороги нам воспоминания о Ваших "чтениях" об арабских географах, происходивших в турецком кабинете во время воздушных налетов, под аккомпанемент взрывов авиабомб и артиллерийских снарядов. Все мы, кто пережил с Вами это время, часто вспоминаем здесь о Вас и восхищаемся Вашей выдержкой, Вашей любовью к науке, к Институту. Для всех нас Вы были образцом спокойствия и замечательного патриотизма» [А, оп. 2, № 43, л. 11].

От индолога В. И. Кальянова (Ташкент, апрель 1943 г.): «Именно теперь я особенно вспоминаю Ваши вещие слова о том, что нигде, кроме Ленинграда, не найти нам соответствующих возможностей и условий для научной работы. Здесь я уже убедился в

288

правоте Ваших слов... Пусть же Вам будет скромной, но сердечной наградой от нас то теплое чувство преданности и благодарности к Вам, которые Вы глубоко заронили во всех нас» [А, оп. 2, № 43, л. 8 об.—9].

От В. Б. Ечеистойой (20.XI.1944 г., Ленинград): «Никогда не забуду, как в тяжелые дни ленинградской блокады я неизменно встречала Вас на набережной, когда Вы шли в Академию на работу. Сколько людей оказалось не на высоте, Вы же твердо исполняли свой долг, ни на минуту не отступая перед трудностями жизни. Этого забыть невозможно. И вот, когда невольно начинаешь падать духом, Ваш образ всегда дает новые силы и вселяет бодрость и веру в жизнь» [А, оп. 2, № 49, л. 4—4 об.].

Внимательный читатель, вероятно, понял, что все это взято из поздравительных писем к юбилейным датам. Но когда разные люди, не сговариваясь, пишут об одном и том же, рисуют один и тот же образ, запечатлевшийся в памяти, — это говорит о многом.

В. А. Крачковская вспоминает, что Игнатий Юлианович ходил на работу в Академию или в Университет ежедневно в определенные часы [А, оп. 7, № 35, л. 12 и ИГО, с. 157]⁸. Он сохранил свое прежнее бесстрашие, и гордость не позволяла ему прятаться от немецких снарядов⁹. На заседании, посвященном столетию со дня рождения И. Ю. Крачковского, его ученица семитолог К. Б. Старкова рассказывала о том, как 5 января 1942 года Крачковский шел под обстрелом спокойным и твердым шагом по набережной мимо Румянцевского сквера; человек, шедший за ним, лег и пополз по снегу к деревьям, а ей, глядя на учителя, было стыдно тоже лечь и ползти, и она так и шла за ним по набережной [43, с. 346]. Аналогичные зарисовки можно найти в воспоминаниях о блокаде Г. А. Князева: «Конец пути домой... под артиллерийским обстрелом. Сзади меня шел по набережной академик Крачковский с женой, спокойно, своим обычным шагом» [6, с. 349]. Или: «Во втором часу дня наш Васильевский остров подвергся жестокому обстрелу... воздух над Невой стал рваться, как шелк... Впереди меня прохожие уже лежали на снегу... Академик Крачковский стоял под подъездом Меншиковского дворца. Бледный, нервно-напряженный, молчаливый и гордый» [с. 498].

Это пренебрежение опасностью гармонировало с его внутренней силой, естественным для него отказом от себя ради других. Вернее, и то, и другое было естественным, без всякой рисовки или ханжества, проявлением его цельной натуры, другим он быть не умел. То, что кем-то замечалось и раньше, а кем-то не замечалось, теперь, в экстремальных условиях военного времени, проявилось с особой отчетливостью. И люди чувствовали полное отсутствие фальши в его действиях и в отношении к ним, поэтому все ему так верили, тянулись к нему, видели в нем эталон человеческого поведения и моральную опору. Вот из того же письма В. Б. Ечеистойой: «В наши трудные времена, когда минутами приходишь в пол

внимательное отношение к людям... снова вселяет веру в людей и в жизнь» [А, оп» 2, № 49, л. 4].

И не удивляют слова А. С. Тверитиновой, пишущей из Ташкента: «Нет дня, чтобы мы так или иначе не вспоминали Вас» [там же, л. 36 об.], и верится в искренность признаний Н. К. Дмитриева: «Я рад и счастлив, что в Вашем лице... сохранился человек, который силой своих внутренних качеств прошел тяжелые годы испытаний, пронес через них свое кристальное имя и заставил себя уважать не только в среде морально близкой, но и в среде совершенно иной... Как отрадно для людей заурядного масштаба видеть, что есть такие люди, которые не дают жизни распоряжаться ими, а сами распоряжаются ею» [24 мая 1944 г.; А, оп. 2, № 45, л. 32—32 об.].

Призывая сотрудников Академии на первом заседании Объединенного ученого совета «всемерно развивать научную работу» [18, с. 98], И. Ю. Крачковский имел на это полное моральное право: он сам работал крайне интенсивно всю зиму, написав за год, с июля 1941-го по июль 1942 года, четырнадцать глав монографии об арабских географах — то есть двадцать восемь листов! Продуктивность удивительная даже для нормальных жизненных условий. Но — снова парадокс? — оказывается, ленинградская обстановка тех времен даже способствовала интенсивности его научной работы: «...меньше стало заседаний и постепенно сокращались лекции» [из письма к Х. И. Кильберг от 15 дек. 1942 г.; А, оп. 3, № 22, л. 42 об.], а нужные ему библиотеки были расположены тут же, при тех учреждениях, где он бывал по долгу службы (БАН, Географическое общество, Университет).

Как вспоминает В. А. Крачковская, «дома Игнатий Юлианович обычно работал вечером. Окна затемнены, электричества нет. На столе крохотная керосиновая лампочка, а то и коптилка. Старинный дом при близких разрывах качался, как корабль в море, под полом прокатывалась волна от содрогания почвы, все трещало, стеллажи с книгами в кабинете наклонялись. Однажды во время налета Крачковский шел по коридору. Бомба упала посреди улицы, у угла 7-й линии. Дом вздрогнул, пол заходил под ногами. Игнатий Юлианович громко произнес: "Non bis in idem!" ("Не бывает дважды одно и то же!"), но тотчас грохот раздался вторично: другая бомба упала на набережной. Обе не взорвались, только была разбита линия водопровода, хлынула фонтаном вода» [20, с. 157—158].

Но не только «Географами» был занят Крачковский во время блокады. С июля 1941 года начался набор 3-го и 4-го выпусков словаря Х. К. Баранова, и, поскольку автор был далеко, Крачковскому в качестве редактора пришлось одному читать корректуры,

290

а шли они всю зиму до апреля. Стоит ли говорить о тяжести этой работы — ведь электричества не было, а шрифт такой мелкий!

Этот словарь — еще один памятник ленинградской блокадной эпопеи арабистов; в предисловии к нему, написанном в 1945 году, И. Ю. Крачковский говорит об этом и поминает трудившегося тогда над изданием технического редактора К. А. Гранстрема, погибшего в Ленинграде в 1942 г.¹⁰

У читателя может возникнуть вопрос, не жил ли Крачковский, единственный после смерти С. А. Жебелева и П. К. Коковцова академик-гуманитарий, остававшийся в Ленинграде, в каких-то особенно привилегированных условиях?

Конечно, у него «домашние тылы», если выражаться соответствующим времени военным языком, были прочнее, чем у многих. Объективно: он жил близко от основных мест работы, куда и в мирное-то время ходил пешком (даже до Географического общества в Демидовом переулке было не так далеко); квартира Крачковского была расположена в первом этаже — не надо было тратить силы на подъем по лестнице, да и спуск к Неве находился против дома, и не было необходимости, как в 1919 году, странствовать с ведром в поисках воды.

Очень существенно, что в доме всю зиму было тепло: в подвале хранился большой запас березовых дров — его хватало не только на железную кухонную «буржуйку», труба которой выходила в топку большой плиты, но и на печи во всех четырех комнатах. Иногда даже растапливали большую плиту и грели воду для мытья, которое производилось в деревянном корыте, и для стирки. «Мы были всегда чисто и аккуратно одеты», — вспоминает В. А. Крачковская [А, оп. 7, № 35, л. 14].

Но главное — был надежный человек, обеспечивавший этот прочный домашний уклад: Вера Александровна, которая, как и двадцать с лишним лет назад, стала для мужа ангелом-хранителем. Думаю, и запасом дров семья была обязана именно ей, по-прежнему хорошей хозяйке, и обеспечением чистоты. В обязанности Игнатия Юлиановича входило только принести дрова из подвала и воду с Невы.

С самого начала войны Вера Александровна начала готовить квартиру к возможным обстрелам и бомбежкам — ведь большая часть окон выходила на набережную! Под ее руководством сняли со стен зеркала и картины в тяжелых рамах, запаковали фарфоровые безделушки. Приделали к окнам ставни, которые можно было открывать и закрывать через форточку, изнутри же плотно приладили гардины; окна на зиму не заклеивали, а заложили скрученными веревками. В результате окна уцелели до массированного налета в начале апреля. Осенью Вера Александровна еще шила дома рукавицы для фронта по какой-то сверхудобной выкройке, хранившейся у нее с 1916 года [там же, л. 9].

291

Она организовала и питание семьи: все карточки были прикреплены к академической столовой в Таможенном переулке, и именно Вера Александровна ходила с судком в столовую за обедом, состоявшим из жиденького супа; простаивала часы в очереди, а потом разогревала еду на «буржуйке» [там же, лл. 2—3, 7, 8]. Иногда удавалось получить кое-какие блюда без выреза талонов — дрожжевой суп, биточки из дуранды (хлопкового жмыха). Весной Вера Александровна сеяла зелень в цветочных горшочках и вместе с сестрой собирала съедобные травы; взять, как когда-то, огородный

участок за городом не было сил (письмо В. А. Крач-ковской Н. М. Алексеевой от 12.VI.1942).

Как ни старалась Вера Александровна, еды не хватало. «Голод мы испытывали, как и все граждане», — читаем в ее воспоминаниях [там же, л. 8]. Ведь на семью из пяти человек было только две, как говорили тогда, «рабочих» карточки (Игнатия Юлиановича и Веры Александровны) и три «иждивенческих». Нечего и говорить, что скудные продукты делились на всех поровну, но, поскольку иждивенческий паек был совсем уж мизерным, было по-прежнему голодно даже тогда, когда академики стали получать дополнительный паек. «Кушаем плотнее, — писала 18 февраля 1942 года Вера Александровна жене В. М. Алексеева, Наталии Михайловне, — но все еще вроде фараоновых коров, а Игнатий Юлианович суший Меджнун» (еще хватало сил на шутку!).

Первой стала сдавать Юлия Юлиановна, и без того слабенькая и болезненная. Подозреваю, что она всеми правдами и неправдами старалась есть поменьше, чтобы хватило другим. Если в начале февраля она еще с трудом передвигалась по комнате [письмо И. Ю. Крачковского В. М. Алексееву от 6 февр. 1942 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 27], то к концу месяца слегла совсем, а в марте слег и ее муж, Сергей Константинович. Как правило, для блокадных дистрофиков это был конец — силы не восстанавливались, наоборот — слабость нарастала, постепенно потухало сознание, организм отказывался принимать пищу. Вера Александровна и ее сестра сбивались с ног, ухаживая за лежачими.

Друзья Крачковских в Боровом¹¹, и в первую очередь В. М. Алексеев, долго не получавшие от них писем¹², разумеется, были очень обеспокоены и послали телеграфный запрос в исполком Ленсовета, попросив сделать это же и президента АН В. Л. Комарова. В 20-х числах февраля начальнику ЛАХУ М. Е. Федосееву позвонили из секретариата Попкова, осведомляясь, жив ли академик Крачковский, выходит ли из дому и т. п., объяснив, что получена «какая-то телеграмма от Комарова и академиков». Федосеев ответил, что Крачковский на ногах, работает и вообще с ним можно непосредственно поговорить по телефону, так как у него, благодаря ответственным постам, которые он занимает, телефон не отключен. Звонка не последовало, а когда Федо

292

сеев сам попытался связаться с секретариатом по телефону, ему заявили, что о телеграммах никто ничего не знает.

Приблизительно через месяц, видя, что состояние здоровья сестры и ее мужа все ухудшается, Крачковский решил напомнить Попкову о себе и 19 марта написал ему обстоятельное письмо, в котором, ссылаясь на состав и положение своей семьи, просил об увеличении дополнительного пайка, «конечно, в скромном размере и вполне возможном по нашим здешним условиям, что мне хорошо известно»¹³. Просил он и о возобновлении регулярного врачебного надзора над ним, который в течение долгих лет осуществлялся лечебной комиссией для ученых, а также о возможности получать витамины и другие укрепляющие средства. Ему пришлось (что он так не любил) напомнить в этом письме о своих заслугах перед отечественной наукой и о тех ответственных постах, которые он

занимает в настоящее время. «Полагаю, что при таких условиях было бы нежелательно, чтобы те неизвестные мне сведения, которые без всякого моего участия дошли до Президиума АН в г. Свердловске, стали распространяться шире в нашей или зарубежной научной среде, давая ложный повод к неправильным толкованиям об отношении к ученым, продолжающим работу на своем посту в г. Ленинграде» [А, оп. 2, № 26, л. 299].

Никакой реакции не последовало.

В конце марта Вера Александровна заболела дизентерией, но, по счастью, поправилась очень быстро, «хотя исхудала и ослабела до последней степени» [письмо Крачковского Алексееву от 12 июня 1942 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 32 об.].

А дальше начались трагические события. 11 апреля Юлия Юлиановна окончательно потеряла сознание; в этот же день Игнатий Юлианович слег с высокой температурой — это, как оказалось, была бурная вспышка дизентерии. Утром 12 апреля Юлия Юлиановна скончалась, через 6 дней за ней последовал ее муж. По описанию Веры Александровны (в письме Н. М. Алексеевой от 23.VI.1942), это была типичная смерть от дистрофии: он стал отказываться от пищи и не говорил, а пищал нечто невразумительное.

Через ЛАХУ достали лекарства для Игнатия Юлиановича — сульфидин, бактериофаг. Острый период болезни прошел быстро, но разыгрался его хронический колит, Крачковский слабел с каждым днем, Вера Александровна боялась его потерять. В полном отчаянии она написала Алексеевым в Казахстан, не очень надеясь, правда, что письмо дойдет — сколько их уже пропадало!

«Игнатий Юлианович исхудал предельно, — пишет она в своих воспоминаниях. — Кости выступали, обтянутые пергаменоподобной кожей в пупырышках от жестокой цинги. Голоса от слабости почти не слышно, чудесные глаза сидят глубоко, совсем потухшие. В этом состоянии он уже не мог работать, лежал тихо» [А, оп. 7, № 35, л. 28]. И все-таки он еще не полностью отключился

. 293

от жизненных забот, не перешагнул за край земного бытия, когда человек еще жив, но все вокруг воспринимается им отстраненно, не возбуждает эмоций. Крачковский все-таки, несмотря на слабость, принимал сотрудников Географического общества и института, чаще других Н. В. Пигулевскую, своего заместителя, но бывали дни, когда Вера Александровна не пускала к нему никого, так он был слаб.

Но чудо свершилось — письмо дошло! Правда, лишь в двадцатых числах мая. Из Борового полетели телеграммы, подписанные группой академиков (Алексеев, Берг, Вернадский, Ляпунов и др.), — Жданову, в василеостровский райком, в ЛАХУ, в институт. Машина завертелась: тут же появились представители Гор-здрава, местные медицинские светила — Тушинский, Черноруцкий, Рысс, которые нашли у Крачковского целых семь (!) болезней. Появились и лекарства из Свердловской больницы, и витамины, и глюкоза, и хорошие продукты — свежее мясо, белый хлеб, масло, крупы, мука, печенье, шоколад, курага, даже красное вино. Началось интенсивное лечение.

Инъекции глюкозы и витаминов оказали магическое действие: уже после третьего вливания у Крачковского появился голос,

заблестели глаза — и он снова принялся за своих географов! [там же, лл. 28—30].

Вера Александровна организовала необходимое мужу горячее диетическое питание четыре раза в день. Стало труднее со стряпней: выручавшая всю зиму железная печурка стала сильно дымить — то ли с наступлением тепла ухудшилась тяга, то ли просто в трубе накопилось много сажи. Они с сестрой шли на всякие ухищрения; так, например, второй завтрак для Игнатия Юлиановича готовили... на угольном утюге (письмо к Н. М. Алексеевой от 12.VI.1942).

Но все-таки он еще долго был слаб. 12 июня Вера Александровна пишет Н. М. Алексеевой, что уже недели полторы как они выходят на прогулку, и если начали с двух кварталов по набережной, то теперь уже Игнатий Юлианович может дойти по Большому проспекту до больницы им. Ленина.

Как ни медленно восстанавливались силы, все же за конец мая Крачковский сумел написать 23-ю главу «Географов» — XVII век. Снова — в который уж раз! — требовательная забота Веры Александровны сыграла решающую роль в его жизни, спасла его. «Не будь наших жен, — писал уже после войны Крачковский Филоненко, — вероятно, многие из нас давно не были бы в живых. Об этом следовало бы написать поэму, гораздо более патетическую, чем в свое время Некрасов о женах декабристов» [8 нояб. 1945 г.; А, оп. 3, № 37, л. 216].

Тем временем пришло предписание президиума АН об эвакуации академических институтов. Подписал приказ об эвакуации Института востоковедения (в качестве директора) И. Ю. Крачков

294

ский, но сам он уезжать не собирался. Как он писал впоследствии И. И. Умнякову — «чувствовал, что в других местах мне работать невозможно» [14 дек. 1942 г.; А, оп. 3, № 36, л. 59]. Подготовкой эвакуации занималась Н. В. Пигулевская, заместитель директора. Была выделена небольшая группа сотрудников, которая должна была остаться в Ленинграде для охраны имущества института; в состав ее кроме двух библиотекарей и вахтера входили А. Н. Болдырев и Д. В. Семенов.

12 июня институт выехал из Ленинграда в Казань. 27 августа 1942 года В. В. Струве получил от президиума АН разрешение организовать группу Института востоковедения в Ташкенте, куда постепенно стали съезжаться сотрудники, эвакуированные в разные города. Небольшая группа ученых по-прежнему оставалась в Боровом.

Крачковскому, вопреки его желанию, все же пришлось покинуть Ленинград. На отъезде настаивали врачи; вскоре на этот счет пришла и специальная директива вице-президента Академии Л. А. Орбели. «Очень мне было это грустно, — писал впоследствии Крачковский Х. И. Кильберг, — но пришлось подчиниться» [15 дек. 1942 г.; А, оп. 3, № 22, лл. 42—42 об.].

Эвакуационное свидетельство было выписано через Москву в Боровое и пропуск туда выдан «по решению Военного Совета Ленинградского фронта» [А, оп. 2, № 26, л. 308, 309], однако

Крачковский твердо решил, что дальше Москвы не поедет: «Переезд в другие центры обозначал бы перерыв работы на неопределенный срок, что в моем возрасте представляется уже нежелательным» — так он объяснял свое решение в докладной записке вице-президенту. Да и врачи опасались для него длительных переездов, настаивая на продолжительном санаторном лечении в привычных климатических условиях (открытка В. А. Крачковской от 31.VII. 1942 — ответ Алексеевым на их уговоры переехать в Боровое).

25 июля в сопровождении Веры Александровны и Екатерины Александровны он вылетел в Москву — по существу, без вещей. Багажа можно было взять всего по 10 кг на человека; Вера Александровна рассказывает в воспоминаниях, что они старались, несмотря на лето, побольше надеть на себя [А, оп. 7, № 35, л. 35].

Но хуже всего было уезжать без книг. «Хотят, чтобы я перестал совсем работать», — грустно говорил Крачковский, прощаясь со своей библиотекой [там же, л. 33]. Мотив сожаления об отъезде из Ленинграда сопровождал все его двухлетнее московское пребывание, и ощущение высокого духовного подъема, которое он испытывал в блокадном Ленинграде, долго не забывалось. Уже вернувшись из эвакуации, он писал в одном из дружеских писем: «И до сих пор... выходя на набережную, я каждый раз чувствую какое-то радостное настроение, вспоминая, как я по ней ходил зимой и весной 42-го года. Действительно, как-то мы познали "меру ве-

295

щей"» [письмо к В. А. Кюнер-Сутугиной от 18 окт. 1944 г.; А, оп. 3, № 27, л. 6 об].

Деятельность И. Ю. Крачковского в течение зимы 1941/42 года была отмечена правительством. 17 мая 1944 года президиум Верховного Совета СССР наградил его орденом Ленина «за самоотверженную работу по сохранению в условиях блокады г. Ленинграда научных и культурных ценностей в институтах, музеях и библиотеках Академии Наук СССР, являющихся национальным богатством страны» [17, с. 15].

СРЕДЬ СУЕТЫ И СУЕТНОСТИ СТОЛИЦЫ

В Москве Крачковские как-то сразу почувствовали себя никому не нужными. Сначала их поселили в гостинице «Савой» на Рождественке, обещая вскоре поместить в подмосковный санаторий «Узкое», который должен был открыться со дня на день. Пытаться отправлять его сразу в Боровое было невозможно: он мог бы просто не вынести многодневного изнурительного пути, как это нередко случалось с ленинградскими дистрофиками. Да и в медицинском заключении, выданном проф. Тушинским, категорически предписывалось двухмесячное пребывание в санатории в средней полосе РСФСР и только после того разрешалось ехать «к месту назначения», в настоящее же время «переезд поездом с пересадками абсолютно недопустим и может привести к непоправимым нарушениям здоровья» [А, оп. 2, № 26, л. 301 об.].

Всем троим были выданы талоны на питание в столовой Дома ученых. Первые дни они были так слабы, что, вернувшись из путешествия в столовую, которое занимало часа три, тут же

вынуждены были лечь — даже сидеть было трудно, спина не выдерживала. 1 \

Санаторий все не открывался — военные не торопились его освободить, и тогда Крачковские сами купили себе путевки в подмосковный санаторий «Сосновый бор» (ст. Болшево Ярославской ж. д.), где прожили до конца сентября¹⁴. Приходили они в себя очень медленно. «Все еще усталы и разбиты. И. Ю. ни на какие прогулки не способен; ноги его слабы, да и худ он настолько, что нельзя мотаться. А у меня по-прежнему болят все кости... Кроме усталости мешает конечно и общее настроение» (из письма В. А. Крачковской Алексеевым от 22.VIII. 1942).

А настроение было скверное из-за неопределенности положения: 7 октября кончалась прописка, данная всего на два месяца; место, где они поселятся после возвращения из санатория, пока еще не определено, хотя, отправляя их из Ленинграда, президиум АН обещал, что все будет улажено и беспокоиться не о чем. Возникали сложности с получением продовольственных карточек и их прикреплением. Нависла опасность, что их все-таки отправят в

296

Боровое¹⁵, о чем Крачковский, несмотря на все письменные уговоры Алексеевых, и слышать не хотел. Эта тревога сквозит в его не раз уже цитированной докладной записке вице-президенту АН: только закрепление в Москве позволит ему остаться в сфере его специальности — арабистики. Он просит у Волгина содействия в устройстве его семьи в Москве и в дальнейшей научной работе. И даже в такие минуты он думает не только о себе, а, пользуясь случаем, перечисляет имена оставшихся в Ленинграде сотрудников, своим доблестным трудом обеспечивающих в дни войны функционирование академических учреждений, подчеркивая, что их деятельность «заслужила бы специального упоминания в каком-либо приказе Президиума за их самоотверженную работу в условиях блокады» [74, 1975, № 4, с. 34].

Наконец им временно отвели две «пустынных и достаточно унылых» комнаты на Калужской улице, 13 (письмо В. А. Крачковской Алексеевым от 29.X. 1942), в квартире академика С. Г. Струмилина, который с семьей находился в Свердловске. Мебели было кровать с пружинным матрацем и оттоманка — ни постельных принадлежностей, ни стульев, ни посуды, ни шкафа, так что в первые дни завтракали и ужинали на сундуке в прихожей, раскладывая еду на бумаге, и спали не раздеваясь. После телеграмм Крачковского академическому начальству хозяйственное управление Академии стало постепенно «подбрасывать» необходимые вещи, и быт кое-как наладился, но в один прекрасный день вдруг произошла сильная протечка воды сверху в столовой Струмилиных, где находилась большая часть библиотеки хозяина. Вера Александровна описывает, как «И. Ю., надев калоши, с открытым зонтиком в руке по два часа в день постепенно выносил книги в незатопленный кабинет и раскладывал на просушку» [А, оп. 7, № 35, л. 42—43].

В начале мая 1943 года, с возвращением Струмилиных в Москву, пришлось перебраться — «после всяких историй», как пишет Крачковский Алексееву 12 мая 1943 г. [1, ф. 800, оп. 3, № 446, л. 59

об.], — в квартиру члена-корреспондента АН Л. С. Лейбен-зона, к счастью в том же доме. Здесь они прожили до самого возвращения в Ленинград, даже когда хозяева вернулись; сам Лейбензон был сердечен и любезен, но жена его высказывала известное недовольство, чтобы не сказать больше.

Долго еще мучили Крачковских болезни: то головокружение и головные боли у обоих — от нервного истощения, то обострение колита у Игнатия Юлиановича, то грипп и воспаление легких у Веры Александровны, то Игнатий Юлианович поскользнулся, упал и сильно ударился головой о мостовую. Долго еще преследовали их неурядицы с пропиской и карточками, с бытом (то новый «потоп», то отказывает отопление); тянулась волокита с переводом В. А. Крачковской на работу в МО ИИМК. Не раз в письмах к Алексеевым поминали они недобрым словом президиум Акаде

297

мии, не выполнявший своих обещаний. Даже Вера Александровна, как и Игнатий Юлианович, жалела об отъезде из Ленинграда: «Грустно также, что выписка из Протокола Президиума в Казани от 17/VI, высланная оттуда 19/VII, докатилась до И. Ю-ча только здесь, недавно. Ею он назначался наблюдать за всеми учреждениями АН в Л-де. Приди она вовремя, мы не выехали бы!». В довершение всего потом, уже после их отъезда из Москвы, пропали вещи, выданные им во временное пользование АХУ, и им пришлось платить за пропажу.

Но все эти неурядицы как-то еще можно было бы пережить, если бы у Крачковского все ладилось с работой. Ленинградская инерция — или вдохновение? — как-то ослабла со всеми передрыгами, нужно было достичь хоть намека на душевное равновесие. Вера Александровна с тревогой писала Н. М. Алексеевой: «Перед отъездом нашим исполнилось 30 лет, как мы поженились, и это — первое лето, когда И. Ю. не работает ничего, т. к. не может ни по состоянию здоровья, ни по настроению, наконец, за полным отсутствием книг и материалов» (письмо из «Соснового бора» от 10.IX.1942). Сам Игнатий Юлианович называет это состояние «какой-то абулией» или «апатией» [10 сент. 1942 г.; 1, ф. 820, оп. 3, X? 446, л. 37 об.], она до конца не проходит и через год: «По-прежнему, собственно говоря, не работаю: с отъездом из Ленинграда какой-то нерв у меня вынут и я все не могу ни на чем сосредоточиться, хотя иногда за разные вещи и хватаюсь» [9 июня 1943 г.; там же, л. 30].

Главной причиной того, что «вынутый нерв» никак не мог восстановиться, была, я полагаю, бедность московских библиотек научной арабистической литературой.

Еще из Болшева, не разведав толком, что именно в библиотеках есть, по прежним впечатлениям, Крачковский пишет Волгину, что придется, вероятно, переменить тематику. Знакомство с их фондами подтвердило самые мрачные предположения, заставило в очередной раз пожалеть об отъезде из Ленинграда. В отчете за 1943 год Крачковский объясняет: «Я в связи с состоянием московских библиотек был вынужден отложить продолжение своих крупных незаконченных работ и ограничиться выполнением возможного в новых условиях» [А, оп. 9, № 143, л. 76].

Думаю, хуже всего было то, что к «Географам», с которыми он так сроднился в блокаду и в которых осталось-то дописать всего две-три главы, в Москве он за отсутствием материалов вернуться не мог. Это особенно должно было создавать ощущение «выбитости из колеи»: «Тоскую только по настоящей работе, так как все, что можно сейчас делать, суррогат», — жалуется он в письме Х. И. Кильберг [15 дек. 1942 г.; А, оп. 3, № 22, л. 42].

За что же «хвтался» Крачковский в этот свой московский период? Вдруг, «под влиянием некоторых разговоров и наблюдений», появилась идея подготовить популярную брошюру об араб

298

ских словах в нашем обиходе [письмо В. М. Алексееву от 9 июня 1943 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 30 об.]. Эта работа не была доведена до конца, но набрал он около 400 таких слов. Несколько статей по новоарабской литеуэатуре оказались результатом сотрудничества с Совинформбюро, где арабской частью ведала Х. И. Кильберг. Благодаря ей он получил кое-какие совсем свежие материалы арабской прессы антифашистского толка и написал по ним большую статью, посвященную ливанскому журналу «ат-Тарик» («Путь»), и несколько мелких заметок. По просьбе издательства «Советская энциклопедия» написал по памяти несколько обзоров литератур арабских стран (Ирак, Сирия, Аравия, Египет) для справочника «Страны Ближнего и Дальнего Востока». К чеховскому юбилею подготовил доклад «Чехов в арабской литературе».

Осуществимыми в московских условиях оказались работы по истории арабистики, не требовавшие ни арабских текстов, ни словарей. Он почтил некрологом память последнего из своих учителей — П. К. Коковцова, скончавшегося в блокадном Ленинграде 1 января 1942 года в возрасте 80 лет¹⁶, и написал статью о наследии Бартольда. Он продолжил обзор советской арабистики с 1937 года (которым он кончил свой доклад на сессии Ассоциации арабистов) до 1942-го и написал по заказу Московского университета суммарный очерк истории арабистики в России с XVIII века до последних дней. Эту статью (около 2 печ. л.) можно рассматривать как эскиз будущей последней его большой книги «Очерки по истории русской арабистики».

Но главным результатом двух его московских лет была книга «Над арабскими рукописями», имевшая небывалый резонанс и в нашей стране, и за рубежом.

«Она у меня вылилась как-то невольно, — признавался И. Ю. Крачковский в письме З. Б. Мухаммедовой, — и может быть поэтому я ее люблю, что могу сказать далеко не о всех своих работах, а только об очень немногих. В ней я вижу хоть некоторое оправдание своего "эвакуационного" периода, когда не мог заниматься ничем более серьезным» [А, оп. 3, № 1098, л. 5].

Эти «Листки воспоминаний о книгах и людях» обычно относят именно к военным годам¹⁷, воспринимая их как отражение ностальгии автора, забывая о том, что первый-то их цикл «В Рукописном отделе» написан и даже прочитан в Арабском кабинете ИВАН еще до войны, 13 мая 1941 года. Тогда это представлялось неким законченным этюдом, посвящен он был юбилею хранителя Рукописного отдела Публичной библиотеки И. А. Быкова, и

Крачковский как будто несколько стеснялся его необычности и «ненаучности». Так, предлагая для доклада в восточном отделе Исторической библиотеки в Москве среди прочих тем этот этюд, который был озаглавлен тогда «Над старыми рукописями (Страничка из воспоминаний арабиста)», он писал о нем Х. И. Киль

299

берг: «Последнего можно и не включать, ибо это — некая полубеллетристическая попытка, которая может и не к лицу серьезному ученому» [А, оп. 3, № 22, л. 38 об.].

Вероятно, тогда этот неожиданный мотив показался ему случайным, да кроме того, через месяц началась война, все второстепенное отодвинулось на задний план. Он даже В. М. Алексееву, обычному читателю своему, не успел тот доклад показать — или просто об этом не подумал?

И все-таки, вероятно, его и в блокадном Ленинграде где-то в глубине тревожила мысль о продолжении этой работы — потому что 8 марта 1942 года он неожиданно написал еще один такого же стиля очерк, вошедший впоследствии в книгу: «Куфический Коран и бабушка-арабка».

Теперь же, вдали от привычных библиотек Ленинграда — Публичной, университетской, Азиатского музея, без которых настоящая научная работа была невозможна, в памяти всплыл и тот «бычковский» цикл о находках в Рукописном отделе Публичной библиотеки, и появилась потребность продолжить его, вернувшись мысленно и в другие петербургские читальные залы, а за этим потянулись, тоже связанные с рукописями, воспоминания о библиотеках Востока.

Рассказывают, что один талантливый пианист, будучи в ссылке, лишенный инструмента, начертил клавиатуру на крышке стола и так играл, слыша музыку в уме, поддерживая беглость пальцев, — и тем сохранил себя как музыканта. Книга «Над старыми рукописями» для Крачковского — тоже своего рода «клавиатура на столе».

14 февраля 1943 года он пишет В. М. Алексееву: «Если соберусь с духом, как-нибудь дам переписать мои воспоминания об И. А. Быкове и пошлю Вам: по идее они должны открывать некий цикл "Над старыми рукописями", но не знаю, хватит ли для него энергии... Несколько набросков у меня есть, и кое-кому я их читал, но все нет как-то уверенности, что найден подходящий тон» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 46 об.].

Но Крачковский чуть хитрил: книга-то уже писалась! Думаю, в Москве не покидали его картины прошлого, радостные мгновения переживались вновь и вновь, а воспоминания о них выливались на бумаге вдруг и разом. Он стал продолжать свои мемуарные этюды в сентябре 1942 года, в «Сосновом бору», то есть еще чуть живой, только-только идя на поправку. И конечно, эта работа тоже действовала как лекарство. Там он написал три части цикла «Из скитаний по Востоку»; последний его раздел «Книги и люди» был завершен уже в Москве (16—19 декабря). А до того, в октябре—ноябре, он закончил еще один цикл, состоящий тоже из четырех частей, — «В Азиатском музее».

Тут возникает какая-то лакуна — до мая 1943 года. Быть может, виной были болезни, быть может — сомнения и неуверен

300

ность (цитированное выше письмо В. М. Алексееву относится как раз к этому периоду). Или просто написанному материалу следовало, как говорится, «отлежаться». Да и сторонний суд был нужен.

Посылая «пробу» именно Алексееву, Крачковский (подсознательно или сознательно?), как я полагаю, надеялся, что тот, с его бурной эмоциональностью» и склонностью к художественности изложения, поймет и одобрит. Поддержка человека понимающего ему была очень нужна — он снова не был уверен в себе. Мне кажется, особенно смущала его «неакадемичность» стиля, которая получалась словно бы сама собой, вопреки воле автора. Однако если подобная беллетристичность была простительна в юбилейном докладе, то пристало ли солидному ученому написать в таком тоне целую книгу о вполне серьезных материях?

Надежда не обманула: Алексеевы поняли, оценили, восхитились: «"В Рукописном отделе" я читал вчера с Н. М. (ей вслух), и мы были очарованы этими миниатюрами, поражены открывшейся нам еще новой стороной Вашей личности. Мы находим все это исключительно интересным, исключительно хорошо написанным, даже, я бы сказал, популярно, несмотря на строго научный дуктус. Можно только настоятельно требовать продолжения и завершения...» [7 апр. 1943 г.; А, оп. 3, № 62, л. 132].

У Крачковского отлегло от сердца: «Теперь я не буду думать, что меня тянет к этой форме только по самообольщению» [5 мая 1943 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 58 об.]. Да и Х. И. Кильберг, которой он посылал «бычковский» цикл в Совинформбюро, похвалила именно стиль: «Этюды, посвященные Бычкову, произвели здесь очень большое впечатление. Манера изложения очень живо напомнила лучшие произведения Анатоля Франса» [А, оп. 3, № 434, л. 60 об.].

А тут как раз «стих продолжения» напал, и он начал новый цикл «В Университетской библиотеке», основные части которого были написаны в июле 1943 года, в санатории «Узкое». И там же возник еще один цикл вместо задуманного ранее «Тени предков», о котором он сообщал Алексееву 5.V.43, — о неожиданных открытиях и находках («На ловца и зверь бежит»). Цикл, куда вошел и небольшой этюд о куфическом Коране Нофаля, был написан в блокадном Ленинграде.

Такое форсирование этой работы вызвано не только внутренним побуждением: кажется, появилась возможность напечатать эти лирические очерки отдельной книгой. В письме к В. М. Алексееву в конце июля [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 43]18 Крачковский рассказывает: «Будучи незадолго до отъезда (имеется в виду отъезд в санаторий "Узкое", состоявшийся, согласно письму В. А. Крачковской к Н. М. Алексеевой от 24.VII.1943, 5 июля. — Л. Д.) на одном заседании Вавиловской комиссии "популярной литературы" и услышав, что они собираются переиздавать "Воспоминания о кам

300

нях" Ферсмана, я рассказал о своей идее, а в следующем читал некоторые отрывки... Все одобрили и решили, что стоит напечатать в

серии. Теперь я и тороплюсь, пока горячо, довести листов до шести, в виде нескольких циклов, к сентябрю (конечно, на этот раз не исчерпав всего, что у меня в мыслях)... Конечно, у меня — старого воробья далеко нет уверенности, что это в итоге напечатают, но самое предложение заставит меня, по крайней мере, довести до какой-нибудь хотя бы временной точки» [1, ф. 820, рп. 3, № 446, л. 491.

Решающую роль в судьбе книги сыграл председатель комиссии акад. С. И. Вавилов. Как вспоминал впоследствии Крачковский, «он первый оценил идею моей книжки и по двум прочитанным рассказам настаивал на ее продолжении и завершении» [письмо к В. А. Кюнер-Сутугиной от 22 июля 1945 г.; А, оп. 3, № 27, л. 17 об.].

1 октября рукопись книги была сдана секретарю комиссии по популярной литературе некоему Радовскому; в письме к „В- М. Алексееву от 10.X.43, где сообщается об этом факте, книга впервые получает окончательное название «Над арабскими рукописями» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 62].

А дальше пошла обычная волокита. Рукопись без конца лежала в издательстве: ка« полагал Крачковский, редакция, очевидно, мало доверяла его доводам, «что можно писать и таким стилем» [письмо к В. М. Алексееву от 20 февр. 1944 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 66 об.]. Однако к маю 1944 года она «проплыла две Сциллы и Харибды из четырех обязательных; из первой вышла с сильно пострадавшим "стилем", который я пытался частично восстановить. Две другие предстоят по общему порядку уже после набора, сиречь Аллах ведает когда» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 70 об.].

В середине июля книжка уже сверстана; она составила в первом варианте семь с половиной листов. Полиграфистами Крачковский остался недоволен: «...формат не. тот как обещано и прочее в том же роде» [18 июля 1944 г.; там же, л. 79]. Потом снова была задержка, сейчас уже трудно восстановить, по каким причинам. Вышла же книжка наконец в самый канун победы, 5 мая 1945 года. Но об этом речь пойдет уже в следующей главе.

Несмотря на увлеченность и этой работой, и некоторыми другими, например по новейшей литературе, Крачковский считал, что в тематику ИВАН они не укладываются, а план, утвержденный еще в Ленинграде, он реализовать в Москве не может и не сможет в ближайшем будущем. Тогда он принимает беспрецедентное решение: 22 декабря 1942 года посылает в Ташкент директору ИВАН В. В. Струве просьбу отчислить его от института с января 1943 г., так как по институтскому плану он в Москве никаких «тем» выполнить не может [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 46].

301

В ответ он получает письмо от Струве — «первое за два года», как замечает Крачковский не без иронии. «В нем, конечно, всякие жалкие слова относительно моей просьбы не числить меня больше в ИВ, всякие широкие перспективы расцвета востоковедения... и даже предположение о 125-летнем юбилее Азиатского музея19... Отвечу ему, что мое "небытие" в составе ИВ не лишает меня права, как академика, иметь свое суждение по всяким востоковедным вопросам» [письмо В. М. Алексееву от 14 февр. 1943 г.; там же, л. 47].

Алексеев, как всегда, реагирует бурно: «Ваше письмо от 14 февраля... огорчило меня чрезвычайно... Я не смею вникать в причины Вашего ухода из ИВ, но ведь скорее ИВ от Вас надо отставить, чем наоборот! Я просто не знаю теперь, что мне делать без Вас в ИВ, без главного идейного руководителя и образцового исполнителя всех работ» [7 марта 1943 г.; А, оп. 3, № 62, л. 125].

Разумеется, заявление Крачковского не было принято: ему продолжали высылать институтскую зарплату, и Струве уверял в письмах, что все его темы для института актуальны и важны. В конце концов Крачковский капитулировал. «У меня как-то и здесь не хватило характера и я махнул рукой», — пишет он Алексееву 14 апреля [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 50 об.]²⁰.

Полагаю, что попытка Крачковского уйти в 1943 году из института объяснялась не только невозможностью для него в московских условиях выполнять положенный план, но и невозможностью издалека оказывать влияние на положение дел в Ташкенте. «Вы, конечно, правы, — писал он 22 марта Алексееву, уговаривавшему его не уходить из ИВАН, — что следовало бы своим присутствием парализовать иные предприятия ИВ, но ведь на расстоянии-то это все равно неосуществимо» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 52].

Институт востоковедения переживал в Ташкенте отнюдь не лучшую свою пору, вопреки победным реляциям и благополучным отчетам, несмотря на награждение института почетной грамотой президиума Верховного Совета Узб. ССР (7.V. 1945) и на ордена, полученные рядом сотрудников после войны.

Дело было не только в трудностях устройства на новом месте. Сильно изменился состав сотрудников. Многих институт потерял на фронте и в блокадном Ленинграде²¹. Кое-кто из крупнейших ученых оставался в Боровом и в Москве. Пополнение состава шло за счет среднего и более молодого звена, по большей части выходцев из ЛВИ или МВИ и местных кадров, то есть людей менее квалифицированных, чем старшее поколение²², и порой менее разборчивых в средствах²³.

Мешало работе и отсутствие единства в действиях руководства института — директора В. В. Струве и ученого секретаря, являвшегося одновременно и секретарем парторганизации, Д. И. Тихонова. Они по-разному смотрели на цели и задачи ИВАН. Если Струве пытался, сколько возможно, сохранить «научное лицо» ин

302

ститута, какие-то традиции, то Тихонов был скорее защитником новых веяний и не обладал достаточно широким научным кругозором. Беда состояла еще и в том, что Струве был человеком мягким и часто не умел настоять на своем²⁴.

Полагаю, что сложность ситуации в институте усугублялась условиями жизни. Очень немногие жили на квартирах или у родных, как, например, В. И. Беляев, ташкентец родом; большинство вместе с сотрудниками других академических институтов (Институт истории, Институт этнографии, Институт русской литературы и др.) расположились в большом общежитии, под которое было на скорую руку переоборудовано помещение Ташкентской балетной школы имени Тамары Ханум (Пушкинская ул., 31)²⁵. Наиболее уважаемым

людям были предоставлены отдельные небольшие комнаты; остальные же, порой по несколько семей, размещались в кое-как перегороденных огромных балетных классах. Царила атмосфера густонаселенной коммунальной квартиры со всеми ее достоинствами и недостатками, особенно обострявшимися в условиях распределения продуктов по карточкам различных категорий, а вещей — по ордерам, раздаваемым всесильным месткомом, который (цитирую тогдашнюю стенгазету) —

захочет — выдаст тапочки, » захочет — выдаст трусики, захочет — выдаст шиш!

Группа в Боровом старалась поддерживать добрые старые традиции; здесь главным организатором был В. М. Алексеев. Каждый работал над своей темой [см. подробнее 38, с. 69], а раз в неделю, по пятницам, регулярно собирали «местную коллегия востоковедов»²⁶ — читали друг другу доклады, порой в присутствии «особо любознательных представителей других профессий» [38, с. 75]. Помянули «доморощенными некрологами» [43, с. 356] коллег, погибших во время блокады; провели юбилейное заседание в честь 60-летия Крачковского и послали ему свои выступления и адрес.

Крачковский в Москве, помимо научной и литературной работы, читал лекции по истории арабской литературы для студентов и вольнослушателей в Исторической библиотеке и занимался современной прессой с одной сотрудницей Внешторга [письмо к Х. И. Кильберг от 5 июня 1943 г.; А, оп. 3, № 22, л. 50]. Московский университет собирался привлечь его к преподаванию на историческом факультете (предлагали даже заведовать вновь открывающейся кафедрой Ближнего Востока, от чего Крачковский отказался) и на филологическом, где он опять-таки отказался возглавить самостоятельный цикл арабистики — вернее, осуществлять преподавание на нем единолично, так как других арабистов в Москве в этот момент не было. «Я посоветовал начинать скромно с реально возможных циклов — туркологии (Дмитриев, Гордлев

303

ский), иранистики (Миллер, Заходер) и, может быть, кавказских языков (Яковлев, Жирков)» [письмо Алексееву от 30 окт. 1942 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 40 об.]. Однако он согласился прочесть для не знающих языка курс по истории арабской литературы [там же].

Поскольку начало работы востоковедных циклов все откладывалось по каким-то бюрократическим причинам, в марте 1943 года студенты стали его «осаждать» непосредственно [там же, л. 52 об.]. Отсюда, очевидно, и возник тот курс в Исторической библиотеке, о котором он писал Х. И. Кильберг.

Нестабильное положение Института востоковедения неизбежно стимулировало активизацию тех людей, которые стремились сделать карьеру, особенно не утруждая себя серьезными исследованиями, требующими знания восточных языков и кропотливой работы. Эти люди пытались захватить командные посты в востоковедении, что должно было повлечь за собой дальнейшее снижение уровня исследований, по возможности сдерживавшееся в предвоенные годы крупнейшими учеными старой закалки и их ближайшими учениками.

Ситуация была тем более опасна, что В. В. Струве, по слабости своего характера, порой поддавался тем, кто стремился использовать его влияние в корыстных целях [письмо Крачковского Алексею от 9 июня 1943 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 30 об].

Алексеев и Крачковский хорошо понимали, что положение академического востоковедения может стать катастрофическим, и старались предпринять то, что было в их силах. Это нашло отражение в их тогдашней переписке.

С конца 1942 года особый вес в Академии начинает приобретать С. П. Толстов, историк и археолог, защитивший докторскую диссертацию о древнем Хорезме в 1942 г. в Ташкенте. Сменив И. Н. Винникова на посту директора Института антропологии и этнографии²⁷, он совмещал это с директорством в Московском отделении ИИМК и должностью ученого секретаря Отделения истории. Намечали его кандидатуру и на пост заведующего кафедрой истории Среднего Востока на историческом факультете Московского университета [письмо Крачковского Алексею от 30 окт.

1942 г.; там же, л. 40]. «С. П. Толстов идет в гору по всем направлениям», — замечает Крачковский в письме от 18 марта 1943 г. [там же, л. 51].

Интересную характеристику — очевидно, достаточно объективную — Крачковский дает Толстову в письме к В. А. Кюнер-Сутугиной 22.11.1950: «Толстов — человек с очень сложной биографией. Сын белогвардейского казачьего генерала, рано убитого, он был беспризорником и вырос в детском доме, человек очень способный, но фантазер, способный дойти в теориях и в действиях до геркулесовых столбов. Сживал в сумасшедшем доме и был судим за убийство в драке по пьяному делу. Но человек несомненно та

304

лаытливый и в раскопках очень счастливый. Открытия его в Хорезме, действительно, исключительной важности» [А, оп. 3, № 27, л. 84]. В. А. Крачковская, работавшая в 1943—1944 годах под его началом в МО ИИМК, вспоминает о его манере поведения на заседаниях: «Фееричны были выступления С. П. Толстова. Неудержимый поток речи ошеломлял, слушатели не успевали опомниться, разобраться в услышанном, часто непривычном, даже странном; докладчик спрашивал, есть ли вопросы? и заявлял: "Вопросов нет, значит принято", — что отнюдь не соответствовало действительному отношению к заслушанному материалу» [А, оп. 7, № 35, л. 43—44].

Помимо С. П. Толстова, Крачковский причислял к «местным силам» бывшего ученого секретаря Отделения истории Г. Н. Войтинского²⁸, который «по обычаю, толчется и суетится» [письмо к Алексею; 1, ф. 820, оп. 3, л. 39 об.], Петросяна и «отчасти — Коростовцева» [письмо к Алексею от 9 июля 1943 г.; там же, л. 30 об.]. Остановилась же я на личности Толстова потому, что он был самым ярким из всех, а главное потому, что ему предстояло сыграть в судьбе И. Ю. Крачковского роковую роль.

В апреле 1943 года Крачковский получил письмо от Н. В. Пигулевской из Казани, «академической резиденции», где она как

заместитель директора ИВАН представляла институт в Академии. Это было уже не первое ее письмо, в котором она высказывала тревогу о судьбах востоковедения и мысль о возможности создания центра — по крайней мере, арабистическо-семитологическо-го — в Москве, с Крачковским во главе. В письме же от 16 апреля она писала, что имела беседу в отделе кадров Академии, а затем с А. М. Дебориным о положении в востоковедении и по его совету подала записку в президиум АН с предложением создать в Москве научно-исследовательский центр во главе с находящимся там И. Ю. Крачковским, дав ему возможность вызвать к себе необходимых сотрудников (помимо москвичей) и просить Наркомпрос о расширении числа востоковедных кафедр, курсов и предметов в МГУ [А, оп. 3, № 726, л. 58—59]. Была ли это личная ее инициатива или она так действовала по чьей-то подсказке — трудно сказать, но, так или иначе, она весьма активно продвигала свою идею²⁹.

Крачковский отнесся к этому плану скептически. Думаю, он опасался, что организация академического востоковедного центра в Москве приведет в конце концов к перемещению института в Москву со всеми вытекающими отсюда последствиями (перенос институтской библиотеки из Ленинграда, смена руководства, которая может повлечь за собой полное перепрофилирование института и т. п.). Он написал ей «довольно кислое письмо» — и не одно. Пигулевская готова признать его правоту: «Все что я могу делать и делаю, я стараюсь главным образом "во славу" нашего Института... 1'аз Вы полагаете, что что-нибудь может не отвечать интере-

305

сам и задачам Института, то тем самым это и снимается* [письмо от 23 мая 1943 г.; А, он. 3, № 726, л. 611.

Но «механизм» уже запущен; может быть, и не ею, может быть, ее докладная записка — лишь своего рода катализатор (вот, мол, и ленинградцы этого хотят!), но, так или иначе, слух о предстоящих больших переменах в судьбе востоковедения уже носится в воздухе. 8 мая 1943 года Д. И. Тихонов пишет Крачковскому крайне встревоженное письмо о том, что будто бы по предложению Войтинского в июне в Москве будет созвано совещание по востоковедению с целью создания межведомственной комиссии, которая бы намечала задачи каждого института, занимающегося Востоком (Институт востоковедения, Институт мирового хозяйства, Тихоокеанский институт, ИИМК и др.). Это, пишет он, означает приговор Институту востоковедения, который сам является комплексным учреждением, единственным, работающим с источниками, тогда как сотрудники остальных институтов в большинстве своем восточных языков не знают [А, оп. 3, № 855, л. 3].

Думаю, Крачковский наслышан был об этом и помимо Тихонова. 9 июня он пишет Алексееву: «Ожидается скоро приезд Струве, боюсь, что устроит он востоковедное совещание и оседлают его местные "силы"» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 30 об.], на что Алексеев отвечает гневной тирадой в адрес «презренной камарильи искусных карьеристов» 30 и шлет по этому поводу заявления в Ташкентский ИВАН, в Академию и телеграфирует Волгину.

В. В. Струве действительно в начале июня приезжает в Москву, и Крачковский старается на него воздействовать: «Со Струве беседовал я много: стремлений благих у него масса, но характер у него прежний и боюсь, что за мелочами он упускает часто очень существенные линии. Я убеждал его собрать теперь небольшое совещание по "востоковедению" из находящихся здесь серьезных людей (Гордлевский, Дмитриев, Заходер etc), чтобы не оказаться неподготовленными к тому, которое *volens-nolens* придется собирать осенью. Он со мной соглашался, но так и не сделал. Боюсь, что тогда инициатива опять будет не в наших руках» [письмо В. М. Алексееву, июль 1943 г.; там же, л. 43 об.—44].

К счастью, отчет ИВАН на заседании ОЛЯ (ради которого Струве и приезжал) прошел благополучно³¹ — «может быть потому, что основных "востоковедов" не было», — замечает по этому поводу Крачковский [в том же письме, л. 44].

Таким образом, ожидавшийся первый раунд перемен не состоялся, а ведь при желании можно было, как в ситуации с ИАЭ, объявить план работы института «слишком академичным», «ничего не дающим фронту». Сыграли ли роль телеграммы и письма В. М. Алексеева, или твердая позиция Крачковского, или время еще не пришло — трудно сказать. Совещание ОИФ и ОЛЯ по вопросам востоковедения состоялось 1—2 октября 1943 года, сразу после Общего собрания Академии. Выступая на этом совещании³²,

3069

И. Ю. Крачковский подробно остановился на задачах современного советского востоковедения, подчеркнув, что актуальные в данный момент прикладные задачи ни в коей мере не должны вытеснять традиционные научные исследования, которые необходимо вести с учетом развития востоковедной науки в общесоюзном и даже в общемировом масштабе; как и в прежние времена, наше востоковедение должно иметь «право своего суждения по всем возникающим в мире вопросам» [А, оп. 2, № 177, л. 14]. Нужно уделять особое внимание нашим специфическим задачам и стремиться

К сохранению редких специальностей.

Востоковедными вопросами, продолжал он, может заниматься любое учреждение Академии, «где это исторически складывается и где имеет серьезные корни» [там же, л. 15]. Институту востоковедения по-прежнему следует сохранить свой комплексный профиль, «с правом заниматься всем востоковедением во, всех разрезах, но с обязательным учетом восточных материалов в тех областях, где они есть, и с преимущественным вниманием к собранному Институ-

~Гом востоковедения» [л. 15].

Это должен быть институт научного востоковедения, в первую очередь — институт восточной филологии. Для связи же между всеми институтами Академии, где в плане имеется восточная тематика, необходимо организовать при бюро ОЛЯ особую группу востоковедов под председательством академика-секретаря. Эта группа (или ассоциация, или общество, или кружок) должна представлять собой научный центр, а не загружаться

организационными вопросами. В частности, такой центр необходим для Москвы.

Далее Крачковский говорил о необходимости восстановления поредевших кадров, начиная с высшего научного звена, правильной расстановки их, планомерной подготовки аспирантов (с особым вниманием при подборе к выпускникам специальных вузов), об оживлении издательской деятельности и пропаганде востоковедных научных знаний.

С мнением Крачковского посчитались — его предложения легли в основу резолюции совещания. Не останавливаясь на ряде конкретных пунктов, касающихся издательских и кадровых вопросов, подчеркну здесь общее и основное: Институт востоковедения объявлялся «ведущим востоковедным учреждением АН», в котором «должна быть сосредоточена комплексная работа по проблемам истории, истории литературы и идеологии народов Востока, опирающаяся на историко-филологическую базу (письменные памятники на восточных языках)» [там же, л. 1].

Были включены пункты о необходимости создания объединенной ассоциации востоковедения при ИВАН — «для обмена результатами исследования и более тесного научного общения» [л. 2] и об организации периодических всесоюзных конференций востоковедов.

307

Второе принципиально важное решение совещания касалось создания Московской группы ИВАН под руководством академика Крачковского.

Итак, пока обошлось без эксцессов и «революций». Хочется еще раз подчеркнуть, что, скорее всего, именно присутствие Крачковского в Москве, его спокойное, деловое выступление на совещании сыграло здесь решающую роль.

Решением бюро ОЛЯ 22 октября 1943 года Московская группа Института востоковедения была создана и возбуждено ходатайство о ее утверждении в президиуме АН. Официальное утверждение произошло 28.XII.1943 [17, с. 15], но работа группы в составе 14 человек началась уже 15 ноября. Во вступительном слове Крачковский указал особо, что группа является научным, а не административным объединением, с комплексной гуманитарной тематикой, для административных же вопросов при группе создается бюро из 5 человек. Основной формой работы будут еженедельные собрания с докладами и сообщениями по плановым и неплановым работам членов группы и с научной информацией по части библиографии, востоковедения в различных центрах у нас и за рубежом и т. п. То есть, как в добрые старые времена «Востока», а потом домашнего кружка арабистов, он старался сформировать ту самую «научную среду» без местничества, без амбиций или корыстных интересов — недаром он в своей вступительной речи говорил и о необходимости единства, взаимной поддержки и скромности.

Не знаю только, верил ли он до конца в возможность создания такого чистого объединения в тех условиях. Или снова действовал по рейханиевскому принципу: «Скажи слово свое и иди»? Но долг его состоял в том, чтобы поставить цель, предложить эту идеальную структуру и всеми силами стараться претворить ее в жизнь,

показывая пример другим. И начал он осуществлять свою цель с первого же заседания, поставив на нем доклад «Азиатский музей в истории нашего востоковедения». Конечно, тут и дата была соответствующая — 125 лет со дня основания, но была у него, наверное, и затаенная мысль о том, как эта тема к учредительному собранию группы подходит.

Кстати, и мысль о возрождении «Востока» не раз приходила в голову и ему, и Алексееву, который все поминал те времена, читая главы из «Арабских рукописей», — вот бы где их печатать! По просьбе Крачковского Алексеев сочиняет соответствующую записку, в которой констатируется, что «это предприятие, прекращенное отнюдь не по причинам его той или иной несостоятельности, оправдывало себя и во время издания и впоследствии как единственный, пожалуй, орган научно-художественной пропаганды знаний о культуре Востока... В настоящее время интерес к Востоку все возрастает, а со вступлением его, после войны, в общую семью народов, примкнувших к Атлантической хартии, чтение о

341

Востоке, несомненно, войдет в общий порядок образования и особенно самообразования» [А, оп. 3, № 62, л. 150 об.]. Но почему-то записке этой ход не был дан.

Московская группа начала работать очень рьяно — люди, как видно, изголодались по бескорыстному научному общению. Заседания проходили каждый понедельник, ближневосточные доклады чередовались с дальневосточными, в повестку дня включались и «всякие специфические библиографические мелочи», собиралось каждый раз человек по 40—45. То есть цель Крачковского как будто начала осуществляться. Сам он прочел на заседаниях группы до отъезда в Ленинград четыре доклада; был оглашен также доклад В. М. Алексеева о его работе в эвакуации.

Однако группа отнимала у Крачковского слишком много времени: помимо научных заседаний, ему приходилось еще устраивать часы приема по вторникам, а по субботам заседало бюро. К этому прибавлялось и обязательное еженедельное участие в заседаниях бюро ОЛЯ (как представителя группы) и архивно-музейной комиссии, членство в различных ученых советах, организационные дела в Географическом обществе и т. п. Словом, на плечи Крачковского, как до войны в Ленинграде, снова ложилось множество обязанностей, а силы были уже не те, да и путь с Калужский, где они жили, на Волхонку, где располагались академические учреждения, был далек и труден для него, привыкшего к короткому пешему проходу на работу по Университетской набережной. «Не в шутку могу сказать, что некогда бывает выбраться в библиотеку», — жаловался он в письме к Алексееву 30.XI. 1943 [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 63 об.].

Самым тягостным было то, что Московская группа «сразу задушила мелкими и для меня достаточно противными делами: и карточки, и аспирантские планы, и зарплата, и прописки... Пока не было "группы", люди как-то устраивались, а как она появилась, стараются все это с ней связать. В результате на это уходит больше усилий, чем на организацию научного "руководства"» [там же]. Конечно, ему приходилось заниматься подобными мелкими, в том

числе бытовыми, делами и в последнюю ленинградскую зиму, но там вопросы о дровах, о карточках, о пайках были вопросами жизни и смерти, а здесь — чем дальше, тем хуже: «Группа меня все больше удручает, так как научная работа совершенно задавливается сотней мелочей штатно-карточно-копеечного порядка, около которых развиваются всякие мелкие страсти и жалобы друг на друга* [там же, л. 68—68 об.]. Да и от бюро34 реальной помощи было мало: «Создать настоящее деловое бюро так и не удастся... В результате приходится вести дело с теми людьми, которые мне мало симпатичны, но не отказываются от работы, хотя, конечно, гнут свою линию* [там же, л. 68 об.]. Так со скрипом дотянул он эту лямку до отъезда в Ленинград, то есть до августа 1944 года.

309

Крачковский ничего не умел делать вполсилы; если он брался за какую-либо работу, то выполнял ее на совесть. Так было и с Московской группой востоковедов: ее успехи, достигнутые в первую очередь благодаря Крачковскому, побудили ОЛЯ включить группу в структуру АН.

Было ли это к лучшему для дальнейших судеб востоковедения? Заметим, что в конце 1944 года, как упоминает Д. Е. Бертельс во введении к книге «Азиатский музей», группа без Крачковского '«приобрела более выраженный московский характер» [7, с. 63). Но это уже предмет другого повествования.

О возвращении в Ленинград Крачковский мечтал постоянно все время своего московского пребывания. После снятия блокады в январе 1944 года эта мечта стала обретать черты реальности. Тем более что жизнь в чужой квартире, вечное ощущение того, что ты обуза, помеха, становилась все тяжелее психологически, особенно для такого деликатного человека, как Крачковский. Но в то же время возникал и некоторый страх перед возвращением, связанный с ожидаемыми «физическими», как он выражался, трудностями. Ведь он уже перешагнул шестидесятилетний рубеж, а Вера Александровна близка к нему. А сколько он переболел за эти две зимы! «Я не только стар, но увя! и дряхл», — признается он Алексею в письме, от 20 февраля 1944 г. [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 66 об.].

При этом от лиц, наблюдающих за академическим домом, известно, что там многое не в порядке: не работает водопровод, дымоходы потрескались и засыпаны, печи частично развалились. На помощь же Академии, пишет он Алексею, рассчитывать нельзя: «Она не только не поможет, но сделает все, чтобы затруднить возвращение каждого отдельного человека... На вопросы о домовом ремонте Федосеев спокойно отвечает, что ничего "определенного" он сказать не может, удастся ли его произвести в этом году» [8 мая 1944 г.; там же, л. 67 об.].

Поддержка явилась неожиданно — и не от Академии, а от Университета, который находился в это время еще в Саратове, но к 1 сентября должен был вернуться в Ленинград. Тогдашний ректор, профессор-экономист А. А. Вознесенский, человек чрезвычайно энергичный и имеющий большие связи в правительстве, в стремлении поднять престиж Ленинградского университета задумал

восстановить старый университетский устав, а поскольку, согласно этому уставу, в составе Университета числился Восточный факультет, то, следовательно, он и должен быть восстановлен, тем более что специалисты по Востоку нужны будут советскому государству для обеспечения новых направлений внешней политики.

Об этом проекте Крачковский узнал из письма А. П. Рифтина, заведующего кафедрой семито-хамитских языков и бывшего (1939—1942) декана филологического факультета [10 дек. 1943 г.; А, оп. 3, № 775, л. 8—9]. Казалось бы, все возвращается на круги

310

своя. Однако в этом проекте восстановления факультета был один маленький нюанс: до революции существовал Факультет восточных языков, то есть факультет филологического профиля, сейчас же имелось в виду «создать организацию, которая бы готовила "комплексного специалиста"» [там же, л. 8 об.].

Подобное предложение могло исходить только от людей, недостаточно компетентных в этой области, не понимающих, какая сложная языковая и общепилологическая подготовка требуется для востоковеда любого профиля (конечно, если речь идет о квалифицированном специалисте). Естественно, что идея создания «комплексного» Восточного факультета, выдвинутая впервые еще перед самой войной, и тогда была отвергнута ученым советом филологического факультета. Теперь же ректор и не выносил ее на рассмотрение ученого совета, а образовал особую комиссию, куда вошли историки, экономисты и трое востоковедов: китаист В. М. Штейн, монголист С. А. Козин, только что избранный действительным членом АН, и А. П. Рифтин. Последний резко выступал против создания «комплексного» факультета: «...на заседании комиссии уж очень явственно пронеслись максимилиановские ароматы» .

Робко высказанное С. А. Козиним предложение спросить мнения ведущих востоковедов ректором было тут же отмечено: «В таком вопросе можно обойтись и без востоковедов» [там же]. В результате комиссия «всеми голосами против одного» (т. е. А. П. Рифтина. —А. Д.) вынесла решение: организовать Восточный факультет, и во Всесоюзный комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР были направлены соответствующие документы. 5 февраля 1944 года ВКВШ издает приказ об организации Восточного факультета в составе Ленинградского университета с осени 1944 года³⁶. Сразу же по приказу ректора была создана «тройка» (Козин, Штейн, Рифтин) по организации нового факультета с С. А. Козиним во главе.

Крачковский отнесся к идее восстановления Восточного факультета настороженно. Получив упомянутое письмо от А. П. Рифтина, а затем — предложение С. А. Козина войти в состав ученого совета и возглавить научно-исследовательский институт при факультете, он пишет В. М. Алексееву 20 февраля 1944 года: «Не нравится мне что-то этот филолого-историко-экономический "гибрид"! Боюсь, что при таком количестве кафедр экономики по каждой стране! (кто их будет замещать?), для настоящей филологии места не найдется и это будет новое издание старого "стран(н)оведческого" ублюдка» [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 66 об.].

Алексеев, успевший к тому времени получить телеграмму от ректора, который «требовал» его согласия на заведование кафедрой, настроен так же скептически, тем более что в памяти свежа «проработка» 1938 года.

344

Возглавить научно-исследовательский институт Крачковский отказывается сразу, в ученый же совет они оба соглашаются войти, хотя и мало верят «в пользу этих иконостасов [письмо И. Ю. Крачковского В. М. Алексееву от 8 мая 1944 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 69 об.]. Дело было не столько в «уговорах», о которых пишет Алексеев Крачковскому [письма от 31 марта и 15 апр. 1944 г.; 17, оп. 3, № 62, лл. 157, 158], сколько, как всегда, в сознании своего долга: «Совесть как-то говорит, что отходить от этого неудобно» [письмо И. Ю. Крачковского В. М. Алексееву от 19—22 июня 1944 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 76 об.]. Действительно, если своим согласием можно хоть немного способствовать тому, чтобы это новое начинание приобрело сколько-нибудь пристойный вид, надо попробовать. Умыть руки — это ведь проще всего.

Включение в организационную «тройку» Рифтина, который сначала отказывался от всего наотрез³⁷, было, разумеется, благом для будущего факультета: именно Им был выработан проект структуры факультета по отделениям, циклам и кафедрам, принятый Университетом «в основном... без поправок» [письмо И. Ю. Крачковскому от 27 апр. 1944 г.; А, оп. 3, № 775, л. 14 об.]; он же взял на себя и составление типового пятилетнего учебного плана факультета [письмо от 5 июля 1944 г.; там же, л. 17 об.]. Таким образом, в первую очередь благодаря ему новый Восточный факультет и сохранил традиционный филологический профиль с возможностью специализироваться при желании по истории или экономике только на старших курсах.

Новым по сравнению с довоенным планом филологического факультета оказалось разделение прежней семито-хамитской кафедры на три самостоятельные: арабской филологии, ассириологии и гебраистики, египтологии и африканистики. Таким образом Крачковский оказался перед неизбежностью возглавить арабисти-ческую кафедру: «Мне действительно как-то неудобно от этого отказываться», — пишет он Алексееву 19—22 июня 1944 г. [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 77].

А как ее организовать? Где взять преподавателей? Первая кандидатура, естественно, В. И. Беляев, «но покинет ли он Ташкент, не знаю». Что касается Юшманова, то он «годится только на сугубо специальные лингвистические курсы»; Оде-Васильева подходит лишь для роли лектора-разговорника. Все эти соображения Крачковский высказывает в письме Алексееву от 8 мая 1944 г. [там же, л. 70]. «Все бы это, пожалуй, можно было бы преодолеть, — пишет он дальше, — чтобы сохранить хотя одну ячейку, но беда в том, что нельзя действовать как сам считаешь нужным, а приходится исходить из схематичных планов общих для всех кафедр. Одним словом, и здесь все вопросы остаются для меня неясными; может быть и решать их придется другим...»

345

Но ведь кому — другим? Где они? Да и раз Университет действительно возвращается в Ленинград к 1 сентября...

Итак, оба они — и Крачковский, и Алексеев — ответили согласием, и каждый получил из Саратова бумагу, помеченную 26 мая 1944 года, о назначении его с 1 сентября заведующим кафедрой и членом совета Восточного факультета.

1 августа Вера Александровна и Игнатий Юлианович ненадолго выезжают в Ленинград <на рекогносцировку>, а 27 августа все трое, вместе с Екатериной Александровной, возвращаются на старое место уже окончательно.



ГЛАВА XIII

Душа полна потерь, хоть, кажется, жива Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ ГОРОД...

Воспоминания В. А. Крачковской кончаются 1945 годом, и последние их страницы посвящены преимущественно внешней стороне событий. О внутренней жизни Крачковского в последние годы, о его мыслях и настроениях лучше всего свидетельствуют его письма к Вере Александровне Кюнер-Сутугиной, бывшей когда-то секретарем «Всемирной литературы», тогдашней всеобщей любимице, знававшей многих русских ученых, писателей и поэтов «серебряного века», а с 1935 года пребывавшей в ссылке как лицо дворянского происхождения¹. Прочтя в газетах о награждении Крачковского орденом, она рискнула поздравить его открыткой — и это было первое письмо на старый адрес, которое он нашел по приезде в Ленинград «на разведку» 2 августа 1944 года. Тронутый этим приветом из прошлого, вновь всплывающего в настоящем («Вы уподобились голубю Ноева ковчега!» [А, оп. 3, № 27, л. 1]), он тут же ответил ей, и переписка их продолжалась до самой кончины Игнатия Юлиановича.

Сутугина писала часто, и письма у нее были длинные: кому же еще выговориться, никто из старых друзей (да их и в живых-то осталось немного!) ей больше не писал («Вы одна моя радость в жизни» [А, оп. 3, № 513, л. 49 об.]). Он отвечал не всегда аккуратно — дела было так много, на все уже не хватало сил, но всячески старался ее поддержать: посылал Вере Александровне книги, выписал на ее адрес «Литературную газету» и время от времени переводил ей деньги («гонорары» и «выигрыши», как он объяснял в письмах).

Писал он ей обо всем, не скрывая своих огорчений, — доверял старой дружбе; да и то, что она была далеко от всех ленинградских забот и тревог, но в то же время живо интересовалась его делами, располагало к откровенности.

Возвращение в Ленинград было радостным. Город после, снятия блокады чистился, ремонтировался, в него возвращалась жизнь.

в порядке: телефон не работает, вода не идет и в кабинете ломают стену «в поисках пропавшего водопровода». Зато в квартире светло — все разбитые стекла застеклены благодаря хлопотам С. А. Козина, нового декана нового факультета. И вообще — «все это пустяки сравнительно с понемногу появляющейся возможностью работать, чего я совсем не мог делать два года в Москве» [там же, л. 3].

Восточный факультет, открывшийся осенью 1944 года, оказался не «новым изданием старого "стран(н)оведческого" ублюдка», чего так опасались Крачковский и Алексеев, а имел, очевидно прежде всего благодаря стараниям А. П. Рифтина, явно филологический профиль. В его состав входили 13 филологических кафедр (включая кафедру этнографии) и три кафедры, обеспечивавшие дополнительные специализации: истории Древнего Востока, истории средневекового и нового Востока, экономики и географии Азии.

Набор был произведен на I курс по всем филологическим кафедрам. Постепенно собирались и студенты старших курсов — те, кто учился до войны на восточных циклах филологического факультета; порой восстанавливающиеся группы состояли всего из одного-двух студентов и пополнялись в течение всего года — кто демобилизовался, кто приехал из эвакуации...

Это был самый блестящий период в истории послевоенного Восточного факультета. Достаточно сказать, что на шестнадцать заведующих кафедрами приходилось пять академиков и семь членов-корреспондентов АН, остальные четверо имели докторскую степень и профессорское звание. Кафедры возглавляли такие ученые мирового класса, как В. М. Алексеев, И. Ю. Крачковский, В. В. Струве, А. А. Фрейман и др. Они хранили традиции дореволюционного ФВЯ и стремились, насколько возможно, насаждать их теперь, в обновленной alma mater.

Крачковский, как он и предполагал, в 1944/45 учебном году представлял арабскую кафедру единолично — он был и заведующим, и единственным преподавателем, и лаборантом, ведущим кафедральную документацию и рассчитывающим количество часов в учебных планах; по воспоминаниям тогдашнего заместителя декана проф. В. И. Цинциус, по части этой технической работы он был «самым толковым из академиков».

Программу преподавания арабистических дисциплин Крачковский не менял, все шло, как до войны, как на старом ФВЯ, — даже кафедру свою он иногда называл в документах по старинке «арабским разрядом». Никакие рассуждения о необходимости «осовременивать» преподавание его не касались: студенты должны знать язык, и начинать его изучение нужно с классического, ибо современный арабский язык в принципе от него не отличается. И

313

первые послевоенные студенты воспитывались на тех же «маленькой» и «большой» хрестоматиях В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена, на которых воспитывался и сам Крачковский.

Начального курса арабского языка он не читал вот уже двадцать пять лет, в последний раз это была группа, в которой учился Салье (1918/19 г.). При его нелюбви тратить время на преподавание, результат которого пока неизвестен (этим он ведь тяготился и в молодости!), да еще теперь, когда нужно беречь силы для

настоящего дела, — эти занятия с I курсом были явно в тягость, хотя он все же пытался найти в них для себя нечто полезное: «Хрестоматию для первого курса... перечитал даже не без интереса; только теперь начинаешь понимать эти вещи как следует» [56, с. 67]. В письме В. А. Сутугиной он позволял себе поворчать, что Восточный факультет пьет его кровь: «Выжившие арабисты еще не вернулись в Ленинград, а предпочитают пребывать с фруктами во всяких Ташкентах и Алма-Атах, мне же приходится в одиночестве обучать студентов, годящихся во внуки, азбуке и спряжению глаголов, что требует, помимо терпения, и времени» [3 дек. 1944 г.; А, оп. 3, № 27, л. 7]. Кроме того, он и курс введения в арабистику, читавшийся прежде отсутствующим пока Юшмано-вым, решил переделать по-своему.

Был еще ряд привходящих обстоятельств, которые утяжеляли этот груз начального курса, свалившийся на его плечи. Во-первых, слушателей оказалось больше, чем он предполагал первоначально, ставя перед деканатом условие, чтобы в группе было не более шести человек. Набрали на первый курс действительно 6 человек (вернее, со мной 7, но одна студентка почти сразу ушла), однако к этой группе присоединили для занятий арабским языком еще трех иранисток II курса. Во-вторых, на эти 9 человек приходилось... 8 девиц! Соотношение вполне естественное для военного времени, но совершенно неестественное для арабистики, в которой и в послереволюционное время преобладали мужчины, а среди немногих особ женского пола, обучавшихся за предшествующие годы на арабском отделении, никто себя особенно не проявил — разве что Р. Л. Эрлих (впрочем, она ведь отошла от арабистики), да еще семитолог К. Б. Старкова из первого набора рифтинской кафедры.

И наконец, эта убийственная разница в возрасте. В самом деле, последние первокурсники — Эberman, Эрлих, Салье — даже в дети не очень годились, скорее — младшие братья, а теперь, сразу, уже и внуки... Когда разница в возрасте между учителем и учениками нарастает постепенно, год за годом, понемногу привыкаешь к этой неизбежности, а когда вот так, вдруг...

Особых надежд на группу «внучек» Крачковский не возлагал. «Вы осведомлялись о моих студентах, — писал он Кюнер-Сутугиной. — Действительно, теперь почти одни девицы, обыкновенно старательные, но учиться им очень нелегко по разным причинам.

314

Будет ли из них "научный" прок, сказать пока трудно, чего я перед ними и не скрываю, но живем мы дружно, хотя невольно иногда они мне кажутся истыми младенцами» [2 февр. 1945 г.; А, оп. 3, № 27, л. 10). Одним из этих «младенцев» и была я.

Мы действительно жили дружно с нашим «шейхом», как мы называли его заглазно. Мы уважали его и гордились им перед студентами других кафедр, искренне убежденные, что наш «академик» — «самый лучший». Вряд ли мы тогда могли внятно объяснить причину его обаяния, но, вспоминая те годы, я думаю, что мы смутно ощущали самую его основу — независимость и чувство собственного достоинства, которое сочеталось с подлинным

уважением к другим, признанием в них такого же человеческого достоинства, личностной ценности. Поэтому с Крачковским легко было разговаривать, обращаться к нему с тем или иным вопросом, даже самым наивным. Разумеется, разговор шел всегда в самых корректных академических рамках; доступность никогда не переходила в фамильярность. Игнатий Юлианович занимался с нами на I курсе по 6 часов в неделю: 2 часа — лекции по введению в арабистику, 4 часа (вдвое меньше, чем полагалось по плану) — арабский язык. Занятия строились так, чтобы как можно меньше, времени тратилось в аудитории на тот материал, который студенты могут освоить сами.

Я пришла в группу недель позже, занятая переходом с филологического факультета и работой по восстановлению Университета (в качестве «старой» студентки), поэтому первые две лекции, посвященные арабскому алфавиту, правилам чтения и письма, пропустила. Попала сразу на лекцию по грамматике. Игнатий Юлианович быстро и изящно, как нечто удивительно простое и логичное, изложил все, связанное с арабским правильным глаголом: понятия о так называемых «породах» и способах их образования, правила спряжения глагола во всех временах, наклонениях и залогах, образование причастий и имен действия (опять же от всех «пород»), а попутно — особенности образования всех указан-

с совпадающим вторым и третьим коренным согласным); тут же были изложены правила образования множественных чисел и склонения имен — словом, весь минимум, необходимый для того, чтобы приступить к чтению текста.

Я, учившая в течение полугода арабский язык в Ташкенте, могла уже полностью оценить все изящество этого построения (а как ему, наверное, скучно было все это излагать!). У моих товарищей, впервые соприкоснувшихся с арабским, вид был ошеломленный. Но что делать студенту, если на него смотрят как на взрослого? Те, у кого есть голова на плечах, становятся взрослыми; те, кто не может, — уходят.

Постепенно, в работе над текстом, все более или менее утряслось и улеглось. Занятия с Игнатием Юлиановичем были филоло-

ных глагольных и именных

форм от «удвоенных» корней (то есть

315

гическими в полном смысле слова: он учил нас добираться до абсолютно прозрачного понимания структуры и всех оттенков смысла фразы. В сороковые годы думать о практической работе на Востоке нам еще не приходилось, практиков готовил Московский институт востоковедения (МИВ); предполагалось, что их будет достаточно для нужд государства, а нас ожидала работа над источниками, работа с книгами, рукописями. Любовь к тексту, умение (или, по крайней мере, стремление) досконально разобраться в нем, лишний раз сверить по словарю тот или иной оттенок значения знакомого слова — все это, привитое Игнатием Юлиановичем, сохранилось у его учеников на всю жизнь.

Иногда по ходу чтения Игнатий Юлианович вспоминал те или иные случаи из своих путешествий по Востоку. Перед нашими глазами то и дело возникали маленькие сценки: то суфий, который сидит у мечети, ритмично раскачиваясь и без конца повторяя: «Аллаху акбар! Аллаху акбар!; то арабская кошка, которая не откликается на русский зов «кис-кис-кис, а только на арабский «быс-быс-быс; то ритуал посещения родственников умершего... Да, если бы все это записывать!..

Занятия Игнатий Юлианович вел ровно, спокойно, никогда не повышая голоса, давая подумать при ответе, добиваясь самостоятельности при анализе текста и очень живо реагируя на наши толкования, особенно когда в них была логика, пусть даже и ошибочная. Никаких нравоучений, выговоров по поводу плохо подготовленного текста или пропусков занятий — все то же спокойное достоинство, уважительная «взрослая атмосфера.

Вспоминается комический случай. Одна из моих соучениц предложила на занятиях такой несусветный перевод заданного текста, что я непроизвольно свистнула. Все замерли; я, покраснев, попыталась пробормотать какие-то извинения. А Игнатий Юлианович, слегка улыбнувшись в усы, спокойно сказал отвечавшей: «Ну вот видите, Ваши товарищи выражают свое неодобрение. Подумайте как следует!.

Иногда Игнатий Юлианович подшучивал над нами, но так добродушно, что мы не обижались. Помню, на одном из первых занятий он принес нам свой знаменитый экслибрис, рисованный В. А. Крачковской, со стилизованной под арабский шрифт латинской надписью, и мы, как загипнотизированные, долго пыхтели, пытались прочесть ее справа налево: «Кяф... алиф... ха... хуна... ла... айн, удивляясь, почему многие буквы не связаны между собой, как положено по правилам арабского письма.

А в другой раз Игнатий Юлианович принес нам каверинского «Скандалиста, открыв книгу на той странице, где герой рассказа учит парадигму глагола «катала: знаем ли мы, что это за произведение? Кто из советских писателей начинал как арабист?

Со следующего учебного года у Крачковского появились помощники, но с нами он продолжал заниматься. На II курсе мы

316

слушали у него историю арабской литературы и сирийский диалект, на III курсе — читали Коран, на IV — древнюю арабскую поэзию и произведения современных арабских писателей. Теоретические курсы, не сопровождавшиеся изучением текстов, Игнатий Юлианович читал в строгой академической манере; здесь все было четко продумано, выверено, иногда изложение казалось несколько суховатым. Это были очень короткие курсы — например, на всю историю арабской литературы, включая и средневековую научную литературу, отводилось всего 68 часов, то есть два часа в неделю в течение одного учебного года, — но это всегда были логичные, завершенные построения.

Мы любили его. Но никто из нас никогда не смог бы стать ему таким же близким, как Кузьмин или Эберман. Мы были уже другими, детьми иной формации, с другим стилем мышления и попросту плохо

воспитанными. Для нас была привычна всеобщая расхлябанность и необязательность, мы и не понимали, как тягостны ему наши вечные опоздания, недоделки, неточности, какая это помеха в его четко размеченном ритме жизни. Впрочем, в этом отношении мне был преподан однажды такой урок, которого никогда не забуду. Кажется, я училась тогда на IV курсе, была в совете СНО Восточного факультета. Шла студенческая конференция. Как всегда: занятия кончаются в 16.50, заседание назначается тут же, на 17.00 («чтоб студенты не разбежались»), но кто же его начинает ровно в 17.00 — пока аудитория освободится, стулья по местам поставят, пока студенты с разных концов факультета придут...

Но Игнатий Юлианович ровно в 17 ч. был на месте (кто-то из арабистов должен был докладывать). Подошел к аудитории, молча взглянул на царивший в ней беспорядок и пошел по коридору. Я — за ним, что-то лепетала: извините, сейчас, мол, приведут все в порядок, через 5—10 минут начнется, а вы, Игнатий Юлианович, пока посидите, пожалуйста, в деканате, я за вами пришлю или сама прибегу... Не помню, что он мне ответил, — только твердо знаю, что никакого выговора не сделал. Я бросилась в аудиторию — пыталась как-то наладить дело; видела, что Игнатий Юлианович раз-другой прошел мимо по коридору, а потом исчез, я думала — он в деканате, через десять минут лечу за ним... Деканат закрыт, никого нет. Он ушел! Специально приходил и ушел! Уж лучше бы любую нотацию выслушать, чем испытать этот стыд. Я тогда не посмела даже по телефону позвонить, извинялась уже на другой день, в Университете.

— Я привык приходить на заседания вовремя, — только и ответил мне он. Спокойно, без укора.

Его привычная манера общения с учениками — без давления, без нотаций, без навязывания своего мнения («Скажи слово свое и иди») — сохранилась и по отношению к нам.

317

Еще одно воспоминание. Однажды, выступая на студенческой конференции после двух очень затянувшихся докладов, я, чтобы расшевелить утомленную аудиторию, позволила себе несколько раз отступить от написанного заранее текста, расцветив его какими-то шутками. После заседания Игнатий Юлианович сказал мне:

— Есть две манеры читать доклады: академическая и французская. Я придерживаюсь первой. — Потом добавил: — Зато похвально, что уложились в отведенное вам время, — смягчив этим свое замечание, которое, как он, наверное, заметил, очень огорчило меня.

Мы старались. Кто как мог. Стыдно было являться к нему на занятия неподготовленными. Мы ходили на все его доклады, читали его работы, штудировали рекомендованные им книги Бартольда об исламе. И все-таки были не «на уровне». Крачковский не раз высказывал в письмах огорчение по поводу неудачно проходящих студенческих экзаменов.

«Я лишь несколько дней как закончил всякие экзамены и дипломные работы, — пишет он Т. А. Шумовскому 7 июля 1947 г. — И на сей раз, как и в прошлом году, вынес довольно мрачное впечатление от своих собственных студентов. Очевидно, те немногие

педагогические навыки, которые у меня когда-то были, к старости окончательно выветрились, и ничему путному мои слушатели у меня научиться не могут [56, с. 85].

Тут, надо сказать, речь идет не только о нашей группе: на следующий год после нас был набран огромный курс, арабистов среди них — человек двенадцать, опять же почти сплошь девицы, прямо со школьной скамьи, в большинстве своем попавшие на Восточный факультет случайно², мало чем интересовавшиеся. Это должно было действовать на Крачковского удручающе. Правда, в 1946 году был еще один набор, на этот раз удачный: группа, хоть и большая, состояла преимущественно из студентов мужского пола (уже доросли до студенческого возраста те, кто не воевал), людей, живых по натуре, много читающих, мыслящих, действительно заинтересованных специальностью. Но они тогда еще не успели развернуться...

А старшие студенты... «Предстоит теперь еще сессия со студенческими докладами; там две моих действуют — старательные, но бесталанные... [письмо к В. А. Сутугиной от 9 марта 1947 г.; А, оп. 3, № 27, л. 48]. Одна из этих «бесталанных» была я, другая — В. С. Фотиева, единственная пока из его довоенных слушателей, вернувшаяся к арабистике; в 1947 году она кончала Университет.

В другом письме к Сутугиной он ворчит по поводу девиц, «которые приносят очень хорошие цветы, думая, что это прибавит учености их трудам [2 июня 1949 г.; там же, л. 75]. Мы и правда приносили ему цветы. Но без всякой задней мысли — просто потому, что любили.

318

Уже с 1946 года в письмах все настойчивее начинает звучать мотив отхода от преподавания, даже полной отставки: «Пора кончать это дело — затраты энергии своей много, а проку мало [56, с. 85, см. также с. 80, 114]. Или еще откровеннее в письме Сутугиной: «Лекции надоели, студенты надоели, сотрудники надоели, пора кончать [20 мая 1946 г.; А, оп. 3, № 27, л. 31].

Наверное, все же Игнатий Юлианович слишком мрачно смотрел тогда на плоды своих педагогических трудов: очевидно, сказывалось нетерпеливое желание поскорее ощутить их результаты; он как будто забыл свое скептическое поначалу отношение к Добатов-кину, Кузьмину, к своему любимцу Эберману. Но не надо забывать: ему было уже за шестьдесят, в голову приходили, вероятно, мрачные мысли о том, что вот он по возрасту пережил и барона, и Медникова, и собственного отца, да и многих товарищей, даже учеников уже недосчитаться. К тому же блокадная зима подорвала и раньше некрепкое здоровье. Он часто стал жаловаться на усталость, плохое самочувствие, потерю работоспособности; письма стал отстукивать на машинке — «руки совсем не слушаются [2 февр. 1945 г.; там же, л. 10]. В декабре 1945 года у него произошло «как-то раньше не наблюдавшееся недоразумение с сердцем [13 янв. 1945 г.; там же, л. 23]. В конце лета 1947 года случилось воспаление почек, он долго пролежал в постели с высокой температурой, очень ослабел, даже пребывание в санатории не поставило его толком на ноги, и лишь в

декабре он возобновляет занятия со студентами, и то только со старшими, с маленькой группой у себя на дому.

Но ведь кроме преподавания у него были и другие обязанности по Университету: он был членом двух ученых советов — факультетского и университетского, членом библиотечной комиссии, членом редколлегии «Ученых записок». А главное — заведовал кафедрой, восстановление которой шло «со скрипом [56, с. 70]. С 1945 года состав ее пополнился еще двумя сотрудниками, вернувшимися в Ленинград из Ташкента с Институтом востоковедения. Это были В. И. Беляев, преподававший на филологическом факультете еще до войны, самый близкий ученик из оставшихся, и Л. З. Писаревский, аспирант арабского сектора ИВАНЗ.

В. И. Беляев взял от И. Ю. Крачковского начальный курс языка, который, правда, вскоре передал Л. З. Писаревскому. С нашей группой он читал исторические, географические и средневековые художественные тексты, поэзию X века, вел курсы по историографии и источниковедению. Виктор Иванович вел занятия в той же манере, что и его учитель, — спокойно, неторопливо, добиваясь того, чтобы текст становился для нас совершенно «прозрачным. Задавая вопрос или дожидаясь от студента интерпретации того или иного пассажа, он никогда не подсказывал и не торопил, так что в занятиях вдруг возникали слишком длинные паузы, и внимание рассеивалось. Это воспринималось как своего рода чуда-

319

Все-таки в сентябре 1947 года, когда Крачковский лежал больной в «Узком, Ковалевскому удалось вырваться в Ленинград. «Благодаря Вашей предусмотрительности, — пишет он Крачковскому 4 октября, — и данным Вами своевременным указаниям, все мои дела устроились благополучно [А, оп. 3, № 447, л. 283 об.]. Он зачислен в Арабский кабинет ИВАН младшим научным сотрудником и на полставки — на арабскую кафедру Восточного факультета, где он читает общий курс истории арабов с XIII по XX вв.⁵ и спецкурсы по чтению текстов Ибн Фадлана и аль-Масуди (для тех, кто собирался специализироваться по истории). Поселился он пока в аспирантском общежитии.

Лекции А. П. Ковалевский читал не в строгом академическом стиле, к которому мы привыкли, а ярко, живо, темпераментно; вообще, студенты чувствовали к нему большую симпатию. Несомненно, его появление было большим приобретением для кафедры.

Второй ученик, возникший из небытия, — Т. А. Шумовский. В июне 1944-го он, освобожденный из лагеря и работающий в таежном поселке Решеты секретарем начальника лесопункта [А, оп. 3, № 1037, л. 2 об.], обратился к директору ИВАН В. В. Струве с просьбой вызвать его на работу. Узнав об этом от В. И. Беляева, Крачковский, еще будучи в Москве, начал с ним переписку и с какой, вероятно, радостью прочел в первом же его письме: «Я ни на один день не прекращал научной работы — независимо от условий, в которых находился [А, оп. 3, № 1037, л. 1 об.]. Наконец в 1946 году хлопоты института, в которых И. Ю. Крачковский играл, разумеется, самую активную роль, увенчались успехом. В августе 1946 года Шумовский вернулся в Ленинград. С помощью учителя (который, впрочем, по

свидетельству самого Шу-мовского, порой корил его за спешку [56, с. 89]) дело пошло: в октябре он сдал госэкзамены и защитил дипломную работу (она ведь почти готова была тогда, в 1938 году), в ноябре сдал кандидатский минимум [56, с. 77].

Но жить пришлось не в Ленинграде, а в г. Боровичи Новгородской области, откуда нетрудно уже было доехать до Ленинграда. В аспирантуре его утвердили, правда не сразу. Для заработка Шумовский взялся по договору с ИВАН за перевод нескольких арабистических статей И. Ю. Крачковского с европейских языков для русского издания и усиленно работал над диссертацией; Крачковский снабжал его необходимыми книгами. Оживленная переписка продолжалась. И. Ю. Крачковский и В. И. Беляев возлагали на него большие надежды.

Осенью 1947 года появилась в Ленинграде и Х. И. Кильберг, приглашенная на открывшийся при Восточном факультете Восточный научно-исследовательский институт; в Арабском кабинете ИВАН она с этого же года состояла докторантом.

Так снова складывался дружный коллектив. «С Кабинетом уже трудно расстаться, даже на время, — пишет Х. И. Кильберг боль

320

ному И. Ю. Крачковскому в "Узкое". — Каждый из приобщившихся к Арабскому кабинету не может не благословлять самый факт его существования. В десятых числах сентября приехал Андрей Петрович — все на своих местах и нет недостатка в живом общении, обмене мнениями и т. д.» [А, оп. 3, № 434, л. 85 об.].

Чувствуя, что в кабинете какая-то ячейка сформировалась, что есть на кого переложить дела, Крачковский, еще до приезда Ковалевского и Кильберг, пытается добиться отпуска на год, чтобы вплотную заняться осуществлением своих научных планов и отдохнуть от постоянного пребывания «в какой-то суете из сессий, конференций и юбилеев, где приходится то председательствовать по причине старости, то говорить подходящие случаю слова. А дело редко словами делается...» [письмо к З. Б. Мухаммедовой от 17 марта 1947 г.; А, оп. 3, № 1098, л. 20]. Но это оказалось делом канительным: ни институтское начальство, ни даже президент Академии не понимали, зачем Крачковскому отпуск: ведь можно распределить свою работу по собственному желанию, без всяких фор мальностей: «...удивляются, зачем это надо, раз я могу и без формальностей ничего не делать по примеру других. А я говорю, что я не "другой", а сам по себе. Не понимают!» [письмо к В. А. Сутугиной от 20 мая 1946 г.; А, оп. 3, № 27, л. 31].

Наконец с 1 июля 1946 года он получил официально полугодовой отпуск и тем самым отделался от администрирования, передав бразды правления И. Н. Винникову, «который теперь и пишет всякие программы, составляет планы, отчеты и прочее» [7 нояб. 1946 г.; там же, л. 43]. Увы, он не мог обойтись так же с университетской кафедрой: «Мой доцент Беляев все не может защитить докторскую диссертацию и неправомочен» [8 сент. 1946 г.; там же, л. 41 об.]. Сообщая своей корреспондентке об отпуске в ИВАН, он констатирует с грустью: «От заведования же кафедрой в университете мне не удалось избавиться, и там все по-прежнему — и лекции надо читать,

и планы составлять, и за ленивых преподавателей отвечать, и студентов в угол ставить... Поэтому и настроение у меня кислое: работать хочется, а для этого либо времени нет, либо от усталости сосредоточиться не можешь...» [там же, л. 43-13 об.].

Но не только из-за университетской загруженности не получалось с главными работами. С конца 1944-го и по 1946 год почти все время и силы, остающиеся от преподавания и административных дел, поглощал «Арабско-русский словарь» Х. К. Баранова. Выправленная с таким трудом во время войны корректура, на которой стояла его подпись, пропала, так что приходилось делать все заново [3 дек. 1944 г.; там же, л. 7 об.]. «Эта работа, — писал И. Ю. Крачковский в отчете по Академии за первую половину 1945 года, — при тяжести корректур, лежащих исключительно на мне (пересылка их в Москву ввиду спешности печатания оказалась невозможной), заставит меня на ближайшее время приостано-

321

вить все другие намеченные труды» [А, оп. 2, № 143, л. Н4 об.]. Кроме того, он редактировал 3-й выпуск сборника «Советское и<м токоведение» и библиографию трудов Бартольда (все ту же, составленную И. И. Умняковым), которой нескоро еще суждено было увидеть свет.

Когда работа над изданием словаря была завершена, Крачковский обратился не к «Географам», а к «Очеркам по истории русской арабистики». Несмотря на то что материал для этой книги, как мы помним, накапливался у него уже давно и некоторые раз дела даже были опубликованы, взяться за общее построение он долго не решался (похоже, что опять камнем преткновения оказывался переход от «анализа» к «синтезу»). Толчком, как он писал впоследствии в предисловии к книге, было упоминавшееся здесь предложение Московского университета дать краткий очерк истории русской арабистики для большой серии «Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры».

Статья увидела свет лишь через три года, осенью 1946-го, а поскольку писалась она в Москве, где многие пособия, и особенно собранные ранее им самим материалы по истории востоковедения, были ему недоступны, в статью вкралось довольно много неточностей. Естественно, сразу же захотелось их исправить, а тут как раз кончилось печатание словаря — и получилось, что «История арабистики» вытеснила «Географов», к тому же основной материал для нее был под рукой, а в «Географах» главы о XIX и XX веках требовали довольно трудоемкой работы в библиотеках, что по физическому состоянию его было тяжкоб.

В декабре 1947 года книга уже завершена [письмо к В. А. Су-тугиной от 7 дек. 1947 г.; А, оп. 3, № 27, л. 60 об.]. Параллельно с «Очерками» идет еще одна — собственно, не своя, но давно начатая и желанная работа: сборник «Памяти В. Р. Розена» [44], еще перед войной подписанный к печати и задержанный, который приходилось восстанавливать по сохранившемуся у Крачковского корректурному оттиску (набор погиб), и многострадальный розе-новский перевод «Повести о Варлааме и Иоасафе», некогда предлагавшийся еще «Всемирной литературе». Сейчас настал благоприятный момент: исполнилось сорок лет со дня смерти барона и приближалось

столетие со дня его рождения (1949), к тому же нельзя забывать о поднявшейся в послевоенные годы инспирированной сверху патриотической волне интереса к истории отечественной культуры во всех ее отраслях. Здесь и «Очерки по истории русской арабистики» оказались очень кстати, можно было надеяться, что они не залежатся в издательстве.

Но и помимо этих главных трудов, помимо редактуры словаря, Крачковский, как ни жаловался на болезни, усталость, «пустые хлопоты», все-таки сделал за эти годы немало по всем основным своим научным направлениям. Ему удалось опубликовать кое-что из написанного перед войной, в том числе одну из лучших своих

359

Работ посвященных классической арабской литературе, — маленькую монографию «Ранняя история повести о Маджнуне и Лейле в арабской литературе», в которой по-новому ставится и решается вопрос о реальности существования полулегендарного арабского поэта, чья несчастная любовь стала сюжетом многих художественных произведений на мусульманском Востоке. Не меньший интерес представляет и еще одна старая его работа, начатая очень давно и завершенная в июне 1941 года, — об источнике восточных повестей Сенковского, которые Крачковский возводил к популярной на Востоке антологии аль-Итлиди (XVII в.). Эта большая статья — как бы на стыке двух его излюбленных тем — русско-арабских литературных связей и истории арабистики, равно как опубликованные или написанные в эти годы «Перевод Корана Д. Н. Богуславского», «Арабский перевод "Истории Петра Великого"», «Один из первых исследователей восточных элементов "Слова о полку Игореве"». Быть может, и тут в дальнейшем мыслился некий синтез, итог — как в «Очерках по истории русской арабистики», которая частично касалась и этого материала?

Работа над «Очерками» не исключала и других статей по истории науки. Среди них были — увы! — два некролога, посвященных ушедшим в первые послевоенные годы ученикам, — А. П. Рифтину и Н. В. Юшманову.

Продолжил Крачковский и «кавказскую серию». Здесь, возможно, первым стимулом явилось издание «Хроники» Мухаммеда Тахира аль-Карахи, подготовленной Барабановым. В этой серии особо выделяется итоговая статья — «Арабская литература на Северном Кавказе» (1948), очень емкая, охватывающая и историю сложения этой литературы, ее распространения и изучения, и характеристику основных ее жанров. В конце Крачковский делает вывод о ценности этой литературы не только как исторического источника или литературоведческого материала, но и как «живого человеческого документа»⁷ и снова выдвигает ее изучение в число первоочередных задач советской арабистики [27, с. 622].

Он подвел итоги и по новоарабской литературе — миниатюрной книжечкой «Арабская литература в XX веке» (всего на два листа), выпущенной издательством Ленинградского университета. Для этого очерка характерен уже не энциклопедический подход, какой был в статье 1934—1935 гг., что соответствовало тогдашнему заказу, а исследование истоков, корней, периодов, направлений и школ, которые теперь уже прослеживались вполне отчетливо. При этом

Крачковский сохранял свой обычный подход к литературе как к искусству, творимому живыми людьми. Это очень ярко сказалось в даваемых им характеристиках тех или иных литературных явлений, отдельных писателей и их произведений. Отвергая сухую наукообразность и трафаретность оценок, он почти не употреблял таких классификационных определений, как «классицизм», «романтизм», «сентиментализм», «реализм» и т. п., вооб

323

ще, избегал современной литературоведческой терминологии. Он словно не хотел лепить ярлыки, чувствуя зыбкость их содержания, изменчивость его со временем. Однако даваемые им характеристики, порой даже беглые замечания очень метко и емко определяли самую суть характеризуемого 8.

Конечно, очерк не мог считаться исчерпывающим, ведь материала для полной картины катастрофически не хватало, несмотря на широкие связи Крачковского с арабским литературным миром: до него не доходила и половина высылаемых ему книг — они оседали в ВОКС, в спецхранах, даже в кое-каких личных библиотеках; регулярного же официального книгообмена не было в ту пору ни с одной арабской страной. Крачковский думал об этом с большой горечью: и эта линия исследований, которыми он славился в мировой арабистике, уходила в песок 9...

Естественно, он, как и прежде, откликался статьей или докладом на каждую значительную новую арабскую книгу, но ведь это были единичные факты и не всегда легко было уловить возникновение каких-либо новых литературных явлений 10

Но так или иначе — наступило время подведения итогов. Для Крачковского это был всегда вполне осознанный акт, которому он издавна придавал большое значение. «Итоги нужны в каждый данный момент для науки, — писал он сразу после революции, — это не для всех убедительно, но гораздо важнее, что они нужны и для жизни. С особенной настойчивостью говорят эти итоги о своей законности в моменты великих потрясений, и социальных, и неизбежно с ними связанных умственных, которые знаменуют собой этапы в духовном развитии человечества» [62, № 1, с. 68]. «Моментом великих потрясений» во всех отношениях была теперь только что закончившаяся вторая мировая война. А может быть, подталкивало к подведению итогов и неоставляющее чувство, что собственная жизнь близится к закату? Поэтому и работал с напряжением всех жизненных сил, преодолевая болезни и сетуя на помехи. А окружающие вряд ли понимали, как ему тяжело.

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ

Итоговой — по всем линиям — была и книга «Над арабскими рукописями». Пройдя между всеми издательскими Сциллами и Харибдами, она вышла в свет накануне Дня Победы и вид имела весьма скромный: обложка из плотной белой бумаги с синими буквами, убористая печать и ни одной иллюстрации, если не считать фронтисписа, представляющего собой увеличенное изображение экслибриса Крачковского, только без надписи, да двух-трех снимков с арабских рукописей. Игнатий Юлианович недоволен был ни

внешним оформлением книжки, ни редакторской правкой, против которой он воевал долго и упорно, но не всегда успешно, так что, по словам В. А. Крачковской, текст в первом издании был «изуродован» [А, оп. 7, № 35, л. 64]11.

Крачковский ожидал выхода книжки в свет с некоторым страхом. Да, конечно, он уже не раз читал отдельные ее главы в среде достаточно компетентной — и всегда с успехом. Но то отдельные миниатюры, да еще воспринимаемые на слух, а тут — целая книга, которую будут читать. Конечно, старый друг Алексеев читал, а не слышал, но можно ли полагаться на его мнение, зная его восторженность? Да и читал он не все.

В Крачковском словно проснулась прежняя неуверенность. Писал он книгу с любовью, с вдохновением, перед глазами заново проходили счастливые эпизоды жизни, они цеплялись друг за друга ассоциативно, без хронологической последовательности — совсем как в «Книге назидания» сирийского эмира Усамы ибн Мун-кыза, перевод которой он когда-то редактировал для «Всемирной литературы». И тем не менее все одолевала неловкость, что поддался он такому неожиданному увлечению, и все хотелось оправдаться перед теми, чьим мнением он дорожил, а в первую очередь, наверное, перед самим собой.

«В Москве я мог заняться единственным не совсем подобающим ученому делом: написал книжку под названием "Над арабскими рукописями" — полумемуарного, полупопулярного, полулитературного (если бывают три половины) характера, — писал он В. А. Сутугиной 19 сентября 1944 года. — До сих. пор не знаю, стоило ли ее писать, но некоторые главы так меня мучили, что я должен был, чтобы избавиться, написать их» [А, оп. 3, № 27, л. 3 об.]. Хоть как-то оправдать обращение его к этому жанру могли бы высокие литературные достоинства мемуаров, но беда в том, что в них-то он далеко не был уверен. Поэтому особую ценность имел для него отзыв Сутугиной, которая еще во «Всемирной литературе» слыла строгим критиком — от нее доставалось и М. Л. Лозинскому, и Е. И. Замятину, и Ф. Сологубу.

Ей он послал книгу одной из первых. «Рукописи» появились в продаже 5 мая, а уже 21 мая 1945 года Сутугина пишет ему: «Ваши мемуары, Игнатий Юлианович, очень хороши. Давно уже я не читала ничего с таким наслаждением... С каждой страницы Ваш облик — как раз доказывает, что Вы такой, каким я себе всегда представляла Вас... А кроме того достоинство ее еще и в том, что она написана чрезвычайно хорошо — в Вас помимо всех талантов еще пропадает настоящий писатель. Наконец и то, как она построена, тоже очень интересно, удачно и не шаблонно. И действительно эти встречи с рукописями воспринимаются как встречи с живыми людьми и их любишь, волнуешься за них вместе с Вами, как за живых и дорогих друзей» [А, оп. 3, № 513, л. 24]12.

По ответу Крачковского видно, с каким нетерпением он ожидал ее. суда: «От Вашего отзыва я "воспрянул" не менее, чем Вы от книжки. Вы столько перевидали и перечитали на своем веку настоящих литераторов, что хочется думать, что Ваше мнение не

только отражает рикошетом Ваши добрые чувства, но и "объективные" качества столь неожиданной для меня книжки. А я ее действительно люблю: это какой-то незаконный мой ребенок, а ведь говорят, что незаконных детей любят больше, чем законных. Она у меня вылилась в известной степени как-то неожиданно для меня самого, в известной степени непроизвольно, а говорят, что иногда это признак вдохновения [4 июня 1945 г.; А, оп. 3, № 27, л. 15].

Итак, Крачковский как будто успокоился, тем более, как он уже убедился за месяц, многих его «Рукописи» заинтересовали. Но ему и в голову не приходило, какой читательский резонанс они вызовут.

Судьба у этой книжки оказалась удивительная. И выглядела-то она неказисто, и содержание ее было далеким от насущных проблем, да и стиль — лирический, интимный, порой даже сентиментальный — как будто не соответствовал духу времени... А вот стала она, несмотря на все это, как сказали бы сейчас, бестселлером, была мгновенно раскуплена, и за три года (1945—1948) вышла тремя изданиями, не считая перепечатки нескольких глав в «Библиотечке "Огонька"». Эта книга, по признанию самого автора, была «популярнее любого романа, так что продавали ее не больше одного экземпляра в руки, да и то по предварительной записи» [письмо В. А. Сутугиной от 15 июля 1945 г.; там же, л. 16 об.].

Второе издание, появившееся уже в 1946 году по инициативе С. И. Вавилова [А, оп. 2, № 163, л. I]13, выглядело по-другому: в переплете, с фотографиями, и экслибрис занял подобающее скромное место на титульном листе. Крачковский добавил в книгу два новых раздела: давно задуманный — «Тени предков» и несколько отходящий от «рукописной» темы — «Арабские писатели и русский арабист». Над текстом в издательстве работал другой редактор (А. А. Воробьева), и Крачковскому удалось восстановить все, что было загублено в первом издании. Именно второе издание сам автор считал «наиболее аутентичным» [А, оп. 3, № 27, л. 71], потому что уже третье (1948) подверглось «легкой ретушировке в некоторых местах» 1А, оп. 3, № 37, л. 239 об.]. Было много рецензий в советской и зарубежной прессе14, один за другим появлялись переводы на арабский, французский, испанский, английский, немецкий языки — сначала отдельные главы, а затем и вся книга полностью [см. 27, т. 1, с. 144—146].

Разнообразные неофициальные отклики вызвала книга в научной среде. Сам Крачковский пишет об этом Сутугиной в письме от 4 июня с большим юмором: «Говорят о ней много, а я обыкновенно подсмеиваюсь. В послесловии я уже писал, что некоторые ду-

363

мают, что я все это выдумал. Другие посматривают на меня недоверчиво и сознаются, что никак от меня этого не ожидали. Подозревают даже участие какого-то литератора — "оформителя", кто-то уже решил, что это Тынянов... Один эрмитажник заявил, что в книге мало научности, из Ростова же декан исторического факультета пишет, что книжка читается с трудом и над ней надо много думать. Но во всяком случае, она всколыхнула нашу братию и большинство все удивляется, как я выкинул такую штуку, кажется, не молод. Один историк СССР горюет, что у них нет такой книги, а архивист недоумевает, как у них никто до сих пор до этого не

додумался... Развлечения это доставляет мне немало — не меньше, чем в свое время писание» [л. 15 об.].

Люди, причастные к востоковедению или вообще к рукописному делу, радовались тому, что Крачковский в своей книге пропагандирует — и как удачно! — мало популярную область «кабинетной» филологической работы¹⁵. Характерно, что коллеги Крачковского постоянно подчеркивали именно воспитательное значение книги, пользу, которую она должна принести молодежи. В частности, В. И. Филоненко, старый друг по коллегии, долготетный корреспондент Крачковского, выразив свой восторг по поводу книги, пишет далее с грустью: «Одно мне было горько, что слишком поздно я прочел Вашу книжку, когда мне шестьдесят лет, а не тогда, когда я был неразумным студентом Восточного факультета. Иначе сложилась бы моя жизнь... Для молодого начинающего ученого Ваша книга имеет большое воспитательное значение. Она указывает путь к высокому и прекрасному» [А, оп. 3, № 922, л. 266 об.].

А вот и свидетельство «пропагандистской» силы книги — постскрипtum из письма востоковеда А. М. Беленицкого: «В больнице вместе со мной на излечении находился молодой человек из провинции, окончивший среднюю школу, который по прочтении Вашей книги "Над арабскими рукописями" решил поступить на Восточный факультет» [А, оп. 3, № 112, л. 5 об.]. Другой известный пример — книга Крачковского перевернула судьбу студента казанского истфака Петра Грязневича, ныне заслуженного петербургского арабиста, исследователя Южной Аравии. История эта рассказана им в книге «В поисках затерянных городов» [15, с. 178—179]. А мы, преподаватели, знаем, что многие студенты-востоковеды 50—60-х годов «родом» из этой книги.

Сам Крачковский признавал, что книга его преследует и пропагандистские цели, то есть вряд ли он ставил перед собой эту задачу, когда начинал писать, скорее осознал ее потом и, повинувшись своей популяризаторской жилке, не отказался от нее. В предисловии к первому изданию, датированном августом 1943 года, он писал: «Я не скрываю, что хотел именно пропагандировать свою область, полным голосом заговорить про восточную филологию... Вспоминая свои переживания над рукописями, я не мог не гово

рить о том, как малейшая деталь работы здесь связывается с широкими вопросами истории культуры, как все в конечном итоге вливается в мощное движение на пути к высоким идеалам человечества» [28, с. 5—6]. Вот на это второе обстоятельство — связь с широкими вопросами истории культуры — его коллеги почему-то меньше обратили внимание, глядя на книгу прежде всего с профессиональной точки зрения.

Востоковедов старшего и среднего поколения привлекали к «Рукописям Крачковского еще и воспоминания молодости, ведь в ней фигурировали их учителя, порой описывались события, свидетелями которых они были или о которых слышали. Теперь все это воскресало вновь, порой высвеченное по-другому¹⁶.

Но гораздо более удивительным был успех книги у массового читателя. Думаю, Крачковский не ожидал такого потока писем от

людей различных профессий, различного возраста и душевного склада.

В. А. Иванов писал автору: -«Книга очаровательна, но для немногих, именно тех, которые так или иначе были причастны к тому особому миру, "преддверию экзотики", который для широкой публики довольно чужд» [8 февр. 1950 г.; А, оп. 3, № 388, л. 55]. Он ошибался — или просто отвык от русской публики, проводя много лет за границей. Оказалось, что совершенно далекие от востоковедения люди, взяв в руки эту книгу, не могут от нее оторваться. Одна читательница рассказывала, как перед Пасхой, поставив вечером тесто на куличи, решила, пока тесто не подойдет, полистать «Рукописи», чуть ли не насильно всученные ей кем-то из друзей. Открыла книгу — и очнулась только тогда, когда дошла до последней страницы, а тесто за это время успело вылезти из квашни.

Другой читатель, полковник в отставке, ожидая на платформе пригородного поезда, отобрал книжку у мальчишки, который с ней баловался, сел на скамейку, стал читать — и не встал, пока не закончил, а поезд тем временем давно прошел.

Т. Цявловская рассказывает еще одну «железнодорожную» историю: «Есть у нас приятель — очень милый, чистый, горячий человек. Старик, много детей, много внуков, трудная озабоченная жизнь. Живет за городом. Взял читать Вашу книжку. Читал в поезде. Не только свою станцию проехал, но и все следующие. Оторвался от возгласа: "Гражданин! Конечная станция!" Он вез обожаемым внукам хлеб...» [А, оп. 2, № 94, л. 16—16 об.].

В чем же была тайна увлекательности этой книги, где и действия-то почти нет, всё библиотеки да рукописные хранилища?

Листаем рецензии. Все они отмечают полезность новой книги Крачковского: она «вводит читателя в филологическую лабораторию»; «призывает к вниманию и уважению ко всем гуманитарным наукам»; она «расширяет кругозор»; это «подлинный гимн человеческому знанию и науке», «блестящие страницы из истории оте

327

чественной арабистики». Она «раскрывает тему романтики труда», может «послужить путеводным огнем для учеников». Она написана «светлым и прозрачным» языком, люди изображены в ней «живо и полнокровно»; от нее «веет человеческой гуманной теплотой к людям».

Это все очень правильные рецензии, объективные, доброжелательные, но они написаны (или отредактированы) так, как принято было тогда писать, словно обезличенно. Гораздо больше можно извлечь из читательских писем, и да простят меня за обширные цитаты — пересказывать их занятие неблагодарное.

Н. С. Малевский, инженер-строитель (7.VIII. 1949): «Теперь я совсем по-другому воспринимаю радости и огорчения моей повседневной работы, с другим чувством переступаю порог библиотек, книги и люди науки стали мне ближе» [А, оп. 3, № 586, л. 1].

Л. В. Веприцкая, литературный работник: «Книга на моем столе, и снова я перелистываю ее, и вчитываюсь в отдельные места, и с грустью думаю о разлуке с нею, как с добрым другом — столько

мыслей и чувств, такой живой отклик вызвала она во мне. Спасибо Вам за часы радости, которые дала мне Ваша книга! И за радость познания, когда передо мной раскрылась "терра инкогнита", полная интереснейших событий, историй, рукописей и, главное, людей, оживленных Вашим талантом писателя и ученого. И за то главное... — за тот дух гуманизма, которым пронизана вся книга. За Вашу веру в науку, вечно живую и развивающуюся, несмотря на все препятствия» [А, оп. 3, № 220, л. 1].

Т. В. Кривцова, библиотекарь, рассказывает, какой огромный спрос имеет книга у них в библиотеке; пишет и о своем впечатлении: «В самом деле, почему эта книга имеет для меня такую чарующую и притягательную силу? Думается мне, оттого, что она, как ни одна другая, затрагивает все лучшие и благородные чувства культурного человека (с большой буквы)» [А, оп. 3, № 498, л. 47 об.].

Т. Л. Щепкина-Куперник: «...такой чистотой благородно прожитых годов, такой скромностью полна эта чудесная книга, что прочитав ее — получаешь какие-то новые силы и указание пути. Верьте, это не фразы. Мы с Вами современники, вероятно, ровесники, и расточать неискренние похвалы у меня уже не остается времени» [А, оп. 3, № 1039, л. 1].

Из письма И. Ю. Крачковского З. Б. Мухаммедовой: «Недавно приезжал из Москвы один инженер со специальным поручением благодарить меня от некоего "коллектива" инженеров, врачей и конструкторов, которых моя книга очень поддерживает в работе. Бывает же игра в природе» [А, оп. 3, № 650, л. 66 об.].

И еще одно письмо. Подпись я не смогла разобрать, но приведу из него большую выдержку — по-моему, оно как нельзя лучше объясняет причину читательской популярности книги «Над арабскими рукописями»: «...читатели — друзья Ваши, и это сделала

328

Ваша книга с таким — казалось бы — специальным и узким заголовком. За ним читателю вдруг неожиданно открылся широкий мир не узких, а больших человеческих отношений, мир одухотворенных рукописей и работающих над ними людей — работающих с таким бесконечным забвением своих личных и маленьких эгоистических интересов, "слишком человеческих". Я долго еще, по прочтении книги, находился под впечатлением знакомства с этими людьми, с их бескорыстной и героической любовью к науке... Какой-то большой — не декларативной, а стихийной человечностью — "гуманизмом" — и большой светлой свежестью бытия от соприкосновения с такими людьми и с такой наукой — повеяло от Вашей книги, и как-то легче стало вдруг... Мне кажется, что это действие Вашей книги на сжавшуюся душу человека будничного существования можно сравнить с влиянием нетленной красоты Луврской Венеры на душу русского интеллигента, которое Гл. Успенский определил как "выпрямление". Ваша книга поистине "выпрямляет" — таким свежим дыханием человечности, любви к человеку и к творчеству, воскрешенной верой в него веет от нее. За эти минуты спасибо Вам большое!..

Но прежде всего и важнее всего то, что не рассказанные Вами люди, а сами Вы — такой! И это — главное в книге, что светится в

ней и доносится читателю: ведь книга всегда и исповедь о себе» [А, оп. 3, № 94, л. 23].

Приведенное здесь — лишь ничтожная часть того, что сохранилось в архиве, вершина айсберга. Но по этим письмам видно, что не только неизведанный мир старых рукописей привлекал читателя, не только открытие возможности романтического поиска в области, доселе казавшейся сухой, скучной, оторванной от жизни, — больше всего привлекала личность автора, чистота и доброта его духовного мира, которая казалась удивительной на общем жестоком фоне. Едва окончилась война — загремели залпы постановлений партии и правительства, направленные на подавление интеллектуальной жизни страны, — о журналах «Звезда» и «Ленинград», об опере «Великая дружба», о кинофильме «Большая жизнь»; прошла печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, началась борьба против космополитизма, имевшая явный антисемитский душок... Эпидемия всеобщего взаимного недоверия, ожидаемые и неожиданные предательства, трагедии сломанных жизней одних и головокружительные карьеры других на обломках чужого счастья. И все это обволакивается словами, словами, словами — звонкими, стандартными, лицемерными. Впрочем, кто-то, может быть, им и верит, но, верят или не верят, понимают: таков порядок, если не хочешь сгинуть, и самое большее, что можешь при этом, — сохранить личную порядочность, не запятнать себя предательством или участием в поголовном оголтелом осуждении инакомыслящего.

И вдруг книга открывает тебе иной мир — мир науки не карьеристской, но подлинной, где ценностями являются не научные

329

или государственные посты, не принадлежность к той или иной касте — а открытия, пусть даже совсем маленькие, и честный труд, ведущий к ним. И мир этот чистый и возвышенный, и в него веришь, потому что веришь автору, рассказывающему о нем искренне, не затертыми штампованными фразами, не поминая всуе о своем патриотизме, не клянясь в верности идеалам марксизма-ленинизма, а своими собственными, идущими от души словами, с подкупающей добротой по отношению к покойным учителям, к ученикам, к читателям... Это не уход от жизни — нет, это повседневность, то, что называется «трудовые будни», на которые накладывает отпечаток все, происходящее вокруг, но все равно это иной мир, потому что в нем иные нравственные понятия, мир мысли, чести, поиска и добра.

Советские рецензенты не могли сказать обо всем этом в полный голос, хотя кое у кого (например у Е. Скржинской в «Вестнике АН» или у В. М. Штейна в выступлении по Ленинградскому радио) и подчеркивается «человеческая гуманная теплота к людям» или утверждается, что «такую книгу мог написать только ученый мирового масштаба, в груди которого, вместе с тем, бьется большое благородное, истинно человеческое сердце» [А, оп. 2, № 79, л. 6].

Европейских арабистов больше всего подкупала эмоциональность рассказа о работе над рукописями и то, как Крачковский связывает эту работу с проблемами мировой культуры. Его личности они тоже отдавали должное, но скорее — личности ученого, и радовались, что благодаря книге «Над арабскими рукописями» его имя становится известным в более широких европейских кругах [7].

А русские читатели по-человечески доверяли ему, писали письма, советовались по различным жизненным вопросам, искали у него утешения, и он старался на все письма отвечать. Так в его жизнь входили со своими волнениями и бедами все новые и новые люди, которых книга Крачковского поддерживала в трудные минуты.

«Пишу... от имени одной прекрасной, но глубоко несчастной женщины, Е. В. Бываловой, вдовы писателя, которая год назад потеряла единственного сына... Как благодарит она за Вашу книжку! (правда, я почти насильно уговорила ее прочесть ее). Я предвидела "целебное" свойство "Арабских рукописей" и так счастлива, что чутье меня не обмануло — ведь в первый раз после мучительного года душевных страданий она отдохнула душой над Вашей книжкой!» [29 сент. 1949 г.; А, оп. 3, № 498, л. 109].

Юная туркменка, будущий востоковед З. Б. Мухаммедова, переписка с которой тоже зародилась благодаря этой книге, сообщает, что по примеру Игнатия Юлиановича она научилась просиживать в библиотеке целые дни, стала читать серьезные научные труды, а с «Рукописями» не расстается, они вылечивают ее от усталости, от всех болезней. «Вот что делает Ваша книга — спасает» [А,

330

оп. 3, № 650, л. 6—6 об.]18. И вот уже переписка с Игнатием Юлиановичем для нее необходима, это великая моральная поддержка: «Только Вы для меня служите лучом надежды в море бед... Если бы не Вы, не "Рукописи", может быть я вообще разучилась бы верить во что бы то ни было» [там же, л. 136].

По переписке видно, как психологически трудно дается девушке вступление в тогдашний научный мир и как Крачковский становится ей подлинным духовным отцом, выслушивающим ее излияния, дающим мудрые советы, успокаивающим, выводящим на верный путь. Именно ей — в связи с «Рукописями» — оп повторяет мудрый завет своего отца о роли науки в жизни человека: «Меня очень радует, когда я вижу, что она (книга "Над арабскими рукописями". — А. Д.) вызывает интерес и представителей молодого поколения, которому принадлежит будущее. Мне кажется, что и сама книжка смотрит не только в прошлое, но и в будущее: таково свойство настоящей науки, и в работе над ней всегда найдется успокоение и поддержка даже тогда, когда это прошлое тяготеет гнетом. Надо только не поддаваться минутным настроениям подавленности, а постепенно овладевать ими» [А, оп. 3, № 1098, л. 1—1 об.].

Была в письмах, связанных с этой книгой, и одна подлинно «Достоевская» история. Однажды книга Крачковского попала в руки женщине с очень трудным, несколько истеричным характером, считавшей себя непризнанным литературным талантом, много горя из-за своего характера испытавшей. Попала в очень трудную минуту, когда нервы были на пределе: «Меня уже больше ничего не интересовало на свете, оставалась одна боль умиранья... Но первые же мысли этой книги захватили и остановили меня, и так начался процесс выздоровления. Я пила из обретенного чистого источника с жадностью истомленного в пустыне и отравленного ядом...

Ваша книга была для меня пришедшим другом в минуты боли, отчаяния, безумия, разрушения, смерти» [А, оп. 3, № 68, лл. 105, 123 об.]19.

У этой женщины была дочь лет десяти, с таким же сложным и необычным характером, а потому всеми преследуемая в школе. Однажды, тяжело обиженная, она пришла домой в слезах: «Все люди подлые! Ненавижу всех! Не хочу жить на свете!» Далее привожу рассказ матери:

«Я ей сказала: не все люди плохие, есть и хорошие. — Назови мне хоть одного. Я назвала Вас и рассказала по возможности. — А что он делает? — Воскрешает умерших поэтов. — Он чародей? — Нет, ученый. — А его можно видеть, этого человека? — Нет, он очень занят. — Но я хочу на него посмотреть. Может, если я его увижу, я опять поверю в дружбу... Вы спасли репутацию всего человечества», — заключает она свой рассказ [А, оп. 3, № 68, л. 124—125].

331

Девочка набрала за городом ландышей, принесла Крачковско-му на квартиру, но не застала ни его, ни Веры Александровны. Стала писать письма — трогательные, доверительные, рассказывала о своих школьных делах, обидах, неудачах, в любви объяснялась, посылала свои фотографии, сказки собственного сочинения, в которых он был главным героем. Время от времени он отвечал ей, даже фотографию свою прислал, чтобы показать, какой он старый. И наверное, это были ласковые, мудрые, уважительные письма, потому что потом, когда его уже не станет, она напишет Вере Александровне такие пронзительные слова: «А он уважал во мне человека и подарил мне такую нежность, равной которой нет. Для всех я была блоха, скотина, вещь. Друзья меня любили как ребенка. И только он один — как человека, не принижая» [А, оп. 8, № 74, л. 31 об.].

Удивительно: он жаловался на то, что силы иссякают, времени не хватает на настоящую работу, — а в то же время считал необходимым поддерживать, сколь возможно, переписку с незнакомыми людьми, которых всколыхнула его книга. Была ли это свойственная ему обычная джентльменская вежливость или, отвечая человеку, ищущему у него поддержки, он чувствовал, что выполняет свой христианский долг, и сам получал от этого облегчение в последние нелегкие годы своей жизни?



24

ГЛАВА ,XIV

На вершине славы — или у разбитого корыта?

ДОВОЛЬНО, ДОВОЛЬНО, ДОВОЛЬНО!

Выйти из полосы болезней было трудно — «выстарился», как он сам говорил о себе, употребляя белорусское выражение [письмо В. А. Сутугиной от 7 дек. 1947 г.; А, оп. 3, № 27, л. 60 об.]. Весь сорок восьмой год прошел под знаком плохого самочувствия, он быстро утомлялся, повторялись боли в сердце. Доктора велели ему соблюдать диету, а кроме того — в мороз не выходить, когда ветер,

не выходить, днем обязательно лежать и даже не говорить громко [там же, л. 60 об., 61 об.]. Вдобавок еще экзема замучила [27 февр. 1948 г.; там же, л. 64]. В ноябре, во время эпидемии, подхватил грипп — принял сорок уколов пенициллина. В марте сорок девятого — снова очень тяжелый грипп, в апреле он ложится на обследование в лучшую больницу Ленинграда («Свердловскую»), обнаружен хронический тонзиллит, выжигают миндалины. В июне — острый сердечный приступ. На следующий год — снова простуда и грипп.

Конечно, Вера Александровна вытаскивала его из всех болезней, обеспечивала ему идеальный уход, тем более что с конца 1947 года у нее появилась отличная помощница¹. Но ему необходима была крепкая поддержка на работе, и особенно в Университете, где много сил забирают и лекции, и административные дела. А получалось так, что опереться по-настоящему было не на кого. С горечью пишет он В. А. Сутугиной: «В некоторых отношениях, очевидно, многим суждено оставаться при старом разбитом корыте. Я отчетливо сознаю сие по себе, ибо уж не у меня ли были благоприятные условия и обилие всяких учеников, а теперь дело свелось к тому, что не только нет настоящего помощника, а подчас и некому рассказать, если узнаешь или найдешь что-либо интересное по своей части» [А, оп. 3, № 27, л. 60]².

Надо было бы уйти от заведования кафедрой — но В. И. Беляев все никак не может кончить диссертацию: «кунктатор еще худший, чем я», — пишет Крачковский о нем Филоненко [15 мая

332

1948 г.; А, оп. 3, № 37, л. 237 об.], вспоминая, как сам тянул с магистерской диссертацией. В кафедральном плане срок окончания диссертаций у всех трех его сотрудников — 1949 год (у Беляева и Писаревского — 1 сентября, у Ковалевского — без точной даты [А, оп. 2, № 249, л. 8]). Ни одна не была закончена вовремя, а Ковалевский, прожив год в аспирантском общежитии, так и не получив хотя бы комнаты (я уж не говорю о квартире) в Ленинграде, в 1948 году вынужден был вообще покинуть Университет и уехать в Харьков, сохранив докторантуру в ИВАН. Кроме всего прочего, вдруг оказалось, что тема диссертации Беляева под сомнением: «В руководящих сферах Института заметили, что этот историк X века (диссертацию о котором писал Беляев. — А. Д.) стоял близко к придворным кругам халифата и не может быть признан прогрессивным с нашей точки зрения, в чем едва ли кто-либо когда-либо сомневался. Тема диссертации была поставлена под вопрос, статьи, посвященные частично этому автору, тормозились настолько усердно, что ни одна из них не вышла в свет, издание безнадежно задерживалось» [из выступления И. Ю. Крачковского на открытом партсобрании ИВАН; А, оп. 2, № 175, л. 141].

Не выполнялся и план подготовки учебных пособий: из всего задуманного была доведена до конца только литографированная хрестоматия классических текстов, составленная Писаревским; правда, вышла она с опозданием и текст ее был очень плохо выверен.

В это время выплыла еще одна старинная важная задача: составление свода арабских источников по истории народов СССР, о

чем Крачковский, как говорилось выше, подавал специальную записку в начале 30-х годов. Систематическая работа тогда начата не была, ибо руководству сроки показались завышенными; теперь же, в период всяческого поощрения патриотических тем, вновь встал вопрос о реализации прежнего плана, но не оказалось ни одного свободного сотрудника, кто мог бы посвятить себя исключительно выполнению этой работы.

Однако Крачковский, не привыкший отказываться ни от одной поставленной перед арабистикой актуальной задачи, считал, очевидно, что его сотрудники должны взяться и за нее. Сам он, обремененный болезнями, занятый подготовкой к печати «Очерков» и дополнениями к словарю Х. К. Баранова (да к тому же еще и «Географы» были не закончены!), не мог принять в этом участия. Все ложилось на плечи Беляева и Писаревского (Ковалевский к этому времени уже уехал).

Была составлена подробная записка об издании двух сводов: «Арабские географы о народах СССР» и «Арабские источники по истории народов СССР». В декабре 1948 года был заключен договор с Государственным издательством географической литературы на первую книгу (в договоре она именовалась «Арабские геогра

333

фические источники о народах СССР»). Первоначальный срок представления — очевидно, слишком оптимистично — был намечен на 1 мая 1949 года; потом одна за другой пошли отсрочки, о которых ходатайствовали И. Ю. Крачковский и президент Географического общества Л. С. Берг, но работа так и не была представлена, и осенью 1950-го договор был расторгнут.

И еще в одном деле подвели его ученики; кроме двух названных, здесь следует упомянуть еще И. Н. Винникова. Сейчас уже трудно установить, самому ли Крачковскому или кому-нибудь из троих пришла в голову идея об издании тома его работ по новоарабской литературе, и вот что из этого получилось: «Я говорил, что это дело не такое простое и требует довольно кропотливой подготовки. Все ученики, конечно, доказывали, что они проведут все это "коллективно" и мне будет мало труда, а теперь, когда получено разрешение и надо представить быстро рукопись, оказывается, никто ничего не сделал и теперь все это опаздывает. В результате мне самому приходится возиться и с переводом, и со счеткой, а они все попрятались по кустам» [письмо от 27 февр. 1948 г.; А, оп. 3, № 27, л. 64 об.].

Почему же все-таки так получалось? Что касается В. И. Беляева, с которым я после смерти Игнатия Юлиановича работала еще почти четверть века, то мне дело представляется так. Он был верным учеником и последователем И. Ю. Крачковского по части преданности делу и сверхдобросовестного к нему отношения. Какая бы то ни было небрежность была противна его натуре, он одинаково серьезно относился как к своей и чужой научной работе, любому мелкому вопросу, так и к составлению любой канцелярской бумаги — стандартной (по тогдашним требованиям) студенческой характеристики или стереотипной преамбулы отчета, которую никто никогда не читал, и т. п. Он тщательно обдумывал каждое слово, заносимое на бумагу, каждый нюанс переводимого текста, а

поскольку он действительно по натуре своей был кунктатором, дело у него всегда двигалось крайне медленно. Кроме того, он не мог заниматься одновременно несколькими темами, ибо не обладал способностью легко переключаться с одной работы на другую, как это было свойственно его учителю. И еще одна особенность: Виктор Иванович совершенно не умел рассчитывать время, он вечно опаздывал, не укладывался в часы, отведенные для лекций, просрочивал корректуры. Как это ни парадоксально, его необязательность, на мой взгляд, являлась плодом именно предельной его добросовестности, была его бедой, а не виной.

Л- 3. Писаревский же, мне кажется, относился к тем людям, которые абсолютно не способны к систематической работе, и надеяться на него в больших научных начинаниях вряд ли было можно, не говоря уже о том, что у него всегда много времени занимало библиофильство.

334

Никто на кафедре не мог стать опорой Крачковскому и по части административных дел: сотрудники привыкли к тому, что Игнатий Юлианович все берет на себя, а они — ведомые³. Его соратники, вероятно, не понимали по-настоящему, какими тяжкими для него стали «руководящие» обязанности. К тому же ближайший кандидат на заведование кафедрой В. И. Беляев не был по натуре организатором и никакой инициативы по этой части не проявлял. И. Н. Винников, взявший на себя административные дела по Арабскому кабинету ИВАН, на факультете заведовал кафедрой ассириологии и габраистики. Самый же молодой из «оперившихся» учеников, Т. А. Шумовский, последняя надежда, после успешной защиты диссертации в июле 1948 года вернулся в Боровичи, а в январе 1949-го был арестован вновь и приговорен к десяти годам лагерей. Письмо И. Ю. Крачковского, направленное председателю Верховного Совета Н. М. Швернику, результата не дало.

Чем дальше, тем сильнее становится желание оставить Университет, ибо преподавание «засасывает всякими мелочами, а "смены" все равно никак не дождешься. Если уйдешь, она волей-неволей обнаружится» [письмо к В. И. Филоненко от 4 марта 1949 г.; А, оп. 3, № 37, л. 241).

Тревогу должны были вызывать и некоторые события в институте. В январе 1947 года в отделе аспирантуры АН началась непонятная волокита с утверждением Х. И. Кильберг докторантом в Арабском кабинете — под предлогом якобы отсутствия вакансий и опоздания с оформлением⁴; в ноябре 1947-го из кабинета был уволен И. Н. Винников. Эти акции пахивали уже антисемитизмом, который вскоре дал о себе знать в полную силу во время кампании борьбы с «космополитизмом». Крачковский протестовал против увольнения Винникова и устно, и письменно, добился резолюции президента Академии о восстановлении, но отделение не торопилось с отменой своего решения. Тогда в марте 1948-го Крачковский подал заявление об уходе из института на имя директора ИВАН и в ОЛЯ и довел свое решение до сведения президента. Винникова сразу же восстановили на работе; Крачковский хотел было воспользоваться случаем и «узаконить» свой уход из ИВАН, но, пишет он Сутугиной, «меня

умолили заменить полугодовым отпуском без сохранения содержания... Согласился, главным образом потому, чтобы не разваливать дальше полуразвалившиеся за полгода дела» [6 мая 1948 г.; А, оп. 3, X? 27, л. 67 об.].

Впрочем, от ухода в отставку «по всем статьям» Крачковского удерживало не только чувство долга, но и материальные соображения, которые с нравственным долгом тоже были связаны. Он привык помогать своим нуждающимся друзьям и ученикам (их письма пестрят благодарностями за помощь), да и в семье, приходилось рассчитывать не на двоих и даже не на троих: «Когда проживешь долго, то как-то обрастаешь разными племянницами и их детьми, которые оказываются на твоей пенсии, и как их оста

335 вишь, пока кое-как тянешь» [6 янв. 1948 г.; там же, л. 62 об.]. Речь идет, разумеется, о родне Веры Александровны, у него ведь в России не осталось никого.

С 1948 года прибавились еще новые расходы по даче, которую он получил в академическом поселке на ст. Келомякки (Комарове) на Карельском перешейке. Он долго отказывался брать эту дачу, предвидя хлопоты и расходы, но сдался наконец на уговоры Веры Александровны — и потом не жалел. Вспоминая родимые Черкасы, он выбрал себе комнату на самом верху, окном прямо в сосновый лес, и мужественно терпел неудобства первого года дачной жизни. «Своим летним пребыванием я доволен, — писал он в конце сентября В. А. Сутугиной. — Кажется, ни в один из летних перерывов не удавалось еще так основательно избавиться от надоевших физиономий» [там же, л. 71]. О том, что в Келомякках обстановка спокойнее, чем в санатории, он не раз помянет и позже, в других письмах. Да, Вера Александровна хорошо знала, что ему нужно.

Итак, круг замкнулся: от чердачного окна ранней юности до чердачного же окна последнего дачного приюта. И тоже сосны перед глазами, «которые, правда, не чета нашим литовско-белорусским» [7 авг. 1948 г.; там же, л. 70 об.]. Все упорней растет желание «уйти в отставку и уподобиться Толстому» [25 сент. 1948 г.; там же, л. 71] — уж очень хорошо без «надоевших физиономий»!

И обстановка, и мысли располагали к подведению жизненных итогов. В первое же келомяжское лето (точнее, между 5 и 15 сентября) он пытается это сделать. «Написал, наконец, курьезную вещь, — сообщает он в том же письме В. А. Сутугиной, — которая одно время усиленно маячила у меня при прошлогодней болезни в Узком: "Испытание временем (опыт самоанализа ученого)". Конечно, это не Тургеневское "Довольно", но оно там поминается, как и "Лучше поздно, чем никогда" Гончарова. Написал просто, чтобы отвязаться от осаждавших во время болезни мыслей, не для печати и не для оглашения, хотя, если очень рассердят, может быть когда-нибудь и прочту». Это эссе (31 страница на машинке) с подзаголовком «Мысли к сорокапятилетию научной работы» до сих пор не опубликовано, и читали его тогда только немногие заслуживающие доверия люди⁵.

Как ни странно, возможно, что первым толчком к этому замыслу (может быть, даже неосознанным) явились официальные сообщения с просьбой откликнуться на... 30-ю годовщину Октябрьской революции — из «Вестника АН» за подписью Деборина («написать

небольшую статью... о преимуществах советского строя для развития науки в Вашей области» [А, оп. 2, № 235, л. 155]) и из «Ленинградской правды»⁶. От писания заказанных статей он, разумеется, наотрез отказался, а для себя — подлинную правду, искреннюю исповедь — написал. Пересказать эту вещь невозможен

336

но, но я во многом опиралась на нее в работе над этой книгой, и читатель встречал уже на ее страницах цитаты из этого эссе. Крачковский рассуждает о природе научного творчества, которое, как ему представляется, сродни художественному, открыто говорит о своих недостатках как ученого и учителя и судит сам себя: что ему удалось, что не удалось, где его собственная оценка своего труда совпадает с оценкой сторонней, где нет, что в этом несовпадении от неизбежных в науке разногласий или недоразумений, а что — на потребу гнусному политиканству. Здесь он пишет то, что никогда не боялся сказать и в лицо своим гонителям, неизменно сохраняя при этом собственное достоинство, не опускаясь до их уровня: «Во всяком случае, при своей, хотя бы и субъективной, но постоянной искренности в работе, я не заслуживал тех грубых окриков, издевательств, а часто даже инсинуаций, которые в разное время выпадали мне на долю в печатных и в устных отзывах... (...)

Этому я ничего не мог противопоставить, кроме продолжения своей работы. Для меня мог быть решающим только суд своей научной совести по старому принципу: "Я расскажу врагам свою жизнь шаг за шагом, а потом пусть они расскажут свою"» [А, оп. 2, № 62, лл. 117, 118].

А далее следует вывод более широкий, за который, попадись эта рукопись кому-либо из его врагов, ему бы не поздоровилось, — «о больших ненормальностях в нашей прессе и нашем строе» [л. 118].

Он прослеживает в этом эссе все основные линии своей деятельности, одна из которых (христианско-арабская литература) была загублена на корню, а в остальных ему не удалось сделать того, что было намечено, того, что он сделать мог бы. С грустью говорит он и об отсутствии под старость «учеников-продолжателей», в чем винит свой «темперамент, в котором никогда не было властности, нужной для настоящего руководителя» (хотя, как уже знает читатель, далеко не только в этом было дело), и скорбит о судьбе неоконченных своих работ: «...передать их некому и в лучшем случае они лягут сырой грудой "навечно" в архив. Сознать это, пожалуй, наиболее тяжело» [л. 147].

И вот — невеселый окончательный вывод: «Субъективно я считаю свою научную жизнь неудавшейся, по причинам, конечно, не только индивидуального порядка, которые для меня при исторической перспективе ясны, но, как говорится, от этого не легче. Однако объективные результаты моей работы я не могу не признать положительными... Сделано мною мало, или, может быть, вернее, меньше, чем я мог бы сделать, однако сделано нужное в свое время и балласта в этом почти не было... Тем не менее, часто я повторяю горькие слова Шалапина: "не удалась жизнь, не удалась!" и если бы я мог, я плакал бы горькими старческими слезами бессилия. Иногда

вспоминается мне "Сказка о рыбаке и рыбке" — может быть, и я слишком много желал в своей научной жизни и

337

поэтому в наказание остался под старость с разбитым корытом» [лл. 148, 149).

Наверное, все же не только для себя это писано было, а для будущего поколения тоже, поэтому он и обращался к «Испытанию временем» вновь и вновь, перечитывал, правил — правда, все по мелочам. Но в то же время эти перечитывания, даты которых отмечены на полях рукописи, важны были для него самого — поддерживали его духовные силы в трудные минуты. А очередное испытание — не временем, а «шулерской игрой» — ожидало его очень скоро.

«О ЛЮБИТЕЛЯХ ЧУЖОГО ДОБРА»

Востоковедение, как и другие науки, не могло уцелеть после печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ в августе 1948-го. Но зловещие симптомы перемен стали появляться заранее. Так, в Университете 3 октября 1947 года на общем собрании преподавателей и студентов ректор выступил с речью о задачах преподавания в предстоящем учебном году. Содержание этой речи сводилось к двум основным положениям, вариации которых к этому времени заполнили газетные и журнальные статьи, посвященные советской науке: во-первых — необходимость бороться с преклонением перед западной культурой и выдвигать заслуги русской науки, во-вторых — требование обратить главное внимание в преподавании на современность; при этом особо было подчеркнуто свойственное востоковедам нездоровое пристрастие к древности.

Из этого должны были вытекать серьезные последствия. Поползли слухи о грядущей реорганизации факультета, чуть ли не о ликвидации его вообще и передаче отделений его другим факультетам. Но постановлением МВО факультет был сохранен, хотя отмечалось, что студенты имеют слабые знания по географии изучаемых стран и плохо осведомлены об их современном положении, а также недостаточно владеют живыми восточными языками. Для устранения недостатков, поворота Восточного факультета к современности и усиления политизации преподавания в его состав была переведена с исторического факультета кафедра истории колониальных и зависимых стран, которую поделили на кафедры стран Дальнего Востока и стран Ближнего Востока; они получили теперь статус не вспомогательных, а самостоятельных кафедр, производящих набор студентов⁷. Студентов старались ориентировать в первую очередь на современность⁸. Была введена и специализация по экономике стран современного Востока, которая весьма поощрялась, хотя и не всегда обеспечивалась достаточной подготовкой.

В архиве И. Ю. Крачковского сохранился текст докладной записки декану Восточного факультета, содержащий предложения кафедры в связи с постановлением МВО, составленный им (может

337

быть, вместе с кем-нибудь из учеников). Записка свидетельствует о стабильности педагогических установок кафедры. Признавая

необходимость увеличить количество часов, отводимых на географию арабских стран и современный язык (перевод с русского, домашнее чтение и занятия с лектором разговорным языком), автор записки утверждает необходимость сохранения классического языка (во всех его аспектах) как основы преподавания, а занятия по разговорному языку — предвосхитить курсом введения в арабскую диалектологию. Подчеркивая, что усиление внимания к современности «отнюдь не должно обозначать снижения основной задачи факультетского преподавания — подготовки научных работников в области гуманитарных дисциплин, в первую очередь лингвистики, литературоведения, истории» [А, оп. 2, № 243, л. 60], он пользуется случаем, чтобы заявить о недостатке арабистических кадров и в связи с этим о нуждах кафедры в области подготовки через аспирантуру специалистов по указанным отраслям, а кроме того — по чтению рукописей, эпиграфике, нумизматике и т. п., а также об обеспечении Арабского кабинета необходимыми пособиями, организации выписки новейшей учебной литературы и подготовке учебников. Могу подтвердить — «переворота» в преподавании на арабской кафедре не произошло, хотя руководство факультета сменилось и атмосфера в Университете все больше политизировалась.

Крачковский, наученный горьким опытом прошлого, смотрел на судьбу Восточного факультета пессимистически: «В университетское преподавание внесен невероятный хаос, — жалуется он В. А. Сутугиной в письме от 22.11.1950, — и студенты, даже способные, совершенно дезориентированы — смотреть на это грустно, а принимать участие и того хуже» [А, оп. 3, № 27, л. 83].

В апреле 1949 года, после очередной тяжелой болезни, И. Ю. Крачковский подает заявление с просьбой освободить его от профессуры с конца учебного года и, сосредоточившись всецело на дипломных работах, старается «отбрыкиваться» [25 июня 1949 г.; там же, л. 76] от кафедральных дел, «перекладывая все это на доцентов и ассистентов — довольно они моей кровушки попили» [там же]. Но не вышло: «обезволил» [А, оп. 3, № 37, л. 243], уговорили, тем более что самому хотелось закончить те курсы, что не успел в истекшем году по болезни. Решил твердо: отказаться от заведования кафедрой — и тут «надули», ибо декан не захотел проводить это приказом (и то сказать: неудобно, чтобы доцент заведовал академиком!), уверил, что фактически за него все будет делать Беляев. «В известной мере это так, — жалуется он Сутугиной, — но ответственность все равно остается на мне» [31 окт. 1949 г.; А, оп. 3, № 27, л. 80]. Но добро бы только ответственность: «Поскольку в Университете бываешь, и какая-то связь устанавливается, то все остается по-старому и незаметно по-прежнему все на тебя сваливается» [22 февр. 1950 г.; там же, л. 83].

338

Это был последний семестр его работы на Восточном факультете. С осени 1950 года Крачковский оставил за собой только несколько дипломников и троих аспирантов — (А. А. Долинину — II курс, О. Б. Фролову и А. М. Голдобина — только что принятых, взять их его уговорили с трудом). В. С. Фотиева к тому времени закончила

аспирантуру без защиты и осталась преподавать на кафедре, а вскоре уехала с мужем в Москву.

Пожалеть об уходе из Университета он не успел — а может быть, и не пожалел бы?

Институт востоковедения как «ведущая» научная организация пострадал больше. В ноябре 1948 года директору института В. В. Струве пришлось выступить с докладом, посвященным «значению итогов сессии ВАСХНИЛ для востоковедения». Он признавал, что среди обществоведческих наук дисциплины, входящие в комплекс «востоковедение», в методологическом отношении являются наиболее отсталыми, поскольку для большинства востоковедов образцами во всех отношениях продолжают оставаться труды Бартольда, Розена⁹ и др., которые выгодно выделялись среди современных им зарубежных ученых, но пользовались методологией буржуазной науки. Он каялся в том, что большинство исследований, выходящих из-под пера сотрудников института, аполитичны, безыдейны, оторваны от жизни и запросов нашей советской действительности. Результаты собрания были отражены в соответствующей записке, направленной в президиум АН.

27 ноября С. И. Вавилов, президент Академии, сделал специальный доклад «Об улучшении научной работы в области востоковедения». Он констатировал неудовлетворительное состояние востоковедной науки: «За последние годы страна не получила крупных научных трудов по актуальным вопросам истории, экономики и культуры стран современного Востока. Не созданы обобщающие работы и учебники по новой и новейшей истории, международным отношениям, истории колониальной политики и национально-освободительного движения народов зарубежного Востока... Институт Востоковедения и Тихоокеанский Институт... не вели должной борьбы по разоблачению буржуазной фальсификации и националистических извращений истории и культуры стран Востока. Институт востоковедения не занимался изучением современных проблем Востока, ограничиваясь историческими и главным образом филолого-лингвистическими исследованиями, относящимися к Древнему и средневековому Востоку». На основе этого доклада президиум Академии Наук «в целях коренного улучшения научной работы в области востоковедения и преодоления организационной распыленности научных кадров» постановил создать единый Институт востоковедения в Москве с отделением в Ленинграде; задачи перед институтом ставились сплошь связанные с современностью, среди которых сиротливо выглядел стоящий последним пункт о подготовке к изданию литературных и письмен

339

ных памятников Востока. В Ленинграде должны были сохраниться Рукописный отдел и кабинеты арабский, иранский, индийский, китайский, японский, монгольский, турецкий, тюркский [А, оп. 2, № 172, лл. 228—230). Обсуждался вопрос о переводе в Москву и библиотеки института.

Постановление президиума АН явилось сигналом для выступлений, направленных против конкретных лиц — крупнейших ученых-востоковедов. В январе—феврале 1949 года «Литературная газета» опубликовала серию статей под общим заголовком

«Насущные задачи советского литературоведения», 0. Автором их был уже знакомый читателю Л. И. Климович, который подвизался теперь на ниве изучения литератур восточных народов СССР и в 1947 году выпустил «Хрестоматию по литературе народов СССР».

Выступление его в «Литературной газете» шло в русле тогдашней борьбы против «космополитизма, низкопоклонства перед буржуазной наукой и защиты национального достоинства народов Советского Союза», в частности — Средней Азии и Кавказа. Выступление это имело свою предысторию. 31 марта 1948 года в газете «Культура и жизнь» (№ 9, с. 4) «Хрестоматия» Климовича была жестко раскритикована И. С. Брагинским за то, что составитель ее (он же автор вступительных статей и комментариев) не руководствуется учением Ленина о наличии двух культур, прогрессивной и реакционной, в каждой национальной культуре, а, напротив, следует традициям буржуазного литературоведения¹¹.

На проходившем с 15 по 20 декабря того же года пленуме правления ССП А. А. Фадеев в дискуссии по поводу изучения литератур Советского Востока обрушился на ленинградских иранистов Е. Э. Бертельса и М. М. Дьяконова, исходящих в своих работах из представления об общеиранских литературных традициях, что «способствует разграблению литературного наследия» народов Средней Азии, в первую очередь таджиков.

В этом же плане Фадеев критиковал и «Хрестоматию» Климовича, который «сползает на точку зрения Дьяконова и Бертельса», представляя таджикскую литературу «лишь как тень иранской», «мало рассматривает» литературу «как отражение борьбы классов в обществе» [68, 22 дек. 1948 г., с. 3]. Кроме того, по словам Фадеева, в «Хрестоматии» недостаточно внимания уделяется советской литературе Средней Азии и благотворному влиянию на нее. передовой русской литературы. Критика в адрес Климовича, правда, по тону была не слишком резкой — видно, что он считался все же «своим человеком».

Таким образом, статьи Климовича в «Литературной газете» явились для автора средством самозащиты — безразлично, были ли они инспирированы кем-то сверху или написаны по собственной инициативе, ведь давно известно, что лучший способ защиты — нападение, пусть даже на кого-то другого. Разумеется, основные стрелы были направлены на тех, кто фигурировал в вы

340

ступлении Фадеева, то есть на Дьяконова и Бертельса; в их компании оказались также Т. И. Райнов (за книгу «Великие ученые Узбекистана») и В. М. Жирмунский, писавший об арабско-персидском влиянии на узбекский народный эпос. Попутно Климович с легкостью признавал и свои собственные ошибки и недостатки «Хрестомати и».

Но начиналась и кончалась критическая часть его четырехстатейного опуса обвинениями в адрес И. Ю. Крачковского. Его «ошибкам» была посвящена первая в серии статья «О литературном наследии народов Советского Востока и любителях чужого добра». Основной пафос этой статьи, полной таких же. трескучих демагогических фраз, что и двенадцать лет назад, сводился к

обвинению И. Ю. Крачковского в том, что он включает все культурные ценности, созданные в свое время представителями народов Средней Азии и Северного Кавказа, входящих ныне в состав Советского Союза, в комплекс арабской литературы, основываясь, как считает Климович, всего лишь на общности литературного языка. При этом автор игнорировал, а то и попросту не понимал сложную картину переплетения и взаимодействия самых различных тенденций и традиций многих народов в том сложном комплексе, который называется условно арабской или арабо-мусульманской культурой. По оценке Климовича, признание этого культурного единства принижает и оскорбляет достоинство народов Советского Востока.

В последней же статье, посвященной влиянию русской литературы на литературы среднеазиатских и кавказских республик, Климович снова возвращался к этому вопросу, с возмущением вспоминая, что писал И. Ю. Крачковский о задачах советской арабистики в 1937 и 1941 годах (как будто задачу изучения арабской литературы Советского Востока мог выполнить кто-нибудь, кроме арабистов!), приплетая некстати «космополита А. Веселовского» и обращаясь к оценке изданной под редакцией И. Ю. Крачковского «Хроники эпохи Шамиля», уверяя при этом, что изучать нужно не арабские связи дагестанской литературы, а русские, в то время как исследователь хроники «навязывает трудящимся дореволюционного Дагестана клевету на русскую культуру, исходящую от реакционнейших кругов мусульманского духовенства» [68, 16 февр. 1949 г., с. 3].

Уличив таким образом Крачковского в тех же ошибках, что были замечены в его собственной хрестоматии, Климович добавил к этому еще более серьезные обвинения в раболепии перед Западом и в страшном грехе «космополитизма», что должно было затмить его собственные промахи, а для Крачковского могло иметь страшные последствия.

Далее события должны были разворачиваться по хорошо известному сценарию: заседание сектора (кабинета) или ученого совета или открытое партсоборание с докладом и выступлениями, по

341

носящими «героя» обличительной статьи, признание им своих ошибок и публичное покаяние.

Но в этот раз все пошло по-другому. 29 января, то есть после публикации двух первых статей, для обсуждения их было созвано заседание Арабского сектора ИВАН. На него собралось 27 человек — помимо сотрудников сектора там были работники других отделов и даже сотрудники академических учреждений, аспиранты, студенты ЛГУ и студенты МИВ, приехавшие на каникулы. Все собрание прошло под знаком осуждения... не Крачковского, нет, а Климовича, который, по словам выступавших, продемонстрировал «неумение (или нежелание)... серьезно читать серьезную научную/литературную и недобросовестное обращение с "рецензируемыми работами, дискредитировав своими неверными утверждениями всю советскую арабистику» [1, ф. 152, оп. 1а, № 1029, л. 20 — из выступления В. И. Беляева]; «Климович не только опорочил себя, но и дискредитировал

тот печатный орган, в котором он выступил» [А. М. Беленицкий; там же, л. 11]; «По существу критика Климовича не является марксистской, не дает правильного представления о критикуемой работе» [В. В. Струве, л. 9]; «Это приемы не нашей советской критики, а нечто глубоко ей чуждое, это представляет собой попытку опошлить нашу критику, беспринципно эксплуатировать ее в своих целях» [Х. И. Кильберг, л. 26].

И. Ю. Крачковский заявил, что «отвечать на статью Л. И. Климовича не собирается, так как фигура автора для него совершенно ясна» [л. 11] — тут он напомнил присутствующим историю 1937 года. И. Н. Винников в заключительном слове предложил «на основе имевших здесь место суждений выработать резолюцию и направить ее через дирекцию Института в редакцию "Литературной газеты" и в другие заинтересованные учреждения» [л. 12].

Но это было только начало. Очевидно, увидев, что в Ленинграде обсуждение статей Климовича (по крайней мере, их араби-стической части), пошло в нежелательном направлении, партийная организация решила провести обсуждение в Московской группе ИВАН — причем для надежности на открытом партсобрании и в отсутствие И. Ю. Крачковского¹².

Собрание проходило два дня, 7 и 10 февраля 1949 года. Основной доклад «За марксистско-ленинскую историю литератур народов Средней Азии и Кавказа» был поручен ленинградцу — тюркологу А. К. Боровкову, заместителю директора института. По оценке случайно попавшего на это собрание В. И. Филоненко, доклад и по содержанию, и по форме был неудачен. «Говорит Боровков плохо. Но правда не резко, в вполне приличном тоне» [А, оп. 3, № 923, л. 335]. После доклада кое-кому из иранистов дали покаяться, но покаяние было признано недостаточным.

342

Центральным было, разумеется, выступление Климовича. Сначала он обрушился на Боровкова за «туманность» доклада, определив его как «искусный танец в посудной лавке. Исполнен он без сложных па и пируэтов, но так, что ничто не было задето, даже вся пыль осталась в покое» [А, оп. 2, № 177, л. 134]. Далее осудив и кающихся, и некающихся, главные свои обвинения он направил против Крачковского, которому всегда была чужда борьба против панисламизма и который считает антирелигиозное марксистско-ленинское исламоведение ненаучным. «Академик Крачковский полностью и всегда игнорировал учение основоположников марксизма, он даже не упоминал их имени. Зато в его работах с величайшим почтением приводились, как якобы авторитеты, даже ничтожные работы буржуазных ориенталистов, исламоведов» [там же, л. 139]. И далее опять путем ловкого препарирования цитат, повторяя основные положения статей в «Литературной газете», Климович выпустил против И. Ю. Крачковского всю стандартную обойму обвинений в панисламизме, панарабизме, космополитизме, компаративизме, преклонении перед буржуазной наукой — словом, все то же, только в более грубой форме, чем в печати.

Заодно попало и тем востоковедам, которые позволяли себе хорошо отзываться об И. Ю. Крачковском. «Удивительно лишь,

почему все это замалчивается коммунистами Института, почему они об этом не говорят на собрании?» [л. 144]. И снова о Крачковском: «Что это за руководитель, который выводит "на верный путь" и буржуазное и советское востоковедение? Кто наградил его этим словом "руководитель"?.. Руководитель, которой в то же время сторонится марксизма!» [л. 147].

Я не буду указывать фамилии тех, кто дрогнул, кто спешил признать ошибки свои или своих товарищей, кто занял половинчатую позицию, — у каждого свой потолок душевных сил и не хочется никого побивать камнями. Тем более что это собрание я знаю только по стенограмме. Расскажу лучше о следующем, уже ленинградском этапе, которому сама была свидетелем, используя и документальные подтверждения того, что запомнилось.

Заседание ученого совета ИВАН, пока еще не переехавшего в Москву, было назначено на 11 марта. 4 марта Крачковский пишет Филоненко: «Обещали мне прислать стенограмму происходивших на Ваших глазах прений, но пока не шлют. А она могла бы быть мне полезна в связи с тем, что на 11-е число назначено начало такого же "соборного" действия у нас; не знаю, с московскими гастролерами или только в собственном соку. Полагаю, что они не преминут прибыть для изничтожения засевавших здесь инакомыслящих. Сам я мало склонен в сие "встревать" непосредственно и во всяком случае тратить время на подготовку: если уж очень выведут из терпения, может изложу что-либо экспромтом» [А, оп. 3, № 37, л. 241 об.]. Стенограмму он все же успел получить (в его архиве она сохранилась) и, очевидно, решил все-таки подготовиться: ра

343

зоблачать экспромтом шулерскую «игру цитатами» невозможно, да к тому же, как он понял, ему придется вступить за честь тех, кто уже не может себя защитить. Его выступление, о котором я расскажу, было речью хотя и не написанной заранее, но явно продуманной, с подобранными иллюстрациями-цитатами.

Зал ученого совета был полон. Пришли сотрудники всех кабинетов, других институтов (в частности, ИИМК), университетские преподаватели, много студентов.

Крачковский не ошибся в своих прогнозах: Климович прибыл — крупный, сытый, самодовольный. Один из студентов тут же придумал ему малонриличное прозвище, добавив перед его именем еще французское «Поль». Среди «взрослых», как я узнала потом, ходило другое прозвище — «Клеймович». Могу с уверенностью сказать, что у студентов, по крайней мере у старших, которые кое в чем разбирались, настроение а priori было в пользу Игнатия Юлиановича; не знаю, почувствовал он это или нет.

С основным докладом, как и в Москве, выступил А. К. Боровков. Содержание доклада соответствовало установкам, выдвинутым в центральной печати, поэтому я пересказывать его не буду. Отмечу лишь, что по отношению к И. Ю. Крачковскому он был достаточно корректен по тону (при критике чаще всего звучала формулировка: «Здесь мы расходимся с академиком И. Ю. Крачковским»); зато крепко досталось Е. Э. Бертельсу и В. И. Беляеву; звучала и резкая критика в адрес В. В. Бартольда — мертвые сраму не имут...

Начались прения. К чести учеников Крачковского — они не дрогнули. В. И. Беляев в пространном выступлении мужественно защищал свою точку зрения: арабскую литературу народов Средней Азии и Северного Кавказа следует рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, эта литература «вошла как составная часть, неотделимая часть в литературу арабскую, оказывала влияние на нее, и очень сильное, делалась неотъемлемым ее достоянием», в другом аспекте ее следует рассматривать как литературу местную, исследовать, что было в ней самостоятельного, «и эта вторая линия должна быть положена в основу изучения» [1, ф. 152, оп. 1а, № Ю09, л. 89—90].

А. М. Беленицкий, арабист и иранист, сотрудник ИИМК, весьма эмоционально полемизировал с основными положениями доклада А. К. Боровкова, а также, опираясь на цитаты и факты, доказывал, что «статьи и выступления т. Климовича представляют классический пример антиисторизма» [л. 120]. Поддерживая правильность научных позиций И. Ю. Крачковского и В. В. Бартольда, оратор утверждал, что согласие с ними не означает остановку науки на этом этапе; она должна двигаться вперед — это естественно. Но заявил, что возмущен поведением Климовича на московском собрании, стенограмму которого ему удалось прочесть: «Я должен сказать, что мне было стыдно читать эту стенограмму с те

344

ми инсинуациями, которые совершенно недопустимы в отношении Игнатия Юлиановича» [л. 127], 3.

Иранист Н. Д. Миклухо-Маклай выступил против огульного охаивания наследия В. В. Бартольда: «Обвинять Бартольда в отдельных ошибках с позиции марксизма, это все равно что обвинить человека, что он блондин, а не брюнет. Поэтому наша критика Бартольда, мне кажется, больше свидетельствует о нашей слабости, о наших ошибках, которые не дают нам возможности в полной мере использовать критически все то богатое научное наследство, которое оставил нам Бартольд» [№ 1010, л. 8].

Характерно, что даже те, кто в своих выступлениях поддерживал концепции Боровкова и Климовича, об И. Ю. Крачковском отзывались вполне уважительно¹⁴. Даже такой осторожный человек, как В. В. Струве, позволил себе выразить протест против грубых выпадов Климовича на московском партсобрании¹⁵.

Заседание продолжалось еще два дня — в субботу, 12 марта, и в понедельник, 14 марта. Кульминация его пришлась на субботу: в этот день прозвучали выступления Климовича и ответ Крачковского. Климович, очевидно, почувствовал атмосферу, царившую в зале, и был более сдержан в выражениях, чем в Москве. Признав в очередной раз справедливой критику А. А. Фадеевым его хрестоматии, он перешел к разбору аналогичных ошибок других востоковедов — Болдырева, Брагинского, Баранникова, Дьяконова и др. Особенно резкими были его выпады против В. И. Беляева¹⁶ и Беленицкого¹⁷, выступление которого дало Климовичу повод повторить ряд обвинений в адрес И. Ю. Крачковского, высказанных на московском собрании, добавив к ним кое-какие демагогические вариации¹⁸. И снова прозвучала политическая инвектива: «Прежде всего спросим себя, куда, объективно, вне стремления их авторов,

направлены космополитические настроения академика Крачковского, Бертельса и других?.. Ответ ясен: прежде всего к отрыву народов Востока от России и внесению вражды между русским народом и восточными народами» [№ 1010, л. 108]1Э.

В перерыве, когда Климович вышел на лестничную площадку покурить, его окружила группа студентов (с автором прозвища во главе), собираясь задать ему несколько вопросов «на засыпку». Но не успели: испуганный В. В. Струве (вдруг какой инцидент произойдет!) протиснулся сквозь толпу, раздвигая ее своим солидным корпусом, и приговаривая: «Голубчики, голубчики (это было его любимое обращение. —А. Д.), не надо, не надо...» — подхватил под руку Климовича и увел куда-то.

После перерыва слово было предоставлено И. Ю. Крачковскому. Он попросил разрешения „говорить сидя (стоять ему было трудно). Отвечал он и Боровкову, и Климовичу, и в ответе своем показал себя большим диалектиком, чем все клеймившие его марксисты. Он подтвердил мысль В. И. Беляева, что писавших по-арабски ученых и писателей родом из Средней Азии и Северного

345

Кавказа следует рассматривать в двойном аспекте: «Совершенно ясно, что, допустим, тот же самый аль-Бируни, который родился в Хорезме, который получил там свое образование, потом жил в Газне, — является по происхождению хорезмийцем, представителем местного населения, он является гордостью не только хорезмийской литературы, но и всей Средней Азии. Но ведь он писал по-арабски. И я полагаю, что мы никак не можем его выключить из той арабской литературы, для которой он создал столь великолепные произведения, которыми долгие столетия она питалась... Конечно, аль-Бируни хорезмиец, представитель хорезмийской культуры и литературы, но в то же время он и писатель, который должен войти в арабскую литературу, в ту самую, я бы сказал, общеарабскую литературу, упоминание о которой здесь как-то всегда сопровождается некими порицаниями и укорами» [А, оп. 1, № 198, л. 3—4].

Крачковский убедительно доказывал, что «двойной аспект» — единственная возможность подхода к изучению арабской литературы, где бы, представителями какого бы народа она ни создавалась. При дробной же классификации, предлагаемой Боровковым и Климовичем, многих писателей вообще неизвестно куда следует отнести 20.

Все понимали, что это не сейчас, в оправдание придумано — эта позиция Крачковского была изложена в его программных выступлениях на сессиях арабистов еще в 30-х годах. Да более того, к этой мысли он подошел уже в 1919 году, когда писал статью для сборника «Литература Востока».

Оставшуюся часть выступления И. Ю. Крачковский посвятил разбору шулерских передержек Климовича, его «своеобразной» манере цитировать и беззастенчиво искажать чужие мысли. Присутствующие (особенно студенты) довольно шумно выражали Климовичу свое неодобрение, а когда Крачковский показал, как

Климович искажил цитату из работы его ученика А. М. Барабанова, погибшего на фронте, зал взорвался криками: «Позор! Позор!».

«Я должен констатировать, — закончил свою речь И. Ю. Крачковский, — что девяносто процентов обвинений, предъявленных мне, основаны на таких же методах и приемах. О них я говорить не буду. Моя сорокапятилетняя научная жизнь прошла у всех на глазах, и пусть о ней судят те добросовестные люди, которым я верю» [там же, л. 20]. Долго звучали аплодисменты. На этом второе заседание было закрыто.

Итак, произошло невероятное: критикуемый не калялся! Он стоял на своем, спокойно и логично разъясняя свою позицию, и сам перешел в наступление, разоблачив недобросовестность критика, да и большая часть присутствующих была на его стороне.

Примерно то же повторилось в понедельник, 14 марта. Климович, опять-таки без всякого смущения, отвечал на записки (кто

346

рые явно свидетельствовали о том, что аудитория отнюдь не склонна его поддерживать²¹), и снова передергивал цитаты, и с редкостным упорством повторял все те же обвинения, и снова шумел зал, а Крачковский, хоть и сдерживался внешне, несомненно был раздражен: «Я, конечно, не берусь ответить на все, что говорил сегодня т. Климович, потому что он, как показал и вчера, все же не отдает себе ясного отчета в разнице между заседанием Ученого Совета и между митингом, где иногда допускаются и не совсем удачные демагогические приемы.

Я и сегодня должен кое-что повторить и вернуться к некоторым пунктам, которые т. Климович упомянул вчера, а сегодня повторил без всякого изменения.

Когда Вы в связи со статьей о Бартольде укоряете меня, что я противился антирелигиозному исламоведению, то, как и вчера, заявляю, что я противился не антирелигиозному, а невежественному и неграмотному исламоведению, причем я напоминал и Вам некоторые случаи тех поправок, которые без отказа делались мною к Вашим работам в очень давние времена, по Вашим просьбам» [л. 22].

Довольно. Стоит ли приводить еще цитаты, показывающие, как И. Ю. Крачковский уличал Климовича в недобросовестности и подтасовках, — это было бы «толчением воды в ступе», как выразился сам Игнатий Юлианович. «Будущее исследование науки покажет, кто из нас прав» — эта заключительная фраза также вызвала аплодисменты присутствующих.

В «Литературной газете» был довольно кислый отчет об этом заседании с подробным изложением тех немногих выступлений, в которых поддерживалась позиция Боровкова и Климовича. В. И. Беляев был упомянут лишь как выступавший в прениях, а А. М. Беленицкий осужден за то, что он «в слепом преклонении перед научными авторитетами пытался увести Ученый Совет в сторону от правильного обсуждения вопроса». Далее говорилось: «Выступивший дважды академик И. Крачковский не смог дать должного анализа своих ошибок» [А, оп. 2, № 91, л. 19].

Но слух о том, как на самом деле проходило заседание, быстро распространился в востоковедных кругах. А. П. Ковалевский писал, например, из Харькова: «Что касается "дискуссии", то я имею о ней

довольно подробные сведения из писем. Я слышал, что Ваше выступление было встречено целой овацией присутствующих и что "лавры" Климовича были не очень блестящими. С тем большим возмущением я прочитал в "Литературной газете" тенденциозный "отчет", написанный, вероятно, им самим» [5 апр. 1949 г.; А, оп. 3, № 447, л. 314 об.].

Мы, молодые, получили в те дни потрясающий урок гражданского мужества и научной честности — не только от самого Игнатия Юлиановича, но и от преданных ему людей. Этого урока мы никогда не забудем. А мне выпало на долю почти сразу же приме

347

нить его на практике. Пишу об этом не для того, чтобы «величаться», как сказал бы мой учитель, а чтобы показать влияние происходивших событий на младших учеников.

В конце марта того же года я попала на студенческую научную конференцию в Московский институт востоковедения и читала там доклад о раннем (20-е годы) творчестве известного египетского писателя Махмуда Теймура, одного из зачинателей жанра арабской реалистической новеллы (это была глава из моей дипломной работы). Как раз в эти дни Климович проводил в МИ В свои «гастроли», и обстановка была достаточно накаленной, хотя кое-кто из близких друзей Игнатия Юлиановича, в частности К. В. Оде-Васильева, и пытались по мере сил выступить в его защиту 22.

Едва я кончила доклад, как на меня набросились с критикой бойкие московские мальчики (честно говоря, куда больше подкованные политически), а их любимый профессор Е. А. Беляев, который вел заседание (напомню, ученик Крачковского еще по Санкт-Петербургскому университету), решил устроить показательный спектакль: «Вот, товарищи, перед вами плоды буржуазной школы Крачковского! Докладчица в своей политической близорукости игнорирует ленинское учение о партийности литературы, не дает должного отпора безыдейности и даже зачисляет в прогрессивные писателя буржуазно ограниченного, который в своем творчестве не отражает ни классовой борьбы, ни коммунистического движения, не призывает к выступлению против английского империализма, проповедует абстрактный гуманизм» и т. д. и т. п.

Не скажу, чтобы я выслушала все это спокойно — опыта в таких дискуссиях у меня не было. Слушала и боялась, что не сумею ответить как следует; впрочем, у меня в запасе хранился один козырь, и я на него возлагала все надежды. Когда мне дали слово для ответа, ожидая, что я буду признавать свои ошибки, я коснулась сначала нескольких частных замечаний, а потом сказала примерно следующее: «Академик Крачковский, может быть, и не марксист, но он учит нас подходить к литературе исторически, и с этой точки зрения невозможно требовать от египетского писателя 20-х годов, чтобы он придерживался метода социалистического реализма, ведь в арабской литературе реализм тогда только зарождался. Но он продвинул эту литературу вперед как один из первых новеллистов. А что касается его буржуазных политических взглядов, то ведь т. Сталин сказал в 1926 году в работе "К вопросам ленинизма", что борьба египетских купцов и интеллигентов является борьбой

объективно революционной, поскольку она ослабляет и расшатывает империализм. А раз так, то значит творчество Теймура в 20-е годы является объективно революционным». Конечно, я говорила тогда не так гладко и связно, как пишу сейчас, но за верную передачу смысла ручаюсь.

348

Наступило гробовое молчание — про эту цитату все явно забыли (я-то помнила, потому что какая дипломная работа могла в те годы обойтись без соответствующей цитаты из классиков марксизма!). Е. А. Беляев торопливо закрыл заседание и, подойдя ко мне, протянул руку: «Ну, молодец, молодец! Это глава из диссертации?» — «Нет, из дипломной работы». — «Ну, тогда совсем молодец! Поздравляю!» Это после того, как он только что смешивал с грязью и меня, и моего учителя. Испугался, верно, что Сталина забыл?

До сих пор не могу простить себе, что руку ему все-таки подала.

Почему, вернувшись в Ленинград, я не позвонила сразу же Игнатию Юлиановичу? Не знаю. Не хотелось лишний раз рассказывать, как его критиковали? Или просто от недостатка воспитания?

Через день встретила его в Университете. Он спросил, как прошел доклад. Я отчиталась приблизительно так: «Били Теймура за буржуазную ограниченность, Вас за немарксистское литературоведение, меня как Вашу ученицу, а я побила их цитатой из Сталина!». Он усмехнулся — наверное, усмешка была горькой; но я тогда этого не заметила. Не то чтобы я считала себя героиней, просто моя линия поведения в Москве мне казалась естественной, единственно возможной. И все-таки я была горда, что вложила свою лепту в борьбу «за Крачковского», не отдавая себе отчета в том, что средство-то употребила сомнительное, но по тем временам оно было самым действенным.

Инсинуации против Крачковского — в печати, в устных выступлениях — время от времени всплывали вновь. «Преимущественно ругаюсь по поводу отрывков всяких прошлогодних дискуссий, — пишет Крачковский почти через год В. А. Сутугиной. — Это по крайней мере вносит некоторое неожиданное развлечение, ибо у нас привыкли, что если напечатана разносная статья, то надо сразу каяться, а я недавно показал, что статья-то с передержками — вот и впал в некую констернацию» [22 февр. 1950 г.; А, оп. 3, № 27, л. 83 об.].

Хуже было то, что кампания, начатая Климовичем, повлияла на издание трудов И. К. Крачковского. Задержан был подготовленный все-таки том его статей по новоарабской литературе, задерживалось подписание в печать библиографии его работ, составленной И. Н. Винниковым (в мае она всё же была подписана и в том же 1949-м вышла); из сборника, посвященного «Слову о полку Игореве», была исключена его статья²³. Под угрозой оказались «Очерки по истории русской арабистики»: книга, дошедшая в января 1949 года уже до последней корректуры, опять была отправлена на рецензию, и новый рецензент, Б. К. Рубцов, предложил сделать целый ряд поправок и учесть статьи Климовича и дискуссию с его участием, четко определить «новую сущность» послереволюционной арабистики, сильнее подчеркнуть «програм

мную роль передовых ученых и передовых течений и концепций в арабистике» [А, оп. 2, № 87, лл. 2—4]; кроме того, в рецензии содержалось десятка полтора конкретных замечаний.

Выполнить принципиальные замечания рецензента Крачковский отказался: «Они вызвали бы полную перестройку книги, прежде всего в техническом отношении, а с другой стороны казались мне в настоящее время неосуществимыми или от моей неподготовленности к решению поставленных Б. К. Рубцовым вопросов, или от их неразрешимости в данный момент, при современном состоянии нашей науки» [А, оп. 2, № 235, л. 176]; из четырнадцати мелких замечаний принял одиннадцать. Пришлось сделать кое-какие добавления, так как появился новый материал.

Издательство согласилось, в результате книга была набрана заново и в сверстанном виде еще некоторое время ходила по инстанциям. Наконец 13 марта 1950 года, когда Крачковскому кажется, что книга уже «окончательно зарезана» [А, оп. 3, № 37, л. 247 об.], она была подписана к печати и в апреле уже вышла.

Может быть, в том, что книгу не сняли с производства, несмотря на отказ Крачковского принять принципиальные возражения рецензента, сыграло роль его обращение 9 мая 1949 года к секретарю ленинградского горкома партии В. М. Андреянову с письмом, в котором он, объясняя суть и значение своих научных работ в различных областях арабистики, открыто заявлял: «Я не могу согласиться ни с тоном критики "Литературной газеты", ни с самой критикой по существу. На деле она явилась искажением моих взглядов, основанном на неточной передаче моих слов, что было мною показано на ряде примеров во время трехдневной дискуссии, проходившей в марте в ИВАН СССР в Ленинграде. Я считаю, что такая критика не способствует решению важнейших задач, поставленных перед наукой советским правительством, дезориентирует общественность, и в частности учащуюся молодежь, нанося таким образом трудно поправимый вред всей советской науке» [А, оп. 2, № 172, л. 248]. Сообщая далее, что в результате упомянутых статей и дискуссий тормозится публикация его трудов, даже сверстанной и откорректированной книги, он подчеркивает, что «создавшееся положение выходит далеко за пределы личного вопроса, как бы серьезен он ни был для меня, а имеет общее принципиальное значение, тем более, что ряд работ моих учеников оказывается в таком же состоянии» [л. 250]. Заключает он письмо вопросом, «считать ли настоящее положение указанием на то, что мне следует примириться с прекращением печатания моих научных работ или может быть обратиться по Вашему указанию в центральные органы в Москву с просьбой дать определенные разъяснения, являются ли статьи Л. Климовича директивными, как это воспринято некоторыми организациями Ленинграда, связанными с вопросами печатания» [там же].

Конечно, напоминая таким образом о себе властям предрежащим, да вдобавок высказываясь столь откровенно, Крачковский рисковал,

и немало, но он хотел знать все до конца о своем положении, трусливая «страусовая» политика ему претила.

Судя по тому, что Крачковского и тогда «не тронули», можно предположить, что выступление Климовича против него в «Литературной газете» все-таки было, скорее всего, плодом его личной инициативы.

ПЛЕТЬЮ ОБУХА НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ

Отпуск И. Ю. Крачковского по Институту востоковедения затянулся до полутора лет. С осени 1949 года он вновь приступил к работе, сохранив за собой полставки. Помимо него в секторе числилось три человека: старший научный сотрудник И. Н. Винников, несший все административные обязанности по кабинету, младший научный сотрудник А. П. Ковалевский, который, имея в институте полставки, время от времени наезжал из Харькова и все пытался решить вопрос с жильем и тогда уж окончательно перебраться в Ленинград, и только что окончившая Университет А. И. Михайлова, научно-технический сотрудник.

Решение президиума Академии о переводе ИВАН в Москву еще не было подтверждено постановлением Совета министров. Тем временем возник вопрос о переезде института (или его будущего Ленинградского отделения) в другое здание: Библиотеке АН, пятый этаж которой занимал ИВАН, становилось тесно. Институту был предложен бывш. дворец великого князя Николая Михайловича на Дворцовой набережной, дом 18. Специальная комиссия, в состав которой, среди прочих, входили заведующий рукописным отделом В. И. Беляев, заведующая библиотекой О. Э. Ливотова и сотрудник Архива АН В. А. Петров, консультант по вопросам хранения документов, признала помещение непригодным: и площадь мала, и перекрытия слабы (а перестройке здание не подлежит), и холодно для сотрудников, и существует опасность наводнения. Крачковский много раз обращался к директору института с просьбой доложить этот вопрос ученому совету; не дождавшись никакого результата, написал личное письмо С. И. Вавилову, предполагая, что он незнаком с соответствующими документами. К письму была приложена характеристика здания с точными цифрами и расчетами. Все было напрасно. В 1950 году переезд состоялся вопреки мнению специалистов. Институт лихорадило. Положение его было неопределенным. Ждали еще каких-то перемен, старались вводить в планы секторов темы по новой и новейшей истории, современной литературе, но продуманной системы в этом не было, порой и темы, и люди, которые ими занимались, оказывались случайными, основные традиционные направления размывались.

350

В феврале 1950 года И. Ю. Крачковский принял предложение партийного бюро института выступить на открытом партсобрании с докладом «О работе Арабского сектора в ближайшие годы», решив, очевидно, использовать такую нечасто представлявшуюся возможность для того, чтобы сделать еще одну попытку наладить востоковедную работу в Ленинграде, исходя из сложившихся возможностей.

Собираясь говорить открыто и откровенно, он предупредил, что будет излагать только свои личные соображения, и сотрудники его ни в коем случае за это ответственности не несут, ибо их мнение может быть иным (понимал, что тучи сгущаются, надо уберечь учеников, тем более что руководит-то сектором не он, а Винников).

Крачковский дал прежде всего нелицеприятную, суровую оценку современному состоянию института: «Несомненно, что Институт востоковедения в целом переживает затяжной и серьезный кризис... Я глубоко убежден, что кризис Института в значительной мере вызван тем, что Институт утратил свое лицо, не имеет перед собой самостоятельно выработанной линии научного поведения и поэтому с большой легкостью соглашается со всем тем, что исходит извне, не чувствует в себе твердой и убежденной позиции. Поэтому прежде всего надо выяснить свои цели и возможности в пределах самого Института» [А, оп. 2, № 175, л. 126—127].

Крачковский максимально ограничил свою тему: «Оставаясь на почве реальности... я буду говорить только о задачах Сектора и только в пределах нынешнего состояния» [л. 129], однако в соотношении с «картиной всей научной жизни страны». Он подчеркивал, что речь идет о конкретных, реальных нуждах народа: «Задачи должны выдвигаться не отвлеченно, исходя только из внутреннего развития науки в самой себе, а в основном из тех запросов, которые ставит научная жизнь прежде всего у нас» [л. 132]. И неожиданно заговорил, казалось бы, о мелочах — обращениях, Поступающих в сектор со стороны, от представителей разных специальностей²⁴, которым некуда больше обратиться²⁵. Отмахиваться от этих запросов нельзя, потому что в основе каждого из них обыкновенно лежит серьезная актуальная тема, однако для квалифицированного выполнения этих задач необходимо владеть всей полнотой научной литературы, а по этой части положение в институте «продолжает катастрофически ухудшаться» [л. 137].

При составлении планов «необходим государственный подход с учетом широких перспектив и хронологического, и всякого другого масштаба. Узкий взгляд часто наносит здесь непоправимый вред» [л. 138]; в качестве примера он привел отношение руководства к составлению свода арабских сведений о Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии и к изданию и исследованию исторического сочинения ас-Сули, повлекшее за собой, как уже было показано, срыв и той, и другой работы.

351

При составлении планов прежде всего необходима целесообразность: «...как искусственно создаваемый параллелизм, так и насильственное прекращение роста одинаково губительны для науки» [л. 145]. Обязательно ли навязывать сотрудникам сектора в Ленинграде темы по новой и новейшей истории, особенно когда у нас здесь так мало сил? «Никто не отрицает, например, что заниматься новой историей арабских стран следует, но мы знаем, что она представлена в ряде наших научных и учебных учреждений и здесь, и в Москве, поэтому я считаю неправильным, когда сотрудник Арабского сектора, очень много сделавший для изучения арабских источников по истории СССР и приобретший здесь очень солидную базу, частично отвлекается для разработки темы из новой

истории Египта...» [л. 142—143]. «Ленинград и Москва совершенно естественно имеют свою специфику в различных областях научной работы... Ничего не может быть зазорного для Ленинграда, если признать, что заниматься новой историей арабских стран легче и лучше в Москве, точно так же как и у нас вероятно найдутся области, развитие которых обеспечено большими возможностями в Ленинграде. Такая дифференциация в научной области при правильной постановке может быть только полезной» [л. 143—144]. Пренебрежение принципом целесообразности объясняется в лучшем случае «малой осведомленностью и отсутствием научного кругозора, в худшем — неосознанным влиянием вредной, чуждой нашей стране линии действий» [л. 145].

Стоит ли снова повторять, что не всякий в те годы решился бы так смело и спокойно отстаивать свое мнение, идущее вразрез с мнением президиума АН, а в конечном счете — партии и правительства? Да еще обвинять руководство то ли в отсутствии научного кругозора, то ли в проведении линии, вредной для науки?!

Говоря о конкретных задачах работы сектора, Крачковский указал на актуальные для него линии работы: издание и исследование арабских материалов по истории нашей страны, изучение языка среднеазиатских арабов с выходом к широким проблемам арабской диалектологии, дополнения к словарю Х. К. Баранова и завершение библиографического словаря русских арабистов.

И. Ю. Крачковский говорил и о необходимости принять в сектор аспирантов по специальностям, близким к вымиранию или отсутствующим в Советском Союзе, — рукописному делу, палеографии, источниковедению, арабской диалектологии, истории классической арабской литературы, истории арабо-испанской культуры, южноарабской филологии (обратив при этом внимание на сопредельную область — абиссиноведение) 26.

Закончил он свой доклад все-таки на оптимистической ноте: «Вообще я все же полагаю, что при совершенно ничтожном числе работников в секторе ряд важных работ может быть выполнен, если организационные формы Института будут помогать нам, а не ставить бесконечные крупные и мелкие препятствия, совершенно

352

распыляющие и силы, и энергию. Таков мой конечный вывод в собрании партийной организации» [л. 157].

Речь Крачковского была воззванием к разуму присутствующих, прежде всего — партийного руководства института. Не знаю, верил ли он, что здравый смысл окажется сильнее руководящих указаний свыше, но считал своим долгом пытаться использовать любую возможность для спасения дела, которому он служил.

Постановление партсобрания — любопытный половинчатый документ. С Крачковским, безусловно, считались, каковы бы ни были его «ошибки», разоблаченные Климовичем и иже с ним (а может быть, сверху дано было указание Крачковского больше не трогать?).

В постановлении констатировалась малочисленность состава сектора, которая не позволяла ему «заниматься систематической разработкой актуальных проблем новой и новейшей истории арабских стран, а также вопросами их экономики и идеологии» [там

же, л. 167] — и этот пункт дал возможность лишний раз упрекнуть весь институт в том, что его деятельность «не отвечала в полной мере требованиям, предъявляемым Институту современной международной политической обстановкой и ролью Советского Союза» [там же]. Далее шли упреки в адрес дирекции, не проявлявшей «должного внимания» к нуждам сектора и тормозившей его деятельность «отсутствием достаточной четкости в работе» (партийная организация умыла руки!).

Среди перечня мер в поддержку сектора предлагались весьма существенные: содействие в получении литературы, ускорение изданий трудов И. Ю. Крачковского, перевод Ковалевского на полную ставку, зачисление в штат сектора еще двух научных и одного научно-вспомогательного сотрудника (нигде нет помет, прочил ли Крачковский кого-нибудь конкретно на эти места) и набор не менее пяти аспирантов и двух докторантов, но специальности были указаны такие: новая и новейшая история, новая и новейшая литература и языки арабских стран, не исключая, впрочем, «подготовку и по другим специальностям».

В числе тем, желательных для разработки, фигурировали все, названные Крачковским, причем изучение арабских источников по истории народов СССР стояло пунктом первым, а изучение языка среднеазиатских арабов вошло в пункт «м» — «Изучение арабского языка, особенно современных диалектов»; замыкали список темы по истории арабистики. На первый же план, после источников, были выдвинуты темы по новой и новейшей истории, новой и новейшей литературе и т. п. — всего восемь тем²⁷.

Даже если предположить, что члены партбюро были во всем согласны с И. Ю. Крачковским, не включить указанные «актуальные» пункты в постановление могли бы только партийные камикадзе, не иначе. Правила игры были важнее любых соображений целесообразности.

353

Но все планы Крачковского, все — по возможности — благие пожелания партбюро разбились о жестокую реальность судьбы института. 1 июля 1950 года президиум Академии наук принял новое постановление об академическом востоковедении (как будто за два года можно было что-то кардинально изменить, с ходу выпустить «крупные научные труды по актуальным вопросам»!). Согласно этому постановлению, ИВАН переводился в Москву полностью, сливался с Тихоокеанским институтом, а директором назначался С. П. Толстов. В Ленинграде оставался лишь Сектор восточных рукописей и Библиотека — временно, до приискания помещения.

Разумеется, постановление очень сильно ударило по ленинградским кадрам: некоторые переехали в Москву, несколько сотрудников, не относящиеся к Библиотеке или Рукописному сектору, оставались еще в Ленинграде, как им было заявлено, впредь до увольнения или подыскания им жилплощади в Москве. Более двадцати сотрудников были уволены сразу, и среди них — все трое из Арабского сектора! «Я все же такой прыти от новой Дирекции не ожидал», — замечает по этому поводу Крачковский в письме к Филоненко [12 сент. 1950 г.; А, оп. 3, № 37, л. 250).

Положение арабистов сектора усугублялось тем, что ни Михайлова, ни Винников не имели кроме работы в ИВАН других средств к существованию — в том же 1950 году кафедра ассириологии и гебраистики в Университете была ликвидирована. 25 августа, вернувшись из отпуска, Крачковский направил протесты против увольнения сотрудников в президиум АН 28 и лично президенту, не ожидая, впрочем, реальных результатов: «Думаю, что это пойдет бюрократическим путем, да и как может быть иначе, раз докладчик в Президиуме тот же Толстов. Хотел было сразу уйти из ИВАН, но все же решил подождать, будет ли какая-либо реакция на мое заявление» [письмо к В. И. Филоненко от 12 сент. 1950 г.; А, оп. 3, № 37, л. 250].

5 октября секретарь президиума В. П. Сухотин в официальном письме уведомил Крачковского, что распоряжением президиума Винников и Михайлова восстановлены, вопрос же о Ковалевском будет решен после возвращения Толстова из Средней Азии. «Конечно, он будет продолжать строить неприятности, — комментирует события Крачковский в письме к Филоненко 16 октября, — но все же важно, что некая брешь в его самодурстве пробита, а дальнейшее в руце Аллаха» [там же, л. 251].

Мрачные ожидания оправдались. «Жалует царь, да не жалует псарь, — пишет Крачковский тому же Филоненко 20 ноября. — Дирекция восстановила только Михайлову (в пику с понижением в должности и окладе), относительно же Винникова молчит, подводя какие-то мины» [там же, л. 252 об.].

Михайлову восстановили в конце октября, а 1 ноября Крачковский вновь обращается к В. П. Сухотину, спрашивая его, означает

354

ли это отмену распоряжения о восстановлении Винникова или выполнение его только задержано дирекцией по каким-либо техническим причинам. Ответа нет. Филоненко, хорошо знающий Сухотина, предлагает свое посредничество. Крачковский наотрез отказывается: «Вы, конечно, ничего не пишете: довольно уж того, что мы в этой грязи барахтаемся» [там же].

В начале декабря в Ленинград приезжает С. П. Толстов. 9 декабря у Крачковского состоялся с ним двухчасовой разговор, «который, хотя и шел без повышения тона, но был одинаково неприятен для нас обоих, — писал Крачковский И. И. Умнякову 26 декабря. — Я поставил ультиматум о том, что если постановление Президиума о восстановлении сотрудников-арабистов не будет им выполнено, то я уйду из ИВАН окончательно. Он просил "подумать" дней 10 и [обещал] дать ответ. До сих пор результатов нет, и после нового года я уж буду решать» [А, оп. 3, № 36, л. 73 об.].

Не надо думать, однако, что всю осень—зиму 1950 года Крачковский был поглощен только борьбой с дирекцией института и ожиданием, как иные правдоискатели. Предполагаемый уход из ИВАН, которым могла для него кончиться борьба, не означал отхода от научной работы и руководства младшими коллегами.

В октябре 1950 года ему удалось, несмотря на то что «всякие проявления сепаратизма пресекались в корне» [А, оп. 3, № 37, л. 252], добиться организации группы арабистов при Рукописном

секторе ИВАН и возобновления в ее рамках научных заседаний — то есть в борьбе за сохранение «обычной научной атмосферы» он все-таки победил. Заседания планировались два раза в месяц, как и прежде, и снова ставились те же задачи: обсуждение плановых работ, отдельные сообщения по каким-либо интересным фактам, библиографические обзоры или рефераты новых книг, обмен научной информацией.

Удивительно, как Игнатий Юлианович умел создавать и сплачивать научный коллектив — кажется, в любых, самых неблагоприятных обстоятельствах. Как и прежде, сюда приходили и принимали участие в заседаниях сотрудники кафедры, работники других специальностей, в качестве слушателей постоянно присутствовали аспиранты и студенты. Сам Крачковский за три месяца прочел в этом объединении семь докладов [7, с. 295].

Мне выпала честь выступить с Игнатием Юлиановичем в одном заседании. Я в это время была на втором курсе аспирантуры и подбирала материал по теме «Русские писатели в арабской литературе»²⁹. Игнатий Юлианович был действительно, как он писал в «Испытании временем», руководителем не властным, не предлагающим мне своего плана, не навязывающим собственных идей, не ставящим никаких рамок. Он с готовностью отвечал на все вопросы, подсказывал порой, где еще можно найти тот или иной материал, что еще следовало бы прочесть по такому-то вопросу, и пре

355

доставлял широкую возможность пользоваться его библиотекой. А так — полная свобода.

В конце ноября 1950 года в наших газетах появилось сообщение о том, что Всемирный Совет Мира наградил ливанский журнал «ат-Тарик» Золотой медалью мира. Это был первый арабский прогрессивный орган печати, отмеченный подобной наградой. В тот же день Игнатий Юлианович позвонил мне — он знал, что я в те дни усиленно штудировала этот журнал, в котором было немало материалов по моей теме.

— Читали сегодняшние газеты? — спросил он с нескрываемым торжеством. И тут же наметил срок и план специального заседания группы, посвященного «ат-Тарику»: он прочтет свою неопубликованную статью о первых годах журнала, лаборант кафедры А. М. Блинцовская, выпускница ЛВИ, — доклад «"ат-Тарик" и борьба за мир», мне была предложена тема о переводах русской и советской литературы в этом журнале. Я тут же попросила разрешения тему расширить: «"Ат-Тарик" и проблемы современной литературы», Получила согласие и стала готовиться.

Характерная черта Крачковского-учителя: отношение к аспиранту как к взрослому коллеге. Условились на 13 декабря — и все, он меня выпустил в большую аудиторию, не спросив предварительно, готова ли я, не велел заранее показать текст (что, кстати, по тем временам могло быть небезопасным — мало ли что аспирант ляпнет по неопытности!). Я отвечала сама за себя. Кажется, не подвела.

В письме к Х. И. Кильберг от 30 декабря он рассказывает об этом заседании так: «Мой доклад "Первые годы журнала "ат-Та-рик" представлял предельные выжимки из статьи с удалением всех

"Персоналия"30 и с минимальными дополнениями. У Долининой доклад был назван "ат-Тарик" в современной арабской литературе", у Блинцовской "ат-Тарик" в борьбе за мир". Оба, на мой взгляд, были выполнены очень добросовестно и хорошо резюмировали весь доступный здесь материал. Для присутствующих, по-видимому, все это было интересно. Жалко, если доклады по-прежнему останутся в рукописи. В "Звезде" обещали напечатать статью Долининой, составленную под несколько иным углом зрения» [А, оп. 3, № 22, л. 74]. Действительно, статью опубликовать удалось. Редактор «Звезды», слегка поколебавшись («Что это за новое явление такое — арабский журнал сторонников мира? Небось, какой-нибудь буржуазный листок!») и, вероятно, проконсультировавшись, с кем следует, статью принял и напечатал очень быстро — в № 2 за 1951 год.

Но Игнатия Юлиановича к тому времени уже не было в живых...

Той же осенью И. Ю. Крачковский с готовностью откликается еще на одно новое предложение, воскресившее старую традицию: редакция академической серии «Литературные памятники» решила

356

включить в серию переводы и из восточных литератур. Крачковский снова в движении: он составляет план, намечает переводчиков и сетует в письме к Сутугиной (она-то его по этой части поймет!), что никого, «кроме самой зеленой молодежи», не осталось, «младенцы, и им все разжевать надо» [5 дек. 1950 г.; А, оп. 3, № 27, л. 96 об.], —; можно подумать что во времена «Всемирной литературы» он располагал целым штатом опытных переводчиков — Эберман и Салье тоже ведь были «младенцами».

Время шло, а приказа о восстановлении Винникова так и не было. 16 января 1951 года И. Ю. Крачковский посылает директору института заявление об уходе: «Настоящим прошу отчислить меня от Института Востоковедения согласно моему заявлению. За истекшие полгода я окончательно убедился в невозможности восстановить работы по тем арабистическим темам, которые я считал особо важными в деятельности Института, и тем самым в бесполезности моего дальнейшего пребывания в нем» [А, оп. 2, № 172, л. 280]. К заявлению было приложено личное письмо31.

Заявления об уходе были направлены также в Отделение истории к философии АН, куда после реорганизации был причислен Институт востоковедения, академикам-секретарям отделений, президенту АН С. И. Вавилову. На другой же день он получает телеграмму от С. П. Толстова: «Прошу меня извинить за задержку ответа по интересующему Вас вопросу тчк Это не форма отказа а результат необходимости проконсультироваться с рядом лиц зпт в частности с академиком Вавиловым который только на днях вернулся из отпуска тчк Я выезжаю в Ленинград и очень хотел бы видеть Вас пятницу или субботу надежде убедить Вас взять Ваше заявление обратно Толстов» [там же, л. 281].

К. Б. Старкова, видевшая Крачковского в четверг, 18 января, вспоминает, что он ждал приезда Толстова, хотя был уверен, что разговор с ним опять ни к чему не приведет, «так как Толстов будет саботировать положительное решение вопроса, сам же Игнатий

Юлианович будет настаивать на этом, не считая себя вправе уступить. При этом он прибавил: "Вы не можете представить, насколько дорого мне уже это обошлось, и, чувствую, обойдется еще дороже". Он говорил обо всем со свойственной ему горячностью» [А, оп. 2, № 98, л. 8—9].

Разговор с Толстовым, длительный и неприятный, произошел в пятницу, 19 января. В субботу, вспоминает Старкова, состоялось общее собрание ленинградских сотрудников ИВАН, на котором Крачковский не присутствовал. На этом собрании Толстов между прочим заявил, что Арабский кабинет принадлежит к числу «самых неблагополучных» и что его придется слить с турецким.

Что переживал Игнатий Юлианович в эти дни, можно только догадываться. В «Испытании временем», там, где он говорит о беспомощности своей перед «мастерами шулерского жонглирования», он вспоминает картину «грубого сапога, который бессмыс

357

ленно растоптал бережно с большими усилиями выращенные цветы» [А, оп. 2, № 62, л. 118]. Наверное, снова и снова вставала перед ним эта картина, когда он ощущал беспомощность свою перед злым самодурством власть имущего деспота, которому ничего не стоит растоптать целую отрасль науки, с таким старанием лелеемую им долгие годы.

23 января, во вторник, казалось, ничто не предвещало роковой развязки. День он провел на ногах и за письменным столом. Вечером, в десятом часу, заходила за книгами А. М. Блинцовская. Он сам вышел провожать ее в прихожую, кажется даже пошутил. После вечернего чая Вера Александровна поиграла ему на рояле — сюиту из «Золушки» С. Прокофьева. В половине двенадцатого он лег в постель, но не читал, как обычно, — наверное, уже чувствовал себя плохо. В начале первого начался внезапный приступ удушья, Вера Александровна вызвала «скорую помощь». Приехали очень быстро, он был без сознания, но еще дышал. Врач сделал инъекцию, но это было уже бесполезно. В сорок минут первого 24 января его не стало. Диагноз в свидетельстве о смерти — паралич сердца.

Ровно на сорок пять лет, день в день (если считать последним его днем 23 января), он пережил брата своего Алексея и на сорок три года — любимого учителя, барона Розена.

Вера Александровна держалась с присущими ей трезвостью и мужеством. Сразу же вызвала к себе Алявдиных — Раису Дмитриевну с детьми, благо жили они близко, на Петроградской стороне у Тучкова моста. Отдала распоряжения, кого и как оповестить. В кабинете сдвинули в сторону письменный стол, на середину поставили тот стол, за которым всегда сидели ученики, одели Игнатия Юлиановича в обычный его синий костюм и положили его на этом столе. Он лежал очень спокойный, красивый, без следов страдания на лице.

Один за другим стали приходить люди — родные Веры Александровны, друзья, коллеги, ученики. Приехали из Москвы Х. И. Кильберг, К. В. Оде-Васильева, Б. Н. Заходер. Жуткое впечатление произвело на всех известие о скоропостижной кончине — на другой день — С. И. Вавилова, собиравшегося приехать на похороны. В. А.

Крачковская рассказывает (с чьих слов, не знаю): «Вечером 24.1 у С. И. Вавилова в Москве был акад. Иоффе. С. И. при нем все ходил по кабинету, повторяя: "Нет, какого академика мы потеряли!". Дважды за вечер звонил по телефону в Ленинград, спорил, давал распоряжения о венке, потом изменил надпись. А с наступлением ночи Сергея Ивановича тоже не стало» [А, оп. 2, № 98, л. 21].

Потоком шли телеграммы со всех концов страны и из-за рубежа. За первые же два-три дня Вера Александровна получила около ста пятидесяти телеграмм. Были и официальные, в том числе и от Толстова (его подпись оказалась даже на трех телеграммах!),

358

были совершенно душераздирающие. Трогательно звучала телеграмма от работников почты, которые в первый же день доставили Вере Александровне десятки телеграмм: «Работники телеграфа 34 отделения скорбят вместе с Вами об утрате Вашего мужа а нашего клиента всеми нами уважаемого и почтенного Игнатия Юлиановича» [А, оп. 2, № 96, л. 36].

Для меня эти дни прошли в каком-то тумане, я с трудом собираю обрывки своих воспоминаний: ездила по поручению Веры Александровны в разные концы города — сообщить печальную весть тем, у кого не было телефона, потом с кем-то из сокурсниц (с А. И. Михайловой, кажется) заказывала венок... Лучше я расскажу о похоронах чужими словами — приведу отрывок из хранящегося в архиве Крачковских письма К. Б. Старковой А. П. Ковалевскому:

«Вынос тела из квартиры в Большой конференц-зал был назначен на 4 часа дня... Гроб несли на руках всю дорогу, за ним шли провожающие... Виктор Иванович и Исаак Натанович всю дорогу шли с непокрытыми головами. Все были очень подавлены, преобладающее большинство были востоковеды всех специальностей, все возмущались поведением Толстова, а те, кому возмущаться не полагается, по крайней мере молчали. Гроб внесли в большой зал и поставили на возвышение в середине. Провожающие вошли за ним и стояли большим полукругом, пропустив к гробу Веру Александровну. Все стояли молча в совершенной тишине и, казалось, могли бы простоять многие часы, не замечая времени...

Возвышение с гробом и пространство вокруг него были декорированы зеленью, в головах стояли стеной венки, и их все продолжали приносить. Особенно обращал внимание большой венок от акад. Вавилова, так как к тому времени все хорошо знали, что Вавилов сам уже мертв...» [л. 13—14].

Только одно у меня очень ясное воспоминание: Вера Александровна разрешила нашей группе — последним, с кем Игнатий Юлианович начинал курс, — провести ночь перед похоронами у гроба в конференц-зале. Она уехала домой около 12 ночи; мы, пятеро, тихонько сидели в зале, почти не говорили между собой. Время от времени кто-нибудь из нас подходил вплотную к гробу, долго вглядывался в прекрасное лицо, у каждого были свои воспоминания, свои мелочи, радости и огорчения, с ним связанные. Тяжелее всех было А. И. Михайловой и мне, ведь мы и после окончания Университета были тесно связаны с ним, уже по-другому, как с частью собственной жизни.

Потом — опять все в тумане. И снова вернусь к воспоминаниям К. Б. Старковой: «На другой день в 12 часов началась гражданская панихида. Народу было столько, что по громадному залу нельзя было пройти. Была музыка вначале, но немного, потом речи, смена почетного караула каждые пять минут, все новые груды венков, но все это было уже совсем не то, тут земной суеты было

359



больше всего, несмотря на совершенно очевидную искреннюю скорбь и печаль очень и очень многих. Блестящую, очень сильную и выразительную речь сказал И. А. Орбели, и необычайно трогательную по глубочайшему чувству Виктор Иванович...»

Вот из некоторых других воспоминаний: во время панихиды к изголовью гроба протиснулась маленькая девочка лет 12—13 и громко заговорила: «Граждане! Не стало самого хорошего человека, самого умного, самого красивого...» Это была та самая девочка, что писала ему письма. Мать оттащила ее, а потом в письме извинялась перед Верой Александровной за дочь: она «нарушила прекрасную печальную гармонию, но она не оскорбила его память. Простите ее, ей 13 лет» [А, оп. 2, № 96, л. 136 об.].

Из воспоминаний К. Б. Старковой:

«Гроб вынесли и поставили на катафалк, запряженный шестью лошадьми, только сбруя и все другие аксессуары были просто старые, и на это еще грустнее было смотреть. Шествие прошло Дворцовый мост, Невский весь и две остановки по Лиговке. Тут оно остановилось и гроб сняли с катафалка и поставили в крытый автобус, который все время сопровождал провожающих. Это было сделано для Веры Александровны, которая изнемогла идти и не соглашалась сесть в свою машину, чтобы не разлучаться пока можно с Игнатием Юлиановичем. Мы все сели на трамвай и прибыли к Волкову кладбищу минуты на две-три раньше машин. Гроб внесли в ворота в сопровождении венков и цветов, которые несли все провожающие...

Могила, недалеко от ворот, окружила такая густая толпа, что я ничего не могла видеть... Произнесли речи: А. А. Френман, неизвестный мне академик, один студент³² и Д. И. Тихонов. Я не судья в этих вещах, но мне кажется, что все они подходили лучше к вечеру воспоминаний, чем к раскрытой могиле. Они были длинные, а многие, мужчины, главное Виктор Иванович, стояли с открытыми головами...

Речи кончились, музыканты ушли, сумерки начали сгущаться, был уже шестой час, но никто не уходил...

Вера Александровна... могла все это время только изумлять и восхищать столь героическим, особенно для женщины, поведением. При столь глубоком горе она была полна внимания и сочувствия к окружающим и всем давала пример мужества и самообладания» [л. 16—17].

Эпилог. Испытание временем

Игнатий Юлианович Крачковский прожил неполных шестьдесят восемь лет. Он ушел из жизни будучи в зените мировой славы,

сохранившим свои творческие силы, несмотря на физическую немощь, — и в то же время человеком глубоко несчастным. Он уходил с ощущением, что рушится все, созданное им и его учителями, что свободное развитие научной мысли у него на родине больше невозможно. Он умирал, чувствуя себя «забытым часовым», которому не подошла смена, с тяжелой мыслью, что неоконченные свои труды и передать некому и что лягут они «сырой грудой "навечно" в архив». Этим угнетенным состоянием духа в большей степени, чем болезнями, объясняется и мрачный, порой даже ворчливый тон его писем последних лет, да, наверное, и течение самих болезней и, конечно, его преждевременная смерть. Ему, не борцу по своей натуре, пришлось бороться всю жизнь, вернее сказать — всю вторую половину жизни, бороться за истину, за справедливость, за чистоту науки. Он не отступил — и действительно умер как часовой на посту.

Прожить бы ему еще лет десять, ну хотя бы пять, дожидаться «оттепели», времени надежд, помочь бы «определиться» новому поколению учеников, первые шаги которых он уже видел, встретить бы вернувшегося из ссылки Шумовского, помочь и ему наверстать упущенное... Но судьба не была милостива к нашей арабистике.

Однако самые мрачные прогнозы Игнатия Юлиановича, к счастью, не оправдались. Восстановление Восточного факультета как самостоятельной единицы сделало реальным почти ежегодные наборы студентов-арабистов (а с 1955 года время от времени и семитологов), и, следовательно, появилась возможность отбирать лучших для научной работы. В настоящее время в Ленинградском отделении ИВАН, воссозданном в 1956 году, работает сильный коллектив арабистов, понемногу пополняющийся выпускниками Восточного факультета. Сотрудники Арабского кабинета и университетской Кафедры арабской филологии поддерживают и традиционные направления исследовательской работы и осваивают новые

360

ЭПИЛОГ. ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

подходы к темам, как это с самых молодых лет было свойственно нашему учителю. Я не буду здесь называть имена и описывать достижения, удачи, неудачи и поиски арабистов — петербуржцев, москвичей, представителей арабистических школ Средней Азии и Кавказа, о развитии которых мечтал когда-то И. Ю. Крачковский. Всех и все в краткой главе не перечислишь. Да и не нужно: востоковеды хорошо знают друг друга, а не востоковедам сухой перечень имен и тем все равно ничего не даст. Главное — работа идет, и все линии арабистики, начатые Крачковским, постепенно развиваются (меньше других, пожалуй, изучение христианско-арабской литературы, но, несомненно, придет и ее черед).

Что же касается трудов самого Игнатия Юлиановича, то и они не осели «сырой грудой» в архиве. В 1955—1960 годах вышло шеститомное собрание его избранных сочинений (более 300 печ. л.), в которое вошли, помимо хорошо известных его классических трудов, и «История арабской географической литературы» (самый большой том, 73,5 л), и все, опубликованные и неопубликованные,

материалы по Ибн аль-Мутаззу и арабской поэтике, и впервые переведенные на русский язык статьи, в разные годы печатавшиеся в зарубежных журналах, сборниках, в Энциклопедии ислама. Отдельным изданием дважды выходил перевод Корана — в том виде, как он был составлен автором. Печатались в разные годы и переводы произведений современных арабских писателей из его архива. Однако наследие Крачковского далеко не все исчерпано, и новому поколению арабистов еще есть здесь над чем потрудиться.

Вера Александровна Крачковская пережила мужа на 23 года; она скончалась 4 января 1974 года на девяностом году жизни. С присущими ей энергией и практичностью она много успела сделать для увековечения памяти И. Ю. Крачковского.

По ее эскизу выполнен памятник на Литераторских мостках Волкова кладбища с барельефом и арабскими надписями. Без ее настойчивости трудно было бы осуществить и упомянутое издание его избранных сочинений в таком объеме и с таким количеством иллюстраций; много труда вложила она и в издание Корана.

Она разобрала и привела в порядок архивные материалы мужа, организовала предварительную опись его библиотеки, переданной по ее завещанию в Отдел литератур стран Азии и Африки Российской Национальной библиотеки в Петербурге. Она написала воспоминания о И. Ю. Крачковском, из которых опубликована лишь малая часть.

Прах Веры Александровны покоится рядом с мужем, в той же могиле на Волковом кладбище.

Примечания

ГЛАВА I

1 Характерно, что деятельность Ю. Ф. Крачковского в Туркестане также не носила русификаторского характера: в числе мероприятий, направленных на улучшение быта и преподавания в учительских семинариях края, был и проведенный им в жизнь проект обучения семинаристов сартовскому (узбекскому), персидскому и арабскому языкам, и сбор материалов к русской хрестоматии для узбеков, которая должна была по содержанию своему быть максимально приближенной к местной жизни [14, с. 27].

2 Мать приехала в Ташкент позже [А, оп. 6, № 198, л. 1].

3 Она умерла в 1893 г. [А, оп. 2, № 130, л. 40].

ГЛАВА III

1 Полужирным шрифтом выделены слова, которые В. Р. Розен при чтении работы подчеркнул красным карандашом. На полях этим же карандашом поставлены два плюса.

ГЛАВА IV

1 И. Ю. Крачковский вел дневник в течение всего 1906 года; в 1907-м — прекратил.

2 «За мной окончательно утвердилось данное бароном прозвище его "Вениамина". Объяснял он это тем, что в последний раз берется за занятия с оставленным [при Университете], "пусть другие возьмется, а с меня уже довольно", — добавлял он шутливо» [А, оп. 1, № 294, л. 67].

3 На основе материалов дневника Крачковского ход обсуждения достоинств и недостатков его сочинения подробно изложен в статье В. А. Крачковской [22, с. 6—10].

4 По воспоминаниям И. Ю. Крачковского 1948—1949 гг. [А, оп. 2, № 62, л. 129], предложение было сделано «около 1904 года», когда Крачковский был «на последнем курсе факультета». Однако ни в дневнике, ни в письмах этот факт тогда отражения не нашел, и по характеру приведенной выше записи от 19 января можно предположить, что в этот день разговор о библиографии зашел впервые.

5 См. гл. «Старый апокриф» в кн. «Над арабскими рукописями» [28, с. 8—9].

6 В. Р. Розен отредактировать перевод полностью не успел; книга вышла в 1911 г. под редакцией и с предисловием А. Э. Шмидта.

362

7 И через четверть века, уже после смерти Н. Я. Марра, И. Ю. Крачковский подтвердит свою тогдашнюю мысль, что именно Марр «дал непревзойденную до наших дней общую характеристику его научно-организаторского таланта» [29, с. 8].

ГЛАВА V

1 Для сравнения укажу, что двенадцатью годами ранее А. Е. Крымскому Лазаревский институт выдавал стипендию всего 50 рублей в месяц, которых явно не хватало для нормального существования [см. 33, с. 30, примеч.].

2 «Позавчера, например, около получаса продолжалась такая гроза с ливнем, что все улицы превратились в настоящие реки, прекратилось всякое сообщение, размыло несколько домов (так!), разнесло массу пожитков и даже унесло в море двух арабов, одного вместе с его столиком менялы и вместе с деньгами» [А, он. 3, № 26, л. 236].

3 По ее словам, эта книга и после революции использовалась в качестве вузовского учебного пособия [А, оп. 7, № 28, л. 54].

4 Следует заметить, что И. Ю. Крачковский вообще относился к тогдашней деятельности Палестинского общества как научно-просветительной организации весьма критически. Достаточно прочесть его отзыв в частном письме о научном органе общества («Сообщения Императорского Православного Палестинского общества»): «Мне этот журнал, конечно, давно известен и еще в былые времена мы много мечтали о его реформировании. Пока же в нем сидят настоящие заправилы — ноги моей там не будет; если хам Дмитриевский (секр. О-ва) позволяет себе без спросу "исправлять" статьи Тураева, то воображаю, что бы они сделали с моими. Кроме того, мне ужасно не нравится грекофильское направление сего органа; я хотя и не арабофил, но все же вижу факты шире, чем они освещаются в греческих газетах, единственных источниках этого журнала» [А, оп. 3, № 26, л. 338 об.—339].

5 СТАРЫЙ ДРУГ

Как юности песню, как грезу любви, Как старую детскую сказку, В ночной тишине прозвучавшую глухо, Люблю я Ливан.

Но годы проходят... Мрачней мои мысли, Им тесно в угрюмой тюрьме городов... Слова утешения, слова всепрощения Мне шепчет Ливан:

«Ты видишь: века пролетели, Погибли давно все мечтанья мои, Но, жизнью разбитый, житейское иго Твой любит Ливан.

Ты помнишь, как море искрится, Как солнце свершает торжественный путь, Как в дыме тумана на страже Бейрута Синеет Ливан...»

363

И снова воспрянув под ношей тяжелой, Тернистым путем неустанно иду; В дремоте вечерней, при жизни закате Мне снится Ливан...

2 ноября 1909 г.

6 Рецензия так и не была написана. Некоторые замечания по обоим изданиям см. в статье «Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии и диван Омара ал-Маххара» [27, т. 2, с. 156—158]

¹ Переписанные И. Ю. Крачковским отрывки из этой рукописи опубликованы в вышеупомянутой статье [27, т. 2, с. 169—182].

8 «Он, бедный, накинулся на меня, как голодный, и все оправдывался, что ему приходится говорить о торговле и поэтому он рад хоть несколько дней поговорить о науке: даже свою контору забросил на время моего пребывания» (письмо от 18.1.1910; А, оп. 3, № 24, л. 68).

4 Запись в дневнике 8 янв. 1909 г.: «Медников пишет, что мой "очерк" в исправленном, расширенном и дополненном виде может составить ценный "вклад в науку". Ну и слава Богу! Только напрасно он будет ждать этого вклада» [А, оп. 2, № 5, л. 82].

10 Вот, например, характерная сценка, записанная В. А. Фармаковской во время путешествия: «В небольшой кофейне у реки приезжие русские пили кофе, а Игнатий Юлианович ел лебен (кислое молоко), черпая его по местному способу кусками лепешки, свернутыми трубочкой» [А, оп. 6, № 203, л. 98].

ГЛАВА VI

1 В письме от 2 марта 1912 г. он пишет: «Набрал я себе на следующую осень работы превыше головы. Очень соблазнило, что как раз с осени Петров будет читать начальный курс испанского языка; я его решил послушать... Он в свою очередь просит меня почитать что-нибудь по арабской поэзии, обещая слушать. Мне и самому было бы приятно: это заставило бы меня систематически заниматься своей специальностью» [А, оп. 3, № 25, л. 112 об.—ИЗ].

2 17.1.1911 — л. 2; л. 3—4 — 31.VIII.1911; л. 1 — 3.IX.1912; л. 5—6 — 9.IX.1914; л. 40—44 — 1.X.1915.

3 «С одиннадцати до трех заседал в Семинарии, все разбирал книги Минаева. Пылища такая, что я поочередно выносил их стопками в коридор и там усиленно выколачивал» [5 марта 1912 г.; А, оп. 3, № 25, л. 119].

4 Имеются в виду В. Ф. Гиргас, В. Р. Розен и голландский арабист де Гуэ, занимавшийся в свое время лейденской рукописью ад-Динавери. Этим трем «слонам» и посвятил впоследствии Крачковский свою работу [см. 17, с. 25, М? 35].

5 «Несмотря на усиленную беготню удалось... написать небольшую статью насчет одного поэтического сборника... и европейца, изучавшего его уже в XVIII веке. (Речь идет, очевидно, о статье "Хамаса Бухтури и ее первый исследователь в Европе". — А. Д.). Что со мной бывает редко, я даже как-то остался доволен заметкой, может быть потому что она у меня вылилась из души (зато

один вечер писал о ужас! до трех часов ночи)» [18 дек. 1910 г.; А, оп. 3, № 24, л. 129].

364

6 «Пока собираешь материал и делаешь подготовительные работы, идет более или менее хорошо и даже довольно быстро, когда же надо приниматься за их обработку и начинать фактическое писание, кажется, будто все мозги иссякли и приходится себя заставлять». Речь идет о работе над предисловием к Абу Ханифе. [8 июля 1911 г.; А, оп. 3, № 24, л. 210].

7 Речь идет об этюде «К вопросу о шиитстве динас гни Хамданидов». На эту тему он сделал доклад в Восточном отделении АО; этот доклад полностью вошел в диссертацию [23, с. 50—67], на что указывает сам автор [с. 49, примеч. 2].

8 Различие их натур ярко иллюстрирует, в частности, разница их музыкальных вкусов: Игнатий Юлианович больше всего любит Шопена, Вера Александровна — Вагнера, особенно «Валькирию» [А, оп. 3, № 489, л. 101 об.б]

9 Как известно, арабское письмо имеет направление справа налево; так же, справа налево, брошюруются книги, а следовательно, первая страница располагается там, где у европейцев последняя.

10 Как комментирует В. А. Крачковская, «конечно, это были Смирнов и Жуковский» [А, оп. 7, № 27, л. 7].

11 Цитируя этот отзыв, Крачковский замечает, что такая высокая оценка может быть отнесена только к вводному исследованию.

ГЛАВА VII

1 «Даже и перевод я исправляю с удовольствием. Редко какая вещь из беллетристики о Востоке производила на меня такое сильное впечатле-ние. Насколько было приятно над ним работать, настолько же неприятно теперь хлопотать об устройстве» [3 февр. 1917 г.; А, оп. 2, № 6, л. 80].

Неясно, правда, где и когда он планировал читать эти лекции и прочел ли. В дневнике [16 апр. 1922 г.; л. 300] есть еще одно упоминание о подготовке лекций по новоарабской литературе в 1922 г. По списку И. Н. Винникова [17, с. 163] курс «Арабская лигература в XIX—XX веке» И. Ю. Крачковский читал впервые в 1924 г., но, как предупреждает сам автор [17, с. 161], его перечень неполон.

3 В дневниковой записи от 25.X.1917 г.: «Сказка про белого бычка: имеем себе вторую революцию. Большевики действуют вовсю — позахва-тывали ряд учреждений: банк, телеграф и пр. Объявлено про низложение правительства, о мерах которого что-то ничего не слышно. С 9 вечера почти до 1 часа продолжалась пальба в стороне Зимнего дворца. Что происходит, никто толком не знает» [А, оп. 2, № 6, л. 127 об.—128].

4 В действительности в 1917/18 уч. году занятия, как всегда, шли до мая.

5 В. А. Жуковский просил не поднимать дела, мотивируя это тем, что по отношению к нему и другому пострадавшему преподавателю факультета, А. Ф. Хашабу, «сравнительно с остальными служащими было проявлено особо доброе внимание и причиной такого отношения был Е. Д. Поливанов» [3, ф. 14, оп. 3, № 15802, л. 314].

6 В факультетском архиве самые аккуратные черновики протоколов заседаний написаны его рукой.

7 В отчете И. Ю. Крачковского по Азиатскому музею за 1920 г. говорится: «Неполучение дров лишало возможности оставаться в помещении

365

Музея без вреда для здоровья более одного-двух часов подряд, работа сотрудников переносилась преимущественно на квартиры» [А, оп. 2, № 172, л. 1].

8 Речь идет о статье «Грамота Иоакима TV, патриарха антиохийского, львовской пастве в 1586 г.» [27, т. 6, с. 445—454].

9 «Вечером дома читал статью Haneberg'a о мусульманских школах и еще раз убедился, как Hell в своей "Культуре" списывает не стесняясь» [3 февр. 1917 г.; А, оп. 2, № 6, л. 80]; «Убоявшись того, что придется преподавать современный язык, почитываю на ночь учебник палестинского диалекта Spoeer'a» [22 нояб. 1918 г.; л. 205].

10 «Вчера с большим удовольствием пробежал Бартольда "Ислам"» [2 дек. 1917 г.; л. 138].

11 «Отдыхал над Котляревским "Литературные направления Александровской эпохи". Приятно бывает почитать что-нибудь совсем не относящееся к делу», — замечает он в дневнике 25 февраля 1918 года [л. 152 об.]. Среди книг, прочитанных им в конце 1917 года, — Баратынский и Грибоедов; в 1918-м, помимо Котляревского, — академическое издание Лермонтова, 1-й т. сборника «Пушкинист», Сенковский (впрочем, это все-таки относится к делу — к арабистике), книги о Достоевском С. Булгакова; в 1919 году — книги о Гоголе, Одоевском, Тютчеве, Фете («Мечтаю перечитать стихи Тютчева» [12 июля 1919 г.; л. 232]), «Искусство поэзии» Буало по-французски, сказки Гауффа по-немецки, «Сильна, как смерть» Мопассана, «Повесть о двух городах» Диккенса, «Разбойники» Шиллера («Вспомнил детские годы, когда читал их в зелененьких книжках еще в Игналне» [19 нояб. 1921 г.; л. 241 об.]).

12 Еще в марте 1917-го — кое-какие мистические произведения Лоды-женского, в 1921-м — «Очерки истории русской философии» Радлова.

¹ 13 «Одна из тех книжек, за которую много ему можно простить. Особенно хорошо, что он не скрыл тех "горьких" истин, которые он ему говорил, и очень, по-моему, метка характеристика "озорства" — основного элемента в мышлении Толстого» [14 июля 1920 г., л. 258 об.].

14 «Интересны в начале X главы "Колониальный режим на Востоке" соображения Маркса и Энгельса об исламе и мусульманской культуре, в главе XI "Движущие силы и формы национальных революций на Востоке" некоторые данные о национальном движении татар и вообще мусульман» [16 авг. 1922 г.; А, оп. 2, № 11, л. 286].

15 В доме предварительного заключения И. Ю. Крачковский делал выписки из следующих арабских книг: «Субх аль-а'ша» аль-Калькашан-ди, «Расаиль аль-булага», «Аль-Икд аль-фарид» Ибн Абд Раббихи, «Ки-таб аль-агани» Абу-ль-Фараджа аль-Исфгани, «аль-Фихрист» ан-Нади-ма и др. Среди прочитанных им научных трудов можно назвать: M. Hor-ten. Einführung in die höhere Geisteskultur des

Islams; O. Pontz. Mocham-meds Lehrs; G. Lanson. Histoire de la litterature francaise и др. Кроме того, он изучал сочинения по арабской грамматике и синтаксису И. Ко-зегартена и Х. Рекендорфа, грамматику египетского диалекта Спитта-бея [А, оп. 2, № 11, лл. 290—342]. Судя по другим заметкам [А, оп. 2, № 31, л. 42], и книг по специальности, и беллетристики было прочитано гораздо больше.

16 Решение об административной высылке принималось без суда.

366

ГЛАВА VIII

1 Судя по недавно опубликованному дневнику К. И. Чуковского, тенденция к вульгаризации в принципах подачи материала все же существовала и исходила она от самого инициатора всего предприятия — А. М. Горького [см.: 71, К? 7, с. 145, 147, 158; № 8 — с. 1241. Думаю, что восточной литературы как материала мало кому известного эта тенденция коснулась слабее.

2 Подробно о реакции Блока на контакты с востоковедением см. 61, 1980, № 10, с. 140—141.

3 Пример — заметки к отзыву об «Атлантиде» Пенуа: «Вполне согласиться ни с кем не МОЮ. Роман для легкого чтения, но все же с известной идеей. Расхожусь с Н. С. Гумилевым и в оценке идеологии и использования автором средств. 1) взвешивание милитаризма. Нет — примеры разные. 2) еще меньше колониальной тематики» [доложено 11 янв. 1921 г.; А, оп. 2, № 233, л. 138].

4 Это определение относилось и к некоторым переводам с западных языков, выполненным учеными-филологами.

5 Ф. Д. Батюшков выдвигал следующие требования к переводу: «1) Точная передача смысла. 2) Наивозможно близкое воспроизведение стиля. 3) Сохранение особенностей языка автора, но без галлицизмов в переводе, без воспроизведения идиотизмов языка, без нарушения строя и элементарных грамматических правил родного языка. 4) Последним, не столько требованием, как desiderata, является соблюдение внешней эмоциональности художественной речи» (Принципы художественного перевода. Иг., 1920, с. 11—12).

6 К этому времени им был подготовлен перевод стихов Имру-уль-кайса.

7 Это письмо, ксерокопия которого была любезно предоставлена мне дочерью Г. Л. Лозинского, М. Г. Гросс-Лозинской, даты не имеет, однако, судя по содержанию и дате ответа на него, относится к весне 1922 г.

8 «Много было на заседаниях осложнений с писаниями В. М. Алексеева, которые пришлось сократить, а так как при отсутствии по болезни С. Ф. Ольденбурга мне надо бывало председательствовать, то обиды на меня было много, вплоть до заявлений об уходе» [16 апр. 1922 г.; А, оп. 2, № 6, л. 299 об.].

9 Об этом подробно см.: 54; 65, 1990, №№ 10, 11.

ГЛАВА IX

1 Например, один из «транспортов» своего перевода, отправляемого Крачковскому на редактуру, В. А. Эберман сопровождает таким посланием:

«Сия блудная дочь — 1001 ночь — возвращается к Вам. — Несмотря на скромность и убожество ее убора — она решилась не бояться Вашего светлого взора — после того, как четыре месяца бывало — ежедневно приставала, — чтобы осмотрели ее наряд, — до того дорог и свят — для нее редакционный обряд. — Но несмотря на то, что мы удовлетворили по мере сил ее желание, — она просила еще сообщить в особом послании, — что дрожит и трепещет, — боясь, что Ваш "калам" ее "холмы" отхле

367

идет, — что ее "трость" склонится под ударами Вашей тростинки — и что ее "розе" придется принять цвет былинки. — Итак, она надеется на Ваше милосердие, — ибо под сводами всей тверди я — не встречал более милостивого, чем наш имам, — ва-с-салам» [А, оп. 2, № 25, л. 15].

2 Еще в отчете о деятельности Академии наук за 1919 год Ольденбург писал: «У научных работников есть ясное сознание их долга перед страной и народом не давать прекращаться ни на минуту этой научной работе, без которой немыслима никакая культура, никакая разумная человеческая жизнь» [40, 1919, с. 21—22].

3 Речь идет о книге В. В. Бартольда «Мусульманский мир», рецензию на которую Крачковский так и не опубликовал. Рукописный текст рецензии с карандашными пометками на полях, сделанными кем-то из читателей (возможно, Б. Я. Владимирцовым), сохранился в архиве Крачковского [А, оп. 1, № 334]. Основной вывод ее сводится к следующему: «Это — труд научный в самом благородном смысле слова, с продуманным построением, строго отделанный в деталях, одинаково авторитетный во всех частях и открывающий новые горизонты во всех затрагиваемых вопросах.

Трудно решить, какая глава дает в нем больше для специалиста. Для начинающего изучать мусульманский мир, для подошедшего к нему с твердым намерением проникнуть в средневековый Восток, не боясь первого впечатления, — он окажется незаменимым пособием в такой же мере, как и для специалиста. Но может ли он увлечь начинающего новичка, поднять не только разум, но и чувство, нарисовать вдали картину, которая будет манить и поможет преодолеть тяжесть первых шагов — на это надо ответить, кажется, отрицательно» [л. 79 об.—80].

4 Об этих вечерах см. Баньковская М. В. Малак — литературные вечера востоковедов. 1920-е годы // Традиционная культура Китая. М., 1983. С. 119—126; Она же. «Малая Академия» в Азиатском музее. // 69. 1985. № 3. С. 139—152. Сохранилось и воспоминание В. А. Крачковской об одном из таких вечеров [А, оп. 7, № 28, л. 8].

5 Т. е. С. Ольденбург или И. Крачковский.

6 Так, например, коллектив Ленинградского Восточного института помимо своих коллег — профессоров В. М. Алексеева, Б. Я. Владимирцова и А. Н. Самойловича, по предложению ректора института П. И. Воробьева выдвинул в действительные члены АН М. Н. Покровского, Н. И. Бухарина, М. Д. Рязанова и А. М. Деборина [5, ф. 7222, оп. 9, № 1, л. 19 об].

7 Эта формулировка взята из составленного П. К. Коковцовым и тайно хранившегося им, а затем И. Н. Винниковым документа, описывающего ход выборов декабря 1928-го—января 1929 г. В настоящее время документ передан в Архив АН. [см. 17а, с. 152].

8 Как сообщает Ф. Ф. Перченков [74, с. 97—98], в Москву на заседание Совнаркома была срочно вызвана делегация АН. Председатель ВСНХ и член Политбюро ЦК В. В. Куйбышев требовал действовать против Академии «огнем и мечом» и предлагал просто-напросто распустить ее.

После возвращения в Ленинград президент Академии пригласил к себе членов президиума на частное совещание. В архиве И. Ю. Крачковского сохранилось следующее напечатанное под копирку приглашение на официальном бланке:

368

«Многоуважаемый Игнатий Юлианович,

Очень прошу Вас не отказать придти ко мне на чашку чая, в среду, 16 сего января, к 8 часам вечера.

Искренне Вас уважающий Л. Карпинский» (А, оп. 2, № 152, л. 8].

9 Думаю, что в «Библиографии», составленной И. Н. Винниковым [17, с. 9], не случайно указано, что освобожден Крачковский был от должности академика-секретаря по личной просьбе — яснее в 1949 году выразиться было нельзя.

10 А. П. Карпинский, выражая в официальном письме к Крачковско-му благодарность за его работу и надежду на то, что он в дальнейшем, в случае необходимости, не откажет президиуму в содействии и помощи, между прочим писал:

«Президиум прекрасно понимает те основания, которые вызвали этот отказ, и не может, разумеется, не сочувствовать Вашему желанию сосредоточить все свои силы на научной работе. Но в то же время Президиум испытывает искреннее сожаление, что Вы не будете более принимать участие в его работах. За те годы, когда Вы входили в состав Президиума и когда последнему приходилось разрешать целый ряд важных для Академии вопросов и в связи с ее юбилеем, и в связи с новым Уставом и реорганизацией его работ, все Ваши товарищи успели убедиться, насколько ценным являлось Ваше участие в работах Президиума и как много содействовало оно общему направлению академических дел. Всегда проникнутый единственной мыслью об интересах науки и Академии, удивительно спокойно взвешивающий и оценивающий обстановку и условия каждого дела, Вы, действительно, были незаменимым членом наших собраний» [А, оп. 2, № 152, л. 9].

11 В окончательном тексте преамбулы к Уставу АН СССР 1930 года упомянутая формулировка отсутствует.

12 Уставом 1930 года деление на группы было принято.

13 См., например, характеристику его в некрологе, написанном В. М. Алексеевым: «Николай Яковлевич — это грандиозный, бурный, беспредельный темперамент... Это был вечный гейзер, не деливший своих вод на струи и назначения, вулкан, действовавший в едином огне и сотрясавший все вокруг» [8, с. 32—33].

14 И. М. Дьяконов пишет: «Все его [Марра] лингвистические построения с середины 20-х годов несли на себе печать безумия»

[16, с. 180]. Когда эта глава была уже мною написана, я обнаружила в письме И. Ю. Крачковского к В. А. Кюннер-Сутугиной от 4 июля 1950 г. такую оценку Н. Я. Марра и его трудов: «Марр несомненно был человек исключительной одаренности на грани с гениальностью, но ведь он кончил психической болезнью, и многое, начиная с 20-х годов, объяснялось первыми приступами ее, которые все же некоторые психиатры чувствовали... Одной из таких навязчивых идей была и теория четырех элементов... Я его очень любил и всегда жалею, что он так печально кончил. Теперь маятник качнули в другую сторону и боюсь, что станут отрицать и его действительно колоссальные заслуги до 20-х годов» [А, оп. 3, № 27, л. 89 об.].

Зря В. М. Алпатов, автор книги «История одного мифа», пытается усматривать в действиях Н. Я. Марра соображения политической конъюнктуры

369

и якобы назначение его деканом ФВЯ при реакционном министре просвещения Л. А. Кассо [9, с. 20—211. Деканы в те времена не назначались, а выбирались советом факультета, притом Марр сначала вообще отказывался баллотироваться, а когда коллеги его уговорили, то был избран единогласно (см. протоколы собраний ФВЯ от 7.XI и 14.XII 1911 г.; 3, ф. 14, оп. 3, № 15802, лл. 34 и 58)]. Резкая смена позиции — от умеренного либерализма до вступления в партию большевиков — вполне может объясняться увлечением болезненно темпераментной и доверчивой натуры. Утверждение же [с. 78], что психически больной Н. Я. Марр «вполне целенаправленно» добивался «господства в науке» мифа о гениальности своего учения (да еще со ссылкой на прецедент, описанный в журнале «Крокодил» за 1950 г.), не только несерьезно, но и некорректно (чтобы не сказать резче) без компетентной психиатрической апробации.

Ни в коем случае также нельзя причислять И. Ю. Крачковского к «распространителям и популяризаторам мифа» о гениальности «нового учения» Н. Я. Марра, как это делает В. М. Алпатов [9, с. 54]. Ни в одной работе Крачковского, включая статьи, специально посвященные Мар-ру как востоковеду-филологу, о яфетидологии нет ни единого слова. Автору следовало бы с большим уважением относиться к своим предшественникам на поприще истории востоковедения, а также не мешало бы обратиться к архивным документам.

15 Согласно «Библиографии» Винникова [17, с. 8] И. Ю. Крачковский вступил в должность профессора ПИЖВЯ уже 15 ноября 1920 г., однако в списке личного состава 1920/21 г. он не числится [19, с. 24]. Да и вышеприведенные записи о присутствии на коллоквиуме свидетельствуют о том, что в этом году он еще в институте не работал. Очевидно, в «Библиографию» вкралась ошибка.

16 В качестве любопытной иллюстрации обсуждения этого вопроса приведу выписку из протокола заседания правления ПИЖВЯ от 25 октября 1922 г.: «Представители Московского Института, не возражая против слияния, были отрицательно настроены против перевода в Петроград. Также ими были даны неблагоприятные

отзывы о Петроградской профессуре (указание на ее будто бы реакционность) и на почти полное отсутствие членов РКП в составе слушателей Института. Не желая вступать в бесполезные пререкания с представителями Московского Института о их неверном и ни на чем не основанном взгляде на состав профессуры и слушателей Петроградского Института, А. Н. Самойлович и П. И. Воробьев высказывали тот взгляд, что в интересах востоковедения желательнее не свертывание, а расширение сети востоковедных учебных заведений, но если государственные соображения говорят за слияние, то Петроград технически готов и может принять» [5, ф. 7222, оп. 3, № 1, л. 12].

7 Вот как оценивал ситуацию в институте И. Ю. Крачковский, выступая на методическом совещании 17 мая 1933 г.: «У нас одним из главных недостатков в истекшее время оказывалась большая неустойчивость в определении того типа специалиста, которого готовит наш институт, так как в этом отношении у нас почти каждый год так или иначе менялась установка, и эта постоянная хроническая смена парализовала почти всякую плановую работу, потому что при новой установке приходилось перерабатывать всю программу... И пока такой твердой и обоснованной установки не будет дано, то сейчас по-прежнему трудно говорить о том, что нам

370

придется достигнуть какого-то результата» [из стенограммы; 5, ф. 7222, оп. 14, № 43, л. 14].

18 В 1930 г. из Университета был выделен ряд отраслевых институтов, в том числе Ленинградский государственный историко-лингвистический институт (ЛИЛИ), который с 1933 г. стал именоваться Историко-фило-софско-лингвистическим институтом (ЛИФЛИ).

19 См.: Ольденбург С. Ф. Памяти М. П. Павловича [70, 1927, М? 18, с. XXVI.

20 Например: «Ни Академия наук, ни Азиатский музей, ни факультет Восточных языков Петербургского университета, ни Восточное отделение Русского археологического общества... абсолютно ничего не сделали, да и не могли сделать, в области теории, которая объясняла бы нам. политическую и экономическую жизнь нового Востока. Все прошлое старого Востока, его экономическая, политическая и духовная жизнь с ее застывшими в течение веков нормами — все это может быть объяснено только с точки зрения теории исторического материализма» [41, с. 77—781.

21 Например, в журнале «Новый Восток», по мнению специалиста, «почти весь персидский материал первого номера какой-то либеральный набор компиляций» [цит. по: 45, с. 162, примеч. 44).

22 В «Новом Востоке» были отрецензированы, в частности, перевод «Книги назидания» Усамы ибн Мункыза, «Образцы новоарабской литературы» К. В. Оде-Васильевой, «Грамматика арабского литературного языка» Н. В. Юшманова, сборник в честь акад. Д. И. Багаля, в котором была опубликована статья «Сулейман ал-Бустани».

23 По поводу выступления Н. Я. Марра с докладом на заседании ассоциации В. И. Филоненко замечает иронически: «По окончании

доклада Павлович и Бороздин приветствовали докладчика, указывая на то, что его "яфетическая теория" протягивает дружескую руку историческому материализму. Положим, каких чудес теперь у нас не бывает!» [28 марта 1924 г.; А, оп. 3, № 922, л. 95].

24 Филоненко же пишет ему об одном из руководителей ассоциации, приехавшем торжественно открыть ее крымское отделение: «Он очень "тонный" и по-моему весьма и весьма сомнительный как ученый... Это, кажется, его специальность: открывать собрания, Общества, говорить приветствия, писать предисловия. Но и только!» [А, оп. 3, № 922, л. 136 об.—137]. Рассказывая Крачковскому об организованной ассоциацией Керченской конференции археологов, на которой, как было рассказано выше, «отличился» Н. Я. Марр, Филоненко замечает в письме, что она носила «какой-то карьерный характер. Для того, чтобы угодить кому-то, подчас искажалась сама истина» {там же, л. 177}.

25 В ЦГАЛИ сохранились ответные письма И. Ю. Крачковского и В. М. Алексеева. Приведу их полностью.

«Директору Научно-исследовательского Института

В ответ на отношение от 13 декабря за М? 1624 довожу до сведения Коллегии Института, что я с 15 декабря с. г. сложил с себя звание внештатного действительного члена Института и прекратил в нем работу.

Академик И. Крачковский 15.XII. 1927 г.»

371

[4, ф. 288, оп. 2, № 101, л. 11]. «Директору ИЛЯЗВ

Получив вечером 15 сего декабря 1927 г. Ваше извещение, помеченное 13 декабря, о переводе меня с 9 сего декабря во внештатные действительные члены ИЛЯЗВ и о прекращении выплаты содержания с утра 15 декабря без какого-либо объяснения каких-либо причин подобного акта, — что я считаю формой, избранной подписавшим извещение директором учреждения, — я предлагаю Вам заявить в ближайшем заседании коллегии ИЛЯЗВ о моем желании быть вычеркнутым из состава внештатных действительных членов, без дальнейших перечислений, но с обязательством не требовать выплаты так называемого "выходного пособия", что, надеюсь, облегчит требуемое мною делопроизводство.

19.XII.27 Внештатный действительный член ИЛЯЗВ

В. Алексеев» [4, ф. 288, оп. 2, № 27. л. 11].

26 После смерти В. Р. Розена квартиру занимал вице-президент АН В. А. Стеклов с сестрой, а после его смерти сестру куда-то переселили и квартиру предложили Крачковскому.

27 Привожу текст положения:

«Положение о Кружке арабистов имени бар. В. Р. Розена при Коллегии Востоковедов

1. Кружок арабистов ставит своей целью изучение и разработку различных вопросов арабистики и сопредельных областей.

2. Кружок выполняет свою задачу путем чтения сообщений, рефератов о новых книгах и рукописных работах, совместного изучения отдельных вопросов и разбора текстов.

3. В состав Кружка входят как члены Коллегии (по их желанию), так и другие ученые, а равно и начинающие специалисты, которые интересуются вопросами арабистики (с разрешения Председателя Кружка).

4. Кружок входит в сношения с живущими вне Ленинграда арабистами в интересах общей работы.

5. Деятельность Кружка проходит под руководством Председателя, избираемого Коллегией Востоковедов из ее членов, при Секретаре, выбираемом Кружком из его членов.

6. Ежегодно Кружок представляет Коллегии Востоковедов отчет о своей деятельности» [А, оп. 2, № 174, л. 3].

28 Перечислю статьи 5-го тома «ЗКВ», доложенные предварительно в заседаниях кружка арабистов: В. И. Беляев. Анонимная историческая рукопись коллекции В. А. Иванова в Азиатском музее; Е. Э. Бертельс. Арабские стихи Фузули; А. Я. Борисов. Арабский оригинал латинской версии так называемой «Теологии Аристотеля»; Д. В. Семенов. Опыт сравнения одной арабской народной сказки с общеизвестной русской; К. С. Кашталева. «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник; М. М. Гпрс. К вопросу об арабских знаменах; И. Н. Винников. Дождь, вода и растительность на могиле доисламских арабов; Н. В. Юшманов. Данные Френеля о южноарабском наречии эхкили; М. А. Салье. Неизвестный вариант сказки о рыбаке и духе; Р. Р. Фасмер. К нумизматике

372

халифов; И. И. Гитфург. Арабские и еврейские варианты средневекового философского сочинения ал-Мохаммаса.

'9 Имеются в виду большой кабинет, где проходили заседания Кружка им. барона В. Р. Розена, и смежный с ними малый кабинет, где помещалась часть библиотеки Крачковских.

30 Полагаю, что речь идет о подготовке словаря народно-разговорного языка.

31 В моей статье «Кружок ленинградских арабистов в 1928—1930 гг.» эта фраза истолкована неверно как указание на необходимость незначительной перепланировки (Востоковедение, вып. 15. Л., 1989, с. 176).

ГЛАВА X.

1 В качестве иллюстрации объема заграничных связей Крачковского можно привести список его постоянных корреспондентов из академического отчета за 1927 год: Анастас Кармелит (Багдад), М. Асин Паласиос (Мадрид), Ф. Байрактаревич (Белград), Г. Бергштрессер (Мюнхен), М. Бонгес (Бейрут), Э. Брейнлих (Грейфсвальд), Э. Гарсиа Гомес (Мадрид), Р. Гибб (Лондон), И. Хоровиц (Франкфурт), П. Кале (Бонн), Ф. Кренкоу (Хайдарабад), Т. Ковальский (Варшава), Э. Литтман (Тюбинген), А. Магриби (Дамаск), А. Маймани (Алигар), И. Малуф (Зах-ле), Л. Массиньон (Париж), Т. Менцель (Киль), А. Персикович (Эрлан-ген), О. Решер (Стамбул), Р. Ружичка (Прага), И. Садер (Бейрут), И. Шахт (Фрейбург), С. Смогоржевский (Львов), М. Теймур (Каир), Н. Ван Вейк (Лейден), Х. Зайят (Александрия), К. Цеттерстен (Упса-ла) [А, оп. 2, № 143, л. 23].

2 Документ не датирован; установить приблизительно его датировку позволяет упоминание в нем «экспедиции в Персию» — то есть поездки Ю. Н. Марра для изучения современной литературы (март 1925-го—сентябрь 1926-го).

3 Этот памятник был издан арабскими учеными в Каире в 1935 г. Арабский текст «Риторики», переписанный рукой В. А. Эбермана, с пометами И. Ю. Крачковского недавно обнаружен мною в ПФААН [А, оп. 11, № 10].

4 См., напр., М. С. Киктев [43, с. 46, 48].

5 Институт истории искусств (так называемый «Зубовский институт») возник как высшее учебное заведение в 1916 г. на базе Библиотеки по истории изобразительного искусства, основанной графом В. П. Зубовым в его особняке на Исаакиевской площади. Впоследствии на основе этого института был создан Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

6 «Выяснение руководящей идеи "Послания о прощении" Абу-ль-Аля в маленькой статье послужило одним из поводов к избранию меня в почетные члены авторитетного научного объединения, как об этом сказано в соответствующем дипломе. Тот ученый, в разрез с мнением которого был выдвинут основной тезис, не мог с ним не согласиться, а в первом вышедшем после войны номере «Revue des Etudes Islamiques первая статья начиналась с упоминания этой работы, с которой автор связывал свою новую монографию» [А, оп. 2, № 62, л. 115].

7 См. выше, с. 342. Впервые он их назвал в упомянутой речи на юбилее [А, оп. 2, № 38, л. 16].

373

8 Этот фонд, на средства которого осуществлялись научные издания многих восточных текстов (Gibb Memorial Series), был основан в Англии в память шотландского ученого Э. Дж. У. Гибба (1857—1901), известного своим капитальным трудом по истории османской поэзии.

9 Перевод сохранился в архиве И. Ю. Крачковского — А, оп. 11, № 6, лл. 1—308. 4 сказки (Рассказ о трех яблоках, Рассказ о Нур ад-Дине Али и Шемс ад-Дине Мухаммеде, Рассказ о Ннме и Нуме, Рассказ о эбеновом коне) — в чистовом варианте, 1 сказка (Рассказ об Абу Кире и Абу Сире) — в черновом.

10 Переведенная И. Ю. Крачковским повесть Т. Хусейна «Дни», которую он предлагал поместить в двух номерах «Востока», была напечатана Ленинградским отделением издательства «Художественная литература» в 1934 г.

ГЛАВА XI.

1 В своем докладе организационной комиссии В. В. Бартольд мотивировал решение секции тем, что «большинство востоковедных учреждений АН, как уже существующих (ИНБУК, ТУРК), так и намечаемых (Кабинет арабской филологии), имеют строго определенные задачи и только что приступают к их выполнению, почему и желательно сохранить их в настоящем виде, без административно-финансового объединения, приняв меры лишь к согласованию их деятельности» [7, с. 46].

2 В. И. Беляев, окончивший Университет в 1925 году, с 1926-го по 1929 г. был практикантом Азиатского музея и много работал с рукописями. Подробнее о нем будет сказано ниже.

3 «Прошу Вашего разрешения приступить теперь же к организации при Кабинете кружка арабистов, к участию в котором предполагается привлечь всех научно работающих в области арабистики в Ленинграде лиц. Основной целью кружка является взаимное информирование о всех новых явлениях в области арабистики как у нас, так и за границей и согласование всех ведущихся в Ленинграде арабистических работ. Участвовать в кружке изъявило желание 10—12 человек; собрания его намечаются раз в декаду. В связи с необходимостью устраивать их для удобства участников по вечерам, придется пользоваться помещением, вероятно, вне Института Востоковедения» (А, оп. 2, № 175, л. 56 об.).

4 Этот перевод должен был по линии комиссии готовить В. И. Беляев; работа выполнена не была по неясным причинам.

5 Привожу программу вечера: «Ассоциация арабистов при ИВАН СССР.

11 марта 1934 г. в 7 час. веч.

1

1. Джебран Халил Джебран. А. Глава из "Сломанных крыльев" (рук.). Шишманов. В. Свидание (рук.). Крачковский.

2. Амин Рейхани. Бетка розы. Крачковский.

3. Шукри аль-Хури. Отрывок из "Путешествия Финьянуса" (рук.). Крачковский.

II

1. Абд аль-Месих Хаддад. Утешители (рук.). Салье.

374

2. Махмуд Теймур. Путешественник (рук.). Салье.

3. Таха Хусейн. Дни (отрывок, рук.). Крачковский.

4. Хамди Селлам. Феллах (отрывок). Некора.» [А, оп. 2, № 176, л. 4].

6 В 1935 и 1936 гг. в районы проживания арабов (Узбекистан) были направлены научные экспедиции, давшие богатый материал для дальнейших теоретических разработок.

7 «Программа 1 сессии Ассоциации арабистов

Вступительное слово директора Института Востоковедения Академии Наук СССР А. И. Самойловича.

И. Ю. Крачковский. История арабской литературы и ее задачи в СССР.

А. Ю. Якубовский. Ирак на грани VIII и IX веков (черты социального строя при аббасидах).

А. М. Шахи. Периодизация новейшей истории Египта.

В. Б. Луцкий. Сирийская революция 1925—1927 годов.

Я. С. Виленчик. К вопросу о происхождении арабского двуязычия.

Г. В. Церетели. Письмо Шахи барону Николаи.

А. Я. Борисов. Об открытых в Ленинграде памятниках мутазилитской литературы и их значении для истории мусульманской мысли.

В. А. Крачковская. Задачи арабской эпиграфики в СССР». [46, с. 6].

8 К. В. Оде-Васильева в другом варианте воспоминаний описывает реакцию Крачковского на неожиданное торжество более подробно:

«Узнав, что его обманули, он сначала очень рассердился, а в конце концов ему было приятно это внимание со стороны нас всех, а главное, он был растроган участием арабов в этом деле, тем более, что Дамасская Академия наук устроила до этого специальное торжественное заседание... и президент Академии Абд ал-Кадир ал-Магриби прислал на мое имя речь, произнесенную им на этом заседании» [А, оп. 2, М« 86, л. 11].

9 В основном опущены были цитированные выше критические замечания, как, например, слова о «подъеме и упадке», о медлительности печатания, недостаточном знакомстве с научной литературой; «некоторое затухание в преподавании» превратилось в «известное ослабление»; были вычеркнуты упоминания о наших трудах и наших рукописях, изданных за рубежом, и о достижениях дореволюционной арабистики.

10 «Так как над словарем он работал добровольно в помощь мне, без дополнительного вознаграждения, то желательна оплата его труда гонораром в принятых Книжной Палатой в аналогичных случаях размерах. Моя редакция никакой оплаты не требует, но с непременным условием присылки корректуры в Ленинград и выдачи мне некоторого количества экземпляров» [2 дек. 1940 г.; А, оп. 3, № 22, л. 33].

11 Об этом пишет И. Ю. Крачковскому Х. И. Кильберг, которая старалась помочь в издании словаря [А, оп. 3, № 434, л. 48].

12 Так, в письме от 22.VII.38 он, привлеченный Крачковским (после освобождения из первого заключения) к коллективной работе над переводом хроники Абу Ханифы ад-Динавери, высказывает свои достаточно решительные требования к переводу [А, оп. 3, № 309, л. 2], а ознакомившись с рукописью статьи Крачковского «Арабская поэзия в Испании», пишет ему следующее: «Я бы очень просил Вас, Игнатий Юлианович, прежде сдачи статьи в печать... разрешить мне лично изложить свою точ

375

ку зрения по поводу этой работы. На бумаге не изложить мне того, что я как Ваш бывший ученик считаю своей непременной обязанностью сказать своему старшему наставнику. Я ограничусь лишь кратким замечанием: по-моему, лучше пока статью попридержать у себя и кое-чем дополнить» [там же, л. 3 об.].

,3 Приказ об освобождении помечен 9 июля 1933 года.

14 Выше перечислены следующие четыре специализации В. А. Эберма-на: история арабской и персидской литератур, описание рукописей, изучение ближневосточной миниатюрной живописи, библиография отечественной арабистики.

15 По одной реплике в письме И. И. Умнякова можно заключить, что Крачковский пытался организовать для Эбермана и договорную работу в Академии: разбор архива Бартольда. «Удалось ли, — пишет он Крачков-скому, — устроить для Эбермана поручение разобрать архив Бартольда?» [6 марта 1934 г.; А, оп. 3, № 906, л. 33].

16 См. «Личное дело студентки Р. Л. Эрлих» [5, ф. 7240, оп. 1, № 1955] и «Дело сверхштатной аспирантки Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока Р. Л. Эрлих» [4, ф. 288, оп. 2, № 155]. Документы показывают,

что рассуждения Т. А. Шумовского о судьбе Р. Л. Эрлих, незаслуженно бросающие тень на И. Ю. Крачковского [56, с. 282—284], не имеют под собой никаких оснований.

17 Ходатайство, правда, не возымело действия, и А. П. Ковалевский пять лет провел в республике Коми на строительстве железной дороги.

18 Обоим был вынесен приговор — 10 лет без права переписки, то есть расстрел.

19 «Последнее сокращение часов по арабскому разряду было произведено без всякого сообщения как заинтересованным преподавателям, так и мне, носящему звание заведующего разрядом. Ввиду того, что это сокращение расстраивает сколько-нибудь нормальную работу разряда и все мои попытки восстановить эту работу до сих пор не получили ответа со стороны руководящих органов Института, я не могу нести ответственность за правильную работу разряда и вынужден сложить с себя нереальное звание заведующего разрядом, сохранив за собой чтение своих лекций до конца года» [5. (б 7222, оп. 9, № 52, л. 27)].

20 Перевод «Хроники был опубликован еще в 1941 году.

21 «Я знаю, Вы считаете меня неспособной к научной работе» [А, оп. 3, № 684, л. 101 об.].

22 По сохранившимся в архиве И. Ю. Крачковского письмам Е. Э. Бертельса [А, оп. 3, № 131, лл. 16, 18, 21] видно, что Крачковский пытался предпринять какие-то попытки добиться освобождения его сына, но безуспешно.

23 По рассказу К. Б. Старковой, учившейся тогда на I курсе, оба преподавателя исчезли в один и тот же день — «заболели гриппом», как объяснили студентам в деканате. М. Н. Соколов провел четыре года в исправительно-трудовых лагерях, а 10 октября 1937 г. в возрасте 47 лет был расстрелян согласно приговору тройки УНКВД.

24 «*Seminarium Kondakovianum*» — серия научных изданий, выпускавшихся в память Н. И. Кондакова, русского эмигранта, исследователя византийского искусства. В конце 1928 года среди европейских ученых прошел слух, что советские ученые за "участие в этом издании жестоко

376

преследуются, вплоть до ссылки в Сибирь. По этому поводу финский востоковед проф. А. М. Тальгрэн поместил в одной из гельсинских газет открытое письмо в «Главнауку» с просьбой защитить ученых. 24 января 1929 г. в «Известиях» было напечатано это письмо Тальгрэна с ответами С. А. Жебелева (по европейским слухам, пострадавшего больше всех), С. Ф. Ольденбурга и Н. Я. Марра, которые опровергали эти сведения и признавали ошибочность участия советских ученых в «*Seminarium Kondakovianum*», где порой встречались антисоветские выпады.

25 Об этом подробнее см.: Баньковская М. В. В. М. Алексеев — критик и критикуемый [69, 1983, №5].

26 Судя по контексту, речь идет о середине 30-х годов, когда Крачковский добивался того, чтобы на работу в ИВАН приняли В. И. Беляева.

27 В архиве сохранился лишь черновой набросок без даты и указания конкретного адресата.

28 К сожалению, в 5-м томе «Избранных сочинений» упомянутая статья печатается в той же искаженной редакции, поскольку, когда готовился том, архив И. Ю. Крачковского хранился еще у его вдовы В. А. Крачковской и не был описан, поэтому составитель и редактор не подозревали ни об издательских изменениях текста, ни о письме Де-борину.

29 По данным И. Н. Винникова [17, с. 146, № 193), в этот день И. Ю. Крачковский читал в заседании ассоциации первую половину своего доклада, подготовленного для второй сессии арабистов «Арабистика в СССР за 20 лет»; письмо же по поводу статьи Климовича не упомянуто.

ГЛАВА XII

1 В дальнейшем изложении событий я опираюсь в первую очередь на следующие книги, основанные преимущественно на личных воспоминаниях и архивных документах: Оружием слова: Статьи и воспоминания советских востоковедов [38]; Кольцов А. В. Ученые Ленинграда в годы блокады (1941—1943) [18]; Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР [7].

2 План монографии был доложен на заседании Арабского кабинета ИВАН 27.IX.1938 г.; рукопись начата 29.IX.1938 [27, т. 4, с. 817]. Отдельные главы читались в заседаниях кабинета в течение 1938-го—начале

1941 г.; кое-какие разделы публиковались в это же время в виде отдельных статей [см. там же, с. 818].

3 Из письма В. М. Алексеева от 25 мая 1942 г.: «Вдова Флуга в письме ко мне, поистине, душераздирающем, сообщает и о том, как Вы были добры к ней» (пит. по: 43, с. 353).

4 В другом письме (без даты) Гриневская пишет: «Вы единственный, от кого я могу в эти исключительные дни ждать участия к себе... Я потому позволяю себе тревожить Вас, что Вы всегда были человеком долга и остались при нынешних небывалых обстоятельствах» [А, оп. 3, № 300, л. 13].

5 «Много лет позднее, — пишет Д. И. Тихонов, — мне стало известно, что в Ташкенте заседание не состоялось из-за тяжелой обстановки на фронте» [38, с. 59].

6 Эта командировка сыграла роковую роль в его судьбе. Когда летом

1942 г. Калмыкия была оккупирована немецкими войсками, командова

377

ние решило использовать его как востоковеда, о чем рассказывает Крачковскому в письме В. И. Филоненко, оказавшийся во время оккупации в Нальчике: «Встретился я за это время с Поппе Н. Н. Приехал он в Нальчик с немцами как "persona grata" — руководитель культурой всех народов Кавказа. Но роль его жалкая, на побегушках у немцев, что едва ли к лицу русскому ученому» [15 янв. 1943 г.; А, оп. 3, К? 922, л. 251).

7 См., напр., доклад ученого секретаря Архива АН В. А. Петрова, в котором читаем: «Фактором огромного морального значения была

возможность в наиболее нестерпимые тяжелые минуты обратиться за советом к руководящему в это время жизнью ленинградских академических учреждений академику И. Ю. Крачковскому» [А, оп. 2, № 189, л. 19].

8 Утверждение Д. И. Тихонова в статье «Война и советские востоковеды в Ленинграде» [38, с. 55], что И. Ю. Крачковский «заходил» в Институт лишь «в дни затишья от артиллерийских обстрелов» не соответствует действительности; об этом свидетельствуют, в частности, цитированные выше воспоминания и письма.

9 По свидетельству В. А. Крачковской [20, с. 157], лишь однажды по настоянию милиции им пришлось укрыться в бомбоубежище под Академией художеств.

10 «Все корректуры в первой стадии прошли через его руки; если бы ему удалось довести дело до конца, словарь, вероятно, был бы избавлен от многих погрешностей, недосмотров и непоследовательности» [27, т. 1, с. 336]. К сожалению, во всех последующих изданиях словаря этот заключительный абзац предисловия по непонятным причинам опускался.

11 Курорт Боровое в Северном Казахстане служил во время войны местом эвакуации для научных сотрудников АН СССР.

12 Так, например, письмо И. Ю. Крачковского от 6 февраля дошло до В. М. Алексеева только 15 марта.

13 Все эти обстоятельства описаны в письме к В. М. Алексееву от 12.VI. 1942 [1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 31—32].

14 В примечании к публикации докладной записки И. Ю. Крачковского В. П. Волгину [74, 1975, № 4, с. 34] подмосковный «Сосновый бор» ошибочно идентифицирован с курортом «Боровое» в Казахстане, куда были эвакуированы В. М. Алексеев, А. П. Баранников, В. И. Вернадский и другие академик!..

15 В архиве Крачковского сохранилось обращение уполномоченного президиума АН СССР С. М. Ямпольского к начальнику ленинского райотдела милиции г. Москвы от 21.X. 1942 с просьбой продления прописки академику Крачковскому и его семье, так как «Крачковский по заданию Президиума АН СССР задерживается в Москве для выполнения специальных работ». На обращении — резолюция красным карандашом: «Пропуска выдать в Боровое, а не в Москву» [А, оп. 2, № 26, л. 3101.

16 Эта статья вызвала восторженный отзыв В. М. Алексеева: «...еще раз восхищаюсь Вашим умом, тактом и умением сопоставить "уника" с научной закономерностью. И все это так хорошо прочувствовано, так вдруг озарилось сквозною понятностью. И нам, знавшим этого человека, после аттестации С. Ф. Ольденбурга, который считал его только непонятным и курьезным, остается благодарить Вас за столь мастерский синтез его личности» [12 апр. 1943 г.; А, оп. 3, № 62, л. 134].

378

17 В. М. Баньковская пишет, например, что книга эта была задумана «в голодном Ленинграде на самой грани бытия» и написана в Москве [38, с. 70].

18 Начало письма не сохранилось, соответственно нет и даты. По упомянутым в нем фактам можно датировать его приблизительно между 20 и 24 июля 1943 г. Предлагаемая М. В. Баньковской датировка 9.VI.43 [43, с. 365] неверна.

19 Речь идет о письме В. В. Струве от 31.1.1943. После многих благодарностей за организацию работы ИВАН зимой 1941/42 года, он пишет: «Ваше столь доброе письмо огорчило всех нас своим утверждением о Вашем выходе из состава ИВАН. Это невозможно. Вы, наш крупнейший востоковед-исследователь, поможете поставить исследовательскую работу в ИВАН на должную высоту». Далее автор уверяет, что только Крачковский может справиться с организацией юбилея Азиатского музея «как хранитель лучших традиций нашего востоковедения» [А, оп. 3, № 862, л. 7—7 об.].

20 Реакция В. М. Алексеева на это сообщение в письме от 27. IV.43: «Очень рад, радехонек, что все остается по-прежнему. Без Вас никакого ИВАН'а, кроме сказочного дурачка, не получится» [А, оп. 3, № 62, л. 138].

21 По данным Д. Е. Бертельса, к 1943 году коллектив ИВ насчитывал около 50 человек — 36 сотрудников, собравшихся в Ташкенте до конца 1942 г., и 10 аспирантов. Кроме того, 5 человек оставалось в Ленинграде и 11 жили в других городах (7, с. 60—61]. Для сравнения: на 1.1.41 г. в институте числилось 126 человек, включая аспирантов и докторантов.

22 Е. Э. Бертельс, в частности, писал Крачковскому 25. VII.43 по этому поводу: «Вообще, судьба Института меня сильно смущает. Нельзя сказать, что мы и ранее были слишком блестяще обставлены научными силами. Теперь их стало и того меньше. Новые приобретения, особенно московские, радуют мало, ибо продукция их увы! просто непригодна. Думаю, что уже очень скоро придется серьезно подумать о том, что будет дальше и что все-таки должен представлять собой институт Академии наук» [А, оп. 3, № 131, л. 11—11 об.1.].

23 В. М. Алексеев в письме от 27 апреля 1943 г. упоминает о неких докторам, «стремящихся к расчистке своих путей» и тем вызывающих «недоразумения, действующие (на меня, например) сверх-удручающе» [А, оп. 3, X? 62, л. 138 об.].

24 Очень выразительно обрисовал положение института в Ташкенте В. И. Беляев — человек, которого никак нельзя заподозрить в злопыхательстве или интригах: «Тяжело смотреть на тот развал, который, незаметно усугубляясь, проник и разъел среду... Институт представляет зрелище неприглядное. Общей работы никакой нет, есть только отдельные лица, ведущие зачастую вынужденную обстоятельствами работу. У дирекции единой точки зрения нет. В. В. Струве и Тихонов стоят на разных точках зрения, а Тихонов, как уч. с. и секретарь парторганизации, все же имеет большие возможности, что сказывается в помехах и замечаниях, чинимых распоряжениям В. В. И это можно назвать "стилем работы" Института. Даже если допустить у Тихонова наличие "доброй воли", желая что-то сделать для Института, приходится констатировать у него полное отсутствие горизонта: он смотрит на Институт как на какое-то полусемейное, полотоварищеское предприятие, а товарищи все те же, выходцы

из ЛВИ: они — опора и они ценнейшие научные работники. Остальные остаются чем-то вроде неизбежного зла или принудительного ассортимента. В. В. смотрит так: лишь бы сохранить Вас и Вас. Мих. на этот тяжелый период, не потерять Вас для науки и для Института, а остальное пусть идет, как идет. Твердую линию личного научного убеждения он сохранить никак не может, и из этого вытекает невозможность опираться на его слова в деловых вещах» [письмо к И. Ю. Крачковскому от 12 сент. 1943 г.; А, оп. 3, № 116, л. 32 об.—33].

25 На моей памяти тогдашние обиходные выражения: «Я живу в Ха-нуме» или «Пошли в Тамару».

26 Постоянными участниками этих собраний в 1942 году были В. М. Алексеев, Н. П. Аникеев, А. П. Баранников, И. Н. Винников,

А. А. Фрейман. В 1943 г. Аникеев и Винников уехали, Баранников от участия отошел; Алексеев и Фрейман продолжали читать доклады друг другу регулярно.

27 Сам И. Н. Винников в письме к Крачковскому от 21.III. 1943 оценивает свое смещение так: «Все было сделано грубо и бестактно. Освобождение меня от должности директора ничем абсолютно не мотивировано. По слухам, мне инкриминируют то, что я "не сумел поставить Институт на службу фронту", что предложенный мною план работы Института на 1943 г. "слишком академичен, носит невоенный характер". Московские "этнографы", в свое время погубившие все московские этнографические учреждения и оказавшиеся не у дел, воспользовались близостью к центральным организациям и завладели последним очагом этнографии» [А, оп. 3, № 233, л. 8 об.]. Можно предположить, что были и какие-то личные причины отставки, о которых Винников умалчивает. Эмоциональный

В. М. Алексеев квалифицирует историю с его отставкой как «мерзость, глупость, дикость, ужас» [А, оп. 3, № 62, л. 134]. И. Ю. Крачковский комментирует ситуацию осторожно: «Внутренние стимулы смены И. Н. Винникова с поста директора мне, конечно, не ясны. Думаю, что в некоторых отношениях Вы правы и "внутри-этнографические" течения играют здесь большую роль» [18 марта 1943 г.; 1, ф. 820, оп. 3, № 446, л. 51].

28 В. М. Алексеев считал его замешанным в историю с Винниковым: цитированное в примеч. 27 его письмо продолжается так: «Ясно, что Гришка лезет в академики и пробует свою мускулатуру. Что он свалит Струве и сядет на его место, более, чем возможно. И придется с дрянью жить, по дряни говорить, от дряни зависеть».

29 Крачковский полагал, что она действовала самостоятельно. Так, он писал В. М. Алексееву: «О "центре" и меня Н. В. Пигулевская бомбардирует усиленно; как раз сегодня послал ей довольно кислое письмо, уже не в первый раз. Наивный она человек и обуреваема жаждой деятельности, а не в малой мере и честолубием. Казалось бы, школа у нее была хорошая, а все стремится играть роль. За последние полгода в Ленинграде, когда мы "руководили" ИВАНом, с ней иногда в этом отношении бывало трудно, и нередко дело кончалось обидами» [12 мая 1943 г.; л. 59]. Это не помешало ему

справедливо оценить в докладной записке В. П. Волгину ее заслуги как зам. директора института в блокадном Ленинграде.

381

30 Он пишет Крачковскому: «Ваше письмо от 9 июня волнует меня... печальной и злой перспективой попасть в лапы презренной камарильи искусных карьеристов, которые будут распоряжаться нашей деятельностью и, конечно, продукцией. Это поход против знатоков восточных языков на предмет превращения их в илотов» [20 июня 1943 г.; А, оп. 3, № 62, л. 143].

31 В том же письме [л. 441: «Накануне Струве показал мне отчет, составленный Тихоновым крайне неряшливо и бестолково. Я посоветовал его вовсе не читать, а изложить самому, что он и сделал».

32 В архиве И. Ю. Крачковского [А, оп. 2, № 177, лл. 14—18] сохранился конспект выступления, не датированный и не озаглавленный.

33 В архиве И. Ю. Крачковского сохранился краткий конспект этого выступления [А, оп. 2, № 177, л. 8].

34 В состав бюро кроме Крачковского входили Конрад, Пигулевская, Райнов, Коростовцев, Гордлевский, Дмитриев.

35 Имеется в виду, что большинству членов комиссии новый Восточный факультет виделся весьма похожим на ЛВИ, который, до слияния его с МВИ, располагался в Максимилиановском переулке, ныне пер. Пи-рогова.

36 Одновременно приказом ВКВШ были образованы восточные факультеты в Среднеазиатском, Бакинском и Тбилисском университетах. См.: Бюллетень ВКВШ. 1944. № 5. С. 15.

37 Вот как он рассказывает об этом в письме И. Ю. Крачковскому от 27. IV. 1944: «За меня взялось начальство. Мне было сказано, что "надо перестать играть в принципиальность, так как решение состоялось", "т. к. я назначил С. А., то ему надо помочь и т. д." Я ответил, что по языковой линии я помогу, а ввязываться в это трудное предприятие, да еще в Саратове, я не нахожу возможным. В итоге меня включили в оргтрояку, которая и приступила к работе» [А, оп. 3, № 775, л. 14 об.].

ГЛАВА XIII.

1 В письме от 31 июля 1945 г. В. А. Кюнер-Сутугина рассказывает об этом так: «На мой вопрос, за что и почему, было отвечено, что против меня и матери ничего не имеют, но так как я родилась и выросла при старом режиме, а Ленинград хотят сделать пролетарской крепостью, то они не могут доверять дворянской психологии в случае войны» [А, оп. 3, М? 513, л. 39]. До 1941 г. она с матерью жила в Самаре, работала машинисткой в различных учреждениях, а затем была выслана дальше, в Сен-гилей Ульяновской области, работала делопроизводителем и машинисткой на местной санэпидстанции, старалась просвещать и воспитывать своих юных сотрудниц, о чем с юмором рассказывает И. Ю. Крачковскому в письмах. В 1961 г. вернулась в Ленинград.

2 Из всей группы вышла лишь одна серьезная арабистка, проф. О. Б. Фролова, нынешний заведующий кафедрой арабской филологии в Санкт-Петербургском университете.

3 К преподаванию привлекалась и В. А. Крачковская, которая читала курс по материальной культуре и искусству арабов.

4 В качестве примера назову несколько тем докладов, прочитанных на кафедре в 1945—1946 гг.: «Этапы подготовки к научной работе»;

382

«Предисловие к арабско-русскому словарю проф. Х. К. Баранова»; «Об американском издании "Арабское наследие"»; «Сатирические произведения Шукри Хури»; «Воспоминания о В. Р. Розене»; «Арабская литература XX века» [17, с. 155—157, №№ 288, 290, 293, 296, 309, 312].

5 Курс истории арабов по XII век читал А. Ю. Якубовский.

6 Этот поворот хорошо прослеживается в тематике докладов И. Ю. Крачковского за 1946 г., среди которых до осени преобладают написанные ранее разделы «Географов» [17, с. 156—157, №№ 301, 304, 306, 308, 311], а со второй половины года — главы из «Очерков» [с. 158, №№ 313—315].

7 По оценке И. Ю. Крачковского, «эта литература для Кавказа не была экзотикой или завозным украшением внешней учености: ею действительно жили. Эти хроники в самом деле читали и перечитывали, с волнением переживая отраженные там события. Эти стихи действительно находили отзвук в живых чувствах каждого человека, отвечали его настроению в определенные моменты жизни. Над этими афоризмами, которые каждый день были перед глазами у всех, действительно задумывались, а часто по ним и строили свой идеал» [27, т. 6, с. 622].

8 Вот, например, портрет писателя-просветителя Джирджи Зейдана: «Человек с историческим вкусом, он дал впервые на арабском языке серьезную историю мусульманской цивилизации и историю арабской литературы; наибольшую популярность он приобрел многочисленными историческими романами, главным образом на сюжеты из арабской древности... Умеренный либерал, человек с неоспоримыми общественными заслугами перед арабской читающей массой, он был одним из последних представителей благородного типа сирийцев-просветителей, обосновавшихся в Египте. В литературном отношении его стиль не ярок, часто дидактичен, но благодаря большой простоте он был доступен многим, и его произведения, как и носивший отпечаток его личности журнал, читались очень охотно. Зейдан здраво и просто наметил задачу своей жизни и с достоинством ее выполнил» [27, т. 3, с. 90—91]. И сколько бы ни писали с тех пор о Зейдане как о зачинателе нового жанра, пропагандисте арабской просветительской идеологии, сколько бы ни анализировали его взгляды, содержание и стиль его романов, их значение в арабской литературе — все это в крайне лаконичной форме заложено в приведенной характеристике.

9 О том, как воспринимал Крачковский такое положение, можно судить по его реакции на предложение дирекции ИВАН от 12.1.1948 прочесть на готовящемся всесоюзном совещании востоковедов доклад на тему «Идеи национальной независимости в современной арабской литературе» и написать на эту же тему статью для «Записок ИВАН». В архиве сохранился черновик его ответа:

«...Предложенная мне тема для меня неосуществима по хорошо известному дирекции отсутствию у нас современной литературы. "Международная книга" заказов на печать арабских стран не берет; у нас с громадными лакунами получают две газеты и один литературный журнал; то немногое, что посылают авторы или благодетели мне лично по почте, через ВОКС или МИД, наполовину до меня не доходит. При таком (нищенском) (слово вычеркнуто.—А. Д.) положении, занимаясь современной литературой, я вынужден писать только на случайные, частные темы в связи с случайным материалом, который попада

383

ет в мои руки. Выступать с ним перед приезжими едва ли удобно. По тем же обстоятельствам отпадает и возможность написать статью сколько-нибудь серьезного литературоведческого содержания на указанную тему» [А, оп. 2, № 172, л. 201].

10 Например, до И. Ю. Крачковского не дошло ни одной книги будущего нобелевского лауреата египтянина Нагиба Махфуза, который до 1951 г. успел выпустить восемь романов и сборник рассказов.

11 По моему мнению, В. А. Крачковская явно преувеличивает: индивидуальность стиля автора, несмотря на старания редактора, все же сохранилась, о чем свидетельствуют и многочисленные отзывы на первое издание.

12 Позже, получив от В. А. Крачковской I том «Избранных сочинений» И. Ю. Крачковского, включающий и «Над арабскими рукописями», она в ответном письме сравнит эту книгу с прозой Тургенева [письмо от 23 февр. 1956 г.; А, оп. 8, № 248, л. 50].

13 27 июля 1945 г., то есть через неполных три месяца после появления книги, С. И. Вавилов как председатель комиссии по изданию научно-популярной литературы обратился к Крачковскому с предложением переиздать «Над арабскими рукописями» в расширенном виде, поскольку книга получила высокую оценку читателей и прессы.

14 К моменту выхода третьего издания книги рецензий насчитывалось более двадцати (они перечислены на с. 196"—197 указанного издания).

15 Иранист В. А. Иванов, товарищ Крачковского по коллегии Александра III, эмигрировавший после революции в Англию, пишет 6 мая 1946 г.: «С огромным интересом и удовольствием прочел и перечел Вашу книжку "Над арабскими рукописями"... От души приветствую почин "популярной серии" Академии... Ведь в сущности средний образованный человек всюду так мало понимает значение, важность и трудности такой работы. У Вас, правда, так много "лирики", но это Ваша особенность...» [А, оп. 3, № 388, л. 32].

И. И. Умнякова привлекает поэтизация «будничной кабинетной работы ученого». С этой стороны, утверждает он, «Ваша книга могла бы служить полезной "школой", особенно для наших молодых начинающих ученых... Можно пожалеть, что в свое время аналогичных работ не написали В. Р. Розен и В. В. Бартольд» [12 авг. 1945 г.; А, оп. 3, № 906, л. 190].

В. Ф. Минорский (Лондон) пишет 1 октября 1946 г.: «Работа Ваша чрезвычайно хорошая. Вы действительно возвышаетесь над предметом, показываете дали, даете пример молодежи» [А, оп. 3, № 629, л. 87 об.].

Ленинградский архивист Г. П. Блок, двоюродный брат поэта, пишет 15 мая 1946 г.: «Из всех известных мне книг этого рода Ваша представляется мне наиболее изящной, наиболее полновесной и — я бы сказал — наиболее эффектной. Я не сомневаюсь в том, что выход ее в свет умножит количество русских арабистов» [А, оп. 3, № 140, л. 1].

16 И. И. Умняков пишет в цитированном в примеч. 15 письме: «Масса воспоминаний встала передо мною... Многих лиц, о которых Вы мимоходом вспоминаете, я лично знал, не так, разумеется, близко, как Вы, но до сих пор хорошо их помню. Вспомнились мне и мои университетские годы, библиотека нашей *alma mater*, старое здание Азиатского музея с неиз

384

менными Леммом и Розенбергом и другими, Публичная библиотека и ее рукописный отдел и многое другое» [там. же].

В. И. Филоненко — куда как более эмоционально: «С каким восторгом и умилением читал я Вашу книгу, в которой Вы воскресили прошлое, столь мне близкое и родное, и в ярких красках и образах рассказали о своих переживаниях. Ваша книга заставляет меня вспомнить и свое неудачное прошлое, вспомнить и пережить и свои маленькие чувства, если в работе не над рукописями, то в работе над книгой» [27 дек. 1945 г.; А, оп. 3, № 923, л. 276]. И конечно они в своих высказываниях не одиноки.

17 В рецензии М. Канара, например, говорится: «Мне приходилось иногда удивлять некоторых моих друзей в Алжире, в том числе русских, когда я им говорил, что Россия может гордиться тем, что ей принадлежит в настоящее время величайший арабист всего мира. Его "Мемуары", которые автор этих строк перевел на французский язык и рассчитывает вскоре опубликовать, сделают его известным в более широком кругу» [85, с. 118].

18 Интересно, что аналогичную мысль высказывает В. И. Филоненко в цитированном выше письме от 27.XII.1945 г.: «...из нее молодой ученый может вычитать катехизис спасения» [А, оп. 3, № 923, л. 266 об.].

19 Замечу кстати, что эта женщина точнее всех (хотя и несколько неуклюжим языком) в кратких словах охарактеризовала основную особенность этой книги: «На фоне... современных фигур и созданных ими вещей Ваша вещь в моей оценке лучшая из всего, что создала наша современность. Вероятно потому еще, что Вы, Игнатий Юлианович, принадлежите к очень немногим, а может быть единственный из нас, который сохранил полное достоинство человека... Вы имели роскошь написать так, как хотели» [А, оп. 3, № 68, л. 97].

ГЛАВА XIV

1 Имеется в виду Раиса Дмитриевна Алявдина, жена семитолога Анатолия Павловича Алявдина. И. Ю. Крачковский пишет о ней В. А. Сутугиной: «По счастью у нас с осени действует приходящей очень

хорошая домоправительница — жена одного моего бывшего университетского товарища, который многие годы уже далеко. [А, оп. 3, № 27, л. 63 об.]. В семейном архиве Алявдиных сохранилась копия «Характеристики А. П. Алявдина как советского ученого», датированная 17.XI.1946 г. и подписанная И. Ю. Крачковским, И. И. Мещаниновым, В. В. Струве, С. А. Козиным. Приведу ее заключительный абзац: «Восстановление научной жизни Ленинграда, настоятельно диктуемое всем ходом нашей истории, очень остро дает чувствовать отсутствие А. П. Алявдина в различных областях научной работы, как в Университете, так и в академических учреждениях. Другого специалиста по избранной им дисциплине у нас в Союзе нет, и скорейшее возвращение его к нормальной работе необходимо в интересах науки, и всей нашей культуры».

По словам дочери А. П. Алявдина, В. А. Алявдиной, инициатором и автором этой характеристики был И. Ю. Крачковский. В какую именно высшую инстанцию она была послана, мне неизвестно.

2 Думаю, не совсем он был прав в своей жалобе; «некому рассказать» — здесь, да и в некоторых других аналогичных письмах, сквозит и раздражение очень уставшего человека.

385

3 Например, И. Ю. Крачковский жалуется в письме к Т. А. Шумовскому: «...поглощен распределением курсовых студенческих работ, ибо мои "помощники", несмотря на условие, ничего не сделали в течение лета и сентября и теперь все это приходится наверстывать с опозданием и спешкой» [25 окт. 1948 г.; 56, с. 121б]

4 В действительности приказом по ИВАН Х. И. Кильберг была зачислена уже 14.IX. 1946, но приказ не был утвержден отделением, в то время как подавшие документы позже, чем она, Арутюнян и Сыромятников утверждение получили; телеграммы же, посланные в отделение по этому поводу И. Ю. Крачковским и В. В. Струве, затерялись [А, оп. 3, № 434, л. 79].

5 Так, например, летом 1950-го он дал прочесть «Испытание временем» своему соратнику по московской группе Т. И. Райнову, в то лето отдыхавшему в Зеленогорске [письмо Т. И. Райнова от 29 авг. 1950 г.; А, оп. 3, № 755, л. 183].

6 «Напишите нам, прежде всего, о себе, что дала Октябрьская революция лично Вам, Вашей семье, людям, которых Вы близко знаете... Может быть у Вас есть интересные документы, дневники, письма, фотографии — пришлите их в редакцию» (А, оп. 2, № 234, л. 187).

7 До того специализация по истории или филологии начиналась с IV курса и шла по линии спецкурсов, спецсеминаров и выбора соответствующей дипломной темы.

8 Я была старостой кафедрального студенческого кружка в 1947—1949 гг. Пришел однажды некий аспирант филфака проверять нашу работу и возмутился неактуальностью тематики («Почему у вас столько тем по средневековью? Неужели неинтересно поставить, например, такую тему: "Король Абдулла — марионетка английского империализма?"»). Я ему стала доказывать, что, например, Абу-ль-Аля аль-Маарри, доклад о котором фигурировал в плане, — первый арабский атеист и что вообще мы должны изучать истоки

современных прогрессивных течений. Он вынужден был согласиться, но настоятельно рекомендовал все-таки включить в план побольше тем по современности и обязательно поставить доклад про трансйорданского короля Абдуллу.

9 И. Ю. Крачковский писал В. И. Филоненко 23.XII.1948 г.: «Дискуссии этого полугодия зацепили и меня, главным образом по линии отношения к Розену и "воинствующей неактуальности" (как было сформулировано) некоторых моих тем и моих аспирантов. По существу всем этим обвинениям — грош цена, но нервы всякие заседания треплют, конечно, изрядно» [А, оп. 3, № 37, л. 240].

10 12 января (М? 4), 26 января (№ 8), 5 февраля (№ 11), 16 февраля (№ 14).

11 Статья называлась «В плену "теории единого потока"». Автор ее, в частности, констатировал, что в хрестоматии «нет даже и попытки показать борьбу между прогрессивными и реакционными направлениями в литературе и вскрыть классовые корни того или иного явления», не показаны народные корни литературы; составитель, «следуя традициям буржуазного востоковедения, ограничивается бесстрастным перечислением ряда имен, снабжая их хвалебными этикетками и различая лишь по признаку династии, ко времени которой они относятся». Кроме того, рецензент указывал на несколько грубых фактических ошибок.

386

12 Возможно, Крачковский просто не пожелал приехать; впрочем, письменного приглашения на московское заседание я в архиве не обнаружила.

13 Вот еще отрывок из его выступления: «Часто Климович вспоминает и Ленина, и Сталина. Однако почему-то не пришло на ум Климовичу, что эти вожди трудящегося человечества учат уважению к труду и человеку, который трудится. И в данном случае я хотел бы спросить Климовича, придерживается ли он этой системы взглядов или нет?» И далее, упомянув об орденах Ленина, которыми совсем недавно был награжден И. Ю. Крачковский: «И вот встает вопрос: солидарен ли Климович с нашим правительством? Если да, то он должен отказаться от того взгляда на Игнатия Юлиановича, который он допустил... в своем выступлении в Москве» (1, ф. 152, оп. 1а, № 1009, л. 126—127]. Конечно, не надо представлять себе А. М. Беленицкого заядлым сталинистом — просто он бил врага его же оружием.

14 Ю. В. Бунаков, китаист: «Если Климович употребил недопустимые выражения в отношении академика И. Ю. Крачковского, то он должен будет за них ответить». Он надеется, что И. Ю. Крачковский «воспримет эту критику... чтобы исправить свою работу и служить дальше на пользу той науке, которой он посвятил всю свою жизнь» [там же, л. 135—136].

Г. М. Петров, иранист, секретарь партбюро: «Ничуть не возражая протш» того, что ошибочная позиция наших ученых была политически неверной... я в то же время никак не могу согласиться с тем, чтобы можно было И. Ю. Крачковского, Е. Э. Бертельса и А. П. Баранникова считать антипатриотами и космополитами» (здесь Г. М. Петров напоминает присутствующим о патриотическом подвиге И.

Ю. Крачковского во время блокады Ленинграда). «Мы лучше и ближе знаем наших ученых... знаем их взгляды и убеждения, их метод и стиль работы, их весьма плодотвор-)ную деятельность на благо советской науки». Если бы, говорит далее Г. М. Петров, Игнатий Юлианович и его ученики не занимались литературой Средней Азии и Кавказа, «мы бы ничего не имели о литературных памятниках, написанных на арабском языке в Средней Азии и на Кавказе, и, возможно, приоритет в этом отношении принадлежал бы не нам, а западноевропейским буржуазным ученым. Заслуга Игнатия Юлиановича в этом отношении исключительно большая и нужно пожелать, чтобы Игнатий Юлианович учел критические замечания... и преодолел ту ошибку, на которую ему указывают товарищи» {там же, л. 67—68, 73—74}.

15 «Критика должна быть оправдана... по отношению к таким крупным ученым, каким является академик И. Ю. Крачковский, без творческой и исследовательской помощи которого мы не сможем успешно разрешить те актуальные задачи, которые стоят перед нами» [там же, л. 42].

16 «Речь т. Беляева — это яркое свидетельство того, что у него нет ясного принципиального взгляда на историю арабской литературы» [там же, л. 64 Г]

17 «Находятся люди вроде т. Беленицкого, которые пытаются изобразить дело таким образом, будто в моей речи в Москве были какие-то "инсинуации"... по тем шумным аплодисментам, которыми многие из присутствующих удостоили речь Беленицкого, видно, что есть и другие. Цель его речи ясна — увести собрание в сторону от обсуждающихся вопросов» [л. 97].

387

нашей арабистики, когда выбрасываются за борт малочисленные и уникальные кадры, честно трудившиеся в областях, нигде кроме Академии Наук не представленных плановой работой. Опасность очень велика; моя почти пятидесятилетняя работа позволяет видеть ее очень ясно, и обращением к Президиуму я стремлюсь ее предупредить. Меры должны быть приняты сейчас же, так как работа уже приостановлена, а кроме того нельзя забывать, что речь идет о живых людях, внимание к которым всегда обязательно» [А, оп. 2, № 172, л. 279 д].

29 Надеюсь, что, рекомендуя меня в аспирантуру, Игнатий Юлианович поверил все же, что я не совсем уж «бесталанная». В его отзыве о моей дипломной работе было сказано, что построена она «вполне наукообразно» и читается с интересом; в заключение отмечалось: «В целом сочинение говорит о несомненных данных автора для научно-исследовательской работы. После дальнейшего уточнения и углубления отдельных деталей... оно заслуживает напечатания» [А, оп. 2, № 246, л. 39—40].

В аспирантуре я хотела продолжать исследование творчества Махмуда Теймура, но Научно-исследовательский институт при Восточном факультете, от которого зависело окончательное утверждение аспирантских тем, не согласился с моим выбором или с заменой Теймура каким-либо другим крупным арабским писателем XX века, поскольку все это были «буржуазные» писатели. Тогда

Игнатий Юлианович предложил мне взять одну из «своих» тем, очень нужную и в то же время «безотказную», — «Русские писатели в арабской литературе».

30 К этому времени некоторые постоянные авторы журнала успели себя скомпрометировать в глазах коммунистов, выступив в поддержку Иосипа Броз Тито — главы югославского государства, отказавшегося от диктата Советского Союза.

31 «Мн. С. П.

Говорят, уговор дороже денег, а так как со времени нашей беседы 9 декабря, после которой Вы обещали дать ответ через 10 дней,, прошло уже четырежды десять дней и обещанный ответ не получен, я считаю 'это формой отрицательного ответа и направляю при сем просьбу об отчислении меня от ИВ согласно моему заявлению. Аналогичные просьбы я направляю одновременно в Президиум и Отделение. Тем самым я считаю свои официальные отношения с ИВ законченными», [А, ,оп. 2, № 172, л. 280].

32 По пометам В. А. Крачковской на полях письма: упомянутый академик — математик В. Д. См[е]фнов; студент — П. Г. Булгаков.

Архивные материалы и литература

А. Архив И. Ю. Крачковского. СПФ Архива РАН, ф. 1026.

1. СПФ Архива РАН, ф. 2, 152, 779, 800, 820.

2. Архив А. М. Горького. Книжная полка 1218. Всемирная литература.

3. Центральный Государственный Исторический архив Санкт-Петербурга.

4. Центральный Государственный Архив литературы и искусства.

5. Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга.

6. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Л., 1989.'

7 Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1972.

8. Алексеев В. М. Наука о Востоке. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1982.

9. Алпатов В. М. История одного мифа. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1991.

10. Базиянц А., Кузнецова Н., Кулагина Л. Азиатский музей — Институт Востоковедения АН СССР. 1818—1968. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1969.

11. Баньковская М. В. Малак — литературные вечера востоковедов. 1920-е годы//Традиционная культура Китая. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1983.

Па. Бартольд В. В., Марр Н. Я., Ольденбург С. Ф., Коковцов П. К. Записка об ученых трудах профессора Петроградского университета Игнатия Юлиановича Крачковского // Изв. АН. Т 15. Пг., 1921.

12. Библиография печатных работ академика Игнатия Юлиановича Крачковского//Труды Ин-та востоковедения. Т. 19. Изд-во АН. М.; Л., 1936.

13. Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960—1963.

14. Голуб В. Юлиан Фомич Крачковский: Биографический очерк. Виль-на, 1904.

15. Грязневич П. А. В поисках затерянных городов. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1978.

16. Дьяконов И. М. По поводу воспоминаний О. М. Фрейденберг о Н. Я. Марре // Восток—Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1988.

17. Игнатий Юлианович Крачковский. (Материалы к биобиблиографии ученых СССР). М.; Л.: Изд-во АН, 1949.

17а. Коковцов П. К. Для установления истины // Кунсткамера: Этнографические тетради. Вып. 1. СПб., 1993.

18. Кольцов А. В. Ученые Ленинграда в годы блокады (1941—1943). М.; Л.: Изд-во АН, 1962.

389

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛИТЕРАТУРА

19. Кононов А. Н., Иорши И. И. Ленинградский восточный институт. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1977.

20. Крачковская В. А. И. Ю. Крачковский и его работа в Географическом обществе // Изв. Всесоюз. географич. о-ва. Т. 99. Вып. 2. Март—апрель. Л., 1967.

21. Крачковская В. А. И. Ю. Крачковский на Ливане и в Палестине // Палестинский сб. Вып. 1 (63). М.; Л., 1954.

22. Крачковская В. А. Первые шаги в науке магистранта И. Ю. Крачковского // Памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского: Сб. ст. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958.

23. Крачковский И. Ю. Абу-л-Фарадж ал-Ва'ва Дамасский: Материалы для характеристики поэтического творчества. Пг., 1914.

24. Крачковский И. Ю. Арабская литература в Америке (1895—1915) // Изв. ЛГУ. № 1. Л., 1928.

25. Крачковский И. Ю. Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии и диван Омара ал-Маххара // Зап. Вост. отд-ния Русского археологич. об-ва. Т. 22. Пг., 1915.

26. Крачковский И. Ю. Восточный факультет университета св. Иосифа в Бейруте: (Из отчета о командировке) // Журнал Министерства народного просвещения [Отд. оттиск]. СПб., 1910.

26а. Крачковский И. Ю. В. Ф. Гиргас: (К сорокалетию со дня его смерти) // Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН. Т. 3. Л., 1928.

27. Крачковский И. Ю. Избр. соч.: В 6 т. М.; Л.: Изд-во АН, 1955—1960.

28. Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями. Изд. 2-е, доп.; М.; Л.: Изд-во АН, 1946.

29. Крачковский И. Ю. Н. Я. Марр и памятники арабской литературы // Библиография Востока. Вып. 10. Л., 1937.

30. Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.; Л.: Изд-во АН, 1950.

31. Крачковский И. Ю. Памяти барона В. Р. Розена//Туркестанские ведомости. № 22. Ташкент, 1908.

32. Крачковский И. Ю. Поэзия по определению арабских критиков // Избр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.; Л., 1956.

33. Крымский А. Е. Письма из Ливана. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1975.

34. Ленинградский университет: (1819—1944): Очерки. М., 1945.

35. Литература Востока: Сб. ст. Вып. 1. Пг.: Всемирн. лит., 1919.

36. Марр Н. Я. Записка о преобразовании специальных классов Лазаревского института восточных языков в Этнолого-историко-

филологический факультет Лазаревского Псреднеазиатского института. Пг., 1918.

37. Оде-Васильева К. В. Мои воспоминания об академике И. Ю. Крачковском // Палестинский сб. Вып. 2 (64—65). М., 1956.

38. Оружием слова: Статьи и воспоминания советских востоковедов, 1941—1945. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1985.

39. Отчет о состоянии и деятельности Санкт-Петербургского университета за 1905 год. СПб., 1906.

40. Отчеты о деятельности Российской Академии наук. СПб. — Пг.

41. Павлович М. П. Восток в борьбе за независимость. М., 1980.

390

42. Принципы художественного перевода: Ст. Ф. Д. Батюшкова, Н. Гумилева, К. Чуковского. Изд. 2-е, доп. Пг., 1920.

43. Проблемы арабской культуры: Памяти академика И. Ю. Крачковского: (Сб. ст.). М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1987.

44. Памяти академика В. Р. Розена: Ст. и материалы. М.; Л.: Изд-во АН, 1947.

45. Становление советского востоковедения: Сб. ст. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1983.

46. Труды первой сессии арабистов: 14—17 июня 1935г. //Труды Ин-та востоковедения. Т. 24. М.; Л., 1937.

47. Труды второй сессии Ассоциации арабистов: 19—23 октября 1937 г. // Труды Ин-та востоковедения. Т. 36. М.; Л., 1941.

48. Уставы Академии наук СССР. М.: Наука, 1974.

49. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983.

50. Федоров А. М. Солнце жизни: В 2 т. Т. 1. М., 1917.

51. Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 11. М., 1948.

52. Шаститко П. М. События и судьбы. Из истории становления советского востоковедения. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1985.

53. Шидфар Б. Я. Абу-ль-Аля аль-Маарри. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1985.

54. Шомракова И. А. Книгоиздательство «Всемирная литература» // Книга: Исследования и материалы. Сб. 14. М., 1967.

55. Шумовский Т. А. Воспоминания арабиста. Л.: Наука, 1977.

56. Шумовский Т. А. У моря арабистики. М.: Наука, Гл. ред. вост. ЛПт., 1975.

56a. Abu Manila ad-Dinaveri. Kitab al-ahbar at-tiwal. Preface, variantes et index publics par I. Kratchkovsky. Leide, 1912.

57. Loth O. Über Leben und Werke des Abdallah ibn ul-Mu'tazz. Leipzig, 1882.

58. Mehren A. F. Die Rethorik der Araber. Wien, 1853.

59. Fisclier A. Der Wert der vorhandenen Koranübersetzungen und Sure 111. Leipzig, 1937.

60. Виленский вестник. Вильна.

61. Вопросы литературы М.

62. Восток: Журнал литературы, науки и искусства. М.; Пг. (Л.), 1922— 1925.

62a. Журнал Министерства народного просвещения. СПб.

63. Западный вестник. Вильна.

64. Записки Коллегии востоковедов. Пг. (Л).

65. Звезда. Л.
66. Известия. М.
- (57. Ленинградская правда. Л. (.8. Литературная газета. М. 6:>. Народы Азии и Африки. М. 70. Новый Восток. М. 71 Новый мир. М.
72. Печстгъ и революция. М.
73. Под знаменем марксизма. М.
74. Природа. М.
75. Проблемы марксизма. М.
- 28 Заказ 612
- 391
- 75а. Санкт-Петербургские ведомости. СПб.
76. Советская этнография. М.
77. Советское востоковедение. Л.
- 77а. Сообщения Императорского Православного Палестинского общества. СПб.
78. Jslamica. Lipsiae.
79. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London.
80. Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen. Berlin.
81. Le Monde Oriental. Uppsala.
82. Orientalische Bibliographie. Berlin.
83. Orientalistische Literaturzeitung. Leipzig.
84. Oriente Moderno. Roma.
85. Revue Africaine. Alger.
86. La Revue de l'Academie Arabe de Damns.
87. Soviet Culture Review. Moscow.
88. Die Welt des Islams. Berlin.
89. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Berlin.
90. لغة العرب، بغداد.

Указатель имен

- Аббасиды 50, 56, 145 Абдо, Мухаммед 81, 107 Абдулла, король Трансиордании 426
 Абу Дулаф 268
 Абу-ль-Аля — см. аль-Маарри
 Абу-ль-Атахия 54, 58—64, 82, 137, 140, 187, 238
 Абу-ль-Фарадж аль-Вава Дамасский — см. аль-Вава
 Абу Михджан 54
 Абу Нувас 81
 Абу Саыд 51
 Абу Таммам (Темам) 131, 137, 171 Абу Фирас 64
 Абу Ханифа ад-Динавери 50, 54, 55, 90, 110, 119—122, 129, 130, 242, 271, 305, 406, 416
 Авиценна 275
 Авсейчик, Служащий изд-ва «Всемирная литература» 190
 Адрианова-Перетц В. П. 428 аль-Алами, Абдалла шь-Хусни 81, 111
 Александр Македонский 226 Алексеев В. М. 7, 37, 39, 40, 42, 118, 152, 160, 164, 173—180, 186, 188—191, 197, 212, 234, 257, 258, 271, 301, 302, 307, 313, 315, 316, 318, 319, 323—325, 328, 330—338, 340—345, 347, 361, 408-110, 412, 413, 418— 421

Алексеева Н. М. 323—325, 329, 332 Алексей Михайлович, русский царь 128 Алпатов В. М. 410, 411 Альвардт В. 54
 Алявдин А. П. 193, 230, 425 Алявдина В. А. 164, 425 Алявдина Р. Д. 398, 425 Алявдины 164, 398, 425 аль-Амиди 82
 Амин, Касим 108, 110, 119, 142 фон Анреп, попечитель учебных заведений 30, 116 о. Анастас Кармелит 414 Андрей Белый 163 Андреянов В. М. 389 Андроников И. Л. 243 Аникеев Н. П. 421 Аничков Е. 33 Антара 184, 186 Антокольская З. Г. 258 Анциферов Н. П. 278 ван Арendonк К. 131 Арсеньев, сенатор 127 Арутюнян, докторант ИВАН 426 Арыда, Насиб 183 Асин Паласиос М. 239, 250, 414 аль-Аскари 82 Аттая М. 181 Атыя, Джирджи 96, 106 Ахматова А. А. 163 Аль-Ахталь 50, 52, 54, 80, 223
 Базиянц А. П. 276 Байрактаревич Ф. 414 Бальзак О. 175 Баньковская М. В. 7, 9, 190, 419, 420
 Барабанов А. М. 267, 268, 286, 312, 359, 385 Баранников А. П. 313, 384, 419, 421, 427 392
 Баранов Х. К. 181, 242, 248, 263, 296, 321, 354, 371, 392 Барбье де Менар Ш. 156
 Бартольд В. В. 5, 33, 37, 42, 52—54, 56, 57, 60, 61, 66, 78, 118, 124, 125, 137, 142, 147, 155, 164, 173, 193—199, 202, 209, 220, 221, 223, 224, 234, 244, 245, 247, 253, 262, 302, 303, 330, 358, 378, 383, 384, 386, 415, 417, 424
 Батюшков Ф. Д. 172, 179, 408 Бах А. Н. 200
 Бейдас, Халиль 100 Безикович, проф. Петрогр. университета 210
 Беленицкий А. М. 363, 381, 383, 384, 386, 427 Беляев В. И. 6, 7, 193, 218, 224—226, 230, 252, 264, 267, 268, 271, 274, 285, 290—294, 312, 315, 335, 344, 353—357, 370—373, 377, 381, 383, 384, 386, 390, 399, 400, 415, 418, 420, 427
 Беляев Е. А. 277, 296, 297, 308, 354, 387, 388 Беляев И. А. 42 Беляева Л. Н. 230 Бен Шенеб, Мухаммед 226 Бендер И. Г. 193, 294, 295 Бенешевич В. Н. 21 Бенуа П. 175 Берг Л. С. 314, 325, 372 Берггольц О. Ф. 316 Бергштрессер Г. 414 Березин И. Н. 70 Бертельс Д. Е. 294, 417, 420 Бертельс Е. Э. 160, 212, 224, 225, 245, 258, 302, 315, 316, 342, 379, 380, 383, 384, 417, 420, 427
 Бикжанова М. А. 287 Билибина М. Н. 13, 21 аль-Бируни 273, 385 Блинцовская А. М. 396, 398 Блок А. А. 163, 172, 175, 408 Блок Г. П. 424 Богданова, преподаватель МИВ 428
 Богданова-Березовская С. М. 285 Богуславский Д. Н. 226 Бойгес М. 414 Болдырев А. В. 224 Болдырев А. Н. 285, 326, 384 Болотников А. А. 259, 279, 308 Боратынский Е. А. Борисов А. Я. 194, 224, 225, 294, 295
 Боровков А. К. 381—384 Бороздин И. Н. 412 Брагинский И. С. 379, 384 Брейнлих Э. 414 Брокельман К. 50, 65, 146, 241 Брюсов В. Я. 163 Буало Н. 407 Бузескул В. П. 202 Булгаков П. Г. 429, 430 Булгаков С. Н. 407 Бунаков Ю. В. 427 Бунин И. А. 101 Бурыкина А. Н. 226 аль-Бустани, Сулейман 81, 183, 239

Бухарин Н. И. 200, 302, 409 Бывалова Е. В. 367 Быков А. А. 193, 224, 225, 227 Бычков И. А. 63, 330—332 Бэло Ж. 44 .
 аль-Вава Дамасский 5, 51, 55, 60—65, 71, 82, 84 , 96, 98, 99, 109, 110, 122, 131, 136—139, 141, 144, 146, 238, 242, 247
 Вавилов Е. И. 258
 Вавилов Н. И. 201
 Вавилов С. И. 333, 362, 378, 390, 397399, 424
 Вагнер Р. 406
 Ваддах аль-Йемен 226, 279
 Васильев А. А. 242
 Васильев Б. А. 160, 197, 198, 302, 306
 Васильев И. К. 104 Васильевский В. Г. 21 ван Вейк 133, 414
 Венсинк А. 131, 155 Веньямин, игумен 75 Веприцкая Л. В. 365
 Вернадский В. И. 325, 419 Веселовский А. Н. 33, 65, 137, 139, 195, 380

 393
 Веселовский Н. И. 32, 33
 Видмер Г. 308
 Виленчик М. И. 247
 Виленчик Я. С. 193, 221, 224, 225, 263, 264, 267, 271, 280, 281, 304
 Винников И. Н. 7, 193, 194, 224, 225, 264, 271, 295, 355, 357, 372, 373, 388, 390, 391, 394, 397, 399, 406, 409, 410, 418, 421
 Виноградов И. М. 205 Владимирцов Б. Я. 118, 173, 186, 204, 212, 245, 257, 409 Вознесенский А. А. 342, 343 Войтинский Г. Н. 337, 338 Волгин В. П. 304 , 314, 318, 328, 329, 338, 419, 421 Волин С. Л. 271 Волков, рецензент 183 Вольней К. 33
 Воробьев П. И. 259, 409, 411 Воробьева А. А. 362 Вышинский А. Я. 201, 284, 289
 Гагарин А. А. 92
 аль-Гарнати 268
 Гарсиа Гомес Э. 226, 414
 Гаршин В. Г. 316
 Гауфф В. 175, 407
 Гвиди И. 247
 Гвиди М. 252
 Гейер Р. 179
 Гибб Дж. У. 415
 Гибб Х. А. Р. 141, 226, 240, 414
 Гинцбург И. И. 168, 224, 225, 245
 Гиргас В. Ф. 50, 70, 71, 74, 90, 108, 117, 119, 242, 245, 271, 348, 405 Гире М. М. 224, 225 Глазенап С. П. 205 Гоголь Н. В. 100, 407 Голдобин А. М. 378 Голуб В. 11, 12
 Гольдциэр И. 64 , 66, 125, 131, 132, 226
 Гольдциэр Кл. 131 Гомер 23, 83 Горбунов Н. П. 200 Гордлевский В. А. 220, 245, 257— 259, 335, 338, 422
 Горлин А. Н. 190
 Горький М. 8, 134, 163, 172, 173,

175, 177, 178, 408 Готтхейль Р. 97 Гофман Г. 247 Гранде Б. М. 354
Гранстрем К. А. 322 Граф Г. 63, 129, 234 аль-Грейиб, Амин 183
Гросс-Лозинская М. Г. 408 Грибоедов А. С. 155, 407 Григорий,
патриарх Антиохийский
105, 127, 128, 161, 234 Григорьев В. В. 27 Гриневская И. А. 315
Грунтфест Я. Б. 429 Грязневич П. А. 7, 363 де Гуэ М. 405
Гульбин Г. Г. 193, 268, 277, 278 Гумилев Н. С. 163, 172, 175, 177,
408
Гурко-Кряжин В. А. 219, 220
Деборин А. М. 200, 203, 306, 337,
374, 409 Державин Н. С. 222 Десницкий И. И. 114, 127, 166 аль-
Джахиз 146
Джебран Дж. Х. 76 ПО, 182, 183,
257 Дибу Ф. 139 Дивасти 246, 255
Дмитриев Н. К. 282, 296, 321, 335, 338
Дмитриевский А. А. 94, 296, 404 Добатовкин А. Г. 153, 154, 277,
353 Дози Р. 44
Долинина А. А. 378, 396
Достоевский Ф. М. 407
Драгунов А. А. 302
Дьяконов И. М. 410
Дьяконов М. М. 283, 379, 380, 384
Егоров Д. Н. 281 Ерншедт П. В. 168 Елисеев С. Г. 118 Ечеистова В.
Б. 320
Жанна д'Арк 101 Жданов А. А. 325
394
Жебелев С. А. 160, 173, 203, 208,
221, 314, 322, 418 Жирков Л. И. 336 Жирмунский В. М. 380 Жузе П.
102, 296 Жуковская В. А. 114, 125 Жуковский В. А. 32, 44, 48, 51,
52, 118, 122, 151, 154, 406 Жуковский С. В. 38, 50, 52 Жюон П. 80
Заййат, Хабиб 100, 114 Залеман К. 142
Замятин Е. И. 171, 172, 176, 361 аз-Заузани 54 Захау Е. 179
Заходер Б. Н. 296, 336, 338, 355, 398
Зейбольд Х. 130
Зейдан Дж. 54, 99, 100, 148, 257, 423
Зелинский Д. 179 Зубов В. П. 414
Ибаньес (Бласко Ибаньес) В. 175 Ибн аль-Асир 82 Ибн Зейдун 99
Ибн Кутейба 82
Ибн аль-Мутазз 82, 84, 96, 98, 109, 142, 144—146, 150, 169, 226,
236, 237, 242, 243, 246, 269, 308, 309, 402
Ибн Рашик 82
Ибн Хамдис 115, 141, 185, 186, 193
Ибн Яыш 50, 52, 223 Ибрахим М. Х. 149 Иванов В. А. 155, 364, 424
Иванов П. П. 315 Ида Александровна 38, 51, 88 Измайлова М. М. 226
Имру-уль-Кайс 408 Иностранцев К. А. 53, 159 Ионоу И. И. 190 Иоффе
А. Ф. 398 Искандеров А. Ф. 264, 268, 269, 285
Истрин В. М. 203, 205 Исханов, Гаяз 299 аль-Итлиди 359
Иекун, Вали ад-дин 100, 149
Казакевич В. А. 301 Кале П. 131, 414 Калесник С. В. 314 аль-Кали
428 Кальянов В. И. 319 Каменев Л. Б. 257—259, 279 Кампфмейер Г.
226, 240 Канар М. 425 Карпинский А. П. 206, 410 Карра де Во Б. 125

Карсавин Л. П. 161, 170 Карский Е. Ф. 21 Кассо Л. А. 411 Кац К. М. 304
 Кашталева К. С. 281, 282 Кезма Т. 296 Кениг Э. 108
 Кильберг Х. И. 7, 293, 294, 321, 326, 329, 330, 332, 335, 336, 356,
 357, 373, 381, 398, 416, 426
 Киктев М. С. 414
 Климович Л. И. 296, 297, 307—
 310, 379-390, 393, 426-128 Князев Г. А. 318, 320 Ковалевский А. П.
 267, 268, 271,
 283—285, 289, 355—357, 371,
 386, 390, 399, 417 Ковалевский П. Г. 284 Ковальский Т. 414
 Козегартеи И. 407 Козин С. А. 343, 347, 355, 425 Коковцов П. К. 5, 55,
 118, 173,
 193, 305, 314, 322, 330, 409 Кольцов А. В. 24 Комаров В. Л. 200,
 261, 323 Кондаков Н. И. 417 Кононов А. Н. 316 Конрад Н. И. 258, 307,
 422 Конти Россини К. 129 Коростовцев М. А. 337, 422 Котвич В. Л. 118,
 152, 159, 212,
 221
 Коялович М. О. 11 Краруп 65 Крауш О. А. 285
 Крачковская (Пщолко) А. А. 13, 16, 17, 27
 Крачковская (Фармаковская) В. А. 7, 18, 20, 24, 84—92, 97, 101,
 102, 122—128, 130—134, 138—
 395
 140, 143, 146, 148, 149, 156, 158—160, 164—170, 180, 193, 194, 198,
 224—228, 233, 254, 255, 313—317, 321—329, 337, 342, 345, 346, 350,
 361, 369, 370, 374, 398—400, 402, 405, 409, 418, 422, 424
 Крачковская О. А. 38
 Крачковская Ю. Ю. см. Снит-ко Ю. Ю.
 Крачковский А. Ю. 13, 14, 19, 39, 67, 398
 Крачковский Н. Ю. 13, 14, 17, 18,
 39, 41, 126, 143 Крачковский Ф. 10 Крачковский Ю. Ф. 10—14, 16,
 17, 19, 25, 116, 403 Кремер А. 50, 55, 64, 66 Кренкоу Ф. 252, 414
 Кржижановский Г. М. 200 Кривцова Т. В. 365 Кроленко А. 255 Крылов
 И. А. 239 Крылов Н. Ф. 205 Крымский А. Е. 42, 50, 53, 70, 71,
 74, 90, 117, 250, 297, 404 Кубайн С. 100, 131, 249 Кудама ибн
 Джафар 82, 146, 238,
 244
 Кузмин М. А. 163
 Кузнецова Н. А. 276
 Кузьмин И. П. 154, 164, 180, 181, 192, 197, 211—213, 236, 248, 300,
 351, 353
 Куйбышев В. В. 409
 Кулагина Л. А. 276
 Кулаковские 21
 Курд Али, Мухаммед 105, 106
 Кюнер-Сутугина В. А. 163, 190, 191, 286, 295, 327, 333, 336, 346,
 348, 352, 353, 355, 357, 358, 361, 362, 370, 371, 373, 374, 377, 388,
 397, 410, 422
 Лавров П. А. 203 Ламменс А. 80 Ларин Ю. 204, 205, 301, 302 Лебид
 54
 Лейбензон Л. С. 328
 Лемм О. Э. 64, 424
 Ленин В. И. 196, 220, 379, 426

Лермонтов М. Ю. 407
 Ливотова О. Э. 390
 Лидзбарский М. 97
 Литтман Э. 414
 Лихачев Д. С. 230
 Лихачев Н. П. 206
 Лозинский Г. Л. 173, 176, 189,
 191, 238, 408 Лозинский М. Л. 173, 361 Лососий Н. О. 33, 170 Лота
 П. 175 Лукин Н. М. 203
 Луначарский А. В. 151, 204, 301, 302
 Луцкий В. Б. 354 Лэйн У. 44 Любавский М. И. 206 Лядов А. К. 162
 Ляпунов Б. М. 203, 325
 аль-Маарри, Абу-ль-Аля 64, 99, 131, 153, 242, 246, 249—251, 426
 Магриби, Абд аль-Кадир 414, 416 Майвалдов, заключенный 166,
 170 Майзель С. С. 301—303 Маймани А. 414
 Макарий, патриарх Антиохийский
 128, 131, 234 Макдональд Д. 182 Малевский Н. С. 365 Малуф, Иса
 414 Ман ибн Аус 54 Маннергейм К. 166 аль-Манфалута, Мухаммед
 Лутфи
 149
 Марголиус Д. 141 Маркс К. 407
 Марр Н. Я. 5, 63, 68, 78, 108, 118, 119, 122, 140, 141, 152, 155, 157,
 159, 173, 178, 194, 195, 199, 202, 208, 209, 211, 212, 220, 221, 235,
 245, 247, 258, 290, 300, 404, 410—412, 418
 МаррЮ. Н. 291, 304, 414
 Марраш, Френсис 149
 Массиньон Л. 414
 аль-Масуди 356
 аль-Махди, халиф 43, 46, 55, 56 Махфуз, Нагиб 424
 396
 Медников Н. А. 34, 35, 48, 56, 71, 117, 122, 136—138, 151, 152, 154,
 161, 192, 226, 244, 245, 405
 Мейер А. А. 230 Мелиоранский П. М. 32 фон Менде Г. 240 Мендель
 Т. 238, 414 Мерварт А. М. 277 аль-Мехдий см. аль-Махди, халиф
 Мещанинов И. И. 425 Миклухо-Маклай Н. Д. 384 Миллер Б. В. 336
 Милюков П. Н. 170 Минаев И. П. 405 Минорский В. Ф. 424 Михайлова
 А. И. 7, 390, 394, 399 Мишле 175 Мсерианц Л. З. 155 аль-Мудаввар,
 Джамиль 81 Муканна 58 Муратов Х. 271, 279 Мусоргский М. П. 162
 аль-Мутанабби 64, 137 Мухаммед, пророк 5, 74, 80, 235, 239
 Мухаммедова З. Б. 330, 357, 365, 367
 Мюллер Д. 183
 Мякотина Е. А. 84, 123, 126, 314, 326, 345
 ан-Набулуси, Абд аль-Гани 82
 Навои, Алишер 315
 Назарыч, кассир «Всемирной литературы» 190
 Наллино К. 100
 Невский Н. А. 118, 306
 Нельдеке Т. 54, 130, 179, 184, 247
 Некора Л. С. 258, 296, 415
 Некрасов Н. А. 325
 Николай Михайлович, великий князь 390
 Николсон Р. 125

Никольский Н. К. 203
 Ницше Ф. 25
 Нуайме, Михаил 226, 299
 Ньюберг Г. 243
 Оде-Васильева К. В."-(Кулсум Оде) 73, 90, 104, 106, 108,
 139, 193, 213, 214, 218, 224, 225, 239, 242, 271, 274, 283, 285, 288,
 289, 300, 304, 344, 387, 398, 416, 428
 Одоевский В. Ф. 407
 Олферьев, переводчик арабской поэзии 35
 Ольденбург Е. Г. 9, 202
 Ольденбург С. Ф. 5, 113, 118, 127, 142, 159, 166, 168, 171, 173, 186
 —188, 194—197, 199, 200, 202, 203, 206, 212, 217, 219— 221, 233, 234,
 245, 247, 257, 258, 262, 263, 279, 290, 301, 408, 409, 418, 419
 Омар ибн Аби Рабаи 139
 Омар аль-Махх ар 99, 110
 Омейяды 50
 Ораби-паша 294
 Орбели И. А. 152, 159, 164, 173,
 221, 258, 400 Орбели Л. А. 326
 Орловский, классный наставник 26
 Павлов И. П. 204
 Павел Алеппский 128
 Павлович М. П. 218, 220, 412
 Пальмер Е. 179
 Пеетерс П. 63, 97, 129
 Пенний Ф. 167
 Персикович А. 414
 Перченков Ф. Ф. 409
 Петражицкий Л. 33
 Петров В. А. 390, 419
 Петров Г. М. 427
 Петров Д. К. 33, 115, 142, 405
 Петрушевский Д. М. 204, 281
 Печаткин К. П. 86
 Пигулевская Н. В. 193, 230, 276,
 295, 315, 325, 326, 337, 421,
 422
 Писаревский Л. З. 353—355, 371, 372
 Платонов С. Ф. 33, 206 Покровский М. Н. 200, 409 Поливанов Е. Д.
 151, 212, 219,
 306, 406 Полиньяк 10 Поляков А. С. 302 Попков П. С. 324

 397
 Поппе Н. Н. 316, 419 Прокофьев С. С. 398 Пташицкие 21 Пушкин А.
 С. 100, 347 Пщолко А- А. см. Крачковская А. А. Пщолко П. И.
 (бабушка) 13, 16
 Радовский, секретарь Комиссии по
 популярной литературе 333 Разумовская Е. А. 285 Райнов Т. И. 380,
 422, 426 Рейхани, Амин 7, 106, ПО, 142, 148, 182—184 , 226, 251, 266,
 283
 Рекендорф Х. 407
 Решер О. 414

Рибера Х. 142
 Рида, Сеййид Хусейн 100
 Рнфтин А. П. 193, 217, 291, 342— 344, 347, 359
 Ричард Львиное Сердце 165
 Рогинская С. И. 285
 Родоканакис Н. 58, 59, 139
 Розен В. Р. 31, 36, 37, 42, 48, 49, 51—53, 55—71, 73, 113, 117— 120, 129—131, 135, 143, 154, 155, 177—179, 195—197, 218, 222—226, 228, 230, 231, 241, 242, 244—246, 249, 271, 303, 317, 348, 378, 398, 403, 405, 413, 422, 424, 426
 Розенберг Ф. А. 168, 245, 246, 306, 424
 Розеншейн, следователь 166 Ромаскевич А. А. 118, 152 Ронзевалль Л. 79, 95, 108 Рубинштейн А. Г. 115 Рубцов Б. К. 388, 389 Руденко Б. Т. 316 Ружичка Р. 414 Русафи, Маруф 149 Рустум, Михаил 75 Рыков А. И. 207 Рысс, врач 325 Рязанов М. Д. 200, 409
 Сабашников, книгоиздатель 102 Садер И. 414 Сакулин П. Н. 204 Саладин 165
 Салама ибн Джандаль 99
 Саламе, Сельва 106
 Салье М. А. 154, 180—182, 192, 224, 225, 256, 288, 348, 397, 415
 Сальхани, Антун 71, 76, 80, 95 ас-Самауваль 88
 Самойлович А. Н. 118, 127, 152, 157, 173, 212, 220, 222, 234, 304, 306, 409, 411 Семенов Д. В. 193, 213, 224, 225, 242, 267, 268, 271, 277, 285, 326
 Сенковский О. И. 21, 70, 224, 359, 407
 Серебряков, учитель словесности 21
 Сильвестер де Саси А. 22
 Скржинская Е. 367
 Смирнов, заключенный 166, 170
 Смирнов В. Д., тюрколог 53, 140, 173, 177, 178, 406
 Смирнов В. Д., математик 430
 Смирнова О. И. 319
 Смогоржевский С. 414
 Снитко С. К. 16, 18, 314, 323, 324
 Снитко Ю. Ю. 12—18, 20, 29, 35, 39, 44, 51, 60, 61, 67, 72, 73, 83, 85, 89, 94, 97, 114, 123, 126, 185, 314, 323, 324
 Снук-Хюргронье Х. 131—133
 Соболевский А. И. 203
 Соколов М. Н. 156, 158, 166—168, 170, 171, 193, 211, 224, 225, 294
 Сологуб Ф. 361 Социн А. 50, 96 Спасский И. И. 94 Сталин И. В. 387, 388, 426 Старкова К. Б. 295, 348, 355, 397, 399, 400, 417 Стеклов В. А. 413
 Струве В. В. 313, 315, 326, 333— 336, 338, 347, 356, 378, 381, 384, 420, 422, 425, 426
 Струмилин С. Г. 328
 ас-Суйути 249
 ас-Сули 98, 145, 391
 Сутугина В. А. см. Кюнер-Сутуги-на В. А.

Сухотин В. П. 394, 395
 399
 Счастливец Н. А. 21, 26 Сыромятников Н. А. 426
 ат-Табари 34, 43—45, 130, 255 Тальгрэн А.-М. 417, 418 ат-Тантави,
 Мухаммед 111, 147,
 226, 242, 243, 265 ат-Танухи 112 Тарле Е. В. 206 Таррази, Филипп
 148 Тархун 254 ат-Тахтави, Рифа 149 Тверитинова А. С. 319, 321
 Теймур, семья 239 Теймур, Ахмед 98, 249 Теймур, Махмуд 387, 388,
 414, 430 ат-Тибризи 54 Тито И. Б. 430
 Тихонов А. Н. 171, 173, 178, 180,
 186, 257—259 Тихонов Д. И. 315, 334, 335, 338,
 400, 418—420, 422 Толстов С. П. 336, 337, 394 , 395,
 397—399 Толстой И. И. 280 Толстой Л. Н. 117, 119, 162, 374,
 407
 Тригорин, герой пьесы А. П. Чехова «Чайка» 198
 Тураев Б. А. 21, 33—35, 50, 62, 65, 84, 85, 97, 118, 124, 136, 181,
 194, 197, 241, 281, 303, 404
 Тургенев И. С. 165, 424
 Тушинский М. М. 325, 327
 Тынянов Ю. Н. 226, 363
 Тютчев Ф. И. 407
 Умняков И. И. 291, 303, 316, 319,
 326, 358, 395, 417, 424 Усама ибн Мункыз 165, 181 Успенский Г. И.
 336 Ушин Н. А. 256
 Фаворский А. Г. 205
 Фадеев А. А. 379, 380, 384
 аль-Фараби 273
 Фарах, Бахие 104
 Фармаковская В. А. см. Крачковская В. А.
 Фармаковский Б. В. 84—86
 Фармаковский В. В. 87 , 89, 123, 125, 126
 Фасмер Р. Р. 224, 225 Федоров А. В. 177 Федоров А. М., писатель
 100—102, 104
 Федоров А. М., отец В. А. Крач-ковской 86
 Федорова О. К. 123, 130, 132, 133
 Федосеев М. Е. 323, 342
 Фейзханов Х. 155
 Фену, воспитатель шамского принца 166
 Ферсман А. Е. 207
 Фет А. А. 407
 Фигантер Ю. П. 206
 Филипп II 176
 Филоненко В. И. 199, 201, 202, 206, 209, 211, 220, 226, 230, 232 ,
 236, 237 , 244—246, 250, 256, 257 , 265, 282 , 284 , 285, 299 , 302, 325,
 363, 370, 373, 381, 382, 394, 395, 412, 418, 424—426
 Фирдоуси 279
 Фишер А. 235
 Флуг К. К. 418
 Фоллерс К. 108
 Фотиева В. С. 352, 378
 Франс А. 332
 Фрейман А. А. 212, 217, 245, 254,

313, 347, 400, 421 Фрейтаг В. 44 Френ Х. Д. 155, 252 Фриче В. М.
 203 Фролова О. Б. 378, 422
 Хайраллах, Амин Дагир 75
 Халидов А. Б. 7, 429
 Хамданиды 115, 136
 аль-Ханса 58, 139
 Харб, Мухаммед Талат 100
 аль-Харири 186
 Хартманн М. 129
 Хассун, Ризкаллах 239
 Хащаб, Антун 52, 122, 125, 139—
 141, 192, 406 Хиршфельд Х. 183 Хоровиц И. 414
 аль-Хури, Шукри 81, 110, 183, 257 Хусейн, Таха 252 Хюар К. 99

 400
 Царев, прокурор 284 Цезарь 23
 Церетели Г. В. 7, 225, 227, 271 Цеттерстен К. 141, 238, 239, 240,
 414
 Цинциус В. И. 6, 347 Цявловская Т. Г. 364
 Чайковский П. И. 115, 162 Чеботарева Г. Н. 7 Черкасова М. А. 79
 Черноруцкий, врач 325 Чехов А. П. 198
 Чуковский К. И. 173, 175, 177, 189, 190, 408
 Шаляпин Ф. И. 375
 Шами А. М. 269, 285, 293
 Шамиль 253, 274
 аш-Шарани 134, 135, 138
 Шауки, Ахмед 149
 Шаховской Б. Н. 92, 96
 Шахт Й. 414
 Шварц П. 131, 139
 Шварцлозе Ф. 44
 Шверник Н. М. 373
 Шейхо Л. 80, 83, 88, 95, 99, 129,
 148, 183 Шидйак А. Ф. 149 Шидфар Б. Я. см. Шустер Б. Я. Шилейко
 В. К. 173 Шитов Г. В. 302
 Шишманов А. Й. 148, 153, 277, 415
 Шишмарев В. Ф. 139, 245
 Шкловский В. Б. 173
 Шляпкин И. А. 33, 157, 192, 226,
 238, 245, 246, 403 Шмидт А. Э. 32, 92, 96, 97, 115,
 127, 131, 134—139, 144, 152 Шмидт Ф. 129 Шопен Ф. 103, 406
 Шггринцин А. Г. 302, 306
 Штейн В. М. 343, 367 Штейнберг М. О. 22, 24, 164 Штрек М. 130
 Шумовский Т. А. 267, 285, 294, 309, 352, 356, 373, 401, 417, 425
 Шустер (Шидфар) Б. Я. 429 Щепкина-Куперник Т. Л. 365
 Щербатской Ф. И. 118, 212, 234, 302
 Щуцкий Ю. К. 160, 197, 306
 Эберман В. А. 154, 160, 168, 178, 180, 181, 185, 186, 192, 193, 197,
 198, 211, 212, 214, 216, 218, 221, 224—227, 230, 238, 246, 256, 278,
 279, 291, 294, 348, 351, 353, 397, 408, 414, 417
 Эдде Ш. 80, 95 Эйхенбаум Б. М. 173 Эльсберг Я. Е. 279 Энгель 211
 Энгельс Ф. 407 Эрхардт А. 129

Эрлих Р. Л. 154, 180, 181, 192, 279, 348, 417
 Юшманов Н. В. 193, 213, 214, 218, 221, 224, 225, 227, 288, 344, 348, 359, 429
 Язид ибн Муавия 82, 84, 114, 131
 аль-Языджи, Насыф 149
 Яйнболл Т. В. 235
 Яковлев Н. Ф. 336
 Якубовский А. Ю. 168, 193, 224, 225, 227, 302, 423
 Ямпольский С. М. 419
 Янни К. 106
 Яхонтов, товарищ по гимназии 31
 Яхья Антиохийский 242, 401
 Указатель названий сочинений, газет и журналов
 «Абиссинские хроники XIV—XVI вв.» в переводе Б. А. Тураева 181, 303
 «Абу-л-Фарадж ал-Вава Дамасский» И. Ю. Крачковского 136, 141, 238
 «Автобиография» М. А. ат-Тантави 243
 «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения
 АН СССР» 200, 342, 418, 424
 «Академики и политика» Ю. Ларина 204
 «Александр I» Д. С. Мережковского 163
 «Аль-Андалус», журнал 250
 «Анонимная рукопись из коллекции В. А. Иванова» В. И. Беляева 291, 413
 «Антирелигиозник», журнал 250
 «Апокриф о беседе Сатаны со Смертью» 63
 «Арабистика в СССР за 20 лет» И. Ю. Крачковского 275—276, 418
 «Арабская Академия в Дамаске и ее члены» И. Ю. Крачковского 168
 «Арабская географическая литература» И. Ю. Крачковского 313, 315, 321, 325, 329, 354, 358, 402
 «Арабская культура в Испании» И. Ю. Крачковского 252
 «Арабская литература в XX веке» И. Ю. Крачковского 359, 422
 «Арабская литература на Северном Кавказе» И. Ю. Крачковского 359
 «Арабская поэзия» И. Ю. Крачковского 187, 238, 252
 «Арабская поэзия в Испании» И. Ю. Крачковского 252, 416
 «Арабская поэтика в IX веке» И. Ю. Крачковского 238
 «Арабская проза», сборник 7
 «Арабская хрестоматия» В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена 242, 348
 «Арабская хрестоматия для I курса» В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена 117, 348
 «Арабские географические источники о народах СССР» В. И. Беляева и Л. З. Писаревского (заявка) 371
 «Арабские географы» И. Ю. Крачковского см. «Арабская географическая литература»
 «Арабские и еврейские варианты средневекового философского сочинения ал-Мохаммаса» И. И. Гинцбурга 413
 «Арабские рукописи Бухарской коллекции» В. И. Беляева 291
 «Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии и диван Омара ал-Маххара» И. Ю. Крачковского 405
 «Арабские стихи Фузули» Е. Э. Бертельса 413
 «Арабские эмигранты в Америке», сборник переводов И. Ю. Крачковского 182, 183, 239
 «Арабский оригинал латинской версии так называемой "Теологии Аристотеля"» А. Я. Борисова 413

«Арабский перевод "Истории Петра Великого" и "Истории Карла XII, короля Швеции" Вольтера» И. Ю. Крачковского 359
«Арабско-русский словарь» Х. К. Баранова 242, 248, 263, 296, 321, 322, 347, 371
«Арабы и персы в русской поэзии» В. А. Эбермана 186, 193
«Армагеддон» М. А. Алданова 163 «Атлантида» П. Бенуа 408

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ, ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

402
«Бадера» А. М. Федорова 101 «Басни Лукмана» 180, 181
«Библиография» И. Н. Винникова см. «Игнатий Юлианович Крачковский»
«Библиография трудов В. В. Бартольда» И. И. Умнякова 303, 358
Библия 20, 80, 155
«Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина 316 «Божественная комедия» Данте 239, 250 «Бригадир» Д. И. Фонвизина 79
«Быт западнорусского селянина» Ю. Ф. Крачковского 11
«В. М. Алексеев — критик и критикуемый» М. В. Баньковской 418
«В неведомую даль» В. Светлова 24
«В плену "теории единого потока"» И. С. Брагинского 426 «В поисках затерянных городов» П. А. Грязневича 363 «Великие ученые Узбекистана» Т. И. Райнова 379 «Вестник Академии наук» 367, 374 «Вестник иностранной литературы» 119 «Ветка розы» Амина Рейхани 415 «Вечерняя Красная газета» 233 «Византийский временник» 62—64, 67, 76 «Виленский вестник» 11
«Возникновение и развитие новоарабской литературы» И. Ю. Крачковского 149, 239 «Война и мир» Л. Н. Толстого 162
«Война и советские востоковеды в Ленинграде» Д. И. Тихонова 419
«Воскресение» Л. Н. Толстого 103
«Воспоминание о камне» А. Е. Ферсмана 332
«Восток», журнал 185—189, 191, 193, 238, 239, 255, 258, 259, 340
«Генрих фон Офтердинген» Ф. Новалиса 169 «Гражданин», газета 38
«Грамота Иоакима IV, патриарха антиохийского, львовской пастве в 1568 году» И. Ю. Крачковского 160, 162, 407 «Грамматика арабского литературного языка» Н. В. Юшманова 213, 242, 412
«Грамматика египетского диалекта» Спитта-бея см. «Grammatik des aga-bischen Vulgardialektes von Agypten»
«Данные Френеля о южноарабском наречии эхкили» Н. В. Юшманова 413
«Двенадцать» А. А. Блока 163 «Детство» и «Отрочество» Л. Н. Толстого 162 «Диван шести поэтов» В. Альвардта 54 «Дни» Таха Хусейна 257, 268, 415 «Довольно!» И. С. Тургенева 374
«Дождь, вода и растительность на могиле доисламских арабов» И. Н. Винникова 413 «Доклады Академии наук» 237
«Древнейший арабский документ из Средней Азии» В. А. и И. Ю. Крачковских 254, 255
402

Евангелие 146
 «Евангелие детства» 160, 161, 180
 «Ежегодник "Всемирной литературы"» 172, 176, 198
 «Журнал Арабской Академии в Дамаске» 240, 241 «Журнал
 Министерства народного просвещения» 106, 118
 «Задачи арабской эпиграфики в СССР» В. А. Крачковской 416
 «Замечания к статье Л. Климовича» И. Ю. Крачковского 309, 310
 «Записка об ученых трудах профессора Петроградского
 университета
 Игнатия Юлиановича Крачковского» В. В. Бартольда, Н. Я. Марра,
 С. Ф. Ольденбурга, П. К. Коковцова 194 «Записки блокадного
 человека» Л. Я. Гинзбург 316
 «Записки Восточного отделения Русского Археологического
 общества» 53, 62, 64, 83, 140
 «Записки института востоковедения» см. «Труды Института
 востоковедения»
 «Записки Коллегии востоковедов» 221, 227, 244, 245, 280, 282, 299
 —301 «Звезда», журнал 366, 396
 «Иблис-музыкант» Р. Л. Эрлих 280
 «Ибн Зейдун, поэт Андалусии» И. Ю. Крачковского 168
 «Игнатий Крачковский — ведущий исследователь новоарабской
 литературы» Г. Кампфмейера см. «Jgnaz Krackovskij ein Fuhrer zum
 Studium der neueren arabischen Literatur».
 «Игнатий Юлианович Крачковский» [библиография трудов,
 составленная И. Н. Винниковым] 236, 388, 410, 411
 «Избранные сочинения» И. Ю. Крачковского 7, 252, 402, 418, 424
 «Известия» 201, 204, 205, 219, 418
 «Известия Академия наук» 147, 154, 275, 306
 «Изучение новоарабской литературы, его современные методы и
 цели»
 (на арабском яз.) И. Ю. Крачковского 241 «аль-Икд аль-фарид»
 Ибн Абд Раббихи 407 «Илиада» Гомера 81, 83, 108, 239 «Ислам» В. В.
 Бартольда 352, 386, 407 «Ислам» С. Глаголева 42, 63 «Ислам» И.
 Гольдциэра 64
 «Ирак на грани VIII и IX веков» А. Ю. Якубовского 416 «Испытание
 временем» И. Ю. Крачковского 310, 374—376, 397 «Исторический
 роман в современной арабской литературе» И. Ю. Крачковского 96,
 115
 «История арабской литературы и ее задачи в СССР» И. Ю.
 Крачковского 272, 416
 «История господствующих в исламе идей» А. Кремера см.
 «Geschichte
 der herrschenden Ideen des Islams» «История Иосифа-плотника»
 160, 161
 «История новой арабской литературы» А. Е. Крымского 297
 «История одного мифа» В. М. Алпатова 410
 «История французской литературы» Г. Лансона см. «Histoire de la
 litte-rature francaise»
 «"История Шамиля" Мухаммеда Тахира ал-Карахи» А. М.
 Барабанова

см. «Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи» «аль-Иттихад аль-Османи» 81
404
«Иусуф аль-Магриби и его словарь» И. Ю. Крачковского 237
«К вопросу о происхождении арабского двуязычия» Я. С. Виленчика 416
«К вопросу о шиитстве династии Хамданидов» И. Ю. Крачковского 406
«К вопросу об арабских знаменах» М. М. Гирса 413
«К вопросу об интересе Грибоедова к изучению Востока» Л. З. Мсери-анца 155
«К нумизматике халифов» Р. Р. Фасмера 413
«К описанию рукописей Ибн Тайфура и ас-Сули» И. Ю. Крачковского 145
«Калила и Димна» Ибн аль-Мукаффы 76, 147, 180—182, 236, 257, 259, 260
«Китаб аль-агани» Абу-ль-Фараджа аль-Исфагани 58, 186, 407
«Китаб аль-адаб» Ибн аль-Мутазза 145, 146, 237 «Китаб аль-бади» Ибн аль-Мутазза 144—146, 251, 252, 269, 298 «Книга долгих рассказов» Абу Ханифы ад-Динавери 129, 130 «Книга назидания» Усамы ибн Мункыза 180, 181, 361, 412 «Книга о скупых» аль-Джахиза 181 «Книга аль-Фахри» Ибн ат-Тыктаки 181, 182 Коран 39, 111, 183, 184, 186, 212, 235, 281, 282, 351, 402 «Краткая история "Всемирной литературы"» Е. И. Замятина 171, 176, 198
«Крокодил», журнал 411
«Кружок ленинградских арабистов в 1928—30 гг.» А. А. Долининой 414
«Культура и жизнь», газета 379
«Легенда об архангеле Михаиле» 65, 76 «Легенда о Георгии Победоносце» 67 «Ленинград», журнал 366 «Ленинградская правда» 374
«Лжеученый в звании академика» Х. Муратова и М. Бурова 306
«Литература Востока», сборник статей 385 «Литературная газета» 346, 379, 381, 382, 386, 390
«Литературные направления Александровской эпохи» Н. А. Котляревского 407
«Литературные памятники», серия 396
«Лучше поздно, чем никогда» И. А. Гончарова 374
«Маджани-ль-адаб» 50, 54 «Макамы» 257
«Малак — литературные вечера востоковедов» М. В. Баньковской 409 «"Малая Академия" в Азиатском музее» М. В. Банысогсой 409
«аль-Манар», журнал 100
«Материалы по истории туркмен и Туркмении» 268 «аль-Машрик», журнал 54, 76, 80, 83, 118, 129, 234 «Медицинская школа в Джундишапуре» В. А. Эбермана 299 «Мир ислама», журнал 118, 122, 124 «Мийи учителя» И. Ю. Крачковского 57 «Мудрость Хикара» 180, 181 «Мусульманский мир» В. В. Бартольда 409
404
«Мусульманский мир», журнал 155
«Мутанабби и Абу-ль-Аля» И. Ю. Крачковского 129
«Над арабскими рукописями» И. Ю. Крачковского 6, 21, 40, 65, 67, 82, 90, 98, 99, 105, 109, 119, 128, 134, 153, 176, 191, 243, 254, 255, 264, 330—333, 340, 360—369, 404, 424, 425, 428

«Народный подарок» Шукри аль-Хури 81, ПО, 183, 257, 415, 422
 «Насущные задачи советского литературоведения» Л. И. Климовича 379
 «ан-Нафаис аль-асрийя», журнал 108
 «Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке» В. А. Кряжина 219 «Неизвестное сочинение — автограф сирийского эмира Усамы»
 И. Ю. Крачковского 237, 299 «Неизвестный вариант сказки о рыбаке и духе» М. А. Салье 413 «Неподкупные судьи» А. Франса 169 «"Неувязка" в Академии наук» А. В. Луначарского 204 «Нива», журнал 101
 «Новая женщина» К. Амина ПО, 119, 122, 142 «Новоарабская литература» И. Ю. Крачковского 247, 308 «Новый Восток», журнал 219, 220, 412
 «Новый труд по истории мусульманства» И. Ю. Крачковского 42
 «О восточных музейных ценностях Ленинграда» В. А. Эбермана 279
 «О литературном наследии народов Советского Востока и любителей чужого добра» Л. И. Климовича 380
 «О подготовке свода арабских источников для истории Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии» И. Ю. Крачковского 253
 «О работе по словарю народно-арабских диалектов Переднего Востока» Я. С. Виленчика 281
 «Об открытых в Ленинграде памятниках мутазилитской литературы и их значении для истории мусульманской мысли» А. Я. Борисова 416
 «Образцы новоарабской литературы (1880—1925)» К. В. Оде-Васильевой 213, 239, 240, 242, 247, 288, 412
 «Обязательность необязательного» аль-Маари 131
 «Один из первых исследователей восточных элементов "Слова о полку Игореве"» И. Ю. Крачковского 359, 428 «Ожерелье голубки» Ибн Хазма 257, 260, 269
 «Оксфордский фрагмент древнегрузинской версии Иеремии» А. Н. Генко 299
 «Описание России» М. А. ат-Тантави 243
 «Опыт сравнения одной арабской народной сказки с общеизвестной русской» Д. В. Семенова 413 «Оружием слова», сборник статей 418 «Очерки истории русской философии» Э. Л. Радлова 407 «Очерки» Х. Гибба см. «Studies in contemporary Arabic Literature «Очерки новоарабской литературы» А. Е. Крымского см. «История новой арабской литературы» «Очерки по истории русской арабистики» И. Ю. Крачковского 217, 221, 275, 276, 295, 358, 359, 371, 388, 389
 405
 ♦ Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов» Н. А. Медникова 35
 «Памяти академика В. Р. Розена», статьи и материалы 358
 «Памяти Игн. Гольдциэра (1850—1921)» И. Ю. Крачковского 168
 «Памяти И. П. Кузьмина» И. Ю. Крачковского 300
 «Памяти М. П. Павловича» С. Ф. Ольденбурга 412
 «Первые годы журнала "ат-Тарик"» И. Ю. Крачковского 396

- «Перевод Корана Д. Н. Богуславского» И. Ю. Крачковского 359
«Периодизация новейшей истории Египта» А. М. Шами 416
«Песнь пустыни» аш-Шанфары 185
«Письмо из Ливана» А. Е. Крымского 90
«Письмо Шамиля барону Николаи» Г. В. Церетели 416
«Повесть о Варлааме и Иоасафе» 177, 178, 180, 182, 257, 303
«Повесть о двух городах» Ч. Диккенса 407
«Под знаменем марксизма», журнал 307
«Подвиг Дон Рамиро» Э. Ларрета 176, 191
«Подвиг Дон Рамиро и арабская старина» И. Ю. Крачковского 176
«"Подражания Корану" Пушкина и их первоисточник» К. С. Кашталева 282, 413
«Послание о прощении» Абу-ль-Аля аль-Маарри 169, 238, 239, 414
«Послание об ангелах» Абу-ль-Аля аль-Маарри 99, 110, 131, 249—251, 265
«Поэзия по определению арабских критиков» И. Ю. Крачковского 69, 114
«Поэт корейшитской плеяды» И. Ю. Крачковского 129
«Поэтика» Ибн аль-Мутаazza см. «Китаб аль-бади».
«Поэтическое творчество Абу-ль-Атахи» И. Ю. Крачковского 62, 129
«Правда» 306
«Принципы художественного перевода», сборник 177, 179, 408
«Проблемы Востока» Сафарова 169 «Проблемы марксизма», журнал 299, 301
«Происхождение мусульманского поста месяца рамадана» Л. И. Климовича 296
«Пророк» Д. С. Мережковского 169
«Против реакционного япстоковедения» А. Новичева, М. Кокина, Д. Смирнова 299 «Псевдопсалтырь Давида» 65 «Путешественник» Махмуда Теймура 415 «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина 226
«Путешествие в Россию» М. А. ат-Тантави см. «Описание России»
«Путешествие Ибн Фадлана на Волгу» 268, 283, 284 «Путешествия Синдбада» 181
«Путешествие Финьянуса» Шукри аль-Хури см. «Народный подарок» «Пушкинист», сборник, т. I 407
«Разбойники» Ф. Шиллера 407
«Ранняя история повести о Маджнуне и Лейле» И. Ю. Крачковского 359 «Расайль аль-булага» 407
«Рассказ Исы ибн Хишама» аль-Мувайлихи 107
«"Риторика" Кудама ибн Джафара» И. Ю. Крачковского 237, 244, 265 «Родное и вселенское» Вяч. Иванова 163 406
«Роман об Алтаре» 186 «Романус, император Востока» 75
«Русские писатели в арабской литературе» И. Ю. Крачковского 119 «Русское богатство», журнал 27
«Русско-польские отношения» Ю. Ф. Крачковского 11 «Сахиб-Гирей» 175
«Сборник русских народных гимнов и песен» Ю. Ф. Крачковского 11 «Свидание» Дж. Х. Джебрана 415 «Сильна, как смерть» Г. де

Мопассана 407 «Синдбад» Б. А. Васильева 197 «Синдбадова книга» 147

«Синтаксис современного арабского языка» Д. В. Семенова 268

«Сирийская революция 1925—1927 годов» В. Б. Луцкого 416 «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина 375 «Скандалист» В. А. Каверина 227, 350

«Словарь к Арабской хрестоматии и Корану» В. Ф. Гиргаса 242

«Словарь русских писателей» С. А. Венгерова 241, 268

«Слово о полку Игореве» 29, 388, 428

«Сломанные крылья» Дж. Х. Джебрана 415

«Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Н. Тынянова 227

«Советская этнография», журнал 301

«Советское востоковедение», сборник 358

«Современная арабская проза», сборник 7

«Солнце жизни» А. М. Федорова 101

«Соловьинный сад» А. А. Блока 163

«Сообщения Императорского православного Палестинского общества» 404

«Список сочинений Ибн ал-Мутацца» И. Ю. Крачковского 237

«Старая Вильна» Ю. Ф. Крачковского 11

«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева 165

«Страны Ближнего и Среднего Востока», справочник 330

«Субх аль-аша» аль-Калькашанди 407

«Сулейман ал-Бустани» И. Ю. Крачковского 412

«Табакат аш-шуара» Ибн аль-Мутацца 146 «ат-Тарик», журнал 330, 396

«Тринадцать лет академической арабистики» С. С. Майзеля 301

«Труды Ассоциации арабистов» 272, 307 «Труды второй сессии Ассоциации арабистов» 247, 275 «Труды Института востоковедения» 268, 303, 308, 423 «Туркестанские ведомости» 42, 67

«Тысяча и одна ночь» 81, 154, 180, 181, 186, 193, 226, 255—257, 259, 260, 265, 269, 408

«Утешители» А. Хаддада 415 «Ученые записки ЛГУ» 353

«Ученые Ленинграда в годы блокады» А. В. Кольцова 418

«Фауст и город» А. В. Луначарского 163 «Феллах» Х. Саллама 416

«аль-Фихрист» ан-Надима 407

407

«Фрагмент индийской риторики в арабской передаче» И. Ю. Крачковского 237

«Фусул ат-тамасил фи табашир ас-сурур» Ибн аль-Мутацца 237

«Хайй ибн Якзан» Ибн Туфейля 180, 181, 191

«Халиф ал-Мехдий. Материалы для истории правления» И. Ю. Крачковского 44—46, 56, 57 «Халиф на час» 169

«Хамаса Бухтури и ее первый исследователь в Европе» И. Ю. Крачковского 405

«Ал-Ханса и ее элегии» Н. Родоканакиса см. «A1-Hans8' und ihre Trauer-lieder

«аль-Хильяль», журнал 54, 99

«Хрестоматия по литературе народов СССР» Л. И. Климовича 379, 380, 384, 426

«Хрестоматия разговорного арабского языка (сирийское наречие)»

Д. В. Семенова 213, 242 «Христианский Восток», журнал 119, 122, 155, 187, 234, 236 -«Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период

Шамиля» А. М. Барабанова 268, 286, 359, 380, 417

«Чехов в арабской литературе» И. Ю. Крачковского 330 «Чудеса Индии» Бузурга ибн Шахрияра 180—182, 257

«Шахнаме» Фирдоуси 184

«Шейх Тантави, профессор Санкт-Петербургского университета»

И. Ю. Крачковского 242—244, 249, 265 «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана 169

«Эдда» 169

«Эндимион» В. Хейденстама 148, 153

Энциклопедия ислама 247, 267, 298, 308, 402

Энциклопедия товарищества «Деятель» 118

«Эфиопские хроники» см. «Абиссинские хроники XIV—XVI вв.»

«Язид ибн Муавия» И. Ю. Крачковского 114

«A1-Hansfl' und ihre Trauerlieder» Н. Родоканакиса 58 ♦ Delectus veterum carminum arabicorum» Т. Нельдеке 54 «Einführung in die höhere Geisteskultur des Islams» М. Хортена 407 «Geschichte der herrschenden Ideen des Islams» А. Кремера 50, 55 «Grammatik der arabischen Vulgardiialekte von Agypten» В. Спитта-бея 407

«Handbuch der Literaturwissenschaft» 226

«Histoire de la littérature française» Г. Лансона 169, 407

«Ignaz Krackovskij ein Führer zum Studium der neueren arabischen Literatur»

Г. Кампфмейера 240 «Islarnica, журнал 239

«La littérature arabe au XIX siècle» Л. Шейхо 83 «Mochammeds Lehre» О. Понтца 407

29

408

♦ Le Monde Oriental, журнал 237

♦ Oriente moderno, журнал 238, 308

♦ Revue des Etudes Islamiques, журнал 414

♦ Seminarium Kondakovianum, серия 298

♦ Soviet Culture Review 279

♦ Studies in contemporary Arabic Literature X. i ибба 240

♦ Die Welt des Islams, журнал 240, 299

Указатель наименований научных учреждений и учебных заведений

Азиатский институт в Нью-Йорке 6

Азиатский музей (см. также Институт востоковедения АН СССР) 5, 60, 61, 64, 142, 143, 147, 154—156, 159, 161, 168, 170, 193, 199, 217, 218, 220, 229, 233, 261, 264, 265, 290, 296, 301, 316, 331, 340, 406, 412, 415, 420

аль-Азхар 98, 145, 249

Академия наук (АН СССР, РАН) 5, 68, 119, 161, 168, 194, 196, 198—207, 218, 219, 223, 228—230, 232—234, 246, 252, 254, 261, 262, 265, 266, 267, 280, 301, 302, 305, 306, 313, 314, 317, 320, 321, 323—329, 336—340, 342, 343, 357, 373, 378, 379, 392, 394, 409, 410, 412, 415, 417, 419, 420, 425, 429, 430

Академия художеств (Санкт-Петербург) 19, 39, 419

Александрийская библиотека 99, НО
 Арабская Академия наук в Дамаске 5, 232, 416
 Арабский кабинет ИВАН (Арабский сектор, группа арабистов при Рукописном секторе ИВАН) 228—230, 262—265, 267, 269, 271, 280, 282, 283, 286, 289, 294, 298, 302, 304, 330, 355—357, 379, 381, 391—394, 415, 418, 429
 Арабский сектор ИВАН см. Арабский кабинет ИВАН
 Армянский институт см. Лазаревский институт
 Археографическая комиссия 268
 Археологический институт 208
 Архив М. Горького в ИМЛИ 8
 Архив РАН (см. также Санкт-Петербургский филиал Архива РАН) 318,
 390, 419 Архивно-музейная комиссия 341
 Ассоциация арабистов при Институте востоковедения АН 269—276, 309,
 330, 415, 416 Ассоциация исламских исследований в Бомбее 6
 Бакинский университет 422
 Балетная школа им. Тамары Ханум (Ташкент) 335 Бейт-Джалльская женская семинария 91, 93, 104 Бестужевские курсы 208
 Библиотека Академия наук 254, 313, 317, 318, 321, 390
 Библиотека Зимнего дворца 127, 161 Библиотека им. В. И. Ленина 428
 УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 453 II
 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 Библиотека Лейпцигского университета 130, 131 Библиотека по истории изобразительного искусства 414 Британский музей 145
 Виленская духовная семинария 10, 16
 Виленская комиссия по разбору и изданию древних актов 11
 Виленская публичная библиотека 11
 Виленский музей древностей 11
 Виленский педагогический институт 11
 Виленский университет 21
 Виленское духовное училище 10, 20
 Военно-медицинская академия 18
 Востоковедная группа (секция) комиссии по реорганизации Академии наук 261—263
 Восточное отделение Русского Археологического общества 53 , 59 , 64 , 67, 124, 222, 412
 Восточный факультет Ленинградского государственного университета 6,
 10, 342—345, 347, 348, 351—353, 356, 363, 376—378, 401, 422, 430
 «Всемирная литература» см. Издательство «Всемирная литература»
 Всесоюзная научная ассоциация востоковедения 219, 220, 412
 Всесоюзное Географическое общество 314, 321, 322, 325, 341, 372
 Всесоюзное общество культурной связи с заграницей 270, 360, 423
 Высшая дипломатическая школа 289 Вятский институт народного образования 170
 Главнаука 418 Главсевморпуть 428 Госиздат 190
 Государственная академия истории материальной культуры 193
 Группа арабистов при Рукописном отделе ИВАН см. Арабский кабинет ИВАН

Дворец культуры им. Ленсовета 158
 Еврейский учительский институт в Вильне 22 Египетский университет (Каир) 100
 Зубовский институт см. Институт истории искусств
 Издательство Академии наук СССР 318, 333, 362, 389, 428
 Издательство Брил ля 119, 122
 Издательство «Всемирная литература» 7, 159, 164, 172—185, 188, 190—
 192, 194, 198, 236, 255—257, 260, 316, 346, 358, 361 Издательство географической литературы 371 Издательство Ленинградского университета 359 Издательство «Советская энциклопедия» 330 Издательство «Художественная литература» 415 Издательство «Academia» 255—260, 269, 279, 303
 Императорское православное Палестинское общество см. Палестинское общество 410

 Инженерно-строительный институт (Ленинград) 291
 Институт антропологии и этнографии АН СССР 335, 336, 338, 421
 Институт буддийской культуры 223, 261, 415
 Институт востоковедения АН СССР (см. также Азиатский музей) 5, 228, 261, 264—266, 271, 276, 277, 279, 280, 282—286, 290, 293, 294, 297, 302, 305, 310, 312, 313, 315—319, 325, 326, 333—340, 353—357, 371, 373, 378, 381, 382, 389—395, 397, 401, 415, 417—421, 423, 426, 429, 430
 Институт истории АН СССР 335
 Институт истории искусств (Зубовский институт) 164, 238, 414
 Институт истории материальной культуры АН СССР 317, 328, 336—338, 383
 Институт истории украинской культуры 283 Институт книги, документа, письма 291 Институт красной профессуры 302 Институт мирового хозяйства АН СССР 338 Институт народов Востока 281 Институт речевой культуры 221 Институт русской литературы 335
 Институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока
 им. А. Н. Веселовского 221—223, 280, 298, 412, 413, 417 Институт театра, музыки, кинематографии 414 Институт шелководства 428
 Институт этнографии см. Институт антропологии и этнографии
 Институт яфетидологических изысканий см. Яфетический институт
 Иранская Академия наук 6 Историко-филологический институт 208
 Историческая библиотека (Москва) 294, 335, 336
 Кавказский историко-археографический институт 223, 261
 Каирский музей (Музей исламского искусства) 226
 Киевский институт внешних сношений 287
 Киевский университет 428
 Книжная палата 278, 416
 Коллегия Александра III 30, 33, 48, 199, 424
 Коллегия востоковедов 220, 221, 223, 224, 244, 249, 261, 262, 299—302 Комиссия по изданию научно-популярной литературы АН СССР 332, 333, 424
 Комиссия по истории знаний АН СССР 242

Комиссия президиума АН по делам ленинградских научных учреждений

314, 315 Коммунистическая академия 261

Королевское Азиатское общество Великобритании и Ирландии 6
Кружок арабистов им. барона В. Р. Розена 223—232, 246, 282, 413, 414, 415

Лазаревский институт (Исследнеазиатский институт) 32, 45, 157, 267, 283, 404

Ленинградский восточный институт 109, 159, 164, 192, 212—214, 223, 233, 239, 259, 267, 269, 280, 285—288, 298, 304, 307, 334, 396, 409, 411, 420, 422

455

Ленинградский институт живых восточных языков см. Ленинградский восточный институт

Ленинградский историко-лингвистический институт см. Филологический факультет Ленинградского университета

Ленинградский историко-философско-лингвистический институт см. Филологический факультет Ленинградского университета

Ленинградский университет (Санкт-Петербургский университет, Петроградский университет) 5, 21, 28, 30—48, 49, 51, 52, 76, 109, 113, 116, 127, 133, 143, 147, 148, 150, 153, 156, 164, 184, 192, 193, 208—216, 218, 221, 233, 246, 254, 279, 289, 298, 313, 317, 320, 321, 342—345, 351, 353, 357, 359, 370, 373, 376-378, 381, 387, 388, 394, 403, 412, 424, 425, 429

Ленинградское отделение Архива АН см. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

Министерство иностранных дел 120, 151, 423

Московская группа Института востоковедения АН 340—342, 381

Московские высшие женские курсы 281

Московский восточный институт см. Московский институт востоковедения

Московский институт востоковедения 281, 289, 293, 334, 350, 354, 381, 387, 411, 422, 428

Московский институт живых восточных языков см. Московский институт

востоковедения Московский университет 330, 335, 336, 337, 358
Музей антропологии и этнографии 277

Музей египетских древностей (Египетский музей, Каир) 84, 86

Назаретская семинария 91, 100

Немецкое востоковедное общество 6, 130, 131

Объединенный ученый совет институтов отделений истории, языка и литературы АН СССР 317—319, 321 Отделение гуманитарных наук АН СССР 203, 206, 228, 253, 263 Отделение истории и философии АН СССР 220, 336—338, 397 Отделение исторических наук и филологии АН СССР 194, 196, 198 Отделение литературы и языка АН СССР 338—342, 373, 430 Отделение общественных наук АН СССР 250, 253, 263, 266, 275

Палестинское общество (Императорское православное Палестинское общество) 75, 89—96, 102, 107, 404

Парижский национальный центр научных изысканий 428

Первая виленская гимназия 21, 22, 26

Псреднеазиатский институт см. Лазаревский институт
Петроградский институт живых восточных языков см.
Ленинградский восточный институт
Политехнический институт в Ленинграде 158, 211
Польская Академия наук 6
Польское востоковедное общество 6, 424
Публичная библиотека в Санкт-Петербурге—Ленинграде 63, 159,
290, 330, 331, 402
412

Российская ассоциация научно-исследовательских
институтов
общественных наук 204 Российская академия истории
материальной культуры 159 Рукописный отдел Института
востоковедения АН 266, 267, 291, 379, 394,
395
Русский музей 31
Санкт-Петербургская Духовная академия 10, 12
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук 7
—9, 277, 409
Союз советских писателей 315, 379 Среднеазиатский университет
422
Татарский филиал Академии наук 428 Тбилисский университет
422 Тихоокеанский институт АН СССР 338, 378, 394 Туркестанский
университет 192, 303 Туркестанская учительская семинария 11
Туркменский филиал Академии наук 428 Тюркологический кабинет
223, 261, 415 Тюбингенский университет 428
Университет Св. Иосифа (Бейрут) 71—73, 76, 79—82, 88, 95, 106,
107 Упсальский университет 233
Учебное отделение Министерства иностранных дел 120
Факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета
5, 30—48, 54, 55, 71, 78, 107, 113—118, 122, 124, 150—154, 157, 159,
193, 208, 211, 212, 277, 343, 347, 363, 411, 412
Факультет общественных наук Петроградского университета 208
—211, 221, 222, 287, 290
Филологический факультет Ленинградского университета
(историко-филологический, ЛИЛИ, ЛИФЛИ) 6, 208, 216, 217, 267, 275,
348, 353, 412, 429
Фламандская Академия наук 6
Харьковский университет 267, 283, 355 Хедивская библиотека
(Каир) 84, 86, 87, 98
Центральный государственный архив литературы и искусства 412
Эрмитаж 52, 199, 233 Эскуриал 146
Юридический факультет Петроградского университета 208, 211
Ямфак (факультет языкознания и истории материальной
культуры) Ленинградского университета 211 Яфетический институт
159, 223
Ecole d'Etudes bibliques 104 Musee archeologique 104 Musee biblique
104

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

412

Список сокращений

БАН — Библиотека Академии наук
 БСЭ — Большая Советская Энциклопедия
 ВГО — Всесоюзное Географическое общество
 ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы ВНАВ
 — Всероссийская (Всесоюзная) научная ассоциация востоковедения
 ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
 ВЦИК — Всесоюзный центральный исполнительный комитет ВДШ
 — Высшая дипломатическая школа
 ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры
 ДПЗ — Дом предварительного заключения
 ИнБуК — Институт Буддийской культуры ИВАН — Институт востоковедения Академии наук ИИМК — Институт истории материальной культуры ИЛАЗВ — Институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока им. А. Н. Веселовского
 Кубуч — Комиссия по улучшению быта ученых
 Комакадемия — Коммунистическая академия ЛВИ — Ленинградский восточный институт
 ЛИЖВЯ — Ленинградский институт живых восточных языков
 ЛИЛИ — Ленинградский историко-лингвистический институт
 ЛИФЛИ — Ленинградский историко-философско-лингвистический институт
 ЛО ИВАН — Ленинградское отделение Института востоковедения Академии наук
 МИВ — Московский институт востоковедения им. Н. Н. Нариманова
 Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения ОГН — Отделение гуманитарных наук Академии наук
 ОИФ — Отделение исторических наук и филологии (до 1927 г.),
 Отделение истории и философии (с конца 1930 г.) Академии наук
 ОЛЯ — Отделение литературы и языка Академии наук
 ООН — Отделение общественных наук Академии наук
 ПИЖВЯ — Петроградский институт живых восточных языков
 РАИМК — Российская академия истории материальной культуры
 РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
 РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук СНК — Совет народных комиссаров
 ТурК — Туркологический кабинет
 ФВЯ — Факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета
 ФОН — Факультет общественных наук Петроградского университета
 ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
 Ямфак — Факультет языкознания и истории материальной культуры Ленинградского университета

SUMMARY

Ignaty Yulianovitch Kratchkovsky (1883 — 1951) is one of the major orientalists of the first half of the 20th century, the head and the founder of the Russian school of arabistics, a member of numerous academies and scientific societies, both Western and Eastern. With his research,

translational and educational activities he bridged two cultures — Arabic and Russian. His creative heritage embraces all branches of arabistics.

The book hereby offered to the reader's attention is the first attempt at the detailed biography of this remarkable man; its authoress is one of the last Kratchkovsky's pupils. The biography is exclusively based on documentary materials, largely never used before (diaries, letters, reminiscences by relatives and friends, official documents, etc.).

The Russian Revolution of 1917 divided Kratchkovsky's life into two parts. By the time of the Revolution he had already been formed as a scholar, having acquired education at the faculty of Oriental languages of Saint-Petersburg University from such well-known Orientalists as V. Rozen, V. Bartold, B. Turaev, and others; he had spent two years in Arabic East and, on returning, began lecturing at Saint-Petersburg University and acquainted himself with some European manuscript archives. It was in these years that four main fields of his scientific creative work were determined: Christian Arabic literature, classical Arabic poetry and poetics, New Arabic literature, and Arabistics history. In 1915 Kratchkovsky defended a magister thesis on Abu-l-Faraj al-Vava of Damascus, a poet of the Hamdanyd circle. He gained authority and respect in scientific spheres which is witnessed by his confirmation in the degree of a professor (1918) and election as Fellow of the Russian Academy of Sciences (1921), both on representation from his teachers and elder colleagues.

In post-revolutionary years Kratchkovsky continued his lecturing and scientific activities in Saint-Petersburg — Leningrad. As a convinced patriot, he never thought of emigrating and endured all the hardships of the Civil War of 1918- 1922 and the siege of Leningrad of 1941 — 1942. In the hardest periods of his life he used to find support in science which he was restlessly occupied with, doing every possible thing for consolidating the Arabistics circles and maintaining the prestige of Russian Orientalism gained by his teachers.

However, in Kratchkovsky's own opinion, in the Soviet times he did not succeed in realizing any of the main directions of his scientific activity to the full: the Christian-Arabic line was in effect closed by governmental antireligious propaganda; he lacked material for studying New Arabic literature — the field in which he was a recognized leader — since the old links were torn by the Revolution, and the new authorities would not let him travel to the East or to the West; there was no sufficient polygraphic base for publishing vast and complex Arabic texts; and in history of Arabistics there appeared too many names that were considered to be odious and a mention of which was forbidden. Moreover, Kratchkovsky himself was repeatedly subjected to severe prejudiced criticism on the part of Marxist orientalist as a "reactionary bourgeois scholar", "cosmopolitan", "panarabist", and so on. Many of his pupils and "companions in arms" were arrested in the thirties-forties; he himself managed to get away with half-year-long imprisonment in 1922. But all this did not break him: he championed his convictions openly and interceded for his repressed pupils, considering the defence of purity of science and aspiration for truth as his first and foremost duty.

Despite all the complexities, he still managed to rally the orientalist of Leningrad and accomplish much of what he had planned. His achievements include the publication of Ibn al-Mu-tazz's poetics and Abu-

I-Ala al-Maarry's "Message about Angels" as well as investigation of their works, monographs on Arabic geographical literature and about at-Tantavi, an Egyptian learned sheikh who lectured in Petersburg, the decipherment of a most ancient Arabic document from Sogdiana, several brief sketches of New Arabic literature, translations from modern Arabic writers and numerous short works on concrete matters, not to mention his work as an editor. Specifically, it was under the editorship of Kratchkovsky that such important publications were issued as "Arabic-Russian Dictionary" by H. Baranov and the complete translation of the collection of tales "1001 Nights". The book of memoir character that he wrote during the War, "Among Arabic Manuscripts. Notes of reminiscences about books and men", became well-known all over the world; during Kratchkovsky's lifetime it ran into three editions and was translated into many languages.

The author pays attention to Kratchkovsky's personal life too: he tells about his family history, about his parents, brothers and sister, the latter having played an important part in his upbringing, about his teachers and the fates of his pupils; he shows the process of formation of his life philosophy, his likings in literature and music. He narrates the story of Kratchkovsky's love and marriage to V.Farmakovskaya (born Fiodorova) who became his true, friend to the end of his days, shared his labour and anxieties, and after her husband's untimely death made, together with his pupils, a significant contribution to the immortalization of his memory and publication of his works.

This book contains not a bit of fiction. All the facts, opinions, sayings (except for a few reminiscences by the author) are strictly documented. The author did not have to invent or exaggerate anything: the picture created by the true documents is in itself so fascinating and dramatic that it needs no fictionalization.

حافظ العهد

نعرض للقارئ المحترم تأريخ حياة المستشرق الروسي المشهور اغناطيوس كراتشكوفسكي الذائع الصيت في كل العالم.

كان كراتشكوفسكي استاذاً في جامعة سانكت بطرسبورغ - لينينغراد وعضواً في أكاديمية العلوم الروسية و له مؤلفات كثيرة حول الشعر العربي القديم والقرآن الكريم والاداب العربية المعاصرة (وقد كان رائداً في بحثها) ومؤلفات حول ادب العرب النصارى وتأريخ الاستشراق الخ. اما مذكراته «مع المخطوطات العربية» فقد نُقلت الى كثير لغات الشرق والغرب.

فيجد القارئ في كتابنا صورة دقيقة لحياة هذا العالم الكبير من طفولته وشبابه ودراسته في بطرسبورغ وبيروت وسياحاته في الشرق العربي وزواجه ومن نشاطه المتعدد الجوانب بعد رجوعه الى بطرسبورغ ويطولته في ايام الحرب العالمي الثاني وحصار لينينغراد وعنايته بتلاميذه ووفاته قبل اوانه.

وكان كراتشكوفسكي طول حياته وافيا لواجبه العلمي والانساني وكان يبقى على عهده للعدل والانصاف ويحافظ على الشرف والحق حتى وان كان رأيه يخالف رأي الحكم السفياتي وكان يدرك أن مثل هذه المخالفة متمخض عن عواقب خطيرة ولكن لم ترتجف نفسه خوفاً من ذلك مرة.

ونلفت نظر قارئنا الى انه لا يجد في هذا الكتاب حتى قطميراً من التلفيق والتخيّل لأنّ أساس حديثنا شهادات وثيقة من المذكرات و الرسائل والورقات الرسمية الخ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об этой книге и немного о ее авторе.....

ГЛАВА I. Семейство «польских аристократов».....

ГЛАВА II. Что есть истина?.....

ГЛАВА III. «Могу здесь быть только мелким чернорабочим...»

ГЛАВА IV. «Вениамин».....

ГЛАВА V. Аль-Гариб ар-руси.....

Здесь, под небом чужим.....

Бейрутская зима.....

«Таких задач мне еще жизнь не ставила».....

Свет и тени Палестинского общества.....

По городам и весям.....

Итоги.....

.....

.....

.Зачем жениться на чужой жене, когда кругом так много девиц?

Тревожное лето девятьсот четырнадцатого.....

.....

ГЛАВА VII. В терновом венке революций.....

По завету отца.....

Востоковедов дружный клан.....

Мы еще повоюем!.....

Финский шпион.....

ГЛАВА VIII. Легендарная «Всемирная».....

ГЛАВА IX. Шапка Мономаха.....

«Академизм мне тягостен...».....

Жив курилка!.....

Имени барона Розена.....

ГЛАВА X. Как взвесить обретенья и утраты?

«Нечаянно попал на собственный юбилей...»

Аль-Маарри, Ибн аль-Мутазз и Дивасти.....

Наследница «ВЛ».....

5

3

Центр "Петербургское Востоковедение" StPetersburg Centre for Oriental Studies

В 1994 году

Центр "Петербургское Востоковедение"

в серии "Памятники культуры Востока" выпускает в свет книгу

"Записки о поисках духов" ("Соу шэнь цзи")

Книга Гань Бао (VI в.) "Записки о поисках духов" — один из древнейших и известнейших памятников китайской словесности, повествующих о том, "о чем не говорил Конфуций" — то есть о разнообразнейшей нечисти: об удивительных существах, о животных и растениях-оборотнях, о зловредных бесах, о душах умерших, о чудесных предметах и находках, которые не всегда приносят счастье тем, кому выпадет встретиться с ними.

Обитатели потустороннего мира проникают в мир людей охотно, особенно часто — души умерших, обеспокоенные состоянием дел дома (или состоянием своего захоронения).

Иных влечет в мир людей любовь, не осуществившаяся при жизни. Иных влекут таланты живых, иные появляются с грозным предупреждением, иные просто пугают.

Сам Гань Бао в предисловии к своему сочинению написал: "Буду счастлив, если грядущие добродетельные мужи, выписав отсюда самое существенное, найдут, чем развлечь ум и занять взор, и не отнесутся ко мне с презрением".

Настоящее издание включает в себя первый полный русский перевод сборника Гань Бао "Записки о поисках духов", предваряемый обстоятельной вступительной статьей и снабженный подробным комментарием и указателями, выполненными

Л. Н. Меньшиковым

серия

Российского А_Л1

востоковедения

Л. А. Долинина Невольник долга

научно-художественное издание

ISBN 5-85803-016-5

Набор — Г. А. Кочугурова, Т. В. Чудинова Технический редактор —
О. В. Шакиров Редактор издательства — И. П. Сологуб Корректоры —
И. П. Сологуб, Н. В. Пивоваренок Выпускающий редактор — Д. А.
Ильин

Макет подготовлен Центром «Петербургское Востоковедение»
Автор макета — О. В. Шакиров

ЛР № 061800 от 16.11.92 Издательство

Центр «Петербургское Востоковедение»

199182, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18 Для
корреспонденции: 195256, Санкт-Петербург, а/я 125

Подписано в печать 18.05.94. Формат 60х90 1/16. Гарнитура
основного текста «Петербург».

Гушь офсетная. Бумага офсетная. |—L-,f Ъбъем 29 п. л. + 1 л. ил.
инаяГ ГООО экз. Заказ №612

"А

Отпечатано в ГППП-3, 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 55.